

**Журнал отечественной словесности**  
**«Вологодская литература»**  
адресован мыслящей аудитории, имеющей вкус  
и осведомленной о высоком предназначении печатного слова,  
призванного быть словом правды, добра и любви

**«ВЛ» НУЖДАЕТСЯ В МЕЦЕНАТАХ**

Журнал «Вологодская литература» делается на общественных началах  
и печатается за счет меценатской поддержки в размере типографского счета.  
Это около 70 тысяч рублей на печать одного номера

**№9 издан на средства, предоставленные  
лауреатом Русского Букера-2010 Еленой Колядиной  
из своей букеровской премии**

---

Журнал «Вологодская литература». Учредители и издатели Николаев А.В., Халов А.С.  
Редколлегия: Ломковский А.В., Николаев А.В., Толстиков Н.А., Халов А.С. Главный редактор Николаев А.В.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ35-0031 от 1.07.2009, выдано управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области.  
Адрес редакции: Вологда, ул.Мишкольцкая, 11а-19. Тел. 8-931-500-88-44. E-mail: vl\_classik@mail.ru  
Эл. версия: [www.vollit.narod.ru](http://www.vollit.narod.ru). Тираж 500 экз. Формат 70x100/16. Цена свободная.  
Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Периодика», Вологда, Челюскинцев, 3. Заказ 7586

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### *Художественная проза*

<b>Елена Колядина</b> <b>ЦВЕТОЧНЫЙ КРЕСТ</b> , роман Часть II. <b>Потешная каверза</b>	3 стр.
<b>Николай Толстик</b> <b>ДИАКОНСКИЕ ТЕТРАДИ</b> , повести <b>Пожинатели плодов; Надломленный тростник; Суди бог</b>	80 стр. (4)
<b>Алик Горели</b> <b>АБРЕК</b> , повесть Часть II. <b>Монах</b>	129 стр. (53)
<b>Александр Рулёв-Хачатрян</b> <b>ЮЗ СУЛЫШИ</b> , повесть о восточном ветре	163 стр. (87)
<b>Александр Халов</b> , рассказы <b>КОНЕЦ ПРИНЦЕССЫ АННЫ;</b> <b>ГУРМАН; ЗЛОДЕЙ</b>	184 стр. (108)
<b>Александр Ломковский</b> , рассказы <b>ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА; ДОМ</b>	203 стр. (127)
<b>Фаина Соломатова</b> , рассказы <b>МЕТЕЛЬ; КТО ТЫ МНЕ, ПАПА?</b>	207 стр. (131)
<b>Андрей Котов</b> , рассказы <b>ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА; СТАРИКИ;</b> <b>ЗАРАЗА; РАЗЗЯВА; СЕРЕГА</b>	219 стр. (143)
<b>Витас Новоселов</b> <b>ТИХИЙ АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ</b> , глава романа	240 стр. (164)
<b>Антон Тюкин</b> <b>ЯБЛОНЕВЫЙ САД</b> , повесть из осколков минувшей эпохи	249 стр. (173)

### *Стихотворения*

<b>Нина ВЕСЕЛОВА</b> , лирика	318 стр. (242)
-------------------------------	----------------

Елена КОЛЯДИНА

# ЦВЕТОЧНЫЙ КРЕСТ

Роман-катавасия

**Часть II. ПОТЕШНАЯ КАВЕРЗА  
О БУЙНЫХ СОКОЛЬНИКАХ И СЕРЕБРЯНОЙ РАКЕТЕ**

*Часть I опубликована в №7 ВЛ*

**Цветочный крест опубликован полностью в бумажной версии ВЛ (№№7 и 9).  
В электронной версии журнала текст романа временно недоступен**

Николай ТОЛСТИКОВ

# ДИАКОНСКИЕ ТЕТРАДИ

## ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ильич стоит к храму боком, вроде б как с пренебрежением засунув руки в карманы штанов и сбив на затылок кепку. На пьедестале - маленький, в свой натуральный рост, измазан черной краской.

Храм в нескольких десятках метров от статуи, в окружении рощицы из старых деревьев, уцелел чудом на краю площади в центре города. Всегда был заперт на замок, окна закрыты глухими ставнями.

Однажды в его стенах опять затеплилась таинственная, уединенная от прочего мира церковная жизнь...

Но и на пустынной площади возле Ленина разместился «аква-парк» с качелями-каруселями, надувными батутами, развеселой, грохочущей день-деньской, музыкой. О вожде мирового пролетариата тоже не забыли: как любителю детей, под самый нос ему заворотили ярко раскрашенную громадную качалку. Только дети то ли не полюбили, то ли просто побоялись качаться тут, или благоразумные родители им запретили это. Визжали, дуррачились на качалке молодые подвыпившие тетки, а с лавочек возле постамента, опутанного гирляндой из разноцветных помигивающих лампочек, их задирали тоже «хватившие» лишку молодцы с коротко стриженными, в извилинах шрамов, головами и в грязных потных майках, обтягивающих изляпанные синевой наколок тела.

Не думал я, проходя мимо их на службу, что неожиданно-негаданно эта «накачанная» компания, спасаясь от жары или вовсе теряя всякую ориентировку во времени и пространстве, ввалится в храм...

Служили на Троицу литию. Выбрались из зимнего тесного придела в притвор напротив раскрытых врат просторного летнего храма, выставшего за долгую зиму и теперь наполненного тяжелым влажным воздухом. Из окон под куполом пробиваются солнечные лучи, высвечивают, делая отчетливыми, старинные фрески на стенах. Как на корабле среди бушующего, исходящего страстями, людского моря!

Молодцов, пьяно-шумно загомонивших, тут же, зашипев и зашикав, выпроводили обратно за порог бабульки-смотрительницы. Один все-таки, в ярко-красной майке, загорелый до черноты, сумел обогнуть «заслон» и, качаясь из стороны в сторону, пройти в гулкую пустоту летнего храма. Возле самой солеи, у царских врат, он бухнулся на колени и прижался лбом к холодному каменному полу. Старушонки, подскочив, начали тормошить и его, чтобы вывести, но батюшка махнул им рукой: пускай остается!..

Торжественно, отдаваясь эхом под сводами храма, звучали слова прошений ектении, хор временами подхватывал стройным печальным многоголосьем: «Господи, помилуй... Господи, помилуй!» В эту симфонию вдруг стали примешиваться какие-то неясные звуки. Мы прислушались. Да это же рыдал тот стриженный в майке! Бился испещренной шрамами головой об край солеи, просил, умолял, жалился о своей, скорее всего, несуразно и непуतेво сложившейся жизни. Что творилось в душе его, какое скопище грехов рвало и кромсало ее на мелкие кровоточащие части?!..

Вот он утих и лежал так ничком на полу до конца службы. Потом бабульки помогли ему подняться и повлекли его к выходу из храма, умиротворенного, притихшего, с мокрым от слез лицом.

А молодой батюшка, вздохнув, сказал:

- Проспится в кустах под Лениным и все свое покаяние забудет. А жаль...

# УГОЛЕК

## Путевой очерк

### 1

Священник отец Сергей молод, белозуб, с пышной шапкой русских кудрей на голове, высок и строен, с лица с пробивающейся на скулах бородкой - просящий взгляд добрых, с лукавинкой, глаз:

- Отец диакон, ну, поехали! Тряхни стариной!

В ответ я молчу, раздумываю. Далековато собрались: тот храм где-то в глухих лесах под Тотьмой. Местные остряки утверждают, что будто даже Петр Первый, когда в Архангельск нашими краями проезжал, от того места открестился: ни за что не приверну, то - тьма!

- Да там же не по одну Пасху кряду не служили, батюшки нет!

Отец Сергей знает, как вдохновить - от службы Богу я не бегал.

- А вот и карета подана!

В ворота ограды нашего городского храма неторопливо и солидно вкатился иноземный джип. Из-за руля его легко выскользнул кучерявый смуглый парнишка в спортивном костюме. Оббежав капот, он распахнул дверцу перед спутницей - дородной девахой, пестро одетой, короткоостриженной, грудастой блондинкой. Матушка отца Сергея Елена, скромная неприметная толстوشечка, радостно с ней облобызалась, как со старой знакомой.

- Кто такие? - потихоньку интересуюсь у отца Сергея, после того как молодец, неумело сложив ковшиком ладошки, принял благословение батюшки и отошел обратно к своей «пассии».

Алик и Анжела. «Новые русские», вернее - дети «новых русских». У Алика папаша владец ликеро-водочного завода, сын ему - полноправный компаньон. Присмотрелся я лучше: это только с виду Алик парнишечка худенький и шустрый, но возле его внимательных умных глаз уже морщинки основательно проклюнулись. Отцу Сергию наверняка ровесник - под тридцатник.

Голос у супружницы Алика - напористый, как пулеметная очередь, четко и правильно произносящий слова, - где-то я его слышал прежде и довольно часто. Выяснилось: на областном радио Анжела работала диктором и ведущей популярных передач. Вот откуда так бойка на язык - слова со стороны в ее речь не втиснешь. Но это в прошлом, до знакомства с Аликом, теперь она только верная жена и в доме, понятно - не в хибарке, полная хозяйка. Алик влюблен в нее совсем по-мальчишечьи: каждое мало-мальское желание норовит предугадать и тут же выполнить, и все-то надо ему приласкаться к ней, поцеловать украдкой или на ушко приятное шепнуть. А обожжется Алик об чей-то посторонний взгляд - и уши, ровно маки, запунцовеют.

Не укрылось: когда садились в машину, глянули молодые друг дружке в глаза виновато-тревожно, потаенная в их взорах то ли грусть, то ли боль просквозила.

«Смилоствится Господь. Образуется у вас все. Помолимся... За тем и едем», - шепнула матушка Елена Анжеле и, успокаивая, погладила ее по руке.

Знать, по делу собрались, не просто так с жиру бесятся.

Отец Сергей размашистым крестом осенил салон джипа, спели тропарь святителю Николаю Мир Ликийских чудотворцу, покровителю всех путешествующих, и - с Богом!

Пасха Христова в этом году ранняя была. В городе солнышко на улицах асфальт просушило, грязь под заборы загнало, но стоило нам выехать за окраину, и убедились сразу - не торопится зима угорбатиться восвояси. Чем дальше на север, тем реже по полям мелькают пригорки с робко пробивающейся на их хребтинах молодой травкой; в низинах, оврагах, буераках еще таятся ноздреватые блекло-сиреневые пластушины снега. А когда почти вплотную подступает к дороге сумрачный лес, не по себе становится - упаси, Боже, сунуться туда, за крайние сосны и ели, в сутробах еще только так закупеешься!

По ровной «шоссейке» меня укачало, сморило; я вытряхнулся из полусна, вздрогнув от дикторского безоговорочно-требовательного голоса Анжелы:

- Алику пора отдохнуть и поразмяться!

Алик, повернувшись к нам от баранки руля, виновато улыбался: мол, мог бы мчаться

без передышки и дальше, да вот...

Место для отдыха его супружница выбрала по наитию или случайно. Из низины лента дороги взметнулась на вершину высокого холма, солнце поднялось к полудню, обогрело застывшую за ночь землю - и такая даль открылась кругом, дух захватило! Но словно мрачная тень облака на солнышко набежала - немного в стороне от дороги краснели пятнами выщербленного кирпича руины храма. Ни куполов с крестами, ни колокольни, один расстрескавшийся остов с черными провалами окон и белыми стволиками молоденьких березок с просыпающимися почками в расселинах кирпичной кладки. Сразу от храма - заполоненная прошлогодним сухим бурьяном улица обезлюдившей деревеньки с парой-тройкой полуразвалившихся домов.

Кружит незримо печальный ангел над местом сим, ибо над каждым храмом, пусть даже от него людская злоба, дурость или безверие не оставили и следа, все равно расправляет он свои крыла...

## 2

Вот нужная отворотка от шоссе, джип неуверенно запетлял по проселку. Тащились так мы еще неведомо сколько, и вдруг - в прогалах редкого чахлого ельника на дорожной обочине мелькнули раз-другой живо-весело нарядные, под цвет весеннего неба, с желтыми звездочками поверху, церковные маковки. А вскоре и весь храм стал виден - на взгорочке крутого берега над речной излучиной белообоко высится; длинной чередой к нему - дома деревенской улицы.

Повеселело на сердце...

У крайнего домишки, улезшего почти по самые подоконники в землю, топтался мужичок в фуфайке и в нахлобученной на голову зимней шапке с распущенными ушами. Он старательно прикладывал козырьком к глазам ладошку, пытаясь разглядеть того, кто рискнул сунуться сюда на легковой машине.

- Не узнаешь? - спросил меня отец Сергей и кивнул Алику, чтобы остановился.

Мужичок, заметив священника, поспешно сдернул с головы шапку, шагнул к машине. Черные, с щедрой проседью, длинные волосы по-поповски стянуты в жиденький хвостик; с бледного лица глядят с потаенной печалью большие черные глаза.

Володя-богомаз, точно он!..

Когда восстанавливали в городе наш храм, потребовалось подновить уцелевшие фрески на стенах. Несколько десятилетий в храме ютился какой-то складишко, слава Богу, не клуб и не баня, вот и сохранилось кое-что.

Мастеровитый реставратор ныне в большой цене, днем с огнем его в провинции не сыщешь, и тогда находятся ребята попроще. Умельцы эти кочуют из города в город, из села в село, где им дело в храме, побогаче или победнее, всегда есть. Кто они - художники ли неудачники или с талантишком самоучки - никто их особо не расспрашивает. Посмотрит заказчик-батюшка на начальный образчик работы, крикнет одобрительно и махнет широким раструбом рукава рясы - благословляю! Прокатится времечко, выполнят богомазы заказ и - вольные птицы, дальше по Руси.

Володя, тот при нашем храме остался. Взяли его сторожем. В маленькой хибарке сторожки, где он поселился, появились подрамники с холстами. Володя не только ночами бродил с колотухой внутри ограды и отпугивал воров, но, отоспавшись, целый день проводил за холстом с кистью в руке. Если кто заглядывал невзначай, то Володя поспешно закидывал холст куском материи и смущенно улыбался. Пришельцы уходили обескураженные, но, порассудив, махали рукой: когда-нибудь сам посмотреть пригласит, а пока отвадился человек от кочевой жизни, и то ладно.

Вскоре истинная причина выяснилась, почему это художник остался у нас...

За «свечной ящик» продавец срочно потребовался, и кто-то из прихожан привел молодую женщину. Дожидаясь настоятеля, жалась она к дверям в притворе, одетая в долгополую темную одежду, замотанная по-старушечьи по самые брови в полушалок. К плечу ее льнула девчушка лет двенадцати, другая, поменьше, подпрыгивала нетерпеливо рядом и тербила мать за ладонь.

- Беженцы они, с «югов», - поясняла прихожанка, дальняя их родственница. - Приютились у меня на первое время...

Весной, после суровых великопостных дней, разглядели все, что Иоанна, помимо доброджелательного и мягкого нрава, еще и очень красива. Расцвела прямо-таки. Что ж, Володя-богомаз красоту видеть и ценить умел. И вот уже просил он у настоятеля отдать для

новой семьи комнату-чуланчик, смежную со своей мастерской в сторожке...

Пропали Володя и Иоанна вместе с дочками внезапно, вроде б уехали куда-то к родне, да и не вернулись. «Опять потянула нашего богомаза кочевая жизнь! - решили прихожане. - И семейство с собой для повады прихватил. Вольному - воля...»

И теперь вот, в этой глуши, Володя, суетливо забегая вперед с края тропинки, вел нас к своему обиталищу, а на крылечке, приветливо улыбаясь, встречала гостей Иоанна. Вернулась, оказывается, на родину, в дедовский дом, откуда еще девчушкой была увезена родителями в поисках призрачного счастья на чужбину.

В избе - без особых затей, небогато, только что в одном углу, у окна, володины холсты. И опять был верен себе скромняга-художник: поспешно забросил холст покрывалом.

- Вот dokonчу, чуть-чуть осталось... А для вас, батюшка, все готово.

На другом холсте неброский пейзаж - широкая унылая гладь реки под снегом, череда темных домишек на дальнем берегу, но возле них весело зеленеет сосновый бор, а над всем, на фоне морозно-багрового предзакатного неба, на крутизне над речной излучиной - торжественно! - храм.

Отец Сергей, довольно хмыкнув, достал кошелек и протянул деньги Володе. Тот смял их в кулаке и, плохо скрывая радость, забормотал торопливо:

- Обновок дочкам накоплю! Давно ждут!

Дочери вышли из тесной горенки-передней, благословились у отца Сергея. Старшие уже невесты, обе белолицые, русые - вылитая мать, а младшенькая, пятилеточка, смуглая, черные волосы в кудряшках и глазенки черненькие, володины, только не с незатаенной печалью, а живые, веселые.

Володя хотел взерошить младшей дочке кудри на голове, но вдруг содрогнулся и аж согнулся весь от накатившегося приступа кашля. Он и прежде покашливал, прикрываясь рукой, да мы не обратили внимания.

- Простудился я, - отдышавшись, наконец проговорил Володя и, смахивая капли пота, провел ладонью по расцветшему нездоровым румянцем лицу. - На тот берег еще по льду на «натуру» бегал, чтобы картину дописать, в промоине и искупался... Вы прямо сейчас в храм пойдете? Я провожу, ключи вот возьму!

- Сами бы дошли, страж ты наш неизменный! - ласково сказал ему отец Сергей.

- Нет, нет! Я быстро! - засуетился Володя.

На крылечке Анжела брезгливо отстранилась от художника - порог дома она даже не переступала, топталась в сенях и громко прошептала матушке Елене:

- Тут у него не простудой пахнет, а много хуже, держитесь подальше... Как только люди не живут!

### 3

Весь крутой взлобок берега под храмом, прогретый щедро солнцем, зеленел робкой первой травой. От разлившейся реки веяло свежестью, холодом; темная поверхность воды поблескивала неподвижной гладью, и только по середине, на стремнине, течение несло льдины, бревна, коряги, всякий мусор. Временами течение вроде б как замедлялось, стремнина очищалась, но за речной излучиной грозно нарастал гул, что-то губельно трещало, и вдруг ахал точно взрыв; опять река несла вырвавшиеся из затора льдины.

После потаенного сумрака в храме глаза слепило солнце, и со взгорка к воде по узкой деревянной лесенке мы с отцом Сергием спускались боязливо, цепляясь за хлипкие ненадежные перила. В храме, обычном, деревенском, с простоватой росписью на стенах, ткаными домашними половичками, постеленными на дощатом полу, неожиданным было увидеть резной иконостас из нежного розового мрамора. На витых столбиках его и арках над образами каждый крестик, листочек, ангелок вырезаны тщательно и с любовью. Предзакатное солнце заглянуло в окна храма, и мрамор засветился тепло.

- Откуда ж чудо такое?! Это в Москве или в Питере вряд ли где увидишь!

Отец Сергей в ответ на мои восклицания улыбается: дескать, не жалеешь теперь, что сюда поехал, и потом неторопливо рассказывает, глядя на проплывающие по реке льдины:

- Уж как слышал... Село здешнее Пожарским не потому, что когда-то горело, называется. В начале девятнадцатого века отошло оно во владение князю Пожарскому, последнему в роду. Бездетен был князь и уже немолод, переживал, что не оставит по себе наследника. Однажды приехал он из Питера имение свое новое глянуть, а тут старец столетний при храме обретается, проведал он про князеву беду. «Укрась, говорит, сей храм, мил че-

людей, во славу Божию, чтоб слава о нем по всей округе пошла! И тебя Господь наградит».

Князь богомольный был, пораскинул умом туда-сюда и заказал в Питере мастерам иконостас из итальянского мрамора. Привезли его, установили. Красотища! И предсказание вскоре сбылось: понесла княгиня и родила долгожданного сына. С той поры и стали сюда приезжать и молить Господа о чадородии отчаявшиеся супружеские пары...

Эту историю моя матушка Анжеле рассказала. Лежали они в одной палате. Моя двойней разрешилась, а та скинула, и врачи вдобавок приговор вынесли - детей иметь не сможет. Но на все воля Божья...

#### 4

С раннего утра еще в храме пустовато. К отцу Сергию перед аналоем жметесь на исповедь очередишка из нескольких старушек, да «новые русские» наши, Алик с Анжелой, стоят неподалеку от царских врат, напротив храмовой иконы Богородицы. Зажгли большие, самые дорогие, какие нашлись, свечи, перекрестились робко и неумело, взялись за руки; оба вглядываются, не отрываясь, в богородицын лик.

С клироса зачастил «часы» старушечий голос; в храм мало-помалу стал набираться народ. В конце литургии мы с отцом Сергием, собираясь выйти на крестный ход, уже едва протискивались к выходу из храма вслед за старичком-хоругвеносцем и певчими.

Тут же стояла вместе со стайкой ребятишек володина младшая девчонка. И надо же - в узком проеме выхода на паперть кто-то невзначай подтолкнул меня под локоть, и кадило в моей руке, звякнув цепочками, ударилось об створку ворот. Живыми светлячками разлетелись угольки, и один из них обжег нежную щечку володиной дочки. Девчужка испуганно закрыла личико ладошками, закричала: «Мама, мамочка!..» - и ткнулась в обтянутые джинсами ноги Анжеле. Молодые на правах почетных гостей шли вплотную за священнослужителями. Анжела подхватила девочку на руки, прижала к себе, успокаивая, что-то зашептала на ушко.

Мимолетной заминки никто и не заметил, разве что я, старый неуклюжий медведь, да отец Сергей и «новые русские» наши. На верхотуре, на звоннице задорно перекликались колокола, над народом, потихоньку выходящим из храма, торжественно-радостно плыло: «Христос воскрес из мертвых, Смертию смерть поправ И сущим во гробех живот даровав. Христос воскрес из мертвых!..»

Анжела с девчонкой на руках обошла кругом со всеми вместе храм; потом уже, когда закончилась служба и разошлись по домам истинные прихожане и случайные «захожане», мы обнаружили ее сидящей на лавочке за домиком трапезной. Девчонка спала, положив голову Анжеле на плечо; на щечке ее краснело пятнышко ожога.

- Тихо, тихо!.. - зашипела Анжела на бросившегося к ней обрадованно Алика. Тот еще был и весь мокрехонек, с ног до головы, - на крестном ходу таскал за батюшкой «иорданчик» со святой водой для кропления мирян.

- Где этот ваш... Володя? - по-прежнему шепотом спросила Анжела и, не дожидаясь ответа, для пущей, видимо, убедительности округлив глаза с размазанной краской с ресниц, сказала Алику с капризными и одновременно приказными нотками в голосе:

- Все, солнце мое! Решено - берем девочку себе!.. И на тебя, посмотри, она даже немножко похожа!

Алик согласно кивнул.

Володя с Иоанной легки на помине: подошли скорым шагом, встревоженные, видно, кто-то из ребятишек нанаушничал о происшествии.

Иоанна хотела взять у Анжеле спящую девочку, но не тут-то было: та и не подумала ее отдавать, обняла крепче.

- Мы хотим ее удочерить. Надеюсь, вы не против? - может быть, впервые просяще, а не привычно требовательно: дескать, все нам дозволено, проговорила она. - У нас ей будет хорошо, получит прекрасное воспитание.

У Иоанны зарделись щеки, она решительным движением высвободила захныкавшую спросонок дочку из объятий Анжеле.

- Не кукла она вам! - сказала сердито. - Мы своих детей не раздаем!

И, гордо запрокинув голову, пошла, прижимая дочку к себе. Володя, оглядываясь, побрел за нею.

- Вы же бедные! Какое будущее девочку-то ждет, подумайте! - кричала им вслед Анжела. - Ну, не понимают люди своего счастья!

И уж последнее выдохнула горько, чуть слышно:



- Она же меня мамой назвала...

Алик, задрвав капот джипа, стал сосредоточенно копаться в моторе, Ангела забралась в салон и сидела там с отрешенным видом, вытирая слезы. Матушка Елена, подобравшись потихоньку к ней, зашептала что-то успокаивающе. Я пошел искать отца Сергия - пожалуй, пора и честь знать, в дорогу собираться. А он тут, неподалеку, был, слышал все:

- Молодцы, однако! - похвалил. А кого - и непонятно.

Когда джип подкатил к выезду из села, впереди замаячил вдруг Володя с каким-то свертком в руках.

- Подождите! - он развернул сверток; это была картина. Белоснежный храм опоясывал по изумрудно-зеленому холму крестный ход; сверкали хоругви, за священством шел принаряженный празднично люд, взрослые и дети. И в напоенном весною воздухе, в солнечном радостном свете разливалась благодать. «Красная Горка!»

- Последний штришок дописал... И дарю вам ее, дарю! - свернув холст, Володя совал его в окно автомобиля Ангеле и Алику. - Простите нас...

Всю обратную неблизкую дорогу ехали мы, не проронив и слова: каждого, видно, одолевали свои думки. Только у въезда в город Ангела, словно очнувшись от тяжкого забытья, попросила нас тихо:

- Помолитесь за Александра и Александру, так нас при крещении нарекли...

## ПОЖИНАТЕЛИ ПЛОДОВ

### Повесть

#### 1

Прозвище Болонка злые языки прилепили отцу Флегонту Одинцову уже в зрелых годах, будучи в протопопах, приклеили намертво за его задорно ниспадающую на самые глаза седую, будто изваянную в муке, челочку, за мелкую в кости, но чересчур подвижную фигурку, а пуще - за вспыльчивый нрав, когда старичок напоминал маленькую злобную собачонку, готовую отважно вцепиться в чью-нибудь широкую штанину. Хотя порывы эти отец Флегонт умел в себе усмирить: тут же начинал безошибочно потягивать в ту сторону, куда ветер дул, и за долгую службу ни разу не подвергся опале и все возможные награды получил.

Было ему за восемьдесят; в епархии давно числился за штатом, хотя в храме, где верховодили теперь молодые священники, еще иногда служил. Держал он «худобу» - в кирпичном теплом гараже возле дома в стайке трескуче блеяли, стуча копытцами по настилу, две круторогие козы.

- Эх, миленькие! Соскучились! - отец Флегонт каждое утро приносил им пойло и, надав зеленого с клевером сенца, подлезал с ведерком с натянутой поверху марлей к тутому козьему вымени.

И сегодня с дойкой старик управился споро, повесив на ворота гаража замок, бережно понес ведерко с парным молоком через двор и с продышками на лестничных площадках взобрался на четвертый этаж. Василиса еще спала - в лицее выходной. Отец Флегонт осторожно приоткрыл дверь в спальню и залюбовался разметававшейся во сне девушкой. Господи, как время летит! «И все для нее, все для нее...» Пусть спит.

Есть еще время погулять по улице. Старик любил этот ранний утренний час, особенно весной, когда ярко и радостно светило поднимавшееся солнце, под ногами похрустывал настывший за ночь в лужицах ледок, а уже с застрех крыш принималась робко звенеть капель. Отец Флегонт неторопливо брел по улочке, даже не встречая еще прохожих - над крышами домов начинали только куриться из печных труб первые дымки. Доходил он всегда до приметного в улице места - стоящих в каре и намертво сцепившихся могучими сучьями столетних лип, под которыми голубел крашеной «вагонкой» на стенах дом, мало чем отличный от соседних. Но Одинцов помнил здесь, на этом месте, хоромы другие: двухэтажные, барские или купеческие, и до того ветхие, с провалившимися потолками и полами, что семья, вселенная сюда после революции, теснилась кое-как в паре комнат внизу...

В первую военную осень и направлялся сюда к зазнобушке на короткую побывку перед отправкой на фронт он, двадцатилетний лейтенант Флегонт Одинцов, пытаясь унять в себе противное тягостное чувство, неотступно сосущее сердце. Была тому причина...

Парашют, запрятанный под болотную мшистую кочку, нашел поздний грибник. Диковинный роскошный трофей он протащил напоказ по пристанционному поселку и напоролся на участкового милиционера. Тот недолго соображал что к чему: хвостуна за ушко и звякнул по телефону куда надо.

Взвод солдат прочесывать лес повели два лейтенанта НКВД - только что после училища - Клинов и Одинцов. Еще сельсоветчики снарядили им в подмогу десятка два переполненных боевым духом стариков, свистнули и допризывную молодежку, комсомольцев. Винтовки были только у солдат, по пистолету - у лейтенантов, остальные вооружились кто чем: вилами, колами, топорами.

Но трое парашютистов с высоко поднятыми руками сами вышли на опушку леса. К Клинову, засевшему в кабинете председателя сельсовета, на допрос их водили по одиночке. Флегонт прошел в «предбанник», прислушался. Из-за неплотно прикрытой двери доносились громкие восклицания Клинова вперемешку с матюгами. Сквозь щель Одинцов увидел лицо однокашника, злое, с выступившими на скулах багровыми пятнами.

- Ты будешь говорить правду, гад?!

Капризный, красиво очерченный рот Клинова хищно кривился, блестящие белые зубы закусывали алую нижнюю губу. Лейтенант отклонился назад и смачно, с оттяжкой, пнул острым носком сапога в какой-то темный мешок, лежащий на полу. Раздался стон, и Одинцов, обмирая, различил окровавленного человека, шевелившегося возле ног Клинова.

- Будешь говорить?! Будешь говорить?! - пылая разругавшимися щеками, все больше распался Клинов, волгузя сапогами дергавшееся на полу скрюченное тело.

Человек, страшно вскрикнув, поднялся на колени и на четвереньках, запрокидывая залитое кровью распухшее лицо, пополз к Одинцову. Тот не заметил, что дверь предательски отворилась и он, остолбенелый, торчит на пороге на виду.

- Товарищ милый, дорогой! Вы хоть мне поверьте! Мне, командиру Красной Армии! Не было иной возможности из плена бежать... Мы же сразу сдались вам. Чего же еще он хочет?!

По разбитому лицу диверсанта текли слезы, прожигая в запекшейся кровавой коросте на щеках светлые проточины. Он, обнимая Одинцова за ноги, еще что-то шептал распухшими черными губами. Флегонт наклонился, чтобы помочь ему подняться, но, вздрогнув от окрика и топота солдатских сапог, поспешно выпрямился, пряча, как школьник, за спиной руки. Солдаты, подхватив пленного под локти, оттащили его в дальний угол кабинета. Клинов, ехидно улыбаясь, подошел к Одинцову вплотную, уставился ему в глаза своим холодно-голубым взглядом.

- Врагов жалеет? Вон как жалость-то проняла! В училище еще я к тебе присматривался: вроде как не наш ты.... Смотри, рапорт подам!

Пленных увезли. Растерянный Флегонт забыл в «предбаннике» планшетку, пришлось вернуться. Там всю орудовала уборщица.

- Кровищи-то налили, забрызгали все, даже стены! - ворчала старуха. - Били плененных-то крепко. Криком кричали, сердешные. Солдатик забежал ко мне - дай, бабка, тряпку! И затерли второпях, худо... Перемывать надо.

Одинцов заметил посередине темного пятна у ножки стола в кабинете белый комочек. Зуб!

- Я уж выгребла не один... - старуха, подняв зуб, бросила его в свое ведро...

В городке, после встречи с невестой Варей, после поцелуев, объятий, ласковых слов, Флегонт вроде бы как подзабыл злорадное обещание Клинова написать рапорт. Но пролетел день - и Одинцов не находил себе места.

Ночью плохо спалось. Он, стараясь не потревожить Варю, вылез из-под одеяла, ежась, торопливо натянул обмундирование. За окном густел непроглядный сумрак, долго еще было до зябкого серенького рассвета. На крыльце на холоде не рассидишься, и Флегонт, выкурив папиросу, поспешил обратно в уют вариной комнаты, но по берущим за душу своим скрипом разохшимся половицам в длинном коридоре старался ступать как можно тише, чтобы кого-нибудь не потревожить.

И тут он услышал наверху, на втором этаже шаркающие, неспешные шаги, даже почудилось, что кашлял кто-то. Знать, не одному Флегонту в раннюю пору не спалось. Один-

цов подумал на хозяйку дома, дальнюю родственницу Вари, Анну Гасилову, уже в годах женщину, но потом, вечером, подметил, что хозяйка с сыновьями-подростками и дочерью готовятся к ночлегу в смежной с вариной комнате.

- Наветила никто не живет, - ответила на вопрос Варя.

Но Флегонт на другое утро спозаранок пробрался по коридору так, чтоб уж точно ни одна доска в полу не скрипнула, бесшумно взобрался по лестнице - изучил ее ступеньки днем. За тяжелой, с трудом поддавшейся дверью в ноздри ударил запах керосиновой гари, возле белеющей в темноте печи затрепетало пятно света, Флегонт успел заметить тень, отбрасываемую чьей-то согбенной фигурой с «летучей мышью» в руке. Минута - и все исчезло.

Одинцов прокрался к тому месту, долго шарил ладонями по гладко отесанной стене, пытаясь нащупать дверной проем - напрасно. Заглянул он и в незапертые комнаты - пусто, лишь кучи всякого хлама угадывались в потемках. Флегонт уж начал прощупывать кирпичи печи, извозив руки в побелке, но забрезживший в окнах рассвет заставил его ретироваться - не увидел бы кто из жильцов.

Первой мыслью Одинцова было - шапку в охапку! - и рвануть в местный отдел НКВД, он даже предвкушал, как затаившегося злобного врага выкуривают из дома. Надо - по бревнышку хоромы раскатят, и овчарку приволокут, чтобы унюхала! Но приутих - вдруг просто померещилось, поблазило спросонок. На смех поднимут!

- Сам все разведую! - твердо и отважно решил Флегонт.

Варя, хлебнув чайку, собралась на работу быстро, Флегонт пошел провожать ее, оставив незапертыми дверь и окно в комнате. Свернув за угол, он вроде б как всполошенно вспомнил об этом.

- Воровать-то там нечего, - попыталась успокоить его Варя, но Одинцов с озабоченным видом поспешил обратно.

За сарайками, за высоким плотным забором, да еще пригнувшись, можно проскочить в дом незамеченным - Флегонт точно рассчитал. Растворив окно, он забрался внутрь комнаты и затих. Лестница, ведущая наверх, была возле стенки, так что самый тихий звук чьих-нибудь шагов по ней был бы отчетливо слышен.

Хлопали двери, топились печи. Хозяйка со своими чадами готовила еду, обряжала скотину. Долог показался Одинцову день. Флегонт уж поклевывал носом и уснул бы, но тут услышал скрип ступенек лестницы - кто-то поднимался по ней. Одинцов осторожно выглянул и, дождавшись хлопка двери наверху, взлетел по ступенькам следом. И вовремя - Гасилица стояла к Одинцову спиной в проеме открывшейся возле печи потайной дверцы.

- Руки вверх! Не двигаться! - срывающимся фальцетом истошно взвизгнул Флегонт и, подскочив, сунул ойкнувшей хозяйке под бок ствол пистолета.

Брякнулась об пол кастрюля, раскатилась исходящая парком рассыпчатая картошка; стоявший посреди крохотной комнаточки высохший, заросший седым волосом старичок захлупал глазами, как сова, вытащенная на свет. Бояться было нечего - руки старика пусты, в комнате он один. Гасилица опамятовалась, покосилась испуганно-любопытным взглядом на Одинцова.

- Флегонт Иваныч, ты бы убрал наган подальше от греха. Неровен час - пуленьешь! А это... свояк мой, все хотела знакомство с тобою свести, да больной он, почти не встает.

- Документики имеются? - прервал воркотню хозяйки Флегонт.

- Как же, все есть. Печник он бывший, раньше-то мастер нарасхват, а ноне... - обреченно махнула Гасилица рукой и обратилась к старику: - Ты бы прилег, Андреюшко, а мы вниз пойдём!

Флегонт, спрятав пистолет, по-настоящему разглядел деда, пока хозяйка усаживала того на кровать и поила из кружки остывшим чаем, присмотрелся, что пальцы у гасилициног свояка тонкие и длинные, с бледно-матовой кожей - нет, не такие у печников, у тех раздавленные, избитые. Но пуще - в облике старика почудилось что-то знакомое.

- Не убежит никуда, песок сыплется! - решил Флегонт, но пока на всякий пожарный случай замок на дверь повесил и ключ в карман опустил. Нужно было придумать, что с дедом делать, главное, вспомнить - где встречал его.

Одинцов мучительно напрягал память, перебирая увиденные ранее лица, отвечал недовольно и невпопад Варе. Несколько раз в комнату за какой-либо надобностью заходила Гасилица, садилась напротив Флегонта и, сложив на коленях большие нагруженные руки, смотрела на него настороженно и умоляюще. И он, наконец, вспомнил! Конечно, в ту пору старик был много покрепче и побойчее, и вид у него был не как сейчас - беспомощный и

жалкий, а строгий и недоступный. Это же владыка Ферапонт! Викарный архиерей из города, в котором родился Одинцов. Что в детстве запомнилось - никогда не забудется! Он тогда стоял возле собора в высоком черном клобуке и с посохом в руке!

Флегонт, ликуя, что память не дала сбой, даже напряжился весь, готовый конвоировать старика куда надо. Все они, «духовные», враги народа, нынче по лагерям, а этот, значит, затаился под чужими документами, тоже мне хозяйкин свояк! Тут и на обещанный Клиновым рапорт начальство, пожалуй, особо смотреть не будет. Такая птичка попалась!

- Вы епископ Ферапонт? - отомкнув замок, прямо с порога громко спросил Одинцов. И был удивлен - владыка не стал запирается.

- Да, - глухо ответил он и перекрестился на «красный» угол, где перед иконами тускло мерцал огонек лампы. - Вот и мой черед настал, - владыка стал тихо произносить слова молитвы.

Флегонт подошел к окну, отдернул занавеску. Во дворе шумно боролись гасилихины пацаны, сама хозяйка, напару с дочерью снимая высушенное белье, с тревогою поглядывала на окна. «А ведь и их тоже всех! - мелькнула мысль у Одинцова. - Укрывали...»

Владыка Ферапонт, завершив молитву, обернулся, и луч солнца из-за занавески пролился на его бескровное, с четко выделявшимися старческими коричневыми пятнами лицо, заставил затрепетать ресницы. А Одинцов вдруг представил себе разбитое в кровь лицо того пленного «диверсанта», в смертном отчаянии обхватившего его колени... Нет, больше этого не будет! Он подошел к архиерею и, сложив ладони, приклонив голову, попросил:

- Благословите, владыко! Мне на фронт идти.

И ощутил почти невесомую ладонь на своем затылке...

На станцию возвращался Флегонт следующим утром - кончилась побывка. Он еще не знал - не ведал, что поздним вечером того же дня, когда допрашивали диверсантов, во время бомбежки станции шальным осколком был убит лейтенант Клинов.

## 2

В голубеньком домике под липами на месте гасилихиного родового пепелища, откуда все еще в глубоком раздумье побрел, тяжело ступая, старый священник отец Флегонт, жили теперь внук хозяйки Степан и его мать. Сыновья Гасилихи не шибко ладили промеж собой. Оба неказистые, мелковатые в кости, с ранней плешью, обличьем очень схожие и оба любившие одинаково обзывать один другого - гадким карликом, они до жути различались характерами, и поэтому, наверное, с малолетства не забирали их мир.

Степкин отец вскоре после войны семнадцатилетним пацаном загремел на срок - залез с дружками в ларек, где его и сцапала милиция; так ершистый и неприветливый, он после отсидки стал еще злей и угрюмей. Однако это не помешало ему высватать за себя в дальней деревеньке старую деву. Дому пришел конец - молодожен раскатал его на дрова и поставил новый. Другой же брат женихался долго, все выбирал. Нашел, наконец, себе крутобокую копалуху, и детки у них полезли, как опята весною на пень. Обоих братьев изломал и допек до поры лес...

Степкин отец работал вальщиком в паре с соседом; вместе выпили море разливанное, спали в «тепляке» спина к спине, из одного котелка хлебали. Отец заготовил для себя «костер» хлыстов, как-то наведаясь на лыжах на делянку попроведать, а с нее трактор чужой с возом улепетывает. Отец - вдогонку! Из кабины соседушко высунулся и, зная прескверный гасиловский характер, метнул топор. Степкин отец успел пригнуться - топор воткнулся позади его в ствол дерева - и прихваченным с места разоренного костерища крюком для подцепки бревен принялся обидчика из кабины выковыривать...

Со «срока» отец вернулся больной: заходил в кашле - как только легкие через рот не вылетали; ссохшийся, с землистым изможденным лицом, он недолго оклемывался, опять пошел ворочаться с лесинами. Куда больше? Всегда угрюмый, без словечка, он тихо-мирно заваливался после работы спать, но в дни, когда ему удавалось зашибить «халтуру» и крепко выпить, становился зверь зверем. Крушил в доме все подряд, выгонял жену, Степка с сестрою улепетывали на улицу опретью. Подрастающему сынку отец запросто мог дать зуботычину: только искры из глаз. А поутру, подняв прокравшихся обратно в жилище и забывшихся тревожным сном домочадцев, тащил Степку в лес драть корье или рубить дрова.

Раз, так пьяно закуражившись, отец наложил на себя руки. Степка на похороны не ходил, убежал к другу своему Оське, прихватив с собою из ящика под кроватью бутылку

водки. Тем и помянули. Он не знал: осудила его или нет за это родня, никто слова не сказал, да и про отца, не слишком до родовой тороватого, стали скоро забывать. А Степан, когда худо-бедно дожил до «сорокашника», об отце вспоминал все чаще и чаще, без прежней обиды: «Вякнул бы он сейчас что, посадил бы я его на забор, и вместо петуха пусть бы кукарекал!..»

Гасилов нигде не работал уже несколько лет. Это прежде бы, в «совковые» времена, его прищучили менты и отправили куда-нибудь вкалывать на стройки народного хозяйства; теперь же строек тех и в помине не было, а полгорода моталось-мыкалось без работы.

Степка когда-то трубил три года в морфлоте на Севере, после «дембеля» в училище гражданской авиации сумел поступить и летал бы, может, на трансконтинентальном лайнере или, на худой конец, на «кукурузнике», но... Приехав домой на побывку, он втрескался по уши в гостившую у соседей девчонку. Никогда на танцульки не ходил, с девками не целовался, ошивался все с верным другом Оськой Безменовым по охотам и рыбалкам, а тут, краснея и пыхтя, даже в любви попытался объяснить. Девчонка - верть хвостом: у ней таких Степок - пруд пруди! Она в далекий город, и влюбленный Степа за ней, а оттуда, с чужбины, еле ноги унес. Времечко меж тем летело, и «самоволку» Гасилову в училище не простили...

Дома он устроился радистом в «гражданскую оборону» - в ВМФ кое-чему научился - и не заметил, как год за годом жизнь до сорока и докатилась. Вроде бы жил, как все, только почему так: семья - одна мать, руки-ноги болят и сердце порою норовит из груди выскочить, и работы никакой нет, вольный казак? Со здоровьишком-то ясно: самогонку приловчился гнать черт знает из чего и не одну цистерну выцедил; семьей бы тоже мог обзавестись, да все никак не удавалось забыть первую «азнобу», перед другими, не успевая толком с ними познакомиться, напивался и выделялся. Не только девки, но и молодые разведенки, вдовушки махнули на такого кавалера рукой.

Один верный, с детства, друг Оська Безменов остался. На его всегда будто удивленно вытаращенные водянистые глаза, ссутуленную и высохшую, как мумия, фигурку слабый пол не клевал, так что со Степаном они состояли теперь на равных. Разве что Гасилов не засовывал, как Оська, периодически палец в ухо и, блаженно мыча, не тряс головой.

Оська приходил и трещал без умолку, недаром прозван был - «армянское радио». Степан нарезал для закуски соленые огурцы, хлеб, разливал по стаканам самогонку, даже слушая по привычке в пол-уха его болтовню, узнавал все новости в городке, про все оськины невзгоды и радости.

Мать Оськи преставилась рано; отец остался с кучей дочек, Иосиф - один сынок. Старенький домишко их походил на изрядно подпившего мужичка: припав набок к земле, все норовил совсем упасть, да каким-то чудом держался - у отца, инвалида войны, подправить жилище руки, видно, не доходили. По детдомам, однако, хотя порою и хлеба на столе не водилось, никого из младших не раздали. Старшие девки выросли, разъехались жить самостоятельно; остались Оська и младшая сестра Танюха. Оську отец выделял из прочих и жалел больше: однажды пьяный ненароком спихнул спящего пацана с печной лежанки. Очутившись на полу, Иосиф не взревел, лишь тихо замычал, суча ножонками. Папашка услышал-таки его, слез с печи и испуганно прижал к себе, ощупывая голову. Оська-то оклемался, но отец потом, в подпитии, жаловался, что нащупал тогда на оськином темечке приличную вмятину...

Степка догнал Иосифа в шестом классе, где тот мирно досиживал третий год. За одной партией они добрались до восьмого, после Оська ушел работать в лес, да и застрял там на всю оставшуюся жизнь. Но был он похитрее, что ли, прочих: деревья не валил, лесины не таскал и к стынущим на морозе трелевочникам и прочей технике близко не подходил, разве что по большой просьбе, изнывая зимой от безделья, обрубал топориком сучки на поверженных стволах. В остальное время Оська числился лесником и не просто обходил свой участок, а постоянно несся рысью по ему одному ведомым тропам - «набор костей и кружка крови»

Занемог, занедужил от смертной болезни отец, но где горе, там и радость - инвалиду войны все-таки дали квартиру и вовремя: в домишке вздыбился возле просевшей печи пол и дугою выгнулись потолочные балки. Едва выехали, в доме случился обвал; не стало вскоре отца, и остались Оська с сестрой жить в новой квартире...

Все это Степан выслушивал уже в сотый, если не больше, раз и, взяв стакан, морщился, представляя засидевшуюся в девках и все еще красивую оськину сестру, злую и брез-

гливую гримасу на ее лице, когда забегал иногда навестить друга.

- Опять пить? Алкаши несчастные!

Танька захлопывала дверь; Оська за стенкой боязливо не подавал голоса. А было время еще, наверное, до школы... Степка и Танька не лезли в шумные затеи уличной ребячьей компании, везде ходили и играли вдвоем, купались гольшом в теплой затхлой воде пруда и стали стыдливо избегать друг друга, лишь когда задразнили их завистники: «Тили-тили-теста, жених и невеста». Куда все ушло?..

Степан, опрокинув в себя первый стакан, знал, что будет дальше и что не случится ничего нового: у Армянского Радио внезапно «сядут батарейки» - Оська, замолкнув на полуслове, повалится под стол и продрыхнет там до утра, а сам Степан будет дальше тянуть самогонку в одиночку, пока не заснет, уронив голову на столешницу.

Пьянел Гасилов быстро, но шальная злорадная мыслишка не успела увязнуть бесследно в хмельном дурмане... Бедный Иосиф, не переставая бормотать, свалился от толчка в плечо на пол, и вдруг все перед ополоумевшими глазами его закрутилось. Это Степан стремительно закатал приятеля в домотканную цветастую дорожку и придавил больно подошвой оськину скулу.

- Блей козлом!

Иосиф возражать не стал, заблеял жалобно, а Степан, стоя над ним, раскачивался из стороны в сторону, тупо пытаясь придумать новую пытку. Все равно незлобивый Оська за претерпеваемые порою мучения сердца на друга долго не держит, замиряется, едва стоит тому при встрече подмигнуть да щелкнуть выразительно пальцами по горлу.

- Изувечишь ведь дурака, сидеть за него! - прибежала из другой половины дома на шум мать.

- Уйди! - свирепо завопил Степан.

Пока он с матерью переругивался, Оська сумел высвободиться из «кокона» и на четвереньках, открывая лбом попадавшие по пути двери, улизнул на улицу. Мать заплакала, негромко запричитала; Степан, залудив «дозу», уткнулся лицом в ладони:

- О-ох, тоска зеленая! Сдохну!

### 3

Теперь отец Флегонт втайне гордился тем, что не «сдал» тогда, давно, на лютую расправу немощного старика епископа Ферапонта, хотя ни разу об этом никому не рассказывал. Опасался больше по привычке...

В конце войны его вызвали к высокому начальнику. Флегонт Одинцов был уже не зеленым младшим лейтенантом, а бывалым капитаном СМЕРШа, но шел туда с откровенным страхом - слышал, что многие и из «своих» оттуда не возвращались и куда девались - догадывались все, да помалкивали. Начальника того он видел как-то мельком и то издали: в защитном френче без погон вышел тот из «эмки», плотно загороженный спинами челяди, и тут же исчез в подъезде управления - пузатый, коротконогий толстячок с огромной сверкающей лысиной.

Выслушав доклад еле пересилившего сушь в горле Одинцова, толстяк, мягко ступая, отошел от полузашторенного окна; Флегонт, избегая взгляда бесцветных, ничего не выражающих глазок, уставился поверх - на торчащие по обе стороны лысины вихры жестких, как грубая щетина, волос.

- Капитан, ты крещеный? - огорошил толстяк вопросом.

Одинцов замямлил растерянно, что, мол, не помнит толком: может быть, бабка его в неразумном младенческом возрасте и таскала в церковь крестить, а сам вдруг отчетливо, словно наяву, увидел укрывавшегося в потайной камерке архиерея и почувствовал, как побежали зябкие мурашки по спине - наверное, все стало известно. Показалось даже, что скрипнула позади дверь, и вот-вот кто-то схватит за локти и заломит руки назад.

Но толстяк приветливо кивнул на табуретку, приглашая присесть; сам устроился в кресле за столом.

- Так это еще лучше, - он нацепил на картошину носа очки и стал на кого-то очень похожим. - Для ответственного задания, какое мы хотим вам поручить... Война кончается, фрицам каюк, но на идеологическом фронте, сам знаешь, капитан, мира не предвидится. Вон за войну сколько церквей пришлось пооткрывать, а кто же за служителями их длинногривыми присматривать будет? Особо за старыми, из лагерей выпущенными недобитками? То-то! - толстяк, видимо, для пущей убедительности потряс перед собой коротким, будто обрубленным, указательным пальцем и ткнул им в лицо Одинцову. - Выслушай за-

дание, капитан!

Одинцов поспешно встал, вытянулся, прищелкнув каблуками.

- А это уже будет ни к чему! Надо отвыкать напрочь! - довольный, хмыкнул толстяк. - Нужен нам среди длинногривых свой, сподручнее ему будет за ними приглядывать, в душу влезать. Так что принимай, капитан, другой облик, не все тебе диверсантов и дезертиров ловить!

- Как? Да я... Я и в Бога-то не приучен верить! - совсем растерялся Флегонт.

- Надо будет - поверишь! Выполняйте приказ! Инструкции получите в кабинете... - толстяк назвал номер и, нажав кнопку на столе, кивнул выросшему на пороге дежурному. - Проводи!

Выходя из кабинета, Одинцов оглянулся. Толстяк, закуривая, опять отходил к окну; в просвет между плотными шторами проглянуло солнце, и на противоположной стене заколебалась тень - черный дымящийся шар головы с остро торчащими рогами. Показалось, опахнуло не запахом дорогого табака, а серой...

На другой день Флегонт в застиранной заштопанной гимнастерке стоял на службе в открытом недавно храме на окраине полуразрушенного города, косясь на закутанных в черные платки старух, неуверенною рукою пытался сотворить крестное знамение и как-то бездумно просил у того, в кого не веровал, помощи на неправое дело.

Неправым то, что он тогда начинал добросовестно исполнять, Одинцов стал считать много позже, а пока втягивался в таинственную церковную жизнь, быстро осваивал премудрости службы и, рукоположенный в священники, с виду изо всей правды проповедовал с амвона прихожанам о жизни во Христе, ни на минуту не забывая, зачем был поставлен, - «глаза и уши» работали у него исправно и безотказно.

Только вот со временем беда приключилась... Одинцов порою ощущал, как его буквально раздирало надвое привычное чувство долга и «ростки веры». В детстве заложенные богомольной бабкой семена, присыпанные толстым слоем мертвого пепла, где-то в сокровенной глубине души, оживая, прорастали и потихонечку пробивались к свету...

Того толстяка - рогатого беса арестовали, объявив его, естественно, «врагом народа», а вместе с ним и целую цепочку подчиненных. Одинцов все время не забывал, что он - одно из ее малых звеньшек и что уж если ее потянули... В выстуженном морозом храме, где не то что мало-мальский звук, но и слабый шорох четко отдавался под высокими сводами, отец Флегонт молился один. Робко теплились в полумраке огоньки свечей перед иконой Спасителя, отражались в серебристом венчике над потемневшим древним ликом; отец Флегонт, стоя на коленях, бил и бил земные поклоны, сокрушаясь сердцем, шептал страстные слова молитв. Ему казалось, что стоит только выйти из-под спасительной сени Божьего храма, и тут же, не позволив ступить и шагу, его на паперти жестоко схватят и повлекут в ночь железные, не знающие ни малейшей жалости руки, и - попробуй, дернись или вскрикни! - тотчас промеж лопаток больно и страшно упрется холодная сталь оружия. И возврата не будет, а лишь адовы муки, после которых пуля - желанное избавление.

Одинцов облизывал с губ соленую влагу, но слезы опять и опять застилали ему глаза, и, в конце концов, он обессилено распростерся ниц на холодных каменных плитах пола. Обошла чаша сия, не тронули...

Сколько уж с той поры минуло лет? Теперь «перестроенный» народ валом повалил в распахнутые двери храмов и помолиться, и просто из любопытства. Никто в открытую не насмеялся над служителем культа, чернеющим в людном месте широкополой рясой, не передразнивал и не улюлюкал вслед. Даже самые отпетые безбожники, не желая выглядеть дураками и отставать от крутых перемен в жизни, напускали на себя смиренный и почтительный вид и по новой «моде» приглашали священнослужителей освящать новостройки, мосты, квартиры, самолеты, виллы, рынки, и под стрекот телекамер готовно подставляли довольные умильные рожи под кропило батюшке.

#### 4

Незапертая калитка распахнулась настезь - и Степан обмер: пятнистое чудо-юдо ввалилось во двор, налитыми кровью свирепыми глазами уставилось на Гасилова; с яркого языка, высунутого промеж огромных белоснежных клыков, капала слюна. Заметив, что собачищу крепко держит на поводке коренастый чернявенький мужичок с бородкой, Степан поуспокоился. А тот, заломив бровь, прищуривая цыганский, с грустинкой, глаз, спросил, растягивая слова:

- Ты по фамилии Гасилов будешь?

Получив в ответ растерянный кивок, он отпихнул ногой собачью морду и протиснулся во двор. Одет был незнакомец в невзрачный пиджачишко и спортивные с яркими лампасами штаны; за плечом на широком ремне вниз грифом висела гитара.

- Савва я, не помнишь? Брательник твой.

Обняться бы положено, но Степан лишь недоверчиво пожал протянутую ему маленькую ладошку.

- Ты, это самое... - брательник откинул полу пиджака и блеснул стеклом посуды. - Организовал бы, а?

- Я мигом! - Степан, отбросив всякую настороженность, метнулся в дом за стаканами и закусью несказанно обрадованный - тут без разницы, хоть родственник, хоть хрен с большой дороги или черт с рогами.

Савву, черноголового шустрого пацана, лет на пять постарше, он помнил смутно - едва померла бабка Анна, тот с матерью уехал на житье в большой город. По родне потом разнеслось, что, повзрослев, Савва вышел в большие люди - работал следователем; кое-кто из земляков видал его в милицейской форме. Но точно все были поражены, когда узналось, что Савва Гасилов вдруг стал... попом. Прикатив за какой-нибудь надобностью в областной центр, городковская родова норовила непременно заглянуть в собор, где, тихо в ладошку ахая, признавала в обросшем курчавой бородкой, облаченном в широкую «греческую» рясу служителя незабвенного Савву. Тот, видимо, предполагая присутствие ближней и дальней родни, неприступно хмурил брови, поглядывал грозно. Но родня и так к нему лобызаться не лезла, побаивалась, а уж дома-то рассказней было! Эх, Савва, высоко ты взлетел, не нам чета!

Потом зловредный слушок прошел, что Савву-то из попов турнули, только кто этому верил, а кто нет...

Степан Гасилов, поправив головушку, приглядывался теперь к гостю с благодарно занявшейся, наконец, братской любовью; Савва, опровергая напрочь сплетни сгорающих от черной зависти земляков, оказался свойским мужиком: устроился поудобнее на чурбаке вместо стула, взял гитару, тронул струны и запел:

- Гори, гори, моя звезда!..

Он устроил во дворе гасиловского дома настоящий концерт. Захмелевший Степан, пустив слезу, попытался, подвывая, подтягивать, да куда там! Заслушав саввин сочный баритон, замедляли шаги прохожие на улице, соседи пораскрывали окна; пел Савва не влятную похабщину, какую услышишь из любой подворотни, а песни - их и по радио не всякий день крутят: «У церкви стояла карета...», «Вот кто-то с горочки спустился...» Степан, и половины слов не зная, затосковал бедный.

- Пойдем, Саввушка, пойдем! - размазав по лицу ладонью грязную влагу слез, затеребил он за рукав певца. - Там нас встретят...

Степан и не заметил, как подросли двоюродные сестры. Отца их, тракториста, сгубил не столько лес, сколько железо: угас он тихо и незаметно. А девчонки все бежали чумазые, в грязных, затасканных друг после дружки, платицах, голодные - мамаша их, обжегорить кого на полушку и рубль потерять, неповоротливая, заплывшая жиром баба, к общественно-полезному труду была совершенно равнодушна. Степана сеструхи однажды узрели валявшимся в канаве и потащили к себе домой.

- Брат ведь! Еще замерзнет... - проговорила которая-то. И вправду в лужах уж ледок позванивал.

В тесной барачной комнатухе одна из его спасительниц забрякала заслонкой печи, и вот ноги Степана очутились в тазу с горячей водой. Другая поднесла стакан обжигающего нутро пунша, и Степан начал оклемываться. С немалым изумлением узнавал он своих двоюродниц, из сопливых девчонок непостижимо превратившихся в рослых девах и даже не первой молодости. А ведь в одном городке жили... Кто бы чужой стал возиться с пьяным! «Родная кровь!» Улыбающиеся лица сестриц расплылись в застывшем глаза Степану соленом мареве...

С Саввой к ним и направились. Девки вправду обрадовались гостям. Дряхлый магнитофон, хрипевший день и ночь напролет непонятно что, забросили подальше; Савве пришлось петь почти без перерыва. Но глотка у него луженая: намахнет Савва стопочку, занюхает огурчиком и за гитару опять берется.

Барак, где разгоралось гульбище, стоял на оживленной даже поздним вечером улице. Здесь старшая сестра Симка после интерната, вкалывая полотеркой в детском доме, по-



лучила комнатенку. И пусть холодина в ней жуткая, пусть за стенкой функционирует общий нужник, остальные сеструхи одна за другой перебрались на жительство к старшей. Ничего, что и пованивает, - притерпеться можно, в тесноте да не в обиде. Зато беспутная мамаша не обзывает походя дармоедками и сучками, сами себе хозяйки.

Не писанные красавицы, в девках прочно засиделись, но холостяжник, нетрезвый и отвергнутый молодежкой, толокся у них безвылазно; куча подруг набегала перемывать всем кавалерам в городке кости и мослы; забредали еще не засосанные семейной житухой молодые пары. Шум, гвалт, звон посуды, магнитофонный ор, табачная завеса - девки и дома от рождения в тишине не живали, а уж если случалось пять минут затишья, как чего-то не хватало. Спали вповалку, кто где. А поутру сестры, выпроводив ночлежников, просыпаясь на ходу, торопились на работу: кормить-поить никто не будет...

Вот и сейчас набилась полная комнатенка народа: кто, раскрыв рот, слушал Савву, кто разливал «самопальную» водку - магазинная-то не по карману. Степан незаметно для себя раскис и прикорнул на кровати... Проснулся он, когда с улицы в окно стал робко пробиваться рассвет. Кое-как разлепив веки, Степан обвел взглядом полутемную комнату, на диване у стенки напротив различил человека: по вздернутой вверх бородачке догадался, что это Савва; вон и пес растянулся рядом на полу. Когда схлынула заполюночная развеселая компания, один черт ведает!

За спиной Степана кто-то сладко всхрапнул, он повернулся и опешил - Симка! Спала она, завернувшись с головой в тоненькое байковое одеяло. То-то жарило сзади, как от печки! Степану сразу стало зябко, захотелось забраться на эту «печку» так уж всему! И он осторожно принялся натягивать на себя одеяло. Симка еще разок громко всхрапнула, простонала томно, но парня не отпихнула, дозволила ему заграбастать в ладонь полную грудь с острым зашершавившимся соском. Потом повернулась к Степану и готовно подставила для поцелуя жаром опухшие губы...

Брательников сестрицы тоже выпроводили на весь день на улицу. Те уныло побрели к автовокзалу: там, возле неказистой его домушки, столпились ларьки. На этом «пяточке» топтался опухший, небритый, небрежно одетый люд, пытаясь сложить имеющуюся наличность. Пока завсегдатаи с боязливым почтением разглядывали плетущегося позади братьев-страдальцев дога с подтянутым к хребту брюхом - у сеструх даже корки хлеба не обнаружилось утром для бедной псины, Степан лихорадочно прикидывал, к кому бы «сесть на хвост». Но, как нарочно, граждане были - самим бы кто плеснул. Савва зазвенел в кармане мелочью, кивнул сразу ожившему Степану:

- На дорогу хотел оставить. Но ничего, доберусь!

Провожаемые завистливыми взглядами брательники поспешили под сень деревьев ближнего скверика. Кое-кто, вспомнив о неотложном деле к Степану, двинулся следом, но Савва тряхнул пса за ошейник, и тот, оскалив клыки, мрачным своим взглядом отсек напрочь сопровождающих.

- Ну, полетели! - вздохнул поглубже Савва...

Степан заметил бегущего по тропинке стремительной рысью Оську Безменова, для старинного друга не жаль было и пожертвовать «остатчиком». Но Иосиф озабоченно сморщил лоб, поковырял пальцем в ухе, помычал и сообщил:

- Сеструху мою Таньку параличом расхватило. Инсульт. Домой из больницы выписали, в аптеку, вот, за лекарствами бегал. Жранье готовить надо.

Подношение Степана Оська отвел в сторону:

- Не буду! У Таньки хоть и речь отнялась, а ведь смотрит она глазами-то, все понимает.

Иосиф так же стремительно взял с места в карьер, как и мчался до вынужденной остановки.

- Бойтся! - с презрением махнул рукой ему вслед Степан. - Уж тут-то бы чего...

Впрочем, через минуту друг Безменов с его заботами был начисто забыт, надо было кумекать, как раздобыть ДП, а волка ноги кормят. У сеструх на двери квартиры по-прежнему висел замок, и брательникам пришлось разлечься на травке возле крылечка - скоротать время.

Степан чуть не задремал и проспал бы точно вышагивающую прямо по середине дороги бывшую свою одноклассницу Лерку Васильеву. Лерка вышагивала бы себе, и ладно, но она поигрывала бутылкой водки в руке, подбрасывала посудину в воздух и ловко подхватывала ее опять за горлышко. К однокласснице Степан в ином случае и не признался бы, побаивался он ее...

В первом классе посадили Степку за одну парту с девочкой. Белокурые волосы ее украшал, покачиваясь, как диковинный цветок, огромный яркий бант; поверх школьного платья был надет снежной белизны фартучек; и даже каким-то чужим казалось среди этого великолепия смуглое болезненное личико с грустными большими глазами. Другие пацаны дергали своих соседок за косички, дразнили, высовывая языки; Степка же прижался к батарее под подоконником, притих и только опасливо, украдкой, поглядывал на Лерку, схожую с куклой, которую, прикасаясь, можно измять или поломать.

Вскоре учительница их рассадила, да и от кукольно-неприкасаемого облика Лерки скоро ничего не осталось. К средним классам она остригла коротко волосы, ходила вызывающе в джинсах вместо формы, убежала с парнями курить за углом; и ее же первую пацаны пытались лапать, впрочем, после крепких затрещин и отступились.

Леркина мать работала преподавателем в другой школе, и от учителей дочке почему-то доставалось больше всех. Когда Лерку отчитывали, она, сжав и без того тонкие и блеклые губы в брезгливую ниточку, спокойно стояла и не отводила от взмокшей от ярости учительницы презрительно-насмешливого взгляда. Изгнанная с урока, класс она покидала неторопливо, выстукивая каблучками, гордо задрав носик, хлопала оглушительно дверью под довольный гогот хулиганистых парней с «камчатки». Если эти что-нибудь вытворяли, то Лерку обязательно вместе с ними тащили на разборку к директору, пусть она и ни при чем.

На улице поздним вечером слегка подпитая Лерка куражилась, девки от нее шарахались - непонравившейся она могла запросто завернуть длинный подол на голову и, завязав сверху, пустить так гулять, а наглому парню двинуть ногой в причинное место.

В выпускном классе пришла новый классный руководитель - леркина мать, высокая моложавая женщина в строгом темном костюме. Лерку она поднимала во время уроков и делала ей замечания чаще, чем другие учителя. Мать и дочь стояли и смотрели друг на друга, одинаково поджимая в тонкую ниточку губы, и Степке казалось, что между ними возникала незримая стена, через которую они, может быть, друг дружку и видели, но не слышали и не понимали. Лерка после напряженного молчания срывалась к двери и захлопывала ее за собой. И к директору Лерку теперь таскали одну, без компании. Мать проработала не больше пары месяцев, уволилась...

После выпуска Лерку, как и других одноклассников, Степан видал мельком, и если с кем-либо хотелось поговорить, то ее он старался обегать сторонкой. Слышал, что она побывала в тюрьме, прижила ребенка и забросила его на произвол судьбы, что суровая ее мамаша занялась воспитанием дитяти.

Нос к носу Степан однажды столкнулся с Леркой у пивного ларька; была она то ли после «отсидки», то ли выползла с того света после страшного «бодуна». Только лицо ее, осунувшееся, со сморщенной, как у старухи, кожей, так напугало Степана, что он и про пиво забыл, унося ноги...

Теперь вот он, облизывая спекшиеся губы, зачарованно следил за сверкающей посудой в леркиной руке и - будь что будет! - пошел навстречу.

- Здравствуй, Лера! - заискивающе улыбаясь, робко поздоровался он.

- Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый! - ухмыльнулась Лерка, но ее, похоже, больше заинтересовал Савва со псом: он разворачивал дога за тощий хребет, норовя Лерке загородить дорогу.

- Что, мужики? В гости ко мне намылились? Пошли!

Степан скоро понял, что он - третий лишний. На тесной кухне, заваленной немойтой посудой, Савва после «стопки» запел громогласно, но Лерке не понравилось.

- Прекрати, соседи в ментовку наступят!

Савва, пуча глаза, опять вывел зычную руладу.

- Не тяни за душу, а то пазгну! Не понял?!

Лерка, как кошка, прыгнула на Савву; тот опрокинулся со стула, увлекая ее за собой. Лежа на полу, они вдруг оба рассмеялись, целуясь.

- Погулял бы ты, одноклассничек!

## 5

Родители Василисы, воспитанницы отца Флегонта, погибли в одночасье в автомобильной катастрофе. Батюшку, дальнего родственника, пригласили их отпевать, даже машину за ним и матушкой его прислали. Новопреставленных - молодых еще людей отец Флегонт

при их жизни не знал, поэтому потом, за поминальной трапезой, помалкивал, пригубив вина из стакана, разглядывал незнакомые лица.

Лет семи девочку в черной косынке, из-под которой выбивались жидкие хвостики косичек, подвела к столу молодая женщина с усталым измученным выражением на исплаканном бледном лице. Девчушка нетерпеливо высвободила из ее руки свою ладошку, подбежала к улыбнувшемуся отцу Флегонту и затеребила его за рукав:

- Дедушка, ты старенький и все знаешь... Скажи, когда папа с мамой приедут?

- Василиса! - одернула ее женщина, но девочку, уже смело забравшись к Одинцову на колени, тянулась, тихо смеясь, потрогать его бороду. Тогда женщина, вздохнув, опустилась на пустующий стул рядом.

- Не знаю, куда ее и деть... Школьная подруга я мамы-то ее. Мне уезжать вот-вот надо, на другой край страны. У одних родных просила, у других, чтобы за девочкой присмотрели, пока документы в детдом оформляют, и никто не берется.

Женщина произнесла слово «детдом» чуть слышно; отец Флегонт скорее догадался по губам. Он с жалостью поглядел на девочку, с его колен тянувшуюся ручонкой к большому румянобокому яблоку на блюде посреди стола, и, может, даже неожиданно для себя спросил:

- Хочешь погостить у нас?

Девчушка радостно кивнула.

Потом, всю обратную дорогу поглядывая на заснувшую рядом на сиденье девочку, отец Флегонт толковал матушке:

- Все веселей и поваднее нашей внучке Верочке с нею будет! Угла не объест, пусть хоть перед детдомом поживет...

Попадья помалкивала, отводила, насупившись, глаза в сторонку, но Одинцов как бы не замечал этого... Девчонки-одногодки сдружились, летние деньки промелькнули быстро. Веру увезли родители, а над Василисой отец Флегонт надумал оформить опеку. Матушка такое решение встретила в штыки:

- Сдурел на старости лет! Было б хоть что опекать, а тут, окромя битой машины - ни гроша! Лучше б о родных детях и внуках позаботился!

Но Одинцов все равно решил сделать по-своему, вздохнул только, взглянув на дородную седовласую, с мясистым лоснящимся лицом надувшуюся попадью - мало чего осталось в ней от прежней Вари-Вареньки, что ждала его когда-то давно с фронта в большом старом доме на окраине городка.

- Если не отвезешь девочку, - матушка не уточняла - куда, а лишь угрозиво постукивала пальцем по столешнице, - я тогда уеду к дочерям. Посмотрим, как ты с ней крутиться будешь!

И сдержала слово. Только вовсе туго отцу Флегонту с Василисой не пришлось - обиходить девочку стали помогать ему старушки из obsługi храма, да и сам батюшка супишко и кашу сварить, постирушку устроить не брезговал: матушка и прежде частенько погостить у дочек в Москву или в Питер отлучалась. В школу Василису за руку он повел сам, помогая девочке удерживать большущий букет цветов.

Наведывалась матушка, навещали дочери, но уже чем дальше - тем реже перемигивались за столом, шептались по углам, покручивая пальцем у виска. Заботило другое - отцу Флегонту было порядочно годков, мало ли что... Неужели по стариковской своей дури отпишет все, что накоплено, чужачке?!

Одинцов лишь усмехался, видя напускную ласковость на лицах дочерей и плохо скрываемую злость на лице матушки, подмечал, что чувствует это и переживает больно Василиса, и вот это-то и сблизило их, старого и малую. А тем, родным, было все невдомек.

И еще думки одной, овладевшей им неотступно, не высказал родне, да и никому, отец Флегонт: в благодное время молитвы к Богу пришла она. «А что если воспитаю сироту, помогу подняться - ведь зачтется мне там, на страшном суде Господнем? Прошлые мои грехи, тяжкие и смертные, может, искуплены будут?!»

С надеждой и упованием поднимал он влажные глаза на образ Спасителя.

## 6

Утром на квартире у Лерки «поправляли» головушки, гаддели, смеялись соленым шуткам; Степан поначалу и не заметил, что с порога комнаты пристально смотрит на него какая-то старуха. Голова ее косо повязана линальным платком, в разгаре лето, а одета она в поношенное теплое пальто; обувь - на одной ноге сапожный опорок, а на другой растоп-

танная сандалия с дырявым носком, и даже чулки разные. Степан вгляделся в неподвижное, наподобие маски, лицо и подметил черточки, схожие с леркиными. Из-за спины старухи вывернулся белообрый малый лет пятнадцати, ясными голубыми глазами выжидающе уставился на Лерку.

- Бабушку отдохнуть отведи. И напои чаем! Как на огороде дела? - Лерка деловито дала указания и спрашивала между затяжками сигаретой.

- Бабка-то твоя ругаться не будет, что мы здесь сидим? - полушепотом спросил ее Степан.

- Это мать моя, не узнал, что ли?! - жестко прищурилась Лерка. - До рутани ли ей... И еще - родной сынуля. Со зрением у него - кранты!

Она прикрикнула на парня:

- Надел бы ты очки, сынок! А то шарисься, за стенки держисься!

Лерка «дотянула» стакашек, кивнула гостям, чтоб подождали ее на улице. Степан не успел досмолить найденный «бычок», сидя у подъезда на лавочке рядом с Саввой, чешущим за уши пса, как Лерка уже выпорхнула из дверей в нарядном платье, с кокетливо собранными в пучок волосами на голове; мрачную синеву под глазами прикрывали солнцезащитные очки. Только что вот сидела за кухонным столом в затрапезном грязном халате, бесстыже заголяя худые ноги, с растрепанными космами и с помятой рожей, и - на тебе, совсем другое дело! Савва сочно крякнул и, ударив по струнам гитары, хватил:

- Мохнатый шмель на душистый хмель!

Баритон его в стиснутом пятиэтажками дворе-колодце отлетел от стен множеством отголосков; сразу завывались из окон любопытные, а все, кто был во дворе - женщины развешивали сушиться на веревках белье, дети играли в песочнице, мужики возились с автомобилями, - все побросали свои дела и делишки и удивленно вытаращились на Савву.

Лерка, гордо задрав подбородочек, взяла по поводок дога - тот послушно и добродушно ткнулся ей мордой в колени, и неторопливо зашагала вслед за пританцовывающим перед нею с гитарой поющим Саввой. Степан, топя за ними, все не переставал удивляться леркиному виду: «Прямо принцесса английская! Небось, в колонии-то конвоиры с собаками под охраной водили. А теперь сама аж с догом идет, человеком, наверное, себя чувствует!»

Все бы ладно, но оглянулся Степан, и его покорило, приподнятое настроение стало улетучиваться: к стеклу в окне первого этажа дома льнула лицом леркина мать со скорбно поджатыми губами...

На окраине городка еще и друг Иосиф окликнул. Он, потихоньку ступая, выводил на прогулку сестру, подхватив ее за подмышки. Рослую, выше на целую голову брата, Таньку теперь трудно было узнать: одна рука плетью болталась вдоль тела, ноги еле передвигались, но страшнее всего были испуганные беспомощные глаза на бледном исхудалом лице. Доправив кое-как сестрицу до лавочки в тени деревьев неподалеку от подъезда, Оська изрядно взмок и не раз сказал спасибо подоспевшему на подмогу Степану.

- Вот так и живем... - начал Иосиф, но Степан, махнув рукой, побежал догонять новоиспеченных друзей - на Таньку было лучше не смотреть...

- Куда мы? - растерянно спросил он.

- Туда! - указал Савва на белешую за полем на холме церковь. - Там меня встретят и приветят. И вас заодно.

Казалось, до храма - рукой подать, но перешли по разбитому тракторами мосту затянутую тиной и забитую городскими стоками речушку; полевая дорога, развороченная весной, закаменела в глыбах, и скоро путники выдохлись; лишь пес, отпущенный на свободу, вспугивая птичек, носился по полю, смешно вскидывая зад.

Палило нещадно. У беленой, украшенной кирпичной кладкой, стены церковной ограды заозирались, где бы напиться воды и сунуться в тени. Кругом - тишина, как все вымерло. Савва, пригладив бородку, приосанился и, постучав в дверь дома возле ворот, спросил батюшку. Старушечий голос из-за двери ответил, что нет его, в отъезде, но к вечеру должен вернуться.

- Будем ждаться, - обескуражено поскреб Савва в затылке.

- Пойдем к карьерному пруду! - предложил Степан.

С краю погоста огромный карьер уродовал холм, сожрал его почти наполовину; на дне поблескивало озеро, наполненное водой из подземных ключей.

- Искупаемся?

Савва в ответ промолчал, лег на траву в тень вековой липы на краю обрыва. Лерка тоже опустилась рядом и положила его голову себе на колени. Степан вздохнул и бегом, рискуя свернуть шею, пустился по откосу вниз. Вода в озерце, прокаленная солнцем, чуть ли не исходила паром, зато донные ключи сразу застудили ноги.

- Давай сюда! - крикнул восторженно Степан Лерке с Саввой, но те не откликнулись: он, похоже, задремал, а она задумчиво перебирала, крутила в пальцах его кудри.

На степанов крик дружно захихикали проходившие мимо по тропинке к погосту три молодые бабенки. Были они, видно, из села неподалеку от церкви. Степан смутился, нырнул, едва не окарябав лицо об камешник на дне. Донный холод стянул судорогой ноги, скоро выгнал из воды. Степан, убедившись, что поблизости никого нет, разлегся на песочке... Разбудил его шум подъехавшего автомобиля, хлопот дверок. Савва, тот, бегом припустил к сторожке, у крыльца троекратно облобызался со стареньким батюшкой, которого прежде Степан не однажды видал стоящим в задумчивости возле его дома в городке.

- Что, брат Савелий, и до нас, грешных, добрался? Как в «расстриги» попал, так и болтаешься до сих пор? Всею виной - питье да развеселая жизнь?! Когда ты у меня ставленником стажировался в соборе, глаголил я тебе сколько - смирись! Не мирское здесь! Не послушался...

Старик говорил с укоризною, но Савва и не подумал обижаться: стоило священнику присесть на лавочку у крыльца, тоже примостился рядом.

- Было дело, - криво ухмыляясь, блеснул он золоченной «фиксой». - В полах-то я как оказался... Сынка начальника одного областного прищучил, меня «подставили» и - погоны долой! Из ментов поперли, куда-то надо было сунуться. Никто ведь! Жил возле епархиального управления, сначала сторожем взяли, потом в священство продвинули. Больно голос мой архиерею понравился, да и в церковь народ валом повалил, «кадры» до зарезу потребовались. Только, стало быть, и тут я не ко двору пришелся...

- А вера-то как же? - отец Флегонт попытался заглянуть Савве в глаза, но тот опустил их долу. - Вот и смутил тебя лукавый за маловерие. Он тут как тут. По себе знаю...

Старик удрученно вздохнул, но потом, вспомнив что-то, улыбнулся:

- Все хотел спросить... Ты, брат Савелий, Анне Гасиловой, покоенке, родственником не приходишься? Или просто - однофамилец?

- Внук! А это - второй! - кивнул Савва на Степана, и тому стало неловко под пристальным взглядом священника. Стыдась своего опухшего, с синими подглазьями, в колючей щетине лица, он поспешно отвернулся.

- Только вот помню бабку плохо, мал был, - продолжил Савва. - Сынки ее до поры допекли, мои, стало быть, дядья. Мать моя, старшая ее дочь, учительницей работала, потом в райком комсомола ее перевели. Тут и я на свет появился. Мать рассказывала, что бабка-то все переживала: не порченый бы какой вырос, безотцовщина. И надумала меня окрестить втихаря от матери... А церковь закрыта, склад там. Но у бабки старичок доживал, вроде как квартирант. Седенький и дряхлый, скрюченный в три погибели, слепой. Выбирался иногда на завалинку на солнышке погреться. Так вот, бабка лохань притащила, воды налила, меня гольшом поставила. И выходит вдруг из соседней комнаты тот дед во всем черном: раньше-то в телогрейке ходил, а тут ряса надета и поверх епитрахиль и панагия поблескивают. Я от него было бежать, не узнал поначалу - вот как старик преобразился!.. Я и сам, в наше время, рясу надев, тоже преобразиться хотел, да духу не хватило, - Савва помолчал, посмотрел на видневшиеся вдалеке домики городка. - Отчаянная головушка бабка была... От матери я недавно узнал - по документам дальнего родственника аж архиерея укрывала. Как НКВД и не пронюхало, то каюк бы всем! Владыке - пулю, все бабкино семейство - под корень!

- Могло бы быть такое, да Господь не допустил! - сказал отец Флегонт. - На тех женщинах вера тогда держалась... И я благословение, на фронт уходя, получил.

- От владыки Ферапонта?!

- Да. И, как видите, жив остался. И после Богу вот служить сподобился.

Савва смотрел на отца Флегонта с изумлением. Тот прервал неловкое молчание:

- Ты смирись сердцем, брат Савелий! Господь наш милосерд, не оставит... Ко мне-то чего пожаловал? Помощь какая нужна?

Савва в ответ махнул рукой, торопливо попрощался со священником, кивнул Степану и Лерке: догоняйте, мол. За угловой шатровой башенкой ограды, где начинался вновь отведенный погост, и отсюда же шла дорога к городку, он будто споткнулся, затоптался в

нерешительности. Те три местные молодухи, что проходили мимо накануне, сидели, рдея щеками, на краю погоста и, разложив на траве нескудное угощение, с интересом разглядывали чужаков

- Что стоите? Идите к ним, может, чего обломится! - со злостью подтолкнула Лерка Савву. - Я уйду, не помешаю.

Нахмуренный Савва подтянулся, порасправил плечи, забрал у Степана гитару:

- Один раз живем!..

По дороге с холма Лерка спускалась, опять гордо задрав подбородок, вышагивала широко, решительно, но в низине побрела сгорбленная, тихо, побитой собачонкой. Савва этого не видел: примостившись со Степаном возле молодок и промочив горло предложенной чарочкой, он начинал пробовать голос.

## 7

Отец Флегонт проводил взглядом согбенную фигуру молодой женщины, тихо побредшей по дороге с холма в низину, видел он, и как привернули на край погоста к молодухам Савелий с братом, расслышал вскоре саввин баритончик, выводящий слова разудалой песни.

- Так и не внял он моим словам, - подумав про Савву, хмыкнул священник. - Но грешно его осуждать-то, не судите да не судимы будете - в Писании речено. И мудрее не скажешь...

Он прижался спиной к шершавой грубой коре ствола липы, под которой притулилась лавочка, прикрыл глаза, подставив лицо нежарким лучам закатывающегося за дальний синий бор солнца. Вот так, с закрытыми глазами, в тишине, Одинцов мог легко перемещать, прокручивая в памяти всю свою долгую жизнь, и чем ближе сдвигалась она к началу, тем свежее и красочнее вставало перед мысленным взором то или иное.

Он отчетливо увидел вдруг сияющие позолотой где-то в недостижимой вышине купола собора в большом городе - городе его детства. Внутри обширной ограды вокруг храма толпился народ, но лица многих были не просветленно-чистые, а злые, красные, потные, хоть и отмечался церковный праздник. Флегосу бы, пожалуй, в толчее стоптали - под стол еще пешком ходил, но бабушка его, шустрая старушонка, сумела пролезть с внуком на самый край посыпанной свежим песком и забросанной цветами вперемежку с травой тропинки, на которую не смели ступать, хоть и вдоль нее одни орали, другие крестились.

Шум внезапно смолк, когда на тропинке показался опирающийся на посох старичок в черном одеянии и высоком монашеском клобуке - владыка Ферапонт. Но никто не встречал его у восходящей ступени вверх паперти. Окованные железом ворота храма с гулким хлопком стремительно затворились, снаружи перед ними встали люди в кожаных куртках и среди них - ухмыляющиеся криво попы-обновленцы.

- Иуды! Пустите архиерея! - заорал возле Флегоси нищий, и тотчас молодой здоровяк из толпы сунул кулачищем ему в ухо.

Поднялась сумятица. Флегоса видел, как владыку Ферапонта подхватили под руки двое, пытаясь вывести его из толчи. По щекам в седенькую бородку архиерея скатывались слезинки.

- Опомнитесь! Пожнете плоды горькие!

Да разве слышал кто его слабый голос в разгоряченной толпе!

Архиерейский возок куда-то делся, на месте его стоял автомобиль с хмурыми людьми в штатском. Владыка споткнулся, незряче выставил перед собой руки. Едва его усадили промеж двух угрюмых усачей, автомобиль, выпустив облачко сизой гари, резко взял с места. А в церковной ограде все не могла утихомириться, бушевала толпа...

Отец Флегонт очнулся от забытья, услышав веселые голоса возвращающихся по тропе краем карьера в деревню молодич, различил он в летних светлых сумерках и Савелия с брательником, которые, слегка пошатываясь, вышагивали по дороге к городку и, оживленно переговариваясь, видимо, очень довольные, хлопали друг друга по плечам.

- Господи, сколько еще плоды-то пожинать... - с горечью вздохнул Одинцов и тут обмер сердцем, опять вспомнив о Василисе.

Он каждый вечер ездил на вокзал к приходу поезда - еще неделю бы назад Василиса должна была вернуться из турпоездки в Питер, а все ни слуху ни духу. Отец Флегонт дождался, пока с перрона не разойдутся последние пассажиры, и, удрученный, возвращался. Хотел уж заявить в розыск, но удерживался, неудобно как-то: что люди в городке подумают, какие сплетни поползут! Может, она у родни загостилась? Да примут ли ее, дер-

жи карман шире...

Все этот ее одноклассник, «новый русский», деда которого наверняка приходилось в молодости в войну по лесам гонять! Вился выюном возле Василиски, глазами жрал и охмурил девчонку!.. Позор! И что ей еще надо?! В гараже новенькая «иномарка» стоит в подарок: всем любопытным сказано, что Василиса выиграла главный приз на «поле чудес», пусть и ухмылялись люди - не видал что-то никто ее в той телепередаче. Все для нее - и что можно, и что нельзя! «Подниму Василису - вину свою испущю!» - только эти слова в голове все время и толклись. «Эх, а Бога-то не обманешь!»

Отец Флегонт, по-прежнему прижимаясь спиной к стволу липы, поднял глаза на сияющие в прощальных лучах солнца кресты на куполах храма: на блекло-фиолетовом фоне вечернего неба они, казалось, трепетали, потом вдруг, теряя очертания, расплылись... Кто-то бережно обнимал старика, целовал в щеки мокрыми горячими губами, знакомо шептал: «Деда, дедушка!»

- Василиса! Вернулась... - тихой радостью еще успело встрепенуться у старого священника сердце.

А в осветившемся, как ясным днем, проеме ворот церковной ограды он узрел идущего к нему навстречу владыку Ферапонта в черной одеянии и высоком клобуке...

## 8

Дом остался Степану от отца недостроенный: две избы, передняя и задняя, громоздились под наспех закиданной дранкой крышей; крыльцо уже подгнило, да и сам дом стал заваливаться набок, когда сдал под ним тоже второпях залитый в осенние заморозки фундамент. Дом все больше напоминал несуразный гриб со съехавшей шляпой.

Степану до поры все было даром. Но потекла крыша - в дождь плошки по чердаку расставляй, и нужна-неволя кровлю менять заставила. Подвернулось по схожей цене железо; Степан нанял жестянщика, и «уповодками», между выпивкой, с крышей управились. Любуясь потом работой, Степан задумал и фундамент ленточный кругом завести, чтобы дом ровно, свечечкой, стоял. В руинах бывшего городковского собора, сначала - тюрьмы, а потом - мастерских, он выковыривал и потом, как каторжник, таскал на тачке тяжеленные прочные кирпичи; мать морщилась, крестилась втихую, но молчала. Отломал крыльцо - затеял ставить новую просторную веранду.

На работе Степан держался еще крепко, денежки водились, а в редкий запой покрывал начальник, бывший одноклассник. Дошли руки и до баньки. Он срубил ее из свежего кругляка, сложил печь, напарившись первый раз, настегавшись вдосталь березовым венником, едва живой, выбрался на приступок у дверей. От перегрева сжимало сердце; Степан жадно хватал ртом воздух, и тут его словно пристукнуло: «Для кого стараюсь-то? Мать старая, сам... - он прислушался к неровным толчкам в груди. - Приедет сестра из своей экспедиции, она же геолог-бродяга, загонит все и - поминай как звали!»

С того Степан затосковал, все опять стало валиться из рук, а там и с работы за пьянку вышлибли. Но дом стоял, как игрушечка...

Ночевать к Симке Степан ходил украдкой, принаравливался, чтобы сестра ее работала в ночную смену; другая уехала куда-то учиться. Соскучившись за пару дней, он жадно мял податливое мягкое симкино тело, и та отвечала взаимностью. Умаявшись, они ненадолго затихали, но под утро Симка неизменно, толкнув локтем как следует Степану в бок, садилась у окна и нагая, белея как печка, в полутьме, курила.

- Узнает кто про нас, удавлюсь сразу, к черту! - между затылками Симка говорила отрывисто, зло. - Давай собирайся, уходи, не увидел бы кто!

Степан, всякий раз задавив обиду, вставал, одевался и скукоженную, дрожащую на сквозняке Симку даже не обнимал на прощание. Он старался побыстрее прошмыгнуть длинным барачным коридором, чтобы не столкнуться с кем-либо из жильцов, вывернувшимся по нужде в общий туалет; под окнами пробегал, пригибаясь. И дома перед матерью приходилось комедию ломать, прикидываться, что с жуткого похмелья, а насчет ночлега - отшибло память.

Уходя опять вечером к Симке, Степан хитрил, предполагая, что мать следит за ним, долго мотался по улочкам, кружил, дожидаясь темноты. Симка ждала его, хоть и старалась скрыть это. Но все гости были выпровожены; она оставляла свет только в кухоньке со тщательно занавешенным окном. Поглядывала вроде б как с любопытством, глазки поблескивали, а Степан выставлял на стол посудину - добыть нелегко, но старался, чтобы хоть потихоньку от матери продав из дому. Щеки симкины розовели, Степан жадно

сграбастывал ее.

- Тише ты, дурачина... - Симка торопливо раскатывала тюфяк по полу - стенки в бараке как картонные, кашляни, и то слышно.

Однажды она, обнимая крепко Степана, с горечью прошептала:

- Ребеночка бы нам... Да нельзя - родня ведь! Говорят, урод будет, Бог накажет...

Вскоре Симка пропала; Степан узнал от сестры, что укатила она к подружке в дальнюю деревню. Он затосковал, дома не находил себе места, но, покрутившись возле симкиного барака, не решался туда зайти: всякий раз Симку спрашивать - подозрительно.

Она сама нагрянула к нему. Матери, вот удача, не было, а Степан дотапливал баню... Потом он, плеснув на каменку, захлебываясь и обжигаясь паром, от души стегал веником растянувшуюся на полке и взвизгивающую Симку. Поменялись местами; и облепленная березовым листом Симка парила теперь Степана, но бережно и неторопливо. Отдыхаясь, они сидели впотьмах на приступке бани, предосенний воздух быстро охлаждал разгоряченные тела; Симка придвинулась и прижалась к Степану.

- Я замуж, кажется, выхожу, - проговорила она, не то смеясь, не то серьезно.

Степан, вроде бы как понимая шутки, ткнулся носом в ее мокрое плечо и поцеловал.

- На самом деле! Не сидеть же век у окошечка и тебя поджидать.

Он слышал от сестер, что у симкиной подружки есть в деревне брат, то ли пастух, то ли конюх, тоже застарелый холостяк. За него, что ли?

- Замерзла ты, ерунду и городишь! - Степан, ежась от холода между лопатками и клацая зубами, потянул Симку обратно в жаркое нутро баньки...

Симка и вправду на другой день уехала в деревню и запропала так запропала... Степан порывался туда съездить да не решился: скверно, назовешься братом, а на уме другое.

Вот так и дождался ее, когда уж прихватило первым морозцем землю, в реке между хрупких ледяных заберегов стыла темная, будто свинцовая, вода, а из низких серых туч в беспросветном небе сыпала часто снежная крупка. От Симки остро пахло деревней: скотным двором, печным чадом, кислой шерстью. И говорила она теперь только об корове, об овцах, о том, как тяжело обрывать полный двор скотины, таскать от колодца большие ведра воды; о том, что свекровушка больная и обряжуха неважная, а муженек или сожитель - до свадьбы ли! - денег домой носит мало, но отпустил вот на пару деньков в городок родню попроведать.

Заметив, что Степан от ее рассказней откровенно заскучал, Симка, ткнувшись губами ему в макушку и вздохнув, начала раздеваться. Увидев выпирающий ее живот с выпяченным синим пупком, Степан округлил глаза.

- Мы когда с тобой в бане мылись, я уж беременная была, - созналась Симка. - Своего-то сейчас до себя не допускаю, а тебя...

Симкина кожа в слабо протопленной избе покрылась пупырышками; Степан, простонав, накиннул Симке на плечи полшубок и, выбежав на улицу, подставил пыхнувшее от нем лицо секущей снежной крупе...

Запил он страшно, до синих чертиков и черных карликов. Поволок все из дому на продажу; мать было воспротивилась, да куда там - Степан в пьяной ярости отца оказался пострашнее. Мать, как в прежние времена при покойном ныне муже, сиганула однажды с перепугу в окошко. Или Степану это померещилось? Он, лежа без сил на полу под распакнутым окном, изрядно подзамерз и, кое-как поднявшись, закрыл створки рамы. На воле - белым-бело, глаза режет! Что-то часто блазнить стало в последние дни или просто «глядки» болят? Из чертиков и карликов сегодня появился только один, со знакомым обликом и подбитым глазом.

- Да что ты, брат, очухайся!

Савва!

- Ну и вонь! - Савва покосился на лужу блевотины под умывальником. - Пойдем-ка на волю, а то у тебя тут «крыша» запросто съедет!

Потянул теплый ветер, снежок быстро истаивал, асфальтовая разбитая дорожка вдоль речного берега мокро блестела, с голых, с распяленными в вечернем небе сучьями деревьев срывались хлесткие капли. Ежась, братьельники подошли к воде: на поверхности колышущейся незамерзшей стремнины отражались огни фонарей, окружающих обкорнанное, без куполов, здание заброшенного храма на другом берегу.

Савва посмотрел, куда бы присесть, облюбовал ствол подмытого еще весенним паводком дерева. Степан, притулясь рядышком, стал рассказывать братьельнику и про Симку, и



про себя, сипя от спазмов в горле, размазывая по лицу слезы и не заботясь нисколько - понимает его Савва или нет. Тот не судил и не сочувствовал:

- Ты, брат, забудь теперь побыстрее обо всем, не рви себя понапрасну... И женись-ка на сестре твоего друга Иосифа. Подружка детства твоя, сам рассказывал. Видел бы ты - какими глазами она тебя тогда, летом, провожала, если б оглянулся!

- Так Танька же... Не баба уж, инвалид!  
- Человек. А один ты пропадешь. Думай!

Савва вздохнул, потрогал все больше наливающийся синяк под глазом.

- Не повезло вот тоже. Слава Богу, ноги вовремя унес... Приехал сюда, и дай, думаю, до тебя Лерку проведу. «Запал» я что-то на нее, серьезно, все о ней вспоминал. А там шалманище пьяное, двое или трое «урок» сидят. Я пру сдуру, а Лерка делает вид, что не узнает такого, ошибся, мол, гражданин номером. Я сразу, дурак, не сообразил что к чему... Спасибо Лерке - ухорезов тех кое-как в дверях задержала, убежать мне дала... Видно, век, брат, бродить мне неприкаянному. «Совок» я... Рад бы в рай, да грехи не пускают!

Савва поднялся, оскальзываясь по берегу, выбрался на дорожку и запел:

- Тихая моя Родина,  
Ива, река, соловьи...

Степан заторопился за ним следом, все еще всхлипывая, попытался подтянуть. Песня разносилась над подернутой хрупким ледяным панцирем рекой и гасла в шуме незамерзающей стремнины, где все еще отражались пляшущие огни на перевернутом обгоревшем храме.

## НАДЛОМЛЕННЫЙ ТРОСТНИК

### Повесть

#### 1

Обычная размеренная жизнь Сереги Филиппова под сорок стала заедать и рваться на куски, как изношенная кинолента. На заводе, где исправно слесарил немало лет, бац! - и оказался за воротами: захиревшее производство закупил какой-то «барыга» и свои порядки завел. Была бы шея, а хомут найдется - рассудил, успокаивая себя, Серега и горько ошибся: таких, как он, безработных в городе оказалось пруд пруди. Он без толку посоветовался туда-сюда, запил...

Тут опять - бац! В своей квартире, куда возвратился поутру с жуткого похмелья, застучал собственную супругу с каким-то рыжим. Ключ у Сереги был, вот он сам и открыл потихонечку, чтоб сон благоверной не потревожить, и, пробравшись к порогу спальни на цыпочках, заглянул, да так и застыл, отвесив челюсть. Рыжий, так сказать, разделял ложе с серегиной женой. Получилось, что Серега попал в довольно-таки неподходящий момент. Елозя спиной по дверному косяку, он, простонав, сполз на корточки, выщелкнул автоматически из портсигара «беломорину», закурил и со странным для себя интересом стал наблюдать за происходящим.

Рыжий супостат будто глаза на спине имел, вскинулся в чем был, а вернее - ни в чем, налетел на Серегу.

- Вышвырни его!

Визгливый вскрик жены Серега воспринял как побуждение к действию, поднялся с корточек и даже успел вполне миролюбиво спросить рыжего: «Ну ты, паря, чего?!»

С поплывшим звоном в голове он брякнулся спиной об входную дверь, потом мощною рукою схваченный за ворот и сопровождаемый пинком под зад, ласточкой вылетел на лестничную площадку. Рыжий - молодой здоровенный боров, а у Сереги башка обсыпана ранней сединой, он хоть и длинный и вроде жилистый, но так иссох от расстройства, пьянки и бескормицы, - ветром мотает. Но, хлопнувшись на кафедру площадки, он взъярился и, утерев кровь с разбитого носа, принялся что есть силы бухать кулаками в дверь; выбил бы ее или сорвал с петель, да вот беда, не поддается - сам для себя делал. Отдохнул и - снова.

- Отстаньте вы, не мешайте! - в сердцах крикнул он двум молодцам, норовившим схватить его за руки.

Только дошло - кто они, когда грубо подмяли его под себя и наручники на запястьях защелкнули...

На «пятнадцати сутках», подметая во дворе милицейского управления прошлогодний мусор, Серега, иногда отставляя в сторону метлу, воззрялся на легкие белые облачка, неторопливо плывущие в невинно-чистой голубизне высокого весеннего неба. В эти минуты серегино сердце страдало, плакало - в тесноте камеры другое дело, там все замкнуты, сами по себе; кто, топчась на месте, время коротает, кто, дождавшись своей очереди полежать на нарах, чутко, по-собачьи дергаясь, спит. И - монотонный говор, гул, чих, сопенье, невыветриваемый смрад. А на воле... Ограничена она, правда, высоким забором, но хоть есть вот это небо над головой. И, конечно, Серега думал и печалился о жене.

Пока она была простым экономистом в какой-то конторе, а Серега слесарил на заводе, все в жизни складывалось вроде бы ладно. Дитем, жаль, не обзавелись: сначала доучивалась в финансовом институте жена, потом хотелось пожить для себя, пока молодые да красивые, прибарахлиться не хуже людей и квартиру обставить. А дальше супруге стало и вовсе некогда: она сделалась соучредителем коммерческой фирмы, что-то перепродавала, а Серегу меж тем на заводе выставили за ворота. Так и побежали супруги Филипповы в разные стороны все быстрее и быстрее... Серега однажды, то ли в шутку, то ли всерьез, напросился у жены на работу личным водителем, на что она, покуривая дорогую пахучую сигаретку, небрежно бросила:

- Ты меня скомпрометируешь своей... простотой!

И вот нашла себе водителя и не только...

Подходя после «суток» к дому, Серега, вконец исхудалый и обессиленный, готов был простить жену, винил во всем только себя. Он чуть не угодил под колеса автомобиля, испуганно отскочил в сторону и потом, растерянный, опять будто со стороны сквозь толстое стекло созерцал, как из «иномарки» вальяжно, в норковой шубке, выбралась супружница и, не удостоив даже и мимолетным взглядом богоданного муженька, процокала каблучками в подъезд. Открывавший ей автомобильную дверку рыжий, кривя в ухмылке конопатую мясистую рожу, потирая ладони, надвинулся на Серегу:

- Ты, мужик! Чтоб я тебя здесь больше близко не видел! Слиял! Понял?

Рыжий всем своим мощным корпусом обманно манером качнулся на отпрянувшего Серегу и довольно загоготал, ощерив во рту золотые «фиксы»:

- Не бойсь! Руки об тебя марать не буду! Или «ментам» сдам, или «братки» с тобой разберутся! Брысь!

Серега пожалел, что направляясь к жене, строго «постился» - не пропустил дорогой стакашек-другой, как бы сейчас это пригодилось! С безрассудством бы броситься на презрительно повернутую квадратную спину, треснуть что есть силы кулаком по стриженному затылку, но оставалось, сглотнув сухой комок в горле и мысленно пообещав расквитаться, брести куда глаза глядят. А куда они глядят у русского мужика в горе? Туда, в те «кружала», где пьют по-скотски, норовя забыться, замутить забубенную головушку.

Очнулся Серега, спустя время, на вокзале, будто вывалился ненадолго из кошмарного долгого сна, слившихся воедино дней и ночей в компании каких-то опухших рож, ночлегов в вонючих заблеванных норах, мало похожих на человеческое жилье, дьявольского питья, сжигающего и рвущего внутренности.

Во рту у Сереги - как кошки набродили, голова вот-вот лопнет; он ревнивым взглядом следил за компанией студентов, в ожидании поезда смачно трескавших пиво. Под сдвинутыми лавками, где они сидели и гадали наперебой, накопилась порядочная куча порожних бутылок. Серега, пуская слюну, предвкушал скорую поживу - ребята часто поглядывали на часы. Около студентов активно забаражировали бомжи, повылезав тараканами из щелей; но по-наглому попросить у парней посуду они не решались: от молодежи можно запросто по шее схлопотать только ради смеха.

Серега сидел на краю лавки всех ближе к студентам и имел шанс раньше прочих овладеть добычей, но, взглянув на угрюмые бомжовские хари, понял, что без драки не обойтись. Мало что ему, приبلудному, навесят тумачков, то и «ментам» вдобавок сдадут - у них все «пристреляно». А-а, будь что будет...

- Милай, обличьем-то ты вроде мне знаком?!

На лавку подседа какая-то старушка, но Серега, увлеченный предстоящей «операцией», даже не оглянулся. Но когда старушонка назвала точно серегину фамилию и имя,

даже как его мать звать-величать, пришлось к ней обернуться. У бабки было смуглое с глубокими порезами морщин лицо и добрые с выцветшей голубинкой глаза.

Не сразу дошло, что это бывшая соседка Лида-богомолка. Бабушкой-копной дразнил ее Серега, будучи еще пацаном. Она обкашивала «горбушей» берег речушки и, насушив сена, одна таскала его домой, без помощников. От реки будто бы сама по себе поднималась по берегу высоченная копна, и нескоро под нею угадывалась согбенная фигурка бабки. А богомолкой ее прозвали за пешие походы в церковь в дальней деревеньке; в центре поселка собор давным-давно превращен в клуб, а от другого храма на окраине остались развалины. Накануне православного праздника бабка Лида с батожком и котомицей за плечами неизменно вышагивала по обочине вдоль дорожной колеи весь неблизкий путь. Туда и обратно, летом и зимой... Старушка за тот десяток лет, как Серега ее не видел, усохла, словно уменьшилась вся, но была еще бойка и аккуратненько опрятна. Серега застыдился вдруг своего драного и грязного джинсового костюма, мятую с перепоя, обросшую щетиной и с вылинявшим «фингалом» под глазом рожу поспешно отворотил в сторону и... увидел дерущихся над грудой бутылок, как воронье над падалью, бомжей. Рванулся было к ним, подскочив с лавки, и тут же плюхнулся обратно - все равно опоздал. Прикрыл глаза рукой: вовсе перед старухой стыдоба.

Бабка тактично промолчала, не желая, видно, ни сочувствовать, ни осуждать, спросила только: дома-то, мол, на родимщине Серега побывать не собирается? И попала умышленно ли, ненароком в самую потаенную и больную точку.

- Съездил бы, попроведал, свободной ты вроде, - как в воду глядела бабка.

- Денег нет, гребни эту свободу! - зло вскинулся Серега и хлопнул себя по карманам, но бабка Лида обезоруживающе предложила:

- А тебе на билет дам! Отработаешь, дров наколешь. И у женщины, что в вашем бывшем доме живет, уйма дел найдется.

Серега ломаться не стал, неторопливо запереваливался на своих длинных ходулях за старушкой к поезду, брезгливо отстраняясь от вокзальной сутолоки. Уже в вагоне он вспомнил и, старательно скрывая смущение, поинтересовался:

- Как внучка-то твоя поживает?

- Молюсь я за нее... - бабка Лида как-то сникла и потом всю дорогу молчала.

## 2

Губернатора арестовали прямо в рабочем кабинете. Утром взорвались трезвоном все местные СМИ - губернаторский советник по делам религии протоиерей Арсений Шишадамов, собираясь в «присутствие» в Белый дом, включил телевизор и, услышав новость, ошеломленный, тяжело опустился в кресло.

Еще вчера губернатор приезжал в восстанавливаемый храм в честь тезоименитого небесного покровителя; оставив снаружи свиту, лишь в сопровождении отца Арсения осторожно двигался в гулкой пустоте, боязливо прислушиваясь к звукам шагов, отдающим мерными отголосками под сумрачными сводами, и на фоне изъеденных кислотными парами голых кирпичных стен - фабричка-артель прежде здесь валенки катала, - казался ссутуленным, сгорбленным, будто под неподъемной ношей. Остановился пред иконой святителя Николая, от лампадки затеплил свечу; неверный колеблющийся язычок пламени отбросил тень на лицо с темными провалами глазниц, состарившееся, изуродованное почти до неузнаваемости глубокими черными морщинами.

Выйдя из храма, губернатор опять был прежним: выслушивая комплименты кого-то из свитских, улыбался по-детски доверчиво и открыто; весь обкапанный рыжими конопущками, под два метра ростом, с большими мосластыми руками, он походил на сельского механизатора, только что выбравшегося из кабины трактора, и сыпал, сыпал простонародными словечками, стоило заговорить ему без бумажки.

Шишадамов до сих пор втихомолку удивлялся, как это обычному председателю колхоза удалось молниеносно влететь в губернаторское кресло! Впрочем, время такое! Он помнил: прежде в селе этот председатель даже боялся взглянуть в сторону маленькой церквушки на окраине, где отец Арсений начинал служить. Ясное дело: партийная установка насчет «опиума для народа», красный кусок картона в кармане всемогущ и потому всего дороже, и слово «атеист» хвалебное, а не ругательное. И повернулось вдруг, что - уже губернатору! - советник по делам религии понадобился!

Он встретил отца Арсения как старого доброго знакомого, земляка, даром что и когда-то кругами оббегал. В особо приближенные не допустил, но и в запятках свиты топтаться

не заставил. Отцу Арсению достался прежний кабинет уполномоченного, замшелого «кегебиста», рьяно дни и ночи кумекавшего при Советах как бы прикрыть немногие храмы в епархии. Шишадамову же предстояло хлопотать об открытии новых, то бишь о восставлении порушенных, поруганных святынь.

Губернатор особенно увлекся идеей реставрировать бывший кафедральный собор в городе. Сам приехал к величественным руинам, с грустным - то ли напускным, то ли искренним - видом побродил около, покосился на чудом уцелевшую фреску на стене, по-мужицки хитроватенько прищурился и, поманив пальцем из своей свиты вертлявого, с бегающими глазками-маслинами человечка, кивнул:

- Осилим?

- Да под мудрым вашим руководством горы свернем!..

Вот эти неприметные человечки в аккуратных отутюженных костюмчиках, услужливые и тороватые, подтолкнули губернатора под монастырь. Учюали слабину - прищур начальственных глаз, иногда острый и недоверчивый, от неприкрытой лести, похвалы и елея заметно мягчал. А уж господ-товарищи всю старались: в СМИ трещали, как сороки, мало-мальские заслуги губернатора везде выпячивая, всякие звания ему хлопотали, даже пособили пропихнуться в академики без высшего образования.

Отца Арсения они поначалу обходили, то ли пугаясь черной рясы и нарочито-сурового вида, лохматой гривы смоляных волос и с разлапистой проседью бородачи, то ли еще чего, но, заметив особое расположение к нему губернатора, торопливо полезли со сложенными крест-накрест потными ладошками под благословение. Отец Арсений, взглянув в блудливые, без веры и одновременно с холодным беспощадным расчетом глаза, давал приложиться к своей длани с некоторым внутренним содроганием; потом все-таки пообвыкся, воспринимал это как некий обязательный ритуал, сопровождая губернатора на разных презентациях, совещаниях, сабангуях...

«Они, они, эти «жуки» постарались, «подставили» простоту-деревенщину!» - все уверял и уверял себя Шишадамов, мчась на автомобиле к «Белому дому». Еще позавчера в столице губернатор чуть ли не обнимался со стариком-президентом, мило беседуя; их улыбающиеся довольные лица в полную ширь показывали с телевизионных экранов на всю Россию. Ничего не предвещало беду... И все-таки чуял за собой неуправу, раз напрямиком с вокзала проехал в храм, где не бывал давно.

У подножия «Дома» отца Арсения плотно обступила тележурналистская братва. Защелкали фотоаппараты, застрекотали телекамеры; Шишадамов, щурясь от бликов вспышек, отвечал впопад и невпопад в подсунутые под нос диктофоны. Вечером он даже удивился собственному интервью в местных новостях. Куда-то подевались затяжные паузы, когда приходилось лихорадочно соображать что сказать, всякое невразумительное мычание, речь была четкой и ясной. И главное - выступил-то в защиту губернатора, наговорил в его адрес разных лестных слов и усомнился в том, что справедливо ли того в тюрьму упрятали, он один. Прочие же чинуши, еще вчера бегавшие на полусогнутых перед начальством, теперь всюю открещивались от взяточника, казнокрада и прочая, прочая...

Утром отцу Арсению был звонок из приемной правящего архиерея: предстоял тяжелый, нелицеприятный разговор и отрешение от должности.

Юродивая Валя до морозов бродила босиком; старушонки-прихожанки, жалостливо поглядывая на ее красные ступни ног, пританцовывающих по первому снегу, приносили и дарили ей нераженькую обувку: залатанные валенки или стоптанные сапожки. Но, странное дело, Валя пользовалась дареным недолго, опять топталась в притворе храма босая. Неопределенного возраста, и зимой и летом ходила она в старой замызганной пальтухе, черной, надвинутой на глаза, вязаной шапке. Притуливалась в углу, сжимая в скрюченных грязных пальцах свечку, и, служба - не служба, громко читала нараспев затрепанную, даренную теми же старушонками псалтырь. Первое время зрители храма пытались Валу одергивать, даже норовили выгнать, и один ретивый старичок потащил было ее за рукав. Но с рябенького усохшего личика глянули остро и сердито прежде безучастные ко всему глазки, юродивая лишь на несколько секунд прервала свое заунывное чтение, чтобы сказать:

- Принеси мне буханку хлеба, а то до дому не дойдешь!

И дедок послушно побежал в магазин, приволок на всякий пожарный две буханки: хоть и блажная, а вдруг пожелания сбудутся! Теперь, о чем бы ни попросила отрывистым резким голосом Валя у прихожан, все выполнялось беспрекословно; и даже священнослужители обходили юродивую сторонкой - от греха подальше.

Сразу после Пасхи убогая выбралась из храма на волю во двор, обосновалась с книгами и свечами возле груды железных бочек из-под известки. Заунывный речитатив звучно разносился по ограде, разве что глушил его иногда веселый перезвон колоколов. Постоянно толпились возле Вали женщины, недавно начавшие ходить в церковь, с боязливой почтительностью вслушивались в ее бормотание, пугливо подавались назад, если Валя резко тыкала в кого-либо пальцем и что-нибудь требовала.

И сегодня юродивую, когда Шишадамов с архиерейского подворья подъехал к храму, где уже не был настоятелем, обступала кучка женщин. С еще неутихшей обидой и горечью от жестких начальственных слов отец Арсений стал присматриваться к тому, что делала Валя. В посудину с водой она опустила нательные крестики на цепочках и веревочках; купая их, напевала что-то и подавала прихожанкам.

«Святотатством же занимается! Крестики освящать удумала!» - вскипел Шишадамов и, выйдя из машины, без церемоний повлек Валу к выходу. Та затрясла припадочно головой с выбивающимися из-под шапки грязными седыми космами волос, сморщенное личико перекосила недовольная гримаска, маленькие глазки пыхнули колюче:

- Сотона! Отойди! Будет и тебе!

Шишадамов почувствовал немалую силу в высохшей строптивой фигурке и с трудом выпроводил убогую за ограду... «Теперь еще вдобавок и бесом обозвали!» - плюхнувшись обратно на сиденье автомобиля, он давил на газ и, несясь по улице, теща уязвленное самлюбие, говорил вслух:

- Не твое дело в грязь политики лезть, служи Господу! И так стал «свитским» попом, красоваться бы только на банкетах и приемах! Послужи-ка простым священником в храме!

Выруливший на перекресток грузовик Шишадамов, распалась, заметил слишком поздно, не испугался даже - на приступ страха не оставалось и мгновений, обмер только сердцем, успев выдохнуть:

- Не злоститься бы, а помолиться Господу...

### 3

Приезжую Зойку на улице быстро окрестили Солдатом. Поселок маленький, улочка - сплошь деревянные дома, часто и без жителей, так что каждый новый человек здесь, что в открытом поле.

К бывшему филипповскому домику однажды подкатила «дальнобойная» фура, и многие старушонки, стянувшиеся к месту события, с изумлением стали наблюдать за выносом содержимого ее огромного чрева. В руках грузчиков - крепких ребят - поплыли клетки с сердито гогочущими гусями, сквозь клеточные прутья пытались просунуть головы с ярко-красными гребнями индюки, а на подхвате уже встревоженно кудахтали куры и жалобно блеяли выволакиваемые козы. Еще перед тем как выгружать мебель, один из грузчиков вынес клетку с диковинными белоснежными птицами, споткнулся ненароком, чуть не полетел на землю. И тотчас к нему с испугом на испитом, без кровинки, высохшем лице заковылял, тяжело опираясь на костыль, одноногий хозяин.

- Кому чего, а ему голубки! - проворчала с усмешкой его супружница, немолодая, но статная еще женщина.

Мужчина затравленно оглянулся и, цепко подхватив клетку с другого бока, запрыгал на костыле, пытаясь поспеть за грузчиком.

- Во, о дармоедах-то своих как печется! - добавила жена зло.

Пока набивали всяким добром домишко, малость попришедшие в себя бабули стали любопытствовать - откуда взялись приезжие, благо тут же с ними топталась бывшая бухгалтерша пенсионерка Нюра, хозяйка домика.

- Племянница Зойка это моя, с мужиком... - ответствовала она. - Мне Бог деток не дал, им избу и отписала. Из Прибалтики аж сбегли...

К Зойке не зря с первых же дней прочно прилипло прозвище - по улице бабенка идет и впрямь, как солдат, марширует: спина прямая, руки резво ходят туда-сюда, только пыль из-под сапог вьется. К какой выползшей навстречу соседке голову резко повернет, вякнет, как отрубит: «Здрасть!» - и вперед! Бабушке бы лясы поточить, всех соседей да родню поперебрать-вспомнить, дома-то пяток куриц или козенок дожидаются, а то и живности никакой, всего кошка, куда спешить. Но Зойке с ее «скотобазой» балакать некогда, только поворачиваться успевай. Она и ест стоя, не присядет, вся в ходу до темноты. «А-а, время детское!» - отмахнется небрежно от чьих-либо сочувственных слов.

На Солдата соседки скоро обидчиво надували губы, мужичка же ее жалели. Он, инвалидшко, не только свистел и гонял голубей-чудо птиц, но тоже управлялся по хозяйству как мог. Весной вскопал гряды в огороде, сидя на табуретке. Копнет - передвинется, а жонка, стервоза, покрикивает, что, дескать, мало подается. За лето мужик истаял: доточила болезнь, и соседки опять жалостливо вздохнули - отмаялся, сердешный. Следом пропали и голуби.

Овдовев, Зойка распродала индюков и гусей, но все равно в клетях во дворе осталось немало живности. И странное дело, поубавила прыти, находила минутку и со старушонками покалякать, о житье-бытье порассказать. Зимой стали к ней навещать пожилые кавалеры - вдовцы или просто брошенные бабами мужики. Дров напилил иль расколоть набить, а потом за чашкой чая, осторожно припрашивая чего позабористей, поприсмотреться к крепкой еще и не бедной хозяйке, прикидывая, нельзя ли возле ее бока обособоваться. Зойка скоро раскусила пришельцев, вином не потчевала, а тому, кто пытался дряхлеющей рукой шутливо хлопнуть ее по заду, давала крутой окорот - бедняга вылетал из дому пробкой и больше не показывался.

«Что проку от них, песок из одного места сыплется, на водку лишь канючат! Любоваешься только? - жаловалась она соседкам. - Зимой одна со скотиной как-нибудь управляюсь, весной огород надо сажать, сенокосить летом... И дом отремонтировать бы, полы проваливаются».

- Детки ведь есть, чай, помогут!

- Поедут они из-за границы, держи карман шире! - В зойкиных глазах плескалась злоба. - Мать уж сама заработает себе копейку на черный день!..

Сетования Солдата выслушивала и бабка Лида, вот Серегу Филиппова и привезла. К бывшему родному дому. Пока Серега жадно, с навернувшейся слезой, оглядывал избу, хозяйка тоже присматривалась к квартиранту.

- Ладно, - вздохнула. - По хозяйству помогай, харчи за мной! Но только не пьянствовать и баб не водить! Сразу откажу!

Серега вышел в огород, провел ладонью по шершавой черной от времени поверхности лавочки возле калитки, то ли смел пыль, то ли хотел ощутить тепло нагретого весенним солнцем дерева. Устояла лавка за минувший десяток лет, сам вкапывал вместо ножек толстенные чурбаны-пеньки. Серега опустил на нее, с радостным трепетом выхватывая взглядом уцелевшее из кажущейся очень далекой прежней жизни. Вон на старой березе еще чернеет птичий домик, который когда-то смастерил сам, и около шумно хлопочут скворец со скворчихой; вдоль забора вместо рядка махоньких прутьев-саженцев вздымаются яблони с готовыми вот-вот лопнуть почками; колодезный сруб неподалеку от дома замшел сверху, позеленел, да и дом стал ниже, врос в землю, подтачиваемый водой из ключа. Казалось, что сейчас на крылечко выйдет мама...

Зачем тогда сам торопил, тормозил сестру, покоя ей, бедной, не давал, приставая с продажей дома? Ну да женушке понадобились срочно денежки для обновления мебели, а тут еще задержки с зарплатой на работе. И сестра тоже быстро согласилась, тоже финансы потребовались. Мать вздохнула просяще и прощально: «Может, не будете избу-то продавать? Все ж память какая потом». «Что ты, мама! - заладили в один голос сын и дочь. - У одной поживешь, а там у другого. Нам сюда часто ездить далеко и недосуг, чего ж тебе в одиночестве болеть да мучиться!»

Мать пожила у дочери, Сереге условленный черед настал ее на жительство забирать, а дражайшая супруга на дыбки - некуда, и так тесно. Серега спорить не стал, бабе виднее, но когда приехал проведать мать и сестра встретила его ледяным презрительным молчанием, он, не дожидаясь, пока ее прорвет, скорехонько, чмокнув мать на прощание в щеку, улизнул на вокзал. И больше не бывал. Мать еще посылала изредка нацарапанные корявым крупным почерком короткие письма, а потом и они перестали приходить...

Знакомо скрипнула дверь - Серега даже вздрогнул, но на крылечко вышла не мать, а чужая тетка-хозяйка. Квартиранта звать.

#### 4

Зойка не давала Сереге и минуты слоняться без дела, уж коли передышка случалась - отправляла коз пасты. Отвыкший от крестьянской работы, с ноющими руками и ногами, деревянной спиной, Серега поначалу радовался: на травке хоть спокойно поваляться можно. Но бородатые рогатые бестии, в загородке идиллически мирно жующие принесенную охапку травы, на воле уперлись, как вкопанные, с места не сдвинуть, потом все пяте-

ро побрели в разные стороны, и не успел пастух глазом моргнуть, полезли в соседние палисадники драть кусты. Пока он вытуривал одну, другие уже прорывались в чужой огород, особым чутьем, что ли, находя лаз.

Дрыном, пинками, матюками Серега, наконец, собрал животин в кучу, но тут дотеле сумрачно взирающий на всю катавасию козел разбежался и ударил ему под поджарый зад острыми ребристыми рогами. О-ох!

Выгон за крайними домами улицы был вытопан, завален мусором, из земли там и сям угрожающе высовывались ржавые железяки, пугая коз, проносились с лаем псины, и когда Серега погнал стадо домой, невесело было смотреть на ввалившиеся козы бока.

На другой раз он сообразил: поманил за собой куском ржаного хлеба старую козу, за ней и все стадо послушно побежало. Серега повел его на дальний выпас, за реку. Не прогадал: козам травы вдосталь, и сам на нагретом солнцем камушке сиди-посиживай спокойно, не надо ежиться под насмешливыми взглядами случайных прохожих - не хилый еще мужик, а заделался козлопасом! Жизнь заделала - не каждому втолкуешь!

Из низины, по дну которой петляла полускрытая ядовито-зеленым пологом ряски речушка-ручеек, можно было разглядывать старенькие домишки поселка, взбирающиеся по склону холма к стандартным пятиэтажкам на его вершине; напротив, с другой стороны низины, тоже на высоком холме, щербато пестрели выбитым из стен кирпичом руины храма. Прежде поблизости ютилась деревушка, Серега помнил еще пару-тройку домов. Теперь места, где они стояли, заросли бурьяном. В колокольню ударила молния: верх с обломком шпиля сгорел, обугленная звонница стояла впрямь крепостная башня после штурма.

Серега вознамерился побродить по развалинам, да передумал - одному жутковато - внутри их обволакивающая сырая полутьма, чуть кашляни - и в ответ тотчас пугающее эхо, на видных местах выцарапаны всякие скабрзные надписи. Самому пацаны когда-то давным-давно в руки гвоздь совали - «увековечиться», и не удержался Серега, не похабщину, но имечко свое на стене под полуистлевшей фреской, где и рассмотреть-то ничего было нельзя, сглупу выцарапал. И вот наказало, видать. Не сразу, давало время охватиться, одуматься, как жизнянка катится, да пока гром не грянет, мужик не перекрестится - верно мать говорила.

К храму от окраины поселка через луговину вилась хорошо протоптанная тропа, рядом с ней и следы «легковушки» обозначивались: не иначе народишко святое место посещал, не забывал. Заметив людей на тропинке, Серега стал отгонять коз подалее в сторону: не хотелось опять чьих-то насмешливых взглядов. Оборачиваясь, он приметил, что бредшая тройца не очень походила на истовых богомольцев. Двое крепко «поддатых», лет под тридцать, парней то с одного боку, то с другого бесстыдно лапали свою спутницу, постарше их, но еще фигуристую, с распущенными длинными черными волосами женщину, одетую в легкий девчоночий сарафан. Она пьяно и звонко хохотала, отбиваясь от ухажеров, потом один все-таки повалил ее, визжащую, в траву, полез под подол.

- Да отцепись ты! Не здесь же, видишь - кто-то смотрит! Потерпи до погоста! - больше для вида сопротивлялась она.

Распялившего рот Серегу задиристо-грубо окликнул второй, тоже жаждущий своего череда, парень:

- Че вылупился?! В ухо хошь?

Серега, пятясь, лихорадочно прикидывал: ребята наверняка механизаторы - ручищи у них здоровенные, жилистые, с въевшимся в кожу мазутом. Такие, даром что и пьяные, а тумачков навешают будь здоров слабому от недавней «бомжатской» маеты и бескормицы человеку. Серега связываться бы не стал и по мере возможностей стремительно удалился, но показавшееся знакомым смуглое, с большими черными глазами, лицо женщины удержало его.

- Филиппок, ты, что ли? - первой призналась она и, ловко выскользнув из неуклюжих объятий кавалера, встала, поправляя задранный подол сарафана. - Откуда взялся? Ты же где-то там... - она сделала неопределенный жест рукой. - Мальчики, верьте - не верьте, бабки моей Лиды сосед!

Алка Грехова это была, или как ее теперь по фамилии! Про нее, стесняясь, спрашивал по дороге в поселок Серега у бабки Лиды и, когда старуха в ответ сухо поджала в ниточку губы, не посмел допытываться дальше...

Ребята оказались людьми свойскими: Филиппова они не помнили, но тем не менее Серега скоро восседал в компании с наполненным до краев «паленой» водкой «хрущевс-

ким» стаканом в руке и, залпом опрокинув его, занюхивая хлебной коркой, опять не отводил глаз от Алки.

Расположились на пикник, выбрав местечко в тени под старыми липами на церковном холме; внизу, под ногами, склон уродовала ямища заросшего разной дурниной карьера, рядом - угрюмо зиял пустотой пролом в стене храма, на земле валялись продавленные тракторными гусеницами створки ворот, и сквозь щели в них проросла трава. Серега почувствовал себя здесь неуютно сразу же, как пришли и сели, и убежать бы не задолго, кабы не Алка. Зато она и парни, «добавив», развеселились вовсю, слушая ее побасенку о посещении поликлиники:

- Траванулась я какой-то пакостью, желудок заболел. Врач меня на рентген просвечивать направил чин-чинарем, утром кати натошак. Там в кабинете, в потемках, двое мужиков в белых халатах. Раздевайся, говорят. И лифчик снимай. Просвечивают меня, мел разведенный глотать заставляют. Но не все, наверно, видят, сомневаются. Раздевайся-ка, милашка, совсем! Ну, совсем так совсем! Стою, дура голая, мужики разглядывают. Потом один дверь в соседний кабинет открывает, заводит меня. Вон, кушеточка, становись-ка на коленочки, и сам, окаянный, дверь-то на ключ!..

Алка выразительно замолчала, и парень, сидящий рядом с Серегой, захихикал, потом загоготал, дернул за ногу приятеля, уже растянувшегося на земле, предлагая присоединиться, но тот, не просыпаясь, ответил блаженной улыбкой. Алка тоже смеялась, поблескивая переспелой смородиной хмельных глаз, опущенных густыми длинными ресницами, встряхивая головой, сдувала с лица упавшую прядь иссиня-черных курчавых волос, и в больших круглых, под «золото», серьгах в ее ушах отражалось, играя искорками, солнце. «Прабабка которая-то с цыганом согрешила, мне и передала!..»

В школе, в выпускном классе, она была посветлее, не как сейчас, будто непрерывно жарилась под солнечными лучами, что смуглота, казалось, проступала сквозь кожу откуда-то изнутри. Серега учился на три класса младше, подошла пора и ему приглядываться к девчонкам, смущаться и краснеть, поймав бысролетный любопытный взгляд, но ровесницы его не влекли. С трудом домаявшись до перемены, он в коридоре ждал, когда старшекласники, властно отодвигая мелюзгу, вывалит на улицу - ребята курить за углом, девки судачить. И, конечно, мимо него, прижатого к стенке, пройдет она... Знала бы, как начинало ревниво трепыхаться ретивое у Сереги, видевшего, как ее пытаются облапить одноклассники, но только замечала ли она долговязого застенчивого мальчишку? А он и летним комариным вечером лип к металлической сетке, окружающей барьером танцплощадку в саду, и среди дергающихся под музыку фигур выискивал Алку. Впрочем, вглядываться долго и не требовалось: возле нее всегда гурьбой толклись ребята. И когда она изредка забегала попроведать бабку, тоже плющил нос об оконное стекло.

Алка выскочила замуж, едва закончив школу. Серега, узнав об этом, забился в угол и там тоскливо глотал горькие слезы обиды на свои небольшие еще года...

- Аллочка, пойдем! Уважь! - сумасшедший хохот после алкиного рассказа обессилил парня-собутельника: глаза у него осоловели, сделались впрямь оловянные пуговицы, язык еле ворочался, но кавалер упорно тянул Алку к пролому в церковной стене. - А то давай здесь!

Алка отпихнула его, и горе-ухажер кулем плюхнулся в ложбинку промеж едва заметных в траве холмиков и, не пытаясь подняться, захныкал, ровно пацаненок:

- Со всеми ласкова, только не со мной!

- Молодая жена поласкает! - огрызнулась Алка, но парня уже сморило, он затих, как и его сотоварищ.

- Эх, дураки, от молодых баб за мной усвистали! - взглянув на распластанных по земле мужичков, она усмехнулась с нескрываемой бахвальцей и, блестя озорно глазами, пропела, притопывая в такт ногой со свежей коростиной на коленке: - Дроля стукайся - не стукайся, Все равно не пропущу! На печи сижу нагая, В рубашонке вшей ишу!

Серега молчал, водка лезла плохо. Слушая Алку, он кривился, было противно, а теперь и с суеверным, накатившимся откуда-то из глубины души страхом взирал на черную дыру пролома. Алка перехватила его взгляд, села рядом:

- А туда в дождик если, в непогоду укрываются. Выпить, ну и если чего еще приспичит. Чтoб лишние глаза не мешали. И компаниями пешком бродят, и на машинах ездят. Я вон залезла к одним, так они втроем на меня здесь напустились. А после по поселку разбрыкали, понравилось дьяволам, теперь вот и молодняк клеится... Чтo уставился-то, думаешь, одну меня сюда таскают?!



Она только что была беспешанно-веселая и пьяненькая, а тут нахмурилась, блеск в цыганских глазах померк, по высокому лбу, резко старя лицо, пролегла глубокая складка, уголки рта по-старушечьи скорбно опустились. Серега робко приобнял ее за сторбленные плечи:

- Пойдем куда-нибудь, неуютно, тошно здесь! Только вот они как? - он кивнул на парней.

- Продрыхнутся! - махнула рукой Алка. - Потом и не вспомнят, как тут очутились...

Июньский вечер долог, пламенеет, не затухая, закат, но вот невесть откуда взявшийся ветерок нагонит стай темно-лиловых облаков, и землю неспешно окутают прозрачные сумерки, загустеют сине, кусты обочь полевой дороги станут пугающе-таинственными, а на дорожной колее нога того и гляди угодит в незамеченную рытвину или споткнется больно носком о камень.

Серега вел Алку, цепко подхватив ее под локоть, боясь оглянуться назад, на мрачные руины. Повевало речной свежестью, впереди густой белой пеленой за клубился туман. Из прогретой за жаркий день воды тихого омутка он струился колеблющимися, как парок, язычками. Серега, даже не раздумывая, словно стараясь очиститься, содрать с себя грязную кровающую коросту, сбросил рубаху и брюки и, очертя голову, нырнул в омут. Когда вынырнул, отплевываясь, почувствовал себя легче, чище и долго еще бултыхался в теплой парной воде. Позвал искупаться Алку, но та отказалась; подстелив серегины шмотки, сидела, скукожась, поджав коленки к подбородку и лениво отмахиваясь веткой от комаров.

Скоро затянул студеный полуночник - и нудящая кровожадная гнусь убралась; Алка, отбросив ветку, легла, закинув руки за голову. Серега, наконец, выскользнул из уютных речных объятий и на ветерке затоптался около Алки, выстукивая зубами дробь и покрываясь гусиной кожей.

- Иди, погрею... - тихо позвала она.

Серега послушно лег рядом, прильнув на мгновение к горячему телу, пугливо скосил глаза - Алка, спустив с плеч бретельки сарафана, явила большие упругие груди, темные соски зовуще вздымались вверх. Серега потянулся было целоваться, но жаждущие губы его вдруг словно одеревенели - явилось, как наваждение, перед глазами: полутемная спальня, жена, ее рыжий наглый хахаль. Серега поразился, как может быть поганно внезапно вспыхнувшее сейчас вроде б законное, выстраданное чувство мести и... сел спиной к Алке, потянув из-под нее свою рубаху.

- Блажной какой-то... - разочарованно вздохнула та.

## 5

Нет, поначалу это было хуже всего. И ладно еще если на церковную паперть можно шагнуть прямо с земли, а не вскарабкиваться по ступенькам, дождавшись чьей-либо помощи.

Шишадамов преодолевал высокий порог в притвор храма и, тяжело опираясь на костыли, исподлобья озирал спины и затылки молящихся. Пока никто не узнавал его, одетого в мешковатый невзрачный костюм, в расстегнутой болониевой куртке. Прежняя широкая «греческая» ряса пребывала дома на вешалке, отец Арсений боялся запутаться в ней и грохнуться, чего доброго, и со стороны посмотреть: поп на костылях - зрелище из малоприятных.

Прошептав молитву, он, нарочито громко стуча костылями - чтобы уступали дорогу, - начинал пробираться к алтарю. Его замечали старые знакомые бабушки-прихожанки, улыбаясь растерянно и жалостливо, складывали крест-накрест ладошки, собираясь подойти под благословение, но порыв гас, стоило глянуть на вцепившиеся мертвой хваткой в перекладинки костылей руки Шишадамова со вздувшимися от напряжения венами.

Отец Арсений норовил как можно быстрее взобраться на солею, подскочивших на подмогу мальчишек-алтарников шугал с суровым видом: «Цыц!» - и, ступив в алтарь, замирал, преклонив голову перед престолом Божиим. И опять обступали Шишадамова - теперь священнослужители; в братском целовании блазилась ему не искренность, а настороженность: как бы не причинить ненароком боль, и снова - жалостливые взгляды, то открытые, то таясь. И хоть бы кто глянул со скрытым злорадством: бесперомонен и горд прежде бывал Шишадамов с собратьями, мог и грубовато осадить в разговоре, да и во время службы прикрикнуть на замешкавшегося. Но напрасно ждал отец Арсений, даже когда нарочито вызывающе отвечал на «дежурные» вопросы о здоровье, о жизни: «Копчуха вот небушко... Вашими, стало быть, молитвами».

Он отказывался присесть на креслице где-нибудь в уголку алтаря, снисхождения к своей немочи не терпел и службу старался отстоять до конца, повиснув на костылях, понутив голову. Искоса он иногда поглядывал на служащего иерея, и если бы кто посмотрел в это время пристально в глаза отцу Арсению, заметил бы в них и зависть, и обиду, и злые на судьбу слезы. «Господи! За что ж так жестоко ты меня наказал!»

Этот немой вопль, крик, отчаянный плач вырвался из глубины души, стоило оклематься от наркоза на больничной койке и, страшась, обмирая сердцем, увидеть забинтованные искалеченные свои ноги, горящие нестерпимой болью. Красивый, дородный, сорокалетний мужчина, Шишадамов понял, что без костылей, если вообще сумеет подняться, не сделать теперь ни шага, и он, изуродованный, немощный, вынужден будет судорожно и униженно хвататься за полы одежд спешащих мимо него благополучных и занятых людей.

Отец Арсений сжал зубы, зашедших попроведать встречал холодным молчанием, что-то односложно, уставясь в потолок, отвечал. Сыновья-погодки, студенты старших курсов политехнического института, неловко, потупясь, топтались возле койки, где возлежал недоступный и даже какой-то чужой отец; нечасто заходила и супружница-матушка. Положив в тумбочку пакет с гостинцами, стояла молча у изголовья - роскошная, вся из себя, дама из областной администрации, с короткой модной стрижкой и ярко накрашенными губами. Говорили, что чета Шишадамовых неплохо смотрелась на официальных приемах. Не было и близко теперь в современной попадье от той дореволюционной матушки с белоснежной каемочкой платочка над бровями под плотно повязанным черным полущалком, богобоязненной, тихой и послушной. Попадья у Шишадамова поначалу, после института, смиренно труждалась в какой-то конторке, растила детей, помалкивала, где и кем служит супруг, но едва утеснение духовного «сословия» ослабло и сошло на нет, карьеру она сделала головокружительную - неглупая женщина и была. Чем-то и сам муж, «блистая» возле губернатора, ей поспособствовал.

И ныне вот о том сожалел, страдал... И она, поглядывая на поверженного изуродованного инвалида-мужа, тоже страдала, нервно и горько дергала уголками увядших под помадой губ, и если б не больничная палата, то наверняка бы полезла в сумочку за тоненькой ментоловой сигареткой с длинным фильтром.

Супруга вскоре после возвращения Шишадамова из больницы домой ушла, без истерик и слез, молча. Он предвидел это. Прежде она, если б и надумала, вряд ли бы решилась: престиж бы в глазах ее высоких начальственных сослуживцев пострадал, а теперь в это жестокое бездушное ко всему время ее не осудили, посочувствовали даже. Не захотела жизнь свою, яркую и неповторимую, возле калеки корезить.

В последние годы кто позорчей и любопытней подмечал, что блистательная шишадамовская чета держится как-то неестественно, ровно как разлететься в разные стороны норовит. Час пробил... Многим, особенно в свои молодые лета, помог отец Арсений подвинуться к Богу, к вере, а от половины-то своей, богоданной, не ведал, как и отдалился. Или она от него...

Не бросила, не отступилась лишь одна тетка, сестра матери. Вековуха, бобылка, она жила сама по себе, семейству Шишадамовых не докучала, скорее те почти не вспоминали о ее существовании. Отец Арсений с трудом узнал тетку среди прихожанок восстанавливаемого храма: неприметная, укутанная в черный платок старушонка жила, оказывается, поблизости в ветхой коммуналке-развалюхе, уцелевшей как памятник архитектуры, и всю жизнь проработала на фабричонке в оскверненном храмовом здании. Как только в развалинах затеплилась церковная жизнь, была тут как тут, с такими же старушонками разгребала кучи мусора. И потом, когда в храме мало-мальски обустроились, на праздники старательно терла и скоблила закапанные воском полы, чистила подсвечники, мыла окна - и все только за доброе слово, которое отец настоятель не торопился и молвить; на полуграмотных старушонок Шишадамов поглядывал снисходительно-свысока, с недоступной строгостью, и усмехался втихую, замечая, как иной батюшка располагал их к себе елейной ласкою: «Давай, давай! Может, рублишко лишний подадут!»

И тетку из прочих он не выделял, слышал только как-то от нее, что собиралась она остаток бременной жизни провести трудницей в монастыре. Да вот задержалась... Куда б теперь без нее?! В дом инвалидов. Не возьмут - родня имеется и вроде бы не отказалась. Молчаливая тетка хлопотала на кухне, затевала постирушки, ходила в магазин, а уж когда было ей что неумоготу, появлялись помощницы, старушки из прихода. Они заходили в комнату, отец Арсений со стыда прятал глаза и не только из-за того, что стеснялся своего беспо-

мощного вида...

Шишадамов после выписки из больницы шкандыбал на костылях по квартире, потом приноровился выбираться на улицу, во двор, а там и на близкую набережную. Жадно вдыхая весенний, напоенный запахами оттаявшей земли, речной воды, воздух, он смотрел, не отрываясь, на сверкающие в солнечных лучах кресты собора, белеющего на взгорке над извивом реки...

Разбитую всмятку шишадамовскую «волжанку» виновник аварии поменял на импортный микроавтобус: отец Арсений взглянул на испуганного парня, зашедшего в больничную палату, двух маленьких девчонок возле отцовских ног и не стал судиться. Конечно, подъездикнул ехидно гаденький чертенок: дешево, мол, здоровьишко свое ценишь, но Шишадамов тут же смирил его - сам не меньше виноват, Бог рассудит!

Добрый сосед выгонял микроавтобус из гаража, помогал отцу Арсению забраться в кабину. И было следом - восхождение на церковную паперть, жалостливые взгляды в храме и сутубая, со слезами на глазах и рыданиями в душе, молитва в алтаре.

На выходе из храма, когда Шишадамов преодолевал последние метры до автомобиля, староста, шустрая нестарая женщина, сунула в карман свернутые деньги: «И не отказывайтесь! Велика ли пенсия!» Потом история эта повторялась всякий раз; отец Арсений уже горько усмехался - церковный праздник старался не пропустить, порою и через расходившуюся к непогоде немочь, стремясь помолиться со всеми, а выходило, что приобрел побираться, милостыню просить. И люди, наверное, верили, что творили благое дело, Шишадамову же казалось, что от него просто-напросто откупались.

Со временем он смирился бы с этим, перестал укорять себя, но... однажды в храмовый праздник за обильной трапезой оказался нос к носу с бывшим губернатором. Тот с торжественно-значимым выражением на лице ходил, держа в руках чашу со святой водой для кропления, за новым настоятелем на крестном ходе; забрызганный костюм на нем еще темнел пятнами, не успев просохнуть, - так и воссел он во главе стола.

После пребывания в «Матросской Тишине» экс-губернатор повысох, пооблинял, веснушки на щеках и на лбу почернели, норовя превратиться в безобразные старческие родинки. Сидел он напряженно, будто кол проглотил, не как прежде - развальясь, и в цепком взгляде маленьких медвежьих глазок поубавилось много прежнего самодовольства: чувствовалось, что он оценивал теперь людей по нужности, необходимости себе, боясь ошибиться, не раньше - кто перья поярче распустил, с язычка медку капнул: мил товарищ!

После долгого следствия, суда и «впаянного» немалого срока осужденному вышло помилование от главного «дорогого россиянина». Разнесся слух, что губернатор отважно встал на пути алчных столичных олигархов, двигающих на Север грабительский, все чистящий под метелку проект, был ловко «подставлен» льстивым своим окружением и, почитай, за просто так угодил на нары. Патриот он, выходит, а не казнокрад и не взяточник! Освободясь, безвинный страдалец избрался президентом «карманной», созданной им же самим академии и стал якшаться с губернским «дворянским собранием»: не иначе, в деревенских корнях его струилась «голубая» кровь.

Шишадамов, миновав столпотворение «джипов» и «волг» возле крыльца дома трапезной, не скоро взобрался по лестнице на второй этаж, прижимаясь к перилам и пропуская запаздывающих, к застолью приковылял последним. Повиснув на костылях, он оглядел впритык друг к дружке сидящих за столами; у самого входа с краешка лавки кто-то из молоденьких алтарных служек нехотя подвинулся. Гремя костылями, отец Арсений стал забираться за стол; в это время в честь экс-губернатора, знатного гостя и именинника, возгласили здравицу, вознесли бокалы с шампанским.

Шишадамов, кое-как примостясь и поддавшись общему порыву, тоже обхватил стакан за прохладные грани, но посудина выскользнула, и вино, пузырясь, растеклось по скатерти. Тут и нашел отца Арсения губернаторский прищур. В толчее, гомене именинник поначалу скользнул по Шишадамову равнодушным взглядом, как по убогому нищему, нахально пролезшему в застолье. Но теперь отец Арсений понял, что был узан - экс-губернатор смотрел на него с неподдельным интересом и любопытством, потом - оценивая, через мгновение - сожалеюще. В глазах промелькнула сытая насмешка превосходства здорового человека над безнадежно больным уродцем, и все - всякий интерес погас, больше бывший губернатор на Шишадамова не взглянул даже мельком.

Правда, когда все повскакали из-за столов проводить именинника, он как-то особенно аккуратно обогнул неловко растопырившегося у выхода Шишадамова, старательно отворачиваясь в сторону - боялся, видно, что бывший советник подковыляет к нему с какой-

нибудь просьбишкой. Отца Арсения чуть не столкнули, а то бы и стоптали, спешащие на волю разгоряченные подобострастники; кто-то из них прошипел злобно: «Путаются тут под ногами...»

Пока Шишадамов спускался с лестницы, вся экс-губернаторская шатия-братия разъехалась, на аллейке в кустах за крыльцом одиноко маячило его собственное авто, сосед-водитель куда-то отбежал. Отец Арсений открыл дверцу, стал взгромождаться в кабину, почувствовал, что кто-то ему помогает, обернулся и увидел юродивую Валу.

- Вот видишь, какой я... Прости, если сможешь.

Убогая молчала, вытирая грязным сморщенным кулачком слезы, а когда Шишадамов поехал, торопливо перекрестила машину вслед.

## 6

Слух прошел - в больнице почил бабушка Лида. Схоронили ее родные как-то тайком от соседей, отвезли напрямик на погост. Вскоре в бабкину избушку вселилась Алка, да и не одна. Серега, увидев бредущего рядом с ней небрежно одетого, седоголового мужичка, усмехнулся - не иначе с молодежи на пожилых переключилась. Сердечко, однако, неприятно покарябало; проводив косым взглядом парочку - гуся с гагарочкой, он со злостью обрушил косу на заросли крапивы под изгородью.

Позвала хозяйка, дело пришлось забросить на половине, там закрутило другое, и когда Серега опять вышел с косою добывать крапивник, уже вечерело. И опять увидел Алку. Днем мимо пробежала с кавалером, даже не кивнула, а сейчас расцвела в радостной улыбке, будто век чаяла встретить. Глаза блестят, на смуглых щеках выступил румянец, как у молоденькой девчонки, вцепилась Сереге в ладонь и потянула за собой.

- В гости пошли! У Солдата, что ли, отпрашиваться надо?

От Алки пахнуло перегаром, в сумке в другой руке звякнуло - ясно, компания потребовалась.

В доме в горнице на смятой постели валялся, облаченный в одни плавки, давешний мужичонко. Алка растолкала его, он сел в кровати, продирая кулаками глаза на опухшем лице, кое-где подсиненная наколками кожа обтягивала выпирающие мосласто кости.

- Муж мой! - тараторила Алка. - Приехал на побывку! За матерью парализованной на родине ухаживает, на ее пенсию и живет. Во пристроился, гад! А?!

Выставленная ею на стол поллитровка самогона значительно ускорила процесс пробуждения, мужик кивнул в сторону Сереги и уставился на него тяжелым немигающим взглядом мутных глаз.

- Сосед наш, - успокоила его Алка.

Мужик, подрагивая - все-таки в давно нетопленной избе и летом было холодно, стянул со спинки кровати пиджак, накинул на плечи и, не вставая, протянул Сереге руку, невнятно прощамкав беззубым ртом свое имя.

Самогонка оживила его, квелого, он забормотал скороговоркой непонятно, но крепкий мат и блатной треп можно было без труда разобрать, выделялись они явственно и были большей и значимой частью речи. Серега и пары слов для диалога не смог вставить: Алкин муж, закатив белые безумные глаза, то хохотал, стуча кулаком себе в грудь, то начинал хрипло петь, раскачиваясь на кровати. Кого-то напоминал он Сереге... Жил когда-то давно по соседству один алкаш. Он «отмотал» двадцатилетний срок и почти выжил из ума. Перебрав какой-нибудь дряни, он в трусах, синий от татуировок, разгуливал вокруг своего дома, вопя во все горло блатные песни. Родственнички уpekли его потом в богадельню, где он, по слухам, благополучно «отбросил кони». А теперь, не иначе, воскрес соседусшко, как не помирал!..

Алка в истреблении содержимого посуды не уступала мужикам, вся ее игривость, веселость поблекла, сошла на нет. Завесив лицо спутанными волосами, Алка тупо уставилась в одну точку и сидела так, пока муженек ее, как бы выпроваживая присутствующих, взмахнул рукой, зычно проверещал и без чувств рухнул ничком в подушку.

- Лешак, одно слово! Делай со мной чего хочешь - ему даром! - Алка следом за Серегой вышла в сенник, в потемках уткнулась ему в спину лицом. - А я ведь серьезно!

Едва миновали неловкие ступеньки и очутились во дворе, она прижалась к серегиной груди, мокрыми губами слюнявя ему щеки:

- Пойдем... Куда-нибудь...

Тогда, после речного купания в светлых июньских сумерках, Серега, что скрывать, корил себя за то, что растерялся перед лежащей на берегу и насмешливо поглядывающей

на него Алкой, словно лопухий малолетка, не посмел прикоснуться к ней, а потом грезил, представляя ее еще не увядшее тело... Сейчас же вешалась ему на шею, как привокзальная шлюха, совершенно пьяная женщина. Серега пил мало, «паленка» чуть не вывернула наизнанку нутро - начал отвыкать, на воле вообще все выветрилось. Он осторожно снял с себя алкины руки, посторонился.

- Брезгуешь мною? А я-то думала - просто боишься! А ты брезгуешь всего-навсего!

Алка замолотила кулачками Серегу по груди, и он торопливо выскользнул за калитку и даже за скобку дверь придержал на всякий случай. Дождь, пока Алка, хныча и поскуливая, убредет вглубь двора, перебежал улицу к своему дому.

Зойка-Солдат спала или бодрствовала - неведомо; ее Серега решил не беспокоить, залез на сеновал. На душе было муторно. Сквозь щели в стене пробивался свет из окон дома напротив, где наверняка все еще валялся «вверх воронкой» алкин муж, которому безразлично, куда и с кем отправилась его жена... Жаль было Алку, что выпала ей доля жить вот с таким. «Артистов», подобных ему, Серега вдоволь насмотрелся в скитаниях на вокзале, но одно удивляло, не выходило из головы, то, что этот отлет, «лешак» заботился о больной матери, не забывал, не бросал ее. А он, Серега, вроде б хороший сын и человек, лежал сейчас на чужом сеновале.

## 7

Зойка стала не бойка. Потеряв мужа, заметно усохла - заметили соседки, прежде кругленькое личико сморщилось, почернело, слинял с него робкий бабий румянец. И вышагивала теперь Зойка не по-солдатски размашисто, а горбясь, подволакивая ногу. Только глаза остались по-прежнему завидующие - все бы ухватила!

На квартиранта-работника она заодно покрикивала да подгоняла его, как, бывало, калеку-муженька, хотя Серега и сенокосил заправски, и прочую домашнюю работу делал: когда-то и Филипповы живность держали, Серега помогал матери «обряжаться», не забылось что да как. Хозяйка вначале намекнула, что квартиросъемщика намерена терпеть только до «белых мух», и Серега сам собирался прожить у нее недолго, «оклематься» лишь. Все равно на работу не пристроиться - без прописки не возьмут, да и так в поселке своей неработы болтаются невпроворот. Со знакомыми, в особенности с ровесниками, Серега избегал встречаться, стыдно назваться «подживотником» или батраком. А ехать обратно в город, к жене - как нарвешься, вдруг опять все по-новой - менты и бомжи. От одних воспоминаний мурашки по коже!

Лучше у Зойки пока обитать... Утром просыпаешься в комнатке-боковушке, где еще пацаном возле окошка сладкие сны видел, снова глаза на минуту закроешь, и кажется, что за стенкой на кухне хлопочет и вот-вот тебя окликнет мать.

Чужой же человек - не родная матушка... Тогда, в начале лета, после встречи с Алкой и речного купания, когда оставленные без догляда козы сами прибрели в сумерках к дому, и Серега появился лишь под утро, Зойка особо не возмущалась. С усмешкой выслушала сбивчиво промямленное оправдание насчет встреченных внезапно старых друзей, хмыкнула, дернув плечом: «Ну-ну!» - и с выражением на калитку указала: дескать, помни, о чем договаривались. На том и кончилось.

Но стоило Сереге в этот раз утром сползти с сеновала, не успел он глаза продрать и труху из волос вытрясти, хозяйка прямо с крыльца набросилась на него злой шавкой. Усекла наверняка, как возился он с Алкой в соседнем дворе. Ее, бедную, Зойка поливала, ровно распоследнюю «прости-господи», - глядя на распаленное яростью лицо, по-птичьи дергающуюся с растрепанными космами голову хозяйки, Серега удивился даже: «Приревновала, что ли, старбень?!» Ясно было одно: надо собирать манатки, а поскольку таковых не имелось, он, засунув руки в карманы и посвистывая, удалился.

«Что, оклемался? - еще хорохорясь, с издевкой уколол себя. - Раскатал губенку-то!» На перекрестке он оглянулся - родной домик, из которого только что турнули, прятал окна за кустами сирени. Серегино сердце сжалось от полоснувшей по нему боли, и, пытаясь проглотить застрявший в горле соленый ком, Серега побрел, сутуля плечи, как старик.

Возле автостанции он надеялся поймать попутку, денег на билет до города все равно бы не хватало. Добраться - и к законной супружнице в квартиру! Что бы получилось дальше, Серега представлял смутно, но наверняка бы ничего хорошего, коли кулаки сжимались сами собой. А-а, будь что будет!..

Мало-помалу пыл угас: редкие попутные машины пронеслись мимо, Серега устал топтаться у подступивших к трассе ларьков, все больше убеждаясь, что вряд ли найдется бес-

корыстный дурачок, согласный подобрать горе-пассажира в задрюпанной джинсовой «паре». Пьянчужки из местных с любопытством приглядывались к нему и не кумекали ли вытрясти из чужака последние копейки, предварительно «отоварив». Стало куда хуже, когда поблизости остановился милицейский «уазик», и крепкие ребята с лычками на погонах тоже начали подозрительно поглядывать на человека, с отчаянием бросавшегося чуть ли не под колеса автомобилей.

К обалденной радости Сереги иноземный «форд», задав кругляя на площадке перед хибарой автостанции, внезапно тормознул возле него. Серега растерянно и униженно лепеча: «Заплатить-то мне вот нечем...» - подбрел к «иномарке», но водитель в ответ нервно защелкал стартером, пытаясь без толку запустить заглохший движок: от резкого торможения машину развернуло едва ли не поперек дороги. Пришлось хозяину вылезать и копаться в моторе; Серега оторопел, увидав заросшего косматой, с проседью, гривой и бородачей инвалида, который, тяжело опираясь на костыль, подковылял к капоту, оступись и упал бы, коли не подоспел подхватить его Серега.

- Что вылутился? - усмехнулся бородач. - Как чудо-юдо из берлоги вылезит, не видал?

«Менты» налетели коршуньем: это еще б к нищему доходяге подумали прицепиться, а тут «клиент», судя по машинешке, солидный.

- Ба-атюшка! - ехидно протянул бугай-сержантик, вглядываясь в документы и с нескрываемым удовольствием обнаружив в них какое-то нарушение. Его напарник, как ищейка, сновал вокруг «форда» и тоже нашел то, что, видно, желал отыскать, весело сообщил о том старшему. Тот, пристально уставясь на водителя, выдержал паузу, потом вздохнул и по-хозяйски забрался за руль.

- Неисправное транспортное средство заберете на стоянке у отделения милиции. Время пошло... На вашем месте я ездить вообще бы не рискнул, - назидательно добавил страж порядка, окинув Шишадамова пренебрежительным взглядом уверенного в собственном здоровье человека.

- Это произвол... Я вашему генералу пожалуюсь, мы с ним хорошие знакомые! - угрозиво пообещал Шишадамов.

- Ради Бога! Вас послушать, так все вы кумы да сватовья нашему начальству! И это вот заберите! - сержант выставил из кабины старомодный саквояж. - Еще потом заявите, что сперли у вас, ба-атюшка! - опять с ехидством протянул он, коротко хохотнул и надавил на газ.

Серега толкся все время тут, ныл просительно: мол, отпустите водителя-благотетеля, всего один такой добрый человек сыскался, пока не легла на его плечо властная рука:

- Ты кто?

- Прохожий, - растерянно молвил Серега.

- Так проходи! Или в отделение захотел?

И Серега сник, отбрел в сторонку, но когда менты «Форд» отогнали, и бородач, повиснув на костылях, тоскливо проводил автомобиль взглядом, бормоча: «Были времена, чуть ли честь на перекрестках не отдавали! Да, были времена...» - подошел и поднял опрокинутый в пыль саквояж:

- Простите, все ведь из-за меня...

- Бог простит, брат! - вздохнул Шишадамов. - Ты лучше подскажи, как в город добратся?

- Последний автобус ушел, я вот на попутках полдня уехать не могу. А вечером кто посадит?

Надо было где-то ночевать, не на скамейке же в саду. Серега, принаравливаясь к грузному и неловкому ковылянию попутчика, повел его туда, куда не думал возвращаться - к своему бывшему родному дому.

## 8

Ворота, ближе к ночи, Зойка запирала накрепко: управясь со «скотобазой», хозяйка ложилась спать рано, даже беспощадно вырубала телевизор перед носом квартиранта - нечего на голых баб пялиться, так что Серега сейчас, подходя к дому, шаги замедлял и с тайной надеждой на окна алкиной избенки стал поглядывать - как бы туда на ночлег напроститься не пришлось. И как чувствовал - в проеме распахнутой калитки Алка! Будто ждала-поджидала! Только не как вчера - днем развязно-веселая, а ночью в пьяных слезах, разлили-малина, - нет, она была перепугана, растеряна и обрадованно бросилась навстречу:

- Сережа, помоги!

Ухватив Серегу за руку, Алка потянула его за собой на уличный конец, за крайний дом. Сбоку шатких разбитых мостков, смяв заросли крапивы, под забором валялась навзничь пожилая женщина.

- Мама, мама! - одернув задрвшуюся юбку на толстые, с буграми синих вен, перемазанные грязью ноги, затормошила ее Алка.

Мать была до бесчувствия пьяна. Когда удалось ее приподнять и усадить, уперев спиной в доски забора, замычала что-то невнятно, безвольно свесив голову с растрепанными крашеными под «каштан» волосами. Алка с Серегой понадрывались, норовя поставить мать на ноги - без толку: дама полная, грузная.

- Может, пролежится и сама встанет! - предположил задохшийся от натуги Серега.

- Не мужик же! - Алка, закусив губу и размазывая по лицу слезы, соображала, как жить, да не погибнуть. - Слушай, у нас же во дворе тачка! Увезем!

На тачку - не автомобиль, а на простую дрововозку на чугунных дореволюционной отливки колесах тетку кое-как, с оханьем и крепким словцом, взвалили и впряглись, толкая в горку. Дотаратали до крыльца, Алка притащила из сарайки охапку сена и в коридорчике на полу принялась мать устраивать. Серега услышал с улицы чье-то покашливание и вспомнил о своем попутчике: с такими страстями замотаешься и все на свете забудешь! Вон он сиротливо примостился на бревнышках возле зойкиного дома и поглядывает тоскливо.

- Можно у тебя переночевать?

Алка в ответ усмехнулась:

- Что, Солдат тебя как очередного подживотника выставила?

«Из-за тебя же, дура!» - едва не ляпнул зло Серега, но сдержался и показал на спутника:

- Я не один.

- Какой разговор! - вздохнула устало Алка. - Места хватит, приткнетесь где-нибудь.

Шишадамов, с опаскою косясь на лежащую в коридоре «даму», преодолевая с серегиней помощью высокие пороги, прошел в избу, остановился посреди худо прибранной горницы с незамысловатой мебелишкой - широкими лавками вдоль стен, кое-как заправленной громоздкой кроватью с узорными спинками из гнутых металлических прутьев, с колченогим столом, заваленным немойтой посудой, остатками недавней выпивки. Привычно взглянул на «красный» угол - над полочкой-киотом на стене явно светлели прямоугольники вместо икон, недавно, видимо, здесь стоявших; рука сама было потянулась сотворить крестное знамение и замерла на полпути.

- Вы не батюшка будете? - Алка, заметив это, настороженно воззрилась на гостя.

Отец Арсений кивнул.

- Ой! - Алка порастерялась, но потом, что-то припомнив, сложила ковшиком ладошки перед собою, подошла к священнику: - Благословите!

И смачно, звонко поцеловала перекрестившую ее руку.

- Бабушка Лида так делала, когда меня еще девчонкой с собой в церковь брала, - ответила она Сереге на его недоуменный взгляд. - Добирались: где пешком, где на попутке подвезут. А потом в школе про то узнали, стали меня насмех поднимать, я ходить с ней и перестала. Ах, бабушка, бабушка моя!..

Алка села на табуретку напротив Шишадамова, сцепленные руки сжала между колен и с опущенной головой, согбенная, с проступающей сквозь ткань платья на спине чередой острых позвонков, мерно раскачивалась и говорила - не блудница и не пьянчужка и не цыганская статья, а изрядно побитая жизнью русская баба:

- Мы ведь и схоронили-то ее непутем... Пособие почти все пропили, как вон и иконы. Еще живая была, приехала из больницы дом проведать, иконок-то уж след простыл, от этого и слегла, не поднялась больше. «Отпойте в церкви, когда Господь призовет!» Куда там! Мужик мой денежки в зубы - и в загул, а я, дуреха, следом. Там и мамочка дорогая к нам присоединилась - расстроилась, мол, от вести такой, даром что свекровушку собачила почем зря: я, мол, партийная, в горсовете на хорошем счету, она мне своим Богом и церковь всю картину портит. Попроспались, хватились - деньги все, ладно, со знакомыми договорились в долг «домовину» простенькую смастерить и в город на машине за бабушкой съездить. Те, ради памяти ее, нам поверили. Так и на погост провезли без отпевания и поминок не делали. Накануне хорошо помянули...

Алка помолчала, глотая слезы, заговорила опять:

- Мамаша раньше частенько к рюмке прикладывалась, а тут вовсе «закеросинила»: вину чаю, мол, перед свекровью. А мне в ответ - что ты, дочь, меня коришь, сама не просыхаешь! Я язычок и прикусила, дальше вместе пьем. Вот и нынче мужик мой напоил тещу, та рада-радешенька на халяву, а сам к маменьке своей укатил, отваживайся я. И узнала - раскололась по пьяни моя мамка, что с внучкой пила и не раз. А дочке-то моей всего двенадцать. Я на нее - дыхни, стерва! А она мне дерзко, с усмешечкой - на, коли учуешь, от самой на километр разит. Я ее по щеке, она убежала... Сейчас вот с матерью возилась, теперь надо дочь идти искать, может, где у подружек. Эх, бабушка Лида, нашла бы ты доброе слово, утешила. Без тебя все прахом идет...

- И вы верующего человека захоронили, как нехристя. Последнюю волю не исполнили и чего-то еще хорошего ждете... - жестко сказал Шишадамов, когда Алка уткнулась лицом в ладони и затряслась в беззвучных рыданиях. Он, может быть, добавил бы и еще что-нибудь резкое, но сдержался, помягчал: - Отпеть ее надо по чину. Покажите место завтра поутру... А вся твердь-то в семье теперь в тебе!

## 9

Сергея людей в черной долгополой одежде побаивался. Не шарахался, конечно, в сторону перепуганной вороной, но обходил аккуратно, бочком. Встречаться они ему стали на тротуаре утром по дороге на работу и вечером, когда Серега, вытряхнувшись на остановке из троллейбуса, устало брел домой. Неподалеку от его дома кирпичные коробки «хрущевок» сдавливали чудом уцелевший остов храма. Бывший склад, он давно уж превратился в забегаловку для алкашей и пацанячьих ватаг, потихоньку разрушаясь дальше.

Но однажды Серега заметил возле его стен штабеля свежих стройматериалов, тут же копошилась бригада рабочих, и через некоторое время в застекленных окнах замелькали тусклые отблески свечных огоньков; торопливо и часто крестясь, проходили в низенькие, поблескивающие свежей краской ворота старушки; и людской ручеек крестного хода, опоясывающий храм, Серега как-то увидел.

Священники казались ему людьми из другого совсем мира, величавыми и недоступными - попробуй-ка такого зацепить по-жлобьи ненароком локтем, не разминувшись на узкой ленте тротуара! «Эко невидаль поп!» - дурашливо хохотнул идущий с Сереей «бухать» дружок из цеха, когда тот поспешно отшагнул прямо в лужу в выбоине асфальта, пропуская вышедших из храма богомольцев и священника. Дружок-то грубо протолкался, пьяному его напору и сами дорогу уступили. Серега, чувствуя, как стынут промоченные в мартовской воде ноги, глядел вслед виновато, стыдясь и за наглого корешка своего, и за себя. Невидаль! А где было прежде-то увидеть? Уж не на картинке в учебнике. Когда по новой моде приглашенный батюшка кропил святой водичкой открытый офис фирмы серегиной супружницы, и то Серега с испуганно-почтительным любопытством выглядывал в щель приоткрытой двери и выставить рожу под брызги, как «фирмачи», постеснялся. Потом уж, безработный, не бегал больше на троллейбусную остановку мимо храма. Ни до, ни после так и не решился зайти туда...

На ночлег у Алки Шишадамов расположился на кровати, не раздеваясь, подоткнув под бок подушки; Серега, подстелив сдернутую с гвоздя в стене фуфайку, скрючился на лавке. При свете тусклой лампочки под потолком он с изумлением поглядывал на священника. Алка вот сразу догадалась - кто это, а ему и на ум не пришло: мало ли бородачей. Видал где-то его раньше, теперь только и вспомнил: ему ведь дорогу, тогда весной, шарахаясь в лужу, уступал, и офис женушкин он освящал! И вот где встретиться пришлось! Глаза пронизательные и печальные, вид хмурый - будет на его-то месте! А Серега с ним по-простому. Да-а!

Алка заявила под утро: ночью сумела растормошить мамашу и увести ее домой, пробежалась по знакомым, разыскивая дочку, а та сама пришла на квартиру к своей бабке. Десятый сон видела, когда Алка, сбившаяся с ног, привернула проведать, жива ли мать. Осторожно погладив спящую дочь по волосам, не набросилась на нее, как бывало, с заполошным криком, а та бы - точная копия Алки - дерзила в ответ, ненавидяще посверкивая глазами; нет, Алка тихонько разбудила ее и, сжавшуюся настороженным зверьком, позвала с собой. «Бабушку Лиду навестить...» - удивленная девчонка собралась безропотно. Алка прикрыла дверь, с жалостью взглянув на мать, с замотанной мокрым полотенцем головой лежащую пластом на кровати...

За воротами фырчал мотор «москвичонка», за рулем его Серега узнал одного из тех парней, с кем «гужевал» в начале лета на погосте. Туда и поехали. По той же протоптан-



ной в густой сочной траве тропинке поднялись к останкам храма. Серега без труда узнал старое место - измятая трава, там-сям поблескивает порожняя посуда, с недовольным граем разлетелись грачи, подбиравшие крохи от чьей-то вчерашней трапезы.

Он посмотрел на Алку: та, ссутулясь, повязанная черной косынкой, прошла дальше, в чащобу разросшихся, переплетенных ветками кустов, попетляв меж безымянных холмиков, остановилась у недавно насыпанного, с канавками-трещинками, пробитыми по песчаной поверхности дождевыми каплями, со свежеструганным крестом.

- Здравствуй, бабушка! - Алка опустила на колени и прижалась лбом к изголовью последнего бабки Лиды пристанища.

Шишадамов подтолкнул Серегу:

- Принеси саквояж из машины!

Из старомодного своего баула священник извлек черное длинное одеяние; Сереге пришлось и помогать в него облачаться. Надев епитрахиль, поправив на груди крест, отец Арсений кивнул на металлический с цепочками предмет, который Серега, держа в руках, с недоумением разглядывал.

- Кадило. Ты, брат, помогай уж дальше. Сам видишь - никуда без тебя.

От зашавших от свечного огарка угольков из кадила завился синий дымок; отец Арсений бросил на угли кусочек ладана, и вокруг разлилось благоухание. Сереге он дал подержать раскрытую книгу с непонятным шрифтом на ее страницах, сам густым сочным баритоном запел молитвословия.

И вился дымок из позвякивающего цепочками кадила в руке священника, и на погосте стало еще тише, в хрупкой тишине замер грачиный грай, улегся ветерок и смолк шум листвы в вершинах деревьев. Когда отец Арсений запел «Со святыми упокой...», Серега, сглотив горький ком, представил себе бабушку Лиду в белом платочке, подошедшую к нему на вокзале и почти невесомой, теплой, с сеткой синих жилок под пергаментной кожей рукой потянувшую его за собой с грязной, испачканной бомжами, скамьи...

- Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, рабе твоей Лидии и сотвори ея вечную память, - возгласил отец Арсений. - Вот здесь нашла упокоение одна из тех женщин, на которых держалась, не иссякая, вера. И в годы гонений, страданий и забвения не отрекались они, хранили ее. - Шишадамов помолчал, вспоминая свою суровую на вид тетку и кротких рукодельных ее подруг, стали в памяти всплывать и лица других прихожанок. - Нам бы, нынешним, иметь хотя бы малую такую толику...

После отпевания священник вознамерился пробраться к руинам храма, но туда и со здоровыми-то ногами не так просто попасть: везде в траве валяется битый кирпич, таятся коварно рытвины и ямки, перед самым входом лежат на земле створки ворот, вынесенные когда-то лихим поддатым трактористом, раздавленные траками гусениц, топорщатся рваными краями ржавых листов железа.

Запьянцовские компании и сладкие парочки, укрываясь от дождичка и посторонних глаз, проникали сюда через пролом в стене; отцу Арсению же непременно нужно было войти чрез врата: «Что я, тать какой?» Серега поддерживал его с одного бока, Алка - с другого. В темном притворе под ногами хрустели осколки битого стекла, на пути попадались кучи мусора; весь храм изнутри, от пола вплоть до куполов, оказался черен, закопчен, как душа человеческая без Бога. То ли колхозная тракторная мастерская грохотала и чадила едучими выхлопами движков, да вдобавок кузня пыхала жаром и дымом, или в одночасье пожар выжег все, оставив на кирпичных стенах свой след. В узкие бойницы окон с проржавленными прутьями решеток проникал снаружи слабый свет - они казались нарисованными на мрачном черном фоне.

- В чью честь храм воздвигнут? - спросил отец Арсений. Отзвуки его голоса, отскакивая от стен, заматались в пустоте, кратким эхом откликнулись под закопченным сводом.

- Воскресения Христова, - робко, едва слышно, ответила Алка: видимо, знала от бабушки.

Откуда-то сверху, где возились, хлопали крыльями потревоженные людскими голосами голуби, в пролом в своде солнышко, поднявшееся к полудню, вдруг щедрой охапкой плеснуло свои лучи. На миг неуютный сумрак в храме рассеялся, и тут отец Арсений, прекрестясь и неотрывно глядя на горнее место в зияющем трещинами алтаре, запел: «Христос воскрес из мертвых, Смертию смерть поправ, И сущим во гробех живот даровав, Христос воскрес из мертвых...»

Шишадамов прикрыл глаза, и казалось ему, что тропарь пропевает вместе с ним, творя сердцем молитву ко Господу, сонм святых, чьи лики на стенах храма замарал толстый не-

проглядный слой копоти и людского неверия. Пение подхватила тонким всхлипывающим голосом Алка; Серега, косясь на залитое солнцем лицо священника с дрожащими на ресницах прикрытых глаз капельками, в смятении неумело ткнул щепотью себе в лоб - впервые в жизни перекрестился и пожалел, что подхватить песнопение не может - не знает слов, да и прожил - не слышал никогда. Отец Арсений, перестав петь, зашептал горячо и страстно:

- Господи, прими покаяние от возроптавшего на тя, в смертный грех уныния впадшего! Был я пред тобою яко надломленный тростник, под всеми ветрами гнулся. А ты испытывал стержень веры моей, попуская наказания по грехам моим. Благодарю тебя, Господи... Буду служить до последнего вздоха и тебе и чадам твоим.

## 10

Зойка сидела на лавочке возле калитки, съезжившись будто на морозе; завидев Серегу, затрясла, закивала по-птичьи головой, с ехидцей поблескивая раскосыми черными глазами.

- Приплыл, голубок, нагулялся... Быстро около мокрохвостки этой навертелся! Небось, брюхо-то подвело?!

Серега сгоряча забыл забрать у хозяйки свой паспорт, в затрапезной одежонке в областном центре к нему бы скоро прицепились стражи порядка, затребовали документики, и воссесть потом в «обезьяннике» - клетке с толстыми железными прутьями, да еще во вшивой и вонючей бродяжьей компании, сулило немного прелести. Солдат - баба ушлая: еще в начале серегиного поселения спросила «пачпорт» и запрятала у себя. Надумаешь еще, милоч, деру задать, что-нибудь хозяйское с собой прихватив...

- Жрать, поди, хочешь? - Зойка, кряхтя, поднялась с лавочки и, неловко припадая на ногу, заковыляла в дом. Долго не могла трясущейся рукой вытащить дужку замка из пробоя в двери, оглянулась с укоризной:

- Расстроилась из-за тебя! Только-только «кондратий» не хватил, много ли мне теперь надо. Вон и козы сегодня не поены, не доены, блекочут стервы. Жрать не сготовила, извини, лапша вчерашняя в кастрюле, ешь. А коз надо подоить и на выпас сгонять...

Зойка ворчливо опять намечала Сереге кучу дел и делишек, и когда он заикнулся про паспорт, даже пропустила это мимо ушей, пришлось еще раз напомнить, зачем пришел.

- Так ты к этой оторве переселяешься? - Зойка то ли от удивления, то ли от возмущения охнула, и если б Серега не попридержал ее, точно бы рухнула, как подкошенная. - Да ее полпоселка перетаскало! Да у нее муж отпетый бандюган, прирежет - не поморщится!

Зойка задрожала от ярости, затряслась; Серега уж испугался, как бы и вправду в припадке не забила, проговорил громко и раздельно:

- Я в город уезжаю!

- Вот оно что! - протянула хозяйка, с видимым облегчением опускаясь на диван. - Кормила-поила нахлебника целое лето - и спасибо вам! А какого тебя тогда, весною, Лидия, царство ей небесное, привела? После подвалов да вокзалов? Вылитого ханурика! Кабы не сказала - чей да откуда, не нахвалила, я б и на порог не пустила! И то первую ночь не спала и топор рядом держала - какого хрена тебе в башку взбредет. Соскучился по бродяжьей-то жизни? Очухался, отожрался - и в дорогу!.. Чего вылупися-то?! Вон он, твой паспорт, под скатеркой на комод. Бери!

Зойка отвернулась, в нервном тике дергая головой, ссутулилась еще больше, сжалась, Серегу окликнула на пороге без сварливости и злобы в голосе, даже, показалось ему, просительно-заискивающе:

- Может, вернешься еще? Я-то, видишь, какая - ни скотину обрядить, ни картошку копать. А кого попросишь - не сделают еще, а уже дай на «пузырь»! Да и кому я нужна? Дети родные отказались, из-за границы даже писем не шлют. Отца-калеку, мол, работой заморила - не простим то вовек. И ничего толком не нажила: зачем я им нищая? Знаю, язва я языкастая, ты к сердцу близко не бери... Много ли мне осталось-то при таком здоровье? Вернешься, так и дом потом тебе отпишу, дом-от твой, родительский...

На выезде из поселка Серега принялся вылавливать попутку и, провожая сожалеющим взглядом проносящиеся мимо автомобили, опять вспомнил отца Арсения. «То, что встретились с тобой на дороге - Промысел Божий, ничего просто так не бывает. Значит, было нужно», - глаза Шишадамова, когда он вышел из развалин храма после пения тропарей, повлажнели, разругавшееся лицо светилось тихой кроткой радостью, и Серега, уж к стати или не к стати, отважился рассказать о своей беде. «А ты прости супружницу-

то! - ответил просто священник. - Трудно, брат? Знаю. И все-таки попробуй... Дитя бы надо, да время вышло? Когда помириться, в детдоме возьмите. Вон сколько их, сирот, и при живых родителях! И живите! С Божьей помощью все, брат, осилишь...»

Отец Арсений, осенив широко крестом Серегу, опираясь на костыли, двинулся по тропе, взмахивая в такт шагам раструбами рукавов рясы и напоминая раненую большую птицу... Поймать попутку Серега отчаялся, пригорюнясь, сел на порожний ящик возле крайнего к дороге ларька, и тут ему кто-то, неслышно подкравшись сзади, закрыл ладонями глаза. Алка!

- Далеко ли?

- Опять страсти-мордасти, век не отступятся! - вздохнула она. - Не успела после церкви в дом зайти - бац, телеграмма! Приезжай, забирай муженька благоверного! От нас уехал к мамаше на «развезях», там, видно, «крутого» из себя начал строить. Конечно, пальцы веером! И нашлись на бойкого бойкие: ребра переломали и колом по хребту огрели, не лежал бы пластом. Мать парализованная, а еще он кому там нужен? Выходит, мне только... Ты-то женушку попроведать собрался? Хорошее дело. Чай, еще увидимся!

Алке - без проблем! - стоило лишь выйти на дорогу, и руки поднимать, «голосуя», не потребовалось: первая же легковушка встала, как вкопанная. Алка, забравшись на переднее сидение, защебетала с водителем, а Серегу позади скоро укачало, сморило в сон...

Он остановился перед железной дверью квартиры и долго не решался нажать на кнопку звонка. Жена, глянув в глазок и прощелкав замками, распахнула дверь и бросилась, раскинув пухлые руки, на шею: у Сереги с непривычки и пуще - от изумления коленки подкосились.

- Сереженька! - она, всхлипывая, тыкалась мокрыми губами мужу в лицо. - Как хорошо, что ты нашелся! Я ведь все вокзалы, базары, забегаловки обошла, тебя искала... Голодный, наверно? Давай садись, ешь и пей!

Усадив Серегу на кухне за стол, жена выставила из холодильника и водочки, и всякой мудреной закуски, вкус которой Серега, пробиваясь на службе у Солдата на картошке и каше, давно забыл. Он заметил, что безупречный порядок в квартире - пылинки сядет, и то видно, - поблек, вещи разбросаны как попало, на линолеуме кое-как затертые следы грязных ног. И супруга - не расфуфыренная, с намазанной физиономией и шибящая за версту дорогими иноземными духами, нет, под глазами тяжело набрякли лиловые полукружья, волосы не прибраны, и сама облачена в затрапезный халат. Хотел Серега спросить, что случилось, да разве даст она слово сказать - так вьюном и вьется вокруг.

- Беда, Сережа-а! Фирма моя прогорела, рыжий охломон, помнишь гаденьша, меня охмурил, «кинул» бессовестно. Долги дикие, отдавать нечем. На «счетчик» поставили. Теперь квартиру придется продавать, чтоб расплатиться. Твое согласие нужно.

- То-то ты меня и искала, - нахмурился было Серега, малость раскисший от ласкового обхождения и всюю начав торжествовать над обманутой ненавистным пройдохой-хаха-лем женой. Знал же, чувствовал!

- Что ты, солнышко! - супружница обхватила Серегу сзади за плечи и, как иногда случалось раньше, смачно поцеловала в лысую макушку. - Ты мне сам нужен, никого, кроме тебя, у меня нет на всем свете.

Вот когда о мужике-то вспомнила! Припекло! Но Серега злопыхать не стал, тоже, как бывало прежде, выставил из-под стола сухие свои коленки, норовя примостить на них виновато и преданно поглядывающую на него жену. Конечно, когда-то это получалось, но теперь габариты не те. Серега вздохнул, примирясь, сказал с твердой ноткой в голосе:

- Рассчитаемся, когда уедем в поселок ко мне на родину. Мать к себе заберем. Проживем - у меня руки и ноги есть. И ребеночка из детдома возьмем, парня. Чтоб твердо стоять, ни под каким ветром не гнуться. А рыжего твоего я еще нес скоро забуду...

Серега для убедительности даже собрался постучать пальцем по столешнице, но тут заскрипела, забрякала железом незапертая входная дверь, согласно кивающая на все мужчины предложения супруга сменилась с лица и еле слышно прошептала:

- Это за долгом!

- Да подождите вы, козлы!

Серега метнулся в прихожую, полетевшее навстречу ему полотно двери припечатало его по лбу...

...Он проснулся и, растирая ушибленный лоб, не вдруг сообразил: водитель, видно, резко тормознул, высаживая у вокзала в городе Алку.

- А тебе куда?

# СУДИ БОГ

## Повесть

### 1

Лука опять перся, как с гранатой под танк. Какая уж местная язва придумала такое сравнение, но была она все-таки права не в бровь, а в глаз: одень на Луку вместо закопченной грязной «робы» драную солдатскую форму - и наезжай на него кинокамерой на здоровье, никаких актеров не надо!

Улочка сбегала круто под горку, и кривые, колесом, ноги мужика не справлялись со стремительным спуском, все норовили за что-нибудь зацепиться - Лука, пролетев ныром, пропадал во взметнувшемся облаке пыли. Скрежеща зубами, он долго раскачивался на четвереньках, пытаясь подняться, наконец, ему удавалось сесть на задницу. Ворочая очумело белками глаз, резко выделявшимися на черном, в несмываемой угольной гари лице, он угрозливо мычал. Встав на ноги, мотая безвольно из стороны в сторону осыпанную щедрой сединою башкой, Лука правую руку держал за спиной вытянутою, зажав мертвой хваткой в ней горлышко посуды, чудом сберегаемой при падениях.

Таким макаром Лука добирался до крайних, стоявших друг напротив друга на речном берегу домов и, прежде чем вильнуть к своему и ввалиться бесчувственным кулем в калитку, поворачивался к соседнему. В полубезумных остекленелых глазах мужика вдруг проскальзывало вполне осмысленное выражение, злое и ехидное; Лука, вытанцовывая на кривых своих ногах, поворачивался и выставлял на обозрение соседу тощее гузно и, довольно гогоча, хлопал по нему ладонью.

- Послал же черт и родню и соседей! - Иван Никанорыч Худяков солено ругался и захопывал окошко. Мог бы сделать это раньше и цыгарку, не досмолив, бросить, но ретироваться и перед кем! Еще подумает, что трусил...

Лука появился на Старой улице не так давно. Еще жива была полоумная бабка Зоя, как оказалось, его родная мать; до пятидесяти лет держала его за дорогую кровиночку, усыновив, зоина бездетная сестра. Приемный же папаша после ее смерти присутствие Луки не вытерпел и перед кем, выгнал с треском, вдобавок чужую старуху привел. Лука тут и вспомнил про мамочку...

Говорили, что он был когда-то красивым парнем, от девок не было отбою, но служить попал на подводную лодку, и когда возвратился в форсистой морской форме, высокий, статный, выявилась одна закавыка. Девки, а пуще молодые разведенки ринулись к нему гурьбой; бабенки побойчее норовили затащить морячка в постель, и... ждало их разочарование. Потом уж, много погодя, иная из самых страстных с нескрываемой застарелой обидой ругала его при встрече мудреным иностранным словом, и поскольку не каждая это словцо могла правильно произнести - чаще вслед Луке летела такая похабщина, что он, бедный, горбился, старался вжать голову в плечи и пускался прочь да дальше чуть ли не бегом.

Лука крепко пил, валялся под заборами, по-стариковски съежился, глубокие морщины грубо прорезали его лицо, в одной грязной «робе» ходил он в будни и в праздники, таким и прибился под крылышко к родной маме...

Дом себе дед Ивана Никанорыча ставил хоть и возле самой реки, но на сухом взгорке, а вот свояк его, перевезя из деревни большущий пятистенок, взгромоздил его напротив худяковского прямехонько на «ключи»: из кожи вон - лишь бы родственничка перещеголять.

Прокатилось времечко; дом, теперь Ивана Никанорыча, в заботливых руках стоял себе по-прежнему, хозяин его «вагонкой» обшил и покрасил в нежный лазуревый цвет, а свояков пятистенок, подтачиваемый родниковой водичкой, исподволь завалился на передние углы, будто набычился на ухоженного соседа; просел в нем пол, отчаянно дымили разщелившиеся печи, в пазах стен то и дело выползал куржак плесени. И в огороде, сколько бы ни сыпали на гряды песку, «ключи» неутомно пробивались на поверхность.

Запыхтишь тут завистливо и злобно на месте Луки, если еще и руки не из того места выросли. К тому же на отвалившемся от дома крылечке встретит сидящая на ступеньке и

беззаботно напевающая полоумная мама Зоя: «Шел я лесом, видел чудо. Чудо, чудо, чудеса! Сидит девка на березе, Ж... шире колеса!» Кабы только это!

Тетка Зоя в молодости была криклива и сварлива, а в зрелых годах - еще пуще. В соседские окна она могла кричать исступленно, неистово, до саднящей горло хрипоты, даром что и затворены они плотно, и супруги Худяковы сидят смиренно, зажав уши: высунься, начни лаяться - еще хуже будет. Вон Зойка, ведьма ведьмой, космами растрепанными трясет, кричит на всю улицу:

- У меня мужик на фронте честно голову сложил, а ты, фашист гребаный, в плену всю войну отсиживался, задницу немцу лизал!

Иван Никанорыч, чтобы не слышать этих ранивших слов, еще крепче, чуть ли не до звона, давил ладонями на ушные раковины: знает, стерва, где больное, не зажившее с годами место, норовит ударить на раз, под дых. И досадила-то ничего: зойкин сын, оболтус Сашка, залез в огород, и словил его Иван Никанорыч, напихал ему, матерящемуся на чем свет стоит, крапивы в штаны. Потом было пожалел парня, время послевоенное, голодное, а тут началось...

Сашка, почесывая место пониже спины, вышел на подмогу мамаше, принялся бухать камнями по воротам обидчика. Потом и пошло-поехало: чуть мама Зоя в ругань, так и сыночек примчится камнями ворота обстреливать. И тоже кричит вместе с мамашей:

- Фашист!

Худяков от еле сдерживаемой ярости скрипит зубами да сидит неподвижно, глядя в испуганно-молящие глаза супружницы. Может, и выскочил бы надрать мерзавцу уши, кабы не ходил отмечаться каждую неделю в отделение милиции как бывший военнопленный. Сдержался даже, когда Сашка, заманив к себе верного дворнягу Шарика, задушил его и с удавкой на шее выбросил посередь дороги перед худяковским домом...

Отслужив в армии, недоросток Сашка поокреп, раздался в плечах, но росточком почти не прибавил. Камнями хоть, слава Богу, перестал соседу в ворота пулять, встретив на улице, воротил заносчиво в сторону рыло. Было с чего. Работать Сашка устроился в милицию: Худяков благодарил судьбу, что после смерти Сталина туда хоть отмечаться теперь ходить не надо - представить жутко, какие бы от Сашки козни претерпеть пришлось! Сосед лихо подкатывал к дому на потрепанном, с залатанным «шалашом» брезента газике, долго, надувшись, похаживал около машины, бахвалясь новенькой милицейской формой, и уж когда мать опять лаялась с Худяковыми, показывался на крылечке, важно и выразительно прокашливался, и мама Зоя без промедления умолкала.

Вызналось, конечно, потом, что Сашка состоял в милиции не ахти каким важным чиновом, всего лишь водителем, да и козлик его часто ломался, так что приходилось Сашке, сбросив китель и забыв про «фасон», задирать крышку капота и копать в движке. Через это-то все и стряслось...

Дочку, родившуюся слабой и болезненной, супруги Худяковы берегли и лелеяли, только что пушинки не сдували, да разве угладишь за пятилетним ребенком! Как она оказалась со своими игрушками в куче песка на дороге?.. И тут же Сашка возился с газиком, потом, видимо, на радостях, что починил, заскочил в кабину и почему-то дал задний ход.

Навсегда, до смертного часа запечатлелось в памяти Ивана Никанорыча: и белокурые локоны, рассыпанные по личику дочки и быстро вязнувшие в застывающей крови, и перемазанное песком и грязью синенькое платьице на изуродованном тельце, и вскинутая тонкая ручонка с расставленной, будто для защиты, ладошкой. Хотелось верить, что в страшном сне нес он домой дочку с запрокинутой назад, как у подбитой птички, головкой, под высокими кладбищенскими елями видел свеженасыпанный маленький холмик. Помнил - в плену, когда несколько бедолаг, вместе с ним за попытку к бегству запертые в карцере, ждали расстрела, он, юнец еще, вдруг ощутил жгучее желание погладить ладонью по мягким волосенкам то ли дочку, то ли сына, не родившееся еще от него дитя, и когда сказал кому-то об этом, тот человек не удивился, лишь покачал согласно головою, сам страдая от последнего предсмертного и невыполнимого желания.

После войны жена Клава таилась до поры, боялась сказать молодому мужу, что надорвалась на лесозаготовках, но, слава Богу, все обошлось...

Очнулся от тяжелого кошмарного сна Иван Никанорыч в зале суда - Сашку оправдали: дескать, не чаял, как задавил, сам ребенок виноват. Худяков, взглянув на довольно ухмыляющееся лицо соседа, сдавленно простонал и выбежал из зала. «Нет, не будет он, гад, небо копить да лыбиться!» Как рассчитаться с Сашкой, Ивану Никанорычу взбрело на ум сразу же.

Тот, как ни в чем не бывало, по-прежнему подруливал на газике домой обедать и опять, задрав крышку капота у машины и выставив нетощий зад, ковырялся в моторе. Иван Никанорыч, поглядывая из окна на соседа, поглаживал приклад охотничьего ружья. Раньше, случалось, баловался в лесу по мелочи: тетерок пострелять, рябчиков. Ружье было еще барское, с гравировками, реквизированное покойным отцом-активистом из какого-то окрестного имения и без надобности провалявшееся на чердаке многие годы.

Худяков нашел пару патронов, один, помеченный, с пулей-жаканом, заслал в правый ствол; левый зарядил патроном с картечью. Сухо-деловито клацнул затвор. Иван Никанорыч, чувствуя прихлынувшую к вискам кровь, напрягся, как перед прыжком; мушка про-меж ружейных стволов, положенных на подоконник, плясала перед глазами. Вон он, широкий зад, вываленный из-под капота! Горячий жакан просадит Сашкино жирное тело насквозь и вышибет, расплещет по грязным машинным закоулкам его мозги!.. Иван Никанорыч по-детски крепко зажмурил глаза, но дрожащим непослушным пальцем спустил левый курок, вывертывая вбок, в сторону ружье и оглохнув совершенно от грохота выстрела.

Он даже не слышал, как пронзительно, по-пороссячи, заверещал Сашка (видно, паратройка картечин все-таки влетела ему в задницу), задрав дымящиеся стволы, повернулся и, елозя спиной по простенку, сполз на пол, невидяще уставясь на появившуюся на пороге горницы жену. Она стояла какое-то время непонимающе, потом с ревом повалилась к ногам мужа.

## 2

Худяков отправился «топтать зону», а Сашка, залечив ранения, женился вскоре. На преподавательнице.

Стройная, с гладко зачесанными назад черными волосами, школяров она строжила почем зря, и на уроках у нее самые хулиганистые безмолвствовали, муха пролетит - слышно. Встречая родителей своих учеников, Раиса Яковлевна здоровалась свысока, задирая остренький носик и хмуря тоненькие над светлыми холодноватыми глазами выщипанные бровки. Уж как такую цацу улестил кривоногий опилыш или опенок, соседи крепко недоумевали.

Сашку из «органов» вытурили за пьянство; где потом он только не работал: и городской бани начальником, и техником-озеленителем, и завхозом, и еще леший знает кем. Девки и молодые бабенки, ведая про его шабутной характер и совершенное смертоубийство (о задавленной худяковской девчужке в городке помнилось долго), старательно обегали, открещивались, как от нечистой силы. Ему бы век вековать в холостяках, кабы в соседнем доме не сняла комнату приезжая учительница.

Сашка, приодевшись во все лучшее, с самым деловым видом, выразительно покашливая, забегал вдоль изгороди, то собираясь таскать дрова, то позвякивая пустыми ведрами. Учительница же, сидя у окна за проверкой тетрадей, носик свой востренький в сашкину сторону не воротила, как и не существовало докучливого соседа вовсе. Тогда Сашка приволок домой из клуба, где последнее время труждался «оформителем», малюя на афишах названия фильмов, подрамники с холстами, расставил их в огороде и принялся, так сказать, за дело. Дескать, я вам, дорогая учительша, тоже не хухры-мухры, а гражданин с художественным вкусом.

Раиса Яковлевна удостоила, наконец, сашкины упражнения беглым взглядом из-под стеколышек очков, нахмурилась и вдруг окликнула его:

- Мужчина, извините, но вы в слове допустили грубейшую ошибку!

Сашка, отвернувшись от афиши, где с нарочитой сосредоточенностью выводил длинное название какого-то фильма, малость смешался от долгожданного внимания к себе:

- Где?

- Да вот там, там!

Так, слово за слово, разговорились, и вскоре он, подкараулив, провожал учительницу от школы домой. Правда, не под ручку или же вовсе облапив за плечи, а подпрыгивая бестолково рядышком с ней, шагающей с независимым видом.

Но на то слыш Сашка шалопутом! Заманив Раису Яковлевну в компанию, он сумел «накачать» ее, непривычную к местным дозам питья, до беспамятства и, утащив на веранду, совершил там свое дело. Вроде и слышал кто-то возмущенные крики, но сунуться в веранду побоялся: ну, еще связываться!

Жить они стали, как все в городке. Сашка прохаживался со своей женщиной теперь

не притрунивая следом, а подставив ей согнутую крендельком руку, старательно выпячивая пузцо, и не с мятой, как прежде, с перепоею рожей, а прилизанный, чисто выбритый, слегка взбрызнутый одеколоном.

Через положенное время родилось дите - мальчик, и довольная баба Зоя, катая внука в коляске, даже перестала затевать свары с соседями.

Обзаведясь семьей, Сашка посолднел, пора - плешь по затылку расплзлась, но страсти-страстишки остались прежними: злопыхать на земляков, вредничать им и, чтоб такое лучше удавалось, подзаправляться регулярно водочкой. Через нее, горячую, чуть не пропала...

Жена, взяв с собой сына, уехала попроведать больную тетку. Сашка, почуяв волюшку, ушел в загул. Он и раньше-то несвободой особо не тяготился, а тут не один день кряду... Пробудившись среди ночи с пересохшим горлом и трещащей головой, Сашка кое-как добрал до стола, но в чайнике было пусто, ни капли и в ведрах на полавошнике, глоток же воды вперемешку со ржавчиной со дна перевернутого рукомойника жажду не утолил. Сцапав ведра, Сашка поплелся на колодец...

Баба Зоя проснулась от холода: в неприкрытую дверь выдуло всю избу. Долго непонимающе шарила взглядом по горнице: свет включен, а сынка не видно. Встала, заглянула на кухню, сразу заметила пропажу ведер - утвари-то не лишка - и, кутаясь в платок, вышла темным сенником на крыльцо.

Ветер хлопал незапертой калиткой, крутил вихри поземки, злобно бросил пригоршню колючих снежинок бабе Зое в лицо. Она еще постояла на крыльце, покричала Сашку, продрогла, но все же сердце подсказало куда идти. Переметенную пургой тропинку к колодцу баба Зоя нашла без труда, хоть и ветер норovil свалить с ног, побрела, опираясь на батог, и вскоре увидела бугор посреди тропы, оказавшийся заметенным снегом Сашкой. Уж какая сила помогла старой матери затащить бесчувственного сына в дом: с виду не богатырь, но веса в нем - что в кабане порядочном. Баба Зоя, переводя дух, оставила его лежать на полу под порогом, завалить на кровать не было моченьки. Пооттирала еще снегом белое лицо, закоченелые руки и, когда Сашка замычал, устало привалилась к теплой стене русской печи...

Утром Сашку отправили в больницу, и вернулся он оттуда без обеих кистей рук, ладно что ноги тогда обуты в валенки были - уцелели. Ему изготовили протезы, но он невзлюбил сразу эти искусственные руки, ходил, пряча в карманы культы, расщепленные до локтя, как у рака клешни. Сделался он слезливым, в компании в какой-нибудь кочегарке налезал широко распяленным ртом на стакан, лихо опрокидывал, перебросив потом порожний через плечо, чтоб мужики ловили, закусывал, черпая из миски ложкой, привязанной резиновой лентой к культе, и распускал нюни. Раньше мужики, зная его зловредный характер и «халявные» замашки, могли и по шее накласть, теперь же терпеливо сносили все от пьяневшего мгновенно Сашки - и то, как он бился головой и культями об стол, размазывая остатки немудреной закуски, и то, как поливал всех и вся матерными словами. «Сам, сам!.. Никто тебе не помогал!» - вслух не говорили, думали. И домой его доволакивали: хоть пуля в одно место дважды не бьет, да кто знает...

Попрочухавшись, Сашка переключался на мать:

- Зачем и спасла, дура старая?!

Жена как-то подействовала на него, не растерялась, надоумила учиться в местной профшколе на бухгалтера, может, и свела сама. Сашка, вгрызаясь в гранит науки, стал попивать реже, ходил на занятия с полевой «командирской» сумкой на тоненьком ремешке через плечо. Правился и, как прежде, поднимая кверху, будто приносиваясь, картофелину носа, пытался напустить на себя деловой вид; встречные же не подсмеивались, а жалостливо лишь отводили в сторону глаза...

В свою «учебку» и обратно домой Сашка бродил через реку по шаткому узкому мостику. Летом речка пересыхала, превращалась в затянутый ряской и тиной ручей, но в половодье разлилась плесом до крайних домов на берегу, несла на стремнине льдины, коряги, доски, всякий мусор. Вода почти доставала хрупкую, ненадежную ленточку настила мостика, часто какая-нибудь кокора или льдина шаркала по ее низу, норовя разломать, унести за собою.

Всякий такой удар приводил в восторг стайку мальчишек-первоклашек, повисших на еле держащихся перилах. Сашка еще издали приметил красную лыжную шапочку сына, щурия глаза, ругнулся: куда бабы смотрят! Ребятишки все-таки увидели его раньше, потому как резко обернулись в его сторону и... что тут произошло - с визгом метнулись на

берег и там бросились врассыпную. И тотчас до сашкиного слуха донесся не то захлебывающийся крик, не то плач, очень знакомый. Сашка ускорил шаги, побежал, успев ухватить взглядом мелькнувшую из воды подле моста красную шапчонку. Он с протяжным воем бестолково забежал по настилу; шапчонка сына ярким пятном еще раз вынырнула из серой свинцовой воды. Парнишка даже вскинул руку, будто надеясь за что-нибудь ухватиться. Сашка, сбив брюхом хлипкие перила, бухнулся в воду, на мгновение оцепенев от жуткого холода, отчаянно забарахтался, вытолкнутый на поверхность, отплевываясь, жадно захватал ртом воздух. Сына больше не было видно. Вмиг намокшая одежда потянула ко дну, Сашка забил что есть мочи по воде своими культами, теряя силы и с ужасом понимая, что сыну-то помочь он ничем не сможет.

Его успели вытащить живым прибежавшие на шум мужики: в речке в этом месте было не так глубоко. Весть о происшествии тотчас разнеслась по городку.

Иван Никанорыч, стоя у окна, смотрел на сашкин дом, зябко подрагивая плечами. Когда он обернулся к окликнувшей его жене, на глазах его блеснули слезы.

### 3

Сашку и после гибели сына продолжало «добивать».

Внезапно загуляла женушка Раиса Яковлевна. Всегда такая серьезная, недоступная, вся из себя, сняв черный траурный платок, стала она иногда приходить на уроки раздумывавшая, с блестящими глазами, потом и в компашку гуляющих родительниц-разведенки затесалась. Сашка ворчал, ругался, плакал - она его не слушала, поглядывала лишь из-под стекол очков насмешливо-презрительно. И он тихий сделался, плечи опустились, голова посивела - старик стариком.

Собрался он за советом к раисиной тетке, единственной ее родне. Хотелось дорогой развестись, поплакаться хоть кому-нибудь, мама Зоя мужских слез не терпела и не воспринимала. Но и тетка Раисы, восемьдесят с лишком, Сашку разочаровала и озадачила: «Будь мужиком!» - и весь сказ. «Пить, что ли, с ней вместе? - раздумывал всю обратную дорогу Сашка. - Да ведь не будет, на стороне ей интересней». Дома ожидало убийственное и презрительное сообщение мамы Зои:

- Твоя-то цаца у «черных» навроде подстилки.

Раиса уж не один раз не ночевала дома. Ее новые подружки-разведенки нацелились на бригаду горбоносых шабашников, в своих кепках-«аэродромах» приехавших строить коровник. Темпераментных «нацменов» бабенки разобрали по квартирам; Раиса Яковлевна приглянувшегося кавалера привести к бабе Зое на постой не посмела и, видимо, у кого-то из знакомок сняла уголок для ночей утех и страсти.

Сашка заметил их еще издали... Затаился за изгородью и разглядывал - она, без очков и оттого кажущаяся много моложе и красивее, легко шагала, облапленная за талию усатым смуглокожим красавцем, с радостным возбуждением смотрела на него и, похоже, ничего больше вокруг не замечала.

Сашка, распалаясь яростью, тихо взвыл, но броситься на широкоплечего, мускулистого супостата не решился - плевком зашибет. Эх, юные б годы, силенок если маловато, так сгрел бы уразину! А теперь... Он тоскливо воззрился на свои культы: и штаны не растегнуть без посторонней помощи. Раиса с ухажером свернули к домику одной из родительниц: там, наверное, было пристанище, а Сашка, скыряя гнилушками зубов, удрученно поплелся домой...

Раиса совесть поимела: прослышав о возвращении муженька, пришла на другой вечер ночевать домой. Баба Зоя, оставляя супругов наедине, едва разминулась с невесткой в дверях, отправилась в гости к сестре. Раиса разделась, в легкой «ночнушке» забралась на кровати под одеяло и отвернулась к стене. «И тут чистенькой хочется быть, сволочи... И тогда не прозеворонила бы, так парень-то не потонул!»

Сашка шустро, но бесшумно, по-тараканьи, подбежал к ней и, как боксерскую тушу, принялся молотить культами. Раиса кричала страшно, умоляла, но это его еще больше осатанило; содрав с жены сорочку, он и по безжизненному телу бил долго, до изнеможения, пока отшибленные культы не заныли.

Ударив локтем по выключателю на стене, Сашка при свете взглянул на измолоченное тело с начинающими уже стыннуть вытарашенными глазами и закушенными зубами языком, жалобно заскулил, руки и ноги сделались ватными от страха. Весь безумный дьявольский запал сгорел, Сашка трусливым нашкодившим щенком заметался по комнате. Нашел веревку, хотел сделать петлю, зубами начал вязать узел: искусственные руки куда-



то запропастились. Ничего не получалось, да и Сашка особо не старался; бросив затею, он захныкал, стараясь не глядеть в сторону кровати. Было жалко себя...

## 4

Спасскому монастырю под городком досталось. В давние времена, в польско-литовское нашествие, его не смогли взять приступом разъяренные воровские рати; не в столь же отдаленные - коммунарские - без всякого штурма одолел его один местный ярый активист, свой русский, Никаха. В годах мужик, не безусый глупый парень, но бегал на полу-согнутых с оравой городковских голодранцев за хмурыми сосредоточенными «чернышами», облаченными в кожаные тужурки, услужливо подсоблял им вытаскивать из монастырских храмов ценности; потом, клацая затвором винтовки, стогнял в телегу остатных, не сумевших по причине немощи уйти из обители монахов и вышагивал неторопливо, закинув «винтарь» на плечо, до ближнего леса, где бедняги навеки и упокоились.

Когда погнали на Север раскулаченный люд, и Спасское стало пересылочной тюрьмой, Никаха уже сам похаживал в скрипучей блестящей коже и с наганом на боку, хозийски поглядывал на обкорнанные, без крестов, главы собора, где за толстыми стенами страдали, томилась и встречали свой последний час несчастные. Никаху подхалимы величали теперь Никанором Ивановичем или «товарищем Худяковым».

Тут и случилось происшествие: кто-то из охранников, видимо, рассчитывая чем-либо поживиться, проник в маленькую церковку иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и пулей вылетел обратно:

- Там Богородица на иконе плачет кровавыми слезами!

- Заткнись, придурок! - Никаха грозно одернул трясущегося подчиненного и тут же приказал выкидать из церкви на двор все иконы.

Скоро на папёрть набросали их порядочную груду, Никаха, черкнув кресалом, подпалил ее и даже спокойно прикурил от заплывавшего по древнему лику огонька: «Смотрите, сыкуны, как надо!»

Пламя вмиг опряло все: в жутком полыхающем костре корежились, обугливались, пропадали то суровые, то благостные святые лики; кучка никахиных приспешников, прикрываясь локтями, испуганно отпрянула от огня; из собора, где кто-то из узников сквозь узкое, как бойница, окно разглядел творившееся святотатство, донесся горестным стоном многоголосый плач. Никаха, похаживая возле теплыни и подпывая головешки, вдруг хлопнул ладонью себя по шее, будто комара придавил, - из взметнувшегося снопа искр одна, видать, ожгла его; он, оскалив зубы в недоброй ухмылке, засмеялся. Что творилось в закопченной его душе - кто ведает?..

Странная эта ухмылка уродовала потом никахину рожу чаще и чаще; стал он заговариваться, дальше - больше, родную избу пытался запалить. В конце тридцатых Спасское превратили в юдоль для умалишенных, и Никаха оказался в их числе...

Иван Никанорыч помнил, каким видел отца в начале войны перед своей отправкой на фронт... В монастырском дворе санитар указал ему на кучку людей в одинаковой мешковатой одежде, слоняющихся бесцельно в загородке, обнесенной сеткой.

- Никаха!

Но никто не отозвался санитару, и тогда он, ражий детина, шагнув в загородку, выхватил оттуда невзрачного, стриженного под «ежик» мужичка, цепляя за ворот, подвел его к Ивану. Мужичонка с морщинистого лица по-рачьи пучил глаза, но как-то пусто глядел перед собой, будто ничего не видел, и то ли мычал, то ли просто шлепал толстыми губами. Иван с некоторым даже трудом узнал в нем отца: как Никаху сюда посадили, сын не проведывал его. И так ровесники дразнили дураковым отродьем, а старухи плевались Ваньке вслед: «Иродово семья!» Отца еще первое время спроваживали домой, но он неизменно вытворял что-нибудь «веселенькое» и теперь в дурдоме прописался на постоянно. Он тоже не признал сынка:

- Ты из какой деревни? Где-то я тебя видал?

Никаха скрюченной ладошкой цапнул Ивана по щеке. Тот отпрянул, а отец захохотал.

- Я проститься пришел, на войну отправляют, - Иван, вжимая голову в плечи, отвел глаза в сторону. Мать заставила - чуть не добавил, но прикусил язык: хоть дурак, а вдруг поймет. Никаха резко оборвал смешок, спросил, ни к селу ни к городу, про одного бывшего активиста - своего растоварища.

- В тюрьму забрали, - ответил Иван. - Враг народа.

Спросил про другого - того, по слухам, расстреляли.

- Вот видишь, а я здесь живой! - шепнул он быстро на ухо Ивану, упирая на слово «здесь», и кивнул на приоткрытые ворота: - А там бы мне - каюк! Спасся я!

Иван изумленно смотрел на отца: показалось, что рядом совершенно здоровый человек, прежний - взгляд осмысленный, испытующе-хитроватый, да и говорил отец без ужимок и подхихикивания. Но, кажется, тогда Ванюха все-таки ошибся: отец внезапно захохотал, да и еще принялся часто креститься на обезглавленный им же собор:

- Спасся, спасся! Ха-ха-ха! - затараторил, будто считалочку.

Подошел верзила-санитар, мигнул: мол, прощайтесь, постоял немного и опять за ворот потащил приплясывающего Никаху в загородку. Иван, уходя, оглядываться не стал, не думал, что видит отца последний раз...

... Кавалерийскую часть, состоящую из новобранцев, бросили в прорыв; это был для Ивана первый и последний бой. Оружие - у одного взвода шашки, у другого - просто палки, и так через раз. Батог Ванька выбирал поувесистей: испытаем, крепка ли у немчуры башка?!

Вместо пехотной цепи в поле навстречу разворачивающейся в атаку сотне из перелеска выскочила одинокая мотоциклетка, протрещала парой длинных очередей из пулемета и юркнула обратно. Конная лава вытаптывала поле; Иван, раскручивая над головой палку, разевал в крике рот, когда из ложбины впереди выкатились стальные коробки. Топот копыт, крики кавалеристов стремительно сближались с деловым рокотом танковых движков, лязгом гусениц; отворачивать было поздно.

Иван успел заметить возле башни одной из коробок дымок - земля перед мордой коня вдруг взметнулась, черной тяжелой волной ударила Ивану в лицо, ослепительный огонь, наврное, выжег глаза, грохота разрыва Иван, вырванный неведомой силой из седла, уже не слышал...

Он очнулся от звона в ушах, сел, потряхивая головой, и с испугом, с омерзением попытался отодвинуть свое враз занывшее всеми косточками тело от полураздавленной, забрызганной все вокруг кровью, лошадиной туши. Оперся об землю ладонью и тотчас отдернул ее, словно обжегся: четкий след траков танковой гусеницы отпечатались всего в нескольких вершках.... Что-то острое ткнулось в шею - Иван, повернув голову, сначала увидел сизую сталь широкого штыка и, подняв глаза, немца, кивавшего: вставай, рус!

Со всего поля согналы малую кучку уцелевших бедолаг, повели и вскоре втолкнули в длинную колонну военнопленных.

Иван в лагере с голодухи чуть не помер, больного его едва не пристрелили, за попытку побега в расход только что не «расписали» - Бог уберег, а потом и вовсе увезли куда-то через всю Германию. Эх, на родной дом хоть бы одним глазком глянуть!

И когда однажды в фольварк, где Ванюха молот зерно на мельнице, вкатили танки с белыми звездами на броне и солдатами-неграми, и хозяин, толстый добродушный бауэр-мельник, предложил остаться: « Рус Иван, тебе дома капут, колхоз, Сибир!» - Иван отрицательно помотал головой - теперь хоть ползком, но к дому. Как ползком и получилось, через пяток лет, через советский лагерь, куда отправился, едва попал к своим. И потом - надолго клеймо...

Никаха сына не дождался. Говорили, что перед концом войны он из тихопомешанного сделался буйным, никакими мерами не могли его утихомирить и засунули в палату-изолятор для таких же бесноватых, что размещалась в стенах Спасского собора. Там Никаха долго не наобретался, разбил башку об стену или помог ему кто...

Иван Никанорыч заходил в недавно открытую церковку иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» все чаще: поставить свечку, помянуть усопших, неумело и робко перекреститься. Выйдя потом на паперть перед храмом, где когда-то отец его палил костер из икон, он стоял и разглядывал щербатые стены Спасского собора и пенял отцу, буд-то живому: «Мало сам взбесился и жизнь свою загубил, так и мне довелось кровавых сопель на кулак потерять вволюшку! За тебя в наказание!»

Всем за помин души свечи ставил, только не ему.

## 5

Лука ненадолго пережил свою мать. Оставшись один, он сунулся было обратно к приемному отцу, но тот, крепкий еще старикан, уже обзавелся новой старушонкой, приемы-

ша, которому когда-то, уступив уговорам жены, дал и отчество, и фамилию, безжалостно турнул. Так и не полюбил неродное, просто терпел годами блажь супружницы. Лука прежде отвечал тем же и с кулаками лез, но тут побитым кобелишкой покорно ползл в холодный нетопленный дом, где и завалился на кровать во всей своей грязной рабочей одежде.

Раньше, упившись, Лука всеми возможными способами передвижения, хоть по-пластунски, ползком, упорно норовил добраться до дому, где ждала его, пусть и полоумная, мама Зоя; теперь же, когда стремиться стало не к кому, недвижный Лука валялся где попало. Менты его не трогали - нечего взять, шпанята в карманах не шмонали - все равно пусто, и добропорядочные граждане аккуратно обходили сторонкой - проспится и убредет преспокойно в свою кочегарку. Летом к нему не прикасались, но когда подмерзло и закружились густым роем «белые мухи», Луку прохожие тормошили и старались направить к дому.

Однажды Иван Никанорыч едва не споткнулся об него, лежащего возле тропки и уже присыпанного снежком, прошел бы мимо, но - дух не дал! - вернулся, запотапывался около, с нарочитым небрежением окликая: «Эй, ты! Хозяйство отморозишь!» Лука не издал в ответ ни звука, пришлось его тормозить, а поскольку он лыка не вязал, лишь бессмысленно тарачил «зенки», и тащить. Как нарочно, не подвернулось ни одного прохожего, кому бы можно было передоверить эту почетную миссию. А может, и лучше, что никто не видел.

Иван Никанорыч волок Луку и ругался: «Жизнь вот так прожить - врагу не пожелаешь! Обморозишься же, дурак, будешь вдобавок и уродом, как братец твой Сашка-клешнютый, ни дна б ему, ни покрывки! Околел, говорят, в тюрьге - туда ему и дорога!»

Лука был грубовато доставлен по месту назначения. Потом, в лютые крещенские морозы, тоже «притрелеванный» в свое нетопленное жилище кем-то из сердобольных земляков, очурился.

Опустевший дом до весенней капли пугающе угрюмо пялил на соседа бельма затянутых куржаком окон; на хату положили глаз шустрые горсоветовские клерки: наследников не осталось - приемный отец Луки, не совладав с новой старушонкой, тоже преставился, наследство через положенный срок пойдет в «казну», и за сущие гроши, не упустив момента, можно дачку нехудую отхватить. Но претендент неожиданно выгял...

Иван Никанорыч из окна увидел, что в палисаднике соседнего дома бродит какой-то незнакомый сгорбленный старик с обметанной редким белым пухом головой. Вот он споткнулся раз-другой обо что-то: видать, подслеповат, прижался лбом к углу дома, плечи мелко затряслись. «Эко, вроде плачет!» - присвистнул удивленно Иван Никанорыч и... перекрестился. Так-то стеснялся, даже самого себя, и в церкви, поставив свечку, крестился торопливо, украдкой, а тут поневоле пальцы сами сложились в щепоть. Незнакомец старик, вскинув руки, ровно оглаживая, провел ими по венцам сруба; рукава фуфаячки задралась, и Худяков вместо кистей увидел расцепленные страшные рачьи клешни. Сашка!

Мало того, он, отерев рукавом мокрые глаза, заковылял через дорогу. Иван Никанорыч и спрятаться не успел, словно пристыл окаменело к стулику у окна; Сашка его, даром и подслеповатый, все равно заметил.

- Дорогие мои соседюшки, родственнички мои, Иван Никанорыч да Клавдия Ивановна! Слыхал, что вы еще живы-здоровы, откликнитесь! - Сашка говорил ейейно, ласково, плаксиво морщил и без того ссохшееся с кулачок, желтое, как лимон, личико.

Худяков удивлялся теперь, что такой гад может вежливо и уважительно разговаривать; потом вспомнил, что не слыхивал сашкиной речи еще с его юношеских лет и выражения там были - святых выноси, недаром уши затыкал, а впоследствии Сашка при встрече молча и горделиво воротил в сторону рыло. Как было не выйти, приманенному таким обращением, из дому: замороженный Иван Никанорыч, медленно переставляя ноги, чувствовал себя сурком перед пастью змеюки. Сосед новоявленный, размазав сопли, полез целоваться, попытался облапить своими клешнями, но Худяков брезгливо отстранился. Сашку это несколько не смутило, предполагая, что в гости его вряд ли пригласят, он пристроился на лавочке у забора.

- Ох, ножки мои, ноженьки!.. - застонал он. - Сколь мне перенести пришлось, век свободы не видать, фраером буду, одним и дожил, домотал срок, что мечтал - помирать, так дома!.. Только живым-то в землю не запахнешься прежде времени. А дом-от козлы горсоветовские присвоить хотят, вон и бумажкой с печатью дверь заляпали. Дом мой родной! У матери, видно, «крыша» совсем съехала, раз придурку этому Луке его подписала. Я сунул-

ся сегодня в горсовет, а мне там заявляют: никакой он, мол, тебе не брат, родители, согласно документикам, у вас разные. В суд, говорят, подавай, коли свидетелей сыщешь, докажут если родство, то ладно. Но дело тухлое - да последняя моя надежда. Вот вы с бабой-то своей про все в нашей родове ведаете, кроме вас некому, выступили бы в суде, замолвили словечко! Родня ведь, не чужие мы. А?! Неохота век свой в богадельне средь «урок» кончать, и так до печенок «казенный» дом меня достал!

Сашка талдычил дальше и дальше - какой он разговорчивый, когда приперло, оказался. Иван Никанорович, приходя после нежданной-негаданной встречи в себя, ощутил, как застарелая, казалось порою, уж и забытая боль ворохнулась в сердце, стала нестерпимо распирает его. Худяков встал с лавки и грубо прервал сашкину воркотню:

- А хоть бы ты и сдох в «казенном» доме, глядишь, не пригорбатился бы у нас воздух портить!

Сашка подавился на полуслове; Иван Никанорыч уже прикрывал за собой калитку, когда он разразился диким матом, наклонился и стал судорожно шарить в траве своими кульями. Худяков усмехнулся: «Теперь ты такой, какой есть!» - и задвинул засов. Сашка, видимо, все-таки нашел камень, но то ли булыжник из его «клешни» выскользнул, то ли не решился им по воротам запустить, только взвыл, запричитал слезно:

- Иван Никанорыч, дорогой, прости меня, дурака! Не дай погибнуть! Не подсобишь если, руки на себя наложу! Прости!

Он даже ослаб в коленках, упал в грязь на дороге - видел подошедший опять к окну Худяков - и так, ползком, обессилев, убрался в свой двор и там затих где-то.

Иван Никанорыч всю ночь не мог уснуть, повалившись с боку на бок, вставал, курил на крыльце, глазел на звезды. «Как земля такую пакость на себе носит?! - вздыхал и сокрушался он. - И вроде бы бьет и мает ее, эту пакость, по жизни и мучит, но истребить ее вовсе не может. Почему так?.. Но мне ли, человеку, судить».

Чуть свет Иван Никанорыч убрел в монастырь. Возле церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» всякий хлам, груды битого кирпича, мусор убрали - Худяков сюда принаровился ходить подсоблять трудникам, теперь не только по воскресеньям забегал в храм свечку поставить. Взглялись и вокруг облупленной, с карминно-красными пятнами выветренного кирпича громадины Спасского собора чистоту и порядок наводить.

В ранний час даже сторож дрых, его собака затыкала, но узнав частого посетителя, дружелюбно завияла хвостом. Иван Никанорыч, взяв из потайного места лом, принялся яростно долбить кирпичный завал прямо пред вратами храма: хотелось забыть, утишить все взбаламученное в душе внезапным вторжением в устоявшуюся тихую жизнь давно похороненного Сашки. И, может, преодолеть растерянность. Ведь когда тот, стоя на коленках, умолял заплотшно, плакал, все-таки что-то дрогнуло в Худякове, хоть он сейчас и не старался вспоминать об этом.

Скоро он устал, взмок, вдаривая железным «карандашиком», пусть и оведало утренней прохладой, огляделся, куда бы примоститься, и, увидев приоткрытые, обитые листами заржавленного железа, врата храма, решил туда зайти. Сколько уж тут мимо не ходил в церковь, не работал рядом, а заглянуть внутрь собора, где отец-безбожник в припадке сумасшествия разбил об стену свою непутевую голову, страшился.

В храме с забитыми досками окнами было сумрачно, шаги гулко отдавались под высокими сводами, как ни старался Иван Никанорыч тише, осторожнее ступать по каменному полу. Весь собор внутри был наглухо, плотно заштукатурен, стены по низу вымазаны краской и пестрели всякими скабресными, выцарапанными недоумками, надписями.

Худяков поморщился, взглянул вверх, туда, где ближе к куполу в верхний ярус незаконченных окон лились лучи восходящего солнца, и обомлел: из-под свода смотрели на него пристально пронизательные, бездонной глубины глаза Спаса Всемилоственного. Видно, недавно толстый пласт штукатурки обвалился, явив фреску; осколки его хрустели на полу под ногами попятившегося и торопливо крестящегося Ивана Никанорыча.

- Вот оно, вот оно... - бормотал Худяков. - Кто наказует - тот и милует...

Под вечер, подходя к дому, он обстоятельно обшарил взглядом сашкино подворье: уж не вздернулся ли где, сердешный, как обещал. Не высмотрев ничего худого, Иван Никанорыч вздохнул: ладно, подтвержу родство Сашки с Лукой, будь что будет. Бог ему судья.

Алик ГОРЕЛИ

## АБРЕК

Часть вторая

## МОНАХ

*Часть первая опубликована в №8 ВЛ*

В предрассветные часы, когда над хребтами гор только начинает теплиться восход, но сумрак ночи еще и не думает отступать, скрывая от случайных глаз происходящее, из ворот Свято-Троицкого мужского монастыря выехал путник верхом на муле.

На удивление ночь была тихой, только цоканье копыт выдавало присутствующих во тьме. Вот уже несколько недель погода не жаловала жителей древней Мцхеты. Снег сменялся дождем, седовато-пепельное небо, нависшее над городом, казалось, рухнет на землю. Сидящий верхом запрокинул голову, окинул взглядом небесные пределы, промолвил:

- Слава Богу, - и перекрестился.

На темном небосводе сияли звезды, обещая долгожданное солнце. Легкий морозец пощипывал лицо и руки. Вздрыгнув от холода, поправив обмотанный вокруг шеи шерстяной шарф и висящий на груди на кожаном шнурке деревянный крест, наклонив вперед смиренно голову, путник что-то шептал, видимо, молился. Дорога лежала вдоль берега Куры. Мерцая чешуей, подобно змее, в холодных лучах ночного светила, сжатая в теснине каменистых берегов, она несла свои воды навстречу Каспию. Всплеск и шум волн нагоняли дремоту.

Дорога стала плавно уходить в сторону, реки стало почти неслышно, когда позади раздался голос главного колокола монашеской обители. Расколовши предрассветную тишь, он созывал православных на утреннюю молитву. Мул встал, как вкопанный. Спешившись, монах обратился лицом к монастырю, перекрестившись и поклонившись три раза, продолжил свой путь. Вот так вот, на протяжении шестнадцати лет, каждый год в одно и то же время, точнее, за две недели до начала великого поста, покидал он стены святой обители, дабы уединиться в горах, в смиреннии пребывая и в молитвах.

Путь его лежал на северо-восток. В прежние века, на рубеже раннего христианства, странствующими монахами была построена в горах церковь пророка Илии, там он и жил отшельником до самой осени, отдавшись на милость Господу, трудясь на ниве его и питаясь плодами духовными. Скромный скарб состоял из двух небольших тюков, висящих по бокам мула. В одном из них лежало все необходимое для бременной плоти: пуд ржаной муки, четверть пуда чищенных грецких орехов, бочонок церковного вина и кое-что из одеяния. В другом же тюку лежали святоотеческие труды, переведенные с греческого, армянского и арамейского языков, сосуды с миррой, елеем и ладаном, молитвенники и библия в кожаном переплете. От этого тюк был гораздо тяжелей, и поэтому монаху часто приходилось поправлять его, затягивая потуже ремни.

Проявляя сострадание к животному, монах часть путь шел пешком, ведя под узду мула, опершись на посох. Продвигались они медленно, да и куда было спешить, за день, даст Бог, пройдут верст семь-восемь, и то слава Богу. На ночлег останавливался в церковных подворьях, молился, читал проповеди. Знали его и почитали как миряне, так и настоятели местных церквей. Так день за днем, преодолевая расстояние, неся свой крест, служил он Господу и людям, утешая страждущих и немощных словом пастырским.

Каждому определен свой путь, своя дорога к Богу. Ведомо ли смертному, через какие дела будет призван он на служение, дабы исполнилось то, что предначертано и чему суждено быть. Более сорока лет прошло с той поры, когда он переступил порог монашеской обители, находясь в отчаянии и упадке сил душевных, дабы принять постриг и посвятить остаток дней своим служению Господу. Было ему чуть больше семнадцати лет. В миру был он назван отцом своим в честь деда, Гочей. Рос вторым ребенком в семье бла-

гочестивой и верующей. Мать и старшая сестра его Нана прислуживали в семье князя Мачабели. Отец же с раннего утра и до заката трудился в кузнице, мастером был от Бога. Старый князь уважал кузнеца и частенько хвастал перед гостями, приговаривая:

- Что черта подковать, что булат в девичью косу влести, на все горазд, стервец этакий.

Действительно, молва о нем ходила по всему Картли.

- Выкованный рукой Отари кинжал в гранит, как в масло, входит, - говорили знатоки оружейного дела.

Поговаривали, что клинки из-под его молота носили даже некоторые влиятельные придворные мужья, за что князь Мачабели имел в их лице благосклонность. В награду за это семья кузнеца была освобождена от княжеских поборов.

Гоча трудился с отцом, постигая тонкости и премудрости кузнечного дела.

- Благословен всякий труд, сынок, запомни мои слова, - говорил отец сыну. - В огне и в поту добывает кузнец свой хлеб. Четыре стихии создал Господь, но только к трем дано человеку прикоснуться, и к чему бы ни прикоснулась рука человека, рано или поздно будет осквернено, но только не огонь, ибо он есть плод все очищающий. Потому, сынок, с незапамятных времен огонь стал предметом поклонения, и после, когда человеку было ниспослано с небес слово Божье, огонь олицетворял символ очищения мерзости человеческой перед Всевышним.

Много впитало в себя детское сердце. Мудрые слова, подобно семенам, брошенным в благодатную почву его, взойдут, но всему свое время - до срока.

Что есть счастье для мальчика семи-восьми лет? Куча разных интересных, но не совсем понятных вещей, висящие по стенам кузницы инструменты, лежащие на стеллажах заготовки и много всего разного. Едко кислотный запах горящего угля, раздуваемого кожаными мехами. Раскаленная добела болванка, сжимаемая щипцами, и ритмичные удары, искры и звон наковальни. Удар, искры, звон... и вдруг, подобно змее, остужающее шипение металла, погруженного в дубовую бочку с водой, и вырвавшийся из нее столб пара. А в центре всего этого - отец, в кожаном фартуке, накинутом на голый торс. Измазанные угольной пылью и гарью лицо и руки, и глаза, в которых всегда мерцал огонь. И ничего этого не было бы и не могло быть без него.

Отец был чуть выше среднего роста, не широк в плечах, но жилист. Хватка стальная. Пышные усы, большой чуть с горбинкой нос, густые сросшиеся на переносице брови и бесконечно добродушный взгляд располагали к себе. Часто он казался сыну смешным, когда на измазанном его лице расплывалась улыбка. Видны были только глаза, нос и большие зубы. Гоча заливался в смехе. Отец, измазав сына, смеялся над ним. Так и жили они в любви и уважении друг к другу, уважая и почитая других.

Каждое воскресенье семья шла в храм Святого Рождества. Настоятель церкви отец Симоне в проповедях своих часто приводил в пример Гочу как отрока благочестивого и кроткого в делах своих и помыслах. А в беседах с Отари не раз выражал желание видеть его сына в служении к Господу, на что последний отвечал:

- Все в руках Всевышнего, отче, все в его власти.

Отец Симоне был глубоко стар. Худой, чуть сгорбившись, опираясь на посох, был невысокого роста, но наделен необыкновенной прозорливостью, глубиной суждений и пропитан любовью ко всему существу. Глаза старца излучали свет, и от этого взор его был ясным и проникновенным. Он был духовником отрока, учил письменности, приобщал к древней литературе V века Якова Цуртавели, описывающего мученический подвиг грузинки Шушаник, которая предпочла смерть рабству и измене собственному народу. В рукописях VIII века Иоанна Сабанидзе описывалась жизнь тбилисского юноши Або, преданного своему народу и принявшего смерть от арабских завоевателей. Также старец читал ему святоотеческие труды, толковал их, рассказывал о подвигах и гонениях, через которые прошел народ Грузии, сохранив веру свою, не сломавшись и не предавши Христа перед страхом быть уничтоженным. Отец Симоне знал не понаслышке о тех временах, когда персы и турки рвали на части эту землю. Как осквернялись и пылали в пожарах святыни, как вырезались сотни, тысячи не отступивших от веры своей. Как истязались пытками церковнослужители, укрепляя своим подвигом духовным и предсмертным благословением тех, кто колебался и был на грани отречения от веры. Сколько слез и крови впитала эта земля! Через какие тернии был бы уготовлен ей путь, покуда не услышал Господь доносившийся до небес плачь народа и мольбу его. И явилась воля Господа спасти сей народ и утешить скорбь его. И было на то его благоволение.

1782 был судьбоносным годом для целого народа. Подписание «Георгиевского трак-

тата» убергло от истребления духовное и культурное наследие Грузии. Встав под протекторат могучей империи, страна, некогда описанная Гомером, вновь зацвела.

В тот год в семье кузнеца родился сын. Гоча с детства отличался от сверстников не только кротким нравом и мягкостью душевной, но и силой физической.

- Весь в нашу породу пошел, - хвастался родной брат Отарий, хромой Гела.

Любил он племянника, своих детей у него с женой не было - Бог не дал. Скорее всего, от этого он частенько и напивался, скрывая от всех боль, раздирающую его изнутри. Жили они с женой в соседнем селении Дырби. Трудился он на добыче глины, которую возил в город. Глина с этих мест имела особое свойство - ценилась у мастеров гончарного дела. Несколько раз нанимался на работу к русским инженерам, строившим дороги и мосты, но ненадолго, уходил. Одним словом, маялся, бродил по жизни, как неприкаянный. Бывало, весь заработок оставит в духанах и налегке домой. Жена все терпела, виныла лишь себя, да и куда ей было деться. Был как-то разговор между ними, просила она отпустить ее в монастырь, как того требует обычай. Коль муж изъявит желание для создания новой семьи - право его.

- Молчи! - выслушав, ответил Гела. - Кому знать, кто более грешен перед Богом, я или ты? Коль суждено нам нести этот крест, понесем вместе. Разве дано человеку знать, как испытает его Господь? И больше я не намерен говорить на эту тему. Поняла ты меня?

Женщина в ответ, закрыв лицо ладонями, плакала. Больше к этому разговору они не возвращались. Так и жили, каждый с болью в сердце и с неискупимым чувством вины. Часто Гела брал племянника в город и без подарка не оставлял его.

- Не прошу себе, - говорил он, - пусть неделю в доме хлеба не будет, но Гочу вниманием не обделю.

Ударит кулаком по столу, и на том решено, - такой уж человек был. Что тут скажешь.

Праздник или воскресные базары не обходились без состязаний. Тут и собачьи бои, стрельба на меткость из ружей и луков, метание ножей, конные скачки, - в общем, все, что душе и крови горячей угодно. Все, где может испытать удачу своего мужчины. Более всего толпу заводило состязание борцов. Ритмичные звуки дола и дудука подогревали и без того подогретую хмелем и азартом толпу. Много собиралось народу, и каждый по своей надобности. Одни приходили только лишь ради любопытства и восхищения красотой поединка. Другие же - поддержать своего любимца, а иные, в надежде подзаработать за счет других, заключали споры. Щедрыми подарками одаривали победителей. Князь Гурамишвили, большой любитель этой народной забавы, победителю дарил серебряный рубль - русской чеканки, неслыханная сумма. Нужда и жажда наживы испытали многих, но коль нет умения, к чему лишние страдания?

Гоча возвращался домой с кучей впечатлений, но и, конечно же, с подарком, который охотно показывал сверстникам и с восторгом рассказывал об увиденном в городе. Очень часто монах вспоминал то счастливое время. Воспоминания, вот все, что осталось у него от той безвозвратно ушедшей жизни. Лишь память тонкой нитью связывала его с тем, чего уже не могло быть. Но закрыв глаза, все возвращалось. Он отчетливо слышал гул воскресного базара, видел торговые ряды, изобилующие всякой всячиной. Выкрики купцов, расхваливающих и предлагающих товары со всех концов света. Караваны, переваливающиеся с бока на бок, нагруженные добром. Сердитая ругань караванщиков, подгоняющих слуг и усталых животных. Ржание коней, крики ослов, мычание и бляение скота. Воздух пропитан ароматом пряностей. Нагоняют аппетит хрустящие, только что выпеченные лаваш и пьянит своей легкой остротой запах поджаривающегося на углях кебаба. Духаны были центром сборищ. Доносившееся из них пение захмелевших завсегда тае и гостей наполняли сердце мироспокойствием. Во всем ощущалось возрождение и радость от пережитого в прошлом.

Развезя глину по гончарным мастерским и обзаведясь кое-какими средствами, оставив под присмотром свою арбу, Гела с племянником шел в гости к давним своим приятелям. Гоча не раз бывал у них и очень любил слушать восхищавшие его застольные истории о временах, наполненных героизмом и духовным подвигом народа. Из этих историй узнал он, что хромым дядя его стал вовсе не в детстве, как ему казалось. Что был он ранен в составе небольшого ополченческого войска под предводительством старшего сына князя Эристави, Лаши, казненного после турками в телавской крепости.

Застолье длилось до утра. Приятелям было что вспомнить и о чем рассказать другу. Гоча засыпал на тахте, стоявшей тут же у окна. С утра были долгие расставания с излияниями любви и обниманьями, ну, и, конечно же, с рогом, наполненным до краев вином, за легкую и быструю дорогу в ту и в обратную сторону. Утомленный хмелем и

бессонницей, расстелив солому и надвинув на глаза кахетинку, Гела всю дорогу спал, бормоча сквозь сон понятные лишь одному ему слова. Гоча смотрел на него и улыбался. По каменистой дороге арба, скрипя, покачивалась, старый вол волочил ее домой.

Осень сменялась зимой, зима летом, одним словом, время шло. Гоча рос на радость отцу и матери. К пятнадцати годам из вчерашнего сорванца Гоча превратился в юношу.

- Посмотри, каков у тебя сын, - с неподдельным восторгом говорил старый князь кузнецу. - А как коня мне подковал - а? Ну, что тут скажешь, Отар? Видит Бог, не меньшим мастером будет, помяни мое слово, - прищурился и поглаживая седые усы, говорил он с доброй иронией, идущей от сердца.

- Ну, что тут скажешь, батано, - пожимал плечами Отари. - Сын должен быть лучше отца, а то какой в нем прок. Новое обязано быть лучше прежнего.

- Да-да-а, - задумчиво согласился князь, - но, увы, не всегда такому бывать, - с легкой печалью произнес он, видимо, имея в виду своего сына, единственного наследника и продолжателя рода Мачабели. - Ну, да ладно, - говоря будто бы самому себе, старый князь перевел разговор в другое русло. - Помнится, скоро именины у твоего сына?

- Верно батано, - кивнул головой Отари. - Через две недели встретит он свою пятнадцатую осень.

- Ну, что ж, - с теплотой в хриплом голосе произнес князь, - я сына твоего без подарка не оставлю, да и отблагодарить его надобно за работу. Так что я распоряджусь. А теперь ступай с Богом, Отарий, ступай, - по-отцовски похлопав кузнеца по плечу, князь проводил его до дверей. Покидая господский дом, Отарий, кланяясь, поблагодарил князя.

Праздничный стол, накрытый во дворе под хейвани (виноградник в виде беседки), ломился от яств. Приглашено было много народу, даже из соседнего селения Двани были гости, Важа, старинный приятель Отари, и сын его Дато. Женщины хлопотали вокруг пирующих. Во главе стола сидел хозяин дома, по правую руку от него виновник торжества, а слева хромой Гела, который руководил застольем как тамада. Как и полагается, застолье затянулось далеко за полночь. Гоча, поблагодарив гостей за оказанное ему и его семье внимание и, конечно же, за преподнесенные дары, с позволения отца откланялся отдыхать. Почти все гости разошлись, обремененные заботами грядущего дня. Женщины перенесли застолье в дом, оставив на столе вино и кое-что из закуски сидевшим четверым мужчинам, отправились к себе. Гела разлил вино по глиняным стаканам:

- Ну, что же, генацвале, пусть это застолье будет самым скромным по сравнению с теми, что нас ожидают в будущем. Да здравствуешь ты, брат мой, и все домочадцы твои! - произнес тост Гела. Чокнувшись по кругу, залпом осушил стакан.

- Да здравствуешь! - подхватил Важа, последовав примеру тамады. Отари поблагодарил и, в свою очередь, выпил за их долгие лета. После кратковременного молчания Важа завел разговор:

- Отар, ну, вот и постарели мы еще на год, головы наши все белей и белей, а дети растут. Пора нам подумать об их будущем. Слава Богу, - Важа перекрестился, - Грузия поднята с колен, пришло время вить гнезда. Сказано ведь, убог тот кров, под которым не слышен детский щебет.

Отари понимал, куда клонит его старый друг. Важа был хорошим, очень добродушным человеком. Пышные с проседью усы, мясистый чуть красноватый нос, широкие дугообразные брови и на выкат глаза с характерной краснотой выдавали в нем любителя застолий. Человек он был хлебосольный. Ремесленничал плотником, делал кладку, одним словом, был нарасхват и после завершения работы позволял себе пропустить стакан-другой, но знал меру. Дело - прежде всего.

- Так вот что я хочу сказать, - чуть запинаясь, неторопливо продолжил Важа, - ты хорошо знаешь моего сына, да и Гела не даст слукавить, - тот одобрительно кивнул головой. Юноша смущенно опустил глаза, а сердце, казалось, вырвется из груди, он чувствовал, что весь покраснел и благодарил Бога, что при свечах никто не заметил этого. - Одним словом, Отарий, я прошу выдать твою дочь за Давида, - сказав, Важа тяжело выдохнул и обтер ладонью испарину на морщинистом лбу.

- Долго ты тянул из сына жилы. Посмотри, что ты с юношей-то сделал, - кивнув в его сторону, улыбнулся Отарий. Дато не смел поднять глаза и от смущения готов был провалиться на месте. Отарий провел ладонью по устам, глаза его горели, а слова дышали теплотой. - Что я не видел, как они друг на друга смотрят... А чего это у нас тамада, заснул, что ли? Стаканы пустые, пить нечего или не за что? - с подковыркой обратился он к брату.

Пришел его черед мучительно тянуть время, и он намеренно, с добротой к гостям,



оттягивал с ответом. Отарий встал из-за стола, взяв кувшин, подошел к Дато. Над столом зависла тишина. Гела и Важа не отрывали от него глаз. Отарий не спеша разлил вино по стаканам и попросил подать еще один - Важа подал. Положив руку на плечо юноше и наполнив поставленный перед ним стакан, обратился к нему:

- Ну, а ты что мне скажешь? Женитьба ведь, друг мой, дело серьезное. Готов ли ты взять заботу о моей дочери?

Дато поднял голову и, смотря куда-то вдаль, прокашлялся:

- Дядя Отар, прежде я хочу заверить тебя, что люблю ее и люблю давно...

- Знаю, знаю, - усаживаясь обратно за стол, перебил его Отар. - Разве я не помню, как ты гарцевал перед ней на кахетинском скакуне и преподнес трофей, добытый в скачках. От меня ничего не утаишь. Мы уже тогда с твоим отцом в шутку поговаривали о вашей свадьбе, - Важа утвердительно кивал. - Но, видно, время пришло не шутки шутить, - Отарий потирая руки, взглянул на Вaju.

- Да, дорогой Отарий, правда твоя, - согласился тот. - Чем собираешься жить и кормить семью, Дато?

Юноша ждал этого вопроса:

- С благословением отца я нанимаюсь к русским инженерам на год. Деньги платят небольшие, но надеюсь подсобрать. Кое-чем родители помогут, братья с домом обещали справиться. Но в остальном уповаю на Господа.

Юноша вновь опустил глаза, переполняемый волнением. Отарий вопросительно взглянул на него:

- Тебе сколько лет? Помнится, ты на три года старше Наны?

- Двадцать скоро, дядя Отар.

- Ну, что ж сказать? - Отарий потер левой ладонью шею. - Ты мне, Дато, очень по сердцу, знаю, что и дочери моей. Осталось дело за малым, идти с поклоном к князьям.

- Я уже у князя Чхайдзе благоговение получил, - с хитринкой в глазах улыбнулся Важа.

- Ах, ты, плут старый, все наперед знал, - рассмеялся кузнец. - Значит, дело только за мной? Завтра же улажу, - потрепав голову юноше, Отар предложил выпить.

- Ну, что, зятек, через год гуляем на свадьбе, - радостно прохрипел Гела. - Смотри мне, - тряся указательным пальцем, продолжил он, - тамадой буду я!

Чокнувшись и осушив за благополучное решение, расцеловавшись друг с другом уже по-родственному, они стали обсуждать мелочи предстоящих хлопот, готовясь за год к назначенной свадьбе.

Гоча не спал всю ночь. Он слышал разговор и был рад за сестру. Но мысли его и желания были поработаны подарком.

Отец рассказал сыну о подарке, который князь готовил ему на именины. Две недели он ходил с чувством предвкушения, перебрав в голове всякое, он все же не находил ответа. Подстрекаемый любопытством и неудержимостью, он подговорил сестру разузнать хоть что-нибудь. Но все было тщетно. А может, он подарит мне какую-нибудь без пользы штучку, думал он, кто я, чтоб дарить мне дорогой подарок, а с другой стороны, чего это князю мои именины помнить? Тянувшиеся в ожидании дни казались ему вечностью. Но неизбежно близился день, который должен был утолить его любопытство. С приближением именин им все больше овладевал страх быть разочарованным тем, чего он так долго ждал. Уж лучше бы не говорили, думал он.

В час, когда застолье было разогрето вином и душевными разговорами, во двор зашел управляющий с княжеского двора и сразу же направился к пирующим. Он был средних лет, суховат, подтянут, без единой эмоции на лице. Голоса тут же стихли, и все внимание было приковано к нему. В руках он держал небольшой деревянный футляр, покрытый лаком и резными узорами. Мераб, так звали пришедшего, был немногословен. Высказав наилучшие пожелания Отару и его сыну, посланник князя, поставив футляр на стол, спешно удалился. Ему даже не предложили поднять тост, зная его нрав. Он не был злым или добрым, такова была его натура. Футляр тотчас же передали имениннику. Гостей раздирало любопытство.

- Ну открой же скорей, покажи, что там? - голосили присутствующие.

У Гочи колотило в груди. Сам футляр своей красотой приковывал взоры. Повернув маленький позолоченный ключик, он медленно приоткрыл крышку. Глаза его от удивления округлились и вспыхнули от неподдельного восторга. Лицо его сияло. На темно-зеленом бархате лежало маленькое кремневое оружие. Рукоять его была инкрустирована костью и серебряными нитями. Тут же аккуратно в своих формах лежали начищенные до блеска шомпол, мерочка для пороха и шесть свинцовых пуль. Гоча взял подарок в руки

и поднял над головой. Гости заголосили от восхищения, и тут же дорогое оружие пошло по рукам. Отари скромно улыбался. Только мать мальчика, прикрыв ладонью открытый от изумления рот, покачивала головой, видя в этом дурной знак.

- Страсть к оружию в крови у мужчины, - успокаивал ее Гела, - так же как и материнство в женщине.

В то же день слухи на соколиных крыльях облетели уста селян. А к вечеру его ждали сверстники в надежде поглазеть на подарок.

Гоча лежал и смотрел в потолок. За дверью о чем-то живо вело разговор застолье. Он несколько раз уж доставал оружие, которым не мог налюбоваться, и прицеливался, наводя на предметы, стоящие в комнате. За окном занимался рассвет. Усталость и избыток пережитых накануне приятных волнений взяли свое. Отяжелевшие веки сомкнулись, мечтания плавно перетекали в не менее сладкие сновидения.

Той же осенью, точнее, поздней ее порой, с долгими дождями и с опадающей листвой, княжеский дом потрясла беда. Старый князь слег. Две недели лихорадка не отступала от больного. Доктары, вызванные к больному, разводили руками, возлагая надежды лишь на чудо. Князь почти не притрагивался к пище. Лицо, некогда излучавшее жизнерадостность и здоровье, похудело, кожа приняла желтовато-серый оттенок и сморщилась. Глаза наполнились мутью и, не переставая, слезились, жизнь угасала в них. Каждый день больного навещали гости, спешившие с разных уголков Картли. У постели умирающего день и ночь хлопотали две его старшие дочери, приехавшие с детьми, узнав о случившемся. Был послан гонец в Кутаиси с письмом к сыну, который проходил службу в кавалерийских частях. Каждый день на службе отец Симоне с прихожанами молил Господа об исцелении страждущего. Во многих церквях заказывали службы о здравии князя Мачабели. Старый князь понимал, конец его близок, но всем своим видом не проявлял слабости, не давая лишних поводов для переживаний и без того обеспокоенным родным. К нему приводили внуков, и он даже пытался с ними шутить, вызывая на лице у дочерей грустные понимающие улыбки. На исходе восьмых суток князь пожелал видеть управляющего.

- Подойди, Мераб, - тяжело дыша, хриплым голосом подозвал он вошедшего. - Присядь поближе, - кивком указал на стул, стоящий подле тахты. - Видно, пришло мое время...

- Что вы такое говорите, батано. Даст Бог ...

- Не надо, - прервал князь. - Времени нет на любезности. Завтра с утра пошли когонибудь из дворовых мужиков к кузнецу. Я хочу видеть его с сыном, а сам до отца Симоне сходи. Пришло время... - князь, закрыв глаза, прошептал: - Тяжело мне.

Мераб, не расслышав сказанное, привстал:

- Что изволили, батано?

- Ничего. Ступай, Мераб, - не открывая глаз, молвил князь.

Управляющий поклонился и бесшумно скрылся за дверью.

С утра Отари с сыном ожидали приема. Пробегавшая мимо Нана только успела шепнуть, что князь совсем плох, и тут же исчезла, скользнув вниз по лестнице. Отцу и сыну оставалось лишь покорно ждать. Отари сидел на стуле молча, положив ладони на колени, чуть наклонив голову. Лицо его было мрачно. С любовью и глубоким уважением относился он к князю, и мысль о том, что его не станет, сверлила душу. Мысли сменяли одна другую, и от этого голова казалась отяжелевшей. Гоча сидел подле него и с присущим этому возрасту сочувствием наблюдал за прислугой, суевившейся по дому. Дверь в опочивальню отворилась, старшая дочь князя Тина, промокая глаза платком, повела рукой в сторону двери:

- Идите же, он вас ждет.

Отец с сыном поклонились госпоже и последовали в покои, прикрыв за собой дубовую дверь.

- Присаживайтесь, - обратился к вошедшим князь.

Отари и Гоча поклонились и прошли в глубь опочивальни. Молча усевшись на стульях у тахты, они ждали. Слышно было тяжелое дыхание больного. Воздух в покоях был пропитан запахами, доселе не встречавшимися Гоче. Он обвел все вокруг глазами. Масивная тахта с вырезанными на спинках лозами винограда была приставлена к стене, деревянный пол почти на всю ширину был устлан шерстяным ковром. У противоположной стены, которая была заставлена стеллажами книг, стоял стол на изогнутых ножках, на нем беспорядочно лежали бумаги и несколько толстых книг. Над тахтой во всю стену

была натянута медвежья шкура, на ней висели меч и круглый щит с древним родовым гербом, а с обеих сторон два больших рога с золотыми краями, под щитом наискосок висели кинжалы. Тут же в правом углу от тахты образ Спасителя и горящая перед ним лампада в серебре. У окна стояли диван и два кресла в темно-зеленом бархате и овальный столик на коротеньких ножках, на столике поднос с серебряной чеканкой, а на нем глиняный кувшин с продолговатым горлышком, вокруг кувшина стаканчики. Убранство в покоях, как и во всем доме, было со вкусом скромным. Князь оказывал предпочтение старине и открещивался от нововведений и всякого рода роскоши, пришедшей с севера. Отари молча смотрел на страждущего. Он с трудом узнавал в нем князя. От былого не осталось и следа. От безмерного сострадания на глазах невольно появились слезы. Он быстро вытер их рукой, зная, что князь не приемлет жалости по отношению к себе. Тяжело прокашлявшись, прерывисто хриплым голосом князь нарушил тишину:

- Как дела у тебя, Отар? - взглянул на него мутными глазами князь. У кузнеца сжало горло, он хотел было ответить, подыскивая нужные слова, но князь продолжил: - Позвал я тебя с сыном вот по какой надобности. Видно, дни мои на исходе, - от этих слов у Гочи похолодело внутри, он взглянул на отца, который не отрывал глаз от умирающего и внимал каждому его слову. - Я хочу, чтобы ты с сыном исполнили мою последнюю просьбу.

- Все, что скажешь, батано, все, что в наших силах...

- Знаю, знаю, - прервал князь. Тяжело дыша, он продолжил: - Надо выковать церковные ворота с вьющимися лозами по краям и свисающими гроздьями винограда, а в середине крест. Переведя дух, добавил: - Вложи в это все сердце и душу. Для меня это очень важно. До Рождества успеешь?

- Успею, батано, будь спокоен, - кивнул в ответ.

- Хорошо, - прохрипел князь. - Вот и облегчил ты мне душу. Мерабу сказано выдать тебе средства на это, - и, чуть запнувшись, продолжил, - и на приданое к свадьбе Наны. Я знаю, Амиран, - так звали княжеского сына, - заставит всех держать год траура. Ни к чему. Что от этого изменится? Пусть будет свадьба в указанный срок, это мое благоволение. Там на столе бумага, мной подписанная. Возьми, - обратился он к Гоче.

Тот, подойдя к столу, взял сверток и передал отцу. На некоторое время над ними зависла тишина. Была слышна суета за дверьми и порывистый шум ветра за окном. Гоча, не отводя глаз, смотрел на тоненький язычок пламени горящей в углу лампы.

- Батано, мы пойдем с твоего позволения? - неумело, скрывая дрожь в голосе, обратился он к князю. - Прощай, Отар. Не забывай в молитвах. Жаль, на свадьбе твоей дочери не доведется вина попить.

В ответ Отар молчал, не зная, что сказать. С необъяснимой силой он сдерживал себя, чтоб не дать волю чувствам. Выйдя во двор, Отар провел ладонью по лицу и поднял голову вверх. Ветер слезил глаза. Сына он отпустил домой, сказав, что придет попозже. Он долго стоял и смотрел на оголившиеся ветви старого дуба, растущего в княжеском дворе, посаженного предками Мачабели. На сером небе ветер гнал тучи с запада. Опять быть дождю, подумал кузнец. Домой он пришел только лишь под вечер. Не обмолвившись ни с кем словом, лег спать.

На исходе первой недели рождественского поста, ближе к вечеру, округу сотряс колокольный звон, извещающий о кончине князя Мачабели. По воле усопшего все прошло скромно. Проводить князя в последний путь съехались почти все известные в Картли фамилии. Амиран, унаследовавший все права покойного родителя, принимал соборное похоронение. Похоронили князя на родовом кладбище рядом с супругой, княгиней Кетеван, скончавшейся без малого 20 лет назад.

На девятый день после заупокойной службы молодой князь призвал к себе управляющего, изъявив желание видеть бумаги, ведомые им по части хозяйства. Оставшись в одиночестве, он стал перебирать личную корреспонденцию покойного родителя и наткнулся на письмо, адресованное ему, но так и не отправленное адресату. В нем покойный князь с присущей ему строгостью критиковал нравы, царящие среди молодых офицеров, присягнувших русской короне. Он считал непозволительным человеку православному перенимать и подражать нововведениям, пришедшим Бог знает откуда, как считал он, для растления души. Он никак не мог взять в толк, как можно пить какую-то кислятину, именуемую якобы вином, и говорить на чужом для слуха языке только ради того, чтоб не показать дурного тона.

- Мы, слава Богу, вино с ветхозаветных времен пьем. Толк в нем знаем, и язык наш более сладкозвучен, нежели заморский скрежет. Недаром Гомер поведал миру об этом, написав о золотом руне, - возмутился покойный князь в беседе с сыном. - Ты забавы эти

брось, знаю, чем вы там занимаетесь: вино, табак, карты. Князь Бараташвили мне рассказывал, своего-то сына он приструнил, пообещав оставить без наследства. Так смотри и ты у меня, - грозил отец сыну.

Покойному князю многое было чуждо из того, что диктовало время и нравы, пришедшие в Грузию с освобождением. Амиран грустно улыбнулся, вспоминая нравоучения отца. Отложив письмо в сторону, заложив руки за голову, он предался сладким мечтаньям о предстоящей в скором времени поездке в Россию.

С появлением в имении молодого князя начались изменения, к сожалению, не в лучшую сторону. Вдохнув воздуха свободы и красивой разгульной жизни, князь стал планомерно отменять устоявшиеся порядки, заменяя их новыми. Семья кузнеца одна из первых ощутила это на себе. Освобождение от оброка было отменено. Увеличен заказ на изготовление знаменитых клинков, обещанных молодым князем своим приятелям по слухам. Крестьяне возмущались, но шепотом.

- Неслыханное дело, - сетовали они меж собой, - еще траур не прошел, а он с наскуру содрать решил. Ну, что тут скажешь, хозяин - барин.

Кузнец выполнил обещание, данное покойному князю. За три дня до празднования Святого Рождества ворота были изготовлены и подвезены к церкви. С благословения отца Симоне кузнец начал сей труд и с ним же его окончил. Как и было сказано, вложено в это дело были душа и сердце. Гоче отец доверил выковку виноградных листьев. Их выковывали отдельно вместе с гроздьями, потом уж накладывали и приклепывали, дабы создать объемный вид. Ворота получились в виде переплетенного меж собой виноградника, с крестами на створах. Устанавливали их всем миром, отец Симоне освятил ворота и прочитал проповедь о благочестии и смирении перед трудностями, кои посланы нам во испытание.

Вскоре после сорокового дня молодой князь готовился к отъезду. Возложив на плечи управляющего все хозяйственные хлопоты, князь в строгой форме потребовал от него точного исполнения всех указаний. Доходами, приносимыми имением, был доволен, но видел возможность их увеличить. Мераб с присущей ему сухостью и скупостью на слова отвечал согласием. Такая исполнительность князя вполне устраивала. Взяв из казны значительную сумму, он незамедлительно уехал.

Кроме княжеских нововведений жизнь, казавшаяся Гоче размеренной, ничем нельзя было потревожить. Все шло своим чередом. Но знало ли юное сердце, какие удары уготовит ему судьба? Какими страданиями и чаяниями будут заполнены пустоты, выжженные в нем? И какие силы будут призваны им, чтоб не ожесточиться, а сохранить и укрепить в нем веру, взывающую любить всякого истязующего его?

Впоследствии, размышляя именно о том периоде своей мирской жизни и о тех событиях, так круто изменивших судьбы многих близких ему людей, монах все сильнее убеждался в словах, некогда сказанных ему отцом Симоне: «Замыслы Господа неисповедимы для сердца человеческого. Ибо кого возлюбит Господь, будет презрен и истязаем сиим миром, и язвы мира сего будут на нем». Молитвами и смирением исцелял он в себе язвы душевные и помыслы нечестивые, возбуждающие чувства мстительные и горделивые. Истязал плоть свою, доколе не очистилась она, и благодарил Господа за ниспосланные испытания ему и за любовь, в которой он пребывал.

В начале третьего месяца весны в имение было доставлено письмо от молодого князя, в коем писалось, что князь намерен расширить двор. Старую каменную изгородь было велено разобрать и сложить ее в иных пределах по указанному чертежу, прилагаемому к письму. Дорогу в полторы версты, ведущую к усадьбе, приказано выложить камнем, а старые дубовые ворота заменить на кованые с изображением на них родового герба. Все работы надлежало закончить к началу осени. Весть о сумасбродном желании молодого князя ошеломила жителей поместья, но дальше возмущений дело не пошло. Смирившись, почти все мужское население приступило к измерительным работам. На чем только возможно было возить, с берега реки доставлялся камень. Обтесывая, им выстилали дорогу. Над разбором изгороди трудились большей частью юноши, так как особого умения в этом не требовалось; детвора помогала очищать камни от прежнего раствора. Одним словом, работы хватало всем, и работали от рассвета до заката.

Разбирая кладку с южной стороны, юноши обнаружили в ней змеиное гнездо, управляющий распорядился уничтожить ползучее племя, бросив в костер. Это и стало роковым обстоятельством, звеном в трагической цепи событий, изменивших до неузнаваемости мир, в котором жил Гоча.

В середине лета работы вокруг княжеской усадьбы были почти завершены. Осталось лишь поднять изгородь на две кладки и поставить ворота, которые кузнец обещал к концу месяца. Управляющий был доволен ходом работ, и справедливости ради надо сказать, с мужиков шкуру не драл - входил в их положение. Безучастным к просьбам их не оставался, но и дурачить себя не позволял. Больше хлопот было с выстилкой дороги. Дело шло не так быстро, как того хотелось, оно и понятно, но к сроку должны были уложиться.

Два раза в месяц управляющий письменно обо всем докладывал князю. Тот проявлял интерес к делам, особенно к финансовой части. Каждое письмо, полученное от князя, заканчивалось с неизменной припиской об энной сумме, требуемой им. В одном из писем Мерабу он поручил подсчитать затраты на обновление интерьера дома и его фасада. Зная натуру Амирама, управляющий подсчитал это таким образом, что отбил охоту у него что-либо менять - хотя бы на время. Мераб состоял давно на службе и разделял взгляды покойного князя. Тем более, молодой князь ни сном, ни духом не ведал, каким трудом было преумножено состояние, которое он безрассудно мог пустить на ветер.

Работы намеревались закончить на месяц раньше. Изгородь была достроена, ворота с гербом, на котором был изображен меч с обвивающими его лозами, были поставлены. Дорогу доделывали, это было делом нескольких дней. Все было готово к приезду хозяина. Взяв инициативу в свои руки, мать и Нана решили облагородить двор, разбив цветники вокруг княжеского дома. Дело хлопотное, но приятное. Гоча, не занятый делами в кузнице, вечерами помогал им.

С задней стороны княжеской усадьбы был разбит сад. В нем росло все, что душе угодно. Вокруг двухэтажного огромного особняка, выдержанного в стиле средневековой архитектуры, на расстоянии десяти-пятнадцати шагов друг от друга росли огромные ореховые деревья, посаженные еще дедом Амирама. Варенье из зеленых орехов, приготовленное по особому рецепту, хранившемуся втайне родом Мачабели, славилось по всему Картли. В конце сада протекал небольшой ручей, прозванный в народе Самцкаро, так как брал начало свое от трех родников. За оградой ручей, петляя меж деревьев и кустарников, впадал в горную реку Лиави. Так вот, именно то место, где ручей протекал через сад, было облюбовано семейством гадюк. Змеи не нарушали жизненного пространства человека. Охотились они за оградой, изредка в жаркие дни выползали в сад погреться на солнце. Об их существовании никто и не предполагал.

С конца весны и до середины лета яд у змей особенно смертоносен. Охраняя гнездо, змея опасна. Достаточно было прикоснуться до змеиных яиц, чтоб ползучие твари покинули это место раз и навсегда. Но суеверия, передаваемые из уст в уста на протяжении веков, учат другому. Самка каждый день приползала и, свернувшись кольцами под зеленой гущей кустарника, неподвижными веками наблюдала за непонятными движениями людей. С заходом солнца, когда все стихало, она, невесомо перескальзывая через каждую лежавшую на земле ветку, ползла к месту, где когда-то было гнездо. Скользя меж разобранных камней и не найдя искомого, она ползла в глубь сада, а с первыми лучами солнца возвращалась обратно. После того как ограда была достроена, гадюка поселилась в саду. Днем она укрывалась в колючих кустарниках облепихи, а ночью, покидая их, охотилась.

Забив колышки вокруг клумб, Гоча влетал в них нарезанные прутья ивняка. Сестра, напевая песни, возилась на соседней клумбе. Мать неподалеку поливала саженцы. Вечер был тих. На подумянвшемся от заката небе зажигались первые звезды. С наступлением сумерек, наполненный стрекотанием эфир дрожал. Дело шло к завершению. Женщина, взяв ведро, направилась к дубовой бочке, стоявшей на заднем дворе. Тропинка лежала через растущие кусты жасмина. Проходя, она и не заметила скользкую в траве змею. Бросок был молниеносный. Женщина почувствовала пронзительную боль выше лодыжки. Выпустив ведро из рук, она вскрикнула. Тяжесть мгновенно охватила ногу, жжение усиливалось, и чувствовалось, как стало пульсировать в висках. На крик тут же прибежали дети. Узнав, что случилось, Нана со слезами на глазах, побледневшая от ужаса, побежала звать на помощь. Гоча, сдернув в себя тонкий кожаный пояс, перехватил ногу, но все было тщетно. Яд, проникнув в кровь, отравил ее. Женщина буквально горела, рассудок помутнел, тело покрылось пятнами, дыхание стало прерывистым. От бессилия прижав к своей груди голову матери, Гоча плакал.

Княжеский двор был переполнен. Тут же Мераб послал за лекарем. Рыдающую девушку успокаивали, та порывалась к матери, но две пожилые женщины, прислуживающие по хозяйству, крепко держали бедняжку. Умиравшую принесли в дом и уложили на диванчик, стоявший в прихожей. Гоча не отходил от матери ни на шаг и раздраженно,

сдерживая гнев, повторял одно и то же:

- Где лекарь?! Где же он?! Почему так долго?!

Спустя час женщину стали сводить судороги, подоспевший к этому времени лекарь был бессилен. Дернувшись всем телом, издав неестественный глухой хрип, она отошла. Полуоткрытые, закатившиеся глаза потускнели, лицо, покрытое красно-синеватыми пятнами, перекосила судорога. Смерть была ужасной. Стянув с себя головные уборы, мужчины перекрестились. Гоча, закрыв лицо руками, сдерживал вырывающийся крик. Ночь огласила причитания женщин и истерический, надрывный плач девушки.

Семья кузнеца принимала соблезнования. За эти дни Отар осунулся, лицо его покрылось морщинами, воспаленные от бессонницы глаза были пусты. Смерть жены состарила его. Отпев покойницу, отец Симоне прочитал проповедь о таинстве смерти и бессмертия души, обретающей царствие небесное. Схоронили ее на церковном кладбище. Почтив светлую память за поминальным столом, народ стал расходиться, унося в себе горе, пронзившее их сердца. Мир, в котором жил Гоча, опустел. Он все чаще станет посещать церковь, находя утешение у Господа, молясь за упокоение души матери своей и о здравии близких его людей. Свободные от дел вечера будет проводить у отца Симоне, постигая всю глубину и таинство веры православной. Старец увидит в нем промысел божий, и глаза его, излучавшие свет, опечалятся, узрев, через что юноше суждено будет пройти.

Мераб, обеспокоенный событиями, потрясшими все селение, намерен был известить поселившуюся в саду тварь. Две дюжины юношей, вооружившись палками, прочесывали сад. Был перекрыт проток к ручью, чтобы змея не выскользнула наружу. Погребка, каждые куст, дерево были обследованы - змеи и след простыл. Управляющий не находил места. Сомнения сверлили его изнутри. Неделя поисков не принесла результатов.

В корневище старой яблони, которая росла вблизи прежней ограды, была нора. Сразу-то ее не заметили. Дерево изнутри частично выгнило, спилить его было жалко, так как оно еще плодоносило сладкими, как мед, плодами. Так вот в ее стволе и поселилась тварь.

Сходив с утра в лес и принеся кольев, Гоча обтесывал их во дворе. День был ясным. Нана хлопотала по хозяйству в доме. Со скрипом отворилась калитка, и вбежавший во двор соседский мальчонка прокричал:

- Гоча, пойдём скорей! Змею нашли! Тебя все ждуть!

Волна ожесточенности захлестнула юношу. Он, тут же бросив топор, выбежал из калитки. До княжеской усадьбы было чуть меньше версты. Он несся изо всех сил, раздираемый злостью, и невольно глаза его наполнились слезами. Бегущий следом мальчонка что-то кричал, но вскоре исчез из виду. Вбежавши во двор усадьбы, Гоча остановился, переведа дух. По телу пронеслась холодная дрожь. Лицо было бледным. Глубоко дыша, он поспешил в сад, где шумно восклицали голоса.

Змею обнаружила кошка. Всю ночь она охотилась в саду. Забравшись на дерево, улегшись на толстую ветвь яблони, наблюдала за тем, что происходит внизу. Первые лучи солнца, скользнув по густой листве, начали пригревать. Кошка, зажмурив глаза, замурлыкала, но чуткий слух ее не оставлял без внимания доносившиеся снизу шорохи. Она резко открывала глаза и впивалась своим острым зрением в место, привлекавшее ее внимание. Не заметив ничего интересного, вновь нежилась, зажмурив глаза и наслаждаясь теплом.

Вдруг ее настрожил какой-то не похожий ни на что шорох, а слух пронзило шипение. Кошка встрепнулась, наострив уши. Среди травы, лениво извиваясь, ползла змея. Кошка, спрыгнув, осторожно переступая лапами, обнюхивая траву, пошла по следу. Приблизившись к змее довольно близко, она поддела лапой кончик хвоста. Змея, резко скрутившись, сжалась и атаковала кошку. Та успела отпрыгнуть, оцетинилась и выгнулась дугой. Странное поведение кошки привлекло пожилую служанку, выносившую по утрам мутаки (продолговатые подушки) для просушки на солнце. Подойдя поближе, она увидела черную, длинную, свернувшуюся в кольца змею. Обезумев от увиденного, женщина поспешила с этой вестью прочь. Змея скользнула в нору. Кошка, вытянув морду, обнюхивала место вокруг дерева.

Вбежавший из дома Мераб и служанка поспешили в сад. Прихваченный с собой черенок от тяпки он вбил в нору, женщине же приказал бежать за подмогой. Оставшись один, держа на руках кошку и глядя ее, он обошел дерево, тщательно осмотрев его, подумал: все равно спилить пора, постарело. Змея была вытравлена из укрытия. Раскрывая широко пасть и обнажая смертоносные жала, она бросалась на людей, обступивших ее.

Не давая ускользнуть, ее черное, толстое, блестящее на солнце чешуйчатое тело то и дело придавливали палками к земле. Толпа злорадствовала. Блокированная со всех сторон, сжатая в пружину, змея издавала холодящее душу шипение. Раздутая трехугольная голова, приподнятая кверху, покачивалась, словно маятник, готовая к смертоносному броску.

Кто-то вложил в руку палку, Гоча сжал ее. Он не отрывал глаз от змеи. Месть напрягла его изнутри, сжав скулы, он ощутил холод, прокатившийся по телу.

- Убей ее! - доносилось со всех сторон.

Он занес палку над головой. Все смешалось в нем, голоса слились в один:

- Ну же, бей!

К горлу подступил ком, и он был преисполнен решимости... Но вдруг почему-то в памяти (к чему бы это?) всплыл библейский сюжет об избииении Марии Магдалины, и в тот же миг его вывел из оцепенения звон колокола, созывающего православных на обедню. Отбросив палку, Гоча перекрестился. Со смешанными чувствами он спешно покинул это место. За спиной доносились удары и восторженные крики. Но в чем же была вина змеи, коль такова ее природа?

Начало осени выдалось дождливым, но к концу месяца подул южный ветер, принеся с собой долгожданную погоду. Приближался праздник молодого вина. Урожай в этом году был богат. Отар все свое время проводил в кузнице, работа отвлекала от тяжелых мыслей. Односельчане стали замечать, что он отстранился от всех, некогда веселый кузнец стал мрачен. Отпущенная борода придавала его серому лицу угрюмость, в пустом взгляде таилась скорбь. Он так и не сбреет бороду, пронеся траур до конца дней своих. Празднование и веселие обходили стороной дом кузнеца. Приглашенный на них, он учтиво уклонялся под каким-нибудь предлогом. Односельчане проявляли беспокойство, опасаясь, не помутнел ли рассудок у бедного Отара? Несколько раз в дом к нему приходил отец Симоне, вел с ним беседы, но тот, замкнувшись в себе, лишь кивал в ответ - более ничего. Что и держало его душу в теле, так это дети. Он стал более внимательным к ним, особенно к дочери, которая напоминала ему покойную супругу, такая же хрупкая, со смугловатым правильным лицом и большими, как у лани, глазами, излучающими свет, который и вселял в кузнеца силы жить дальше.

Свадьба дочери была перенесена еще на год - все понимали. Прошел без празднования и шестнадцатый день рождения Гочи. Дни стали короче и тусклей. За окном все чаще шли дожди. Ожидавшийся приезд молодого князя был отложен, обещался приехать по первому снегу. Все текло своим чередом, подходила годовщина смерти князя Мачабели. Мераб получил письмо от Амираана, писавшего, что непременно будет, но ненадолго задержится по неотложному делу. Усадьба оживилась голосами и смехом понаехавших внуков покойного князя. Княгини готовились к приезду гостей.

Четвертые сутки пошли, как хромой Гела отправился в город. Обещался быть на второй день, а все нет его. Жена волновалась, чуяло сердце, что-то неважное с мужем. Судьба готовила семье кузнеца еще один удар. Не от кого толком и не узнать, как там дело было. Говорят, была драка, кто с кем, непонятно. Нашли Гелу, истекающего кровью у моста через Лиахву, он был еще жив. Спешно доставили в госпиталь военного гарнизона, пытались помочь и выяснить, кто нанес удар ножом, но тот, лишь искривив окровавленный рот, - молчал. Так и унес с собой в могилу имя убившего его. Гоча тяжело переживал смерть любимого дяди. Отар, узнав о смерти любимого брата, упал на колени перед иконами, обхватив голову руками, запричитал:

- За что, Господи, ты караешь нас?! За что, Гос-по-ди?!

После всего им окончательно овладело уныние, и в душе он все чаще помышлял о смерти, но была еще сила, удерживавшая его от безумия.

После похорон Гелы жена покойного, раздав все нажитое имущество людям, ушла в монастырь. С сестрой Ксенией монах впоследствии встречался и был у смертного одра в последние часы ее земной жизни.

Шла весна. Гоче, совсем уж возмужавшему, шел 17-й год. Сестра его, старше на год, расцвела, словно бутон. В черном траурном платье, с постоянно с опущенными глазами и обвязанная по самые брови платком, она была прекрасна. Стройный стан ее, казалось, был выточен, легкие движения придавали ей невесомость. Кроткие уста, цветом драгоценного лала, ласкали слух мягким, бархатистым голосом, похожим на журчание тоненького ручейка, пробивающегося в тенистой чаще сквозь камни.

В весенних хлопотах дни отвлекали от тяжелых дум. Гоча всецело был поглощен обу-

чением чеканному делу и, надо сказать, преуспевал. Изделия из-под его руки имели цену, но до мастерства нужны были годы. Он часто бывал в городе, развозил по торговым лавкам всякого рода изделия, выкованные им вместе с отцом. Бывало, оставался на ночлег у друзей покойного Гелы. Вечера, как всегда, проходили за столом. Ничего не менялось, только друзья Гелы старели, и с каждым годом их оставалось все меньше.

Так пролетела весна, а за ней подходило к концу лето. В начале осени Отар захворал.

- Ничего серьезного, - осмотрев больного, сказал лекарь. - Пусть несколько дней полежит, отдохнет и непременно пьет лекарство. Все будет хорошо, - заверил он Гочу и Нану. Дочь все это время не отходила от отца и следовала предписаниям.

- Какая гадость, - скривив гримасу, говорил Отари, запивая лекарство водой.

- Ну, потерпи, тебе же легче будет, - приговаривала дочь, наливая в ложку еще порцию отвратительного на вкус отвара.

- Нельзя ли мне, доченька, по старинке лечиться? - спросил Отар. - Издревле известно средство - чача, перец и мед. Что этих проходимцев слушать?

- Лекарь сказал пить это лекарство, - улыбаясь, перебила его дочь, - значит, будем пить это лекарство.

Действительно, вскоре Отар встал на ноги. Все это время, пока отец болел, Гоча не покидал кузницы. Скоро сбор урожая, заказов было много, даже поесть было некогда, сестра носила обед ему прямо в кузницу. Под удары молота и звон наковальни Гоча размышлял о жизни, вспоминал прошлое, мечтал, надеялся, но никак не мог ответить на один вопрос, волнующий его все больше остальных, вопрос, на который не давал ответ отец Симоне, кем будет и что уготовано ему в грядущем.

К празднику вина дом кузнеца посетил дорогой сердцу гость, точнее сказать, почти родственник. К тому времени Отар окончательно выздоровел, но дочь настояла повременить с работой, Гоча ее поддержал. Важа ехал из города и решил навестить старого приятеля. За накрытым столом затянулся долгий приятный сердцу разговор. Нана, хлопотавшая у очага, с замиранием вслушивалась в разговор, когда речь заходила о ее возлюбленном. Важа рассказывал, что Дато трудится в городе, дом ему почти достроили, осталась лишь кровля. Шлет свой поклон и гостинцы. Важа, улыбаясь, взглянул на Нану:

- Подойди, дочка, вот, велено передать тебе, - достав из кожаной сумки сверток, передал его девушке. Нана, смущенно покраснев, поблагодарила и быстро удалилась к себе, прижимая сверток к груди. - А это, дорогой Отар, Дато шлет тебе, - разглаживая усы, Важа достал сапоги, выделанные из мягчайшей кожи.

Отар поблагодарил и велел передать, что по душе пришелся ему гостинец. Гоче был послан в подарок инструментарий по чеканке, купленный у кушца армяна, по словам которого, был привезен с Дербента. Просидев до самого поздна за столом, поговорив о предстоящей свадьбе и о многом другом, изрядно выпив вина, мужчины легли отдыхать.

Гоча лежал с открытыми глазами, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Все давно спали. На дворе изредка был слышен лай собак. Он осмысливал рассказанное отцом Симоне накануне и прочитанные труды древности, обогащавшие пытливого юношу. Он мысленно возвратился к той беседе.

Отец Симоне:

- Так вот, православие пришло к нам из Византии в первой половине IV века. Равноапостольная святительница Нино долгое время жила и молилась у гроба Господня, и было ей ниспослано откровение и указан путь.

Гоча:

- Скажи, святой отец, почему же хотят уничтожить веру нашу?

Отец Симоне:

- Это, сын мой, очень глубокий и сложный вопрос. И нет на него однозначного ответа. Но я постараюсь ответить тебе по разумению твоему. В основе этого лежит зависть, ревность и месть. Господь наш Иисус Христос был распят иудеями, ослепленными завистью. Вспомни ветхозаветных Авеля и Каина, и там зависть послужила причиной греха. Мусульманская цивилизация произошла от семени старшего сына Авраама Измаила, потому они, как и мы, почитают прародителя мировых религий. Но в седьмом веке произошел раскол между христианами и мусульманами. Причиной этому был халиф Аль-Валид из династии Омейядов, разрушивший великие христианские базилики на Ближнем Востоке. Возгордившись, они посчитали себя истинным народом, почитающим ревностно законы Всевышнего. Но разве можно гордиться тем, что не принадлежит тебе? Католики же не могут простить православным схождение благодатного огня, и потому ими снаряжались крестовые походы в святые земли, и больше всего от этого пострадало



православие.

Гоча:

- Но католики же предлагали Грузии помощь, святой отец!

Отец Симоне:

- Да, были послы с предложением к царю Ираклию, но взамен они требовали души наши, отречения от веры истинной и признания папы единым наместником Бога на земле. Царь наш отказал «данайцам», и устремил он очи свои на север, и уста молящие были услышаны. Русь сама испытала и испытывает на себе гонения. Многие хотят извести в ней веру православную, но сильна земля русская праведниками и угодниками, и Господь щит ее. И дано ей будет собрать народы малые и самой сделаться землей обетованной, провозгласив волю Господа о единстве племен и народностей. Но силы нечестивые устами богохульными и помыслами горделивыми и мстительными испокон веков помышляют о расчленении ее и порабощение духа православного, но не силами орд, а соблазнами. Ибо нет воинства и не будет, чтоб смогло утратить Русь.

За окном послышалось пение ранних птиц и крики сельских петухов. Светало. Гоча, повернувшись на бок, закрыл глаза. Представляя себе ту страну, о которой так много рассказывал старец и к которой невольно испытывал сердечную теплоту, он вскоре уснул.

Князь Амиран решил отметить празднование молодого вина в поместье. Пригласив сослуживцев, он проводил дни в кутежах и на охоте. Хозяин, расщедрившись, блистал гостеприимством, больше походившим на хвастовство. Гости пользовались этим, и всякое пожелание их было законом для хозяина. В ночных кутежах подогретое винными парами себялюбие князя изливалось из него. Он рассказывал с надутой гордостью, сдвинув для важности брови, о родстве его рода с царствующим домом Багратиони. Не отказывая себе в тщеславии, выпучив вперед грудь, надменно подняв подбородок и занеся руку над головой, князь любил для показа декларировать поэму Руставели. Потом плюхнувшись на диван, изобразив на неприятном лице задумчивость, восклицал, привирая, конечно:

- Представьте, господа! Неоспорим тот факт, во мне течет кровь великого Руставели.

Натура его всем давно была известна, но никто не перечил ему. Да и зачем? Покивая одобрительно ему головой, вырази неподдельный восторг, и ты лучший друг его, и дорога к его кошельку открыта.

Весело проведя время в имении, гости в скором времени разъехались. Князь Амиран остался для просмотра бумаг и ознакомления с делами хозяйственными. Причина же была совсем в другом.

Приблизжался для молодых долгожданный день венчания. Отар с нежной грустью смотрел на дочь.

- Скоро Нана покинет нас, - говорил он сыну. - Ну, что поделать, жизнь берет свое. Родной камень, вложенный в чужую стену, должен укрепить ее.

Гоча понимающе улыбался:

- И мне чуть грустно, отец. Она часто будет гостить у нас, - ободрял он отца, - благо жить будут недалеко. А вскоре и я, надеюсь, приведу хозяйку в дом.

Отар, потрепав по голове сына, ухмыльнулся:

- Конечно, конечно, сынок. Такова жизнь, такова жизнь, - сев на лавку, Отар погрузился в раздумья.

Несмотря на пасмурные осенние дни, Нана цвела. Из подаренной женихом персидской ткани уже было сшито платье. Вечерами, облачившись в него, она, сияя от счастья, могла часами любоваться на себя. Переполняемая чувствами, с замиранием сердца, представляла, как отец поведет ее к алтарю. Венчаться решено было в церкви святого Рождества. Встретив как-то на дороге спешившую домой Нану, отец Симоне, благословляя ее, сказал:

- Как неумолимо быстро течет река времени, дочь моя. Давно ли я крестил тебя, держа крохотную в своих руках? А вот уж время пришло венчать тебя. Иди с миром, да хранит тебя Господь, дочь моя.

Раскинувшись на тахте, с расстегнутым воротом черной шелковой рубашки, не скинув сапоги, заложив левую руку под голову, а правой поглаживая жиденькую бородку, прищуриив хитрые глаза, князь Амиран ехидно улыбался. В нем давно уже созрело коварство, которое он намеревался воплотить.

В тот день с утра отец отправил Гочу в город по делам. Возвратиться он должен был к следующему вечеру, но как там дела сложатся, одному Богу известно. Сам же пошел в кузницу доделывать полученный на днях заказ. Нана с раннего утра крутилась на княжеском дворе. День пролетел в хлопотах почти незаметно. Дело шло к вечеру, и Нана собиралась домой.

- Подожди немного, я как раз в село поеду, заодно и довезу, - проверяя пути на кобыле, предложил ей дворовый мужик.

Она уже сидела в телеге, как ее позвала обратно в дом кухарка, толстуха Этери, сказав, что князь желает ее срочно видеть, а для чего, она сама толком не знает. Войдя в дом и с легкостью преодолев дубовую лестницу, ведущую в верхние покои, Нана постучала в дверь, голос велел войти. Закрыв за собой дверь, она стояла, слегка наклонив голову вперед, ожидая указаний. Князь сидел за письменным столом при свечах, делая вид, что внимательно изучает бумаги, лежавшие перед ним. Некоторое время он не обращал никакого внимания на служанку. Потом, не отрываясь от бумаг, велел принести ему ужин. Через некоторое время ужин был подан и рассервирован на столике у окна. Девушка спросила разрешения удалиться, но князь, обернувшись к ней, улыбнулся. Сердце девушки сжалось, не зная, почему, ей показалась зловещей улыбка князя.

- Подойди поближе, - предложил он ей. Повинуясь, она чувствовала, как в сердце закралось волнение, и оно учащенно забилось. Князь, не сводя с нее глаз, продолжил: - Скоро твоя свадьба, я искренне рад за тебя и немного завидую жениху, - он встал и направился к столику, где стоял ужин. - Мне бы хотелось сделать подарок тебе, но ума не приложу, какой, вот и решил спросить, можно сказать, посоветоваться с тобой, - князь откинулся в кресле и, заложив ногу на ногу, взглянул на девушку.

- Мне ничего не надо, батону, благодарю вас, - чуть слышно пролепетала Нана.

- Разве позволительно отказывать мне в приятной малости, которую я намереваюсь исполнить для тебя?

- Нет, что вы, батону, вы слишком добры к нам, - в голосе девушки появилась дрожь.

Уста Амирана искривились в улыбке, он наклонился к столу, плеснув в серебряный бокал вина, встал. Подойдя к девушке, он с вожделием оглядел ее с ног до головы:

- Я хочу выпить за тебя, за твою красоту, - сказав, он опорожнил бокал.

Нана стояла, опустив глаза, и молчала, дрожь пронизывала все тело. Обтерев уста ладонью, князь, обойдя, встал позади нее так близко, что ощутил тонкий аромат ее юности, и желания, неподконтрольные разуму, готовы были вырваться наружу.

- Я могу сделать для тебя все или сделать все, чтоб не состоялась твоя свадьба, - злобно прошипел он, чуть наклонясь к ней.

Нану отшатнуло от него, она хотела было выбежать из комнаты, но руки князя, выронив бокал, упавший со звоном на пол, подобно клещам, обхватили ее хрупкий стан и сжали. В мгновение ока Нана очутилась на тахте, сверху сидел князь, держа одной рукой ее за горло, а другой пытаясь расстегнуть пуговицы на груди, лицо его было перекошено. Она умоляла, пыталась кричать, но рука, сжимающая горло, не давала крику вырваться наружу. Обезумевший князь повторял одно и то же:

- Право первой ночи, мое право. Мое право, мое.

Собравшись с мыслями и силами, она впились пальцами в лицо пытавшегося изнасиловать ее и, ударив обеими коленями ему в спину, перебросила его через себя. Князь завопил, прикрыв лицо ладонями:

- Стерва! Убью!

Стремглав сбежав по лестнице, Нана выскользнула во двор через кухню, промчавшись мимо задремавшего старика Гоги. За распахнутой калиткой ночь поглотила ее. И только после всего Наной овладел истерический плач. Осенний ветер путал растрепанные волосы. Прикрывая разорванное на груди платье, она бежала, не чувствуя ног.

Гоча целый день развозил товары по лавкам и принимал новые заказы. Дело шло к вечеру. Лавочники убрали товары и закрывались. Гул базара стих, слышна была лишь суета среди торговых рядов. Устроившись под навесами, торговый люд готовился к ночлегу. То тут, то там запылали костры. Днем Гоча встретился с Дато. Обнявшись по-родственному и перекинувшись общими фразами, они решили встретиться вечером у старой крепости, возвышающейся возле базара. Дато спешил по делам, да и у Гочи времени не было - ждали заказчики. Оставив вечером односельчан на постоялом дворе, он направился к месту встречи. Крепость находилась неподалеку. Весь путь он вспоминал, как с покойным Гелой они ходили по узким изогнутым улочкам и с каким интересом он, маль-

чишка, слушал истории и легенды древнего города. Подойдя к старой крепости, он остановился под растущими тремя дубами, где всегда останавливались он и Гела. Вспомнил легенду о трех друзьях, посадивших эти дубы как символ крепкой дружбы, и о красавице, рассорившей друзей и погубившей их. Удивительно, сколько историй знал Гела, и рассказывал их так красочно и увлекательно, что создавалось впечатление, что он сам был тому очевидец.

- Крепость эта очень древняя, - рассказывал Гела маленькому Гоче, - ее зубчатые стены не покорялись никому. Задолго до Святого Рождества ее осадили римские войска под командованием Помпея, но он так и не смог взять штурмом крепость. Осажденные храбро отбивали все атаки. Тогда Помпей решил извести оборонявшихся голодом. Целый месяц враги ожидали падения крепости. Помпей обещал сохранить жизнь каждому сдавшемуся на милость победителю. В ответ была спущена со стены плетеная корзина, наполненная живой рыбой. Так и не покорив крепость, войско отступило. Крепость находилась на берегу трех рек, впадавших одна в другую, и по преданию, в крепости был лаз, через который можно было покинуть ее стены.

От раздумий, наполненных светлой грустью, его отвлек подошедший Дато. Поздоровавшись еще раз, они направились в духан, находившийся неподалеку. Духанщик Мевлуд приходился дальним родственником Дато. Низкого роста, полноватый мужчина средних лет принял гостей радушно. Усадив их за угловой столик, распорядился принести все, что гостям по душе. Дато был в приподнятом настроении, оно и понятно. Он рассказал Гоче, что дом достроен, дела у него идут хорошо, что вчера закончили работу по найму и сегодня получены деньги. Завтра он собирается домой и по пути заедет к ним, повидать Отара и свою возлюбленную. Гоча поблагодарил за инструменты, подаренные ему, но ехать назавтра с ним отказался, так как были еще дела в городе. К живой беседе присоединился Мевлуд, поставив на стол кувшин вина и наполнив стаканы, поднял тост. Гоча учтиво отказался от вина, а в остальном поддержал веселую компанию. Заночевать решили у Мевлуда, другого и быть не могло. Кто на ночь гостей из дома выпроваживает? Люди застыдят.

Прибежав домой, Нана всю ночь рыдала, уткнувшись лицом в подушки и накрывшись одеялом. Ее трясло. Отар, придя домой вечером и не обнаружив дочь, лег спать рано. Наутро ничего не подозревающий отец собирался было на работу. Дочь обычно вставала раньше его и накрывала на стол. Не увидев ни дочери, ни еды на столе, он окликнул ее. Нана отозвалась, но что-то насторожило кузнеца в ее голосе. Не заболела ли, подумал Отар и, подойдя к двери, распахнул ее.

- Что случилось, дочка, здорова ли ты?

В ответ на вопрос отца она разрыдалась, сидя на постели, обхватив руками поджатые ноги и уткнувшись лицом в колени. Отар подошел, взяв за плечи, переспросил встревоженным голосом:

- Что с тобой, дочка?! Что случилось, говори?!

Она подняла на него большие опухшие от слез и бессонницы глаза. Слов не надо было. В глаза бросились бордово-синие потеки на шее и разорванное платье. Отар вскричал с перекошенным от ярости лицом. Глядя на дочь и осмысливая увиденное, он прокричал:

- Кто?! Он?!

Девушка чуть заметно кивнула головой и, спрятав лицо, залилась слезами.

- Сиди и никуда из дома! Поняла?!

Девушка в ответ прокричала:

- Не надо, отец! Ничего не было! Не надо, прошу тебя!

Отари, не взглянув на нее, хлопнув дверью, выбежал во двор. Мысли одна страшней другой жалили его рассудок - жгли душу. То, что он любил, то, в чем видел смысл всей своей жизни, подверглось осквернению. Что могло бы успокоить сердце, втоптанное в грязь, - только смерть. Вложив за пазуху разделочный нож, с холодными, ничего не выражающими глазами и бледным, как смерть, лицом, он торопливым шагом направился к князю.

Амиран лежал на диване с компрессом на лбу. На лице краснели царапины, оставленные Наной. Зная, что неприятностей не избежать, он всю ночь не спал, пил и думал. Под утро в его хитром и лживом уме вырисовался план, оправдывающий его поступок. Для подкрепления своих слов и правоты был подкуплен служивший при княжеском дворе Котэ, прозванный в народе Туча (губа или губошлеп). Низкого роста, худой, чуть сторбленный, с толстыми выпученными губами и хитренькими бегающими глазками, он был

падким на деньги и готовым на любую подлость. Никто не связывался с ним, зная его подлую привычку доносить обо всем князю. Лживый слух уж был распространен им меж прислуги о вчерашнем ночном происшествии. Все охали, покачивая головой, но в глубине души не верили услышанному и ждали развязки, которая не заставила себя долго ждать.

Не разбудив Гочу, спавшего так крепко и сладко, Дато, попрощавшись с хозяином, запрыгнул в седло. Заспанный Мевлуд перекрестил его в дорогу и, закрыв дверь, побрел досыпать, не отрезвев еще от выпитого накануне. Ночь была тихой, редкий лай собак да эхом разлетавшееся цоканье копыт заполнили собой пустоту узких, изогнутых улочек древнего города. Выехав на базарную площадь, он натянул поводья. Фыркая, клацая удилами, конь встал. Дато взглянул на темное затянутое тучами небо и перекрестился. Потянуло холодом с реки. Поправив воротник овечьей тужурки, он пришпорил коня, и тот понес его по столбовой дороге, построенной русскими инженерами не так давно.

Рассвело, когда Дато свернул на проселочную дорогу. Кусты, деревья, растущие по краям дороги, дальние леса и холмы, все было покрыто позолотой осени. Мир, встрепенувшись ото сна, был прекрасен. Неодолимое желание, объяснимое радостью и влюбленностью, прокричать во все горло, промелькнуло в его голове. Он не удержался. Взвизгнув под плетью, конь понесся ветром. Приподнявшись в седле, всадник протяжно прокричал: «Э-э-э-эй!» И эхо понесло его крик по холмам, остывшим, вдохнувшим в себя холод осени. Вот и показались черепичные крыши домов. В воздухе все сильнее ощущался пощипывающий ноздри запах дыма, протапливаемых для выпечки лавашей тоннэ и островато резкий аромат варящейся в чанах чачи. Сердце юноши готово было вырваться наружу, его не покидал образ любимой, и от предвкушения долгожданной встречи мысли кружили голову.

Натянул поводья, конь затоптал на месте. Спрыгнув наземь, накинув на жердину изгороди поводья, поспешил внутрь дома.

Юноша сидел молча, смотрел в пол, нервно пожимал себе колени, выслушав все, что поведала Нана. Встал и холодно спросил:

- Отари давно ушел?

- Не так уж давно, - всхлипывая, ответила девушка.

- Ладно, жди, я сейчас приеду.

Он хотел было выйти, но девушка бросилась ему на шею и, прижавшись к груди, запричитала:

- Не надо, прошу тебя, не надо! Если что случится, я не выдержу, умру!

Дато посмотрел на нее со всей нежностью и грустно улыбнулся:

- Все хорошо, любимая. Не беспокойся. Я поеду за Отаром, не дай Бог, что ему в голову взбредет. Да вот, чуть не забыл, - Дато отвлек внимание девушки. - Я тут подарок тебе привез, - и вынул из внутреннего кармана тужурки сверток. - Иди, положи у себя, чтоб не потерять.

Девушка, взяв подарок, пошла к себе. Юноша быстро проскользнул в комнату ее брата, положив за пазуху оружие и принадлежности к нему, вернулся, как ни в чем не бывало, на место. Нана, выйдя к нему, вопросительно взглянула:

- Обещаешь?

- Обещаю, - кивнул юноша и попытался улыбнуться. - Жди, мы скоро будем.

Она перекрестила его, и он закрыл за собой дверь. Выбежав во двор, вздернув поводья и лихо запрыгнув в седло, юноша сдавил бока коню и хлестнул плетью. Конь, шарахнувшись в сторону, рванул вперед, косясь по сторонам и нервно раздувая ноздри. Как ни странно, внутреннее состояние Дато было спокойным. Хладнокровие - опасная черта характера. Придерживая оружие за пазухой, он мысленно повторял одно и то же: «Надо зарядить. За поворотом... Надо зарядить». По выстеленной булыжниками дороге конь нес его навстречу судьбе, высекая искры из-под копыт.

Отар, ворвавшись в княжеский особняк, нервно огляделся по сторонам.

- Где он!? - хриплым голосом спросил у вышедших к нему навстречу Мераба и кухарки Этери.

Управляющий попытался успокоить кузнеца, но тот, не дождав ответа, отмахнувшись от него, побежал по лестнице. Этери, прикрыв ладонью рот и выпучив округленные глаза, бросилась на кухню. Мераб последовал за кузнецом. Через минуту в при-

хожей толпились женщины, взволнованно шепотом судачили меж собой и вслушивались в доносившиеся сверху голоса. Мераб еще и еще раз пытался вразумить кузнеца. Но тот молча шел по коридору к опочивальне князя. Резко остановившись и обернувшись, Отар ровным холодным голосом выдохнул из себя:

- Мераб, уйди. Оставь меня в покое.

У того аж похолодело внутри. Надо бежать за подмогой, подумал он и спешно направился обратно. Резко рванув на себя дверь, кузнец вошел. Князь, увидев Отара, закричал, решив действовать на опережение:

- Посмотри, что натворила твоя дочь-воровка! Я так это не оставляю! Всех вас, все ваше племя стною! Как смеешь ты, холоп, входить в господские покои!? Вон отсюда! - указал он пальцем на дверь, подойдя к Отару.

Сокрушительный удар в челюсть сбил князя с ног. Прав был покойный князь, сказав: «И у благородного корня бывают гнилые плоды». Отар достал из-за пояса нож. Держась за челюсть, лежа на полу, князь пытался позвать на помощь, но вывихнутая скула не позволяла сделать этого.

- Молись, тварь, - наклонившись к нему, взяв одной рукой за ворот, прошептал Отар, прижав его к себе.

Сжимая рукоять ножа, занес его над князем... и в тот же момент удар сзади по голове лишил кузнеца чувств. Нож выскользнул из ослабевшей руки, и он с грохотом рухнул на пол. Искривив толстые губы в ехидной улыбке, обнажив гнилые зубы, Котэ обратился к хозяину:

- Все кончено, батоно. С вами все в порядке?

Побледневшее от страха лицо князя тряслось. Взгляд выражал безумие и непонимание, перед глазами маячила отвратительная, но вовремя выскочившая из-за шторы фигура Котэ. Отара без чувств выволокли во двор мужики, прибежавшие с Мерабом. Привязав его меж двух столбов, окатили водой. Отар закричал. Отяжелевшая голова раскалывалась. Подняв глаза, он окинул презрительным взглядом князя и его приспешников. Амиран, держась за скулу, плюнул ему в лицо. Отар усмехнулся. В ушах, не переставая, звенело. Он не мог разобрать, о чем так истерично кричал князь, но понял, когда подошедший к нему мужик ударил поддых. Дыхание перехватило. Сморщившись, подкашливая, он обмяк. Пощечины привели кузнеца в чувство. Пошатывая головой, отяжелевшим взглядом он смотрел на столпившийся чуть в отдалении народ и разглядел в нем сочувствие. Князь, похаживая взад-вперед, изливая грязь на семью кузнеца, сотрясал воздух угрозами. Котэ утвердительно кивал головой и ехидно улыбался, поглядывая на Отара. Мераб, потупив взор, был хмур.

Дато, зарядив оружие по дороге и сунув его за пояс, прискакал к воротам усадьбы. Резко дернув на себя поводья, конь встал на дыбы, издав приглушенное, гортанное ржание. Выпрыгнув из седла, одернув края тужурки, поправив папаху, юноша спешно проследовал во двор. Столпившиеся в глубине двора не заметили вошедшего юношу. Не успел, подумал он, направившись к стоящим спиной людям. Все были заняты обсуждением меж собой увиденного. «Господи, прости. Не дай мне дрогнуть в свершении справедливого возмездия, избавь разум и сердце от сомнений. В руки твои вверю я судьбу свою», - прошептал Дато и перекрестился, подходя к стоящим:

- Что произошло, уважаемые? - спросил он.

Обернувшиеся на вопрос люди непонимающе пооткрывали рты.

- Давид, Давид, - зашептали уста, и народ стал расступаться.

Он твердой поступью прошел меж расступившимися людьми. Увидев растянутого меж столбов Отара, сжал кулаки.

- Кто это там такой? - невнятно произнес князь, все еще держась за скулу.

- Давид я, сын Важи, - гордо ответил юноша, достав оружие и выстрелив в князя. Грохот оглушил присутствующих и от неожиданного поворота событий вверх их в минутное оцепенение. Женщины заголосили:

- Убили! Убили!

Все вокруг закружилось, загудело. Князь успел чуть развернуться боком к стрелявшему. Пуля раздробила плечевой сустав. Лежа на земле, истекая кровью, он истерично кричал от боли. Котэ от страха на карачках заполз в кусты облепихи. Воспользовавшись замешательством, Дато подбежал к Отару и, срезав веревки, подхватил его.

- Спасибо, сынок, - выдавил из себя кузнец.

- Да ладно, пора спешить.

Не успел он сказать это, как удар по спине и затылку чем-то тяжелым сбил юношу с ног, и они оба упали. Удары посыпались со всех сторон. Отар прикрыв собой юношу, потерявшего сознание. Последнее, что слышал кузнец, - крик Мераба:

- Хватит! Хватит, я вам говорю! В глазах помутнело, и сознание покинуло кузнеца.

Весть о происшествии в имении Мачабели разлетелась и расползлась во все стороны. О случившемся не судачил лишь ленивый. Затаив дыхание, все ждали развязки. Старики не спешили делать выводы, понимая Отара и юношу. Женские же уста переполнялись сплетнями, доходившими до абсурда и безграничной глупости. Мужчины отмахивались от них со словами:

- Что их слушать, недаром сказано: волос длинный, ум короткий.

Князь шел на поправку, но страх не покидал его. Ведь никто не знал, где находится Гоча и что было у него на уме. Разосланные князем люди не напали на след юноши, но приносили тревожные слухи, мол, Гоча подался в абреки и якобы видели его. Князя мучили кошмары, часто, просыпаясь по ночам в липком поту, он кричал. Один и тот же сон преследовал перепуганного до основания Амираана, как Гоча влезает через окно в покои и смотрит на него холодным, неживым взглядом.

Приехавший из города представитель властей был подкуплен. В спешном порядке проведено дознание. Приглашенная из соседнего селения повитуха, осмотрев Нану, не обнаружила следов порчи, и, ссылаясь на лжесвидетельство Котэ, обвинения в воровстве, выдвинутые князем, посчитали обоснованными. Нану ждала темница, но, не выдержав всего случившегося, бедняжка тронулась рассудком. Важа, чье сердце было обожжено горем, приютил Нану в своей семье. Но вскоре она наложилась на себя руки, затянув на шею петлю. Отарий и Дато были осуждены на пожизненную каторгу. Закованных в кандалы, их угнали на север во Владикавказ. Больше о них никто и никогда не слышал.

Возвращавшийся домой Гоча был встречен отцом Симоне. Не рассказав конкретно о случившемся, но поведав о грозящей опасности, тот посоветовал юноше скрыться в хижине рыбака на том берегу Куры. Вот уже третьи сутки он ждал вестей, раздираемый догадками и предположениями. Ожидание и неизвестность - худшее, что может быть в такой ситуации. Ночами, не смыкая глаз, он бродил из угла в угол, кусок не лез в рот, вода не утоляла жажду. За эти дни бессонница и душевные терзания извели юношу. Под глазами очертились синеватые круги, лицо посерело, щеки впали, и казалось, что вот-вот жизнь покинет его. Спасением от безысходности и отчаяния была молитва. С потрескавшимися и пересохшими устами, стоя на коленях, он всецело отдавал себя в руки Господу и не замечал, как, обессиленный, лишился чувств. К концу четвертого дня дверь распахнулась, на пороге стоял старец. Не говоря лишнего, он велел спешно собраться, так как дорога предстояла долгая. Гоча лишь раз попытался завести разговор, но старец с присущей ему мудростью уклонился от ответа:

- Всему свое время, сын мой. Сказано: терпите и воздастся вам.

Дорога заняла целые сутки. На исходе второго дня они добрались до горного селения Джевари (крест). Настоятелем местной церкви был отец Иаков, знали они с отцом Симоне еще с юности. Старец часто рассказывал юноше о духовных подвигах отца Иакова как о примере стойкости и непоколебимости веры. Отец Иаков был роста среднего, с длинной белоснежной бородой и такими же волосами, ниспадавшими на худые постнические плечи. Водили старца под руки, так как он был ослеплен. Давно это случилось. Когда ворвавшиеся в храм турки приказали всем покинуть его, старец, не обращая внимания, продолжал читать молитву. Обезумев от такой дерзости, его выволокли во двор и при всем скоплении народа, поставив на колени, выжгли глаза. Издеваясь над церковнослужителем, ему бросили молитвенник и со смехом спросили:

- Как теперь ты будешь читать, несчастный?

Тот поцеловал святую книгу, перекрестился, открыв молитвенник, стал читать его наизусть. По постническому лицу текли кровавые слезы. Народ, став на колени, запел псалмы. Многие тогда лишились жизни, но не духа и веры. Старец был брошен в темницу. Смерть для него была легким наказанием. Его решили сломать для назидания другим. Но промысел божий спас угодника. Дожди, шедшие неделю, вымыли почву под основанием крепостной стены. Дав трещину, стена рухнула. Старец и несколько заключенных бежали в горы. Там он и жил с той поры, и устам его глаголящим внимал с почтением народ.

Дорога и душевные терзания обессилили юношу. Не дотронувшись до пищи, он лег спать. Всю ночь старцы бодрствовали. Рассказав о беде, которая постигла юношу, и о намерениях своих, отец Симоне искал понимания и поддержки у слепого старца, и тот, благословляя, согласился оставить у себя юношу. После утренней молитвы, выслушав все, что поведал ему отец Симоне, Гоча, не сдерживая чувств, рыдал. Отец Симоне не пытался успокаивать его, понимал, что слезы облегчают душу. Целый день его не беспокоили, к вечеру старец попытался завести разговор, но юноша был глух к устам, обращенным к нему. Казалось, жизнь была вырвана из его тела. Пустые глаза смотрели в потолок, он лежал неподвижно, бледное лицо казалось мраморным, неживым. Всю ночь и последующий день он так и пролежал. С наступлением ночи, когда все давно спали, в его опустошенную душу стало прокрадываться странное чувство, мысли обострились, взгляд стал колким. Юноша встал с постели, зачерпнув воды ковшом из ведра, жадными глотками осушил его. Распахнув двери, вышел во двор. Ночь была темной, небо затянуло тучами. Холодный северный ветер обдал юношу, приведя его в чувства. Он вздрогнул. Решено, подумал он, надо смыть позор и отомстить за поруганную честь сестры, за отца и Дато. Кровь закипела в жилах от пламени мести. Не зная, что делать, до этого, мечь указала ему смысл дальнейшей жизни.

Изменения в нем не ускользнули от прозорливых глаз. Немало труда потребовалось старцам, чтоб исцелить душу и разум, отравленные плодами гордыни, ненависти и себялюбия. Мечь, подобно змее, извивалась в нем и жалила кровоточащее сердце. Самолюбие устами горделивыми опутывало разум. Но сказано в писании: «За смертью не останется последнего слова». Сила молитвы рассеяла в душе юноши мрак, а любовь к Господу исцелила в нем язвы душевные. Силами праведными были изгнаны желания бесовские, и жизнь в нем восторжествовала. «Ибо пребывающий в любви, в Боге пребывает». Оба старца благодарили Господа и радовались исцелению души его. Пребывая в смиренности и в молитвах, он черпал в проповедях старцев мудрость и ею же укреплял дух.

Так пролетела неделя. Отцу Симоне пора было возвращаться, звали дела, требовавшие безотлагательного решения. Помолившись перед дорогой, с первыми лучами осеннего солнца отец Симоне отправился в путь.

Прихожане поведали ему обо всем, что произошло в его отсутствие. Оставшись в одиночестве, он молился, вымаливая прощение у Господа для падшей души князя Амирана за невинно погубленные им жизни. На следующий день старец посетил князя, имея серьезный разговор к нему. С перебинтованной рукой, покоившейся на повязке, князь сидел в кресле, закинув ноги на табурет, он бессмысленным взором смотрел на пламя в камине. Подле него, подобно шакалу, прислуживал Котэ. Подливая в бокал вина, рассказывал хозяину последние слухи, бурлящие на устах. Вошедшая служанка объявила о визите отца Симоне, лицо князя искривилось недовольством, но что поделать, пришлось принять старца вопреки желанию. Котэ прошмыгнул в соседнюю комнату, оставив незакрытой дверь. Князь с присущим притворством изобразил на лице радушие, видя в своих чертогах отца Симоне.

- Прошу тебя, святой отец, проходи, присядь, отдохни с дороги.

Во всей этой наигранности сквозили лукавство и суета. Старец, опершись на посох, молча смотрел на князя. Тот прятал глаза, не желая встретить взгляд, который пронзал его черное сердце и обнажал подлую сущность.

- Сядь и слушай меня, - ровным голосом, не выражающим ни одной эмоции, начал было старец. - Кому, как не мне, знать твою подлую натуру... - князь попытался вставить возражения, но старец не дал. - Не мне судить тебя, но предостеречь от грехопадения я обязан. Знаю, что ты ищешь Гочу и желаешь гибели его. Так знай, я не позволю тебе погубить невинную душу. Ты сейчас же пообещаешь отказаться от этой затеи, в противном случае я предам тебя анафеме и буду свидетельствовать против тебя. Ты знаешь, чьим устам внемлет духовенство? - отец Симоне был почитаем среди духовенства, уста старца не раз обличали в проповедях нечестивых мира сего, и князь, зная это, затрясся. - Пообещай мне, и я буду молить Господа о прощении твоих грехов, - старец тяжело вздохнул. - Про юношу ты более не услышишь, и мести с его стороны не опасайся. Хотя ты знаешь, чего заслуживает твой поступок.

Старец пристально взглянул на князя, бледное лицо и бегающие глаза которого выдала обеспокоенность. Было видно, он судорожно искал правильного решения, и от этого у него задергалось левое веко.

- Если я дам клятву, могу ли я быть уверен...

- Можешь, - сухо прервал старец.

Князь нервно заходил по комнате.

- Ну, хорошо, я клянусь оставить его в покое, - шн вдруг обернулся и осмелился взглянуть старцу в глаза. - Клянусь! Клянусь! - нервно повысив голос, повторил он.

- Хорошо, - спокойно ответил отец Симоне, - в подтверждение твоей клятвы завтра пришлешь мне бумагу с изложенным на ней текстом и за подписью твоей. И помни, всему этому Бог свидетель! - подняв вверх указательный перст, леденящим голосом промолвил старец и, шурша рясой, спешно удалился.

Князь рухнул в кресло, силы, казалось, покинули его. От напряжения заныла рана, он застонал. Появившийся из соседней комнаты Котэ стоял перед князем полусогнутый и ждал указаний.

- Ты все слышал? - простонал князь.

- Да, батоно, все.

- Ты должен все равно выследить Гочу. Мало ли что у него на уме.

- Не беспокойтесь, батоно, все будет исполнено.

- Ладно, оставь меня, - устало прокряхтел князь и закрыл глаза. Котэ бесшумно, как змея, выскользнул за дверь.

Получив от князя письменное подтверждение, отец Симоне написал письмо настоятелю Свято-Троицкого мужского монастыря, где изложил всю суть своей просьбы и поведал о несчастьях, постигших благочестивое семейство кузнеца. Настоятель монастыря отец Иоанн в миру был молочным братом отцу Симоне. Став братьями во Христе и пройдя испытания, какие им были ниспосланы небом, укрепив дух в вере и любви, они более шестидесяти лет несли пасторский крест, спасая от несправедливости и гонений страждущих и немощных чад православной апостольской церкви, утешая их в скорбях и обращая падших к истинной вере Христовой.

Через неделю отец Симоне получил письмо от настоятеля монастыря, тот благоволил к просьбе старца и благословил намерения юноши посвятить жизнь свою Господу, приняв постриг. А через месяц Гоча переступил порог святой обители, приняв постриг под именем Иовы, в честь ветхозаветного благочестивого мужа, чью любовь и веру испытал Господь, приведя его житие в упадок и наполнив его страданиями. Послушание брат Иова проходил в монастырских кузницах, где с раннего утра с молитвой начинал свой труд и с ней же поздно вечером заканчивал день. Духовником к нему был приставлен монах Феофил. Старый грек был низкого роста с длинной до пояса седой бородой, с тонкими правильными чертами и глазами, казавшимися покрытыми пеленой. Прибыв в Грузию с Афона, монах Феофил, дав обед молчания, пять лет не покидал скита. Живя в затворничестве все это время, соблюдал строгий пост, молился и плакал, очищая душу молитвой и слезами. У глаз виднелись темноватые борозды, образовавшиеся, по-видимому, от избытка слез, разъевших кожу. От долгого времени, проведенного в темноте при свечах, зрение его ослабло, и Феофилу приходилось щуриться, от всего этого схимнический вид его излучал свет непорочной чистоты, присущий, как казалось Иове, только святым и младенцам. Сердце при встрече со старцем Феофилом наполнялось смиренным покоем, радостью и любовью. Под конец земной жизни, не взирая на немощи, Феофил уйдет в долгожданное паломничество, чтоб провести остаток дней своих в молитвах у гроба Господня, но этому суждено будет быть не раньше, чем на то будет воля Господа. Ну, а пока духовник обучал брата Иову укладу и быту монашеской жизни. Читал ему труды греческих философов, дискутировал об учениях восточных мудрецов, прививал любовь к античной поэзии. Но оставшись один со своими мыслями, юноша все же ощущал глухую боль, пульсирующую в глубине души, и рубцы, затянувшиеся на сердце, казалось, начинали кровоточить. Мысли, наполненные горечью, пытались просочиться в его душу, и из темных глубин доносился голос, призывающий его к отмщению. Находясь в таких душевных терзаниях, он ночами затворялся в кузнице, и до самого утра слышны были звон наковальни и удары молота. Тяжелый труд и молитва освобождали мысли и душу от пагубных чувств. Всю ночь, заливаясь потом, он выковывал кинжалы, отполировав и наточив их, падал на колени и молился, после всего смиренно перековывал клинки на орудия труда. В этом находя спасение, он исцелял душу, и труды его были вознаграждены.

Шло время, в отросшую бороду Иовы стала вплетаться седина. Морщины покрыли лицо, а глаза, преисполненные скорби, излучали всепрощающий свет любви и сострадания. Река времени унесла в прошлое и растворила в нем все былые чаяния и страдания



грузинского народа. Грузию было не узнать. Хотя еще были набеги с персидской стороны, но они не несли в себе той угрозы, от которой некогда была спасена Грузия. Давно ушли из жизни те, кого так любило сердце Иовы, и те, кого простило оно. Отец Симоне и отец Яков прожили долгую праведную жизнь и были погребены у стен своих обителей. Монах Иова почтил их надгробие своим присутствием и не забывал их в молитвах. Вот уже двадцать лет минуло, как Феофил покинул стены монастырские и ушел в паломничество, там он и нашел свой покой на древнем православном кладбище у стен храма Пресвятой Богородицы. Незадолго до затворничества скит, где Иова провел шесть лет в одиночестве и молитвах, почтил настоятель монастыря отец Иоанн. Наместником был избран отец Илия, с благословения которого монах Иова вот уже шестнадцать лет покидал стены святой обители накануне Великого поста.

Что же касается князя Амираана, то он был убит старшим братом Дато. Месть настигла его на охоте. Коба, так звали старшего сына Важи, обещал отцу не трогать негодяя, но после смерти родителя он посчитал себя освобожденным от клятвы. Похоронив жену и ребенка, Коба ушел в абреки, горы стали его вотчиной, и имя его порождало страх. Котэ, сколь хитер ни был, но тоже нашел свое, с перерезанным горлом он был найден на берегу Лиавхи.

В родном селении Иовы все изменилось до неузнаваемости. Дом, где некогда жила семья кузнеца, был разрушен. История семьи его обросла легендами и разного рода слухами. Никто так и не знал, куда подевался сын Отара. Многие считали его мертвым. Посланные некогда князем люди не смогли отыскать юношу. Отец Симоне предусмотрительно запутал следы и распустил слух через третьих лиц о гибели Гочи. Ложь во спасение не грех, а форма добродетели.

Усадьба Мачабели ничуть не изменилась с той поры, когда монах видел ее последний раз. У убиенного князя рос сын, названный в честь деда Афтондилом. Все отзывались о нем как о добром и умном юноше. Слава Богу, благородные корни Мачабели породили достойный плод. Все, что могло напомнить монаху о прошлом, - это выкованные им и отцом ворота. Посещая церковь Святого Рождества, где монах вот уже 16 лет встречал светлый праздник Пасхи, он часами мог любоваться воротами, которые помнили прикосновение рук близких ему людей. Отец Симоне рассказал ему, почему важно было для покойного князя исполнение его последней воли. Дело в том, что церковь построена родом Мачабели, ворота на ней с изображением родового герба были изломаны турками, а церковь осквернена. Защищая свое родовое гнездо, дед покойного князя Автондила был предан мученической смерти; привязанный к воротам, он был сожжен, а настоятелем в то время был молодой отец Иосиф, которому персы отсекли руки, дабы священник не созывал колоколом православных на молитву. Долгое время церковь стояла в развалинах, в память о мучениках князь поклялся восстановить святую обитель в ее первоначальном виде, и слово, данное перед Богом, сдержал.

Нет ничего прекрасней гор. Залитые солнцем высокогорные луга, бархатисто зеленющие склоны, на которых, словно жемчужной россыпью, пасутся отары овец, вечно заснеженные вершины, цепляющиеся за пряди облаков, порывистое дыхание ветров раскачивает колыбель не опороченной и не покорившейся человеку природы. Туманы, подобно молочным рекам, разлиты по ущельям, и среди всего этого доносится остужающее кипение реки. Внезапный грохот сорвавшегося камнепада из-под копыт перепуганного архара и пронзительно протяжный крик парящего в облаках орла дополняют собой симфонию векового молчания. Ощущение зарождающейся свободы при этом пьянит. Неподдающееся осмыслению чувство свободы от всего того, что делает человека рабом, освобождает от страха быть вольным. Одиночество, некогда пугающее и колющее изнутри, становится елеем, исцеляющим душу и мысли. С наступлением ночи небосвод, усеянный звездами, особенно низок. Кажется, заберись на вершину, и рукой достанешь до звезд, и часто ночной эфир пронизывают стрелы сорвавшихся светил, и откуда-то издалека доносится заунывный вой шакала, переплетаемый ароматами благоухающих склонов. И вот в какой-то миг ласкающий поток ветра перерождается в шквал. За считанные мгновения ночное небо заволакивают тучи, наползающие с запада. Устрашающую темноту пронзают сотни молний, раскаты грома, эхом разлетевшиеся по ущельям, сотрясают горы. В мерцающем отблеске вершины словно оживают. Сорвавшиеся с небес крупные капли дождя вонзаются в могучую грудь склонов. Тысячи струек, переплетаясь меж собой, взрыхлив высохшую почву, объединившись в бурлящие потоки, несутся с грохотом навстречу родственным объятиям рек. Наутро не остается и следа от

всего того, что порождало страх перед лицом разыгравшейся стихии. Солнце слепит глаза, а по склонам в тенистую прохладу ущелий сползает туман. За сотни верст видны величественные заснеженные вершины Кавказа.

Подходил к концу сентябрь. Щедро по склонам и по ущельям расплескала пестрые краски осень. В это время погода в горах капризна и за какие-то несколько часов может кардинально перемениться. Горы все чаще заволакивают густые туманы. Дни еще пока стоят теплые, но ночами все сильнее ощущается колющее дыхание заснеженных хребтов. Отары, рассыпанные по склонам и лугам, стекаются воедино. Время выпаса подошло к концу. Пастухи, подсчитывая итоги семимесячных странствий, готовятся к последнему перегону. Настроение у всех приподнятое. Ночные разговоры протекают у костра, в медных чанах томится хашлама (похлебка из баранины), пропахшая дымком и нагоняющая аппетит изобилием пряностей. Живой разговор под разлитие хмеля наполнен восклицаниями и смехом. Лежащие вокруг собаки рычат, обгладывая кости, доставшиеся со стола. Туманную ночь пронизывает одинокий вой рыщущего по ущельям и склонам хищника.

Подошло к концу отшельничество монаха Иовы. Перед уходом он всю ночь бодрствовал, проведя ее в молитвах. Святая обитель располагалась в одной из пещер, вход в которую был выложен из камня. Высеченный над входом прямо в скале крест при ясной погоде виден был издали. Три пещеры были связаны меж собой узкими проходами, уникальное творение рук человеческих. Центральная пещера служила местом молитв, это было видно по истертым от времени изображениям настенной росписи и высеченным в камне многочисленным крестам. В глубине располагался алтарь, в центре которого лежал огромный валун четырехугольной формы, грани его были расположены по частям света, а сверху по углам виднелись кресты. Над полированной поверхностью по кругу была высечена надпись из святого писания на греческом языке: «Камень, некогда отвергнутый строителями, ляжет во главу угла».

Все это время пребывая в горах, изредка спускаясь к стойбищу пастухов, Иова укреплял дух и веру свою перед принятием важного решения, которое должно было полностью освободить его от того, что еще связывало с прошлым. Он пришел к осмыслению того, что все эти годы паломничество в горы было лишь поводом, скрывающим иные желания, которые все это время жили и порождали в нем сомнения. Все это время он ощущал вину, в нем тлел огонек, раздуваемый воспоминаниями, и, преодолевая чувства, Иова тушил его силой молитвы, но тот лишь уменьшался, но не тух. Монах ощущал себя обломком прежней жизни, края которого по-прежнему были остры, подобно кинжалу, наточенному для мести. Он осознал, что стоя у надгробий близких ему людей и молясь - все это было от лукавого, так как, стремясь каждый год в родные места, он подпитывал тлеющее в себе чувство, подобно лампаде, куда подливают масло для поддержания благодатного огня. Одиночество, молитвы и борьба в глубине души сорвали пелену, окутавшую сознание, и представшее перед ним все прожитое испугало его. Неужели все это время, молясь Господу, он прислуживал иным чувствам? Теперь, с осознанием этого, ему по-новому открылась вся глубина слов, сказанных Христом апостолам своим: «Следуйте за мной, и я научу вас быть свободными». Господь указал ему путь, прозрели ослепшие очи его, и от осмысления открывшегося ему он ощутил в себе твердость, приняв решение о затворничестве до конца дней своих, и это не истязало душу, но наполняло покоем обретаемого мира с самим собой.

Утро выдалось пасмурным. Монаху предстоял долгий путь. Спускаясь по крутым каменистым тропам, он намеревался засветло достичь стойбища пастухов. Постническое лицо и глаза старца выдавали усталость. Опираясь на посох, он медленно преодолевал расстояния, то и дело останавливаясь для отдыха. Дело шло к вечеру, сумерки стали стучаться, когда до монаха донеслись отдаленный лай пастушьих собак и блеяние овец.

- Слава Богу, - монах перекрестился и чуть прибавил шагу. В порывах ветра все сильнее ощущались запахи пребывания человека в горах. Он почти дошел, когда все вокруг поглотила тьма.

Полыхающие языки костров, извлекаемая из дудука, пропитанная грустью мелодия, захмелевшее пение пастухов, сонное блеяние овец, лай собак и легкий звон колокольчиков, висящих на шеях у пасущихся лошадей, облегчают душу у застигнутого ночью в горах путника. Собаки встревожено залаяли в темноту, почуяв присутствие чужого. Раздался громкий, хрипловатый голос одного из сидящих у костра пастуха:

- Кто там? Отзовись!

- Мир вам и благоденствие, христиане! - послышался голос из темноты.

- Отец Иова, - пролепетали уста пастухов.

- Ну-ка тише! - прикрикнул кто-то на лающих и оцетинившихся собак. Те послушно прилегли, но все же рычали, тревожно вглядываясь в темноту.

И вот из мрака вышел старец, в черной, как ночь, рясе, с белоснежной густой бородой, голову покрывал капюшон с вышитым впереди серебряной нитью крестом. Держа в правой руке посох, монах левой рукой придерживал перекинутый через плечо ремень от сумы, в которой лежали святые книги и кое-что из одеяния. Сидевшие вокруг костра пастухи встали и, перекрестившись, поклонились ему. Юноша, подбежавший к монаху, предложил свою помощь. Взвалив на себя тяжесть монашеской ноши, он провел старца к костру.

Пастухи засуетились при виде неожиданного, но очень близкого сердцу гостя. Стали предлагать все, чем был богат их походный стол. Путник учтиво отказался от угощений и поблагодарил их за радушное гостеприимство, лишь отломил кусочек выпеченной на углях лепешки и, обмакнув его в вино, благословил сей хлеб насущный, добываемый трудом богоугодным. Разузнав, на какое стойбище будет сгонять свои отары пастух Молхаз, старец с позволения радушных хозяев изъявил желание отдохнуть. Наутро его обещали довести до стойбища, именуемого у пастухов Клыкком.

Клыкком называлась одинокая скала, возвышающаяся над изумрудной поверхностью высокогорных лугов. Чуть изогнутый и заостренный кверху, Клык казался исполином, распоровшим бархатистую гладь и вырвавшимся из недр земли. Скала была окутана легендами и суевериями, охотно передаваемыми стариками. Нерукотворное изваяние с тремя явно выраженными гранями было значительной высоты, а чтоб обойти его вокруг, уходило не меньше четверти часа, и потому среди бескрайней зеленеющей пустоты оно казалось неестественным, приковывало взгляд и наводило на размышления о непостижимости творений небесного скульптора. Отдавая дань языческому прошлому, пастухи приносили к подножью скалы жертву, обязательно двух ягнят черной и белой расцветки. Перед закланием их обводили вокруг скалы, белого справа налево, а черного напротив. Никто точно не знал, почему все должно происходить именно так, но дошедший из глубины веков ритуал соблюдался. Туши принесенных в жертву сжигались на костре, непременно с западной стороны. Одна из легенд гласит, что скала является последним пристанищем орлов. Незадолго до смерти, согласно еще одной легенде, гордая птица, почуввав свой конец, поселяется на вершине Клыка, чтобы в последний раз, расправив крылья навстречу попутному ветру, воспарить, но, растерявшая от времени перья и силы, она срывается камнем вниз. Красивая смерть, достойная пера стихотворца.

С восточной стороны у подножья Клыка из камня был выложен кохи (пастушья хижина) со сплетенной из веток кровлей, покрытой соломой, там было все необходимое для отдыха усталого путника: стол, стоящий в центре, вокруг него лавки, а вдоль стен топчаны, устеленные соломой и овечьими шкурами. У входа справа было место для очага, а слева в углублении стены на полках стояли глиняные горшки с солью, мукой и завяленным мясом и обязательно кувшинчик со сливовой или айвовой чачей, мало ли что в горах случается.

Утро выдалось дождливым, но сменившийся ветер разогнал тучи, и к полудню на небосводе засияло солнце. Вдалеке показался Клык. Юноша по имени Гиви, сопровождавший монаха, обернувшись и не скрывая радости, воскликнул:

- Клык, отец Иова! Почти приехали. Разрешите, я поскачу вперед, предупреджу о вашем приезде.

- Да хранит тебя Господь. Ступай, - перекрестив юношу, одобрительно кивнул монах. Тот, взмахнув плетью, пришпорил жеребца. Лошадь, на которой восседал монах, наострила уши, встряхнув гривой и заклацав удилами, поковыляла следом за жеребцом, понесшимся, подобно ветру.

К вечеру погода опять сменилась. Западный ветер затянул небо тучами. Монах сидел на топчане, перебирая пальцами четки, молчал. Юноша суетился у очага, напевая себе под нос веселенькую песню. Пастухи Хареб и Ваню накрывали на стол и о чем-то меж собой вели беседу. Молхаза у Клыка не оказалось, его ждали только лишь на следующий день. Перегон огромного числа овец сопряжен с трудностями, тем более, погода усложняла пастухам это дело.

- Да, по всему видно, быть дождю, - как бы обращаясь ко всем присутствующим, промолвил Хареб.

- Ничего удивительного, на дворе осень, - вставил свое мнение юноша, сидя на корточках у очага и протянув к нему ладони. Монах молча кивнул головой в знак вежливости, но сам был занят своими мыслями.

- Ну, вот, прощу к столу. Ну- ка, Гиви, посмотри, как там наша хашлама? - обратился Хареб к юноше.

- Еще немного, и все будет готово, - сняв крышку с чана, висящего на огне, и помещивая блюдо деревянным черпаком, ответил тот.

Пастушья хижина наполнилась ароматом баранины, приготовляемой в пряностях и душистой зелени. На столе в глиняных тарелках было разложено: овечий сыр, аджика, ткемали. В центре стола - подрумянившиеся лепешки, накрытые льняной тканью, и кувшин с чачей с приставленными к нему глиняными стаканчиками. Монах благословил трапезу, и все уселись за стол. Юноша, разложив по тарелкам куски аппетитной баранины, стал поливать их отваром. Блюда задымились, нагоняя аппетит. Зажурчал кувшин, разливая хмельную влагу, монах жестом руки отказался от питья. Юноше плеснули на доньшко стакана символический глоток, дань уважения традициям, благодарение Господа за благополучное завершение выпаса. Монах переложил свой кусок мяса в тарелку юноше со словами:

- Высохший и потрескавшийся кувшин не наполняется до краев влагой, ибо трещины разрушат его. Мне достаточно немного похлевать отвара, а ты ешь, молодость нуждается в силе.

Гиви, улетая за обе щеки, кивком поблагодарил старца. Хмель разогнал кровь по жилам, и голоса стали теплей и звонче, а тосты все красноречивее. Со двора послышались топот копыт и ржание лошадей. Лежавшая у порога собака вскочила с места и зарычала.

- Ну-ка, на место, Куша! - прикрикнул на собаку Хареб. Та послушно, опустив морду, подошла к столу и улеглась у ног хозяина. - Кого нам на ночь глядя Господь послал? - протирая седые усы и бороду, прохрипел Хареб.

- Кто бы ни был, а всяко человек, ходящий под Богом, - не отрываясь от еды, на ломанном грузинском языке, с непривычной для слуха интонацией, ответил Ваню.

Монах чуть заметно улыбнулся, наклонив голову, чтоб не смутить сидящего рядом мужчину. Он, как увидел Ваню, сразу заметил, что тот не походил внешностью на грузина, а грузинский язык в его устах обретал неповторимую мягкость и вызывал улыбку, как вызывает улыбку ребенок, начинающий говорить свои первые слова. Расспросить у Ваню, откуда он и как сюда попал, монаху не представилось удобного случая, да и лезть со своими расспросами в душу человеку не совсем учтиво. Ваню был мужчиной зрелым. С ярко-синими глазами, темно-русой косматой бородой, которую уже подернула седина, такого же цвета была копна волос на голове. Он был крепок, выше среднего роста, широк в плечах, но добродушно загоревшее лицо говорило о мягкости его характера.

Со скрипом распахнулась дверь, обитая изнутри овечьими шкурами, и из темноты через порог шагнул мужчина, а следом другой.

- Како, генацвале! - выйдя из-за стола навстречу вошедшим мужчинам, воскликнул Хареб, разведя в стороны руки.

- Здравствуй, дорогой, рад видеть тебя в добром здравии, - Како поприветствовал пастуха в ответ, и мужчины заключили друг друга в теплые, крепкие объятия.

Абрек стянул с себя папаху, стряхнув ее, поприветствовал присутствующих. Подойдя к монаху, перекрестившись и сложив ладони перед собой, принял благословение. Зелем, прислонив оружие к стене, окинув всех острым взглядом, кивнул головой в знак приветствия. Скинув бурку, абреки прошли к столу. Было далеко за полночь. Юноша сидел у очага, подбрасывая хворост в огонь. Треск трепещущего пламени и сытый ужин клонили ко сну, но любопытство, с каким он слушал разговор старших, не давало сомкнуть веки, казавшиеся ему свинцовыми. Когда еще придется увидеть абреков, молва о которых шагнула далеко за заснеженные перевалы. Ей-Богу, не поверят, Расскажи приятелям об увиденном и услышанном мной этой ночью, думал Гиви, представляя взгляды и пытливые расспросы сверстников.

Зелем, укрывшись буркой, давно спал, по привычке сжимая рукоять бебута (кинжал). В центре стола горел светильник, язычок пламени время от времени вздрагивал от просочившегося сквозь щели порыва ветра. Хареб попросил у Како рассказать историю о волке, которого он спас на совете старейшин. Тот не любил распространяться о себе, считая недопустимым для мужчины проявлять хоть какой-либо намек на склонность потешить свое самолюбие сладким хвастовством. Рассказана история была в общих чер-

тах, без каких-либо прикрас. Волк был им отпущен за перевалом в Джавахети, откуда абреки держали путь.

- Не успели мы скрыться за перевалом, как слух об этой истории облетел все Картли, оживив уста, - с улыбкой закончил рассказ Како.

- Ты ведь знаешь, дорогой, слухи и эхо в горах быстрее голубя, - усмехнулся Хареб. Ваню положил локти на стол, потирая ладони, кивнул головой:

- Так оно и есть, - прищуренные глаза его то и дело смыкались, хмель и усталость брали свое, но он, проведя ладонями по лицу, все ж бодрствовал.

На дворе моросил дождь, ветер погнал дождевые тучи на юго-восток, и сквозь разорванную небесную парчу вскоре проклюнулись звезды. «Никогда не загадывай в горах, что будет, лишь почитай то, что было до тебя», - поговаривают старики. Монах, перебирая четки, выслушав краткий рассказ, обратился к абреку:

- Сын мой, волк, о котором ты поведал нам, по описанию похож на того, с кем мне привелось встретиться в ущелье у высохшего ручья. Скажи, не было ли у волка характерного шрама в виде рогатины на левой верхней губе?

- Истина ваша, святой отец, был шрам. А как вам привелось встретиться с ним?

Все с любопытством взглянули на монаха, ожидая интересного рассказа. Гиви, почти что дремавший, встрепенулся, не желая пропустить мимо ушей все подробности этой истории. Борясь со сном, он то и дело выходил во двор, чтоб остудить глаза, воспаленные сном и усталостью.

- Ничего интересного я вам не поведаю, - неторопливо, размеренно начал монах свое повествование. - Я возвращался с нижнего стойбища вверх по ущелью. День был жаркий, а путь не близкий. Решил я отдохнуть у родника, ну, у того, что пробивается под кроной дикого орешника, вы поняли, где это, - мужчины утвердительно кивнули в ответ. - Ну, вот, утолив жажду, омыв лицо и руки, я уселся на поваленный ствол дерева. Легкий ветерок путался в кронах деревьев, обдавая меня прохладой. Вдруг до слуха моего долетели непонятные шорохи. Поначалу я не придавал им никакого значения, мало ли какая там тварь Божья шебуршит в кустах. Но потом сквозь все многоголосье я стал различать не только шорохи, но и прерывистое, хриплое дыхание и обессиленный, приглушенный рык. Перекрестившись, я направился к месту, которое привлекло мое внимание. Ступая осторожно, глядя под ноги, раздвигая посохом мелкий кустарник, я продвигался в глубь поросшего лесом склона горы. Не скажу, что мне пришлось долго искать предмет моего любопытства. Волк лежал в кустах обессиленный. Петля туго сдавливала его мощную шею и затрудняла дыхание. В уголках пасти пузырилась пена. Он, видимо, пытался перегрызть охотничью петлю, привязанную к стволу дерева, но его попытки освободиться все сильнее затягивали узел.

- Да, попадись он лапой в петлю, перегрыз бы ее себе и ушел, - вставил свое суждение Хареб. Старец продолжил:

- Подойдя и оглядев его, я поначалу не знал, что мне делать. У волка даже не было сил встать на лапы, а может, осознав свое положение, он нарочно не сделал каких-либо лишних движений, какие могли бы его погубить. Он лежал смиренно, лишь косился на меня своими желто-зеленоватыми глазами. В них не было страха, лишь покорность перед тем, что выпало на его долю. В нем чувствовалась сила к жизни и жажда, но к чему, для меня оставалось тайной. Я решил не торопясь и постепенно, не причиняя боли, помочь божьей твари. Освободи его, он сразу же мог рвануть и погибнуть от разрыва легких или сердца, так как все в нем было пересохшим. Сколько он боролся со смертью, мне не было ведомо. Для начала я чуть ослабил узел, он с жадностью стал втягивать в себя воздух, но не вставал. Из бурдюка я медленно полил водой ему на морду, волк встряхнул головой, облился бледно-розовым языком и, вытянув морду, положил ее на передние лапы. Так я повторил несколько раз, пока не услышал приглушенное рычание, говорящее мне, что мол, хватит, - монах улыбнулся. - Пришло время молитвы. Отойдя чуть в сторону, встав на колени, я стал молиться, ощущая, что волк наблюдает за мной, и как ни странно, после этого взгляд его оживился. Он попытался встать, но слабость еще пронзала тело, присев, аппетитно зевнув, он не отрывал от меня глаз. Я попытался приблизиться, волк оскалил клыки, но не рычал, видимо, давал понять, что неосмотрительная торопливость ни к чему. Я внял этому. Усевшись близ него, я предался чтению святого Евангелия. Волк некоторое время сидя наблюдал за мной, но потом все же решил лечь, от слабости его чуть пошатывало. Ему требовалось восстановить силы, и мне показалось, что он задремал, но уши, наостранные в мою сторону, контролировали все мои действия. Сколько времени прошло, трудно сказать, час, может быть, больше. Я не намерен был ночевать в ущелье,

но и оставить в беде тварь божью, которой была подарена надежда, не мог. Волк, видимо, понял меня. Я встал, он последовал за мной. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Приставив посох к дереву, я присел, вытянув к нему правую руку, на запястье висели четки со святым распятием, - монах чуть приподнял руку, показав те самые четки. - Волк медленно вытянул морду ко мне и прижал уши. Не делая лишних движений, я освободил его, хотя желание потрепать зверя за загривок было велико, но я не дал волю человеческой слабости. Так мы и расстались. Спустя час я уже взбирался по склону Лысой горы когда услышал протяжный вой, долетевший до меня эхом.

- Да-а-а, - протянул Хареб. - Вот так дела...

- Волк - зверь благородный, - прервал удивление Хареба Како. - Сколько тварей на земле, и каждой Господь дал имя по сути ее природы, и по ней человеку ведомо, кто есть кто. Волк не может быть овцой, овца змеей, змея птицей. Лишь человеку свойственно быть кому овцой, кому волком, а кому змеей. Сразу и не разберешь, кто есть кто. С виду в благородной оправе может таиться подлость, в немощи стойкость, в хрупкости храбрость. Порой человек не знает, на что он способен, а некий способен на все, невзирая на честь и совесть.

Размышления абрека вслух прервал Гиви, не по своей воле, сон все же овладел юношей, и тот, потеряв равновесие, чуть было не свалился с табурета. Резко очнувшись и не понимая, что случилось, хотел было что-то сказать, но Хареб, улыбнувшись, велел юноше идти отдыхать. Тот покорно, подойдя к отцу Йове, приняв благословение и пожелав всем доброй ночи, улегся на топчан, стоявший в правом углу.

- Правда твоя, - продолжил размышления Хареб, - в каждом есть что-то от зверя, но дано нам Богом быть людьми. Согласитесь, быть человеком в любых обстоятельствах куда сложнее, нежели им не быть. А какая в этом выгода, подумает некий? - улыбнулся он и хитро прищурил глаз.

- Человеку дан выбор, зверь же лишен его, - задумчиво продолжил монах. - При всем желании волк никогда не станет тем, кем ему не суждено быть. Что же до человека, то страсти делают его тем или иным. Желания тянут его в бездну греховную, и над ними дана власть силам бесовским. Я, ты и ты, - указал он на сидящих мужчин пальцем, - в конце концов, весь род человеческий только и делает, что ищет недостатки в других, не замечая своих. От этого все беды, - монах тяжело вздохнул. - Не судите, да не судимы будете, сказано в писании, - над столом зависла тишина, слышен был лишь треск горевшего хвороста. Монах обвел всех взглядом. - Всю свою жизнь я провел в молитвах и в смирении, и казалось мне, что я обрел мир с самим собой, но как сладок плод себялюбия и как извилиста тропа заблуждения природы человеческой. Поклоняясь Господу, как мне казалось, я более отделился от него, чем вы, и тем тяжек грех мой. Но как велика любовь к нам отца нашего небесного и милость к немощам нашим. Упавший на самое дно, но поднявший взоры свои и очистивший помыслы, ценен больше, чем тот, кто всю жизнь прожил на вершине в одеяниях белых. Ведь недаром в мытарях и блудницах явилась воля Господа нашего. Кому, как не Богу, ведомо кто станет ревностным служителем его, ибо сказано: «Пути мои не ваши пути, и дела мои не ваши». Все, к чему обращены очи ваши, все то, что вы посчитали, считаете и посчитаете неправедным, примите как испытания ваши, молитесь, и терпение ваше вознаградит Господь, - монах перекрестился, и мужчины последовали ему. Минутное молчание нарушил Како:

- Все, что вами сказано, истинно. Терпение? Терпение прекрасно, но ведь каждому предначертан свой путь и на пути этом испытания разные. Взять, к примеру, меня. Мой образ вольной жизни не дает многим покоя, - абрек ухмыльнулся. - Я уверен, что во всем этом есть рука проведения.

- Я многое слышал о тебе, - монах провел ладонью по морщинистому лбу. - Молва о тебе и о твоих делах ходит разная. Да и Бог с ним, не мне быть мерилем в твоей судьбе. Неизменно одно, вся жизнь твоя, твоя личность и свободолюбие, не думал ли ты, что всем этим ты являешь пагубный пример молодым горячим сердцам и невольно обрекаешь их, ибо восхищение тобой слепит их?

- Нет, святой отец, мой образ жизни - это мой выбор, что же до молодежи, им выбирать, как и кем жить. Спору нет, юноши грезят быть абреками, но это лишь мечты, которые, подобно туману, рассеются, но, даст Бог, уважение к тем, кто живет по законам чести, у них останется, но и это сулит им немало тревожного. Что тут поделаешь, каждый ищет свое, - пожал плечами абрек.

- А я вот что имею вам сказать, - чуть оживился Хареб, - я не пожелаю своему сыну такой участи, но коль приведет его судьба на эту дорогу, то мое родительское слово будет

такovým, пройди, сын мой, этот путь так, чтоб не посрамить имени своего, - в голосе его прозвучали нотки гордости. Подняв над головой указательный перст, Хареб с важностью добавил: - «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор». Э-эх, как сильно сказал Руставели. За это, ей-Богу, не грех и выпить, - и рука, обхватив горлышко кувшина, опрокинула его, разливая хмель по стаканам.

Мужчины, чокнувшись, осушили сосуды. Уста монаха тронула улыбка, в глубине души разгоралось пламя, подталкивающее его к спору, но зная, что сие от лукавого, он смиренно молчал.

- Вот что я еще хочу сказать, - закусив ломтем сыра и обтирая уста тыльной стороной ладони, Како взглянул на старца, - народ выдумывает себе героев, он ждет, что явится тот, кто освободит его от господ и установит справедливость. - А разве в истории мало имен народных героев? Немало, святой отец, но почти все они были преданы и повержены своим же народом. Я не считаю тех, кто пал, сражаясь с внешним врагом, это другое. Народ, по своей сущности, потребитель, и уста его говорят только «дай», а слышать он хочет только «на, бери». Это я говорю не только о простолюдинах, дворянство ничем не отличается от них, напротив, оно более ревностно и корыстно от самовластия.

- Власть дана им Богом, и они являются бичом в руках божьих, и удел его терпеть, ибо такова воля, - ответил монах.

- Поймите меня правильно, я не осуждаю их, - абрек положил руку на сердце, - но и рабом я не собираюсь быть. Кто хочет быть свободным, он им будет. Это зависит от самого человека.

- Истинную свободу дарует Господь, сказавший: «Идущий за мной станет свободным и обретет царствие небесное», - монах перекрестился.

- Истинны слова Господа нашего, - молвил Како, перекрестившись. Вот в чем дело, святой отец, они не следуют заповедям божьим, но хотят свободы, подаренной им простым смертным. Они не соблюдают заповеди крови Христовой, но гневаются, когда нарушаются законы, написанные ими и ими же и нарушаемые.

- Такова природа человеческая, - в словах монаха сквозила печаль, - наш народ не лучше и не хуже народов, населяющих землю. Разве овцы, пасущиеся на этих склонах, лучше или хуже тех, что пасутся за перевалом?

- У чужих овец шерсть гуще, - шутя поспешил ответить Хареб.

- Это вопрос человеческой алчности, - взглянул на Хареба монах, тот тут же сник, поняв неуместность своего сравнения.

Вано все это время внимательно слушал, сидя за столом и опершись подбородком на ладони. Встав, он подошел к угасающему очагу и, присев на табурет, стал подбрасывать в него хворост. Огонь оживился, игриво потрескивая, и в свете его лучей лица у присутствующих вновь окрасились красновато-медным оттенком.

- Простите меня, человека темного, - в голосе Вано слышно было стеснение, - но и мне есть что сказать.

- Говори, Вано генацвале! - одобрительно воскликнул Хареб.

- Говори, говори, дорогой, - поддержал его абрек.

- Я вот как думаю, - поглаживая свой затылок, начал тот, - герои народу нужны для легенд и сказаний, от живых героев уж много хлопот. Легче воспевать их в скорбных песнях и воспитывать на их примере, но не забывая, что конец один, плаха или дыба. Много Русь знала свободолюбивого люда, всех извели, кого предательством, кого подкупом, кого лютой ненавистью оклеветали. Э-эх, да что там говорить, - раздосадованно махнул рукой Вано, - человек, он и есть человек, будь то христианин аль басурманин, все одно, из одного теста вылеплен, одними страстями тесто-то и замесили.

- Ты, как я посмотрю, человек пришлый, но судя по тому, что ты уже овладел нашей речью, живешь, наверное, среди нас давно? - обратился к нему монах.

- Да-а, - кивнул головой Вано. - Вот почти 15 годков, как судьбина забросила меня в эти края.

- Не посчитай за праздное любопытство, Расскажи о себе. Я много слышал о твоей родине, сын мой. Хотел, но не привел Господь, побывать на русской православной земле, - монах с теплотой взглянул на него.

- Расскажи, дорогой, Расскажи, как нелегко простому мужику живется где бы то ни было, - подвигал его на рассказ Хареб.

- Да что там рассказывать, - неохотно начал Вано, - судьба у холопа повсюду схожа. Нет правды для нашего брата, - он тяжело вздохнул, потирая ладони, глаза его опечалились. Родом я из Калужской губернии, точнее, из села Покровское, что возле города Ко-

зельска. Город обычный, православный, хотя прозванный Батыем злым, много таких городов на Руси. Рос я старшим сыном. В семье помимо меня было две сестры и трое младших братьев. Отец был каменщиком, мать рукодельницей. Были мы крепостными у господ К. Отца звали Афанасием, мать Евдокией, царствие ей небесное, - Ваню перекрестился, - померла христовая от внезапной хвори. Так и жили мы, - он тяжело вздохнул, видимо, воспоминания тяготили его. - Отец часто был в разъездах, нанимался на всякого рода работы, оброк-то платить исправно надобно было. Но я, как водится, оставался за старшего, а сестры заменяли младшим мать. Шло время. Я было уж служил при барском дворе на конюшнях. Лошадей я с детства люблю. Э-э-х, какое время было! - глаза у Ваню заискрились, а уста расплылись в улыбке. - Природа у нас другая, спокойная, что ли, реки тихие, гладкие, заводи, поросшие тростником да камышом, поля бескрайние, одно раздолье... - он вдруг замолчал и помрачнел. - У барина сын с дружками на лето в усадьбу приехал, взбалмошный был по природе своей и нагловат. Видать, хлебнул вольности в столицах тамошних, и вскружило ему голову. Стал девок сельских обхаживать. Замечать стали за ним, то тут, то там прижмет молодуху, проходу не дает, а они от него, как заприметят, с визгом да со слезами наутек. Ни стыда в нем не было, ни креста на нем. Что толку барину жаловаться на ненаглядного отпрыска. Мужики имели неосторожность посетовать отцу на сына, а толку никакого, в шею их повытаскивали, вот и все дело. А молодой барин пуще прежнего взялся за свое. Чувствовал гад свою безнаказанность. Так вот друг был у меня, Гришкой звали, ох, уж боек был, задирист. Не кончишь, Гришка, добром, погубишь себя, дурья твоя голова, поговаривал ему дед Прохор. Так оно и случилось. В то лето, как я уж говорил, в усадьбу пожаловали молодые господа. Шуму от них и суеты было на целый день. Прибегает как-то под вечер ко мне Гришка, весь взъерошенный, взгляд бегающий, колючий, лица на нем нет. Что случилось? - спрашиваю. Он ничего внятного не смог объяснить, только сказал, что ждет меня на старой мельнице, и тут же выскользнул со двора. Встретились мы, и он поведал мне, что видела детвора на берегу реки, там, где девки белье на плотах полощут.

Молодой барин и двое его приятелей с утра приказали подготовить лошадей для верхнего выезда. Барин изъявил желание показать гостям красоту родового поместья. Ближе к вечеру обычно девки ходят полоскать белье, ну, и заодно сами купаются. За этим занятием их и застали всадники, выехавшие из лесу на водопой. Девки завизжали и от стыда присели в воду по самые подбородки. Молодой барин, увидев такую картину, спрыгнул с седла и с разбегу бросился в реку, двое других, сидя в седлах, громко смеялись, потешались над девичьими слезами. Одна из девах так перепугалась, что со страху поплыла прочь от берега и чуть было не утопла, благо дед Прохор рыбу удил в лодке за камышом. Девушку эту Варей звали, и любя она была Гришке. Не раз он скулы набивал тем, кто на Варвару заглядывался, бывало, и сам получал, но это его не огорчало. Решил Гришка отомстить обидчику. Я, как мог, отговаривал его, но все впустую. Стал он ждать удобного случая, стало быть, охоты. А тут спустя буквально полмесяца после всего случившегося прихожу я вечером домой и слышу всхлипывание. Отдернул занавес за печью, вижу сестру Дашеньку, заливающуюся слезами. Стало быть, и до нее этот змей добрался, подумал я, глядя на нее. «Ванечка, Ваня! - взмолилась она сердечная, - ведь проходу от него нет. Что за бес в него вселился? Ей-Богу, нет больше сил моих, доведет он меня, окаянный, до греха», - и зарыдала пуще прежнего. Вскипело у меня все внутри, глотку перехватило, жилы на руках вздулись, казалось, тронь их, и полопаются. И стали мы вместе с Гришкой ожидать удобного случая, и он не замедлил. Да, молодость глупа, - покачал Ваню головой, - не было у нас для такого дела ума. Э-э-х, - махнул он рукой, - да и Бог с ним, - процедил сквозь зубы. - Хотели мы все устроить таким образом, чтоб на нас тень не пала, получилось так, как получилось, - рассказчик на мгновение замолк, проведя правой ладонью по лицу. - Так вот, - взглянул он на слушателей, - так как я прислуживал на господском дворе, мне не составляло труда знать, куда и когда отправляются господа. А тут как раз на руку именины в соседнем имении намечались, господа наши были приглашены, но ехать решил лишь молодой барин. Батюшке его нездоровилось, а матушка вот уже как неделю гостила у родственников в городе. Расстояние по проселочной дороге до соседнего имения было верст шесть-семь, но путь можно было сократить, поехав напрямик через лес. Наши надежды были вознаграждены, барин решил сократить путь. Задумка была хитра по своей простоте. Напялив на голову мешковины с прорезями для глаз, мы намеревались выбить его из седла, ограбить, чтоб отвести от себя подозрения, так как поговаривали, что в окрестных лесах объявились беглые каторжане, грабившие на дорогах, и под это дело намять изрядно барину бока. Все почти так и



случилось, кроме того, что работавшие на покосе мужики заприметили нас, когда мы выходили с опушки леса, и вскоре тайное стало явным. Что самое обидное, так это то, что у мужика, который донес на нас, как мы после узнали, дочь подвергалась насилию со стороны этого мерзавца, но, видно, деньги сделали свое.

Отлежался барин с неделю, конечно же, над ним хлопотали лучшие наземные лекари. Видно, Гришка приложился к нему от всей души, рука у него тяжелая, по себе знаю. Не скажу, что и я сплеховал, помял-таки ему бока, впредь наукой будет. Хотя вряд ли. Будь мы из благородных, вызвали бы его на поединок, и делов-то, а так, объявили нас бунтарями, и ждала нас горемычных старуха-каторга. А оттуда не Бог весть кто живым возвращается. Бежали мы от всех, как зайцы, по лесам и думали, а что же дальше? Натворили делов, заварили кашу, а расхлебывать аппетита и нет. Думай не думай, а решать надобно было скоро, на носу осень, а там и зима, как говорится, не за горами. Лежим мы как-то ночью с Гришкой у костра в лесу, оба заложили руки под голову, смотрим ввысь и молчим каждый о своем. Вдруг Гришка говорит: «Одно наше дело - идти на север в Вологду». - «Куда?» - спрашиваю я его удивленно. Он лениво приподнялся на ноги, бросив в костер несколько поленьев, сел на корточки и пристально взглянул на меня: «Я точно знаю, Ваня, о чем говорю, вот выслушай меня. Помнишь, нынешней зимой, аккурат после крещенских морозов, ездил я с дядькой Панкратом в город на ярмарку медом да воском торговать?» - «Ну, помню, и что с того». - «А то, дурья твоя голова», - глаза Гришки засверкали, и он рассказал мне все, что слышал в рюмочной, где дядька Панкратий познакомился с мужиками, нанимавшимися на работу к тотемским купцам, которые не скупились на серебро.

- А что именно он рассказал? - размеренным голосом спросил абрек. Хареб, зная эту историю, улыбнулся. Монах молча ждал, перебирая костлявыми перстами бусы молитвенных четок.

- Он рассказал мне, что в том краю нет крепостного права, что мужик там волен перед Богом и людьми и что купцы тамошние ведут торг за морями дальними, что серебра и злата у них, как снега зимой, но не в этом они видят радость души, не богатство земное слепит разум их, и что оттуда открыты нам все пути-дороги новой жизни. Пробирались мы к своей мечте ночами. На первое время деньги были, те, что у барина отобрали, а потом стало худо. Что там греха таить, приходилось и разбойничать, ну, и страху, скажу я вам, поначалу натерпелся, а после свык. Ходили мы на дорогу, как на промысел, даже забавно было. Так мы миновали Рязанщину и добрались до Владимирской губернии, там меня и схватили, - Ваню вздохнул и грустно улыбнулся. - Гришке я успел крикнуть, и тот сорвался, меня же оковали. Так наши пути и развела судьбина. Я был доставлен жандармерией в калужский острог, где и был передан на милость своему барину. После недельных побоев меня продали в Тульскую губернию, дальнему родственнику барина графу Т., который вскоре был отправлен службой на Кавказ, откуда я и бежал в числе дюжины других крепостных. Долгое время я блуждал по горам, пока не набрел на стойбище пастухов. Обессиленный, с отуманенным рассудком, я заметил вдали силуэты людей. Не помню, как я добрался до них, последнее, что я увидел, православный крест на груди у подошедшего ко мне человека. В мыслях промелькнуло - слава Богу, я среди своих, и лишился чувств. Ну, а остальное может рассказать Хареб, ибо на его руки я обессиленный упал, и с тех пор мы вместе.

- Да, да, так оно и было, - кивая головой и поглаживая усы, подтвердил Хареб.

- Удивительны дела твои, Господи, видите, куда его привела месть и с кем свела? - абрек от всей души рассмеялся. - Извини, дорогой, не сочти за оскорбление, - обратился он к Ваню. Тот понимающе поднял правую руку. - Боже мой, - покачал головой Како, - месть, и кому ты только неведома...

- И больше ты ничего не слышал о близких своих? - прервал смех абрека монах.

- Родня моя так и оставалась жить в Покровском, - вздохнул Ваню, - больше я ничего не слышал о них, а Гришка, по слухам, дошел-таки до тех мест, а как он там сейчас, одному лишь Богу известно.

- Да-а-а, сын мой, я много слышал о тех местах, о которых ты нам поведал. Земля ваша благодатная, и молва о ней шагнула далеко за пределы земли русской. И край, куда ты с другом решил податься, тоже промыслом Божиим благословлен, - монах на мгновение призадумался.

Ворвавшаяся через щели очередная струя ветра качнула язычок светильника, и тот задрожал, тени, покоившиеся на стене, вздрогнули, загудел дымоход и оживил очаг, и, потрескивая, в нем взметнулся рой искр. Мгновение, и все стихло. Ветер, сменивший

свое русло, завывал уж с другой стороны Клыка.

- Э-эх, шен генацвале! - сквозь зубы процедил Како, сжимая кулак, - как мне близка природа ветра, в нем есть жажда к воле, к простору.

- Ну, что ж, - в глазах Хареба вспыхнул огонек, и он разлил чачу по стаканам. - Я хочу поднять свой сосуд и выпить горечь его за все то, что выковало наше слово, которое мы бес стыда можем положить на чашу весов жизни, и оно будет тяжелей золота, прочней булата и мягче лебяжьего пуха.

Харобом все поддержали, добавив каждый свое, чокнулись и залпом осушили стаканы. Монах сидел за столом, склонив голову, размышлял: «Все ж как похожи судьбы наши и как несхож выбор. Воистину путями разными приведет Господь наш к себе. Он поднял голову и взглянул на мужчин, увлеченных своей беседою. Вот они, Господи, перед лицом твоим, и деяния их перед тобой, не за себя, Господи, прошу, а за них, прости им грехи вольные и невольные и прояви милость свою к заблудшим рабам своим», - монах переkreстился, и это обратило на себя внимание остальных.

- Святой отец, извините меня, что я отвлек вас, - обратился Како.

- Пустяки, сын мой, не стоит извиняться. Ты что-то хотел?

- Да, святой отец...

- Не обесцудьте меня, ради Бога, - чуть заплетаясь языком встрял в разговор Хареб, - с вашего позволения, мы пойдем отдохнем, с утра дел много.

- Конечно же, дорогой, о чем разговор. Отдыхайте. За все вам сердечное спасибо, - улыбнулся Како, глядя на пошатывающегося Хареба, которого поддерживал Ваню. Приложив руку к груди, Ваню тоже выразил свои извинения, и они оба, улегшись на топчаны, вскоре уснули.

- Так о чем же ты хотел меня спросить?

- Нет, святой отец, не спросить, а поговорить. Слишком много вопросов задаю я сам себе и не всегда нахожу на них ответы, - абрек ухмыльнулся, растирая пальцами правый висок. - Лет пять назад, по воле судьбы, святой отец, довелось мне быть заключенным в Хашурскую крепость. Много разного повидали отсыревшие стены древней крепости, да и я немало насмотрелся за время пребывания в ней. Народ сидел разный и за разное. Вы знаете, все-таки как нужна способна сильно изменить человека? Чуть прояви слабость, и она, как коррозия, разест тебя изнутри, но не о том я хочу рассказать. Так вот, довелось мне сидеть с человеком, чья сила духа меня по сей день восхищает, а жизнь и поступки его были наполнены глубоким смыслом. Звали его Шота. Сколько было ему лет, точно не могу сказать, но седина окрасила его голову и бороду, которая от длительного пребывания в заточении была ему по пояс. Сидя в темнице, закованный в цепи, он все равно был свободен, и от него веяло этим, и это бесило тех, кто упрятал его. Он говорил мне: «Страх, вот для чего были созданы темницы. Страх, Како, - это ключ повиновения, который держит человека в состоянии раба. Часто человек желает быть им, лишись этого чувства, и власть над тобой будет утеряна». Не сломив его ни голодом, ни пытками, не обретя над ним никакой власти, его казнили, - Како вздохнул, лицо его помрачнело, минуту он молчал. Потом, встав из-за стола, подойдя к очагу, стал ломать хворост и подбрасывать в почти что потухший огонь, очаг задышал. - Вскоре мне удалось бежать по дороге в Сурамскую крепость, куда меня и еще десять заключенных решено было перевезти. После встречи с таким человеком я стал по-иному смотреть на многие вещи, и образ моей жизни стал иным. Я перестал грезить об общей справедливости и победе добра над злом. Мир, окружавший меня, я стал воспринимать таким, какой он есть, и не пытался его изменить. Я стал искоренять в себе любое проявление слабости, и смыслом моим стала свобода. Свобода от всего того, что связывает человека и заставляет его быть обязанным кому-либо, кроме самого себя и своих принципов. В человеке с рождения заложено понимание чести и бесчестия, и это я посчитал достаточным. Такой образ жизни сулил одиночество. Лишив себя надежды на семью, я принял его. Человек приходит на этот свет одиноким и одиноким его покидает. Не скажу, святой отец, что мне было легко и просто, но обуздав себя, я ощутил то, о чем мне рассказывал Шота, - абрек вдруг замолчал и встал.

Подойдя к стоящему у двери дубовому бочонку, зачерпнув из него ковшем воды, жадными глотками осушил его. Монах молчал, не лез с расспросами, понимая, что Како изливает душу. Сев обратно за стол, он продолжил:

- Минувшим летом ко мне были посланы люди князя Бараташвили с предложением о встрече. Встреча состоялась. Князь предложил мне примкнуть к их тайному обществу, которое видит Грузию свободной от русского господства. Мне было предложено встать

во главе народного восстания, подготавливаемого дворянством. Все же нет ничего слаще для них, чем победа над собственным народом. Я слышал, что такого рода предложения делались многим, они лихорадочно искали козла отпущения, на кого в случае провала можно все свалить. Выслушав его, я спросил: «К чему тогда было просить помощи у русской короны? Разве благородно жалить руку, спасшую Грузию от истребления? Я, князь, человек, далекий от интриг, - ответил я ему, - не мое это дело - думать о спасении целого народа, тем более, я никогда не бью в спину». Но изворотливый ум его давил на наши духовные ценности, якобы попираемые и разлагаемые образом жизни, какой проповедует Россия. «Коль это так, князь, так отчего же вы, дворянство, присягнули на верность русской короне?» - спросил я его, взглянув в его хитрые глаза. «От безысходности», - выпалил он. Я усмехнулся: «Все-таки нужда, князь, толкнула вас, и кажется мне, что вы не о народе, не о Грузии печетесь, а исключительно о выгоде своей, и выгода ваша - это желание иметь власть и служить иным хозяевам. А на остальное вам наплевать, не правда ли?» Смотрю на него, лицо пошло пятнами. «Ты думай, с кем говоришь!» - нервным, дрожащим голосом прошипел он. «Не стражай, меня, князь, не надо, - спокойно ответил я, - знаю, с кем имею дело. Благо место для встречи было выбрано мной, а то бы не сносить мне головы», - абрек улыбнулся. - Когда мы расставались, он обратился ко мне: «Подумай, Како, хорошенько подумай, а то смотри, ты ведь абрек, а с преступниками, сам знаешь, разговор короткий». - «Думать мне не о чем, - ответил я, - а что касается меня как преступника, так я своих законов не преступал, а по вашим никогда и не жил». На том и расстались, по всему видно, врагами. Да и Бог с ним, - улыбнулся он, - одним больше, одним меньше. Кто в наше время их считает. Действительно, много хорошего было сделано и делается русскими для процветания Грузии, и вроде вера у нас одна, и по духу вроде схожи, но одно меня тревожит и не дает покоя.

- Что именно тревожит тебя, сын мой?

- Уклад жизни, перенятый ими у иноземцев. Столкнувшись с этим впервые, я был потрясен увиденным, и показалось мне, что я узрел конец всего того, на чем держится воспитание и поведение женщины. Было это поздней весной, шел мне тогда 27-й год, скрывался я тогда от недругов своих в Отенском лесу. И вот однажды, спускаясь по горной лесной тропе, услышал я звонкие женские голоса, смех и пение. Крадучись я стал пробираться, подобно волку, сквозь кустарники, любопытство овладело мной, голоса, доносившиеся до меня, казались ангельскими, и все во мне напряглось от предвкушения. На краю леса я залег под густорастущий куст дикого кизила, и увиденное потрясло меня до основания, - Абрек провел ладонью по лицу и продолжил. - На берегу небольшого безымянного ручья, что брал свое начало в чаще леса, на бархатистой зеленой лужайке был устлан ковер, на котором был накрыт походный стол с избытком яств. Компания была из шести господ, четверо мужчин в офицерских мундирах и две молодые женщины, слуг я не считаю, они находились чуть в отдалении и занимались приготовлением кебаба. Женщины были прекрасны. Необычным для меня стало одеяние их. Нарядов таких я доселе не видел, да и представить себе не мог. Обнаженные руки, плечи, шея, глубокий вырез на груди и на спине почти что обнажал женский стан. Я не верил увиденному, разум мой помутнел, желания во мне вскипели, и я ожесточенно сжал рукоять бубута. Я был готов броситься из укрытия, как хищник на добычу. Но овладев собой и испугавшись чувств, вспыхнувших во мне и толкавших меня на постыдство, я без оглядки бежал оттуда, пока обессиленный не упал у родника. Меня трясло, но вскоре я успокоился, всю ночь просидев у костра в лесу, я думал. Я прогонял желания прочь, но они возвращали меня туда, я не хотел, но невольно думал о том и ловил себя на мысли, что мне приятны эти воспоминания. Чтобы окончательно освободиться от них, я сунул правую руку в горящие угли, и тишину ночного леса огласил звериный рев изгоняемого мной беса, - абрек замолчал, потирая правую руку, казалось, он вновь ощутил боль от ожога и, прищурив глаза, оскалится. - Мне кажется, святой отец, - прохрипел он, - что я видел начало конца. Потеря стыда ведет к разложению души. Коварна женская красота, мужчина легко очаровывается ею и готов на многое. Вот эти желания и губят его. Открыто демонстрируя свои прелести, женщина порабощает мужчину, беря власть над его желаниями. Ею нарушается заповедь: «Почитай мужа своего». Искушение - суть ее, мужчине же приятно быть искушенным. И думаю я, что через все это женщина в скором будущем уравниет себя с мужчиной, конечно же, не без помощи его, и полностью пожелает поработить его природу, ибо мужчина - жертвенник перед Богом. Ведь сказано стариками: «Устами женскими глаголет дух лукавый, и изгнанием из рая мы обязаны им». Не зря же предками нашими были предписаны строгие правила для женщин. Смогла бы женщина

смело взглянуть в глаза мужчине и предстать перед ним с непокрытой головой? О другом я и не говорю! Нет, не смогла бы, - устало выдохнул абрек. - Еще пока что живы традиции наших предков, и преимущественно соблюдаются они простолюдинами. Дворянство же, большая его часть, давно поражено духовной проказой, и они собой являют пример растления душ своих, примеряя на себе личину вседозволенности, навязываемую им иноземной культурой.

Некоторое время монах осмысливал услышанное из уст абрека. Молчание не было долгим.

- Ты знаешь, сын мой, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, способности мыслить, и глаза его ослеплены. Я рад, что ты не наказан этим. Все, о чем ты говорил, давно тревожит духовенство, православные церкви наших народов молят Господа. Все, что ты видел и видишь, есть тайная борьба с православием, навязываемая, как ты правильно заметил, врагами его. И встреча твоя с князем - все это происки нечестивые врагов веры нашей. Духовенство знает, откуда дуют враждебные ветры и устами чьими обращаются они к народу. Под предлогом свободы нас хотят рассорить, вбить клин между двумя ветвями православия. И в самой России православие подвергнуто скрытому гонению. Царем русским Петром было упразднено патриаршество. Пожелав сделать державу великой, он обратил свои взоры на запад и решил перенять уклад жизни католической Европы и укрепить его на исконно православной земле. Пошатнув столбы патриархального уклада, стены, оберегавшие Русь православную от растления, дали трещину, и через них стала просачиваться мерзость. Царь показал народу вседозволенность перед Господом, вкусив плод гордыни. Не победив Россию извне, ее пытаются разрушить изнутри иноземные послы и множество советников, наводнивших Россию, да уже и Грузию. Как говорится, крепость легче взламывать изнутри, - абрек слушал монаха, вдумываясь в каждое слово, вылетевшее из уст старца. Монах продолжал. - Вера наша не воинствующая, не насаждаема и ненавязываема другим. Через веру мы приходим к Господу, а не через насилие, - монах перекрестился, абрек последовал его примеру. Со двора послышалось ржание пасущихся лошадей, абрек узнал голос своего любимца и невольно улыбнулся.

- Извини меня, святой отец, я лишь только посмотрю.

- Конечно, - одобрительно кивнул монах.

Абрек вышел. Монах, сдвинув брови, пристально смотрел на пламя светильника, которое время от времени вздрагивало. Кающаяся душа, подумал он про Како. Скрипнула дверь, абрек вошел, растирая от холода ладони.

- Ветер разогнал тучи, уже светает, небосвод чист, как слеза, видимо, быть погоде, - абрек подошел к очагу, подбросил в него хворост и вытянул к нему руки. Эх, как хорошо, - потирая ладони, Како подошел к столу. - Хочу вам еще рассказать то, что я видел своими глазами, - абрек сел за стол напротив монаха.

- Слушаю тебя, сын мой.

- Было это после того, как я бежал из-под стражи. Жил в наших краях известный абрек, Коба его звали, царство ему небесное, - Како перекрестился, - не знаю, слышали вы о нем, надеюсь, что да. Имя его приводило в трепет толстосумов и дворянство, он был кровником рода Мачабели, - монах слушал, но виду не подавал, что был лично знаком в мирской жизни с Кобой. - Вот как-то раз ранним осенним утром мы вдвоем возвращались верхом по тропе, пролегавшей мимо разрушенных стен Гомской крепости. Издалека уж виднелись руины, как мы заметили у подножия скалистого выступа, на котором сохранилась часть кладки наружной стены, пятерых мужчин. Натянув поводья, мы спешили. Укрыв лошадей в растущем неподалеку диком орешнике, мы тайком стали пробираться вперед. Незамеченные, мы расположились неподалеку от них на возвышенности. Вся картина была у нас, как на ладони. Четверо мужчин были одеты в офицерские мундиры, пятый, стоявший чуть в стороне, не был военным и, по-видимому, очень нервничал, так как периодически обращался к тем четверым и постоянно протирал облысевшую голову платком. Офицеры что-то обсуждали, потом один из них, сняв головной убор, положил в него что-то, и двое других по очереди извлекли это, стоявшие друг против друга, взглянули каждый на свое и, кивнув друг другу, разошлись в разные стороны. Отсчитав по несколько шагов в обе стороны одновременно, двое из этих четверых вытащили сабли из ножен и вонзили их в землю. Потом один из них, тот, который снимал головной убор, направился к валуну, поросшему мхом, на котором лежал деревянный футляр. Взяв его, он подошел по очереди к стоявшим друг против друга офицерам. Те извлекли из него ружья, осмотрев их, и встали в стойку, предварительно скинув с плеч

офицерские накидки. Стоявший в стороне офицер что-то крикнул, и те стали сближаться. Раздался грохот выстрела, через мгновение - другого. Все на миг заволочло дымом, слышен был протяжный стон. Офицер, стоявший от нас слева, лежал неподвижно, видимо, был убит, другой же сидел на земле, держась за плечо, корчился от боли. Подошедшие к лежавшему двое офицеров сняли головные уборы и перекрестились. Вокруг раненного хлопотал тот лысоватый, перевязывая рану на скорую руку. Потом все собралось, как ни в чем не бывало, убиенного положили поперек седла, раненный забрался на коня, не без помощи, и все двинулись прочь и вскоре исчезли из виду. «Коба, что это было», - удивленно спросил я. «Это поединок смерти», - ответил он, - распространенный среди русских офицеров. Так они решают вопросы чести. С одной стороны, благородно, с другой, глупо, так как они вверяют свою жизнь воле жребия». - «Какого жребия?» - еще сильнее удивился я. Коба объяснил мне, что офицеры доставали записки, где указана очередность выстрела. Долго после этого я размышлял над увиденным, многое восхищало меня в такого рода поединке, особенно мужество и хладнокровие, с каким они стояли друг против друга... Вот так мне довелось увидеть обе стороны одной монеты русской чеканки. С одной стороны, мужество и хладнокровие, с другой, жажда быть плененным женской красотой. Кстати, потом я узнал, что причиной множества поединков является страсть к женщине.

Монах молча покачал головой, вид его был омрачен воспоминаниями, которые невольно в нем воскресил абрек.

- Скажи, сын мой, как давно ты знал Кобу? Где и как ты с ним познакомился?

- Сразу же после побега, - абрек стал вспоминать подробности знакомства. - Я долгое время скрывался в селении Меджврисхеви, там я и познакомился с ним. Уходя от погони, он был ранен, почти без сознания конь увел его от преследования. Я заметил коня, стоявшего на опушке леса, Коба лежал на земле, истекая кровью. Вместе с селянами мы перенесли его в дом, где и выходили, так мы и познакомились. Он мне рассказал свою историю, которую знал, наверно, каждый житель Картли, и в знак благодарности подарил мне клинок, выкованный рукой известного в прошлом кузнеца Отари.

- Можно ли мне взглянуть на этот кинжал? - сдерживая в себе всю горечь нахлынувших воспоминаний, спросил монах.

- Конечно же, святой отец, - Како достал из ножен клинок и передал его монаху.

Тот, бережно взяв его, стал рассматривать, он видел в нем то, что было скрыто от посторонних глаз. Ощувив тепло рук отца, он вспомнил дом, кузницу, удары и звон наковальни, грусть в глазах матери и звонкий смех сестры. Да, это был клинок, выкованный рукой его отца и подаренный своему другу Важе, отцу Кобы. Монах силой воли сдерживал слезы, и уста его грустно улыбнулись. Передавая клинок обратно абреку, взглянул ему в глаза:

- Я не разбираюсь в оружии, но я много слышал о кузнеце.

Како почувствовал, что монаху известно куда больше, но не посмел спрашивать того против его воли. Старец тяжело приподнялся и вышел из-за стола. Молча пройдя взад-вперед, он вышел во двор. Како сидел за столом и пытался рассмотреть в клинке то, что так омрачило монаха. Не найдя в нем ничего того, что могло бы поведать о тайнах, он вложил клинок в ножны и сунул за пояс.

Монах стоял, обратив лицо к небу с закрытыми глазами. Порывы ветра трепали бороду и белоснежные пряди волос. «Прошное не хочет меня отпускать, - думал он. - Мир тесен, они повсюду будут следовать за мной. Господи, дай мне силы, прошу, не оставь меня на распутье. Укрепи дух мой в стремлении быть свободным, а не рабом моих воспоминаний. Господи, в руки твои вверяю я жизнь свою». Монах провел ладонями по холодному лицу и на мгновение задержал взгляд, устремленный ввысь. Ветер слезил глаза.

Над хребтами занимался восход, небо было кристально чистым. День обещал быть теплым. Монах, обтерев ладонью глаза, вошел в хижину. Како подбрасывал хворост в огонь. Старец прошел к столу и, садясь, обратился к абреку:

- Известно ли тебе что-либо о смерти Кобы, сын мой?

- Смерть его, святой отец, окутана тайной и стала легендой, - Како, поднявшись с корточек, подошел к столу. - Говорят, он попал в засаду. Одним словом, предали его. Уходя от погони, он был ранен, конь под ним был убит. Окруженный со всех сторон, он был загнан на скалистый берег Куры, откуда и бросился, не желая позорного пленения. Так его тело и не нашли, - вздохнул абрек. Монах еле заметно покачивал головой, слушая печальный рассказ, он не проронил ни слова.

Откинув в сторону бурку и протирая сонные глаза, Зелим, взглянув на сидящих за

столом, встал с топчана. Потягиваясь, он молча вышел во двор.

- Друг у тебя скуп на слова, - взглянул монах на абрека.
- Такая у него черта характера, потому и прозвали Немым.
- Давно ты с ним?
- Да вот как вместе бежали из-под стражи, с той поры и кочуем.
- Куда теперь путь держите?

Абрек развел руками и усмехнулся:

- Куда приведет дорога, святой отец.

Старец понимающе покачал головой. Со двора вошел Зелим, обтирая ладонями наголо побритую голову, капельки воды, словно бриллианты, искрились в его черной, густой бороде. Сдвинув брови, проведя правой рукой по бороде, он спросил:

- Вы так всю ночь и просидели?
- С хорошим собеседником и ночи мало, - ответил абрек. Зелим прошел к столу.
- Пора нам собираться, Како.

- Знаю, знаю, Зелим, - покачал тот головой и взглянул на старца. - А вы, святой отец, как долго намереваетесь быть здесь?

- Я жду Малхаза. И мне пора уж в обратную дорогу. Надеюсь, мой мул нагулял бока на вольном выпасе, - усмехнулся старец. - Вот встречу его... - монаха прервало кряхтение, доносившееся сзади.

- Доброго вам, в день грядущий, - прохрипел голос проснувшегося Хареба.

- И тебе всех благ, - ответили ему. Сев на край топчана, Хареб обвел всех затуманенным взглядом и улыбнулся.

- Вано, вставай, - взглянул он на укутавшегося с головой друга. - Вставай, вставай, Вано. Уж солнце встало за горой, пора бы выпить нам с тобой, - засмеялся Хареб. Его веселое настроение заразило всех.

- Не знал, что ты стихами умеешь говорить, - захохотал Како.

- Э-эх, - махнул тот рукой, - иногда порой я и не на такое способен. Чем разговаривать, лучше плесни-ко, больше толку будет.

Како, улыбаясь, приподнял кувшин и встряхнул его.

- Да он же пуст.

- Этот и должен быть пуст, а тот, что на полке стоит, полон, - Хареб перевел свой взгляд на монаха и приложил руку к сердцу. - Бога ради, простите нас, святой отец.

- Бог простит, - с добром ответил ему старец. Хареб встал, провел ладонями по лицу и, подойдя к Вано, сдернул с него бурку.

- Вставай, ну вставай же! - стал тормозить. Тот закричал и приподнялся.

- Что, уже утро? - с закрытыми глазами пробурчал Вано.

- Давай вставай, умойся, день сегодня трудный будет, - Хареб направился к выходу. Вано, продавив глаза, поприветствовав присутствующих, встал и вышел следом. От раздавшегося шума юноша приподнял голову.

- Ты спи, спи, еще рано, - улыбнулся Како. Юноша, перевернувшись на бок, вновь засопел. Вошедшие со двора мужчины прошли к столу.

Абреки уже собирались в дорогу, когда к ним подошел старец.

- Како, сын мой, хочу рассказать притчу, ответ на которую ты должен найти сам.

- Постараюсь, святой отец.

- Так вот, - начал монах, - решил перед смертью отец испытать сыновей. Призвал вначале старшего и говорит ему: «Сын мой, близок мой час, пообещай мне, что после похорон ты перепашешь весь виноградник». Сын уверил его, что исполнит волю родителя. С тем же он обратился к младшему сыну, но тот отказался исполнять. Вскоре после похорон старший сын уехал, забыв о данном им обещании отцу, младший же сын исполнил волю покойного родителя. Так вот, Како, найди ответ, кто из сыновей поступил правильно, и тогда ты ответишь на главный вопрос своей жизни.

Како принял благословление в дорогу и вскочил на коня.

- Прощайте, святой отец, даст Бог, может быть, свидимся! - прокричал абрек, прищипнув скакуна.

- Да хранит вас Господь, - монах перекрестил уносящихся прочь всадников.

Больше им не суждено было встретиться. Монах сдержал данный перед Господом обет о затворничестве. Упокоился монах Иова в глубокой старости. При подготовке усопшего к омовению монашеской братии открылось тайное: иссохшее тело старца было заключено в кованые вериги, впившиеся в плоть. Это было последним, что выковала рука монаха.

Александр РУЛЕВ-ХАЧАТРЯН

## ЮЗ СУЛЫШИ

Повесть о восточном ветре

В казахстанской ссылке, где-то между станциями Чу, Новотроицком, забытым всеми Куцкудуком и нашим поселением, дни отмечались жизнью Главного базара. Ноги и копыта за тысячи лет утрамбовали песок с навозом в совершенно плоское плотное пятно примерно в центре великой голодной степи или Пет-Пак-Далы, если по-казахски. Базар не имел границ, он переходил незаметно в окружающее пространство, откуда по тропам и караванным путям приходили и приезжали, постепенно вырастая из-за горизонта, люди восточных племен и западных народов. Конные приближались так же неторопливо, как и пешие. Изредка в сопровождении крученых желтоватых хвостов пыли подъезжали полуторки, ЗИСы, «студебеккеры» - все защитного цвета и старые в хлам. Верховой казах, западая в седле от вышитого кумыса, делает неторопливые круги возле каждой машины и в десятый раз, уткнувшись в женщину-шофера, сидящую на подножке, попригнувшись, спрашивает одно и то же: «Айналайн жэпр... Кайда барасн?» (Ненаглядная шофер... куда едешь?) - «Жана-жана! - отмахивается усталая фигура в телогрейке под ремень и ватных штанах по-фронтальному. - В степь, в степь!» Полуторки, если за рулем была женщина, называли «пятицилиндровыми». До вечера шоферы станут зазывать: «До Мэрке - десять!» За красную сажали в кузов и четверых. Да, тридцать рублей с Лениным. За такую купюру на кону здесь же умельцы до ста раз подкидывают ногой «лянгу» - пушок на кругленькой свинцовой битке либо монете какого-то тысяча там восемьсот и далее стершегося года. А пока что 1946 год. Весна. Мне восьмой год. Уже прошло шесть месяцев, как я совершил побег из дома-тюрьмы для детей врагов народа. Всем это известно. Но пока меня не трогают. Кто-то даже придумал свой закон, согласно которому два раза брать нельзя. Верили, но боялись.

Это поселение родилось в песках, на берегу реки Чу. До войны всех выкинули на станции в райцентре и велели уходить куда глаза глядят. Так и построил каждый из чего мог подобие жилья, похожее на хаты, избышки, землянки, фанзы, саманные халупы, крытые камышом. Были глинобитные слепые убежища горцев за такими же высокими дувалами. Квадратные игрушечные корейские домики с общим для всей семьи «таном» - это прогреваемая дымом лежанка и печурка в стене с челом на улицу и в дом. Летом огонь разводят со двора, и дымок от соломы уходит в небо, зимой топят в доме, пропуская тепло через самый сложный лабиринт под лежанкой. На ней и спит вплотную вся семья, делая много детей. Корейцы считаются местными. Умеют приспособливаться и к жуткой жаре, и к страшному сухому морозу. Словом, люди тогда положили начало жизни на Земле, усердно вспоминая свою культуру и традиции. И перенимали друг у друга доселе им неизвестное - сразу и на месте.

Между слободой и станцией степь: Базар - Степь - Райцентр. Дышащим организмом был только Базар, он то расплзался, просачиваясь к нам на окраину, то делался маленьким. В пустые дни и на ночь оставались голые ряды под навесами, восемь собачьих будок, откуда уносили после работы инструменты часовщик, сапожник, портной, точильщик ножей. (Через тысячу, по меркам детства, лет мой друг Димыч из Воркуты и я, оба студенты-заочники литинститута, приедем в отпуск в мой домишко. Это будет жаркая осень в Октябре, в городке-райцентре, где нас ждала моя мать. Идя вдоль сплошной туфовой кладки местного райпромсоюза, мы читали над бойницами в стене: «Сапожник», «Малляр», «Паять», «Стекольщик», - далее опять же глухая высоченная стена. Димыч, ну, Стахорский-Шрамов Дмитрий Васильевич, сказал так: «Здесь надо пробить дыру или окно в мир и повесить жестянку «ПИСАТЕЛЬ».)

Но круглосуточно вился пьяненький дымок над бузоварней, где для киргизов варили из ячменя и риса родное питье, а чуть в сторонке никогда не затухала кузница, стук да перестук прекращался только к ночи. Выше всех строений была конторка базарного началь-

ника, приросшая к столбу с репродуктором на макушке. Провода по таким же столбам уходили на станцию, откуда по ним возвращались новости и песни в исполнении Бунчикова, игрались победные марши и говорились речи. Истина в последней инстанции располагалась в круглой жестянке, в ней жил сам Бог. Он объяснял, пугал, внушал и всех призывал радоваться новым достижениям и грандиозным успехам. Мы победили! Осталось выжить. Это если в среднем по району и стране. Предположительно.

А так по утрам в любой устной весточке ждали спасения, выискивали от отчаяния обнадеживающее слово, оно бы могло хоть как-нибудь разрушить отчаянное предположение, что так будет всегда. И нам всем навеки оставаться в кандалах степного горизонта, который, сколько ни идешь, ничуть не изменяется. Но это для всех и в целом.

А в частности, сегодня утром плосколицый молодой китаец продал мне за две копейки большую круглую конфету на палочке. Под наитончайшим желтым слоем карамели отличалось зеленое горькое яблоко-дичок. Это теперь я знаю, что с первого на планете торга и по сей день покупателя обжигают все без исключения торгаша. Выработаны невообразимо тончайшие способы заманить и всучить. Но чаще всего просто обманывают без психологических выкрутас. А тогда моя обида оказалась в ряду оскорбительных, был нанесен очередной удар по мировоззрению и чести, совершилось покушение на уже окрепшее понятие о поведении человека в отношении другого. А тут меня приняли за чужака. В голове перегорали слезы... (Я никогда не плакал открыто: такое считалось очень неприличным для мужчины, как сказала мне однажды моя бабушка Зофья Ясиньска, а вторая бабушка Ануш Аслани запретила по той же причине смотреться в зеркало, так что впервые я увидел собственное отражение только в пятнадцать лет. Посмотрелся случайно в школе, однако было стыдно и нехорошо на душе, ведь я нарушил запрет. Уж коли речь зашла о воспитательных запретах, то скажу еще об одном: когда по просьбе взрослых несешь им воду, то ни в коем случае нельзя отпивать по дороге. Однажды я забылся, попробовал и не на шутку испугался, хотя никто не видел моего преступления.) Итак, в душе поселилась горечь, внешне все выражалось суровым взглядом исподлобья - так, не меняя выражения, я глядел на все и всех. Первым остановил меня поляк, академик Тарло-Яфток. «Что произошло?» - спросил он встревоженно. В те годы ежедневно что-нибудь случалось, ожидание любой беды у ссыльных было постоянным. Я показал надкусанное яблоко. «Это племянник Джао... Но ты пойдешь к самому Джао и произнесешь следующую фразу... Повторяй». Короткие, но сложные слова, оказывается, напоминали об олени, который водится только в Китае, у него шерсть растет в направлении головы от хвоста, а не как у всех животных. Если гладить по привычке, то будет против шерсти. Поэтому его называют «ни то ни се» и «сопротивляющийся чужой руке». Повторяя заученное словосочетание, я пришел к порогу, где в проеме висела занавеска из палочек на ниточках. Они защелкали, убрались, появилось лицо хозяина. Я сказал, что было велено.

- Тебя научил мудрейший Яф-Ток, - покачивая одобрительно веселенькой бородкой, дядюшка Джао взял яблоко, ушел в полумрак, порылся и вынес на свет пучок полосатых витых конфет. Я знал - они хрустят и томительно вкусно пахнут далекой страной. Расстояние от нее теперь сократилось до ширины порога. - Я о тебе слышал. Ты все хочешь знать. Завтра приходи ко мне в гости, я покажу, как варят карамель, и научу нашим пословицам. Вот первая - это начало пути: «Легче нарисовать дракона, чем петуха, потому что петуха все видели, а про дракона только слышали». Много тогда я их выучил под кровлей фанзы дядюшки Джао. Пройдет столько-сколько лет, прежде чем я осознанно выберу для бесед с китайцами самую нужную для жизни: «Прошло слишком мало времени, чтобы об учении Конфуция выносить окончательное суждение». Так же сегодня скажу о Христе. (А меня совсем недавно какой-то умственный нищелюб из газетной шатии бойко спросил: «Что вы думаете о демократии?» А ничего не думаю.)

Свой пропахший вечным Китаем дом (чеснок и неведомые пряности чуть-чуть сладковатой гнильцы, ваниль и прочие барбарисы) Джао называл «Джань бао дао» - остров сокровищ.

И его остров, и все остальные, и самую пустыню в жаркую пору под август накрывало серо-желтое небо, и тогда казалось, будто никогда оно и не светилось голубишной по утрам, а днем не становилось синим, как чапаны монголов, - это за горами разогнался восточный ветер, он приносил самум - песчаную бурю на трое суток, когда все живое сбивалось в стаи, стада, отары, табуны, а люди, запасшись водой, ложились на пол, обмазанный глиной вперемешку с кизяком и соломой, накрывались самаханами, заперев двери, заткнув любые щелочки.

Буря приводила степь в первобытное состояние, песок замывал плоским течением



любую впадину, скручиваясь барханчиками вдоль уцелевших дувалов. Только вечное пятно базарной площади оставалось чистым, там песку не за что было зацепиться. Чистый овал, вытянувшийся с востока на запад, с остатками цивилизации: под песком ряды, будки, контора, печи в рост, где вскоре снова станут лепить к жаркому нутру узбекские лепешки. Небо темнело, обваливался радующий дождь. Первым с прохладой оживал Главный базар. Далекие миры извещали по радио, что они тоже целы и приглашают всех к водным процедурам.

И вновь столпотворение - говорят на всех языках великой державы, объясняются на русском. На самом настоящем старомосковском говоре общались только рогожские староверы, изгнанные сюда три века тому назад, и мой духовник отец Виталий из Новотроицка. Питеряне же произносили «что» и «дождь», «конечно» и «тещча».

Вот кривоногий уйгур показывает камчой и по горлу себе проводит ребром ладони, поясняя, как ему позарез надо занять зеркальце. Пани Линда с вуалеткой, гуталином и лорнетом в ладонях узких сокрушается: «Тшого нема - тего нема...»

В малом круге за коновязью с уханьем запускали юлу и потом долго подгоняли ее, подхлестывая кнутиком. Через лет, пожалуй, десять, уже в Армении, я увидел похожие, точенные из абрикосового сучка, крупные юлы. На них спиралеобразно плотно и тщательно накручивали сыромятный шнур до самого среднего пальца, продетого в петлю. Снаряд запускался мощным броском с рывком на себя, соперник тут же метал свою, стараясь попасть в пядь чужой юлы с целью вбить ее в землю либо расколоть совсем. О кнутиках, подгоняющих юлу, здесь не знали. Такие бывают вроде бы мелкие отличия в культурах народных игр. То же с куриной сошкой, когда ее, подвысушенную, тянут двое на себя, и выигрывает тот, у кого остается плужок. У армян и ассирийцев на этом игра только начинается. После того как сломали сошку, эти двое вступают в особые отношения: что бы один ни подал другому, тот немедленно должен произнести «митс» - «помню». Если же он чуть медлил, то передавший или бросивший ему какой-нибудь предмет кричал: «Ядаст!» И выигрывал. Рассказывали, что сапожник Мартирос, вернувшись с германской, принял стакан вина от кума Киракоса и произнес: «Митс, Киракос, митс...» И оба заплакали и засмеялись, и все, кто там присутствовал, тоже заплакали и засмеялись. И ходила легенда, будто Мартирос умер первым, и когда Киракос бросил горсть земли в могилу, из гроба донеслось: «Митс, Киракос, митс!» И все присутствующие зарыдали и захохотали...

На очищенном пространстве взрослые и дети играли в альчики - бараньи косточки голени сустава передних ног. У каждого серьезного альчикиста - кожаный мешочек с косточками, в руке - любимый коновый красного цвета с просверленной ямочкой, куда заливался свинец. То и дело раздавалось: «айкур, тава, тама», - это как встанет косточка. «Айкур» бил первым, альчиком целились по чужаку, особым образом закручивая косточку при ударе большим и средним пальцами. Чемпионом и мастером обыгрывать азартных на деньги всеми назывался безногий капитан Баглай. Он сидел в ящике, пристегнув культи ног ремнями, перемещался скачущей лягушкой, отталкиваясь жилистыми могучими руками, в квадратных жменях цепко держал деревянные толчки, напоминающие ручку от калитки, чемодана, утюга, котурны древнегреческих актеров, на которые и сейчас встает за декорациями малюсенькая артистка-кукловод в театре города Костромы, что на высоком берегу Волги... Ее зовут Настасья Игоревна.

В немыслимом еще тогда сказочно-великом будущем увижу деревянную обувь японок - дощечку с петельками поверху и двумя поперечными брусочками под носком и пяткой: тук-так-так под зонтиком - а все-таки больше всего они напомнили мне «толчки» капитана Баглая. И тележка его, и он сам - давно тлен, но вот память моя их вызывает в любую секунду, делает живыми и настоящими, слышимыми и понятными, родными, как что-нибудь свое из детства. Еще одна частица всеобщей жизни всех и всегда в прошлом и настояще-будущем мной вызывается в звуках и запахах тех времен. Я держал в руках деревяшки, подавал пьяному капитану, и сейчас, как только захочу, они опять в моих ладонях: гладкие, теплые, тяжеловатые для мальчишки.

И все познанные люди, рыбы, айсберги - каждый прожитый день и вереница ночей - в моем сознании живые, объемно-осязаемые, пахнущие, настоящие и влекущие. Бабочки Кохинхины и солнце Киргизии я могу, как только захочу, потрогать рукой и погладить взглядом. Можно опустить раскаленные ступни в ледяные ключи Бингёла, дать им отдых после десятилетних странствий. Я - путник. Но я не знал, зачем отправился в дорогу.

Неисчислимые, как звезды в россыпи Млечного пути, услышанные слова - они живее всего. Каждое можно вызвать из памяти, заполнена ими Вселенная - говор ушедших и

здравствующих, неповторимые мотивы любви, хрип злобы, возгласы восторгов, мотивы сострадания, песен и молитв. И ни одного голоса, похожего на другой, каждое слово всегда выделяется высотой, глубиной, цветом, запахом, вкусом. Искрится радугой и брызжет юмором. Иду от слова к слову. И уже догадываюсь, и вот-вот узнаю, кто послал меня в дорогу, кто проложил мне путь. Я - путник.

А капитан Баглай - боевой разведчик и ездок-прыгун. У него медалей осталось штук десять, остальные продал председателям местных колхозов, увильнувших от фронта. Капитан всеми признан как свирепый бандит и бесстрашный человек. Только он, увидев милицейского старшину Шестопаля, тут же бросился в атаку: «Взорву сейчас, тыловая сволочь! Себя не пожалею, но еще одного гада уничтожу!» - обращался он ко всем на базаре и шарил за пазухой гимнастерки, где, как все говорили шепотом, держал постоянно боевую гранату. Шестопаля краснел, внешне спокойно обходил препятствие, правда, держа, на всякий, ладонь на кобуре нагана.

Во мгле и тумане всеобщей неволи Баглай громко доказывал, что свобода - это совсем особое качество отдельного человека. Таинственная граната возбуждала воображение, вызывала опаску и страстное желание увидеть, подержать. Я даже гордился дружбой с капитаном Баглаем, он здоровался со мной за руку, как со взрослым. «Душевно поешь. Деду привет». Имелся в виду архиепископ, мой дедушка Авак, знаменитейший в прошлом маузерист, друг легендарного азербайджанца Алибека Тахо-Годи, террориста-бомбиста, экспроприатора. Мог ли я предположить, что жизнь сложится так...

Ну да, мог ли я представить, что через одну зиму буду учиться в Калининне, в железнодорожной школе, тесниться станем в избушке на окраине рядом с великой свалкой боевой техники, свозимой с полей боев под Калинином по узкоколейке. Будут изучены «валентайны» и «шерманы», «аэрокобры» и «дугласы», все автоматы, грузовики и винтовки мира. Нас, первоклашек, здесь жило трое. Сторож с берданом никому не мешал. Шесть дней в неделю вечерами ходили мы к прудам, обвешанные «вальтерами», «парабеллумами», эсэсовскими ножами. Стреляли по гранатам из ямы. В субботу приходил усталый старик участковый, молча разоружал, складывал трофеи в мешок, грозил пальцем. Рассказывал женщинам, онемевшим, усталым, сколько погибло детей от игры с бомбами и минами. Пленный немец по имени Адольф... (Солдат выпускали днем на вольные заработки, они красили, плотничали, скорняжничали, учили детей начальства игре на скрипке и аккордеоне, сами выдували на губных гармошках. Мастерили игрушки. Продавали на углах чертиков на резиночке. Как-то с отцом шли мы по хрупким мосткам вдоль лагерного дощатого забора, изо всех щелей и дыр протягивались зажигалки, выделанные из гильз, крашенные деревянные лошадки, лежали сальные, пожухлые солдатские кепки у ног редких прохожих. Отец то и дело пригибался, раздавая папиросы, по паре в каждую шапочку. Вдоль всей очереди сопровождало нас шипение: «Данке щён, данке щён, щён».) Адольф мерзнет в блекло-зеленой шинелишке, ждет приказа. Участковый Николай Павлович велит ему отнести мешок с оружием к нему домой.

После ухода пленного все женщины громко обещали участковому предельно суровое наказание для нас, если вернутся с работы мужчины - у кого есть. А сами то и дело говорили об Адольфе, признавались вслух, что никто из них никогда не видел такого красивого молодого человека. Он действительно, сейчас-то вижу, походил на выточенного античного героя. Никому, как тоже теперь понимаю, и не приходило в голову связывать его имя с Гитлером. Кроме того, если бы кто-нибудь видел фотографию Гитлера, то обязательно бы сказал: дескать, наш пленный такой красивый, не то что их урод Гитлер. Тогда мы знали в лицо только товарища Сталина. Гитлера уже не рисовали в карикатурных газетах. Сегодня, через полвека, в нашей стране Гитлер прочно заменил Сталина в кино, журналах, в мировом телевидении. У нас тоже выкоптился на рыночной основе. Чем больше душ сгубил тиран, тем дольше помнят его и почитают - их образы витают в атмосфере всемирного рабства. «Мы с матанею уперлись в политический вопрос: Под подолом оказался, Как у Гитлера, зачес!» (из моего 25-тысячного собрания вологодских частушек).

Николай же Павлович оставался пить чай с моим дедом Павлом, они беседовали о жизни до Керенского. Фамилия мирного добряка-участкового - Шестопаля! Между прочим, лянга, ну, тот свинцовый кружок с пушком, здесь назывался секой. «Лучше бы играли в секу, чем зря палить по гранатам», - наставлял нас Николай Павлович Шестопаля. Таинственные совпадения и встречи меня будут волновать всю жизнь. Еще пример: как можно предполагать в сорок шестом, что в восемьдесят третьем античной литературе в литинституте меня станет учить Аза Алибековна Тахо-Годи, жена философа Лосева, дочь того самого Алибека, друга моего дедушки Авака. Сколько же их будет потом - невероят-

ных встреч и волшебных совпадений во всех краях маленькой планеты Земля. Я чуть было не стал верить в мистику, но по трезвому размышлению приходил к согласию с выводами древних о закономерности случайностей.

Ну вот, к примеру, в 79-м я перебрался через хребет от китайской границы и спустился в Халонг. Называлось «отошел на отдых». Утром как-то собрался на галечный берег посидеть с удочкой. Леска, крючок, а удилица нет. Выше на узком плоскогорье - взрыхленное поле, ровными рядами - сухие стебли вроде нашего подсолнечника. Только потянул один, как он тут же вытащил из-под пухлой земли зонтик из корней, увешанных гроздьями арахиса. Все стало понятным. Земной орешек. Плодоносные корни похожи на паука. Арахна по-гречески. Паук - мой тотем. Если вижу паука - это всегда к удаче. Я их люблю и берегу. Дома кормлю и никому не позволяю трогать паутину под ванной, за батареями. Если Арахну правильно попросить, то она во всех добрых делах поможет с радостью.

Ладно. Скоренько прикопал корни с урожаем, палку отломил. Только пристроился было на бережку, как сзади: «Здесь нельзя ловить, вода испорчена отходами, - на русском, но, конечно, «нерзья» и «ровить», короче, вьетнамец. - Я точно знаю, я инженер, я закончил факультет в ЛИСИ».

- ВэКа? - спрашиваю (Водопровод и Канализация).

- Да!

- А я - ПГС.

На краю света повстречал однокорытника. А рыбки, таких у нас пасут в аквариумах, наловленные на мели, сами уплыли с отливом. Я и не заметил, когда... И всякий раз я получал свидетельства о родственном отношении между многолюдством. Только потомков Чингисхана триста миллионов, говорят, а святого Александра Невского - все пятьсот. Я верю. Но если ошибаюсь, то пусть поправят читатели из любого народа.

Лицом назад. Вернемся на триста лет, или тысячу, или тысячу триста - на Главный базар. Даже в таком Вавилоне без башни изо всех выделялись чеченцы. Они отличались даже от родственных им вайнахов-ингушей. Последние говорили негромко, с прищелкиванием, в чеченской речи больше гортанных звуков и совсем непривычное сочетание согласных. Одеты в национальную рванину - чуха, гозыри, талии перетянуты кавказским ремешком с треугольниками висюлек, у взрослых непременно кинжал (с отломанным клинком - еще одно разочарование), стройные красивые белолицые мужчины гордо шествовали за женами в черном с головы до пят, несущими ослиный груз хвороста, мешок с кизяком, чужую поклажу за гроши. Они любили и умели красиво петь, посылая звук в небо. Но делали это очень редко, потому что умирали чаще других. Хоронили своих в глубоких ямах за несколько шагов от последней сакли.

Главкомандующую базаром звали Маруся Тихонько. Взбитая, веселая, ее пышило всеми бойкими воинственными частями. Неумолчная хохлушка вмещала в себя столько крику и смачных словосочетаний, что казалось, будто она одновременно во всех концах базара сразу и везде наводит порядок. Маруся и там, где вертится на пятке дервиш, возникший из пустыни с очередной таинственной вестью для посвященных; и возле стеснительных рижанок, немок и литовок, пытающихся неумело продать старинную лампу под голубым абажуром, шляпку с воланами, колоду карт для пасьянса, кофейник с чашкой без ручки, ленту от ордена неизвестного полководца, пуговицы для пальто... И тут Маруся, где в ряд возле побеленных печей пестрят платья и платки продавщиц узбекских лепешек: и остывших, и с пылу, с тмином и без. Маруся одновременно в чайхане под трехсотлетней чинарой. Но такой особый мир в тени требует отдельного описания.

«Базар балшой! Чечен мынога! Маруся идет! Давай дарога!»

Уже весна в Голодной степи, где наше поселение с проплешинами песчаных пустырей меняет цвет: улетели дожди, раздвигают песочек первые тюльпаны, ближе к людям - желтые, подальше в степи они выкинутся ярко-красно-бордовыми, сочащимися. А начальница теперь в своей будке, под столбом с похожим на отдельное государство радио, напоминающим о черной железной, недавно минувшей войне.

И стихает весь люд, когда сообщают о погоде во всех столицах республик и крупных городах бесконечной страны. «У нас в Петербурге опять дождь», - с нескрываемой вежливостью повторяет радио моя бабушка Зофья. Всюду почему-то шли дожди: Вильнюс, Рига, Таллин, Минск, Кишинев, Петрозаводск, Львов, Тифлис, Баку и Харьков... Равиль Галимов приносил домой хорошую весть: «В Казани - нет дождя! Только солнце!» - «А как в Уфе?» - спрашивала через перегородку соседка Факия. «В Уфе тоже все хорошо!» Под вечер из халупы выходил с ножницами и вечным тряпьем в руке Давид Соломонович, он что-то шептал моему отцу на ухо и сразу удалялся. Моя мама, Александра Павловна, подо-

зрительно вглядывалась голубыми глазами (а лежит она теперь в Новоселах на кладбище под крестом, двух месяцев не дожидаясь до девяноста, уснула от старости у меня на руках в Костяевке) и спрашивала: «Хачик, о чем говорил Давид?» Отец отмахивался. На самом деле мятежный, как все портные, дядюшка Давид сказал следующее: «Эти поцы-таки не считают Одессу за город». И просил отца, когда тот поедет в Чимкент, Фрунзе, Джамбул, подробнее разузнать погоды. Кто-то заполняет молчание на мотив аджарской «райды»: «Чечен маладой Купил парасенкэ, Вес дарога целовал, Думл дэвчонкэ-э!»

Я покупаю три лепешки по пять рублей, несую домой к реке, в пути отмечаю щепками тюльпаны, которым завтра распуститься. Думаю о том, как научиться выговаривать «р». Пока что почему-то произносится «ы» - «ыба». Отец Виталий, после спевки в подпольном церковном хоре, предложил мне взять у его кунака Сансызбая монголку, разгорячить, а потом резко останавливать на скаку: «Тр-р-р!» Но получилось и вовсе неожиданно. Что-то через недельку на моего деда Павла и меня понесла энкавэдэшная кобыла, запряженная в линейку; возница в защитной форме успел выпрыгнуть, а лошадь, закусившая удила, перла напрямиком на нас. Я заорал: «Р-р-р! Ку тэрэ кунем!» Двухметровый дед тверским кулаком хрястнул ей в лоб, сграбастал вожжи у трензелей и толчком плеча завалил на бок вместе с линейкой. «Прямая стерва, в душу бога апостолов мать», - закончил он. «Матка бозка! Пся крев! (Матерь божья! Собачья кровь!) - командовала операцией бабушка Зофья. - Тикайте от лиха!» Так рухнули надежды Маргариты Семеновны Миллионщиковой, она уверяла маму, что я непременно буду картавить. Сама она по-русски говорила редко, Советский Союз по любому поводу называла «ля мэзон толеранс» (дом терпимости). Она уверяла нас, что все мы когда-нибудь будем жить в Париже. Дед Павел, кроме Кашина либо Василисова Кесовогорского уезда Тверской губернии, никуда не желал - когда отпустят на волю и дадут справки. Дедушка Авак, наоборот, никак не хотел уезжать, ему здесь все нравилось. Особенно казашки. Мама наладилась в Питер, отец - в Ереван. И только бабушка Ануш в душе смеялась над их планами. Мы с ней должны уехать на берег Аракса к подножию Арарата, для чего я с ее слов выучивал и пел гусанские песни на армянском, ничегошеньки не понимая, о чем заливаюсь. Ссылные армяне собирались слушать. Но чтобы развивать голос, надо учиться петь азербайджанские мугамы.

Для такой науки лучшим наставником мог быть только Айдн Каримов из Кировобада. Он, жена Асмик (армянка) и дочь моего возраста Залина жили в правой половине выброшенной теплушки, предназначенной для перевозки скота, солдат, ссыльных, эзков. В левой части устроилась цыганка Лада Кохан со своим табором в десять разноцветных крикунов от шести до семидесяти лет. Теплушка спряталась от самумов в овраге, ведущем к реке Чу. За ней пониже к берегу в железной коробке жили мои сверстники Лора и Юра Качаловы. Их мать умерла за три дня до возвращения с фронта мужа Алексея. Он потом женился на ее родной сестре, как передавали потом. Дети не знали, что тетя заменила им родную мать.

В 66-м с Юрой встретимся в Ленинграде. Он закончил курс в кораблестроительном, жил у разведенной Лоры на улице профессора Попова в четырехэтажном доме, когда-то принадлежавшем моему деду.

- Ну что? Встретились наконец любовники! - смеялся он, глядя, как мы крепко обнимаемся и зацеловываем друг друга - я и Лора.

Там, очень далеко в степи, с оврагом у реки, как будто вчера, под вечер я и Лора наблюдали на дне размоины Баглая с женщиной. Она, задрав платье, сидела верхом на безногом, краснели ее голые ляжки, они подергались, потом Баглай спихнул пьяную с себя и ускребся к реке. Его любовница лежала на спине в пыли, засыпая, продолжала подбедкивать, пока не утихла вовсе. Вокруг женщины стригли сухие былинки овцы - почти нам в рост.

Лора взяла меня за руку, мотнула головкой: «Пошли тыкаться». Она деловито отломил пруттик, мы сели глубоко внизу за кустами, Лора с видом опытной бабы вставила палочку себе под платице и мне другой конец в штанишки меж раздвинутых ног. Так мы «тыкались», толкая пруттик. «Теперь мы с тобой любовники», - сказала она строго. И всех пацанят с девчонками тоже известила тем же вечером. Взрослые посмеивались. Любовь Баглая звали Семирамидой. Уборщицей работала в зале ожидания.

Через полчаса я и Лора уже носились по Ленинграду в такси, ища убежища. Она посоветовала, что впопыхах забыла расческу. В каком-то магазине я купил ей двадцать разных, какие были. Наконец нас приютил трехместный номер в железнодорожной гостинице, и там всю ночь Лора кричала «и-и-и», подражая Семирамиде.

Вернулись легкие, как пушинки, счастливые, в дедов дом. Там же в двухкомнатной

квартирке обитала моя тетя Нина, к ней после возвращения из ссылки присоединилась бабушка Зофья, но уже без мужа Павла. Его забрали в начале сорок седьмого, он умер на этапе в теплушке от голода, и его с другими трупами зимой выбросили в Ярославле. Местный батюшка при церкви на Серафимовском кладбище с матушкой подобрали его и похоронили, потому что на восточном входе обнаружили крест. Могила деда я отыщу только в 68-м, когда, будучи главным инженером завода ЖБИИК в Череповце, приеду по делам на ярославские заводы. Старик-священник отец Александр и матушка Серафима Олимпьевна еще будут живы и во всем помогут. Серафимовский погост был уже закрыт для захоронений. Это рядом с вокзалом.

К Айдину Каримову меня повел дед Авак, они знавались. С первой же минуты я влюбился в девочку Залину (навечно, разумеется) и выглядел, конечно, как теперь понимаю, полным дураком в ее глазах, когда старался совершать выдающиеся поступки вроде прыжков из их теплушки мимо трапа, притом я говорил очень мудрые слова из кладовой дядюшки Джао.

Короче и точнее, господа! Ни в Питер, ни в Кашин, ни на берег Аракса я не собирался. Мало ли кому чего хочется. Я нацелился на Патагонию. Только в Патагонии у местных племен я сделаюсь великим охотником на китов (нет - тигров!), поражая их гарпуном либо копьем. А пока что тайно копил в дорогу и прятал в камышовом сарае фонарик с перегоревшей лампочкой, уздечку, баллонный ключ от «виллиса», пять дребезгов китайской фарфоровой тарелки (обменяю на лук уже по прибытии на место) и самое ценное - настоящий перочинный ножичек, найденный у чайханы.

И вот я через много бурных лет (сколько это - я не имею понятия), но все равно через годы возвращаюсь из Патагонии, высокий, загорелый, обвешанный кольцами, с небольшим сундуком пиастров. И захожу в теплушку к Залине, бросаю к ее ногам шкуру. Чью шкуру - я еще не решил. Но не важно.

- Ах, Алик, это ты! - закрывает личико платком и рыдает Залина.

- Да. Как видишь. Я жив, несмотря на все смертельные опасности, штормы в океанах и землетрясения на островах. Но ты, коварная, не дождалась меня и вышла замуж за богатого толстого Санакерима! (Сторож на арбузной бахче.) Прощай, Залина.

- Ах, Алик, родители меня выдали замуж насильно. Проклятый Санакерим избивал меня, не давал арбузов, заставлял работать в поле с утра до вечера под палящими лучами солнца... А как зовут попугая, сидящего на твоём левом плече?

- Бибигон, - отвечает попугай.

- Я еще вернусь!.. - обещаю Залине.

На бахче повстречал я проклятого Санакерима, сказал: «Умри, презренный», - молча всадил ему в грудь мачете, три раза повернул (усекаете? из «Мицъри», сцена смертельной схватки с барсом). Да-да-да! Книжки, книжки, книжки. Их количество не поддавалось счету. Ими переполнялись все шесть кривоколенных улочек нашей саманной слободы, высунувшейся в Голодную степь серыми коробочками. Глаза-окошечки в темные ночи гляделись во мрак, отыскивая воображением невольников далекие города, озера, вулканы и пароходы на океанских волнах. Все лучшее из английской, французской, немецкой, испанской литературы, невероятные сказки и диссертации о звездах, нефти, чугуне, лекарствах, выделке шелка и секретах разрывной пули. Над всеми царили Пушкин, Гоголь, Щедрин, Чехов, Бунин, много Лермонтова и смешных фраз из аверченковского «Сатирикона». Речи Кони, статьи «Каса дель Маре». Укладываясь в Патагонию (а Залине из вредности ничего не скажу), я трепетал, меня совсем непонятно каким образом волновало слово «асагарай», к вашему сведению - острога, но зато по-испански.

Рассказы, повести, поэмы, отдельные стихи и хитроумный Шерлок Холмс ходили на базар, в депо, поливали огороды, просили милостыню, ели, спали, плясали, потому что все они располагались в головах их владельцев. У одного Евангелие от Матфея и часть из Иоанна Богослова, у другого «Мой дядя...» У капитана Баглая: «Мешками кровь я проливал, рубли за деньги не считал, тридцаткой жопу подтирал! Друг, дай пять копеек». «Мицъри» устроился сторожем на скотокомбинате. Владелец Лоуренса Стерна кормился охотой на сусликов. Даже грозный старшина Шестопал, когда приходил к Марусе, то имел под фуражкой историю об украденной в ресторане скатерти, где было вышито: «Денег не жалей, Матвей! Пей да дело разумей». И еще он помнил со слов одного ссыльного купца вывеску на трактире: «Ши да каша цена пятак; сегодня за деньги, а завтра так». И первым хохотал, поясняя, что получается-то каждый день за деньги. Многие поэмы умирали, особенно быстро сокращалось количество научных трактатов. Но тексты, пока еще не понятые, впечатывались в мои извилины, ну, те, что предназначены быть до поры хранилища-

ми прошлого.

А когда-то в Куцкудуке на всех имелась одна самая настоящая книга, принадлежала кузнецу дяде Васе. Называлась «История средних веков» - учебник для седьмого класса тоже средней школы. Мне исполнилось три с половиной года, когда странный невиданный предмет оказался в нашем доме. Как - не знаю. Я раскрыл его, подошел к маме, спросил: «Что это такое?»

- Это буквы.
- Зачем?
- Из них складывают слова. Вот буква «В».
- А рядом?
- «О».
- Дальше.
- Во вре-мя...

На третий день я читал. И всегда все написанное уже своей рукой я проверяю, шевеля губами, разбирая по слогам. Например: «Ум-ствен-ные ни-ще-броды», - чтобы машинистка не перепутала чего. И не напечатала вместо «дести бумаг» - двести.

После шестого класса, уже в Армении, я купил учебники для седьмого, в Октябреяне, райцентре. Тогда в любом самом далеком горном кишлаке страны в книжном магазине стопками подбирались абсолютно все учебники, нужные для любого класса. Дети страны учились по одним и тем же книгам, таким по уровню и качеству, какие сегодняшним школам с институтами не снились. Задачник Киселева - 5 копеек. Самая дорогая толстенная хрестоматия - 20 копеек. В ней оказались «Певцы» Тургенева, потрясшие меня настолько, что я перечитал их сразу три раза подряд. Учился в школе я так: прочитывал летом сразу все учебники, решал все задачи, оставалось потом слушать и писать диктанты, сочинения, отвечать на уроках. В остальное время помогал отцу в гараже, а вскоре пришлось и вовсе заменить его за рулем.

Перебираю книжки у прилавка и вдруг! Ударил теплая волна, накатившая через горы с востока из Пет-Пак-Далы - я держал в руках «Историю средних веков». А вот слева внизу «Спор ганзейских купцов» - трое в немецких одеяниях своего времени держат перекрестно друг друга за бороды. Гравюра. Привет мой тебе, дядя Вася. И тетя Маруся Тихонько, поклон тебе. Ты, узнав от отца, что я уже свободно читаю, прислала в Куцкудук подарок - «Календарь колхозника за 1946 год». Его могу пересказать в любой час ночи, только спросите. Про Сунь-Ятсена? Пожалуйста. О том, как танки применяют вместо тракторов в колхозе им. товарища Калинина в Могилевской области Белорусской ССР? Да за милую душу.

А вот фамилии членов нашего сегодняшнего правительства никак не могу запомнить, то же самое, как зовут поюще-пляшущих в «ящичке». Другое дело вождь немецкой социал-демократической партии Бебель, он же Фердинанд, он же Август, р. 1840. Оратор. Написал «О женщине и социализме». Правда, сегодня мы о женщине и социализме знаем все и ровно ничего, как всегда. Спасибо Марусе и за Окаюму. Короче, привет всем встречным.

Скоро небо застеклит воскресный вечерок, он лениво заплывет в наши улочки. Ждут коров с овцами во главе с козлом Буяном. Детишки со старухами подбирают лепехи на кизяк. Здесь даже скот чужой, его прогонят мимо нас в закрытый военный городок и в поселок вольных, примкнувший к станции. Стадо сопровождают до третьего столба, где незримая граница, за которой пастух уже будет ругаться. После скота лопатами разбрызгивают арычную воду, прибивают пыль. За огородами ближе к реке с криками собираются игроки в лапту.

Маруся закипает вместе с самоваром у себя перед хатой во дворе. Все чаще выглядывает через плетень, зазывающе целясь в далекий вокзал, но старшина Шестопал чего-то не торопится. Наконец она кличет соседа Петю и посылает на станцию узнать, почему задолил коханный. Белорус Петя спешит в степь, опасливо озираясь. «Темцюр цара небеснага! (Олух царя небесного!) - вопит вслед жена. - Тибя ж законвоируют!» Невидимый вокзал для нас был общим знаменателем, тем самым местом на планете, где арестовывают, этапируют, там охранники в зеленом с красными околышками и серо-желто-зеленые овчарки. «На заре каркнет ворона! Коммунист, взводи курок! В час последний похорона! Расстреляют под шумок!»

К возвращению Пети совсем жарко у Маруси, хотя она уже перестала мотаться по двору и теперь выжидающе-грустновато глядит на патефон. У калитки притулился Баглай, он прибыл в сопровождении десятка малышни в расчете на остатки мировых кусков

со стола Маруси. Дети стоят рядом. И только маленькие чеченята грудятся отдельно. Они никогда ни у кого не возьмут из рук подачи. «Мы только из-за стола», - вот их вечный ответ. Если Маруся подаст, с ними у реки поделаются остальные ребятишки. Цыганята шакалят нагло, выхватывают, убегают к своим. Баглай дымящейся сигаркой показывает Марусе: мол, Петя идет.

- Они сидят, - докладывает запотевший гонец через плетень.

- Ой! А-а, на своем пидсрачнике у кабинети?

- Сегодня, сказали, не будут. Заняты...

- Очень надо! А я-то, капитан, причипурилась. Да шоп тебя подняло, перевернуло и гэшнуло в арык з какою! Вин же ж не тямить, бо я такой же еднораль як вин сам! (Он не понимает, что я такой же генерал, как он сам!) Шо же ж ты со мной делаешь, гадук?! - и долго по-разному.

Перерыв. Тут вступает в беседу Баглай.

- В лапоть насрала, за ним послала, а он не пришел.

Маруся присаживается рядом на завалинку. Тихо спрашивает: «Капитан, как вы думаете, он меня любит?» - «Вне сомнения. Я за ним наблюдаю. Конечно, любит». - «А чего взамуж не зовет?» - «Маруся, какие теперь времена, сама знаешь».

Она возвращается в хату, выходит, переодевшись в повседневное, наливает Баглаю полный стакан ханжи, подает огурчик. Утощение для Шестопада складывает в марлю, кладет капитану в подол гимнастерки. «Ей-богу, любит, - инвалид выпивает, говорит совсем тихо, - брось ты, Маруся, тебя все любят. И я тоже...» И резко встрепыхнувшись, кричит: «Взвод, стройся!» Дети, обученные им, выравниваются, ждут команды «смирно» и «налево».

- Шагом арш! Ать-два-а, - скачет Баглай сбоку строя, - запе-е-вай!

«Гоп-стоп, Зоя! Каму дала стоя?! Начальнику канвоя! Не выходя из строя!» Спускаются к реке - как проваливаются в иной мир.

Надо прерваться, прояснить, поведать о том, как собирались в одну семью люди, никогда бы не увидевшие друг друга, если бы их не сделали врагами народа в 37-м. Дед мой Павел Рулёв начал торговлю в родном селе Василисово Кесовогорского уезда Тверской губернии. Поднял пятерых братьев. Сам перебрался в Кашин. Там есть улица имени Пушкина, подряд шесть домов - это Рулёвы, Семенычи. Павел развернул дело в Твери. Забрили в рекруты. Служил в Польше, привез себе красавицу Зофью. Из Белостока. Знатнейшая шляхетка влюбилась в делового и оборотистого красавца-гренадера. Так, по возвращении он укрепляется в Питере, где в самом начале прошлого века рождаются две дочери и два сына: Николай, Борис, Шура, Нина. Шура выходит замуж за Адольфа Щица, смазливый немец, появляется Эдик, стало быть, мне единоутробный брат, которого в НЭП и после растят в холе. Павел дарит дочери на свадьбу квартиру на Введенской, неподалеку от собственного гастронома, со всей обстановкой: белый «Беккер», сервизы, мебель, библиотека из Твери - его любимое собрание.

Адольфа арестовывают и вскоре расстреливают. Его мать ссылают на станцию Лежа Вологодской области. (У меня есть сигнатура от склянки, где написано: «аптека ж/д ст. «Лежа», а лекарство выписано Щиц Г.Г. - то есть Гретхен Генриховне.) Шуру Щиц с Эдиком выселяют срочно в Казахстан. Дедушку с женой Зофьей Юзефовной Ясиньской месяцем позже в тот же край. Эти четверо встречаются в Куцкудуке, куда отправляли наиболее опасных, но не дотянувших до вышки. Николая и Бориса спрятали в Кашине дядя. А младшую Нину оставили на попечение Парамонова Никодима Николаевича, приказчика первой руки и старинного тверского друга, он имел квартирку в доме, принадлежавшем деду. Четырехэтажный отобрали сразу после революции. И так, их в пустыне четверо.

Второго моего деда Авака с женой Ануш Аслани, четырьмя детьми (Хачатур, Нина, Геворк, Владимир), шестью старшими братьями Ануш - Асланами (львами) запикивают в телушки на станции Октембер. (Это рядом со знаменитым селом Сардарабад, давшим имя победоносной битве с турецкой армией - «чакатамарт». «Чакат» - лоб, «март» - воин, стало быть, «битва лоб в лоб», если дословно. Шестеро Асланов с русскими казаками были в гуще, от них чудом ускользнули двое пашей - Кемаль и Энвер. Тот самый Кемаль, который потом Ата-тюрк, отец турков, свергший султана, и тот самый Энвер, будущий главнокомандующий туркестанскими войсками в Средней Азии, разгромленный полководцем Фрунзе.)

Как только товарняк тронулся, Асланы, пахари и воины, тут же принялись взламывать воротницу вагона, прыгнули шесть братьев и сестра их Ануш со старшим сыном

Хачатуром, моим будущим отцом. Муж ее с тремя младшими были отсечены в хвосте состава и ничего не знали, только слышали они выстрелы, крики и не понимали, из-за чего остановились в полукилометре от вокзала у Голубого моста. (Железной дорогой связал Александрополь - это Лениканан при советской власти, а до Александрополя и сейчас опять Гюмри - с Эриваном русский инженер, он купил после завершения Панамского канала все будки, стрелки, вагоны, паровозы, мосты, рельсы, проложенные от Атлантического до Тихого океанов, переправил в Армению. Наш Голубой мост всегда потом был виден из окна, я ведь во второй класс пошел учиться в том самом Октябрю, откуда увозили моих предков.) Всех шестерых братьев пристрелили солдаты с местными активистами прямо в садах на земле, бывшей прежде их собственностью. Ануш сумела добраться до села Кялагарх, где ее потом не трогали, считая, что их род Асланов уже уничтожен и не возродится. А сыновей убитых отцов не стали брать, надеясь перековать в комсомольцев. Их насчитывалось двенадцать. Всех называли по именам апостолов, но на свой лад; Петр - Петрос, Павел - Павстос, Симон - он Симон и есть. Их по очереди взяли на войну, живым вернулся только Симон, тихо работавший инкассатором в банке. А мой отец был некоторое время шофером полуторки с будкой; они собирали деньги по сельским магазинам. Но все будет происходить после войны и потерь.

В Куцкудуке Павел и Авак заняли брошенную овчарню. Хачатур влюбился в Шуру, я родился в 1939, в ноябре. Теперь в общей семье стало нас уже девятеро. Мы сделали самым большим родом после Масхадовых, Удуговых, Бараевых, однако чеченские семьи вскоре истаяли. Но остались живы все десять аварцев рода Румовых и семеро осетин Гергиевых.

Детей заводил в Куцкудуке было настроено запрещено. Маму в Новотроицк увез священник, отец Виталий, в их доме при церкви я и появился. Зачем? Для чего? С какой целью меня Бог послал родителям вопреки законам государства, подарив пустыню в качестве родины? Господи, спасибо Тебе за все, что Ты для меня сделал и оберегаешь от любых бед по сю пору.

Я существовал вне закона и незаконнорожденным. Отец с матерью расписались, когда мне уже следовало получать паспорт. Зато я имел четыре свидетельства о рождении. Мать записала на себя - Александр Адольфович Щиц, дед Павел выправил в Чимкенте на имя Рудёва Павла Семеновича, Авак в Алма-Ате сумел выкупить метрику, где я Андраник Авакович Аслани, отец Виталий первым зарегистрировал на свое имя в Новотроицке - Александр Витальевич Белоцерковский. Во всей этой кутерьме, когда ссыльным стали выдавать паспорта, мать по ошибке обозвали Ивановной, так что позже, когда вновь уже насовсем забрали деда Павла за «злостную агитацию», то его дочь оказалась по документам ему посторонней.

А паспорта врагам народа стали выдавать в сорок третьем, потому что их уже забирали на фронт - от 18 до 50 лет, большинство - навсегда. Они уходили, а где-то неведомые «прекращали им возраст», как с тоской говорил о своем старшем сыне дядюшка Джао.

Значит, читать и писать я научился в Куцкудуке, петь и молиться - в Новотроицке. Общаться и дружить только со взрослыми да стариками опять же у тех двух куцкудукских колодцев на всех языках: русском, казахском и потом на остальных. Вот причина, как я понял гораздо позже, по которой ни один сверстник мне интересен не был. Все, что они сразу понимали, проходило мимо непостижимым. Зато сложнейшие вещи и ситуации мне сразу становились настолько ясны и очевидны, что это само собой отделяло и уводило от всех, занятых повседневностью, общим копошением в мусоре быта.

Лет до пятнадцати я страдал и пытался как-то объяснить людям мотивы своих действий, уточнять и упрощать сказанное, однако позже смирился, свернулся, привык, убедившись, что даже родня половину из сказанного не понимает вовсе, а остальное воспринимает неверно. Жаловаться не на кого. Конечно, жить в одиночестве обидновато вроде бы, но временно, по молодости. Я так и проживу долгую жизнь, инстинктивно выбирая дорогу, подчиняясь постоянно душевным порывам, ведомый неизвестной силой, пока наконец не додумаюсь до главного: инстинкт - это генетический ум предков, опыт окружающих, они его передают примерами и рассказами.

Всегда умело и с достоинством войдя в разговор, добиваешься вскоре же расположения к себе, расколов человека на улыбку. Он все интересное и веселое из своей жизни выкажет, оставив мне это богатство (не всегда большое, но ценное обязательно), а там, когда из снятых сливок его повести я взобью масло и намажу на хлеб уже своих сюжетов, сам собеседник уйдет в обрат, в общий кувшин, но я никогда его не забуду, всегда буду сочувствовать, и помогать, и печалиться о нем, как близком. Все это и есть тот самый ин-



стинкт, на него-то и накладываются чувства с проживанием твоей души, а все замешивается так немислимо круто и неповторимо. Настолько не похоже на все похожее и понятное сразу, что понимаешь: в таком вселенском клубке способен найти начало и конец нити только Он. Тот самый Один, кому все видно сверху.

И вот однажды я заметался, не понимая, что происходит со мной, поиск выхода закончился тетрадкой в клетку, к ней потянулась рука на складе райсоюза, куда пришел я, посланный матерью, чтобы дожидаться отца из дальнего рейса. Дядя Коля, кладовщик, отец сопартника Толи Ермакова, дал мне химический карандаш.

Меня трясло, а я писал о некоем второкласснике, убежавшем из дому к чужим, добрым, понимающим его людям, они поразились моим знаниям, восторгались умением ремонтировать машину ГАЗ-51. Приехал отец. Уже наступила ночь. Я писал в будке сторожа. Ушли домой. Никто ничего не спросил: где я? Не искала мать. Что ты писал? - не поинтересовался отец. Я начинал становиться писателем, но никто не заметил. Никому никогда не было интересно, в самом деле, чем занимается и чем дышит всюду читающий толстые книги ребенок.

Вся жизнь моя - это неиссякаемая готовность помочь, угодить, все отдать, стремление заслужить похвалу. Я ничем не соблазнился, потому что всюду приходил степным дикарем, не знающим, например, о существовании магазина, где продают рыболовные крючки. Сам после четвертого класса в селе у бабушки Ануш сходил в колхозную кузню, обученный дядей Васей-кузнецом, отковал крючки, сплел из конского волоса леску, после полудня в речке поймал первую рыбу на удочку с удилицем из пересохшего гранатового дерева. Счастье - принести много рыбы на виду у села и отдать любимой бабушке. Позже я сбивал куропадок и диких голубей из лука, а еще раньше сшибал из рогатки десятками египетских скворцов. Ели все, но никто так не радовался моей добыче, будь то мешок травы, сушняк на растопку или сразу три волка, как бабушка моя Ануш.

Обучаясь тайно в духовной академии по велению католикоса, закадычного друга деда Авака, я в пятнадцать лет написал магистерскую диссертацию о синопических Евангелиях, но еще ни разу не видел кино. Первый фильм в жизни в клубе пограничников - «Веселые ребята». Зато потом... Хотя еще в доме для детей врагов народа мы все знали наизусть «Аршин-малалана» с Рашидом Бейбутовым. О том, что в нем играет и поет именно Рашид Бейбутов, нам сказали вохровец и повариха. Странно, да? Фильма не видели, а знали наизусть. Ради хоть какой-то последовательности вернемся в Куцкудук.

Вы уже разобрались, что мы сначала осели в нем, потом разрешили жить в Новотроицке, в поселении вокруг Главного базара; на станции Чу, в райцентре; в Джамбуле (уже областной); через Москву (а здесь уже все пошли врассыпную - дед Павел с бабушкой Зофьей уехали в Ленинград, Геворк, Володя, Нина увезли деда Авака в Кялагарх, отец, мать и я получили разрешение жить в Калинин, куда уехали, оставив брата Эдика в Москве, потом перебрались в Азербайджан (Кировобад), после Ереван, Октямберян, наконец, село Шайрар, где уже все были свои ассирийцы, потом снимали комнаты в разных селах). Тьфу, черт, мы все время снимали углы да комнаты, пока я в тринадцать лет не получил в центре города Октямберяна лучший участок земли «по распоряжению», как я прочел в бумаге в 1987-м, когда перед землетрясением продал его, а мать навсегда увез в Ленинград. Иосиф Сталин не позабыл меня и наградил автомобилем «Москвич-402» (это «опель-адмирал») и землей. Ну, о встрече с ним, обеде, подарках я уже писал в 4-м выпуске череповецкого альманаха «Воскресенский проспект», так что тему вождей пока оставим.

Теперь последовательно про кино. Отец еще в юности удрал из села, где его женили, в Горький на автозавод, там познал все виды автомобилей ГАЗ - это «Форд-А», все было американское, только резьба русская, правая, как мы привыкли, да номера ключей тоже наши, четные. «ГАЗ-А» - «полуторка», «ГАЗ-АА» - легковик-ландо с колесами на спицах, «ГАЗ-2А» - пикап, ну, и так далее. Вернувшись домой, он, как уже редкий специалист, «уста Хачик» («мастер»), возил на редком тогда «паккарде» по всей республике великого поэта Егише Чаренца, расстрелянного впоследствии. Моя работа «Об искусстве перевода» будет посвящена анализу переложения одного стихотворения Чаренца на шестнадцать языков (литинститут, курсовая). В ссылке отец собрал на окраину Куцкудука все остатки ГАЗов, имевшихся в районе, таскали верблюдами. Восстанавливал бортовой грузовик и легковую, так он и челночил за грузами по южному Казахстану; распоряжалось районное начальство всех типов, которое возил уже на легковике по служебным и личным делам. При нем учились и стали шоферами младшие Геворк и Володя. Нина воспитывалась при матери моей бабушки Зофье. Эдик страдал плоскостопием, ходил подпрыгивая,

косил на левый, говорил плачущим тенорком. Над ним потешались: «Эдя, скажи «чайник!»»

- Чайник!

- Твой папа начальник!

Видимо, такое считалось в чем-то оскорбительным для человека, если папа - начальник. Эдик плакал и бежал к матери. Вся ее жизнь по гроб так и будет посвящена ему. Он останется малограмотным, в Москве забреют в стройбат, отправят в 51-м поднимать целину на Алтай, где он благодаря немцам выживет, оженится, народит выводок детей, стало быть, они мои племянники, что ли.

Володя с Геворком помыкали Эдиком, но, я видел, любили и защищали. Геворк станет отменным шофером, «украдет» проститутку Назан, их дети все будут в нее - пустые, ворватые никто, хвастуны и бездельники. Геворк умрет в тюремной больнице в 65-м.

Володя погибнет в танке, сторит механик-водитель в Западной Украине, где войска будут в 53-м добивать бендеровцев. Нина, моя добрая красивая певунья тетя Нина, выйдет замуж за кондитера из Сардарабада, соседа тетушки Анкин, родит двух сыновей, в живых останется Рафик - виноградарь с потомством, младший Рушан попадет служить в Вологду, я, будучи неподалеку в Череповце, стану его опекать и постоянно выручать из всяких переделок - пил он и дрался, оставил красавец с жемчужными зубами двойню, вернулся к матери, где и умер вскоре, съедаемый раком. Его отца толкнул под поезд. Тетя Нина спутается с председателем колхоза, ее убьет старинным ножом в сердце деверь - горбун Мнацакан. Добрый и весь переполненный юмором. Где он?

Похожая судьба постигла и все остальные мои роды: Рудёвых, Ясиньских, Асланов - они «упали». Все росли обычными человеками для быта, какой складывался вокруг них. С общими ценностями и желаниями замученных жизнью людей. Все это поражало меня, мучило. Я маленьким полагал их значительными, необычайно высоко ставил и почитал, пока не стал понимать, что они хороши только в одном своем деле. Авторитет их зиждился на преимуществе возраста - некоторое время я верил всем их объяснениям. «Что это?» - спрашиваю у матери о громе и молнии. «Пророк Илья мчится на колеснице и мечет стрелы». И все остальные, как стоворились, - колесница грохочет, Илья, огненные стрелы... И только бабушка Ануш, не умевшая ни читать, ни писать, благодаря своей природной гениальности и могущая делать все и видеть любого насквозь, сказала: «Не слушай одинаковые толкования этих ничтожеств». Я не удивлялся ее характеристике, зная, как она искренне и горячо, а внешне спокойно презирает всю родню свою, хотя, конечно, жалеет, давно усвоив, что человек слаб. «Даже Бог слаб, - говорила она мне. - Он очень торопливый и самовлюбленный. Разве можно такую сложную вещь, как все сущее, создать за семь дней, да еще и хвалиться: «Хорошо!»? Ему-то хорошо, а вот нам как? Любое дело и обстоятельство надо знать абсолютно точно, чтобы избежать неприятностей. Ты же, Алик, не попугай, чтобы повторять заученное. Между прочим, люди попугаев любят за то, что те говорят ожидаемое».

- А дальше, Ануш... Насчет грома и молнии?

- Алик, пойдем к Яковлеву, пусть он все объяснит как нормальный.

И мы удалялись в пустыню на местный лесоповал. Профессор Дмитрий Иванович отложил в сторону кривой саксаул, выломанный-выдранный из дерева молодым напарником Костей-Кубанцем, корягу ученый обязан отнести до узкоколейки, там их погрузят, потом вдали за широким полукругом степного горизонта другие уложат кривые сучья-выросты в бурты - высокие кубы дров (позже окажется - на свете имеются дома выше одного этажа, похожие на складированные запасы саксаула для паровозов), за их побатальонным парадным построением пряталась низкая вечерняя луна. Таилась угрожающе-красная и молчаливая. Однажды в предночи я видел близко одиноко воющего степного волка на фоне паровозного фонаря слабой луны, поместившейся меж двух черных вертикалей саксаульных строений. Я залег. Волк был размером чуть меньше светлого проема. Позже он умолк, продолжая глядеть в луну, задрал морду.

Про воющего волка в проеме буртов и заднюю декорацию с луной в звездном небе я сочинил и нарисовал словами. Но все по отдельности я видел на самом деле. В этом заключается искусство писателя. Вам же остается верить и впечатляться либо нет. В этом заключается искусство читателя. А в общем, речь идет о вере в Слово, облаченное плотью, когда плоть облечена Словом. А цель писателя - виданное и невиданное превратить в Любовь, дающую Надежду. Чтобы Вера жила.

Когда мне обрыдло заклинание патриотов - вопленниц «Россия всю Европу хлебом кормила», поднял все о пшенице, ржи, овсе с первого упоминания у египтян и через Биб-

лию по наши дни, на работу ушло четыре года, собрал книгу «Первое добро жизни» (так Андрей Платонов назвал хлеб), в ней, как в малой энциклопедии, знания людей предшествующих. Да, Россия продавала пшеницу, даже вручную заставляли девок с бабами перебирать зерно. Поставляли помещики на 4,2 миллиона золотых рублей в год, при бюджете страны в 3,5 млн. Купили на 1,2 млн. нужных сельхозмашин у немцев, остальные потратили на предметы роскоши и безделушки. А голод ходил кругами по губерниям империи, уже с Покрова переходили на крапивные щи. За счет пустого желудка кормили Европу, скабрзные статуэтки покупали с чулками ажур. А потом ахали: «Чего же крестьяне жгут нас и убивают? Мы, господа, Россию потеряли!..» Сначала - совесть, потом все остальное.

«Слова несведущих несут войну», - написал великий туркмен Руми. А уж дела тем более. «Распни его!» - орала толпа, уничтожая лучшее творение Отца. Так что нечего удивляться и пенять на его карающий гнев, обреший род людской на самоедство, повергающее в прах и тлен неблагодарных жлобов. И мучает Он целые народы слабоумием, насылая на них сонмища цезарей, чингисханов, наполеонов, гитлеров, сталиных и разных кровососов помельче, посредством их терзая, унижая и втоптывая в грязь грешные душонки, способные только бояться и хвалить. Он мстит за Сына, внедрив в сообщества первенство происхождения, власть денег, превосходство недостойных.

И только песня спасает работника, когда он надрывается. Русские - самый печальный народ, судя по тому, как поют; они всегда и герои своего времени, и лишние люди одно временно - вот суть их необычного характера и в целом, и в лучших образцах.

В Калинин морозным снежным днем нас построили во дворе, затем класс за классом повели цепочкой по старинному чугунному переходу над путями, где внизу пшикал паровоз «ИС», вывели и построили в первые ряды народа. Здесь, оказалось, устроена коллективная виселица. Зачитали приговор военным преступникам. Повесили семерых. В глаженных мундирах с погонами, от лейтенанта до генерала, они дергали ногами в начищенных сапожках, извивались лампасы. Распоряжающийся велел кричать «ура», но люди стояли молча. Фамилия одного была Гроссе.

«Плохо быть немцем», - я первый раз в жизни сделал краткий вывод. И навсегда решил стать русским. И не пожалел ни разу. И не отступился, хотя и понял потом: как это невыносимо трудно. С каждым годом приоткрывалась из тумана моего невежества гора тех знаний, какими надо овладеть, чтобы сделаться истинно русским. Первые сто лет самоотверженной учебы только приблизят тебя к подножию русского Арарата. Половину скорбно-счастливого пути я уже преодолел.

Нас вернули в общий зал, где уже сидел баянист. «Какую песню петь?»

- «Варяга»!!!

Я услышал ее впервые, хотя легенду о моряках, открывших кингстоны и ушедших на дно вместе с кораблем, знал. Настанут времена, и прояснится, что слова и музыку написал учитель Грейнце, перевела с немецкого О. Студентская, что специально никто не тонул, а подвиг русских моряков заключается совсем в другом. И что часть убитых была сожжена по местным традициям, так что их имен на кладбище нет. Моряки с торжествами прошли от Черного моря до Питера, царь им устроил пир. Стала понятной фраза железного канцлера Бисмарка: «Это не я собрал Германию, воссоединил земли австрийский учитель». И Рудольф Грейнце, восхищенный героизмом экипажа «Варяга», сразу понявший великое воспитательное значение подвига для школьников, и другой учитель, создавший раньше «Дойчланд, Дойчланд, юба аллес», - имел в виду вовсе не «Германия превыше всего» над остальными, а важнее всего Германия как целое. Больше же поразило почтительное и восторженное отношение русского общества к своим вернувшимся пленникам. И это несмотря на позорное поражение.

Как-то друг мой Петрушин, попавший молоденьким офицериком в плен, три раза уходивший из колонны и возвращавшийся в нее, потому что кормили, прошедший через анекдотических партизан Франции, имевших телефон и электричество на базе, потом ушедший в итальянский отряд (он видел убитого Дуче с артисткой-любовницей, они попались случайно, у них партизаны попросили бензину, заглянули в легковик и узнали Муссолини, - трупы валялись в канаве, так что повесили его в городе вниз головой уже мертвого), а после войны пробывший в Париже больше года, куда вошел вместе с американцами, так вот он рассказывал о ликовании французов: они встречали своих военнопленных, а те, лагерные полосатики, торжественно шли по дорогам, и радио подробно извещало, через какой город они сейчас идут. Герои-французы.

Виктор Петрович Астафьев и его жена Мария Карякина тащились от самой границы до Урала с двухнедельным пайком и толикой последних деньжат. Оказывается, на Курс-

кий вокзал впускали всего три эшелона. Всех высаживали далеко от Москвы (ого, роман-то Ажаева так и назовется, но он будет о трудах на Дальнем Востоке).

Столица всей Земли потрясла гигантской буквой «М» над строго-пышным дворцом, где на дубовых дверях-вратах желтела прилепленная хлебной жамкой бумага: «Босиком в метро заходить воспрещается».

Мой друг Сергей Стельмашук, лучший в мире закройщик и портной, сшил первый экземпляр шелкового флага города Череповца. Флаг придумал и разработал я. А мать Серёги девчужкой сбежала с торфоразработок. Ее с подружками нашел на запасных путях добрый бригадир-вербовщик. Он их накормил, купил каждой парусиновые тапки за 3 р. 40 коп. и повез на метро в общежитие. Понятно, у босоногих эскалатор может ступню срезать, как я догадался позже. А вот на днях мне Серёга жалуется: «До чего у вас код в подъезде сложный, не то что у Женьки-птицелова - сто сорок пять!» - «У меня же проще - двести сорок...» - «А я, Саныч, малолеткой сидел по сто сорок пятой Кодекса СССР».

В Москве (лето после первого класса) мы с вещами сгрудились на площади перед Курским. Бывшие офицеры (видимо, москвичи), либо просочившиеся в столицу, толпами перебежали от пассажира к другому, предлагая услуги носильщиков, в руках у каждого собственный ремень, они их продевали в ручки чемоданов и на плечо! - в руках чужие узлы. Появился голубокительный милиционер, и боевые товарищи бросились врассыпную. Один, пробегая мимо нас, кинул с матом офицерский ремень на асфальт. Я подобрал его и повесил на ограду перрона. «Пойди, заberi, собака все равно возьмет себе», - велел отец.

(Разрушенный Ленинанкан. Ударил мент лающую собаку. «Не скули, - успокаивает хозяин, - ну, старший брат, ну, дал пинка...») И еще из Казахстана: «Ду мартэс тэ милица?» - «Ты человек или милиционер?» А чтобы пройти к поезду, тогда надо было покупать перронный билет за 40 копеек.)

Я забрал настоящий кожаный фронтальной ремень. А еще зимой в Калинин в танке, куда я пробрался через нижний люк, мной был обнаружен полускелет обмундированного немца, правый рукав куртки лежал на штуче сукна. Я снял с убитого кобуру от «люгера», его иначе называют «хочешь мира - готовься к войне», или парабеллум. Великолепный темно-синий советский драп мать поровну поделила себе и двум соседкам. Потом из него, как тогда говорили, «построили» пальто моему совсем уже больному отцу.

А сейчас входящие ко мне в дом могут сразу увидеть кобуру на ремне, повешенную на гвоздь. Лучшая в мире кобурная фирма «Отто Sindel, №1042», так что можно узнать имя владельца, мародера-чужанина. А ремень русского победителя - безымянный.

Виктор Петрович на истае жизни все-таки написал почти всю правду о жуткостях войны, он знал, что никому, никогда, ни за что, ни за кого не хотелось гибнуть. Жизнь, как и смерть, должна иметь глубочайший смысл. Почти сознательно гибнут те воины, кто устал, отчаялся, потерял насовсем интерес к проклятой жизни. Но даже к мстителям за родных, за свой двор и речку, но даже к обуянным ненавистью к зверствам вторгшихся вражин смерть приходила неожиданно, вдумайтесь в слово - он ее не ждал. Убивало.

Бесспорная правда, что о гражданской совести человека можно судить по его языку. До его исхода из Вологды виделись мы с Виктором Петровичем всего два раза, на тех писательских собраниях, где меня с удовольствием и в аппетит не принимали в Союз вологодские завистливые пошлые самоеды-почвенники из пристегнутых к Василию Белову. Я молчал, думал о своем, после в коридорчике он услышал моих две-три фразы. Он просто наблюдал за поведением неизвестного ему человека, скорее всего, от разных околелитературных дам наслушался легенд, а уж сплетни тоже поставляла разная мелкота, копившаяся за хлебосольным и пьяным столом богатого прозаика: за тем похожим на озеро красным столом в квартире первого секретаря обкома - Дрыгин Анатолий Семенович отдал ему свою, переехал в общий партийный дом. Астафьева соблазнила мнимая исконность Вологодчины, якобы гнездо единомышленников и хранителей Руси. А попал, как потом оказалось, к обычным деревенским жлобам, в такую среду, где Николая Рубцова гнобили и, напоив, сдавали в вытрезвитель.

На десятом году жизни в столице русских деревень, где мир да лад, судя по растиражированному фольклору, Астафьев, задерганный грязнейшими наветами сплотившихся коллег, перебирает мучительно всех людей и только одного выделяет в уме и шлет телеграмму в Череповец: «Саша, приезжай. Ты мне очень нужен».

На четвертый день мы стояли вдвоем у посадочного входа в хвосте самолета. Все пассажиры уже рассеялись. Поле. Пекущее солнце. Вдали за оградой его жена, дочь Ира с внуком Витей, сын с беременной женой. Вещи накануне отправил я контейнером по «железке» в Красноярск. Обнялись.

- Помоги Марье собраться в августе. А сейчас, прошу, объясни ей, почему я уезжаю.

Первое письмо из Овсянки было написано мне. И четырехтомник: «Саше Хачатряну, единственному на свете человеку, пришедшему мне на помощь в трудную минуту».

Опечаленный навеки воин, израненный и опаленный желчью смертей, распознал и выделил мою единственность. Мы оба говорили на одном языке, слова произносили старомосковским говором. Он его обрел в Астрахани, у меня был родным. Еще Виктор Петрович горько сетовал на то, что так мало прочел в нужное время. Старался жадно наверстать здоровым и покалеченным глазами, впитывая строки единокровников. Он почитал просвещенность, как и Рубцов. А остальные из пристегнувшихся к литературе, как сговорившись, долдонили и требовали, обидчиво скривившись: «Будь проще, Саша». Они происходили из разных деревень и были слепо уверены, что только им держать монополию на русскость, «деревенскую» поэзию и прозу. Их вожаки сражались с западничеством «Нового мира», добывая большого Александра Трифоновича, а только он и делал писателю честное имя. Выбирая большую дорогу Белову и Астафьеву. В те годы я как-то в присутствии Николая Борисовича Томашевского, учителя и друга, прочел: «Откуда вздоры да которы? Предавши вольные просторы, сидят в берлогах, дуги гнут! Но позабыли русопеты, коль шоры на глаза надеты, на шее тут как тут хомут, а по спине гуляет кнут».

- Александр, вы - порочный человек! - ткнул пухлыми пальцами Твардовский. - Николай Борисович дал мне прочесть вашу повесть.

- В чем же проявляется моя порочность?

- Ваша скромность, закрытость, откидыватость, что ли. Вы ничего никогда ни у кого не просите. Почему вы не печтаетесь у меня?

- Или я печтаюсь, или мы - друзья.

После такой беседы он еще больше меня полюбил, что мной ценилось выше публикации в его журнале.

Мной с ходу отторгалось не только внезапное, а значит, непонятное, непривычное, а точнее, если все вместе, - чужое и чуждое моей природе, такое случается - нет, я безо всякого раздумья, сомнений, прикидок и взвешиваний, мгновенно на природном уровне, звериным чутьем руководимый, прыжком отходил в свои джунгли, горы, степи. Некто высший заложил в меня предельную сверхчувствительность, осторожность, никогда не дремлющую настороженность. Никогда еще я не расслаблялся и не страдал оттого, что не знаю, не понимаю, не чувствую праздников, когда все счастливо готовятся к ним, а после славно веселятся. Наверное, потому что не знавал и не видывал игрушек с елками, а может, и по той всегда сопровождающей причине, что впереди, хоть завтра, хоть всегда, нависали обязательства и ответственность, которые я сам же создавал, искал, взваливал на себя в постоянном состоянии человека, давшего когда-то слово и решившегося всегда мучиться и сострадать. При любом раскладе еще тому способствовало врожденное отвращение ко всему пошлому, бездарному, «контрафактному», как теперь говорят все, живущие в нашем новом контрафактном государстве. Раньше множество подстраивалось и поддельвалось, но ничего никто не поддельвал. Боялись, а не то что были паиньками. Неужели ж, на самом деле, кнут да хомут так необходим для мирных стад? И тут тоже кому-то счастье быть волком в овчарне, он весь в крови получает наслаждение - и даже эстетическое.

Словом, бессознательный выбор спасает человека, а любой его поиск - это непроявленный путь к познанию самого себя. Мудрость потом будет ковать самые надежные мечи, плуги, шпоры, перья.

Астафьев матерился - вот и выжил. Один из очень многих.

Вот и я в Куцкудуке уцелел, хотя мне радовались, обожали, боялись. Я пророчествовал без просьб и понуканий, а между своими заботами. Точно день в день приезжал Олжас из рода Серкебая, оставив левую руку на память войне. А ведь похоронка пришла (представьте образ: пески, одолевая барханы, идет сама) еще в апреле. Серкебай-апа дарит мне сапоги, чапан, вышитый кушак.

Собираясь в дорогу по важному обстоятельству, люди делают крюк в надежде встретить меня, увидеть на плоской кровле возле старого мазара, потому что встретить меня - к обязательной удаче и по сей день, кстати.

Я заболел, лихорадило даже под солнцем, бабушка Ануш постоянно сидела в изголовье и пела знакомые древние песни, как позже выяснилось, на языке Христа. «Что случилось с тобой, Алик?»

- Меня арестуют и увезут. Уже осень.

На третий день в час пополудни все собрались встречать полуторку отца. Он вышел

черным. С ним синий милиционер Керим. Одно дело, если я существую и все об этом знают, тот же дядя Керим. «Но другое дело, - сказал он, - когда написана большая бумага». Ее нацарапал обученный грамоте мамой родной дядя Геворк. И в будущем до самой смерти он будет писать на всех своих доносы. Его убивали, но выживал и свидетельствовал.

Накануне под звездным небом у костерка старик Масхадов сказал: «Если тебя спросят, куда пошел тот или иной человек, всегда отвечай: «вверх». Или «вниз». И больше ничего. Он горец. А какие вершины с долинами на плоской окружности? Лет через десять я сокращу ответ об ушедшем куда-либо человеке до универсального и более скрыто-отстраненного «есим», с древнего на чисто русский - «я в нетях» или, хотя и неправильно, - «без понятия».

Отец за руку, считай, вкинул меня в кабину, конвоир захлопнул дверцу, меж кожей и мундиром, держась за неработающий ручник, поехал я в другую жизнь.

Через сорок лет подарят мне нулевой УАЗ военного образца. Сяду я за руль, но долго заводить не стану, а буду глядеть на рычаг ручного тормоза. Тот самый от полуторки. С тридцать второго года ничего не изменилось, как была круглая железка-трубка с отливом и гашеткой сверху, так осталась для остановки в экстренных случаях или чтоб никуда с места не тронулась машина.

А тогда мы запылили в сторону, где существовала еще не виданная мной железная дорога с проводами. За полуторкой в пыльном облачке кто-то бежал. И только бабушка Ануш тихо шла. После все отстали, но она все шла и шла босиком в черных одеяниях под темной шалью с передачей в белом узелке, пока не оказалась совсем одна на перегретой солнцем пыльной колее. К закату она достигла поселка Мэрке...

Рассказывали, как Маргарита Семеновна Миллионщикова, ах-ах, совсем парижанка, сказала наставление: «To put the foot down flat» (ставить стопу плоско, т.е. браться за дело решительно), - но тут же сорвалась на крик и выдала очередь площадных ругательств, безбожного сквернословия, завершив отборнейшими сочетаниями из блатного и конвоирского жаргонов. «Encules!» (Педерасты!) - бесилась Маргарита. Она училась в Сорбонне, муж, важнейший русский лесопромышленник, завершил курс в Технологическом в том же Париже. Там невесте на свадьбу подарил кольцо из конголезских бриллиантов бельгийской огранки. На сборы при аресте давали четверть часа. Она сумела утаить родной подарок и привезти в ссылку. О бриллиантах порассуждаем через два года...

В замкнутом воздухе древней крепости располагался потомок хана Кучума капитан Ибрагимов Нигмат. Если бы я знал, что Нигмат Ибрагимов, но совсем другой татарин, сочинил «Во поле березонька стояла», то меньше бы боялся пузатого человека в синей форменной майке и черных галифе с болтающимися завязками - начальник детского дома вышаркивал из своего обиталища в тапках на босу ногу, заботливо и привычно крошил хлебные куски горластым индюкам возле крыльца, так же привычно, добравшись до середины нашего строя, лениво жмурясь, спрашивал: «Вы, сволочи, знаете, что висите на шее у народа в такое тяжелое время, когда мы сражаемся с фашистами, а?»

- Так точно! Знаем!!! - отвечали сорок два врага в возрасте от четырех до пятнадцати лет, мальчики и девочки в черных накидках или же куртках, как точнее назвать висящее на нас одеяние - не знаю.

- Плохо слышу... Громче...

- Так точно!!! Знаем!!!

- Запевай, - приказывал герой, сражающийся с фашистами.

Первым номером шла любимая песня вождя всех угнетенных «Замучен тяжелой неволей». Второй шла любимая песня товарища Сталина «Сулико». «Где же ты, мое Сулико-о-о!» - выводили враги-иждивенцы. Завершалось утреннее построение любимой песней товарища начальника. Что-то полублатное с уклоном в каторгу под названием «На сороковой версте».

Переключка. Список читал пожилой инвалид Самусенко. Его жена вела оба отряда в столовку. А капитан вновь обращивался к любимым индюкам либо, что происходило чаще, испуганно и самозабвенно чесался спиной об угол веранды, куда к этому часу выходила толстая жена его в цветных шароварах. Потом она поливала цветы, какие я здесь увидел впервые, цветы в горшках были выставлены на подоконнике, назывались они геранью. Список вещей, слов, имен пополнялся. Я богател. Почти каждая койка разговаривала к ночи еще и на языке далеких отсюда земель.

Над вторым этажом дощатой казармы имелся чердак. Из его окон мы смотрели кино. Наша крепостная стена, в ста шагах - такая же, за ней в обнесенном прямоугольнике бывшего караван-сарая - летний кинотеатр под черным небом. Нам была видна только верх-

няя полоска экрана, какие-то сполохи света, но звук, но слова, но песни...

«Ах ты, моя дорогая! А-а-ах, золотая!» Или: «Ах, спасибо Сулейману! Он совет хороший дал!» И вообще: «Аршин-малалан! Хожу по дворам!» Где он там ходил, зачем ходил, куда ходил - мы не видели, но знали каждое слово, какое последует после очередной песенки. «Один мулла, головка сахару, три рубля денег и делу конец!» - веселились герои, смеялись зрители. Женский голос: «Дэнги е-ест?!» Мужской: «Ест-ест!» Женский: «Дэнги ест?» Мужской: «Ест-ест!» Женский: «Дэнги ест? Многа их?!» Мужской: «Хватит нам на дваих!» Женский: «Дэнги ест, вийду я!» Мужской: «Ах ты, козичка мая!»

Я понимаю и принимаю, что сегодняшнему человеку совсем неинтересен быт и любые страдания минувших людей. Но мы-то существовали и ждали хоть какого-то будущего на завтра и на потом.

А потом во двор заехала «Эмка», двое пьяных, синий и зеленый, криво с выпендрежем выставляя сапоги, выволокли молчашую от ужаса Факию. Утром ее привезли и выбросили у караулки. Истерзанную, окровавленную. Ей не было четырнадцать. Через пять дней Факия повесилась на чердаке. Мы больше не смотрели кино. Потом узнали, что насильники в больших чинах, они из машины не вылезали, но одного, полковника, зовут Рахим Колоев. Мужчины ездили в Джамбул, но убить его не смогли, так и вернулись.

Потом была Победа, в степи, 11 мая. Под конвоем вывели и нас. На митинге говорили речи, стреляли в воздух по команде, нам выдали по плитке кунжутного жмыха и увели назад в ограду. В тот день мы и решили бежать. Сансызбай по прозвищу из-за хромоты Кильдибаш, он старше меня на год, Данилко Клыч, или Синока, самый взрослый из нас троих.

В крепости древнюю глину давно растолкли на огородные грядки. Арбузная бахча занимала дальний край. Там разбрасывалась жменями влажноватая земля из подкопа, она тут же высыхала и делалась такой же серовато-желтой. Все отряды знали до сентября про подкоп, но никто не донес, у всех за страхом пряталось чувство грядущей свободы и для них. «Это не вы бежите, это мы бежим», - сказал готовивший нам заточку в путь мальчик-грузин Тенгиз.

Уже в августе за дело взялись родственники и близкие люди с железной дороги, опытные в побегах. Уползли мы в ночь с пятницы на субботу. Трое суток отлеживались, согласно плану, под кроватями в доме машиниста паровоза дяди Васи. У них сын умел рисовать картины маслом на дверях - «Три богатыря», «Мишки в лесу». Потом на «кукушке» нас забросили к мосту возле озера, и мы там растворились в темных камышах. Шли только ночью. И все бы шло, как и задумывалось. Но мы наткнулись на кунжутные склады, огражденные колючкой с вышками по углам. Залегли за бугорком в траве. Синока предлагал и настаивал своровать кунжутного жмыха либо семян, если повезут на телегах.

Потом нас заметил часовой и выстрелил. Синока лежал между мной и Кильдибашем. Синоке разнесло голову на кусочки. Нас обрызгало огненной кровью и мозгами. Потом за ноги мы утащили Синоку подальше в пески и там закидали песком - загребали его ручонками, как воду черпают играющие дети. Потом ушли мы в глубину степи, где надо было отыскать дорогу на Мэрке, но вышли на следующий день опять же к чугунке возле решетчатого моста. Здесь наконец-то нас и нашли кочевые казахи. Кильдибаш и я обнялись и разделались: его взяли в предгорье, меня завезли в Куцкудук. Но там я никого из родни и других ссыльных уже не застал. Все, кроме четырех местных семей, переехали в поселение возле Главного базара. Потом пришли бабушка Ануш и отец Виталий. Так я снова оказался в Новотроицке, где никуда не выходил и читал Евангелия. Говорили, что нас не особо ищут из-за убийства Синоки. Так и оказалось.

Потом все стерлось, переместилось, ушло, растопилось в жару - наконец-то я впервые заболел и, видимо, остался один на один с тем, кому я все-таки зачем-то оказался нужен. Когда всплыл в чистое и ясное сознание, уже стояло утро года. Ранняя весна, мы живем у реки, все сделалось маленьким: вот и станция Чу, и Главный базар, до Новотроицка с Куцкудуком хоть сейчас иди. Но ничего так никогда не хотелось, как в день воскресения, а первыми словами стали: «Хочу помидоров». Нашли чуть порозовевшие в чых-то огородах.

Потом при свете трехлинейной лампы Маргарита Семеновна Миллионщикова торжественно наденет на указательный палец перстень со своим свадебным бриллиантом - за побег. Работа золотых дел мастера из Львова Бори Айнбиндера. Его так и ношу по сей день, на мизинце. А когда колечко перетрется, то я, пожалуй, устану жить. А может быть, и не устану, потому что всегда есть «потом». Ну, ежели нет, то его придумать можно.

В промежуточном «потом» на восходе больших сил находился я в стороне от всеоб-

щей дороги, когда неизвестная кадровичка пристегнула меня к высокой делегации больших секретарей письменников лишь потому, что, оказывается, родился этот неизвестный член в Казахской ССР. Начальники много выступали про вечную дружбу, пили, ели, гостевались в Алма-Ате, а там и повезли по колхозам читать стихи с объятиями да прозу с посулами. Была к вечеру в богатом районе, в гостевой юрте за круглыми наполненными столами только одна казашка, она же депутат Верховного Совета СССР. Остальные бай на бае вперемежку с великими.

Я тихо попивал кумыс у входа с краешку, когда прибыл еще больший бай. Так что все по-крабьи переместились, а казашка удалась из скромности. В проеме вижу, как под руки от «ЗИМа» ведут прихрамывающего товарища. Так и получилось, что сел он рядом, на место депутатши. Уже поднесли бокал, уже наступила великая тишина, уже... Он долго смотрел на меня сбоку, в глаза, затем по-черному мрачно задумался, вздулся скулами, скрипнул зубами, хриплой гортанью сказал и спросил: «Алик, это ты?»

- Я, Кильдибаш, я...

И хряпнул он всем лицом по столу, и брызнула кровь, и взвыл он диким степным плачем:

- Алик, это ты! Алик, это ты!!! - причитал Кильдибаш. И так мы оба стонали и плакали и, дергаясь, сплелись в объятиях. Кильдибаш и я. Без убитого Синоки. Последних двое.

В часы прощания поведал я Кильдибашу, что в Москве на Арбате имеется кинотеатр повторного фильма, и там я увидел нашего «Аршин-Малалана». Оказывается (ну, ты помнишь?), тот кусок материи, который появлялся наверху, его еще руки чьи-то привязывали, - это шаль, понимаешь, его за крюк люстры привязывала влюбленная в Рашида Бейбутова дочь купца. Ее замуж не хотели выдавать.

- Но потом выдали, - сказал Кильдибаш, - я велю немедленно найти, привезти и показать мне это кино... - и лицо его затвердело, взбугрились скулы хромого Тамерлана.

Потом когда-то плыл теплоход из Череповца до Астрахани. Жену капитана звали Факия Якубовна. Красота ее незабываема и несравненной была. Факия служила в буфете, где я и провел все путешествие, стараясь ей услужить, только выходил в городах за цветами. А после так получилось, что не сдержался и рассказал Факие, как за смерть девочки отомстил капитан Баглай. Приехал или привезли на станцию Чу великого акына Джамбула. Мы теснились у ног, с нами же и Баглай. Джамбул в национальной одежде. С ним высокая молодая женщина, сказали - русская переводчица. Он сел в собственную машину, подаренную вождем. Мы побежали за ней. Во вторую «эмку» стали садиться сопровождающие. И тут Баглай вычислил и узнал в одном из обмундированных насильника Факии. Он тут же достал из-за пазухи гранату и точно с нескольких шагов швырнул в распахнутую кабину. Взрыв несильный, пугающий, внезапный, неслыханный. Раненый капитан Баглай скачками, как лягушка, поскакал в степь. Он кричал: «Да здравствует Карла-Марла и конский базар пять раз в неделю!» В него долго и много стреляли, пока не сделался дымящимся бугром на своей тележке. Останки положили в ящик из-под серого солдатского мыла.

На его похоронах отец Виталий воскликнул:

- Александр Иванович! Ну что я предьявлю спасителю?! От тебя же ничего не осталось! Одна душа... Господи! - требовал отец Виталий сурово. - Прости ему грехи! Вольные и невольные... Аминь.

Ни на одних похоронах я не видел столько верховых степняков и пеших ссыльных под черными платками...

Значит, сегодня патефона не услышать. Не подойдет к нему дурачок Сохак, не станет, как всегда, искать под стулом человека, поющего в ящике с ручкой. У Сохака жива только мать Анкин. Она сушила кизьяки и кормилась их продажей. Вся жизнь старухи была посвящена сыну. Потом я узнал, что ей всего тридцать два года. Она никак не могла втолковать сыну, что человек не в ящике, а крутится в пластинке.

Через пять лет остаток нашей семьи (мать, отец и я) снимет комнатенку в селе Сардарбад в доме тетушки Анкин, доставшемся ей от мужа. Это будет древнее село, гнездо моих предков Асланов. Домишко ничем не будет отличаться от остальных в деревнях Аратской долины - из глиняного кирпича, обмазанного той же глиной, но уже с соломой и кизьяком, как в Казахстане, такие же, что и в деревнях на правом берегу Аракса, где теперь жили турки. На советской стороне названия деревень оставались турецкими. Та же убогость и нищета за глиняными дувалами. В 79-м КГБ уточнял: «Вы пишете в анкете, что отец похоронен в селе Кялагарх. В котором из двух? На турецкой стороне или в Советской Армении?» Проверяли точность заполнения анкеты для выезда во Вьетнам.



Тетя Анкин вдовела, мужа призвали в Красную Армию в 39-м, единственного сына родила через месяц, назвала Сохаком, или Соловьем, чтобы напел возвращение отца и любви. Но ее с годовалым ушли в ссылку, впишет в список секретарь райкома Само Дарпинян, бывший дашнак, укравший документы убитого после гражданской чекиста; это в годы, когда Киров с армией ликвидировал три независимые республики - Азербайджанскую (мусаватисты), Грузинскую (меньшевики), Армянскую (дашнаки), якобы придя на помощь местным большевикам. В Армении сочинили позже легенду о Зангезурском восстании рабочих и крестьян. Сам Дарпинян носил сабельный шрам на лице, будто бы получил удар в боях с дашнаками, а на самом деле был след от косы в сельской драке. Его родственница за какие-то грехи подлежала высылке, он сумел отыскать однофамилицу и упек Анкин с ребенком в ссылку. После, погодите, я напишу главу об этом секретаре, первом враге нашего рода, и подробно о том, как наученный бабушкой Ануш, я с ним расквитался за всех. И месть наша длилась годы.

Сохак и я - погодки. Мы дружили еще в поселении. Имейте в виду, людей, рожденных в 37-38-39-40-х годах, меньше всего в Советском Союзе. Со временем я пойму еще одну причину своего одиночества, когда никого не застану из сверстников во всех моих четырех родах: ассирийском, русском, польском, армянском. Либо старше на десять лет, либо младше. Я был в пустоте из двадцати лет. А вот недавно зачем-то убили моего погодка Аслана Масхадова, тоже родившегося в казахстанской ссылке. Господи, нас и так очень мало! Но выбрали, как чужих, как людей чуждой породы те, кто был старше на десять и больше лет, вычисляли нас, опаснейших, и подвергали уничтожению - физическому, политическому и всякому, затоптали умолчанием и тотальной слежкой, с угрозами за то, что мы совсем не такие, как они. А те, кто моложе намного, просто не доросли до понимания редчайшего опыта той горстки людей, которые родились перед войной. Нынешнее монетарное поколение нуворишей, и дети их, и внуки с правнуками еще горько пожалуют об этом через двести лет. А быть может, и раньше - сейчас год у нас за сто прежних. А родившихся вне ссылок и тюрем по всей стране поубивала война, растаскала по чужому миру и нашим детdomам, где им дали фамилии Непомнящий, Безымянный, на глазок определяя возраст у малолетних старичков. Гоше Гришину поставили дату рождения 29 февраля 1939 года. Где взять такой день, если его не существовало? «Да не исчислится этот день в году», - как сокрушались в Библии, проклиная горестный день.

У нас уже имелся собственный патефон с коробкой пластинок, прислала бабушка Зоя из Ленинграда. Я ставил под шелковицей на табуретку, Сохак заводил дружину блестящей ручкой, пела Обухова, Сохак искал поющую тетю... Сейчас у меня есть Вяльцева на граммофонном жернове, и написано «авторские ампра уплочены». «На бреге Иордана» - в исполнении синодального хора Петербургской духовной академии... Пластинка вертится...

...А когда не крутится, то тихо лежит себе в сундучке у Маруси и никого не заставляет танцевать под «Канаву». Однажды моя мама плясала в японском халате, с шелковыми цветами и райскими птицами на крыльях - кимоно уже тогда исполнилось сто двадцать лет. Птицы живы и по сей день у меня вместе с зеленым ковриком из верблюжьей шерсти, на нем я спал.

На оборотной стороне помещалась итальянская песенка «Тиридомпа» в исполнении Карузо.

В 59-м я поехал из Ленинграда, где учился, через Москву к матери в Армению. До поезда на Курском оставалось пять часов. Я снял копию главного фасада вокзала в альбом. Тушью и пером вывел каждую деталь. Рисунок сохранился. А после совсем случайно наткнулся на театральный музей имени Бахрушина в соседнем переулке. Было написано: «Сегодня поет Карузо». Тетенька объяснила: «Нужно хотя бы пять человек, тогда поставим пластинки». Я взял двадцать билетов, сел в зальчике, в полутьме на экране фотографии Энрико Карузо в разном возрасте. И я два часа слушал великого, рассматривая лицо, которое станет любимым, как и голос Мирелы Франи, но позже.

Итак, сегодня патефона не ждать. А в хороший день при Шестопале затачивались о торец вертящегося диска все три иголки. Тончайшая работа доверялась только Васе-кузнецу. Потому что он сам любил петь хорошим голосом итальянскую песенку. Начинал, как на пластинке, где сначала иголка щелкала, перескакивая через трещинку: «Ссс-чу, ссс-чк, ссс-чк!» И лишь потом: «Тарапета, тарапета, римуара! Эх, римуара-грацияра!» Собственным «эх» дядя Вася зачинал каждый куплет от широты и ухарства души.

А дело было в Воркуте. Сидим году в восьмидесятом в ресторане «Варгашор», в том поселке, где самая тогда большая и лучшая шахта в мире: друг мой Димыч, все начальство

и просто так хорошие ребята. Люди особые, заполярные, гость для них и вправду - божий посланник. Рыжий гигант Николай Деречко, а рядышком - обожающий его человечек, на все сто пан Вотруба из «Кабачка», лысенький. Дошло до песен. И вот Деречко подпирает башку лохматым золотящимся кулачищем и с тюремным надрывом, с глубочайшей тоской по поводу того, что, ну, нет воли, вашу мать, негде душе развернуться, с разбойничьей ватагой не погулять, запеваёт октавой: «Бесаме-е, бе-са-ме-муча-а-а, Бесаме, эх, бесаме, бесаме, ух-бе-е, Бесаме-э-э-, эх ты, бесамуча-а-а, Бесамэ-бесамэ-бе-са-мэ-э...» И здесь глядевший, не отрываясь, в рот певцу давно спевшийся пан Вотруба вступает фальцетом: «Бэ-э-э-э-э-э-э...» Так и блеют на пару, пока хватает им дыхалки. Исполнение заканчивается душераздирающе трагическим: «Эх-ма-а, зачем живем?!» - «На краю света!!!»

Не найдя ответа на глобальный философский вопрос, принимаем по следующему стану, песня исполняется на «бис», припев, как стадо козлов, мы уже выдаем дружным стонущим о своей судьбе диким хором породненных душ. Эх да ух! Да, засела в нас мировая скорбь.

И мировая литература. Деречко суёт мне полуслепой список тех книг, какие ему надиктовала в трубку библиотечка. Он комплектует стеллажи. Среди записанных на слух наличествуют: «Тютчев», «Приживальский», а также роман «Модель Фалендрос» стершегося творца и неизвестное произведение, которое Деречко плохо расслышал и записал позже, полагаясь на собственную логику и жизненный опыт, - «Бригадир и цветочек». А чё? Если есть «мастер», то должен быть и бригадир, он вообще важней, даже на стройке. А «Маргарита» что? Не цветочек, что ли? Автор записан правильно: «Мэ Булгаков». Ну, тут ошибиться было невозможно, если начальник снабжения у директора шахты - Миша Булгаков. Да-да.

А до пира в сорока тундрометрах от Воркуты мы провели пять часов в преисподней забоев, где комплексы скребли уголь, оставляя за собой ад. Там питьевые скважины пробурены вверх к водоносным слоям высоко над головами. По дощатым мосткам мы топали туннелями, притираясь к стенкам, когда мимо катил составчик из игрушечных вагонов, забитых скрюченными шахтерами. У них только глаза блестели антрацитово, остальное - чернота из роб и рукавиц, касок с лампочками.

- Ну как? - с гордостью спросил хозяин.

- Людей сумели загнать на край света, а вы их еще и под землю умудрились засунуть, - сказал я.

Никто не обиделся. Чтобы приподнять всю тяжесть подземелья, Димыч обратился ко мне и ко всем:

- Саныч, сколько мы тебя ни раскручивали с завязанными глазами в общаге литинститута, ты всегда точно показывал на стороны света. А что здесь внизу, сработает?

Я сосредоточился и по размышлении додумал до конца очередную просторную мысль, указал рукой: «Там Воркута». Маркшейдер и геодезист, местный уроженец, тут же извлек мудреный компас и сделал вывод: «Идеально. Точно показывает на наш холмик, где базар». И я убедился, что всегда ориентируюсь не по звездам и солнцу, не держусь за магнитные линии, как птицы, рыбы, звери, а тянусь постоянно душой навстречу восточному ветру - зовет все время юз сулыши.

О базаре вспомнили по завершении гульбища наверху, после сауны, переодеваний, обязательного холодного чая с кусковым сахаром в зимнем саду, где пальмы и олеандры. Потекли-помчались черные «Волги» по кольцу в столицу Заполярья сквозь бусы шахтерских поселков, нанизанных на нить асфальта, мимо и в окружении спящих русалок, укутавшихся тиной, - так выглядит бесконечная тундра, где горизонт искривлен, доказывая круглость Земли; а там и Солнце, чуть не коснувшись границы с небом, вновь поехало вверх по кривой.

- Ваши комары атакуют, как ракетноносцы, шлепаешь - кости хрустят, дочего велики. Не страшно?

- А меня совсем не берут, я тут родился. Лучше наших мест нигде нету, - повествует молоденький веселый шофер.

Мы всей ватагой обошли пруд-озерцо с голубыми лодочками для влюбленных, осмотрели пять чудом прижившихся в котловине новых кустов, взобрались на холм, созданный из добытого в котловане грунта. Осколок Главного базара, тут каждый язык выставил по одному представителю. Нас приветствовала местная Маруся и весело предложила:

- Айдайте китайцев смотреть!

На пороге будки сидел невозмутимый старик, старуха чего-то приколачивала в темноте помещения. Дядюшка Джао на своем Острове сокровищ мирно ждет, не суетясь,

«когда труп врага понесут мимо на кладбище». Пахнуло Китаем изнутри. Пока я беседовал с мужем и женой, они успели показать свое мастерство: выкрасили мои туфли в желто-синий цвет китайского неба, а первому секретарю горкома Герасиму Мартиросяну - в красный, видимо, из уважения к его партийной принадлежности.

На прощание в благодарность я нарисовал на дверях иероглиф. Ведь первоначально многие иероглифы были живописными картинами, где все изображалось, как в жизни, - люди, тигры, петухи, драконы. Я начертал проем двери в фанзу, одного человека, притулившегося к косяку, он смотрит на месяц, похожий на джонку, она уплывает навсегда в океан по собственной лунной дорожке. Иероглиф обозначает «ОДИНОЧЕСТВО». Китаец на путь подарил мне медный сатек, монету времен Цин Ши с квадратным окном в обе стороны посередине.

Уезжал я поездом «Воркута - Ленинград», неотрывно наблюдая, как из-под земной коры медленно выползает новорожденный Уральский хребет, он станет горами, разделив Русь на Сибирь и Европу, далеко на юге, там север для Казахстана, снова нырнет под землю в изломах, где вадь древнего Узбоя, когда-то впадавшего в Хазарское море, и вновь вздыбится в землях санскрита, чтобы уйти затем под Индийский; обсушится, переползая остров-материк Австралия, наконец, обогнув Гэо Ломоносовским хребтом, размежует дно океана Ледовитого - о! вечное кольцо - Урабор, вестник счастья и символ жизни человека.

По левую руку появились первые карликовые рябинки, точно в ста шагах от железки - это ззка выводил конвой и сажал по команде в ряд вдоль дороги, которую они строили, пробиваясь к Авроре. Высеялась съеденная как спасение от цинги казенная рябина. Постепенно деревца становятся повыше, как обратный график успехов строителей коммунизма. Через сутки рябины в рост украшены снегирями спелых гроздьев, они - веночки в память о стигнувших в пути многих языках с неповторимыми душами.

Вот и я так же по вечному кругу брожу на самом краю света, где никого, кроме меня. Высматриваю невиданное, после на время возвращаюсь, чтобы, не теряя чести и достоинства, нарисовать словами самое интересное для всех читателей. Где бы они ни были, кем бы ни были, на каких бы языках ни говорили, я все им расскажу с добрым намерением облегчить их жизнь и сделать ее интересной. Я всех и каждого в отдельности так же душевно люблю, как и своих героев. И нет пределов моему благодатному сочувствию.

Мир приходит и покой в мою голову, где расположена душа, своими лучами освещая сердце, когда я убеждаюсь в правоте любимого Иоанна Богослова, изрекшего: «Какое счастье, что стены между языками не доходят до неба».

Под разговор колес в ритме сердечной жилы я здесь не весь, а уже иду в мыслях по родному Череповцу. Высадился ночью. Неподалеку за городом, в Ирдоматке, всегда ждет Залина с тремя дочерьми от азербайджанца, русского и осетина. Алина, Оля, Нана - спят.

- Ах, Алик! - зажигается свет. Меня обнимают, и я медленно тону в аромате полыни, тюльпанов, обволакивает жар самума и дыхание восточного ветра.

- Между прочим, Залина, мое настоящее имя - Искандер Гуванч Менгбурни.

- Ладно. Запомню. И ты запоминай, - наказывает она попугаю в клетке. - Как в Патагонии? Дожди?

- Ураганы и землетрясения.

- Какой у тебя тяжелый кольт в кобуре. Погоди, я расстегну ремень. Шпоры снимешь сам. Я сбрасываю черный плащ пилигрима.

- Здесь мои трофеи.

Выкладываю расшитые пимы для девочек и пару для Залины, копченую оленью ногу. А затем подарки заключенных из лагеря, что неподалеку от Сейды: ножик с волшебным секретом, инкрустацию... «Мишки в лесу», несколько игральные карт, сделанных из пачек «Примы», нарисованные трешки и рубли для расплаты за горячую картошку с мало-сольными на полустанках, причем никак не отличишь от настоящих, правда, на обороте денег вообще пусто. Теперь главное - игральные кости из хлебного мякиша - верх искусства. Бросаю камни:

- Се-бай-ду! (3:2) Дорд-джиар! (4:4) Джут-сэ-э! (3:3) Пяндж-у-ду! (5:2) Шеш-у-беш! (6:5) И наконец-то: Ду-шеш! (6:6).

Попугай с интересом, но высокомерно наблюдает за понятной ему древнейшей игрой.

- Залина, как зовут попугая?

- Ах, Алик!

- Бибигон! - отвечает птица.

Александр ХАЛОВ

## КОНЕЦ ПРИНЦЕССЫ АННЫ

Рассказ в 3-х частях

### Часть 1

В одном приятном областном городе жила одна приятная дама.

О том, какими еще бывают дамы, резонно заключил коллега Гоголь; тем исчерпав вопрос.

А вот когда женщины бывают - дамы? На сей счет мнений - свет. Судить современно, нужно обязательно подразумевать возраст. По-нынешнему - когда они в возрасте «за сорок», либо лет в сорок. Подытожим: когда им в районе сорока.

А вообще?

Пример сразившей собою героя предыдущего времени Татьяны являет нам даму другого света; но, верно, тогда времена были моложе; и старше мужа.

...Свое дневное время пять раз в неделю наша дама проводила в одном из тех строго приятных учреждений, где только и можно встретить дам. Где же встречаются дамы? А также, на каких местах и постах?

О, конечно, на тех и там, где кроме властной женственности востребованы атрибутами непеременимости - царственный взор, сановные осанка и улыбка, отнесенность от мелюзги и мелочей жизни, плавная паво поступь равно как к чаю с булкой, так и с кошельком к кассе, - и по делам с папкой, и с сумочкой на фуршет.

Вот шествует женщина - начальник департамента. Это дама. А что - кассир? Та, что следом за ней. Не-ет... - преподаватель академии, института, доцент - дамы точно. А главный бухгалтер Облэнерго? А заведующая отделом налоговой инспекции? Начальник отдела ли, подотдела мэрии? Директор, завуч школы? Судья?..

Конечно, не одно место красит человека. Однако, согласитесь: заниматься разноской газет, либо посудной мойкой, выдавать в гардеробе пальто, получая в нагрудный кармашек гривеннички, стоять за прилавком, исполняя ежеминутно желания покупателей и ежечасно вынашивая свое к концу дня не обмануть себя - не благоприятность для становления и жизни настоящей дамы.

Итак, кое-что мы прорисовали и теперь и... Но мы забыли!!! Мы упустили из виду одно важное обстоятельство, целый фрагмент! Весь вид исказится, если...

Какое ж!? «Одна». Да-да, там, где только что было проговорено «жила одна приятная дама», сжато обрисовывает назначенное ему в общей картине панорамное свойство - короткое слово, краткое числительное, да - дли-и-и-нное жизненное обстоятельство: одна. Итак (итак, и так), дополнение верно. В том (первом) предложении каждое слово - столп и все так: жила приятная дама одна.

...У нее была квартира, у нее - дети, у нее - многое, что необходимо женщине на свете; но мужа не было теперь у нее. Вот в чем не приятность ее.

Впрочем, живо вранье, что «по этой причине и от разной женской нужды» случались с ней, происходили в ее не стоящей жизни разные - вначале «банально-итоговые», затем чересчур оригинальные, в конце - вовсе никакие истории.

И одна из заключительных, вершающая всю приключенческую цепь - и закрутившись только что - случайно, естественно, попала на глаза. Вот она.

### Часть 2

В тот вечер Ольга Валерьевна, как обыкновенно вечером, была дома.

Отдохнув от дня, служебных забот, - отужинав, она справляла мелкие хозяйственные дела, уже поглядывая на часы, - уже все чаще взглядывая на часы, иногда мысленно

опережая ход стрелок, иногда непроизвольно подгоняя их - близилось девять, девять вечера: ее вожденное суточное время, этот ее один час с девяти до десяти два раза в неделю - пора ее странствований, открытий, переживаний, всплесков эмоций, общения, знакомств по интернету.

Нарушая порядок, - нарушая ей созидание вечернего настроения, вторгаясь в него бесцеремонным проводником оставленного и даже запертого с той стороны, за порогом квартиры, необходимого, но докучного мира, - зазвонил телефон. Ольга Валерьевна испытала легкое раздражение, ропчущее недовольство - «Ну кто еще там не вовремя!..» Вздохнула, направилась к телефону (не в ее правилах было иное), прогнала все лишнее внутри, спокойно трубку сняла.

- Алло!..

Ее чистый, высокий при кратком разговоре и восклицаниях и грудной вообще, характерно женский, хорошо поставленный голос и отвечал сейчас, и спрашивал одновременно, - одним всплеском, как одним цельным звуком «алло» и представляя владелицу, и здороваясь от имени ее, - здороваясь с невидимым собеседником, - и его, неизвестного, вопрошая. Приятно слушать такие женские голоса; кроме всего, они вмиг разжигают мужское любопытство. Ольга Валерьевна знала и про то, и про это.

В трубке прозвучало:

- Здравствуй! Оль Валерьевна, это, кажется, ты.

Приятный мужской голос уверенного в себе человека спокойно выговорил слова на том конце провода и смолк: мужчина слушал в трубку. Ольга Валерьевна молчала, и мужской голос прибавил:

- Ольга Валерьяна! Это Алексей... М-м-м... Любимый дядя твоей Надюшки. Я от нее письмо получил.

Ольга Валерьевна!.. Словно опомнилась. Ведь она узнала - узнала звонившего сразу! Она узнала его, но в ней шла какая-то работа, необходим был толчок! Теперь же, после вторых слов, она обрадовалась звонившему безмерно. Она заговорила в трубку быстро, она улыбалась, она говорила радостно.

-Алексей! Алеша! Здравствуй! Это ты! Ты что? Ты где? Ты чего пропал!? Не звонишь, не приезжаешь... У нас столько изменений, столько нового! Ты куда-то уезжал?

Она растрогалась, она искренне радовалась, она поняла, как соскучилась по нему, Алексею, своему бывшему душевному приятелю, ласковому любовнику, заботливому верному другу! И как не минутно рада внезапно не вовремя его звонку.

На том конце провода почему-то молчали.

- ...Алексей! Леша! Ты меня слышишь? Алло! Алло!.. Со связью что-то... - последнее она проговорила уже для себя. - ...Алло! Алло!

- Да слушаю я, - ответили вдруг, ответили близко, спокойно. - Все нормально со связью, это у меня в голове неконтакт какой-то произошел.

По тону говорившего Ольга Валерьевна поняла, что тот думает обидеться, она напряглась, ожидая, но нет, мужчина, по-видимому, превозмог себя. Тогда: «Какой неконтакт?» - нейтрально спросила она.

Конечно, она вмиг догадалась. И голос ее давал это понять. Он давал понять: ей не нужны комментарии никаких ее поступков. Одновременно он давал понять: она не зрит, не чувствует за собой вины, за ней нет проступка. Она поступила так, потому что. И никак иначе. Потому что. На иное (поступить иначе) - времени не нашлось. И вольно не обижаться - не обижаться на нее, а - воспринимать либо не воспринимать ее такую, какая она есть.

- ...Да нет, нет, все нормально, - ответили ей. - Просто ты не звонишь, не напишешь уже больше, чем полгода. Как-то на улице встретил, прошла мимо. Даже не оглянулась. Я подумал: не нужен, не любят, решил не показываться... Пару лет. Только и всего.

- Ой!.. - она действительно расстроилась. Голос зазвенел, поднялся выше, капнул слезным сожалением вниз. Она чуть озабочилась. - Правда, встретил!? А я ведь тебя, значит, тогда, наверное, правда не заметила. Нет - честно, не лгу.

- Да понял я.

- Ты обиделся?

Она уже не напрягалась.

- Да когда я обижался на тебя...

- Ну да...

Алексей говорил с ней, она отвечала ему, рассказывала. И одновременно у ней - ду-

малось. Ей было немножечко совестно. Ей очень-очень захотелось его, Алексея, сейчас же увидеть. При этом она не забывала поглядывать на часы: все время помнила свой час, свое время.

- ...Оля, ты слушаешь? - голос Алексея вдруг прервался.

- Да-да! - удивилась она. - Слушаю, конечно.

- ...Я, кстати, заезжал как-то к вам. Подумал, попал не туда. Какая-то женщина твоего возраста, примерно, - ну, может, я ошибаюсь немного, немного поменьше ей - лет тридцать пять, - открыла на мой звонок. Я, видимо, повел себя - э-э-э... неадекватно, потому что она так странно посмотрела!.. Да конечно! Я просто ошеломился, вот и все. Ты знаешь, ощущение помню до сих пор: ощущение незабываемое! Помню, вышел из дома и все оглядывался: на дом, на подъезд. Когда ехал обратно, уяснил себе изначальный смысл слова «ошеломили». Точно так: меня тогда крепко по шлему - я был в кожаной кепке, правда - ударили.

Ольга Валерьевна, довзвешивав моментально, - да и не взвешивав все, поддавшись самому движению, вектору весов своей души, - решила. И:

- Алексей, Алеша, - я, правда, очень занята буду сейчас! Но это ненадолго, на час всего. Приезжай! Если сможешь, приезжай! Мы все будем тебе очень рады. Вот Надечка уже кричит, слышишь?

Она отвела руку с телефонной трубкой от уха, от щеки в сторону, в комнатное пространство, чтобы в трубке, на том конце, слышалось все, что происходит поблизости в ее квартире, и мужчина на том конце провода должен был, конечно же, заулыбаться от звонкого знакомого ему девичьего: «Дя- дя! Ле- ша! При- ез- жай!» Ольга Валерьевна вновь приложила трубку к уху, в трубке теперь рокотало - уже другое: радостное, добродушное, детски приветливое. Из трубки мягко, приятно ластило, - как пушистым лоскутком по лицу: ласкало, щекотало тембром воспоминаний сердечные уши. Из трубки лилось: «Слышу-слышу, сейчас буду. Буду-буду. Дайте минут двадцать - буду. Приеду-приеду. Я недолго: вечер, улицы пусты».

Блаженно, трогательно улыбаясь - себе, своему прошлому с чудесным милым Алексеем, своему прочно устроенному настоящему, - Ольга Валерьевна поспешила закончить домашние дела, без пяти минут девять она уже сидела перед компьютером.

...Мир Всемирной Паутины!.. Сотни провайдеров, тысячи городов, миллионы людей, триллионы голосов, мнений - биллионный кладезь информации. Вступившему сюда раз, ступившему и попавшему в этот мир ни за что уже не вырваться из тенет своего желания шагать и шагать, видеть, смотреть, узнавать. Это - окно, это твой личный поезд, где ты - машинист и ты пассажир. В вагоне СВ, приватно, в купе - мчишь, сидя у своего окна. И ты - повар, готовящий блюда фирменного ресторана, и ты - VIP-персона, и проводник, и пассажир.

Может быть, после сотого сеанса в этом кино твое лицо будет сухо-безразлично, безвыразительно-скупо, без красок. До того - оно волнуется, каждую минуту что-то творит, - оно рисует, выражает, - на нем весь спектр твоих внутренних переживаний, которые - как все внутри тебя в минуты первых, самых первых свиданий. И вот - глаза горят, лицо говорит. Внимание, руки прикованы к предмету поэтической любви. Ольга!.. Не отрывалась от экрана.

Когда пропел звонок и заговорщически, по-свойски, простучали во входную дверь, Ольга что-то делала и ожидала ответа «в Австралии». Она прокричала, она приказала «оттуда»: «Надя! Надя! Это дядя Леша! Только спроси - кто? Все-таки спроси!..» Дочь полетела к дверям, Ольга - вернуться на Шестой континент. У входной двери в коридоре заухали, закричали восторженно - она все слышала - завозились, она улыбалась. Она была рада. Она улыбалась им, тем, кто кричит, говорит и смеется сейчас за стеной, улыбалась себе, своему во всем приятному настоящему, этой приятной минуте, всей своей жизни и, кажется, даже всему будущему: судьбе.

Она улыбалась: жизнь стояла к ней светлым лицом - довольным ухоженным лицом - милостливой снисходительной покровительницы. Руки которой - щедрый, туника - бела, свежа, лавр на украшенной короной густых золотистых колосьев - кос голове благоухан, принополезен.

...Небольшой недовес казался теперь пустяком - ничего, наверстаем в другом, не княгини... Да и не в этом главное. Главное, жизнь, конечно, не сахар, не мед, но - приятствие.

Да.

- ... Все-все-все... Надюша - все-все-все... Надя!.. Надюша!.. Все. Дай на маму твою взглянуть.

Голос Алексея прозвучал совсем рядом, и Ольга ответила, не отрываясь от своего: «Я здесь». Алексей вошел, она на мгновение отвлеклась, стремительно улыбнулась, махнула ресницами, поздоровалась глазами.

Повела рукой вокруг себя, царственно отдавая на время свою квартиру, доверяя ее, как доверяют все своему.

- ...Я сейчас. Надя! Покажи, как у нас теперь, дяде Леше.

Ольга заглянула ему, наклонившемуся к ней, к ее щеке, в глаза, подмигнула ему обоими, проговорила дружески:

- Алеша, проходи. Посмотрите все. Чай поставьте. Я - сейчас.

Дочь и друг водили друг друга за руку по комнате. «...А вот здесь у нас мамина комната. И комната это у нее, и спальня. А вот и наша комната. Только мама Серого выселила теперь спать в большую комнату...» Ольга слышала их родные голоса, пыталась представить себе голоса тех, с кем общалась сейчас за океанами. Как это сомкнулось все: одна сторона Земли, другая сторона Земли, одна сторона сердца, другая... Все теперь одновременно.

Но вот - time is out - очень жаль, но закончен сеанс. У Ольги вздохнулось. Алексей сидел близ нее. Увлечшись, она не заметила. Дочь хлопотала на кухне.

Ольга развернула вращающееся кресло. Алексей спросил:

- Все?

Она ответила с жалобным вздохом:

- Увы... Все.

- Все ясно. Сейчас, я думаю, ты меня спросишь. Но вопрос уже излишен: я все уже вижу, как ты живешь.

- Ну и как.

Она приготовилась только к одобрению. Алексей поднялся.

Лет сорока, в добротной приятной глазу одежде - джинсах, толстой рубашке свободного покроя, чисто выбритый, с темными, в крапинах седины волосами, - он и сейчас, как пятью годами раньше, внушал Ольге доверие. От его присутствия рядом ей всегда становилось надежнее, даже теплей.

Она поднялась. А он - делая движение к ней, в своем движении - полунаклоне ткнулся лицом прямо ей в грудь. Неловкости не произошло, они беззаботно рассмеялись.

Тогда он поцеловал ее в губы. Но поцеловал осторожно, касаясь едва, как спрашивая. Целуя - спрашивая. Спрашивая разрешения, отношение к себе поцелуем проверяя.

Она спокойно доверила ему свои губы, не уклонила и от объятий рук.

Алексей подержал ее за талию и отстранился. «...А живешь ты, мой друг, - промолвил он, - хо-ро-шо». Ольга!.. Осталась довольна.

Она была довольна, сияла, она не уклонялась от рук, и Алексей, разрешив себе меньше скромности, опустил ладони чуть ниже ее талии. Ладони скользнули ниже, пожимали и бедра, но - Ольга это чувствовала - то было скорее движение рук тренера по формам спортсменки, или заключение оценки доктора. А отнюдь не поглаживания-потирания, притирание мужчины-кота.

«...И все у тебя в порядке, - наконец заключил ей Алексей, - не отрывая своих глаз от ее глаз, движением своих обозначая ей, указывая ей: квартира, дети, порядок, непустой кошелек, - образованна, нескандальна, миловидна, добра... Он не говорил далее словами, но Ольга прочитала помимо... Прочитала все в его глазах и «руках». И зарделась. («И кожа - бела, и попка крепка... И выглядишь ты - на все сто!»)

Ольга!.. Закрывает глаза. Она светилась улыбкой. Щеки пунцовели от удовольствия... Так начинает светиться своим прекрасным бордо роза, когда солнечный свет, наконец, прольется на нее, покажет всем и ее фон - зеленолиственный убор. Ольга рдела. Ольга обмякла, от удовольствия непроизвольно поводила плечами, как жеманилась одежде...

Нет, она не жеманилась! Не кокетничала - «Ах, ты мне льстишь, конечно...» Такое было не в ее правилах, и совершенно - не в манерах. Кроме того, она знала: Алексей не подлизывается, не льстит. Она не забыла - она прекрасно помнила! - бывшего своего мужчину, сразу почувствовала его! Она знала: он тактичен, да прям. Она знала: комплименты к месту, к делу, к случаю, обожает. Но льстить не подрядится, и будь на деле худо, в словах и капли едея не прольет.

...Впрочем, все о себе она знала и сама.

Ольга выключила компьютер, поправила волосы. Алексей стоял подле. Оценивая компьютерную стойку, качал в восхищении головой, приговаривал: «Ну ты, мать, дала!.. Ну ты даешь!.. Вот это отхватила...» Ольга потянула его за собой.

- Пойдем. Пойдем, теперь я покажу тебе квартиру, похвастаюсь. Мы ведь все сами. Вот смотри.

Они находились в гостиной.

- Ты знаешь, так захотелось устроить все своими руками, что никого из мастеров не приглашала. Хотя услуги предлагали, когда мы сюда переехали. А вот захотелось все самой. Да и нанимать, знаешь, это, конечно, дорого. А мы сами - так и дешевле. В общем, обошлись своими силами.

Она провела Алексея по детской.

- А где же Сережка? - спросил Алексей.

- Гуляет. - Ольга вздохнула. - Ты знаешь, большой такой стал, обувь все время меняю, нога ужасно быстро растет.

Они втроем - теперь уже втроем, присоединилась Надя, вклинившись, втеревшись между ними - обошли всю квартиру. Ольга рассказывала о своих трудностях, трудах, планах, дочь по-детски что-либо прибавляла. Они осмотрели все, поговорили о планировке, прошли на кухню, где по-русски любят принимать близких людей, - любят сидеть с ними и за вином, и за чаем, - чтобы без церемоний, чтобы все под рукой, - и пить, и есть - и, дотянувшись до раковины, убрать в нее лишнюю посуду, и сразу тряпочкой промокнуть чайную лужицу от нечаянного неловкого движения в сближающей тесноте.

Они долго сидели за чаем. Вначале обменивались новостями, откусывали их, смаковали, проглатывали с наслаждением, как лакомство, как бутерброды из свежего хлеба с вологодским маслом и малосольной горбушей, которые Ольга срочно организовала на стол. Потом, когда верхний, вибрирующий пузырьками и пеной слой новостей иссяк, и далее можно было говорить лишь tet-a-tet и Надюшка, любимая ими обоими, уже мешала, стесняла, и оба искали повод, как ее попросить, кстати забарабанил во входную дверь вернувшийся с двора, от друзей Сережа. Ворвался в квартиру, прервал всех, прервал все, возбужденно, громко выкладывая всей квартире прямо из прихожей свои новости, как мелкие - он имел виду детвору восьми-десяти лет, дворовую шушеру - связали веревкой за хвосты собачонку и кота, и кот истокровянил собачку, и он, Сережка, с друзьями услышал, увидел и разнимал животных. «...И разве можно так, а, мама!?» Ольга вышла в прихожую, прислонилась к косяку, скрестила руки, слушала бурные излияния, а при последних словах, при вопросе и одновременном отрицании сына лишь недоуменно пожала ему плечами в ответ, глазами сделав укор, словно говоря «Ты о чем спрашиваешь вообще. Нет - конечно, это садизм, так нельзя». Подошел Алексей, она подняла на него глаза, оторвавшись от разглядывания одежды сына, расшнуровавшего ботинки. Алексей мягко отодвинул ее в сторону, позвал: «Сере-ога!.. Привет. Дай руки». Ольга не вмешивалась. Алексей осмотрел руки ее сына, нашел порез, и довольно глубокий, порез - след кошачьего когтя, красневший на кисти руки ниточкой спекшейся крови. «Кровь выдавил сразу?» Сын ответил. «Хорошо, молодец, - удовлетворенно констатировал Алексей. Приказал: - Руки вымой хорошенько. А порез не трогай. И не намочи. Быстрее заживет». Ольга начала возражать, направилась за йодом, утверждая: «Надо же хоть чем-то смазать! Может, спиртом протереть? А может, марганцовкой надо промыть?» Но ее развернули мягко и властно, развернув, увлекли на кухню, продолжать посиделки и разговор. «...Оставь его. Взрослый. Сам справится». Она посопротивлялась, но успокоилась. Только сели, Ольге расхотелось.

- Алеша, - сказала она, - знаешь, - жарко. И я уже не могу больше пить чай. Пойдем из кухни.

- Ну - пойдем на балкон.

Она согласилась:

- Пойдем.

На балконе привольно развалился бедлам, приветливо встречал этакий невольный неорганизованный хозяйственный склад. Два велосипеда, банки с краской, старая тумбочка, расшатанный табурет с облезлым верхом, обрезки плитусов, коробки, коробки с пустыми стеклянными банками, сберегаемыми для варений... Ольга с Алексеем при-



мостились на пяточке у дверей.

В спину бил яркий свет люстры, перед глазами стояла рассеянная темнота, струящийся долу матовый свет уличных фонарей, силуэты деревьев, столбов. Вверху темь, внизу, где-то под ногами, шаркает ветер, пошлепывает, скрипит, напоминает о себе шелестом крепких еще, но нет-нет и отрывающихся, и влекомых врозь резкими порывами, листьев. Строй невысоких тополей шеренгой стал вдоль дома. Пасмурность неба, вялый газон тротуара, бисерный холодящий воздух дождь. Незаметно приступала к своим делам осень.

- ...А как у тебя с личной жизнью? - спросила, задумавшись, Ольга.

Алексей усмехнулся:

- Да так...

- Что это значит?..

Не сказать, чтобы ей было по-женски любопытно или по-женски задевало, скорее она интересовалась, как старый друг, старый знакомый, имеющий на такой интерес право, ее любопытство было чисто человеческим. Да и по давней привычке она хотела об Алексее все знать.

- А у тебя?

Она помолчала:

- ...Да как сказать...

Алексей предложил:

- Так и скажи.

- Тогда - никак.

- Что никак?!

- Никак.

- С личной жизнью?

- Ну да!..

Алексей риторически возмутился:

- Ну что это такое!..

Попросил разрешения закурить. Ольга встала так, чтобы дым не относил на нее, Алексей закурил. Она выбрала местечко на балконе, куда еще можно было ступить, ступила, провела ладонью по балконным перилам, проверила их на чистоту. Ей захотелось опереться локтями, не стоять прямо, опереться, согнуть спину, постоять согнувшись, задумавшись. Перила были в пыли. Она вздохнула, оперлась не локтями, ладонями, взгляд как-то сам собой сразу уплыл в дальнее, уплыл в темноту. Алексей курил рядом. У нее мелькнуло: «С ним хорошо, пусть бы приезжал». Внизу пронеслась машина. Прошумела, сверкнула фарами в остеклении лоджии первого этажа соседнего дома, скрипнула тормозами, качнулась на повороте, свернула за угол; мелькнула - пропала, исчезла. Алексей курил рядом, молчал. Ольга постепенно озябала. Думалось рассеянно: «Сложно все это семейная жизнь и вообще все у одного одно у другого другое и все время надо и придется подстраиваться друг под друга хотя вдвоем лучше все-таки вдвоем это вдвоем но ненадежны все все равно мужчины ненадежны все...»

- ...Надюшке, знаешь, уже десять, - вслух сказала она. - А Сережке уже четырнадцать.

А про себя продолжилось: «Дети у меня есть...»

Ночная прохлада, не чувствующаяся при первых ее прикосновениях, все ощутишь облегла тело, легкое домашнее платье не грело, не ограждало от нее.

- А как у тебя с работой?

Алексей ответил. И спросил сам:

- А у тебя?

- Да все хорошо... Повысили вот опять. Вцепились и едут: вези, кто везет.

- А ты - везешь.

- Ой... Везу...

Она тяжело вздохнула. Вздохнула и тут же взбодрилась:

- А как же - надо работать! - добавила зачем-то: - Вот, за компьютер еще не рассчиталась... Знаешь, - ей стало радостно, - я столько всего приобрела за последнее время! Но компьютер - это, пожалуй, самое лучшее.

На душе у нее стало легко, она принялась рассказывать Алексею о своей работе. Он слушал. Он мог бы слушать ее без конца, но она быстро выдохлась, поскучилась, начала притягивать слова... Да, она была хорошим работником, у нее были знания, способнос-

ти, опыт, - она могла бы сделать карьеру, она хорошо начинала, она, когда начинала, быстро пошла вверх, но потом утомилась, затормозила сама, увлекаться делами ей не захотелось, не хотелось и теперь - и это чувствовалось в разговоре. Видимо, Алексей понял ее, поняв, прервал. Он вбросил в разговор: «Детям, наверно, пора спать?» Ольга обрадовалась: «Да, конечно. Им пора спать, пойдем. Я уже замерзла, я иззябла вся... Грустно, такое впечатление - истекает и этот год. Пойдем, пойдем». «Пойдем».

Он загасил окурки о бетон пола.

- Куда его?

Она показала ему на пустой цветочный горшок. Алексей заглянул в него, опустил в него окурки, чему-то улыбнулся.

- Что?

- Так...

С ее лица не сходило недоумение, и он пояснил:

- Точно «никак».

- Что никак?

- Да ни одного окурка, мой первый.

- А-а...

Но Ольга не поняла его. Задержалась на балконе, постояла еще.

Ветер совсем стих. Бисерный дождь исчез, закапало. Закапало... Тихий, непрерывно полил, словно потек, настоящий осенний дождь.

Она увидела струи, озябла еще сильнее, с удовольствием вернулась в квартиру.

Они посидели на кухне за общими разговорами вчетвером. Прошло минут двадцать, Ольга заторопила детей: «Спать, спать». Те заупрямились, заупирались, тогда взрослые было заявлено открыто, без обиняков: марш отсюда, дайте нам посидеть вдвоем. «Ну что такое, дети!.. Мы давно уже не виделись». На что дети заявили: «А мы тоже!» После чего Алексей с деланным неудовольствием на лице, которое так и расплывалось в улыбке, махнул на них, на все рукой - а-а-а... мол, пусть сидят, пусть остаются, такая уж, видно, наша с тобой, Оля, доля. Ольга поднялась и, не слушая никаких доводов и никого, решительно выдворила с кухни и Надю, и Сергея. Заставила умыться, разойтись по комнатам, лечь в постели.

Наступила тишина. Они остались одни. Возникло какое-то новое состояние. Они сидели привычно, как будто на кухне засиделись муж и жена.

Согревшись после балкона, Ольга ощутила голод.

- Я есть захотела. Ты будешь есть?

- Давай.

Она поднялась, заглянула в кастрюли, в припасы, прикинула, что можно быстро подать на стол.

- ...Вот есть курица, кусочками, с рисом. Хлеб есть, кетчуп. Может, рюмочку тебе налить? У меня есть немного вина.

Алексей широко улыбнулся:

- Но я же за рулем. Как потом. Ночевать?

Ольга поймала его взгляд, полный вопроса, полный... Она знала чего. Не смутилась, не обрадовалась, задумалась, отвернулась. Как бы к плите. Нет, она готова была к этому вопросу, вообще к тому, что он непременно возникнет, он не мог у них не возникнуть, - она была готова к тому, чтобы оставить Алексея на ночь у себя, если они засидятся допоздна; но пока еще ей не хотелось ему ничего объяснять.

И она разогрела курицу, она кормила его, поела сама, они переговаривались, говорили. Они говорили уже, как попутчики в купе поезда, когда проснувшись, сидят поутру за чаем, когда устроившись, перезнакомившись вечером вчера, сидели ночь-заполночь и переговаривались обо всем. И вот - утро, чай, бегущие за окном поля, рожицы, перелески, мелькающие столбы, все знакомые в купе, кругом; и все за окном привлекает теперь более, чем друг к другу взаимный интерес.

Наконец, Алексей поднялся:

- Все, мне, знаешь, пора.

Он сказал «мне пора», произнес свои слова твердо. Но все-таки пауза после «пора» прозвучала.

Ольга... Не возразила, не поддержала. Не ответила ничего.

...Когда Алексей нагнулся в прихожей, присел, зашнуровывал ботинки, она подумала, а ведь поздно, как он поедет, пусть ночует. И предложила:

- А может, останешься? Ночь ведь. Я, так, боюсь по ночам ходить по городу.

Алексей рассмеялся, не поднимаясь и все еще зашнуровывая, не глядя ей в лицо, ответил:

- Так я-то не боюсь... Нет, давай не сегодня.

Ольга согласилась:

- Давай.

Когда он выпрямился, он устремил на нее взгляд, взял за руку. Повзвешивал ее ладонь в своей ладони:

- Только... Если я ВДРУГ - он ударил по этому слову, выделил слово - приеду. Тут никого?.. - он нервно поулыбался и свел к шутке: - Не хочется, знаешь, снова быть дядей Лешей-вторым.

Ольга тепло, спокойно в ответ улыбнулась ему, ответила так, как недавно обливала на ночь теплой, мягко-теплой, успокаивающей водой Надюшку:

- Никого.

Алексей задумался.

- Точно?

- Точно.

Он пожал плечами: мол, странно. Приподнял в недоумении одну бровь: мол, не предполагал я в тебе такого. Закрыл паузу:

- Ну ладно.

Ольга смотрела, как он застегивает куртку, как проверяет в карманах ключи - думает, все ли взял...

«...Нет, надо же все равно будет объясняться. Надо ему сказать».

И она сказала:

- Только знаешь...

Алексей аккуратно поднимал «молнию».

- Что.

- Я не против, чтобы ты оставался, ночуй.

Она повела рукой, показывая, обозначая свою квартиру, доверяя ее ему, как доверяют все свое своему.

- Только спать я тебя положу в гостиной. Или в надиной комнате, там есть еще диван.

Очевидно, до Алексея дошло не сразу. К тому же - и она знала это - ответ «почему» ему вовсе было не найти, и никому не найти. Его взяло изумление, он смотрел во все глаза, не мигая.

Он смотрел на нее, как на престранную, и она пояснила:

- Ты знаешь, я столько времени отвыкала от этих отношений...

Она выдержала паузу, на секунду опустила глаза, чтобы он точно, недвусмысленно понял, уяснил себе: от каких именно отношений.

- ...Ты знаешь, Алеша, мне так хотелось любить, любви, а я все не находила, все не находила ни в ком всего. Случайные мужчины мне не нужны, это уж не для меня, не в ту степь. - Она спокойно отмахнула, словно отмахивалась от таких связей, таких отношений, рукой. - Я искала и не находила. А я очень хотела быть не одной! Но я хотела только - всего. Я пробовала с разными... Я не идеалистка, мне не нужно было - в точности. Мне хотелось иметь хотя бы главное в мужчине. Но - нет... Ни в ком, к сожалению - нет...

Она грустно улыбнулась.

- ...И я... Как раз, когда тебя не было долго, отвыкла от этого...

Она опять выдержала объясняющую паузу.

- ...Общения. И я больше не хочу дразнить, пробуждать себя. Мне так легче.

Она поставила точку, четкую точку, логически завершающую точку в конце. Подняла глаза, посмотрела в глаза Алексею. Алексей смотрел на нее растерянно, сожалеательно, не понимая, - казалось, до него по-настоящему не дошло.

Произошла пауза. Возникло и ширилось отчуждение. Их уже состоявшаяся общность, единение треснули непониманием-пустотой. Трещина ширилась, перерастая в протоку, длинную полынью, разъединяла навечно расколовшиеся льдины. Возникла натянутость, могло произойти полное отчуждение. Ольга улыбнулась, мягко, с доверчивостью, спросила, спросила как бы сразу концом предложения:

- ...А ты?

Алексей улыбнулся, растерянность покривила поникшие края его губ.

- Я?

Он осуждающе закачал головой.

- Я - нет.

Показал на Ольгу, показал на себя, ответил ей в тон:

- ...Тогда - это не я. Тогда...

Он пропустил слово «здесь».

- ...Кто-то другой.

Ольга безразлично пожала плечами.

Они простились искренне, трогательно, - так прощаются братья и сестры. Ольга подумала: придет ли еще когда? Алексей с чувством поцеловал ее в щеку. Помедлив, поцеловал в другую. В губы не решился, вместо этого подмигнул. Ольга Валерьевна улыбнулась в ответ ему.

Затворив за ним дверь, заперев дверь, она медленно, рассчитывая его шаги и его, Алексея, движение по лестнице, по пролетам, пошла в кухню. Вошла, отдернула занавеску, показала в окне, помахала ладошкой из освещенного и поэтому выделяющегося в поздний ночной час окна. Алексей наверное увидел ее, потому что на секунду включил свет в салоне автомашины. «Жигули» у него сейчас? Или «Москвич»? - Ольга Валерьевна не разбирала. Алексей помахал в машине рукой, она снова помахала перед окном. Тотчас свет в салоне машины погас, развернувшись и рокоча она ушла.

Ольга Валерьевна опустилась на табурет возле окна, засмотрелась на занавеску. Потом увидела свежую царапину на холодильнике, от этого вздохнула, закрыла глаза. Вмиг прилетел сон, захотелось спать. Она отодвинула от себя чашку с остывшим чаем, сложила на столе руки, прилегла на руки щекой. Подумалось: так бы тут и уснула. Подумалось: нет никакого желания подниматься, идти в спальню. А еще: какая разница, где поспать.

Край стола теснил, сдавливал грудь. Что-то отдаленное напомнило ей руку мужчины, заставило что-то побродить внутри. Что-то вспыхивало в сердце, в груди, даже в бедрах. Тогда Ольга Валерьевна устало поднялась, рассеянно оглядела уютный беспорядок послетрапезного дружеского стола и, рассеянно улыбаясь себе, воскрешая в памяти с удовольствием прожитый, только что прожитый день, - и теща себя предчувствием аналогичного дня будущего, - ушла в ванную принять душ, а омывшись - спать. Постояв под душем, насухо обтерлась, с удовольствием ощущая свое крепкое, полное жизненной силы тело.

Когда она проходила в спальню в ночной розовой сорочке, неся платье и белье в руке, сын Сережа повернулся во сне, задралось одеяло. Она повесила платье, положила белье и вернулась: поправила на сыне одею. От этого она заглянула и в комнату дочери: взгляделась в темноту, убедилась, все в порядке, неслышно прикрыла дверь, отступила в коридор. Снова закрылась в ванной и долго стояла под теплыми струями, под душем. Словно что-то налипшее с себя смывала.

В полном молчании в себе легла, согрела свою постель своим теплом, тогда приятнее устроилась телом. Мгновенное, мелькнуло сожаление: долго еще придется ждать, пока включат отопление, а на улице уже будет промозгло, сыро, скоро придут холод, дождь, зябко станет в квартире. Согревшись, наконец, окончательно, до полусонности, она уснула. Спокойная, освеженная перед сном водой, прелестная, приятная и во сне; ни о чем не вздыхая перед сном, настраиваясь на него, скорый, чуть загадывая о новом дне; дела, заботы, заботы детей - всего мысленно касаясь, легонько трогая.

### Часть 3

И вот, от чувственного взирания на все это, от близкого внимательного рассмотрения всего этого несентиментального, немецанского благополучия, нам пришел неожиданный вывод - странный вывод! ортодоксальный вывод! ибо по жизни это скорее грустно отчаянно, нежели зло, либо смешно.

Вот он:

конец Принцессы Анны был печаль-а...а...а-лен...

Произносить се следует, как мы произносим всегда, артистически: «...Рыцарь печаль-а-а!-...-льного образа...» Да, сестры... И - да!.. Да, братья.

Непрестанным, многолетне-непосильным для ее души трудом, своими трудами она, - о, поймите нетривиально! - переселилась, наконец, в свой Дворец. Она построила его. Возвела одна!

Она соорудила себе свой замок благополучия. Она - зажила. Еще как зажила! Нет, она не жила на широкую ногу. (Да она никогда и не любила шикарность.) Ее дети всегда прекрасно одеты. Веселы, довольны. Зная меру, ни в чем не имеют отказа - приятные дети. (Чуть не вырвалось: классная ребятня!). Ее квартира, отремонтированная постепенно, доведенная до ума на ее собственные средства, во многом руками ее самой, - с рельефными обоями гостиной, пластиковым, под лепку, потолком спальни, веселыми картинками детской и керамической живописью ванной, - являет постороннему взору образец семейной устроенности, налаженного милосердного быта, аккуратности и умеренности хозяев. Еще немного, и она сменит мебель, дополнит кухню вторым холодильником (имеющийся неудобен уж, стар), - дополнит телевизорами детскую и спальню. Однако сейчас она предпочла всему последней модели компьютер. («Надо же что-нибудь для души!») Предпочла, сказав себе также и по поводу новой стиральной машины «нет» решительное.

Она одевается, как всегда: не гонясь за модой, но следуя ей. И следуя хорошему тону и своему вкусу: современно, добротнo. Она привлекает одеждой.

Она выглядит свежо; как женщина, она хороша.

Ее уважают коллеги, ценит начальство на ее работе. Вся в заботах-делах, она крутится с утра до вечера, часто устает до нельзя; но жизнь ей интересна, интересна теперь всегда.

Она не замужем, не имеет друга.

Спит всегда одна.

Перемотавшись, переболев жаждой, желанием любить, быть любимой, отвыкнув от мужчины вначале в душе, затем в жизни, она отвыкла от него и в постели. Она (теперь уже сознательно) избегает интимных отношений.

Ей тридцать восемь сейчас.

Она увлекается дачей и интернетом. Собирает информацию с сайтов и с картошки колорадского жука. С удовольствием пьет чай с одним из своих бывших мужей-знакомых, когда тот заворачивает по старой памяти и новым делам к ней на «напиток людей дар им богов».

Все хорошо у ней - жизнь течет, жизнь не стоит на месте, не тот случай; жизнь как бы развивается; надо многое успеть, ведь жизнь коротка.

Она любит весну и осень; меньше - зиму; всегда - отпускное лето.

Она - реалистка, и ей не досаждают несбыточные. Она какая-то реалистка теперь и не напрягается на звезды, не вздохнет ни о чем, зарясь поздним вечером в одиночку у окна на Луну.

...И лишь иногда...

Иногда попав в настроение...

Когда в лунную ночь у нее оказывается не задернутой штора и рассеянный свет ночного демонического светила дотягивается до нее, неспящей, до ее, под одеялом - ног, рук, груди, - докрадывается до лица, она просыпается от чего-то глубинного! Ах...

Животного и человеческого одновременно!..

Уж не больного, не будоражащего, не бьющего, согласного не мешать! И какое-то время лежит, всматриваясь невидящими глазами:

таращится на темноту.

...А еще иногда,

в дороге, - автобусе, троллейбусе ли, -

поддавшись всеобщему, уплотнившись со всеми людьми до чрезвычайности,

в часы пик в тесноте, при торможении на перекрестках...

Загнанная во всеобщее, -

в колышание, вековечное движение масс людей,

она ненароком налетает на скалисто-острое плечо тоски, и ей тогда!..

Становится мгновенно отчаянно.  
 Страшно от пространств...  
 Жутко, как одному в лесной глухомани...  
 И, как застрявшему в лифте: замурованно от одиночества.  
 ...И захочется сейчас же вырваться!  
 Выжаться!..  
 Выбежать из единой толпы! Заплакав,  
 зареветь! Заголосить! Опомниться! Закричать!..  
 Сбросить сделавшуюся в одночасье ненавистной тяжелую шубу!..  
 И прямо зимой, сейчас,  
 сей час же:  
 уйти от всего.  
 Броситься в неведомое - знакомое.  
 В легком девическом  
 платье...  
 ...Но!

Но выйти - «...Знаешь, Алеша...» Как всегда: конечно объективно невозможно. Кругом люди, затирают обычные люди, - которые всегда кругом, - кругом все едут, идут, все торопятся, спешат, - часы дня, четкий круг забот и, - вострепнувшись взвиться! - она лишь трепыхнется на теплой груди судьбы воробышком, - поспешит отречься от былых чаяний, и поторопится далее; поспешит покориться делам.

Она довольна тем, как живет, - она очень довольна тем, как живет! Она довольна всем весьма.

Она признается: жизнь пошла не так, не сложилась, зря состоялась.

## ГУРМАН

### Рассказ

«Через базарную площадь идет...» - помните известный «Хамелеон»? Помните, конечно. Так вот: случилось как-то - через век этак - нечто весьма похожее и даже не местное, - хотя, ежли в тонкостях разбираться, все аналогично лишь симптомами маятниковости и все схоже не так. Да и шла - она, а он... Да вот он!

...Он стоял. На городской автобусно-троллейбусной остановке он ожидал автобуса. Была середина лета, полуденный час воскресного дня. Солнце палило каминны в тысячах окон домов - плюс тридцать три в тени и сорок два - над плавящимся асфальтом. Город как вымер. Транспорт редок, из людей - на всей улице никого.

Превозмогая себя, он стоял, давал одну за другой клятвы: то сейчас же пойти за машиной, то не прикасаться сегодня к своей легковой. Скучал и все рассматривал. Так длилось минут десять.

Он взглянул на часы. «...Уже двенадцать минут! О, е...» Рука непроизвольно потянулась за сигаретой. Из кожаной наплечной сумки, цветом в тон одежде, а размерами явно подобранной в пропорции к его фигуре, он вынул пачку. Окружающее марево приняло разочарованный вздох. «Оу!...» А про себя: «...Ты чего положил!.. Кто же курит «Gitanes» на такой жаре!.. И без того дышать нечем». Повзвешивав, все-таки сигареты убрал.

Прошло минут пять. Он еще раз взглянул на часы. «...Так. Прошло уже восемнадцать. Да... Это жестоко, так редко...»

...Ну да они и правы! Кому надо, те уехали с утра. А водителю каково весь день в кабине париться!.. Он тоже человек. Нет, не могу осуждать».

Прошла еще минута. «Ну что такое! Это же невыносимо. Садизм!.. Хватит! Пойду за машиной!»

В сумке послышался призывный трезвон. Он что-то нащупал, достал мобильный телефон, приложил к уху.

«...Да - я.

...Нет, у дома на остановке. Жду автобуса.  
...Нет, на машине не поеду, раз предвидится выпивка.  
...Нет, сестричка, извини.  
...Ну уж!.. Прошу подождать. Сама выдернула так внезапно.  
...Да. Думаю, в течение часа буду. Стой, не клади - вы вдвоем? Дети, конечно, с бабушкой на даче. Жаль, жаль... Ну ладно, посидим тесной компанией. Что-то я, Танюша, заскучал..  
...Пригласишь знакомую?  
...Да я не знаю - ну давай... А я ее знаю, не знаю?  
...Ну, ну, ну!!!.. Только не эту! Я не поеду!!!  
...Нет, нет, нет и нет. Хоть сегодня - побыть со своими людьми. Хватит чужих за неделю... А эту - ну эту, твою эту - я представляю: она фамиллярна и не умеет вести себя за столом. Не надо - договорились? Пока.  
...Что муж кричит из ванной? Благодарит за... Тань. Ты можешь нормальным языком сказать... Благодарит за подсказанные нюансы поведения? Ого! Хм-м... Тебе не понять, о чем это... Хм-м, приятно. Спасибо... Пока-пока..  
...Что? Предлагаешь продать теперь мою древнюю «Ауди»? Купить последнюю модель «Жигулей»?.. Если только модельку, ага... При тоске по столу гонять... Все, Таня, все. Приеду, приеду. Уже еду... Давай поболтаем потом!»  
Закончив разговор, машинально взглянул на дисплей телефона. С некоторым аппетитным чувством отметил: «Две минуты пятьдесят девять секунд. Классика жанра. О!» Убрав телефон, подумал: «Как хочется поскорей к ним... Нет, ну и парга!.. Еще пятнадцать минут, и я точно плюну на все: не выдержу и пойду за машиной».  
Прошло с минуту. Ни транспорта, ни людей. Он стал прохаживаться и рассуждать. «...Приятно, что Резо вернулся так скоро. Каждый раз переживаю за него.  
...Татьяна говорит: привез сногшибательный коньяк. Всего бутылка. Только для гурманов. Не приедешь - к вечеру не будет.  
...Сделка удачна. Это хорошо. Резо, как всегда, на высоте. Финансовый гений.  
...Но пить дорогой коньяк прямо так - сразу, с налета?!.. Пусть бы постоял, порадовал... Предвкушение тоже дорогого стоит!  
...Нет, но кто же пьет изысканный коньяк с шашлыками?! Да на такой жаре. И в... - он с недоумением оглядел себя - ...футболке, кроссовках и шортах. Ну!.. Уж, ребята, увольте - нет.  
...А вот «Цинандали» из старых запасов я уговорю у них сегодня, раз так - полностью.  
...Нет-нет, ребята, так нельзя: на машине тогда ни за что не поеду. Вы у себя дома, а мне потом домой возвращаться. А моя «айнка» копирует все мои движенья. Ни за что». Прошло минут пять.  
Он начал откровенно томиться, скучать, закрывать от солнца глаза, задерживать дыхание, обороняясь от тяжелых запахов зноя.  
Из-за угла дальнего, в начале квартала, дома появилась фигурка - в сторону остановки повернула, пошла женщина. Его взгляд сразу зафиксировался на ней. «Молодая женщина, - отметил он себе. - Нет, скорей - девушка. Двадцать два - двадцать четыре года». Брючки, блузка, легкая жилетка, туфли, сумочка на длинном тонком ремешке. Короткая стрижка, правильная женски фигура, приятные черты лица. Чем ближе, тем больше притягательных деталей открывал взгляд. Внимание его непроизвольно сконцентрировалось. Кто-то возражает?  
Ему было на вид лет тридцать или почти так, рост примерно сто семьдесят пять, хорошо сложен, недурен собой. Он был разведен (не женат).  
Засмотревшись на приближающуюся girl, спустя минуту, он вспомнил, что сейчас не имеет подруги и... Соответственно, кое-что мужское в нем поднялось, собралось, внимание обострилось, заиклилось.  
Достигнув остановки, девушка кинула взгляд через плечо, назад: улица пустынна. Помедлив, сделала еще несколько шагов. Теперь автобуса (или троллейбуса) ожидали и смотрели в сторону возможного появления двое. Возникла общность. Мужчина находился по ходу движения далее, поэтому одновременно мог разглядывать и у спутницы все.  
Тщательно изучив профиль миловидного лица, простую прическу, тоненькое небольшое ушко, скрытые блузкой плечики, цвет и форму цепочки, сбегавшей с шеи в хорошо очерченную грудь, обнаженные по локоть руки, форму ладоней и пальцев, узость талии,

и особенно форму перехода ее в бедра, ниже лежащий объем, - и его величину, - соотношение длины ног, рук и всего тела, - определив размер туфелек, лифчика и ... гм-м... спроецировав на себя... -м-м-... всю фигуру, он сделал стойку. Глаз хищнически сощурился, высоко вздернулась бровь.

Ожидание - минута, другая. Теперь он улучал случай заговорить. «Повод найдется». Ожидание.

По-мальчишески - нет, скорее - unisex развернувшись (нога к ноге, на одних каблучках), девушка решила пройтись. (Так обычно прохаживаются от одного края платформы к другому ожидающие.) От его взгляда не ускользнуло... Оттого про себя: «...И подошва туфель чрезмерна для нее. И для этого лета. К чему таскать под собой столько?! Да и грубовато, пожалуй, для ее фигурки и черт лица». И у него чуть-чуть-чуть-чуть подпустилась бровь.

Двигаясь при своем прохаживании в обратном направлении и при этом пристально глядя в городской горизонт, девушка равнодушно уронила красующемуся близ мужчине: «...Давно?» «Да, давно...» - он ответствовал сразу, как ждал. С взглядом глаза в глаза, улыбкой - доброй, приглашающей к разговору.

Она прошла, как только дев... отвернулась. А про себя: «...По крайней мере надо было скажите, давно автобуса не было? Или: извините - тут необходима пауза, обозначающая пропущенное слово - давно не было? Ну - вместо извините или скажите, пожалуйста, женщине можно просто приятно улыбнуться. Да?» И! Глаз еще остался сощурен! Да опустилась бровь. (Волна отлила.)

Девушка походила рядом, спустилась с возвышения остановки. Быв боком, снова оказалась спиной. (Все в нем снова зашевелилось: формы не ерунда!..) Девушка походила по мостовой, вновь вошла на тротуар. Постояла и опять походила. Ходить ей наскучило. Она отошла в глубь тротуара (так стоят давно ожидающие), развернулась в сторону появления автобуса. И оказалась к мужчине боком, в профиль. (Попала в солнечный рисующий глаз.) Сбоку, в профиль, личико ее, ее фигура были аппетитны по-прежнему. Однако стойка его слабела.

Протекли минуты. Никто не подходил, транспорт не появлялся. Делать было нечего, девушка переминалась рядом. Появлялись внутренние и внешние основания заговорить. Он собрался. Как раз тут, расстегнув сумочку, девушка достала пачку сигарет. Он подумал: «Не попросит ли прикурить?!..»

Пристально глядя в конец улицы, девушка привычно, ловкими пальчиками (от него не ускользнуло!) вскрыла новую пачку, вытянула сигарету. «Хм-м, - подумал он, - странное. Неужели она постоянно курит?!.. Но - неясно... У нее «Bond». И «Bond» красный - вот что больше отметил он для себя. - Для жары, как сегодня, - тяжеловатые и длинные».

Не заглядывая в сумочку, все так же внимательно разглядывая длинную пустынную улицу, девушка, привычно нащупав, достала из сумочки зажигалку. «Ба! Она курит! Курящая!.. - сведя все вместе, констатировал и удивился он. И осмотрел ее уже по-иному пристально. - Прошло, - он взглянул на часы, - минут шесть. А она уже не утерпела... Пацан... Мужик».

Девушка стояла, соблазнительно отставив ножку, рассеянно хлопала ресничками, смотрела вдаль, непринужденно держа двумя вытянутыми изящными пальчиками белую с ярко-желтым сигарету. Картинка лишь забавляла. «На вечеринке это было бы самое то. Но здесь, сейчас?!..» Плечи его самопроизвольно пожали.

Не облегченный «Бонд» - сигарета, докурить которую до конца на июльском солнце-пеке, при полном безветрии, не спадающем недельном зное, в котором сам город мрет от жары, истекая асфальтом, скажем так, нелегко. Он смотрел на зрелище, уже играя в пари с самим собой: докурит до фильтра - не докурит, дотянет - не дотянет... Докурит до половины, до трети... До пядей!..

...Mandibula (нижняя челюсть - мед., лат.) его отпала, когда, не оглянувшись посмотреть урну, мусорное место, девушка безразлично уронила окурки в две трети сигареты на вычищенный дворником с утра асфальт. «Оба-на! - проморгавшись, восхитился он. - Простенько... Уж я бы, мужчина, хоть носком ботинка придавил».

Таким образом докурив, девушка снова решила пройтись. Край остановки - край остановки, стена дома - проезжая часть, обрез тротуара.

Абстрактно заманчивая фигурка маячила перед глазами. Окурки дымил, сам прогора. Он - щурился вдаль, брезгливо кривясь, мысленно призывая скорей какую-нибудь городскую машину. Стойка канула.



Лета текли минуты, девушка передвигалась рядом, иногда уже исподтишка взглядывая на него. Транспорта все не было. Он стоял, с высоты своего роста калейдоскопически рассматривал ее, сожалел о потерянном.

...Наконец, автобус. Вместо рейсового - дежурный, маленький... Сидячих мест - двадцать, одна дверь, узкий проход... Сколько-то человек вошло на конечной остановке да на каждой следующей плюс три, плюс два - автобус пришел битком полон. Как джентльмен он пропустил даму вперед, как городской страждущий уехать влез за ней. Втиснулся с натугой, вынужденно прилипнув сзади.

«...Это потряс!!!. Представь!..» - месяца через три рассказывал он для забавленья своей новой подруге, когда они!.. Когда она!.. Когда она, выйдя из душа и все еще нервно, счастливо-опустошенно дрожа, разом проглотив омыть и все внутри себя полстакана вина, а затем - и еще так же - залпом, с жадностью треть стакана, протянула руку к нему с одним - вместе и приказным, и просительным - словом : «...Сигарету». И сигарета явилась. «А...» И зажигалка вспыхнула в его руке. «...Только, милая, чуть отодвинься от аквариума». «Да?!.. - в мгновение надутые губки, сведенные брови, сверкнувший сердитой искрой взгляд: «Будто не понимаю...» «Да нет же! - Он легко посмеялся. - Ты роскошно смотришься в своей пелеринке на фоне этих волнистых штор. Пожалуйста!.. Хочется любоваться». Она с облегчением рассмеялась: «Зачем ты мне все льстишь!..» Он поднял бровь: «Разве?!.. Так?!.. Ничуть! Мне все в тебе... - здесь пропустил слово. - Даже твои сердитые искры из глаз!» Прищурившись, беззвучно, немо рассмеялся: «Как в песне - «ах, какая женщина! Мне б такую!..» Ты - восхитительна». Она!.. - даже поникла. Потом: «...Ты несносен. Учти, я могу до смерти влюбиться в...» - здесь опустила местоимение. Что-то робкое мелькнуло в его, их глазах. Он спохватился.

«...Да... Так вот представь. Мы простояли в этом автобусе, прижатые друг к другу, всю дорогу: остановок пятнадцать! Причем все ведь, как обычно, то есть люди и выходили, и входили: приходилось то разворачиваться, то уплотняться... И остановок семь я стоял к ней лицом к лицу и телом к телу: прилип, как кусочек балыка в бутерброде к маслу!.. Ощушал все ее выпуклости, все формы. Пару раз взялся за плечо, когда качнуло, да раз она обхватила меня. Вот испытанице было - садизм...»

«Ну что ж ты!.. Ну вот же... Вот бы и!.. - эффектно затягиваясь, непринужденно держа в чуть подрагивающих музыкальных пальчиках дымящийся, свивающий колечки смог, лукаво намекнула, засмеялась молоденькая женщина. - Что ж ты растерялся?! Съел бы ее!.. Как меня».

«Да что я - всеядный!!!..» - всерьез вздыбился он.

«...А-а-ах! - какие мы разборчивые...» - тотчас привстав с кресла и вытягиваясь к нему для миротворительного поцелуя, забыв курить и не глядя роняя точно в пепельницу «Моге» - длинную тонкую наполовину выкуренную и дымящую сигарету, с удовольствием проговорила она.

## ЗЛОДЕЙ

### Рассказ

Такого он не ощущал никогда. Что случилось? Будет понятно. А произошло следующее.

В это - открывшее глазам срез мира утро буднего дня он, Змеевов Лев Олегович, действовал привычно: согласуясь с действительностью.

Обыденно - в шесть тридцать от злого звона будильника проснулся. Нехотя поднялся. Умывшись, оделся, пил чай. Съел бутерброд. Уже вставая из-за стола, подумал: зря не сварил яйцо. Подумал: с утра, черт возьми, неплохо вареное яйцо с майонезом. Но теперь - теперь он не успевал. Да и майонеза в холодильнике не было. И он испытал ветряное недовольство.

В семь десять - обыкновенно безразлично поздоровавшись в коридоре с соседом, вставил ключ в дверной замок. Замок барахлил. И - подавляя сквознячное беспокойство, ему пришлось провозиться дольше обычного.

Пружинисто пройдя к двери лифта - с предчувствием не приятности вжал в панель

кнопку. С первым за день раздражением - поморщился: «Занят. Черт... Как всегда. Как нужен, так занят». Зло хмыкнув, начал ускоренно спускаться по лестнице.

В подъезде - опять после вечера исчезла лампочка. С ночи здесь пахло кисло. Он дал привыкнуть глазам и шагнул к выходу. На сухом полу темнело: расплывающееся пятно. «Лужа...» Лев Олегович догадался и тупым носком ботинка удачно, вместе брезгливо, - пнул кота, мочившегося под дверь. Кот оказался на удивление тяжелым. «...Вот же раскормят скотину! Кастрированный, наверно». Вялым мешком кот отлетел. Неудачно шмякнувшись о батарею отопления, закатился в темный угол. Там молчал. «Фу, черт... - обеспокоился Лев. - Не сдохни хоть, божья тварь». Но ухмыльнулся.

...Что-то шуркнуло вверху над головой. На полу возле ног разлетелась штукатурка. «Ну!.. Что за дела?» Он поднял глаза вверх. Ничего не увидев, не понял. И не воспринял. «Когда уж и ремонт сотворят!.. Загажен весь подъезд до основания!.. Дь-я-явол!..» Хлопнув подъездной дверью - заспешил на автобус.

На остановке скопилось человек пятьдесят. «Черт побери - откуда каждое утро понавылезает столько!..» Поеживаясь - с неприязненностью оглядел людей. Скоро подкатил длинный маршрутный автобус.

Вклинившись в мгновенно образовавшуюся толпу, он с помощью локтей продрался до окна. «Повезло». Но всю дорогу откренивал от себя безбожно давившую массивную, почти шарообразную женщину. Резкий запах дурных духов от ее грузной груди плыл прямоком в его грудь. Его тошнило. «...Да - бес тебя забери: ты можешь сама, без посторонней помощи прямо стоять?!.. Провались ты вместе со своими духами!.. Господи, что за наказание...»

Кипя чувствами, с брезгливостью ершился в формах толстухи. А мысленно - мучительно выдирал из головы сегодняшний сон. Сон почему-то колот. Память уже заплывала пеленой, он с трудом вырвал из нее нечто, как клеща, напившегося памяти.

Был сон: книга. Ее - кто-то передал ему. Обычное дело: передай другому, когда прочитал сам. Но: было какое-то «но».

Эта старая книга имела толщину сантиметров пять и формат стандартного листа. То есть большая книга. «Да уж, помнится, объемна». Истертого черного цвета обложки - картон, обтянутый материей. Не было ни надписи, ни названия, ни рисунка. Непривычно сплошной текст без глав, без абзацев внутри. «Что это? О чем она?» Он вспомнил, как во сне с любопытством раскрывал книгу. И, - там, во сне, - не читая, совершенно точно понял: что. И сразу захлопнул! А теперь содрогнулся: в этой книге разговоров, повествований, заговоров, наговоров и проч. легко, подробно расписывалось, как создавать зло. Он проверил свою память еще и еще раз - все точно: он тут же захлопнул том. И пошел. Но - выпустить из рук книгу было нельзя. Он знал (даже там): выбросишь - подберут, а кто?!.. Страшно было подумать, что из этого может выйти. Он подумывал (там): закопать. Нет, не решился. Все равно - когда-нибудь кому-нибудь она попадет. Он нес книгу (там) и думал. Даже стал оглядываться: кто же ее передал? Он стал следующим владельцем донельзя исчитанной древней книги. Он понял, приобрел власть, и раздумывал, как ему быть. Он хотел бы (там) сбыть, сбавить ее. Сон был отвратителен. «Господи, налитесь же ереси!..»

«...Ай!» - в давке забитого автобусного салона выронил проездной. С пола после десятков подошв поднял грязный листок. Помедлив, швырнул в окно. «Тьфу!..» К восьми ровно - «Боже мой...» - прибыл на работу.

Служебные помещения наполнялись людьми. Он решал вопросы, рассматривал текущие дела, после - находился один в маленьком служебном кабинете.

Все мы, когда работаем в учреждениях, инспекциях, службах, администрациях, вообще офисах, немного начальники, немного подчиненные - все одновременно. У него был даже заместитель.

Но сегодня заместителя не было!..

Он сидел за письменным столом погруженный в расчеты, когда в дверь один раз бумкнули, сразу открыли. В кабинетик вклинился заместитель. Он неприязненно подумал: «И где болтался с утра?!..» Сразу вспомнил: «А-а, да... Отпрашивался ведь вчера на час-два на сегодня, на утро».

Поприветствовав лишь кивком, что мгновенно раздражило его: «Что, слово доброе уж трудно сказать!..» - и не дожидаясь ответного «здравствуйте», прямо с порога зам гаркнул. Заговорил оглушительно! Возмутительно громко! «...Ну зачем так...» - поморщился он. Но в категоричнейшей форме заместитель вывалил на него свои возмущение,

нетерпение. «...Лев Олегович! Ну что это такое?! Ну как так! Я уже столько!.. Я уже не в состоянии!.. Я так больше не могу!.. Бог знает что творится у нас!..» И так далее.

Дождаясь, пока прекратит литься на его голову многотонный словопад, он угрюмо смотрел, он сидел, сжавшись кулачково. Он глядел на сотрясающего перед ним воздух отрешенным взглядом. Что? Он старательно пропускал мимо не относящиеся к делу, грузящие лишь слова. Наконец отфильтровал главное. Проблема, которую ему изрыгали, заключалась в... Была пустяковой. (Кому интересна она.) Он мог подняться, пойти, несколькими организационными движениями, несколькими умелыми распоряжениями разрешить все. Но тогда к чему заместитель?! Однако... К чему тогда - еще одна штатная единица? Он всегда считал: каждый должен исполнять свое, каждый обязан - свою работу. Поэтому: «Ю р и й Ге-ор-ги-е-вич». Голос его был официален, голос звучал демонстративно нейтрален. Да не сух. Голос уловимо звякал ворошимым металлом. «...Юр ий Ге оргиевич! Еще раз. Вам говорю. Повторю». Он старательно, даже с сарказмом нажал на это «повторю». «Подобные вопросы! И данный в том числе вопрос. Входят в вашу - в вашу! - компетенцию. Подобные вопросы - ваша обязанность. Это - простой вопрос. И если вы не в состоянии решить простой вопрос, подумайте о том, что есть места, где это, возможно, попроще. Все». И слово «все», обозначающее в данном случае и конец, и начало, - по крайней мере, конец разговора, - он подкрепил веским шлепком ладони.

Юрий Георгиевич, крупнотелый пятидесятилетний мужчина, с проседью в шевелюре, большими ладонями, властно посаженной головой, - и тупоносых ботинках сорок первого размера, злобно сверкнул глазами. Как получивший пощечину, на которую нельзя отвечать, стремительно развернулся: «...Все?!» «Да, все». Зам вышел, как вылетел из кабинета. Хлопнула дверь, каблуки - шаги дробно застучали по коридору. «Что - съел?! Работать надо, а не...» Он не без злорадства прислушался. Вслушиваясь, попробовал и впервые наглядно представил, как зам вышагивает сейчас: большой! пышущий! Вертящий головой, как на суку злобный филин!.. И - ищущий! - ищущий глазами: кому! кому бы тоже!.. Вдаль. Но - никого сейчас в коридорах.

...Он уже вновь погружался в расчеты, вслушивался лишь машинально, усмехался без зла, когда внезапно его озадачили мелкие пересыпающиеся пли. «Где это?! Что - так?» Будто шрапнель неслась впереди-позади Юрия Георгиевича по коридору. Злобно чиркала о стены, солью пересыпалась от потолка к полу, шарахалась от стены к стене. У него расширились глаза: «Надо же!..» В уме почему-то мелькнуло: «...Кто это: он или я?!»

После обеда, когда ему поручили и он был вынужден, - когда битый час - препирался с рабочими, приступающими к отделке служебного здания, и из указаний шефа и собственного желания сэкономить сознательно занизил расценки работ, его смутил чирик-нувший по дуге от него незримый, яичкуобразный шар.

Подобный второй, формой опять же - с яйцо, но покрупнее, но шершавый, как камень, свистнув ватагу, сиганул вниз, в подвал, что заставило его замереть, растеряться. Это произошло, когда один из маляров, жидкобровый, костлявый мужчина, судя по виду больной желудком, может быть, с гастритом, может быть... - уязвленный малой оплатой работ, злобно плюнул, сморщился, скривился, замахнул рукой, мол, - а-а-а... всех начальников, всех вас!.. И досказал - куда и как - матом.

Он насторожился.

Вечером, после работы, напрямик поехал домой. Настроение было неважным. Тяготила усталость, ничего не хотелось ни желать, ни делать. Хотя - день выходил не самый кривой.

Он вышел из троллейбуса, обогнув дом торопился в подъезд, и уже ступил на бетонное крыльцо, когда от схваченного краем глаза, узретога почти спиной, остолбенел. «Ну!.. Ну - нелепость! Мать моя - женщина!..» Непроизвольно отшагнув назад, развернулся. Недоумению - «Ну, здравствуйте... - и негодованию - «Вот же, твою мать...» не хватило б страниц: в двух шагах от ворот его гаража, хамски расставив колеса, дремали грязносерые «Жигули».

Неблагодарно моргая, неуверенным шагом, все еще считая зрелое издевкой уставших глаз, обманом, - нахальным миражом гнусной действительности, он двинулся к «Жигулям». Подойдя, даже пощупал их: это не обман? Нет, грязные «Жигули» действительно существовали. Он обошел их, мысленно представляя, как выезжает из гаража... «А-а-а... - он растерялся. - Никак!..» В уме завис не замыкающий никакого предложения знак - вопрос. Невнятный парад слов, пробулькав в горле, упал в пустой желудок. «А если бы мне сейчас выезжать?!» - вслух спросил он. Оторвал взгляд от наглой автосучины,

здрав подбородок, стал озирать окна. Жаждалось завизжать! Жаждалось увидеть и крикнуть! Вызвать хозяина-подлеца сей же секунд, пусть полюбуется! Пусть убедится, какую глупость совершает!

Однако пока он выщучивал искомое в бесстрастных окнах-глазах, до него дошло: хозяин «Жигулей» все понимает. И без его разъяснений. Как говорится, «и так». Тогда он ошарашился еще более. «Ну как же это? - спрашивал себя. - А если бы у меня ребенок заболел? И срочно нужно его - к врачу! Или жена, может, у меня в положении: беременная, может, у меня жена! И на последнем месяце. А вот если придется везти!.. Как же тогда, как же тогда, как же так, а?!» И неожиданно для себя выверенным движением бывалого угонщика вскрыв форточку, он открыл «Жигули».

На этом гнилом «ведре» не стояло даже сигнализации. Он начал безудержно давить на клаксон. «А вот буду сигналить, пока аккумулятор не сядет!!!.. Вот так».

Минуты через две явился хозяин «ведра»: крупный, вялый, как глотнувшая воздуха, - и холодный, как только что выуженная, - рыба, - молодой человек. Они повздорили. Лев Олегович убеждал, уговаривал, - указывал пальцем, махал руками, кричал. Ничегошеньки не выходило. «...А вот будете выезжать, и отъеду... А ТЫ сто лет не выезжал - видно по гаражу. Да и по тебе тоже... А мне лучше, чем здесь, поставить некуда: МНЕ так из окна ЛУЧШЕ видно». В конце концов, они едва не подрались.

...Клятые «Жигули» так и остались на месте, он же, кипя негодованием, бессильной яростью - «Да что за сволочность-то такая?! Что за подлость, скотство!.. Что надо назло-то другому человеку обязательно делать?!..» - ушел в дом. Пнул с ядовитым вкусом комок жирной грязи в сторону разгневавшей его автомашины: сделать хоть что-нибудь напоследок! Грязь разлетелась, обрызгав и машину, и его, и холодного молодого человека.

...Свинцовоплотный, величиной с спелое антоновское яблоко шар, - но больший, но - явно мутант от Чернобыля, - заставил его вздрогнуть и пригнуться, шальнувшись близ лица. Проследив траекторию, он пробормотал - потерянно, мгновенно утомившись: «Нич-чего не понял... Что творится сегодня?! Н-н-да...» Выругался на весь свет и зашагал. Просьбу себе: завтра же вызвонить автоинспектора, приходившего в их учреждение с просьбой, приходившего по личным делам. Постановил себе: дать ему задачу «выдирать» водителя «Жигулей» - номер он скажет - установив гаишнику прямую связь между решением его проблемы и своего запроса.

Поднявшись домой, снова чертыхался с замком. И от нового уже не помнил, что сейчас во дворе между ним и другим человеком произошло. Переоделся в домашнее: «Ой, как хорошо. Я дома - слава богу!..» Пошел на кухню. Сразу стало тоскливо: хотелось в удовольствие хотя бы поесть. Но тогда требовалось долго готовить. Он мешкал, желая вкусно поесть и не имея на приготовление сил. Разглядывал кухню, осматривал шкафы. Перебирая, осознал: что же такое в его холостяцкой квартире найдется съесть, что можно не готовить.

В квартиру позвонили, затем постучали. Он открыл. За порогом переминалась бывшая жена. Прошел год, как они разошлись, с полгода не встречались. «Чего тебе!» - в уме было северным ветром дохнул он. Хотел пожелать: «Чтоб ты!.. Сдуло». Но, вспомнив дневное и утреннее, инстинктивно передумал.

«Здравствуй, Лева», - робко улыбнулась бывшая жена. «Хм-м... - здравствуй. Проходи. Пришла?» Однако тон его был категорически неприветлив.

Женщина ежась вошла. На улице лил дождь, и пальто ее было мокро. «Но она не шла с остановки. Скорей, намочла, пока бежала в подъезд. Значит, приехала с кем-то на машине». И он покривился. «С дружкой. Та-а-ак!..» Еще без повода, еще вообще ни от чего стал накаляться.

Смущаясь, словно извиняясь, будто чего-то стыдясь, женщина нервно заговорила, - она волновалась, она словно боялась, - она опасалась, что договорить не дадут, поэтому все надо выпалить разом.

Без толку. Его раздражило ее тараторенье. Ее смущение он объяснил быстро: она стыдилась своего порыва - своей заботы о нем. Он стоял, слушал, он смотрел на нее, будто издали. Не знал, как поступить, смотрел, молчал. То криво, то надменно усмекаясь.

Он уяснил, он понял из сбивчивого: она видела его сегодня, видела днем, - он брел хмурый, угрюмый, он едва переставлял ноги нахохленный, - и она подумала, не случилось ли чего, подумала, ведь он недавно из больницы, - и она расстроилась, может, ему плохо, может, и дома у него нечего поесть, и приготовить никак, и приготовить некогда,

да ведь и - некому?... И вот она побежала, она вспомнила, что он любил, она нашла, она купила кое-каких продуктов... Ему... Чтобы поддержать. Маленькая, невзрачная, - мышка. «...У тебя... Ничего? Ничего не случилось, Ль...»

У него задвигались скулы. В зубах проскрипело: «Твою мать!..» У него мерзко скрипнуло еще где-то. И цокнуло: опять же - в зубах. В нутре и без того вздымалось, парило, теперь же - скрюжилось, как в подгорающей сковородке, и сделалось, как в закипающей кастрюле. Кипяток взволновался, задвигался, забулькал, полез, все обдал пар!.. Крышка, предупредительно сдвинутая ранее, съехала назад, все закупорила!.. Тогда кипяток взъярился, фукнул паром - пробить щель, прыгнул на стенки - вверх, вверх!.. Яростью пролился на огонь! Пламя заметалось, скосбочилось, конфорка пыхнула зловещим, в пламени - красноватое!..

«... И я упростила Колю, упростила свезти меня, чтобы отдать тебе, - вот, возьми, вот... Извини...» Просяще, униженно, подобоострастно клонясь, мокрая мышка протягивала ему пакет, нелегкая ноша гнула руку.

Он напрягся, он опустил глаза. Этот ее виноватый вид, этот побитой собаки взгляд, извинения чему-то заранее!.. И - он их распрекраснейше видел! - сияющиеся смягчить его, сияющиеся понять, поддержать - безмерно, бескрайне радушные, перед ним в двух шагах, глаза.

Он заежился, закричал, заскрипел, перекиривляясь. Он ощутил себя грубой тварью. Подлецом, скотом. Страшно хуже! - подлецом, о котором невзирая на то что - подлец, что тварь, по-божески, по-человечески заботятся!

И он хамски фыркнул! Он закричал на нее: «Что-О-О!.. СО-всем спрыгнула с ума-А-А!..» Он грязно выругался, схватил ее за дрожавшую руку, выдернул из руки ее сумку вон!..

То был большой полиэтиленовый пакет, какие дают за два пятьдесят в магазинах, реклама масла «Рама» желтела на округлом боку.

Он швырнул пакет в угол!

Пакет шмякнулся о край обувной подставки, отлетел, лопнул под вешалкой. В угол по полу покатались стаканчики йогуртов, сосиски, булочки, яблоко, апельсин, пакетики кофе, кусок колбасы, сырок, сыр... Все купленное, все собранное, все принесенное говорило о доброй суетливости, доброй заботливости, мягкости щедрой души, способной отдать себя на заклятие.

И. Он. ЗА-ГРО-ХО-ТАЛ! Он вспенился, взревел - взгремучился на нее! Как! Как она смела! Она! Она! Она, испортившая ему всю его жизнь!!! Как она!.. (У него не хватало дыхания.) Как она смела заботиться о нем! Ага!.. Кормить его!.. А ее любовник, ее ухажер - или кто он ей там... Трахаль ее... Сидит, отирается сей час в машине. А она - пакетик - х-ха!.. Завезти ему, голодненькому... Х-ха! Бедненькому.

Все-все накопившееся: желчное, дрянное, алчное, - зреющее, зрелое и лежащее, - в сердце, венных скронах, печени, темени, - даже то, что давно истлело, что сгнило или гнилым - похоронено, было поднято им, вышелушено, сорвано с оков, обращено пастью наружу. Было зло - сознательно изготовлено, пущено в Свет.

И он К Р И Ч А Л... Он с Н А С Л А Ж Д Е Н И Е М... Упое-ением, даже с садистской сладостью отыскивал, выкатывал, толкал, как с обрыва, унижительные, уничижительные, уничтожающие валуны-слова. Дошел до гадких, цедимых сквозь зубы. Он вконец стал бить ее: «Гади́на! Гади́на!! Какая же ты гади́на!!!...»

Она не отвечала: она не мигала.

А ОН - Л Е Т Е Л! ОН - П А Р И Л! У него отросли птеродактильи КРЫЛЬЯ! Цапали воздух, били наотмашь. Ну же! Ну же - ответь! Ну же!..

Она не отвечала.

Тогда: «Во-о-н-н-н-н!!!...»

Съезженная, сжатая, расплющенная чугунным катком и тут же сдернутая метлой ветра-урагана, мокрая слепая мышка выбросилась из квартиры. Вылетела наружу в распханутую властно могучей мужской дланью дверь. Опомнилась, когда налетела на угол, пискнув, бросилась по коридору. Семенящие всхлипы-шаги слетели с лестницы, упали в пролет, изошли, сошли на нет, растаяли, - растекались по ступеням сгустками болей. Ударилась внизу подъездная дверь.

Надменно усмехаясь, он задраил свою. Защелкнул, запер, довольный, пошел.

...Массивный... Львиногривый шар - свинцовый арбуз с провалами каменных глаз и оскалом черепа лошади - обдав и его, тяжело сорвался от квартиры. Сперва - во двор.

Прицелил, догнал убегавшую женщину, клянул в левый бок. Войдя, кубыльнулся, попотрошил. Так повар - рыбину; и так солдата кувыркаящаяся пуля изуверского советского калибра, запрещенная даже для боевых действий специальной конвенцией ООН. Повоевав в свое, взмыл вверх. Слово разумный: оглядеться. Прошел двор змеелокатором. Конкретных дел нет. Мстительно лошнул. Растекся. Горизонтально размеился по над земному пространству.

Он - онемел. Он замер, не довершив шаг. Озираясь, спрашивал себя: «Что? Что? Что? Что произошло?!» Стоял на одной ноге, как очумелый днем филин, вращал глазами. «Где? Что?» На цыпочках, страшась любых звуков, прокрался к окну - показалось: рухнуло близ что-то. «Нет - уф... Слава богу, показалось».

Мир устоял. Но устало лил дождь. Быстро двигались тучи, пробивалось сквозь них солнце, - и обещало греть не престаивая. Город не дрогнул. Улицы, дома... И он перевел дыхание. «Фу-у... Слава богу».

Однако ощущение не отпускало. Врасплох застигнутый им, не зная, куда себя деть, что предпринять, он перестал кривляться сердцем, лицом. Тихонько ступая, прошел в комнату к креслу. Осторожно опустил себя. Дотронулся до пульта, включил телевизор. Посторонние звуки успокоили. «Ну - все. Все хорошо». Экран засветился, проявилось изображение. Он обрадовался, стал вглядываться, желая отключиться, желая ничего не знать. Отнюдь! Он попал на новостной канал. «Какой день сегодня нехороший...» В Чечне снова! В Чечне все так же! В Чечне опять! - с повальным увлечением отрезали головы и, гордясь ТАК героическими собой, с улыбками - для потомков! - снимали процесс на видео. Задорно, не чураясь и смеющейся детворы, бомбили целиком Югославию, выдавливая из нее сатрапа Милошевича единого. С азартом грелись раскаленным свинцом в жаровне очередной смехотворной войны в Афганистане. И так далее... «Что за дурацкая планета!!!» - вне себя, воплем насидуемого кастрата проголосил он. Сорвав голосок, петушино пугнул пустоту, швырнул в кресло пульт, утек в кухню. Твердил: «Что у нас за мир какой?!.. Что мы за люди какие...»

Разорванный пакет мучил раной, трупом лежал на полу. Он не выдержал, побрел подбирать. Поднял все. Как бы оправдываясь, бережно теперь, уважительно брал в руки свертки. Рассматривал пакетики, продукты. Подумалось: «Где она сейчас?» Сердце непроизвольно сжалось. Подумалось: «Плачет, наверное. Напрасно так я... больно...» Он начал вспоминать ее. «Нет, - решил, - не плачет. И даже не ругает, и не обиделась, и не клянет: такая она. Живет дальше, делает что нужно. Вспоминает меня между делами, жалеет опять». Подумалось: «Напрасно она жалеет всех. И меня».

...Медведь заворочался внутри - наступала весна, цыпленок вылуплялся - скорлупы треснула оболочка. Скрюченно он признал себе: «...а я... не был прав».

...Ощущение опять застало врасплох: ударило! Как налетело внезапно! От неожиданности, от удара он плюхнулся возле пакета на пол. Сидел, тупо пялился на стену напротив, на свертки. Штукатурка, шрапнель, свинцовый кулак, оскаленное ядро... «Сегодня я пустил в мир еще зла». Констатировав факт, он поднялся, отряхнул брюки, зачем-то - руки, пошел, вымыл ладони.

«Сегодня я пустил в мир зла еще». Дернувшись, как паралитик, он двинулся по квартире. «Зачем я? На кой?.. И откуда я взял его!?» Он донельзя удивился!.. «Его же не было! Его же не было до меня! До того, как я...»

...И опять, и - следующая, давшая с налета пощечину, неожиданность. Он напугался и заморгал. «Это что - я!!!..» Его указательные пальцы ткнули ему в грудь. «Это что же, я - создатель его?! Создал - я? Что - взял из себя? Как это, то есть?!..»

Он попытался понять. «Разве возможно? Из - себя. Как: взял, слепил? Как снежок? И - как мячик швырнул: на, белый свет?» Он попробовал замахнуться. «И - в мир, и - в окно! Бам! Бабах!.. А оно теперь: породит новое?» Он вспомнил книгу.

«Сегодня я добавил в мир еще зла, сегодня я...» - как кандальник по камере, звеня цепными веригами по калеченным, убиенным, под их многая тяжестью шаркая ногами, он двигался, гнойно бродил по квартире.

Он родился, задвигался, делал движения, - он что-то делал, - вечером ложился, утром вставал, шел, работал, ел, пил, веселился, смотрел, говорил, молчал - и каждый шаг, каждое... - даже жест, даже взгляд, обдавали мир нестерпимым злом-звоном.

Он теперь вспоминал, как жил, вспоминал, что произошло. И морщился, теперь понимая: ни убавить никакъ, ни отнять. (Законы Такие.)

Александр ЛОМКОВСКИЙ

Рассказы

## ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

- Тут последние деньги... - Наташа посмотрела на меня как-то смущенно, словно сама была виновата в том, что мой аванс весь кончился. Хотя тут была как раз моя недоработка - давно уже собирался подыскать новую работу, поденежней, но как-то все...

- Чего купить? - безнадежно махнул я рукой.

- Хлеб нужен, да масла подсолнечного. Сорок рублей только и осталось.

- Куплю, - буркнул я, уже одевая кроссовки.

- А пока ты бегаешь, я картошку варить поставлю...

Я не удержался и поцеловал жену.

- С чего бы? - удивилась она.

- Не знаю... - честно ответил я и, захватив с вешалки в коридоре мягко шуршащую болоньевую курточку, хлопнул входной дверью.

Надевал её уже непосредственно в подъезде, соскакивая вниз через две ступеньки. А на улице - осень. Шикарная, мягкая, добрая. Старые липы во дворе тревожно зашелетели листвою, едва я сошёл с крыльца. Хитрюги... словно и не признали! Я улыбнулся им, и они благодарно уже захлопали своими порыжевшими ладошками. Вечер зарождался необыкновенным: небо начинало чуть лиловеть, и несильный ветерок, налетавший небольшими порывами, мягко обволакивал лицо, стелясь по нему легкими воздушными прядями. Хорошо! Хорошо, что есть у меня Наташа, хорошо, что вечер, хорошо, что кончаются деньги... Хотя тут я немного перехватил через край, что называется. Нет ничего хорошего в том, что зарплата маленькая, а до полочки еще два дня. Ну, да ничего, как-нибудь прорвемся. И не в таких переплетах бывали! Да выбирались же.

Прямо у входа в магазин, ворча на прохожих сизой гарью из выхлопной трубы, торчал грузовой фургон с распахнутыми задними дверцами. Разгружают товар! Это значит, что придётся идти в дальний магазин, за два квартала. Если принимают товар, то пока еще разгрузят, да все примут по описи... Надолго.

Вывернув на проспект, я сразу окунулся в городскую толчею. Кто спешил на автобус, кто торопился домой с работы, а кто-то просто прогуливался, не спеша, по улице. Две молоденькие девчонки в желтых форменных накидках всучили мне тут же какой-то яркий красочный квадратик картона. Это оказался талончик на скидку в магазине бытовой электроники. Я усмехнулся про себя: зачем мне скидка в таком магазине, когда и на еду завтра денег уже не будет? Немного подумав, я всё же сунул талончик в карман курточки - неприлично выбрасывать подарок на глазах тех, кто тебе его вручил. Инфантильный молодой человек предложил купить газету, целый ворох которых он держал на согнутых в локтях руках. Вежливо отказавшись, я начал пробираться дальше. Внезапно торкнуло, остановило: явственно почудился запах любимых Наташкиных духов. Что это?.. откуда? Недоуменно покрутил головой, отыскивая в толпе источник запаха. И тут же наткнулся взглядом на небольшой складной столик метрах в пятнадцати от себя. Пожилая женщина продавала какие-то непонятные ароматные палочки, одна из которых уже дымилась. Оттуда-то как раз и шибало запахом. Словно замороженный, я подошел вплотную к столику. Палочек оказалось много: весь стол был буквально завален этой продукцией. В ярких полосатых упаковках, всевозможных форм и размеров, толстые и совсем тонюсенькие. Женщина устало подняла на меня черные, с какой-то грустинкой, глаза.

- Купить хотите?

Я отрицательно помотал головой, а сам не сводил глаз со всего этого великолепия. И

дышал, не мог надыхаться чудесным запахом. Такими духами пользовалась Наташка чуть ли не год после свадьбы. А потом флакончик кончился, а на новый денег вечно не хватало. Видя, что я никак не могу отлипнуть от столика, женщина начала информировать о товаре:

- Которые в зелёной упаковке с фиолетовой полосой - те ландышем вроде пахнут. Красные с жёлтой - розами больше. Та, что сейчас дымится, - вениками...

Ах, ты! А я всё никак не мог понять - чем же отдавали наташкины духи. Оказывается, берёзовыми вениками! И еще чуть-чуть тлеющими палыми листьями. Спасибо, спасибо тебе, родная! Век не забуду!

- Пятьдесят рублей всего тоненькая. Берите... - предложила тетка, но увидев, как вытягивается мое лицо, тут же поспешила сбавить цену. - Ладно, отдам и за сорок!

Рука автоматически потянулась в карман джинсов и нащупала там заветные четыре бумажки по десять рублей.

- Эту! - я обречённо ткнул пальцем в дымящуюся палочку.

- На здоровье! Зажигайте дома, пожалуйста. На неделю хватит, если понемногу.

Словно в анабиозе, я, отдав деньги, получил за них «волшебную палочку». Именно волшебную. Сколько раз в детстве я мечтал о том, что совершенно случайно найду вдруг именно такую полосатую и разноцветную почему-то, второпях оброненную пробегающим волшебником, палочку. Которая будет исполнять желания. Бережно уложив покупку за пазуху, я развернулся и направился к дому. Что я скажу Наташке - не думалось совершенно. Я весь был захвачен воспоминаниями детства. У меня, наконец-то, есть волшебная палочка! Которая, правда, может исполнить всего одно желание, а именно: воскресить запах наших любимых с Наташкой духов. И всего за сорок рублей. И пусть сегодня, да, пожалуй, и завтра, мы станем есть картошку без хлеба и масла. Переживём! Зато мы молодые, и у нас все ещё впереди...

## ДОМ

Ох, и хлебнула же Наташка Макарова горюшка в своей жизни... Досыта, можно сказать, нахлебалась. В неполные-то свои двадцать пять. А на вид так и не скажешь: симпатичная стройная деваха с рыжеватой челкой и зелеными, цвета нежной весенней травы, глазами. Кто-то, к примеру, живет себе и не видит горя же никакого, а кому-то полной меркой навалено. С горочкой. Как вот и Наташке. Сирота детдомовская: без квартиры, с временной пропиской, да с двумя детишками на руках. Да и ребятишки от разных мужей завелись. Вот ведь дела какие.

А живет пока Наташка у Маринки Аквсентьевской. Это она сейчас Аквсентьевская стала, а раньше в детдоме просто была Мартовой, потому что ее в аккурат в марте подкинули. У Маринки муж дальнобойщик, поэтому дома бывает редко. Но когда приезжает, то косится на Наташку с ее выводком. Нехорошо так косится. Своих-то детей им с Маринкой бог не дал, так, видимо, на наташкиных-то зависть и берет. Ох, чувствует Наташка, что недолго ей жить здесь осталось: не выдержит однажды Николай-дальнобойщик, да и выгонит на все четыре стороны - иди, мол, куда хочешь из моего дома. А дом-то хороший. Почти в центре города на берегу реки. На двоих с соседями, правда, но зато свой. С тремя комнатками, кухней и верандой. И с водопроводом. Не дом, а мечта просто. Ну, конечно, печь русская, но это даже и лучше. Когда захотели - тогда и истопили. И бывает, что уложит Наташка детей спать, заберутся они с Маринкой на печку, да и начнутся у них разговоры далеко за полночь. Про первого наташкиного мужа Андрея - из того же детдома, и про его нелепую гибель под машиной. Пьяная какая-то совершенно мадам из «новых русских» задавила их с товарищем на остановке автобуса. И машину вдребезги, и остановку развалила до основания, и Андрюшку с другом исковеркала до неузнаваемости. А самой хоть бы хны - ни царапины даже. И очень уж это почему-то злило Маринку - хоть бы и сама поломалась. Так нет же! И присудили ей совсем немного: из-за того, что у нее ребенок маленький. А Наташке с ребенком чего? Из общаги по-



перли. Не сразу, правда, но вытурили. Сколько Наташка правды ни добивалась, сколько по судам ни бегала - ничего не помогло. И пошла-побрела Наташка по белу свету, как по канату под куполом цирка: ночь у одних переночует, утром Васятку в ясли отдаст, да и на работу в свой магазин бегом. Вечером заберет Васятку и опять думает - где бы переночевать-перекантоваться до следующего утра. Хорошо, что лето тогда было. И на улице почевать пришлось, и на вокзалах. С месяц почти Наташка мыкалась. А потом познакомилась на улице случайно с одним. Тот и взял их с Васькой на квартиру жить. Сначала платила ему Наташка исправно каждый месяц, а потом незаметно как-то и в постель к себе пустила. Ну, всем же тепла хочется... А потом и второй раз забеременела. Тот вроде ничего сначала. Довольный ходил. А однажды только вывез их в дом отдыха на выходные, да и сбежал оттуда. Кинулась было Наташка на квартиру - а там уж другие люди заехали. Продав, оказывается, тот тип квартиру, да и растворился на необъятных просторах России. Ищи его! Тут как раз с Маринкой и встретились. Та без лишних слов привела ее домой и, не слушая никаких возражений мужа, оставила у себя. Аборт на пятом месяце никто, конечно, делать не стал, и оказалась Наташка с двумя детьми на руках, без всяких планов на будущее и вообще без ничего.

...Ох, судьба-судьбинушка! Ну, как же ты иногда к людям подходишь? Нет бы - всем всего поровну поделить. Зачем же так-то вот?..

Пособия из магазина, где Наташка работала, едва хватало на оплату садика для Васятки и яслей для Егорки. Считай, что жила она на полном маринкином иждивении. И тягостно ей, конечно же, было - да куда денешься? Однажды Николай, муж Маринки, объявил с порога, что нашел для Наташки сезонную работу: поторговать у одного хорошего человека фруктами на рынке. Наташка, не раздумывая, согласилась. Хорошим человеком оказался пожилой татарин, который каждый вечер с упорством маньяка пытался затаскать ее в номер своей гостиницы. Чтобы хоть как-то отвадить его, Наташка однажды заломила цену, равную месячной зарплате, резонно полагая, что хозяин, если уж и не зауважает ее, то хоть отцепится. Татарин же, не раздумывая, согласился. Ох, и кляла же себя Наташка по пути в гостиницу на все лады! Но слово было уже сказано, и чтобы окончательно не потерять работу, сквозь слезы и всхлипы переночевала она в номере хозяина. Дальше - больше. Татарин оказался охочим до молодого наташкиного тела. Месяц почти ходила она к нему. Хотя надо сказать, что татарин начал платить все меньше и меньше, ссылаясь на нехватку денег. А потом и вовсе передал ее двум своим товарищам из соседних палаток. Те в гостиницу ее уже не водили, а насыщались по очереди прямо в палатке после работы. Правда, платили исправно.

Маринке Наташка ничего не говорила. Только ревела втихомолку по ночам, да кусала до дыр подушку. «Ох, господи милосердный, что же я такое делаю-то? - сквозь слезы повторяла она. - Прости меня, господи. Для детей ведь на муки иду...»

Когда Наташка надоела и тем двоим, они привели еще двух таких же. Наташка чуть в голос не взвыла. Но деваться было уже некуда. До ее мечты - домика в деревне, по самым скромным подсчетам, надо было еще год спать со всеми торговцами с городского рынка.

Однажды она не выдержала, накупила вина и, выпивая его ночью на теплой печке, все рассказала Маринке.

- Ты хоть в вендиспансере-то проверяешься? - спросила подруга и брезгливо отодвинула от себя стакан, из которого они с Наташкой пили по очереди. - Как хочешь, а заразы чтоб никакой в моем доме не было!

Поняла Наташка, что скоро ее и отсюда «попросят». Вот только вернется из поездки Николай. Как робот, ходила на работу, спала с торговцами, и мало-помалу начала закрадываться в ее сознание мысль - так больше нельзя. Больше ей не выдержать. И сладкой червоточинкой все упорнее маячила мысль о самоубийстве.

«А что? - рассуждала, словно в тумане, Наташка. - Брошусь в реку - и концы, как говорится, в воду. А Маринка с Николаем бездетные как раз. Вот Васятку с Егором и усыновят, может. А не то - в детдом отдадут. Там-то им лучше будет, чем вот так вот: черт-те где и на птичьих правах».

Несказанно мучилась Наташка своим решением. Часто ласкала беспричинно своих сыновей и заливалась слезами. И как-то раз осенью, в пору уже листопада, поцеловала она спящих детей, оставила Маринке записку и все свои сбережения и пошла на реку. Медленно брела по безлюдным в этот ранний час улицам, загребала ногами золотую опавшую листву и прощалась потихоньку с этим, таким жестоким миром. Дорога выпала мимо церкви.

«Зайду, - подумала Наташка. - Хоть свечки поставлю».

Кому и за что ставить свечки, она решительно не знала. Робко подошла к какой-то женщине, стоящей на коленях перед большой иконой.

- Простите, - начала было она, - вы не можете мне подсказать...

Тут женщина обернулась, и Наташка сразу ее узнала. Вспомнился зал суда, эта женщина под конвоем двух милиционеров, ее заплаканные глаза. Женщина тоже сразу ее признала.

- Пойдем, милая, - нерешительно тянула она Наташку за рукав плаща, не зная, как она отнесется к такой встрече. Но говорила и говорила. Быстро, захлебываясь словами, глотая окончания, будто боясь, что не успеет. - Я ведь искала тебя. Долго. Из общежития вы с ребенком выписались, а нового адреса никто не знает. Даже в милиции. А семье второго я уже помогла. Правда, они не хотели брать деньги, но я все-таки вымолила у них прощенье. В ногах ползала...

Наташку поразил сухой лихорадочный блеск ее глаз. Как-то сразу поверилось, что она, эта женщина, действительно, ползала на коленях, вымаливая никому уже ненужное прощение. Разве только что ей самой. Она послушно тянулась за женщиной, не понимая, куда они идут и зачем.

- Я свечки хотела... - наконец, сумела прервать Наташка словоизлияния неожиданной знакомой.

- Потом, милая, потом. Мне надо с тобой поговорить. Меня, кстати, Ангелиной зовут.

- Я помню. Ангелина Воронцова, - горько усмехнулась Наташка. - Разве такое забудешь?

Тем временем они дошли до большой сверкающей машины, стоящей за оградой церкви. За рулем сидел шофер и читал газету.

- Садись в машину, - продолжала тянуть Наташку Ангелина. - Поговорим. Выйди, Антон, - приказала она шоферу.

Тот, ни слова не говоря, взял из бардачка сигареты и вылез из теплого нутра автомобиля.

- Вот... сама больше не рискую за руль садиться, - проводив его взглядом, заметила Ангелина. - Как вспомню их... на остановке... так и трясти начинает.

Наташка обрадовалась неожиданной отсрочке своего, самой же вынесенного, приговора. Отдавшись на волю своей новой знакомой, она бездумно скользила в волнах ее теплого голоса. Внезапно вспомнились сыновья и то, что она хотела сделать. Ей стало так хорошо и так стыдно одновременно, что она не выдержала и заревела в полный голос. Ангелина непонимающе посмотрела на нее и вдруг тоже заплакала. Так они и сидели на заднем сиденье и лили слезы на плече друг у друга. Мало-помалу Наташка рассказала Ангелине всю историю своей неудавшейся жизни и готовящуюся развязку. Ангелина заплакала еще горше, считая себя виноватой во всех обрушившихся на Наташку несчастьях.

Через час Наташка неслась к дому, мечтая только о том, чтобы Маринка не успела прочитать ее записку. А в дверях, нос к носу, и столкнулась с заполошенными Маринкой и Николаем.

- Мы уж в милицию с твоей запиской было... - заревела Маринка. - Дура, что ты надумала-то?! Разве можно так-то вот? Какая же ты дура! - и обнимала Наташку и все никак не могла на нее наглядеться. - Ты же родная нам давно уже...

Наташка тоже заплакала, уже второй раз за утро.

- Дом... Наконец-то у меня будет свой дом... - сквозь слезы повторяла она.

- Дура! - сжимала ее в объятиях Маринка. - Ну, какая же ты дура...

## Фаина СОЛОМАТОВА

## Рассказы

## МЕТЕЛЬ

## I

Влажные крупные хлопья медленно, словно с разбором, ложились на притихшую землю. Будто им не все равно, где зимовать: на грязной ли разбитой дороге, на мягком ли ковре озими или в затишье у ствола дерева, где будут целы, пока весеннее яркое солнце не растопит в чистые прозрачные капли. Снежинки цеплялись за ветки елей и сосен, одевая их в пышный и красивый наряд. Знать, зима вступила в свои права, поскольку ее приход люди всегда соотносили со снегопадом.

Валентина не торопилась. «И озимь приготовилась ко сну, вон как переплелись, обнялись стебельки и приткнулись к земле, словно к материнской груди»... Тишина... Лишь слышны валентинины шаги по скованной земле. Потрескивает хрупкий ледок в промерзших насквозь лужицах, шуршат пожухлые листья, иссеченные дождями.

Получив зарплату, она направилась в магазин. Выполнила наказ сына - купила ему костюм. «Если будешь покупать, то синий», - наказывал Саша. «А в чем же зимовать собираешься?» - удивилась она. «Не оставь костюм у Шурупки», - вмешалась в разговор дочь.

Оле она купила кофту, затем набрала продуктов и принялась укладывать все в рюкзак и большую сумку. Продавец отпускала очередь, а недоуменный ее взгляд, нет-нет, да и обращался к Валентине. «Сейчас сложит и возьмет, другим заходом. Не посуху же полочка пройдет. Всегда так было».

Пронырливая бабка Петровна, проводившая времени в магазине не меньше продавца, знала все и обо всем. Особенно торопилась она сообщить что-то первой или же предугадать случившееся.

- Вот видите? - воскликнула она. - Как в руку положила! По моему вышло!

И ее ничуть не смущало, что кому-то в этот миг тяжело, у кого-то - горе. Нет, Петровна тоже охала и ахала, с сожалением качала головой. Но если внимательно приглядеться, то станет ясно - нет жалости и искренности в ее сожалениях.

На время Петровна утратила дар речи. Но вскоре оправилась:

- Неужто, Валька, и не возьмешь? Ничего? А к Шурупке с чем гостевать пойдешь?

- А я, Петровна, свой пай выпила, боле не хочу, - рассмеялась Валентина.

- Ой, не хо-о-чешь! Да, нынче строго стало, забоялась, что с фермы турнут... Бреешься! Не отстать тебе, девка! - заключила Петровна и с интересом уставилась на следующего посетителя магазина.

Шурка выследила: «Валентина ушла в магазин. Отоварится - и ко мне», - обрадовалась она. Так было всегда. Она засуетилась, включила чайник, метнулась заварить чаю, того не оказалось. Скомкала пустую упаковку, в сердцах швырнула в черную пасть печи. Вытянула из банки огурец, смыла под умывальником плесень, намяла тупым ножом черствого хлеба. «Картошечки бы отварить...» На дне мешка, в песке, нащупала пять сморщенных картофелин. «Мало. К бабке Катерине сбегать - проворонишь Валентину. Вечером. Сейчас обойдемся огурцом».

Шурка с Венькой картошку не садили. Они вообще ничего не садили и не растили: продавали огород травой. Из магазина Валентина - напрямик на ферму. И головы не повернула в сторону шуркиного дома. Такого еще не бывало. «Неужто и впрямь завязала?!

Нет, не отстать! В одиночку трескаться будет». В прошлую получку они распорили. Валентина, не как обычно, принесла только одну бутылку. Опростали быстро, помогал Венька.

- Валюша, пока гастроном не закрыли, надо докупить, - спохватилась Шурка, - я мигом слетаю.

- Добавлять я не стану. Тебе мало - добавляй.

- Так ведь у меня нет ни гроша! - она вывернула карманы, дурачась, просунула пальцы, шевеля ими, в дыры: сейчас Валентина бросит ей денжат. Так было всегда. Но Валентину суетня шуркина почему-то не тронула.

- Давай шевелись! И впрямь закроют. Я рыскать по деревне не стану, - Шурка шлепнулась на стул, стянула с головы шапку. - Мне тоже не больше всех надо, - зевнула она с притворным безразличием.

- Займешь - надо отдавать, Шурупка. А ты чем возвратишь?

На прозвище «Шурупка» Шурка не обижалась. Привыкла. Были прозвища и похуже. Маленькая, подвижная ее фигурка и впрямь сильно походила на шуруп.

- Я эту заразу больше в рот не возьму, - продолжала Валентина. - Не смейся, скоро поверишь.

Шурка захихикала.

- Ну ее к лешакам, Валька, давай досыта сегодня, и... все!

А Валентина в ответ вдруг выплеснула содержимое своего стакана в печь.

- Сдуре-е-ла, - дернулась с опозданием Шурка, - ведь деньги плачены!

- Ишь, ей денег моих жаль стало! На мои больше не рассчитывай! Ищи другую дурочку! Так-то вот...

- Ой! Гляди-ка, опила я ее, объела! - заверещала Шурка. - Да у меня Венька поболее твоего заколачивает! Где гостишь - тут и кастишь!

- Загостилась, верно. Пора и честь знать. Сегодня, Шурка, и по карманам у меня не полазишь... - Валентина поднялась и направилась к двери.

- Катись, - прошипела Шурупка, - приползешь завтра же!

Но Валентина не пришла, целый месяц не навевывалась, не привернула и сегодня. Заволновалась Шурка. Веньки уж две недели нет, да и навещает редко, чаще когда у Валентины получка, а так обитает в общежитии лесопункта, перебивается случайными заработками...

Да, с Валентиной жилось сытнее. Уснет, а она - карманы проверять. Всего не возьмет - разделит. Стала Валентина замечать за ней такой грех. Но Шурка божится - даже не краснеет.

- А сколь выпили-то, помнишь? - и показывает на пустые бутылки. - Домовой, что ли, трескал? Венька вон вперед нас скопытился.

- Верно, вперед, - соглашается Валентина, - но неужели мы с тобой смогли столько осилить?

- А ты хоть помнишь ли, как меня гнала к Катерине займовать?

- Не помню.

- То-то же. Не ломай голову, лучше опохмелись, - вновь вертится выюном Шурупка. - Ты только, Валюша, не опоздай на ферму.

- Шурка, сходи ко мне домой. Стоговь что-нибудь ребятам. А я вечером уж сразу после работы - домой.

И защемит у нее сердце, и ненавидеть вдруг люто станет себя: «Не у Шурупки бы ей надо быть сейчас, а дома. Сколь раз давала себе зарок - не буду! А наставала получка, и все повторялось».

Шурка быстро возвращалась и бежала к Валентине на ферму, боясь, что та уйдет прямо домой.

- Ольга у тебя - молодец. Наварено-напарено, - тараторила запыхавшаяся Шурупка.

- Дошла ли хоть? - сомневается Валентина.

- Семь верст - собаке не крюк, а тут - рядышком.

И она хвостом ходила за Валентиной.

- Валентина, сторожа-то заставляй работать, - смеялись бабы. - Охоча ты, Шурка, до чужого, так серой и липнешь, нисколько совести нет...

- Ну, слава богу, все, - радовалась Шурка, когда Валентина управлялась с делом.

Возвратившись с фермы, они опохмелялись. Шурка втихаря мешала водку с вином. Валентина морщилась, не ведая о подвохе.

- Что краснуха-то нынче больно уж горькая?

И быстро засыпала до вечернего обряда. Шурка в запои Валентины не напивалась. Брала свое позднее.

- Валя, надо... поднимайся, у тебя же дети, голубушка ты моя!

Кое-как управив на телятнике, обессиленная, доползала до шурупкиного дома. Та вечером ее не встречала: знала точно - зайдет, до дому ей не осилить.

- Передохну чуток - и до ребят. Заждались, поди, непутевую.

- Стопарик на дорожку - и по коням, - хлопотал около нее Венька.

Он протягивал ей стакан, а Шурка держала наготове закуску.

- Не хочу, - вяло отмахивалась Валентина.

- Вздрогнем, - не отставал Венька. Он выпивал и смачно начинал чавкать огурцом. -

Как Христос босичком по душе-то...

Оля с Сашей приходили за матерью, если она не ночевала дома.

- Простите, Оленька, Саша, дура я. Ругайте вы меня! Только не молчите, ради бога!

- Мама, пойдём, - тоном приказа просила Оля.

А Сашка терся у порога и шмыгал носом.

- Заморозите мать-то, - отговаривала Шурка. В ее планы не входило отпускать Валентину.

- Мы одеяло прихватили, укроем, - сын подавал голос от порога.

- Да вам ее не дотащить, - пугал Венька.

- Было бы чего... - Оля деловито застегивала пуговицы на материнской телогрейке, - бараний вес у нашей мамыши, до чего допито.

- Прости, Оленька, больше не буду.

Дверь за ними захлопывалась не сразу, пропуская в избу морозный клуб холода.

- Полозадые... - Шурка в сердцах дергала скобу. - Принесла нелегкая сколотков!

Утром Валентина просыпалась рано. Затопала печь. Подолгу смотрела, как робкий огонек разгорается и начинает властвовать в печи. Затем бралась готовить завтрак, стараясь сделать что-нибудь вкусненькое. «Не откупишься оладьями и блинами, слишком много задолжала!» Голова кружилась, в горле пересыхало. С испугом хваталась за кошелек. Прикидывала, на что хватит, как дожить до получки. Жалела пропитого.

- Мам, с кем ты разговариваешь? - спрашивал проснувшийся Сашка.

- Тихо, сама с собой, - зевнула Оля.

- Спи, еще рано, - встревожилась мать. - Что ли, я вправду вслух говорю?

- Не во сне же снится. Только сама виновата. Шурка опять, как липку, ободрала, а Сашка вон из пальто вырос... - по-взрослому сетовала дочка.

- Я - что. Ты девка, а у вас в классе все такие модные, - вступил в разговор Сашка.

- А ты, парень, спи, а то в классе - самый маленький.

- Я на физкультуре предпоследний стою. Федька последний, он курит, а я - нет.

- Начинай! Ну и семейка, что надо! Стыдно людям и в глаза глядеть! Вот кончу школу и уеду от вас, - отрезала Оля.

- Оля, я не буду курить, - испуганно приподнял голову Сашка. - Только не уезжай!

«Не буду! И себе осточертело. А каково им?! Клянусь Олей и Сашей! Все... будет!» И не стала. С фермы спешила домой. Принялась за уборку. Побелила печи, потолки, оклеила свежими обоями стены. Перебралась в подполье, утеплела яму с картошкой и овощами, подсыпала земли к завалинам.

- Мам, ты бы телевизор посмотрела, - пожалела хлопотавшуюся мать Оля.

- Зима впереди, успею.

И вновь находила дело. И бралась за него с таким желанием и любовью, будто делала это в первый и последний раз. Навязала носков, варежек с орнаментом. Потом вспомнила, что в молодости вязала крючком, и, поглядывая на разрисованные морозом окна, добавляя что-то в оконный рисунок, творила свой узор. Оля с Сашей делали уроки. Валентина подбрасывала в печку дров, те мигом вспыхивали. А она, оторвавшись от рукоделия, подолгу смотрела на ребят.

- Мам, ты что? - недоуменно спрашивал Сашка. Оля молчала. Сын заканчивал уроки, садился у ног матери, терся, как котенок, головой о колено.

- Дует по полу, не застудись, - погладила темя ладошкой и в свою очередь приласкала сынишку мать.

- Не-е, мама, тепло, - а сам жался к ее ногам. - Можно, я спать с тобой лягу?

- Конечно, - торопливо ответила она, мгновенно вспомнив, как он заявил, когда ему не было и четырех: «Я с тобой спать не буду, от тебя вином пахнет».

Тепло и уютно в доме. Холодно и темно на заснеженной улице. Ветер гуляет и хлещет по углу дома концом проволоки от телевизионной антенны. Та натужно скрипит от злых и резких порывов. Но за дверь на улицу идти не надо, а до утра непогода набушуется и уляжется.

- Уж снегу и так навалило без меры, а не унимается, идет и идет.

- Мам, заметет дорогу, как на ферму пойдешь?.. Видела, я на тропе палок навтыкал по сторонам?

- А как же, Сашенька, сразу догадалась, чья работа, твои заметины далеко видны.

Укладываясь спать, Валентина накидывала крючок на входную дверь, хотя в сенях запор надежный. Ветер рвется в дом, завывает, свистит, и, кажется, нет силы, способной противостоять ему, урезонить его пыл...

## II

Телята встретили Валентину тихим мычанием. Разномастные, черно-белые, со звездочками во лбу и без них, поворачивали головы ей вслед, напоминали, чтобы она не забыла и подошла к ним.

- Не торопись, пей помаленьку, а то захлебнешься, - предупредила она одного, словно ребенка.

- Валентина, ты где? - разнесся по проходу голос Антонины. - Мы на подарок складываемся. Катерина чай зовет пить. На пенсию выходит.

Валентина достала из телогрейки кошелек.

- Не бывать мне, что-то нездоровится... - подавая деньги, проговорила она, и вправду чувствуя озноб.

- Да не бойся, наливать не станем.

- Правда, не могу. Легла здоровая, встала - немогая.

- В больницу сходи. Ну, я побежала. Аппарат включен.

«Не расхвораться бы... Приду и сразу - на печь. Пройдет».

Оля удивилась, увидев мать на печи, - та днем никогда не ложилась.

- Мам, ты заболела?

- Знобит малость.

- Температура? - встревожилась дочь.

- Нет.

Между тем ртутный столбик на градуснике остановился выше отметки 38. «Зачем пугать? Завтра уйду на больничный и поправлюсь. Бригадира предупрежу, чтоб замену поставил».

Вечером она с трудом добралась до фермы. Из красного уголка доносился шум. Незаметно прошмыгнула в телятник.

- Матвейч, я завтра не приду, - закончив обряжаться, предупредила Валентина.

Бригадир уставился на нее мутными непонимающими глазами.

- Голова болит, - громче повторила она.

- Так надо поправить, - обрадовался Матвейч.

- Да замену прошу, - чуть не плача, крикнула Валентина.

- Выпей и потолкуем насчет картошки дров поджарить...

- Тьфу... тебя, - и выскочила на улицу.

«Как же быть? Утром не встать, пожалуй... А телята?!» - обожгла мысль. Кинулась обратно к ферме. Остановилась. «Лыка не вяжет, а доярки уже ушли к Катерине. К зоотехнику зайду... Не близко, но что поделаешь. Ишь, налил zenки-то, - корила она Матвейча. - Полно, сама давно ли перестала».

Из будки выкатился лохматый пес, загремел цепью, сопровождая ее в дом хриплым лаем. Валентина зажмурилась от яркого света. Она растерянно топталась около порога и не могла вспомнить отчество зоотехника. А оно было трудным - Эдуардович. От его тяжелого взгляда совсем растерялась.

- Забыла... Ну да ладно... Я завтра, значит, на работу... не приду... заболела... Вы уж распорядитесь, чтоб телят напоили-накормили. Я... - она осеклась, хотела рассказать, что Матвейч пьяный, вот, дескать, вас и побеспокоила. Но в последний момент поняла, о бригадире докладывать ни к чему.

- Вы уж извините, зашла, снегу натащила.

Валентина растерянно улыбнулась под колючим взглядом зоотехника и зачем-то по-

ложила варежки на стоящий рядом табурет.

- Хорошо-хорошо. Вы идите, - заторопился Виктор Эдуардович, ему показалось, что она собирается садиться. Пьяная. В стельку. - Идите-идите. Все будет в порядке.

Распахнул дверь, включил свет в коридоре.

- У нас ступени крутые, - предупреждал нежданную гостью.

### III

Ветер рвал подол юбки, забирался под платок. Валентина всматривалась, ориентируясь в шумящем снежном котле, отворачивалась от ветра, чтоб перевести дыхание. Вот он шуршит снежной пылью, что есть мочи гнет голые ветки, шмыгает через штакетины забора, юркает сквозь редкие деревья и вновь зло накидывается на Валентину.

- Фу ты, падера какая. Малость передохнуть бы. Нет, Оля собиралась идти встречать. А то еще разминемся.

И Валентина ускорила шаги. Вдруг закружило голову, стали ватными ноги, и она опустилась на бровку.

Наткнулась на нее молодежь.

- Ребята, кто бы это? - любопытствовали, освещая фонариком.

- Валентина?! Так она же завязала. Берем на буксир, а то окочурится.

Они подхватили, она застонала и вскрикнула.

- Ребята, ее надо в больницу, она, наверное, обморозилась.

### IV

За окном капало с крыши. Падали подопревшие сосульки. Разбухли ручьи и речонки. И хлынули воды в Ветлугу. Далеко раздвинула она свои берега, широко расплескалась мутной водой, неся и кружа грязно-серые льдины. По земле шла весна, щедро одевая всех в свои зеленые наряды. Нет, она не раздаривала без разбора из своего сундука направо и налево. Всему свой черед. Вон черемуха-подросток не одну весну с завистью тарачится на своих взрослых подружек. Подарит ли ей ныне весна такое же белое платье или еще год ждать, томиться? И вдруг, проснувшись на заре, увидела на ветвях своих завязи будущих цветков. Она робко, с удивлением прикоснулась к ним, как девчонка к бугоркам чуть обозначившейся груди. И замерла. Прислушалась к себе. И неведомое до сих пор томление охватило ее. Поутомонились ручейки, поутихли птички переполохи. Весна распределила обязанности, и все принялись их выполнять, соблюдая при этом установившиеся обычаи и последовательность.

Три долгих зимних месяца пролежала Валентина в больнице. Приход весны не принес ей ни радости, ни облегчения. Она радовалась, когда выписывали очередную соседку, «хотя бы одной побывать подольше». Каждый звук, шаги по коридору ее пугали, она со страхом смотрела на дверь. Сейчас откроется, и ее одиночеству конец. Надо отвечать на вопросы. Сама Валентина первой бесед не заводила, вопросов тоже не задавала, кроме как с детьми и санитаркой Анфисой. Анфиса при свободной минутке обязательно заглядывала к ней. Закончит дежурство, сообщит, когда придет на смену. Заглянет за раму - там стоят банки с продуктами.

- Брусника есть, капуста хватит пока, а вот клюква кончилась. Дома морсу наварю, вечером принесу.

- Не надо, Анфиса, не хлопочи.

- А мне заботиться не о ком. Вот вместе и поужинаем не спеша.

И враз повлажнеют валентинины глаза. Сколько слез пролила она за долгие месяцы. Не просыхает на груди рубашка, холодит спину влажная подушка. Днем она еще держалась - «Оля с Сашкой придут вдруг, а я зареванная...» А ночью давала волю.

- Спи, будет, - тихо скажет Анфиса, - слезами горю не поможешь, не нами сказано. Ты силы для дальнейшей жизни береги. Тяжко, к себе приложишь - мурашки по спине... Но что поделаешь, коли на долю светлых полосок судьба немного дала. Но и сами жизнь свою не должны чернить. О ребятах думай - горя сразу убудет.

- Холодно... и не страшно мне, Анфиса, почему он... ведь ученый человек, а не повел... Почему он мне в глаза не посмотрел? Всяко бы понял, что не пьяная я!

- От худого семени - не жди доброго племени. Только я его не знаю и судить, рядить о нем не берусь. А вот батьку его хорошо знала. Подлый был человечешко, - начала рас-

сказывать Анфиса. - В войну дело было. Захворала мать сильно, отправили в район. Мне тогда еще семнадцати не сравнялось. «С кормами не просчитайся, - наказывает мать перед отъездом, - дотянуть надо до выпуска». А я день наработаюсь, наоколеваюсь на морозе, утром проснусь - бригадир уж наряд новый дает. Выезжали в ту пору рано: торопились сено из-за Ветлуги по льду достать. Бригадирил Эдька-косой. Лешак знает, кто ему экое имя-то дал? Кобелина! Сколь от него бабы с девками ревели. Стал и на меня косыми зыркать, как мама уехала. Забоялась, как только управляюсь со скотиной, сразу на забор, принесет еще нелегкая косога! А сенцо у меня растаяло быстро. Застучали вилы о пол повети, заметать стала последнюю труху. Затужила - что делать? Сена днем ворочаю горы, а у самой с ума не сходит - Вербе бы хоть маленько этого сенца-то.

- Не вздыхай тяжело - не отдадим, - рассмеялась раздурманенная морозом круглолицая Настя, - о чем тужишь, поделись.

Выслушав, сказала:

- Дам своего немного. И вот этого захвати, нынче в колхозе еще останется сена. Сгрудить сегодня будем у конюшни, у вас по боком.

- А вдруг косой увидит? Засудит, - у меня ноги подкосились от страха. Настя знай смеется. И я повеселела. Вербу накормлю и ее голодного мыка не услышу. Но уследил косой. Надавала корове, а двери на радостях запереть забыла. Косой приперся, сидит и сидит, языком трекает.

- Не пора ли гостя к лешему, - не вытерпела я.

- Ты, Анфиска, поосторожнее на поворотах-то, и не так принимай...

- А как? - удивилась я.

- Чтoб на сковородке шкворчело... и все такое прочее...

- Заулыбаешься... - захохотала я.

- Я-то, может, и заулыбался, а тебе как бы горькими не пришлось реветь... Сено - где сегодня стащили? Косой! Выходит, я самый глазастый. Так-то вот...

Стою столбом и язык приморозило.

- Мне Настя дала... - промямлила наконец.

- Настя... Не все она, и с конюшни уперли... Позвоню вот в район или председателю скажу...

Проревела ночь, только под утро забылась и проспала. Он с нарядом пришел, барабанит, а я по избе, как шальная, мечусь, понять ничего не могу. И выскочила на крыльцо в одной рубашке.

- Вот это другой табак... - сграбастал меня косой. - Какая тепленькая!

- Пошел, пес! Что лапы распускаешь?

А он сгреб в охапку и в дом толкает.

- Дура необъезженная. Не ори!

Вывернулась, а под руку коромысло попало.

- Зашибу, паразит!

И врезала.

- Поревешь ты вволю теперь, - уходя, пригрозился Эдька.

«Засудят», - и к Насте метнулась. Эдька к Насте клинья давно подбивал - не получалось. Поехали за сеном, я света белого не вижу, а Настя знай с Эдькой заигрывает. Он вскоре к нам в сани перебрался. На меня сперва косил сердито, вскоре забыл обо мне, растаял. Лежит в саях и, как телок, ногами от удовольствия взбрыкивает.

- Эдька, я сегодня баню топлю, приходи спину тереть, - хохочет Настя, озорно подталкивает Эдьку в бок.

- Я б тебе натер, Настюха.

- Так в чем же дело?

«Привадит окаянного черта. Господи, хоть бы мамка быстрее вернулась, при ней не посмел бы он ко мне привязываться». Вечером разгружаем сено. Настя два навильника откинула.

- Забери, Фиса.

- Не надо, - заревела я. - Настя, неужто его к себе подпустишь из-за меня?!

- Не дури. Забирай сено. Эдьке теперь не до тебя, а вечером ко мне приходи...

По дороге к бане я не раз оступилась, снегу в валенки зачерпнула.

- Ты в предбаннике сиди и не выглядывай, - предупредила Настя, подходя к бане, и нырнула в черную пасть.

- Ты, Настя?! А я уж сомлел весь, до чего заждался.



- Ну, полезай на полоч, - приказала Настя, - я разденусь, а то полы дырявые, дуэт. Голос у нее сделался глуховатым.

- Жарковато тут, Настюха, как бы нам отсель с тобой не скубариться, - закрихтел Эдька. - Да огонька прибавь, что-то фонарь совсем не светит.

Светящаяся дверная щель стала тусклой, почти незаметной.

- Я добавлю тебе сейчас и жару, и огня. Уж париться, так париться, чтоб волосы на голове трещали, - и плесканула из ковша на каменку.

- Не балуй, Настя. Жара, мочи нет, - запыхтел Эдька и хотел, видимо, спустаться вниз.

- Нет, лежи и не шевелись. Иначе ошпарю кипятком. Враз скорезишься, как береста на огне.

- Ты что, шальная? Чего задумала? - почувал тот неладное.

- А то, кобель, чтоб не пакостил подряд. И Анфиску оставь в покое. Подпалю баню, а сперва двери подопру. А попробуй пожаловаться, так я тебя пьяного подстерегу, когда ты лыка не вяжешь, и овечьими ножницами все твое богатство отхвачу к лешему!

А сама знай плещет и плещет на каменку.

- Отстань, Настя, - простонал Эдька, - ожаришь, ей-богу.

- В головешку бы тебя опалить. Нутро у тебя и так черное. Чтобы издалека видать было прохвоста подлого.

- На черта мне нужна Анфиска? - взмолился Эдька.

Только обманул он. Осудили Настю, а я годами не вышла, пронесло. Всяко в жизни бывает. Тебя, Валя, инеем прихватило, отойдешь, поверь.

- Да мне, Анфиса, уж больно обидно показалось, когда акт составляли, так зоотехник и врачам не верит. Дескать, государство доброе. Пальцы не все, но как-нибудь приноворююсь.

- Все ладно будет, Валя! Ой, гляди-ко, солнце встает и Ветлуга пробудилась. Наступал новый день, даря свет и тепло, вселяя радость и надежду.

## КТО ТЫ МНЕ, ПАПА?

- Андрюша, молоко силы прибавляет.

- А я, бабушка, и так сильный, - хвалился внук и, не прожевав, снова откусывал от пирога.

- Не жадничай - подавишься. Некуда торопиться на ночь глядя. С утра уйду коров пасти. Проснешься - не пугайся, что один.

- Возьми меня с собой.

- Заедят комары да слепни, Андрюшенька. Ты домовничай. Разве можно дом без призора оставлять? Да и рано я уйду. А как проснешься, поешь - все на столе. Калитку в огород не открывай. Куры все выпорхнут, к тете Зине уйдут, ругани не оберешься. Двери польми не оставляй, окна не открывай: мухи из дома выживут, - наказывала бабушка, укладывавая внука спать.

- Спой песенку, пожалуйста, - просил разомлевший от еды и дремы Андрейка.

- Да я так ухлопалась за день, не смогу. Зимой мы с тобой наверстаем. И песен напоемся и сказок нарассказываемся.

- Ну чуть-чуть спой, - не отставал внук.

Бабушка Александра откашлялась и запела с хрипотцой:

- Баю-баюшки-баю... Не ложися на краю...

- Бабушка, - прервал ее внук, - спой «Спят усталые игрушки, книжки спят...»

- Эту мне не суметь. Этих песен мы не пели. То пусть мать поет.

Андрейка притих. «Тьфу, старая, - выругала себя Александра, - брякнула, не подумавши. И так тоскует парень о родителях». Она давно заметила: внук взберется на стул и смотрит на фотографии в рамках, где отец с матерью. Недавно не выдержала - сняла карточки со стены и унесла в летнюю избу. Там запрятала их между стеной и сундуком, а сверху еще половик бросила. Оставляли они сына на два месяца, но зажился парнишка в деревне второй год. И родители за ним не едут. Вначале внук верил бабушке.

- Вот проснешься, Андрюшенька, откроешь глазки, а папа с мамой уже приехали. Засыпай быстрее.

Внук просыпался и спрашивал:

- Где мама и папа?

- Завтра приедут. Обязательно! - вновь обещала она.

Внук настойчиво тормозил ее, капризничал. Тогда бабушка придумывала что-нибудь новое:

- Они в лесу заблудились. Дорогу ищут к Андрюше, а найти не могут.

- Пойдем покричим, а то им страшно и темно.

Не раз ходили они к забору поскотины звать отца с матерью. Андрейка вначале кричал до хрипоты. А где-то вечер на пятый позвал немного, эхо послушал и сказал:

- Там их нет. Ты меня обманываешь, бабушка.

И тихо направился к дому.

\*\*\*

Андрейка спал долго. Разбудило его солнце.

- Бабушка, мне зайчик в глаза светит.

Никто не отозвался.

- Бабушка, ты где?! - закричал Андрейка.

Но вспомнив, куда бабушка ушла, быстро оделся. «Умыться или нет?» Посмотрел на руки. «Чистые».

Андрейка пил молоко и смотрел на пустынную улицу. Из колхозной конторы выскочил шофер, сел в кабину самосвала. Перед лужей прибавил газу, грязь полетела фонтаном выше кузова.

- Здорово! - восхитился Андрейка и стрелой выскочил за ворота.

В дровянике у него «гараж». И чего тут только нет! «Как у дяди Якова, товару всякого! Упаду - с кем жить будешь?» - ворчала порою бабушка, пробираясь с ношей дров между его игрушками.

Андрей грузил песок, строил «мост». Вдруг его «машина» забуксовала, и срочно потребовался трос. На глаза попала бабушкина бельевая веревка. «Надо срезать». Быстро нашлись ножницы - висели на гвоздике у оконного косяка. Но до веревки не дотянуться! Он стал подкатывать чурбан, чтобы встать на него.

- Чего опять затеваешь? К чему примеряться? - вкрадчиво пропела, как из-под земли выросшая, тетя Зина, соседка. - Батюшки, да на кого ты похож? - ахнула она. - Бабушка стирает, обмывает и чистым не выдает!

Тетя Зина схватила Андрейку за руку, вырвала ножницы и потащила к колодцу. Раздела. Хотела стянуть и трусы, но Андрейка крепко, обеими руками, вцепился в резинку.

- Ой, жених, - рассмеялась она. - Еще залезешь в грязь - посажу в холодную воду, понял? Ну ладно, не бычься. Пойдем со мной грести, земляники собираешь!

- Я дом стерегу, - гордо ответил Андрейка, хотя полакомиться спелой земляникой он был не прочь.

- Дело важное, - засмеялась тетя Зина.

Он сел на скамейку около дома и стал болтать ногами.

- Андрейка! Иди сюда, - позвала другая соседка, тетя Вера, и махнула ему рукой.

Он встал и нехотя направился к ней. Тетю Веру Андрейка не любил еще больше, чем тетю Зину. К тете Вере они часто ходили с бабушкой.

- Бросили тебя, Андрюшка, мать с отцом. Теперь жить тебе вечно с нами, со старухами, - жалобилась она и совала ему что-нибудь вкусненькое.

- Не хочу! - сердился Андрейка.

Но тетя Вера силком запихивала лакомство в карман, приговаривая непонятное:

- Дают - так бери, бьют - так беги.

В отместку Андрейка раз обманул тетю Веру. Собравшись на кладбище, старухи долго обсуждали поездку, тщательно готовясь к ней. Из деревни всем скопом они выби- рались очень редко: в выборы, на кладбище в поминальные дни либо на сенокос.

- Андрейка, бабушка дома?

Тетя Вера стояла в нарядном цветастом полушалке, лицо ее светилось улыбкой.

- Нет, - соврал он, не моргнув глазом.

- А где она? - забеспокоилась соседка.

- Уехала. К дедушке на могилку, - продолжал врать Андрейка.
- Что она мне-то не сказала? Вот ведь единоличница какая! - расстроилась тетя Вера и вернулась домой.
- Жду - не идешь. Уж не отдумала ли ехать-то? - через какое-то время зашла бабушка за тетей Верой.
- Так ведь ты давно укатила!
- Куда же я укатила, коли я тут?
- Выяснили дело.
- Андрейка, у тебя хвост вырастет большущий и будет по земле волочиться! - пообещала проказнику тетя Вера.
- Несколько дней Андрейка, ложась спать, со страхом щупал то место, откуда, по его предположению, должен расти хвост. «Нет пока», - успокаивался он.
- Бабушка, может, за один обман хвост не вырастет?
- Не вырастет. Ты ведь уже понял, что нехорошо поступил?
- Понял, бабушка, понял, - обрадовался Андрейка.
- Андрейка, мать-то у тебя - зайчиха, - вновь подтрунивала тетя Вера.
- Нет, его мама непохожа на зайчиху. Нисколечко. И волосы у нее черные. А черных зайцев не бывает. «Опять маму ругать будет, - понурился Андрейка. - И бабушки нет - заступиться».
- Что тебя не видно сегодня? А, домовничаешь? - догадалась тетя Вера. - Пойдем, поиграй с Димушкой. Да не бойся! Не съедят. Отвык ты от ребят. Все с нами, со старухами. Димка, внук тети Веры, стоял рядом и улыбался, открыв щербатый рот.
- Играйте тут. На дорогу не ходите. Трактора и машины так и снуют. Долго ли до беды! - и тетя Вера из предосторожности закрыла калитку.
- Димка залез на отцовский мотоцикл, вцепился в руль, задергал ногами, загудел: «Дык-дык-дык...»
- Садись в коляску, - приказал он оторопевшему Андрейке, - надевай каску. Поехали.
- И он еще сильнее стал поддавать ногами в мотоциклетные бока. Робость у Андрейки быстро прошла. Они гудели и пипикали на разные голоса, стараясь перекричать друг друга.
- Ух, как жарко, - покрасневшийся Димка стянул каску и принялся размазывать пот.
- Ты тоже будешь жить у бабушки? - спросил Андрейка.
- Целый папин отпуск. Будем на рыбалку ходить. Хочешь с нами?
- Хочу. Только у меня удочки нет, - вздохнул Андрейка, - бабушке не сделать, а дедушка умер.
- А где твой папа?
- Андрейка растерялся.
- Приедет... Скоро, - и сам поверил в сказанное. - Папа приедет на машине. Такая большая, с огромным кузовом. А кабина больше кузова.
- Таких кабин не бывает, - засомневался Димка. - Твой папа, значит, работает на автобусе.
- Нет, не на автобусе, - заспорил Андрейка. - На нем не навозишь бабушке сена и дров. И тете Зине тоже.
- Андрейка на мгновение задумался: стоит ли везти дрова тете Зине? Но вспомнил, что она жаловалась бабушке: чем же я топить-то буду? Ему стало жаль тетю Зину, и он простил ей свои обиды.
- Давай наперегонки побегаем, - предложил бойкий Димка.
- Бегали они почти одинаково, не уступая друг дружке. Запыхавшиеся упали на траву в тень черемухи. И затихли ненадолго.
- Димка, у тебя папа образованный?
- Не знаю, - растерялся Димка.
- А мама? - допытывался Андрейка.
- А что такое - образованный? Красивый, да?
- Андрейка задумался. Он и сам не знал, что значит это слово, но слышал от бабушки, что образованный - хорошо.
- А где они у тебя работают? - спросил Андрейка.
- Папа - учитель, мама - в детском саду.
- А они ругаются?
- Нет.

- У тебя, значит, образованные. Оба, - заключил Андрейка. - Вырасту - женюсь на образованной. Ссориться не будем. А то мама папу ругала «пеньком необразованным» и говорила, что он должен ее на руках носить.

- И носил? - вытаращил и без того круглые глаза Димка.

- Не... вот они и ругались.

- А где твоя мама работает?

- В магазине...

- Лежим, мужики?

Димку как ветром сдуло. Он кинулся к отцу. Тот поднял сына над головой. От восторга Димка повизгивал.

- Тяжеловат ты стал, парень, - посмеивался отец.

- Пап, еще разок! - канючил Димка.

- Давайте-ка прокатимся на реку. Как на это смотрите?

- Положительно! - закричал Димка.

Андрейка стоял и ждал. Когда димкины ноги коснулись земли, он чуть не кинулся к его отцу.

- А ты что, мужик, задумался? Поехали, - пригласил тот Андрейку.

Мотоцикл рванул, ребята откинулись назад. Испуганная курица заметалась по сторонам. В одно мгновение они пронеслись по улице. Димкин папа газанул и прибавил скорость. Андрейка захлебнулся от восторга. «Здорово! Смотрите - он едет!»

Ромашки от зависти хлопали белыми ресницами. Рожь щекотала Андрейкину щеку и просилась в коляску. А васильки таращились синими глазенками. У васильков мать - рожь. Она сильная и высокая, прикрывала их собой от дождя и ветра. Он сказал об этом бабушке, когда они ходили в лес. «Пожалуй, так», - согласилась бабушка. И солнце прыгало по макушкам деревьев вслед за мотоциклом, стараясь не отстать. «Проедем лес, а там уже, наверное, недалеко и до папы с мамой», - ликовал Андрейка.

- Прибыли, - сказал димкин папа.

Щелкнул ключом и мотоцикл заглох. Андрейка продолжал сидеть в коляске.

- Ты что, уснул? - затормошил его Димка. - Пойдем купаться.

Андрейка нехотя вылез. Немного побродил по воде. И лег на берегу, посасывая травинку, неотрывно наблюдая за димкиным отцом.

- Ты чего скис? - спросил тот. - Давай, иди к нам. Плавать учиться будем.

Андрейка молчал. Он притворился, что занят божьей коровкой.

- ...улети на небо, там - твои детки!.. - неестественно громко закричал Андрейка.

- Покажи мне! - подскочил Димка. - Какая красивая букашечка! Подари, Андрейка, я ее ребятам покажу.

- Бери. Не жалко. Я у бабушки на огороде еще найду.

И он лег на спину, чтобы не видеть, как плещутся и играют Димка с отцом.

\*\*\*

Когда они возвратились в деревню, бабушка была дома, хлопотала по хозяйству.

- Андрейка, ты что же ничего не поел?

- Не хотелось, - и он растянулся на диване.

- Наконец-то, управил, - облегченно вздохнула бабушка. - Иди, Андрюшенька, поужинаем - и спать-почивать. Угоняли меня сегодня коровы, намучили, - пожаловалась она.

- Не хочу, - отказался внук.

- Да ты квелый какой-то. Уж не захворал ли? - она потрогала лоб внука. - Надо градусник поставить.

- Не надо. Я спать хочу.

Но бабушка засунула градусник и села рядом, придерживая руку.

- Не маши. Разобьешь - не склеишь.

Температура была нормальной. «Умаялся, да солнышко напало-напекло. Проспится - как рукой снимет», - сделала вывод бабушка. И вдруг увидела у внука слезы.

- Андрюшка, да ты никак ревешь? Кто обидел? Сказывай немедленно!

От бабушкиных слов слезы полились ручьем. Он всхлипывал, размазывая потоки по щекам. Уткнулся в спинку дивана. Заревел горько, навзрыд. «Прорвалось. Давно копились. Сердечко-то с два вершка, а боли в нем сколько. Внучек ты мой, за что же так-то?! Я

ведь уж и так все силы положила, чтобы отца с матерью заменить. Виновата я перед тобой. Не сумела в дочери своей мать воспитать...» - тихо горевала Александра.

- Что у вас сколь тихо-то? Не спать ли уж улеглись? А я с гостинцами, - тетя Вера выложила на стол конфеты, апельсины. - Андрейка, что лежишь? Угощайся.

Андрейка проглотил слюну, затаил дыхание, притворился, что спит.

- Тише. Уклялся. Да и прихворнул малость, кажись. Садись за компанию, поужинаем, одной не ловко, - пригласила бабушка тетю Веру.

Андрейка облегченно вздохнул. «Молодец, бабушка. Не выдала, что я ревел».

- Ну, если так, одну чашку. Сыта гостинцами, - хвалилась тетя Вера. - Зять никогда с пустыми руками не ездит. К тебе нынче кто сулится? Наташка не обещает?

- Ничего не знаю! Сунули парня - и заботы нет, - сердито ответила бабушка.

- Андрюшка-то впрямь спит? - полушепотом спросила тетя Вера.

- Набегался. Сморило.

- А коли спит, так скажу. Расстраивать жалко тебя, Александра. Зять мой сказал: Наташка твоя давно не живет с Сережкой. Другими семьями обзавелись. Вот такие дела, соседка.

- Что ты... экое... несешь-то? - всполохнулась Александра.

- Не у тебя первой, не у тебя и последней.

- Экого сраму в роду не бывало. Путаешь ты, Верка, что-то...

- Ничего не путаю. Мы порядок старались соблюдать. Вон у моего какой был характер крутой, всяко приходилось. Где смолчишь, где подноровишь. А про ваших я давно знала, Нинка моя писала. Зятю поглянулся Андрюшка. Говорит, жалко парня. Наташка, мол, дура - с Сережкой жить можно, не лучше нашла. Ты не переживай. Коли у них ума нет, своего не дашь.

Андрейка не понял, о чем шептались бабушка с тетей Верой, но что разговор о его родителях - догадался.

- Что надумают - не свернешь, - не могла прийти в себя Александра. - Как же Андрюшка-то? Господи!

От восклицания бабушки Андрейка рванулся, вскочил на ноги. Неуспокоившееся сердечко вновь заколотилось тревожно. Захотелось прижаться к бабушке, обнять ее. Но, вспомнив, что в доме тетя Вера, передумал.

- Извини, соседка, Христа ради, за неприятные вести. Все равно бы узнала... Пошла. Оставайтесь.

- Завтра же телеграмму отобью и узнаю все... - сказала сама себе Александра, когда за соседкой закрылась дверь. - Спи, Андрюшенька. А я схожу, немного в огороде покошу. Ты не бойся. Ладно?

Александра долго стояла у дома. Деревня спала. Она взяла косу, хотела поточить ее. Но скрежет косы в тиши ночи прозвучал громко и неприятно. Трава, умытая росой, спала. Занесенная коса остановилась на полувзмахе. Александра впервые в жизни пожалела кошенины. «Жить... жить... жить...» - с каждым взмахом косы просила трава. Все живое на свете. И у каждого - своя боль.

\*\*\*

- Андрюшка! - закричал Димка, высунувшись из окна. - К тебе мама с новым папой приехали.

Андрейка со всех ног кинулся домой. На слова о «новом папе» он не обратил внимания, да толком их и не расслышал. «Ура! - ликовав Андрейка. - Отец сделает ему удочку. Они пойдут на реку. Отец посадит его на турник, подкинет повыше, чем Димку - его отец. Мой папка сильнее димкиного!» - мысли будто горох прыгали в андрейкиной голове, одна заманчивее другой. Еще они поиграют с отцом в прятки. Андрейка знает такие местечки, где отец его ни за что не найдет. «А Димка от зависти лопнет, когда увидит, какой у меня папка красивый и сильный. А тетя Вера...» Андрейка не придумал, что будет с тетей Верой - он добежал до крыльца. Скинул сандалии и на цыпочках стал пробираться в дом. Двери были открыты, и Андрейка прошмыгнул на кухню.

- Не обращай внимания, она горячая, но и отходит быстро.

«Мама!» - узнал Андрейка. И зазвенели, запели в душе радостные колокольчики, и стало светлее светлого на бабушкиной кухне.

- Вообще-то мне с твоей мамашей не детей крестить. Извини, но прием такой ошара-

шил. Давай уедем, Ната, - говорил кто-то незнакомым голосом.

- Не забывай, у меня здесь ребенок. И с ним ты обязан найти общий язык, - донесся опять мамин голос.

- Ах, да! Забыл, что я уже отец, черт возьми! Постараюсь, Наташенька. А сейчас бы пожевать с дороги не мешало.

Они перешли на кухню.

- Андрюшенька! Мальчик мой! Сидит. Молчит. А какой большой! Ну и вымахал!

Андрейка не отстранялся от матери, но напрягся, как струна. Потом размяк, потянулся к ней. Прильнул... И поверил в случившееся.

- Мама... мамочка! Я вас ждал! Почему вы так долго не ехали? Папа...

Андрейка повернул голову. Перед ним стоял не отец, а совершенно чужой, незнакомый человек.

- Андрюшенька, это - твой папа.

Андрейка резко оттолкнул мать, выскользнул из ее рук.

- Ты чего врешь! Это не папа - это дядька. Чужой!

Он заметался по кухне. Мать схватила Андрейку за руку.

- Андрюшенька, милый! Ты сейчас маленький. Вырастешь - разберешься. Не нужны мы папе. Кто ты ему?

- Почему не нужны? Почему он не приехал? А его, - он кивнул на незнакомца, - бабушка выгонит!

- Андрюшенька, с дядей Колей, - мать слегка потянула Андрейку за руку, - вы подружитесь.

Дядя Коля улыбался. Усы его топорщились и слегка дергались. «Как у Барсика. И глаза такие же блестящие». Он шагнул к Андрейке. «Сейчас он меня схватит и будет говорить, что он мне - папа», - подумал мальчик.

- Бабушка! - закричал Андрейка и кинулся вон из дома. Пробежав коридор, свернул на поветь, а не на крыльцо. - Бабушка! - закричал он что есть мочи. - Где ты?!

- Здесь я, Андрюшенька! - отозвалась она с огорода. И он полетел на ее голос в открытые двери повети. - Остановись, внучек! - окликнула бабушка, почуяв неладное.

Кинулась навстречу, протянув руки. Но опоздала - внук упал на бревна и тес, сложенные штабелем возле изгороди.

\*\*\*

...Андрейка открыл глаза.

- Бабушка...

- Я тут, Андрюшенька, с тобой.

Он оглядел палату.

- Где мы?

- Прихворнул ты немножко. В больницу пришлось свезти.

«Слава богу, очнулся. Похоже, и на жизнь направляется. В бреду все с отцом разговаривал: кто ты мне, папа? - допытывался», - горестно думала Александра.

- Бабушка, я тебе на ухо что-то скажу.

Она отдернула платок, подобрала волосы, наклонилась к нему. Андрейка облизнул губы и прошептал:

- Бабушка, я тебя очень-преочень люблю.

- Так ведь и я тебя, Андрюшенька.

- А они уехали?

- Укатали, Андрюша, в самый тот день.

- Вот и хорошо: теперь ко мне папа приедет.

Александра промолчала.

Андрей КОТОВ

Рассказы

## ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Высокий песчаный берег был весь испещрен маленькими круглыми дырками, в которые с быстротой и ловкостью проскакивали юркие ласточки. Они летали над водой, кружились, хватали мошек и возвращались обратно. Берег был длинный, и насколько хватало пашкиного взгляда, всюду он видел снующих трудяг - ласточек. «Вот ведь пичужки - «без ума», а дом свой берегут, в чужой не залетят, и ловко как у них получается, - рассуждал он в раздумье, почесывая затылок. - О птенцах ведь заботятся, вскармливают».

Он пошарил по песку рукой, нашел плоский камешек и швырнул его в Сухону. Камешек резво, как мячик, заскакал, подпрыгивая на водной глади реки, оставляя после себя круги. «Раз, два... пять, шесть...» - считал Пашка появившиеся «блинчики».

Солнце поднялось уже высоко, и становилось жарко. Он встал, поднял руку ко лбу, закрывая яркий свет, и посмотрел вдаль, стараясь увидеть знакомые и родные дома деревни, но виднелся только высокий серый купол церкви с крестом.

Пашка сложил руки трубочкой и громко прокричал: «Эх, мать моя, прости непутевого сына!» Над рекой разнеслось громкое удаляющееся эхо, уносившее с собой неразборчивый набор путаных слов. Повертев головой, он скинул ботинки и во всей одежде бросился в воду, несколько раз быстро окунулся с головой, выскочил обратно и, упав на песок, простонал: «Ох, сердце ноет».

По берегу до деревни оставалось километров шесть, но он не спешил идти. Ему хотелось побыть одному, что-то жгло в груди. То ли стыд мучал перед деревенскими, с кем жил когда-то, то ли совесть проснулась и отдавала через нервы и голову, в самое нутро, разрывая сердце.

Пашка попытался смотреть в голубизну неба, но яркое солнце резало глаза. «Может, вернуться в город, да и без проблем? - решал он для себя. - Нет, мужик я или кто?» Мысли путались в его голове и не давали успокоиться. Вспоминал, как старался в колонии хорошо работать, не нарушать режим. Хотел, чтобы на чуть-чуть, хоть на день пораньше выпустили домой. Решил тогда: «Все, выйду на волю и больше не пью. Знал, что из-за этой гадости многие попадали туда, да и там не дремали, находили возможность расслабиться, особенно слабовольные ломались или свои же «ломали». Пашка помнил, как сразу и ему доставалось, пинали ногами до потери сознания, но он терпел, когда было невоготу, твердил, сжимая крепко зубы: «Сам виноват».

Нет, видно, осталось что-то еще человеческое, а отсидел ведь, почитай, пять лет и теперь решил: «Уж все, обратной дороги нет».

Еще немного полежал, погрелся на солнышке, потом встал, отряхнулся от сырого налипшего песка, взял поистертый небольшой рюкзачок и зашагал в сторону деревни. И чем ближе он подходил, тем легче ему дышалось, и ноги увереннее ступали на родную землю.

\*\*\*

Веньку Казаченка ждали с войны долго. Никто уж и не чаял в деревне, что он жив, кроме матери его Степаниды, ведь, почитай, уж три года минуло, как все живые возвратились.

Степанида в молодости была девкой крепкой, дородной и работающей, но в войну надорвалась, работая и за себя, и за мужиков. Не раз ей с бабами приходилось ходить в упряже, пахать, когда кони дохли от бескормицы. Довелось и лес валить, дрова заготавливать для колхоза и для себя. На мужа Захарыча похоронка пришла еще в сорок третьем. Ох, и поголосила, да что делать-то, у многих такая же судьба. Оставшись одна, она часто сидела в раздумье, уставившись на единственную пожелтевшую фотографию, которая была вставлена в рамку и висела рядом с иконой. На ней заезжим фотографом когда-то были запечатлены ее муженек с сыном Венечкой. Она тогда что-то не согласилась зас-

няться.

«Сыночек милой, ты-то хоть вернись, вся ведь надежда на тебя, я-то ведь иссохлась, да исстрадалась по тебе», - причитала Степанида. До сорок пятого года письма от Веньки еще хоть редко, но приходили. В них он писал о войне, что скоро доберутся и до Берлина, очень жалел отца, успокаивал мать. Хранила она все письма в особой шкатулочке и ключик носила на груди, подвешенным на веревочке. Не ведала, что Веню ее отправили на другой конец земли нашей воевать с японцем. После этого уж писем и не стало. «Как в воду канул», - говорила Степанида. Деревенские мужики, которые вернулись с войны, успокаивали ее: «Молодой еще, так дослуживает. Не тужи, мать, вернется!» Но все сроки давно прошли, уже передали сообщения по радио об освобождении от японцев Сахалина, Курильских островов и полном разгроме Квантунской Армии.

Налаживалась мирная жизнь. Бабы, у которых вернулись хоть и подраненные мужики, радели, детвора тоже пооживилась: ну-ко, папка вернулся, да еще и с медалями. Но больше было таких, как Степанида. Бывало, сядет баба у холодной печи, а руки ничего не хотят делать. Одной вроде как не надо ни топить, ни есть, ни пить. Совсем затосковала, а главное, и на могилку некуда сходить.

Как-то Катька, почтальонша, посоветовала ей, мол, напиши в Москву о сыне-то, может, чего и знают, и рассказала случай, который слыхала от кого-то из соседней деревни. Мол, баба так нашла, где муженек ее захоронен. Степанида закрывала лицо ладонями и тихо плакала. «Ты поплачь, милая, поплачь, легче будет, - успокаивала ее почтальонша. - Может, жив он где? Мало ли бывает!»

Через полгода из Москвы пришел ответ с гербовой печатью, что Казаченок Вениамин Захарович в погибших не значится. Далее шло разъяснение, что в августе 1945 года он воевал в Приамурье командиром орудия, награжден медалью «За отвагу», в бою был ранен, находился на излечении в госпитале города Хабаровска. Степанида вдруг ожила, в воскресенье напекла пирогов и пошла к соседке Анфие поделиться радостью, тем более, что мужик ее Александр - бывалый, хоть и без руки, а вернулся домой живым и полная грудь наград. Тот почитал казенную бумагу, похлопал соседку по плечу: «Не тоскуй, живой, значит, подлечат и вернется». Степанида обрадела и на радостях впервые за несколько лет напарилась в бане с блаженным до уморенья.

Прошло более полугодя, а весточек от сына мать так и не получила. Она проглядела все глаза в окна, наказывала с каждым шофером, кто ездил в район по делам: «Вы уж там у вокзала-то посмотрите, может, Венька мой приехал». Но дни пролетали и пролетали. Степанида опять зачахла, часто стала болеть и редко выходила из дома. Только деревенские бабы и спасали. Бывало, соберутся две-три и к Степаниде. Уж посудачат вместе и погорюют. Бабка Матрена, та гаданьями успокаивала, а знала она их ужас сколько: и по свечке, и по углям в печи, и по картам. И все у нее выходило, что жив Венька, но мается где-то очень далеко.

«Кабы знать, куда ехать, - сокрушалась Степанида. - Так все бы бросила, да к нему бы доковыляла». А бабы не отступались: «Ты съезди-ко, милая, сама в район-от, может там у начальства чего и повызнаешь». Но повысить в районе ей ничего не удалось. До главного военкома Степанида не попала по причине его сильной занятости, а его заместитель ничего вразумительного не сказал. Она утерла слезы и продолжала бабам рассказывать о своих мытарствах: «Он только посоветовал написать письмо в сам город Хабаровск, где находится госпиталь».

Степанида описала все о сыне, но не верила, что письмо дойдет. Ей объяснили по карте, что этот город аж на другом конце России. Думала: «Коли и дойдет письмо, то кто его там будет читать?» Но все же через два месяца ответ пришел. И даже не одно, а целых два письма, только через неделю друг за другом. Одно письмо от главного врача госпиталя, а другое от женщины Тамары, которая работала медсестрой, когда лечился Веня после ранений.

Главный врач описал, что Веня лечился в госпитале почти полгода, ему сделано несколько серьезных операций на теле и особенно на голове - после осколочных ранений. Выписан он из госпиталя в марте 1946 года. А Тамара написала большое и очень подробное письмо о том, что Веня живой и работает сейчас истопником при их больнице, но только не говорит ничего, и бывает, что не всегда все помнит, а так он добрый. Дальше женщина рассказала, как ухаживала за Веней, кормила его. Хотели после госпиталя домой отправить, но он отказался, да и боязно было одного посылать, так Веня и остался при больнице.



В строчках письма незнакомки Степанида чувствовала теплоту и нежность. Она несколько раз перечитывала его, вытирая передником невольно выкатывающиеся из глаз крупные слезы. «Добрая душа, - шептала она, перебирая губами написанное. - Спасибо, приглядела, дай Бог тебе здоровья!»

Деревенские мужики тоже обрадовались, что в их полку скоро прибудет. «Ты, Степанида, больно не переживай - руки, ноги целы, а приедет сюда, так голову поправим». Сказано - сделано. Провожали ее всей деревней, сбережений на такое дело не жалел никто, даже председатель подсобил маленько и вызвался сообщить, чтобы Степаниду там встретили. А та, нигде дальше района не бывавшая и сроду не ездившая на поездах, духом не пала, а наоборот, в ней ожила какая-то неведомая сила, энергия, которая вела ее за родным и любимым сыном.

\*\*\*

Намаявшись больше недели в поездах, она старалась отогнать хворь и усталость и думала только о Вене. У самого вагона ее встретила Тамара, молодая, невысокого роста, смуглая женщина в сером пальто и помогла уставшей от тряски Степаниде выйти из вагона.

- Я вчера вас ждала, - она смущенно опустила глаза. - Меня главный врач попросил вас встретить, ему сообщили.

- Ой! Земля из-под ног валится. Не могу, милая, идти-то дальше, голову кружит.

Они сели на каменный парапет. Степанида перекрестилась на видневшийся из-за домов купол церкви.

Еще издали они услышали ядреный звук гармошки. Веня сидел на скамейке в беседке недалеко от здания больницы и перебирал лады, натягивая меха. Вокруг него собралось человек десять, находящихся на излечении. Они с печалью в глазах слушали задушевную игру гармониста. Увидев Тамару, все востепенулись, встали и, что-то бубня, медленно поплелись по тропинке к дверям больничного корпуса. Веня перестал играть и, широко раскрыв рот, улыбался, но молчал.

- Сынок! - заголосила Степанида и бросилась его обнимать.

Тамара стояла в сторонке, прижавшись к дереву, и слезы сами ручьем потекли по ее лицу.

- Милый сыночек, Венечка! Ведь это я, мать, за тобой приехала, - Степанида целовала у сына руки и голову, и горячие материнские слезы катились по его бледному, измученному лицу.

- У-у-у! - глухо промычал Веня и махнул рукой в сторону больницы, а потом показал на Тамару.

Его глаза были бессмысленны и стеклянны и ничего не выражали.

- Не чаяла ведь тебя увидеть, а ты живой, - причитала мать. - Домой поедем, там хорошо. Она сняла шапку и гладила сына по голове, на которой виднелись не заросшие волосами красные вздутия от только что залеченных ран.

Через два дня, когда были оформлены все документы, их проводили до поезда, а главный врач поцеловал Степаниду в щеку и сказал: «Держись, мать, жизнь она штука такая, нужно бороться!» Степанида еще раз прослезилась и крикнула из вагона: «Спасибо вам, люди добрые!»

\*\*\*

В районной больнице местный врач осмотрел Веню и весело протянул, обращаясь к Степаниде: «Вот молодцом, видишь, какого красавца-жениха привезла, - затем полистал историю лечения, помолчал и добавил: - Пока ему покой нужен, может, со временем память и вернется. Главное, мать, что ты теперь не одна».

Степанида берегла Веню, старалась не утруждать его тяжелой работой. По выходным пекла пироги, топила свою баню. Деревенские мужики навозили им из лесу бревен и сами распилили и раскололи их на дрова. Веня тоже без дела сидеть не хотел, крутился вокруг мужиков, складывал дрова в поленницу, таскал с реки воду, что-то мычал про себя. А если мать возражала, он сердился, размахивал руками и громко хрипел. Никого из деревенских Веня не помнил, даже тех, с кем когда-то в молодости гулял. К ним приходили и девчата, с которыми до войны он учился в школе и дружил. Молодежь успокаивала Степаниду, на посиделках у них пели песни под гармонь, устраивали веселые игрища. Только Веня безучастно сидел на скамейке, следя за происходящим своими белесыми

глазами, и лишь временами подыгрывал на гармошке.

По совету председателя колхоза Веню определили на работу - зимой конюхом, а летом пасти деревенских коров. «Работа не больно трудная, - говорил председатель. - Опять же на свежем воздухе, пользительно». Степанида не возражала: что молодому да здоровому дома-то сиднем сидеть.

Проходили годы. По возрасту Вене перевалило уже за тридцать пять, и молодые девчата и парни теперь обходили нелюдимого стороной, а ровесники давно обзавелись своими семьями. Степанида стала больше болеть, у нее отказывали ноги от непосильной работы во время войны, да и застужены были холодными зимами. Теперь не помогала ни баня, ни ворожба. Веня оказался мастеровым, сам починил крышу дома, подмазал и прочистил печь, рубил дрова, а говорить так и не научился.

Как-то бабы, сговорившись, приводили к нему из соседней деревни невесту, глухонемую от рождения, но, почувяв что-то неладное, он всех выгнал, да еще так затопал ногами, что деревенские отступились от этой затеи. Иной раз к ним заходили местные мужики, которым негде было отвести душу. Степанида разрешала, думала - пусть, мол, все хоть в доме человеческая речь, да и Веня поживится. Лежа на печи, она слышала все разговоры, которые велись в ходе застолий: и о тяжелой жизни, и о колхозных делах, вспоминали и войну. Веня приносил из комода завернутые в полотенце две медали «За отвагу» и два ордена Красной Звезды. Мужики дивились и крепко пожимали руки хозяину, а тот в ответ широко улыбался и брал гармонь. «Эх! Бабу ему нужно бы, Степанида, хозяйку в дом», - сокрушались мужики и даже хотели сосватать, но на том дело и кончалось. Мать и сама знала, что она уже стара, больна и долго не проживет, а как сын-то один в доме останется. Но мечте Степаниды сбыться не удалось. Сыну шел сороковой, когда ее не стало.

Первые годы Веня сильно тосковал, бывало, напивался и бродил по деревне с гармошкой, что-то мыча. Но соседские старухи следили за ним, когда сварят чего, постирают, приберут в доме. Скоро Вене это надоело, что-то он осерчал и перестал их пускать, а если они приходили, размахивал руками, гнал из дома. Так его дом постепенно приходил в запустение, редко можно было увидеть дым из трубы. Веня все больше сидел затворником.

\*\*\*

Кольке, Окуленихи сыну, шел в ту пору восемнадцатый год. Билась мать с ним, никакого сладу. Отца Колька не видел никогда по той причине, что официально его и не было. После войны Окулениха, еще молодая, уехала в район на учебу, а оттуда вернулась уже пузатая. Деревенские считали, что баба она пустая и бесшабашная, любит с мужиками поластиться, а воспитанием сына, кроме как выдрать, не занимается. Так Колька и вырос - сам по себе, а бабки поговаривали: «Большая детина, но неумная». В школе учиться он ленился, да и вообще не хотел. Из интерната в районе, куда его определили, сбежал после пятого класса, долго прятался от матери по деревням у разных дальних родственников, пока Окулениха не нашла его и не притащила домой. Отхлестала вицей - будь здоров как, рубцы на одном месте долго еще напоминали об этом. Так парень и рос сам по себе, да куда ветер дунет, пока его не пристроили на скотный двор помогать матери на подсобных работах.

Вене в ту пору председатель колхоза тоже подыскал работу. Зимой воду таскать в котлы и греть ее для доярок, а летом пасти коров. Но большое стадо Вене одному не доверяли и подпаском к нему определили Кольку. Бывало, Веня лежит на траве, смотрит выгоревшими зрачками на плывущие облака и что-то мычит про себя. Колька молчать не любил и, коротая время, трепался, рассказывал разные прибаутки, не понимая, слушает его Веня или нет. Тишина, покой, свежий воздух сблизили их так, что местные бабы стали замечать, что Колька иногда захаживает к Вене домой. Окулениха тоже не раз «застукивала» там сына и разнесла по всей деревне: «Ну-ко, захожу, а оне сидят за бутылкой, водку, вишь, распивают, черти. Я взяла полено, да хотела было вразумить обоих, так этот чеканутый так меня толкнул, что кубарем с лестницы и скатилась. Ладно, руки, ноги целы, а голова и до сей поры трещит, - она наклоняла голову и показывала «шишки», задирала подол и демонстрировала бабам синяки на ляжках. - Теперя боюсь его, глаза-то кровью налитые, ровно у волка». Бабы, конечно, ей соперевживали, а мужики, те больше подсмеивались.

Но что бы ни судачили в деревне, но работу свою Веня делал исправно. Все коровы

рано утром под барабанную дробь деревянных палочек пастуха сгонялись в стада и уходили в поля, а вечером исправно возвращались домой. За эту работу бабы давали Веню съестного кто что мог: яйца, молоко, картошку, пироги. Знакомых мужиков из своего дома Веня не гнал, а те пустые никогда не заходили. Забегали и молодые парни перед вечеринкой и танцами, чтобы веселей было идти в клуб. Так и повелось, что в его доме постоянно горел свет. Бабки и женщины злились, жаловались председателю, а тот только отшучивался, мол: «Сами привязывайте своих мужиков к крыльцу, у меня своих забот по горло». Но с Веней он все же поговорил, и тот осерчал. При виде баб делал злющее лицо и отворачивался.

\*\*\*

Пашка к тому времени закончил восьмилетку и остался в колхозе, работал уже два года на машинном дворе, помогая слесарям ремонтировать трактора и разную сельскохозяйственную технику. Уставал сильно, а дома мать плохо ходячая, больная, торопился подсобить ей с коровой управиться и телушку накормить. Пашкины младшие сестра и брат - погодки, учились в районном центре в интернате. Приезжали только на каникулы или на большие праздники. Помощи по дому от них, понятно, никакой, поэтому на нем, старшем, и держалось все хозяйство. Пашку все считали головастым. Он сам починил оставшийся после смерти отца старенький «Ковровец». Поскольку личной техники в деревне было негусто, то у деревенской молодежи мотоцикл был в почете. Ребята завидовали, когда хозяин рассекал на нем по улице, пугая шумом мотора кур да деревенских старух.

Пашка был ровесником Кольки и к тому же соседом. Ему нравилось балагурство товарища, вечно он был в центре внимания и особенно у девчат. В свои восемнадцать он был высок и красив, кудреват и тонколиц. Девки не упускали возможности побить с ним в кругу, а уж когда он провожал какую - это считалось за удачу. Бывало, Колька просил у дружка мотоцикл, чтобы прокатить с ветерком за деревню какую-нибудь подружку. Пашка не отказывал.

Весна в тот год была ранняя и теплая, снег, растопленный жаркими лучами солнца, быстро превратился в ручьи и сошел раньше обычного. Земля парила, словно дышала после тяжелой и холодной зимы. Быстро набухали почки на деревьях, распустились вербы. Звонко распевали соловьи - предвестники лета. Деревня тоже просыпалась, выползали, хоть пока и в валенках, на завалинки бабки, чтобы погреться на солнышке, резвилась у быстрых ручейков мелкая ребятня. Во всем виделась новизна, надежда на лучшую жизнь.

Как раз в ту пору вызвали парней в районный военкомат. Председатель думал-рядил, как бы еще оставить Пашку дома, все-таки подходило время пахать и сеять. Писали от колхоза прошение на отсрочку, мол, мать больная, да еще двое малолетних, но важная бумага так и не понадобилась.

\*\*\*

Соскучившись по свежему теплему воздуху, по свободе от домашних стен и родителей после танцев и вечеринок в клубе молодежь спускалась на широкий песчаный берег реки Сухоны. Разводили костер, коптили рыбу, пойманную парнями заранее, пекли картошку, а потом, под утро, все разбредались по берегу парами, чтобы полюбезничать наедине.

Так было и в тот выходной вечер. Парней и девчонок собралось много, принесли пирогов, разных домашних приготовлений. Без водки, как всегда, не обошлось, тем более, что был повод - праздник 9 Мая. Девчонки звонко и голосисто смеялись над ребятами, которые шутя устраивали на песке потасовки и, не удержавшись, падали в еще непрогретую воду. Замерзнув, парни тут же стаскивали с себя брюки и рубашки, чтобы выжать и посушить над огнем.

Почему-то на этот раз все припасы быстро кончились, а так как ночи были еще прохладными, то скоро все стали замерзать. Колька был особенно навеселе, он обычно к таким вечеринкам успевал подготовиться заранее. Всем хотелось еще посидеть, чтобы не распалась такая веселая компания, и он предложил достать еще.

- У Вени точно есть, - и Колька махнул рукой в сторону угора. - Он мне показывал, в комоду три бутылки держит. Девчонки насторожились и стали его отговаривать:

- Ты что! Он ведь чокнутый. Как ты пойдешь к нему ночью?

Но Колька был непреклонен и храбрился.  
- Да мы с ним столько пивали! Он и дверь-то сроду не запирает.  
Пашка тоже был в «хорошем состоянии» и поддержал друга, хотел показать и свою удаль и сноровку.

По дороге они говорили о девчонках, кто какую пойдет провожать.  
Света в доме не было. Входная дверь, как и предполагали, оказалась незапертой.  
- Спит, - шепотом сделал вывод Колька. - Ты за мной заходи и стой в сенях у дверей.  
Колька знал расположение комнат и хорошо ориентировался в темноте и на цыпочках тихонько вошел в комнату. Вдруг Пашка услышал какой-то нечеловеческий рев, звон разбитого стекла и треск вылетевшей оконной рамы. В ту же минуту он увидел, как огромная тень с чем-то в руке бросилась на него. Пашка от испуга нагнулся, случайно его рука нащупала полено. Тень замахнулась на него. Пашка отпрыгнул назад, увернулся и ударил поленом по надвигающемуся человеку. Видимо, удар был сильным, тот охнул и с грохотом повалился через открытую дверь на ступеньки крыльца. Пашка перескочил через тело и опрометью побежал в сторону реки. По дороге его нагнал весь дрожащий и протрезвевший Колька.

- Ну, как там? Я в окно успел выскочить, еле ноги унес. Весь перерезался, разбился, когда падал. Кровь отовсюду течет.

- Кажется, я его убил! - Пашку сильно трясло. Он остановился у забора и его вытошнило.

## СТАРИКИ

Дед Поликарп, наклонившись на теплую досчатую стену сарая, вытянул усталые ноги, обутые, как обычно, в повидавшие жизнь кирзовые сапоги, немного поерзал задом на сколоченной давным-давно, скрипучей и шатающейся скамейке. К нему подбежала Юлька, шустрая девчонка шести лет.

- Дед, Дед, дуду обещал.

Поликарп сощурил левый глаз, посмотрел на густые темные тучи, выплывающие из-за леса и разрывающие ярко-нежную голубизну неба.

- Однако, вишь, маленька, домой побегай, пирогов поешь, да скажи бабке - гроза будет, - он кашлянул и тяжело вздохнул. - Э- хе-хе, с сенокосом успели, благо дело, а ты говоришь - дуду.

- Дедо! - не унималась Юлька. - Какая гроза, вон солнце-то как жарит, - и она стала снова тормозить деда за руку.

- Отстань, слышь, пигалица, дай подымлю. Достал из бокового вытянутого кармана латанного во всех местах пиджака початую еще накануне пачку «Беломора», с наслаждением затащил, и по глубоким морщинам на его лице пробежала еле заметная блаженная улыбка.

- Ты, девка, больно въедлива. Вишь, только с пожни иду, ног не чую, с четырех утра трепыхаюсь. Вон, - дед показал на кучу веток и какой-то травы у крыльца, - принес тебе дудок, обожди чуток, вырежу.

- Чего шумишь! - к забору подошел шупленький, со сморщенным лицом старик в потрепанном и местами уже перехваченном на заплатках нитками кепарике и таком же, как у Поликарпа, много видавшем, изрядно поизношенном и залатанном пиджачке.

- А, Степан! Да вишь, вот городскую кралю успокаиваю.

- Это у тебя чья?

- Чья! Да Нинки-то, старшей. Внучка, значит. Вот третьего дни привезли гостевать, так и мечется на свободе-то все туды-сюды.

Дед Степан снял кепарик и повесил его на жердину, пригладил на голове пятерней свои жидкие седые волосы.

- Ты, дед, эдак настрогал в молодосте-то, что, поди, и теперя еще расхлебываеши, - Степан хихикнул и плотней прислонился к забору, чтобы лучше рассмотреть Юльку.

Поликарп сплюнул и прижал малышку к своему колену.

- Знамо, люблю эдаких, сам аж молодею! А ты че там, словно в клетке, заходи в отводок-то.

- Не, я по времени отпущен до лавки, завтра тоже гостей ждем, старший Константин

приезжает с семейством, так надо бы чего покрепче, бабка доверила, - Степан разжал кулак и показал деньги.

- Тьфу ты, пропасть, этой поддельной городской гадостью травиться, - Поликарп вытер рукавом губы. - Я вон с зимы уж своего первача заготовил. Эх, хорош! И поднял к небу большой палец.

- Да своего-то тоже есть, - Степан потоптался. - Да вишь, сразу-то неудобство, для затравки-то надо, положено вроде как гостям, да и из уваженья тоже.

- А, ну, ежели из уваженья, - Поликарп мотнул головой.

Юльке надоело слушать стариковские разговоры. Повертевшись на скамейке и ничего не выпросив у деда, она ушла в дом, прихватив с собой пушистого серого котенка, вылезшего из окошечка подвала.

- Иди-ко быстрее-то за сарай, - Поликарп махнул рукой Степану, указывая путь. - Там жердины-то нет, - и сам потрусил за угол двора.

Не отворяя дверей сарая, оба, как шкодливые пацаны, влезли в него через щель и раздвигающиеся доски, не прибитые снизу. Поликарп пошмыгал носом, разгреб кучу соломы, и там, в небольшой ямке, оголилась стеклянная трехлитровая бутылка, заткнутая деревянной пробкой.

- Первач, берегу для дела, не все старухе-то знать, - и озорно подмигнул. - Садись вон на чурбачок, крепенький.

Степан, не готовый к такому обороту событий, хотел было отказаться, но как тут не уважить соседа.

- Ты особо-то не тоскуй, поспеешь в лавку, - Поликарп выкопнул из разрытой соломы местами погнутую алюминиевую кружку и, пошарив еще, вытащил початую банку соевых огурцов, - бывает, лихо прихватит, зайду сюда, так сразу и добро, душа, значит, по-светлеет.

Принимая кружку, Степан крякнул, понюхал содержимое и медленными глотками выпил, вытерся рукавом и от удовольствия хмыкнул.

- Хорош градус, дерет аж до пят.

- А светла-то, ну как слеза, и пользительно опять же, - Поликарп тоже осушил кружку. Закрыв бутылку и замаскировав все соломой, старики вышли из задворок, сели на скамью.

Темно-свинцовые тяжелые тучи уже вынесло сильным ветром от леса, и они сплошной стеной надвигались на реку. От этого вода в ней стала какой-то фиолетово-черной, неживой. Вся природа потускнела, солнце уже едва успевало выплеснуть на землю в просветы туч свои золотые лучи.

- Ох! Шандарахнет час Зевс, будь здоров! - Поликарп достал папиросы и стал прикуривать.

- Не, ветер сильный, гонит, - Степан указал рукой в сторону околицы деревни. - Просветы выдать, да и куры, гляди, вон в крапиве куликаются.

- Ну, ты, дед, даешь! Сколь тебя знаю, все переиначишь, - Поликарп искоса взглянул на Степана.

- Да не сердчай, Поликарп, мы ведь с тобой, почитай, что чуть ли не породнились, кабы не твоя Нинка. Костя-то мой часто вспоминает, особо когда приезжает, да и внучата-то, и те знают, спрашивают, а боле смеются.

- Ой, Нинка и вредна была девка, а недотрога, только жизнь-то, она штука такая, - Поликарп с ухмылкой повертел рукой у головы. - Сразу в городе-то поостепенилась.

- Да, жись-то, ее прожить не поле перейти, верно подмечено, коли вот мы-то с детства все в запряге работаем, так нам это и обыденно, - Степан помял свой кепарик и положил руку на плечо соседа.

- А греет как изнутри-то, чуешь!

- Чую-то чую, только пора уж мне и выбираться, - Степан было засобирался, но мелкие частые капли дождя посыпались на землю. Не успели старики встать, как дождь хлестанул, как из ведра, и они опрометью бросились в сарай.

- Скажешь бабке, мол, обстоятельства застигли, - Поликарп опять разгреб солому. - Говоришь, куры, эхе-хе!..

Степан стряхнул с кепки дождевую воду.

- Переменилось все, и куры-ти дуры стали, не чуют ни черта.

Закусывая огурцом, Поликарп, словно кот на печи, шурился от удовольствия.

- Ноги-то хоть отошли, а то ведь нонче с энтим сенокосом до усмерти умаялся. Реши-

ли с бабкой - все, последний год бились, пора и на печи полежать, косточки пораспарить.  
- Это ты верно заметил, Поликарп, всю жизнь-то, почитай, все из кожи и вылезали, а почто? - Степан говорил разгоряченно и размахивал руками. - Молока-то в городе тепе-ря завались, сам видел в прошлом годе, гостевать ездил. Нас ведь Константин-то давно уж надоумливал корову-то продать, так бабка-то моя все сопротивлялась, жалко ведь, сколь помнит себя, все при животине была, сызмальства.

Поликарп слушал, не перебивал.

- А внукам-то что, пошалить только и приедут, мелкие-то пока, а вот старшие-то ученые в институтах, дак и не жди уж тут помощи никакой, грамотные шибко.

- От ведь барабанит, ровно из ушата, - Поликарп указал на крышу. - Чинить бы надо залазить, вишь, капает, прохудилась, а у самого-то уж столь нет, вот жду, кто приедет, так подмогнет буде, - он помолчал, повертел головой, причмокнул. - Давай еще помаленьку, а?

Степан махнул рукой. Пододвинул поближе чурбачок, на котором сидел. Поликарп старательно наклонял бутылку над кружкой, пытаясь не потерять ни одной капли живительной влаги.

- Так, говоришь, чуть не породнились, ну даешь! - он достал еще по крепенькому огурчику, стряхнул пальцы от рассола.

- А кабы она, Нинка-то, не спихнула Костю-то нашего с моста, точно бы сосватали утром, а тут ведь, ну-ко, пришел, как баран, весь в крови, велосипед-то со злости нараз кинул с угора в Сухону, че там, и колеса-ти были всмятку.

Поликарп повалился на солому и захохотал.

- Нинка ведь тогда прибежала вся, как намыленная, матка было за ей, а она схватила полотенце, да обратно унеслась, где же за ней поспеешь.

Степан потирал руки о штаны и качал головой:

- Вот те и любовь вся вышла, а Костя-то ведь с добром хотел подъехать, незаметно, да обнять девку, поцеловать, а та, вишь, учуяла и толкнула его. А угор-от, едри-мать, сам знаешь, высок, поди, метров пять у моста, да со скорости-то напрямиком с велосипедом туды и бухнулся, а там-то бурелом, крапива. Перилов-то на мосту ведь тодысь не было, один накат из бревен.

Степан замолчал. Поликарп дымил папироску и ухмылялся.

- И не подпустил ведь потом Нинку к себе, так все и разладилось, а то бы, глядишь, и породнились бы, а, Поликарп? - Старики обнялись.

- Да, жизнь-то она веселая была, у меня гармонь-то до сих пор в чулане вылеживает-ся. Ох, и звонка, девки так и млели. А теперь че, одних балалаек на батарейках навезут и ходят по деревне кур да коров пугают, а сами-то что, поди, и песен-то ни одной не знают, а частушки-то голосили, вспомяни-ко, - Поликарп прилег на солому, протянул ноги и затянул: - Эх, милка моя, девка пучеглазая, ох люблю, люблю, тебя...

Не выдержал и Степан.

- Эх, топну ногой, да притопну другой, не отдам мою милашку, вот какой я боевой!

- Добро сидим, а, Степан!

- А ведь отомстил Костя-то потом, на святки-ти, как раз морозы-то сильные были, аж углы у изб трещали, а бревна-то у домов смоляные были, не нынешний сухостой.

- Это как же? - встрепенулся Поликарп.

- А помнишь-ко, воротницы-ти вам заморозили, водой-то залили, да дровеник весь по полону под угор раскатали к реке?

- Эт, черт! Так то - он? - Поликарп даже содрогнулся. - А мы-то думали, из-за реки ряженые, парни с девками, пошутили эдак. А мать-то до чего Нинку тряпкой дохлестала, догадалась, что из-за ее. Дрова заставила собирать, так мы весь день по пояс в снегу ползали с санками.

- Выходит, в расчете получилось, - хмыкнул Степан и ладонью погладил свою голову.

Дождь как-то незаметно за разговорами потихоньку закончился, только изредка с крыши стекали скопившиеся и застрявшие где-то в ямках капли воды. Послышалось порханье куриц, голосисто и весело прокричал петух.

- Эх, хорошо! Аж душа растаяла, Степан, ей-богу!

Вдруг где-то за сараем послышался голос Юльки.

- Да здесь, бабуля, сидел, не знаю, куда делся!

- Найдем, милка!

В узкие щели между досок, которыми был околочен сарай, было видно, как бойко

шла грозная бабка Анфиса, а за ней семеняла внучка.

- Эх ты! - Поликарп быстро спрятал в солому бутылку и банку с огурцами. Дверь резко отворилась, и стариков обдало ярким дневным светом, оба аж сощурились.

- Вот оне, Юлька. Паразит, и Степана уж заволок.

- Да мы ничего, бабка, не шуми больно-то.

- Поликарп попытался встать, но ноги ослабли и силы почему-то покинули его, и он опять сел.

- Вижу, как ничего. Смотрю, и встать уж мочи нет, нализились. Ну-ко двинься! - Анфиса быстро ногой раздвинула солому.

- Ты, сватья, не кричи, - Степан было зацепился за доску и тоже хотел потянуться и встать, но не смог.

- О, вот ихние припасы-ти где, - и быстро вытащила бутылку.

- От, лешаки-ти, сколь выщедили, еще бы им встать.

- А, забирай! - Поликарп махнул рукой, лег на солому и запел частушку: - Ох, девка моя, милка пучеглазая, ты почто меня не любишь...

- Я вот те допою, - прервала его бабка, хлестанула попавшим под руку веником и вышла из сарая, еще что-то бубня.

- Анфис! - услышали старики. - Не видала ли моего-то? Ушел в лавку, еще ведро было, и пропал.

Степан схватился за голову:

- Все теперя, паря, моя Евдоха пришла, ей-ей, баня нам будет!

- А, брось, Степан, че их, баб-то, бояться, так и не жить вовсе, - и Поликарп затянул опять полюбившиеся ему частушки: - Ты почто, моя Анфиса, держишь в строгости меня? Аль забыла, как у печки крепко целовал тебя...

## ЗАРАЗА

Валентина жила в городе давно, еще до перестройки переехала из далекой глухой деревеньки Чуриловка, что в Тотемском районе. Закончила школу, да и определилась с подругами на портных. Мать особо не задерживала. Чего, говорит, тут «странить», в умирающем лесопункте. Перспективы никакой, лесосплав в поселке закрыли, и все, кто помоложе, и другие семьи, кто поспорившей, подались искать лучших мест. С Валентиной поехала еще и Анютка, девка красивая, полногрудая, всегда розовощекая, но бесшабашная и пустая, как говаривала мать Валентины. Ну, да хоть за компанию веселей и спорившей.

Вот уж прошло с той поры, почитай, десять годков. Женщина, встревоженная, сидела на кухне, в своей маленькой хрущевке и читала письмо, которое получила только что от матери из деревни. Слезы крупными градинами невольно выкатывались из ее набухших и покрасневших глаз. Подбежал пятилетний сынишка Сашка и стал дергать мать за подол.

- Отстань, зараза, надоел, - она с силой саданула сырой тряпкой парнишке по заднице. Тот, вытянув губу, убежал в комнату и залез под кровать.

Валентина хотела выйти после декретного на работу, да льнозавод закрыли из-за финансовой несостоятельности, и вот уже несколько месяцев сидела она безработная дома, перебиваясь небольшими приработками - вязанием и плетением кружев. Мужик ее Пашка, которого она в глаза называла «ханьга» или «зараза», денег приносил мало, задерживали с выплатой на заводе, где он работал слесарем. Слаб он был на горло, любил иногда приложиться, и это выливалось в долгие запои. Сколько раз Валентина долбила его по голове, где бы подзаработать, захалтурить, да слишком нетороват был ее суженый. Одно дело, хоть старую комнатку дали, со слезами она сама вымолила через руководство мужа, жить-то негде было. «А руки-то у Пашки золотые, - хвалил начальник. Другому бы не дал, а Валентина-то знала, сколько ее Пашка под личной машиной начальника провалялся - ремонтировал, а все за так.

- Слесари - не слесари, один черт от тебя толку-то нет, - ругала Валентина своего благоверного. - Тюфяк, одно слово, куда уж в бизнесмены, ни соврать, ни обмануть ведь толком.

Пашка даже побаивался жены, но все же в душе считал, что ругает его Валентина

справедливо, работать заставляет, а то бы вовсе спился. Любил он жену, жалел крепко, помогал, чем мог, не чурался домашней работы. Бывало, и пол вымоет, и пеленки стиравал. Иной раз Валентина добрела к нему, думала: «Вот наломается мужик на работе, а зарплаты шиш с маслом». В таких случаях она вспоминала свою подругу Анюту, которая не унывает, уж, поди, с десятым хахалем живет, и все не в нужде. Смазливая, вот и цепляются к ней не пустые мужики. Иной раз забежит то в новой куртке, то еще в чем и вот тараторит про своих кобелей. Поучала и Валентину, как жить по-новому. Валентина завидовала, конечно, беззаботности подруги. Но сама знала, что не по ней все это, не сможет она так. За раздумьями над письмом не заметила, как пришел с работы муж.

- Чего ревешь? Сашка, что ли, заболел? - Пашка в кирзовых сапогах и в замаслянной куртке как-то неуверенно подошел к жене.

- Мать вот пишет, Полинка, сестра моя, повесилась, - Валентина зарыдала еще сильнее, с причитаниями. Пашка вздрогнул, нагнулся и взял из рук жены письмо, стал читать.

- Чего там зеньки-то вылупил, ведь не разберешь, - Валентина выхватила конверт. - Билась, бедная, все одна да одна с троими-то. Ни денег и пожрать нечего от паразита ее, алкаша, правильно и замерз, Господь видит! За его бы, заразу, хоть копейку платили. Вот мужики - сволочи! - и в сердцах Валентина с размаху стукнула Пашку по голове своим маленьким пухлым кулачком. Тот сел рядом и не знал, как успокоить жену, что сказать.

- Похороны, какие сейчас похороны, коли письмо более недели шло, да и ехать-то на что? Денег-то давно принашивал? За душой ведь ни копейки, - стонала Валентина.

- Может, через Аньку, машину какую? - Пашка боязливо положил руку на плечо жены. - Ты что? Совсем обалдел! Чем я потом отдавать-то буду? Как она, натурой? - Пашка сник.

- Теперь вот и думай, куда ихнего старшего Ваньку пристроить. Ему уж двенадцать годков, - Валентина вытерла подолом красные от слез глаза. - То ли учиться куда, то ли? Ума не приложу!

- В каком он классе-то? - попытался спросить Пашка.

- В каком, в каком? Уж два года не учился нигде, не на что было, - глубоко вздохнув, Валентина встала к плите, хотела выключить газ, да ноги не держали, и она опять плюхнулась задницей на табурет и зарыдала.

- А-а-а! И бабка-то старая, что ей с двумя-то погодками, только бы в детдом оформить. Пенсия у нее никакая, хоть и «горбатила» всю жизнь в колхозе. Вот те и жизнь!

Пашка поднялся.

- Погоди ревешь-то, пусть едет, может, пристрою его слесарем, хоть учеником, мастер всяко возьмет!

- Куда, куда возьмет? - Валентина закричала сквозь слезы. - Ему ведь, зараза, учиться еще надо, да и кормить его не все равно, а тебе и самому-то денег не платят.

- Может, через собес? - Пашка прижался к жене. - Там, слышал, помогают.

- По башке бы тебе, помогают! Там эдаких и своих хватает, - Валентина снова запричитала.

Пашка молчал, курил. Маленький Сашка хныкал в углу комнаты.

- Уйми! Не вишь, надрывается, нервов и так нет! - взревела Валентина.

Пашка замял папироску и пошел в комнату.

- Пойдем, слышишь, матка звереет.

Сашка, опустив голову, поплелся за отцом. На улице пахло сыростью. Лето еще не кончилось, но чувствовалась тяжелая прохлада, тянувшаяся откуда-то сверху, из надвигающейся темноты. Пашка поежился и пожалел, что не накинул пиджак. Мысли его бродили, и он сам не находил на них ясного ответа.

- Папка, есть хочу, хлеба, - канючил Сашка.

- Да погоди ты! Вишь, чо деется!

Сашка не понимал, у него сосало, и он продолжал стонать.

- Тьфу ты, напасть! Иди к матке, - Пашка довел сына до квартиры.

- Я сейчас, мигом, - бросил он в дверь.

Вжав голову в плечи, он мелкими шажками потрусил в дом напротив, где в окне третьего этажа горел свет у Леньки-стрекача. Может, чего подсоветует, - вертелась у Пашки в голове. - Не зря же его так прозвали, мужик на одном месте долго не рабатывал, все к деньгам тянулся.

Открыл дверь Ленька - длинный и тощий, в поношенном неммыслимо вытянутом три-



ко, небритый, с сигаретой в зубах. Постоянной бабы у Леньки сроду не было, по причине его беспутства и неуживчивости. Это ему было на руку. Хвалился, одна тягомотина - эти бабы, а тут, творю, что хочу, свобода. Как, бывало, затравит очередную присказку или анекдот, так все мужики, держась за животы, падают. Потому и говорили ему, стрекочешь ты, Леха, что кузнечик. Болтал, болтал, но до денег был хваток. Где какая халтура - он тут. И Пашка не ошибся.

- Заходи. С бабой зацепился? - Леха сощурил левый глаз и пустил струйку дыма.

- Да, дребежит. Сестра, вишь, у нее того, - и Пашка показал на горло. - Детишки остались, жалко.

Леха присвистнул.

- Проблема. Ну, ты давай в кухню, - и подтолкнул Пашку.

Давно не крашенный обшарпанный пол, обои - местами обвислые от стен, облезлый от былой побелки потолок делали безмебельную квартиру убогой. Пашка сел на единственный стул, Леха присел у стола на корточки.

- Ты где сейчас робишь? Или в отвале? - Пашка положил руки на стол, скрестил пальцы, казавшиеся грязными от въевшегося в кожу машинного масла...

- Не, дело есть, железки таскаю цветные, в приемник на Заречной. Слыхал? - Пашка мотнул головой. - От вас как ушел с завода, свет жизненный увидал, опять же деньжата кой-какие появились, - Леха демонстративно потер известными пальцами друг о друга.

- Возьми захалтурить. Бабе, вишь, очень деньги нужны, - Пашка вздохнул и добавил: - на похороны.

Леха пускал клубами сигаретный дым. Закурил и Пашка.

- Во! Седня с братаном одним собираемся на дело. Кабелек один присмотрели, алюминька, тяжелый - поможешь. А утром сдадим, и долю получишь.

Леха многозначительно посмотрел на Пашку.

- Не тоскуй, хватит, он дорогой! - помолчал и добавил: - Ты не трись! Все надежно. Чего-то на стройке было подключено, а уж давно все там рухнуло, не строят, растаскивают потихоньку, а кабелек толстый, порубим, «шкуру съем», и делов-то, - Леха улыбнулся, обнажив беззубый рот. - За ночь управимся.

Пашке вдруг захотелось домой. Он вспомнил, что после работы еще и не едал. Его грызли сомнения, да деваться было некуда, деньги были нужны.

- Лады! - он встал. - Пойду, перехвачу чего, сосет, - и показал на живот, - не жравши с утра.

- Давай к десяти подходи. Возьми голики, а то руки позацепляешь.

Сашка уже сопел на кровати. Валентина по-прежнему сидела на кухне с заревленными глазами и с письмом в руках. На столе стояла большая черная сковородка с недоеденной жареной картошкой.

- Где тебя черт носит? Садись вон, скобли, - она подтолкнула сковородку на край стола.

- Ходил, слышь, к Лехе-стрекачу, халтура есть, - Пашка смотрел на жену и усердно двигал желваками. Помочь ему нужно, типа подработать.

- Иди, свистуля! Прохвост твой стрекач, обманет тебя, простофилю, - Валентина выпучила свои змеиные глазки, и от этого Пашка чуть не захлебнулся, закашлялся.

- Сказывал, деньги утром. Вроде не врет.

Запив из ковша холодной водой съеденное, Пашка стал собираться, надел потертую брезентуху, сунул в карманы старые рабочие голики. Хотел обнять жену, но та рявкнула на него и вдогонку добавила:

- Не простофились, да смотри, не нажирайся!

У Лехи уже сидел неопределенного возраста, щуплый и на вид глуповатый мужичонка. На нем была черная, местами потертая и грязная фуфайка в мелких дырках, из которых торчала белая вата.

- Знакомься, - указал рукой Леха.

- Петька, - женским голосом проищал незнакомец. Пашка протянул руку и пожал холодные тощие пальцы, которые тот сунул ему.

Пашка даже поежился, и его взяло сомнение. Подумал, какой-то бомжара. Леха поймал его взгляд.

- Да ты не сомневайся, это ведь Петька и место нашел. Спец в этих делах.

Мужичонка опять хихикнул.

Шли молча какими-то дворами, закоулками. Маленький Петька в длинной фуфайке

пояснил, что так короче. Леха нес топор, а Пашке подал заготовленные заранее два длинных ножа-тесака - срезать «шкуру» с кабеля. Пока шли, Пашка несколько раз упал, весь вымазался в сырой грязи, несколько раз перематерился, ругая себя и непутевую жизнь.

- Пришли, - вдруг засуетился Петька.

- Охрана есть? - спросил Пашка.

- Ты чо? Все ж брошено, - Петька замахал руками, указывая на стройплощадку.

Кабель был толстый, и Леха торжествовал, потирая ладони. Он поднял большой палец и показал Пашке:

- Во, много алюминия.

Яркие звезды и луна хорошо освещали темную площадку, заваленную кирпичом, обломками бетонных плит, досками и еще черт знает чем. То ли от холода, то ли от боязни у Пашки бегали по спине мурашки. Подбежал мужичонка и затараторил:

- Все разведал. Пошли, там будем обрубать, он концом заведен в будку, а та на замке.

Пашка усомнился:

- А вдруг под напрягой? Жахнет, костей не соберем.

- Не! - пропищал Петька. - Что тут питать-то? А так бы, конечно, сторожа оставили.

Пашка, подумав, решил, что, действительно, если б нужно было, то охраняли бы. Леха задымил и, протянув пачку «Примы», Пашке, добавил:

- Рубить-то будем топором, ручка деревянная, ток не проводит. «Специалисты, едримать, - выругался про себя Пашка. - Втянули в авантюру». Посовещавшись, решили, что рубить будет Леха, у него уже был кой-какой опыт в этих делах. Определили место перерубания, подложили доску.

После удара топором искры посыпались во все стороны. Петька от испуга аж присел. Пашка простонал:

- Кабель-то деловой был.

- Все! Каюк! - Леха отбросил почерневший топор и крепким матом покрыл всех и вся.

- Че, все? А с той стороны? - и Петька указал на другой конец кабеля.

- Тока-то нет, теперь отсюда кусками и порубим, - его черная тень покатила вдоль куч мусора и осколков бетонных плит, которыми был завален кабель.

Леха взмок и, вытерев со лба холодный пот, затянувшись сигаретой, присел на кирпичи.

- Во гад! - он показал в сторону Петьки, тень которого рыскала по стройплощадке. - А говорил, без напряги! Чуть жизни не лишил.

Все разведав, Петька неожиданно выскочил из темноты.

- На пятнадцать кусков порубим, метра по три, а там утащим.

- Руби сам! - Леха покрутил рукой у виска. - Топор вон там, за плитой.

Петька, что-то пробубнив про себя, все же послушался.

- Давай подержу конец-то, - Пашка решил помочь незнакомцу положить кабель на доску, чтоб легче рубить. Первый страх прошел, и он теперь думал только о конце этой идиотской затеи, ругая себя за то, что связался. Сам взял левой рукой за конец кабеля, чтобы переложить его на доску. От удара током его отбросило. Пашка даже не успел сообразить, что с ним случилось. Его сознание отключилось, и он уже не слышал, как рыдал Леха, и не видел, как со злости он разбил кулаком до крови Петьке нос. Тот упал на кирпичи и завыл, как собака.

Перевернув Пашку и увидев неживое выражение лица, оба сильно испугались. Леха затрясся, попытался расстегнуть фуфайку, но руки дрожали. Потом, зло выматюгавшись, сплюнул и, резко развернувшись, побежал искать телефон. Вперед приехала милиция, а следом «03». Подняв с земли окровавленного Петьку, следователь дал указание, и его вместе с Лехой загрузили в «уазик» и увезли в отделение.

Бездыханное пашкино тело медики долго откачивали, но так и не смогли вернуть к жизни. На его застывшее лицо, выражавшее удивление, нельзя было смотреть без сожаления. Он не слышал, как пожилая женщина в белом халате сказала: «Какой еще молодой!» А другая, помоложе, добавила: «Сам виноват, все бы им воровать да пропивать, заразам, а семья-дети, поди, страдают».

Через полчаса на стройке уже никого не было. Только печальный свет ярко-желтой и холодной луны освещал этот кажущийся пустым и безмолвным мир человеческих судеб.

## РАЗЗЯВА

Весенний свежий воздух, приятный, нежный и ароматный, больше представлялся Катьке, чем попал в камеру. В самом углу зарешеченного окна была небольшая дырка в стекле. Катька не знала, какой это этаж, но ей показалось, что небо, его голубизна вот тут, рядом.

Она сидела в одиночке, куда ее определили за грубое поведение и непослушание. А у нее, у Катьки, было просто плохое настроение, не выдержали нервы, да и надоели все со своими нравочениями - это делай, то не делай. А больше всего эта Комариха, начальница отряда, которую так прозвали бабы то ли за длинный нос, то ли за то, что все ей не так.

Катька еще не знала всех мелочей и подробностей зековской жизни в колонии, куда ее привезли только месяц назад. После всего случившегося ей было на все и на всех наплевать и больше всего хотелось побыть одной, поэтому она и вспыхнула, загнула несколько матюжных словечек в адрес надзирателей.

Сидеть в камере холодно и сыро, но Катька привычная и не такое переживала в своей еще молодой жизни. Только полгода, как ей исполнилось восемнадцать, но помня ее жизнь на все сто.

Вдруг дверь забрякала и отворилась, и вошла охранница. Ее чересчур объемная фигура и большая грудь буквально разрывали пуговицы на военной рубашке.

- Есть будешь, Седулова?

Катька отвернулась, сжавшись в комочек. Сзади, с коротко постриженными волосами, она была похожа на мальчишку.

- Не корчи из себя, молода еще, - охранница оставила миски с едой и ушла, захлопнув за собой железную дверь.

Катька не боялась голода, она выросла, постоянно испытывая это чувство. Единственным приятным для нее воспоминанием было совсем раннее детство, садик. Тогда она любила больше всего надевать белое платьице и огромный розовый бант, играть в дочки-матери и есть горячие и пышные пончики в масле. Своего отца она не помнила, просто ни разу не видела, но дядей, которых постоянно в дом приводила мать и которые, напившись, обязательно хотели быть папами, Катька навидалась вдосталь.

Сейчас ей хотелось плакать. Но слез не было, и она только судорожно вздрагивала. Ее худенькое, слабо развитое тело в тонком ситцевом платье было так мало, что ей с трудом можно было дать и четырнадцать лет. Когда она пошла в школу, мать ее уже пила горькую и пила сильно. Редкий день дома не было алкашей-собутельников. Катька боялась идти домой и больше сидела у девочек из класса или у соседней. А когда мать трезвела, то Катьке за это от нее крепко попадало. Обругивая страшными словами, та страшила дочь, что приберет, если она еще будет бродить по соседям.

Когда Катька училась во втором классе, по решению важной комиссии направили ее в детский дом, а мать куда-то лечиться. Дом был большой, теплый и чистый. Там было много хороших непьющих тетей, вкусной еды и кукол. Но не прижилась там девчужка, проявила свой норов, насупилась и сидела целые дни тихонько в углу одна. Долго уговаривали ее, а особенно сгорбленная и седая бабка Клава с кухни.

- Ты, Катенька, коли есть захочешь, так подойди, скажи, дам чего вкусенького, а таскать еду под подушку нехорошо.

Катька и сама знала, понимала, что делает нехорошо, но тянуло ее на кухню к сытному запаху взять то ли котлетку, то ли пирожок, которые она потом засовывала под подушку и ночью тайком ела, и не потому, что голодная, а про запас, наголодалась с матерью. Та ведь уйдет после пьянки, а еды - одни обкусанные куски хлеба на столе. Катька собирает их и грызет, а раз даже глотнула какой-то гадости из железной кружки, совсем чуть-чуть, думала, вода. Но горечь сильно зажгла горло, и скоро она забыла про еду, и стала играть в тряпочные старые куклы, и ей отчего-то вдруг сделалось легко. Так Катька приохотилась допивать капли горькой жидкости из всех емкостей, оставленных на столе. Мать иногда приходила и через день, так что в школу Катька, считай, не ходила, да и не тянуло ее туда.

Отвыкнув от учебы, она и в детдоме ленилась. Учительница была молодая, вечно спешащая, и на маленькую пигалицу не обращала особого внимания, считала ее замарашкой, не подающей никаких надежд в учебе. На уроках Катька была сама по себе, рисовала в тетрадке, смотрела в окно и жалела мать. Когда учительница окрикивала ее, Катька

вздрагивала, брала ручку и, непонимающе моргая, смотрела на доску. Дети смеялись, а рыжий мальчишка, сидевший на задней парте, бил больно Катьке книгой по голове, приговаривая: «Не лови мух, раззява». Так и привязалось к ней это прозвище.

Вечером, когда воспитатели уходили домой, дежурить за воспитателя оставалась злая тетка, которую все ребята про себя звали Помидор - за то, что она была маленькая, толстая, а лицо было отчего-то все время красное. Играть она не разрешала, а только кричала на всех, чтобы не разбрасывали игрушки и не галдели. Маленькие дети боялись ее, разбегались по углам и тихо-тихо там сидели.

Катька боялась одиночества, ей хотелось с кем-то поговорить, поиграть, но никто почему-то с ней не дружил. А тетка Помидор только ее и заставляла после ужина мыть посуду, подметать, а ведь было расписание дежурств. Но попробуй такой возрази. А еще она несколько раз видела, как Помидор складывала на кухне себе в сумку котлеты и кашу, хотя желаемой добавки за ужином ребятам не доставалось. И потом, утром, девочка слышала, как Помидор, уходя домой, рассказывала поварихам, что проглоты дети приели все, что было на вечер приготовлено, а особенно эта «раззява».

Как-то раз из холодильника, стоявшего на кухне, пропали красные яблоки, которые привезли родственники одному мальчишке. Все свалили на Катьку, хоть она и плакала, говорила, что не брала. Ей не поверили. Не выдержав обид и вечных подозрений, девочка, проплакав полночи в подушку, под утро тихонько встала, одела, что нашла, и убежала. Хватились ее только на завтраке. Поискали, заехали в милицию, да и успокоились, мол, найдется.

Была зима. Но не очень морозная и снежная. Катька брела по незнакомой улице в стареньком осеннем пальтишке, из которого уже выросла, и вязаной, еще материнной, шапке. Сначала она не знала, куда деваться, но душа и сердце ныли и как бы подсказывали, что маму уже вылечили, а ей просто забыли сказать об этом, и теперь она ждет свою дочку дома.

Узнав на вокзале, когда идет поезд, Катька в толпе взрослых без труда залезла в вагон и, пройдя немного, села на край свободной полки. Поосмотревшись и немного посидев, она согрелась и стала наблюдать, как какой-то огромный усатый дядька громко чавкал, кусая хлеб с колбасой и запивая чаем. От сильной усталости Катьке тоже хотелось есть. Она проглотила слюну и стала разглядывать своих соседей. Рядом с ней сидела пожилая, на вид добрая, женщина, а у окна молоденькая девушка. Дядька, причмокивая, рассказывал им что-то интересное о работе, жестикулируя руками. Женщина соглашалась с ним, кивая головой. Катька вытерла нос рукавом пальто, поджала ноги и стала, как и ее соседка, в упор смотреть на рассказчика.

- Ты чья, человек? - дядька улыбнулся, и его большие усы расплылись по довольному и широкому лицу, делая его добродушным.

- Мамина, - пропищала от испуга Катька.

Он порывлся в пиджаке, достал конфету, подал ее Катьке и дальше продолжил свою байку. Девочка поняла, что колбасы ей не дадут. Конфету она сильно сжала в кулачке и от нахлынувшей дремы и монотонного качания вагона и постукивания колес - задремала.

Очнулась Катя потому, что кто-то ее тормозил. Рядом стояла пожилая женщина с постельным бельем, дядька, сидевший напротив, уже спал.

- Иди, девонька, к мамке, мы тоже будем спать укладываться.

Катька поняла, что ее гонят, молча слезла с полки и спящая пошла вдоль вагона.

- У тебя мамка-то где? - догнав ее, спросила девушка.

Катька подняла печальные глаза и заплакала.

- Ты, мам, что ее гонишь, она вроде одна едет, - девушка сняла с Катьки шапку и погладила ее по голове,

- Она, верно, и голодная? - женщина, не спрашивая, достала домашний пирог, отломала кусок и подала Катьке.

Познакомились. Оказалось, что соседи едут в тот же поселок, где жила Катька. Девушку звали Маша. Мать уснула, а они еще долго сидели вдвоем у темного окна, слушая стук колес. Катька поняла, что девушка чем-то болеет, и они часто ездят в город в больницу.

Раннее утро было очень морозным. Белизна снега делала сумрак не таким серым. Холодный воздух освежил лица пассажиров, выходивших из поезда. Попутчики вместе с Катькой дошли до привокзальной площади и, пожелав ей удачи, заторопились на авто-

бусную остановку, а она, сжав от мороза пальчики в кулачки, вобрав голову в плечи, побрела домой по скрипучему свежему и пушистому снегу. Ей очень хотелось есть, сильно болел желудок, но думы о доме и о матери перебивали голод. «А вдруг мамка уйдет, и не будет ключа». Катька видела, что люди уже выходили из подъездов и спешили на работу. Некоторых она знала, вспоминала. Но никто не замечал маленького, куда-то спешащего человечка.

Еще издали Катька увидела в окне свет. Одиноко стояли засыпанные снегом стволы трех берез, у которых на траве летом она любила играть с куклами в дом. Дверь открыл небритый и заросший бородой чужой дядька. Он с удивлением спросил:

- Ты к кому?

Катька помялась, опустила замерзшее лицо и тихо прошептала:

- К маме.

Дядька зашел в коридор и крикнул:

- Иди, твоя!

Катька испугалась, забыв о холоде.

- Откуда взялась? - она не узнала свою мать, та очень изменилась, постарела и сторбилась. Катьке хотелось броситься к матери, обнять ее, но та только подошла и похлопала дочь по спине и как-то сквозь зубы промычала: - Иди, проходи, вся синяя.

- Я ничего, мама, с поезда, очень соскучилась по тебе. Мать, не дослушав, шатаясь и опираясь рукой о стенку, ушла в другую комнату.

Чужой дядька сидел на табурете и курил. Катька опять вспомнила этот противный запах от дыма папирос, и ее всю передернуло и чуть не вытошнило от дыма и окурков, которые лежали в пустых тарелках и валялись разбросанными по всей комнате. Вышла в потрепанном халате мать и пристроилась рядом с дочкой. Посмотрела на нее мутными опухшими глазами и, еле шевеля языком, спросила:

- Ты зачем сюда, думала, там человеком будешь.

- Ты че, дура, дочь же! - встрепенулся мужик. - Девка по морозу, а ты мелешь.

Мать тоже закурила и, чтобы не упасть, прислонилась плечом к стене.

- Ты, девчонка, не бойсь, как тебя зовут-то? - дядька наклонился к плачущей Катьке и изо рта пахнул на нее перегаром. - Сейчас картохи нажарим, я тебя в обиду не дам.

- Иди отсюда, - мать толкнула дядьку, и тот чуть не упал с табурета. - Картошки-то насадил? Жарить он будет!

Поднявшись, тот хотел замахнуться на мать, но Катька быстро соскочила со стула и встала перед ней. Дядька, не ожидая такого от малышки, опустил руку и пробубнил что-то матюжное.

- Все равно буду с тобой, - Катька прижалась головой к животу матери и заплакала.

Прошла зима. В школу Катьку мать так и не устроила, а та боялась и смотреть-то в сторону, откуда веселые, хорошо одетые дети выходили с сумками и портфелями. Мать почти ежедневно уходила к магазинам, где за уборку мусора от киосков ей давали небольшие деньги, на которые она покупала водки, хлеба, дешевой крупы и иногда приносила Катьке уже подгнивших яблок, сухих семечек. Один раз приходил участковый милиционер, который обещал отправить Катьку обратно в детский дом. Она сильно испугалась и так зарыдала в истерике, что тот сразу ушел, а мать, будучи во хмелю, кричала ему вслед:

- Не тронь мою девку.

Соседи жалели Катьку, особенно набожная баба Манефа, жившая в этом же бараке. Когда матери не было дома, она забирала ребенка к себе. Там Катька наедалась горячего супа с макаронами и пышных теплых оладий. Грамоте бабка Манефа была обучена слабо, и все у нее сводилось к вере в Бога. Катьке было легче на душе, когда та раскрывала ей тайны святой книги - Библии, рассказывала о том, что Бог сотворил всю Вселенную, и о том, какие муки он перенес во имя спасения людей. По словам бабки, Катьке нужно потерпеть, и ей воздастся. Боясь обидеть хозяйку, девочка неумело молилась, глядя на посеребренные иконы, украшенные красивым вышитым полотенцем. Но недолго длился этот покой. Весной, когда уже распускалась листва на деревьях и пахло зеленью и свежестью, бабка умерла.

Катька скучала по ней, а больше по домашнему теплу, иногда подолгу стояла, прижавшись к двери ее квартиры, на которой теперь висел большой замок. А когда становилось совсем невмоготу или очень хотелось есть, Катька вспоминала бабкины рассказы о Боге и смотрела в углы своей комнаты, на старые обвисшие обои.

Уже сидя в камере, Катька вспоминала свою вечно грязную и нечесаную мать, которая била ее за то, что она ничего не приносила домой из еды. Сначала девочка ухитрилась ходить по магазинам и всяким грязным местам и собирать пустые бутылки и что попадет из съестного. Но уже через месяц-другой о маленькой побирушке знал весь поселок. Были случаи, когда у больших домов на нее натравливали собак, но она их хоть и боялась очень, но не бежала, просто встанет и стоит с глазами, полными слез, и собаки не трогают малышку, а только лаяли и рычали. Были и такие, особенно пожилые женщины, кто знал и специально припасал для нее еды. Вечером Катька приходила домой, а мать пьяная лежала на полу или на кровати. Катька раздевала ее, убирала грязь, сливала из бутылки капли водки, выпивала и заедала принесенной пищей.

В начале лета к ним пришла комиссия. Хоть мать и кричала, плевалась, топала ногами, но Катьку все равно забрали. Ей тогда исполнилось десять лет, но не подросла она нисколько, и кто не знал ее возраста, думали, что первоклассница. Когда Катьку увозили, матери сказали, что ее отсюда выселят, а дочь больше не дадут портить, и Катька поняла, что мать она видит в последний раз. Проплакала всю дорогу, пока везли на машине и на поезде. Ей объяснили, что ее мать лишена родительских прав, а она опять будет жить и учиться в детском доме. И Катька снова попала туда же, откуда сбежала год назад. Еще издали она узнала рыжего мальчишку, который обижал ее. К ней подбежали и другие ребята. Они все подросли, были в чистом, только на Катьке осталось коротюсенькое с заплатками пальто. Рыжий сразу спросил

- Опять, разиня, воровать будешь?

- Идите, идите к себе, - их оттащила молодая женщина, «заведующая», решила для себя Катька.

Ее вымыли, переодели, сытно и вкусно накормили кашей с котлетами и компотом. Главная тетя велела ей поспать и показала на белоснежно заправленную кровать. Засыпая, Катька слышала, как у дверей шептались дети во главе с рыжим: «У, опять эту воровку привезли, ну, ничего, мы ей зададим!» Чтобы их не слышать, Катька положила подушку на голову.

Прошло пять лет, и девушка, повзрослев внутренне, внешне оставалась ребенком. Учеба ей не давалась, и осилила она с трудом только пять классов, хотя ее сверстники закончили уже восемь. Вначале с ней бились специалисты, какие-то психологи, врачи, но потом сказали, что это врожденное. Желание учиться у Катьки было, но что-то не запоминалось, плохо укладывалось у нее в голове. С третьего класса учителя особенно и не обращали внимания на девочку, понимали, что бесполезно, а она тайком, уединившись, любила листать разные приключенческие книжки с картинками, которые пристрастилась брать в местной библиотеке.

Девочки ее возраста уже всюю заигрывали с мальчиками. Выбрались из выдаваемой одежды и сами старались покупать себе, что помодней. Катьке, как самой мелкой, доставались их обноски. В свой круг ровесники ее не пускали, а с мальшами она сама не хотела возиться. Взрослея, Катька чаще думала о матери, но еще раньше ее напугали, что если убежит, то ее найдут и посадят в тюрьму. Сейчас она понимала, что обманывали.

За теплые слова, которые Катька как-то слышала в свой адрес, она очень привязалась к директору детдома, молодой женщине Татьяне Николаевне. Но, видимо, у нее тоже было мало времени, и лишь иногда она интересовалась ее успехами в учебе, спрашивала, не обижают ли, и даже ругала воспитателей, когда видела на девочке грязное или рваное платье. Те отговаривались, мол, она сама за собой не следит. Катька как-то хотела сама постирать свою одежду, но кладовщица тетя Анна отобрала мыло, добавив:

- Чего зря переводить добро, оно денег стоит. Всем будем стирать и тебе заодно.

Катька стала понимать, что добрых людей очень мало, и от этого ей становилось очень тоскливо. Однажды длинноногая Лариска, которую звали так за то, что она любила красить глаза и губы еще с третьего класса, проговорила Катьке, что слышала, как директорша кому-то говорила о письмах, которые пишет катькина мать. Вначале девочка не поверила, но потом все же решилась спросить. Татьяна Николаевна сказала, что мама ее еще лечится и только передает привет.

- А тебе, Катя, не говорили, чтобы не бередить тебя. Когда мама вылечится совсем, мы тебе скажем.

Это потом Катька узнала, что в то время ее мать сидела в колонии. Услышав о письме, Катька весь день проплакала, и, пожалев, старшие ребята взяли ее с собой на свою тую-совку. Воспитатели их не гоняли спать - бесполезно, и ребята до полуночи сидели в ве-

ранде с сигаретами, гитарой и вспоминали каждый свой дом.

Сблизившись с ровесниками, Катька как-то вдруг стала озорной и нахальной. Прощли боязнь и стеснение, она перестала слушаться воспитателей, отлынивала от общих уборочных работ, которые должны были выполнять сами дети. Не раз ее заставляли в задымленном туалете с сигаретой. Вначале воспитатели пытались ее устыдить, но она только ухмылялась и огрызалась. Потянулись к ней и старшие парни, она учила их, как лучше насобирать денег на сигареты и пиво. Краснела и терялась Катька только перед Татьяной Николаевной. Что-то в ней было неведомое, чистое и душевное, она могла подобрать нужные слова, приласкать, и дети открывались ей, как нежные лепестки цветов, почувствовав теплые лучи солнца. Им, не познавшим материнской ласки и нежных слов, хотелось простой человеческой теплоты.

Катька не раз давала слово, что все, последний раз курит и грубит, но повторяла и повторяла свои поступки, не задумываясь о последствиях.

- Вся в мать, - услышала она как-то разговор двух воспитателей.

- Чего наша Татьяна ее держит, мать уже отсидела, и пусть бы к ней мотала. Все равно здесь толку от нее нет, только детей баламутит, - говорила первая. А вторая добавила:

- Этих, из соседней группы, и то курить научила, а парни-то ее как слушаются, дураки, бутылки бегают собирают на сигареты.

Катька поняла, что больше здесь не останется. Через неделю она приехала в родной поселок. В детдоме оставила записку, чтобы не искали.

Иссохшую и беззубую, с помятым лицом, дочь не узнала свою мать. Катькина душа просила слез, но слез не было, все давно выплакала. А та шепелявила что-то о жизни, «пережевывая» остаток сигареты. Катька, забывшая, когда мать ее последний раз ласкала, говорила добрые слова, гладила по голове, за эти годы впитала в себя отвращение к жизни, пошлость и человеческий эгоизм. И все же она чувствовала где-то в глубине своего сердца маленький огонек теплоты, но его некому было раздуть, разжечь, чтобы согреть нежностью ее ранимую душу.

Учиться дальше она наотрез отказалась, и комиссия по делам несовершеннолетних, используя свои административные права, устроила девушку работать санитаркой в местную больницу. Денег платили мало, а уборки хватало. После мытья трех-четырех палат Катька по своему усмотрению устраивала для себя перекуры, за которые ей потом доставалось. Скоро вечные придирки старшей медсестры ей надоели, и она, однажды проспав, просто не пошла на работу. Накануне мать и еще два ее собутельника крепко набрались, устроили потасовку. Катька хоть и мала ростом, но, используя свою внутреннюю энергию и накипевшую злость, вытолкала всех, вместе с матерью, на улицу.

Скоро у нее появились подруги, две шестнадцатилетние девицы из соседнего поселка. С учебой, как и с родителями, любившими приложиться к спиртному, у них тоже не ладилось. Подружившись, они стали собираться вместе. Курили, играли в карты, если находили денег, а то и выпивали. Свою мать на это время Катька закрывала в соседней комнате, и она уже боялась выходить, от родной подвыпившей доченьки ей теперь час-тенько доставалось тумачков.

Постепенно компания обрастала парнями, и скоро в соседних поселках знали, где можно отдохнуть с девочками, единственное, что требовалось брать с собой, - вино и закуску. Местные бабы стыдили Катьку и жаловались участковому, мол, развели тут развратный приют. Тот, откликаясь на жалобы, заходил несколько раз и с матюгами разгонял всех по домам, но на этом все и заканчивалось.

Настоящего друга у Катьки не было, нравился ей один Сашка, парень после армии уже, но тот «поматросил и бросил», а к тем, кто к ней сами липли, душа не лежала. Как-то наведаясь в поселок из города деловой парень. Хвалился, что после отсидки, демонстрировал яркие наколки на руках. Девицы, очень нуждавшиеся в деньгах, согласились ему помогать, торговать разными шмотками, которые он с собой привозил и оставлял для продажи. Через две-три недели приезжал уже за деньгами. Иногда что-то из хороших вещей перепадало и Катьке, конечно, не за полную стоимость, а за соответствующую ласку с ее стороны.

К своему восемнадцатилетию Катька готовилась основательно, помогали подруги, запасая вино и закуску. Гулять собирались с размахом, тем более, что торговец обещал подвезти подарки и «клевых корешей». Катька с утра натопила печь, настроение было прекрасное, на всю громкость врубила магнитофон. Еще с вечера она предупредила, чтобы мать назавтра домой не приходила совсем. Стол получился богатый, даже шампанс-

кое было и цветы. Катька надела свой любимый свитер цвета голубой волны с вышитыми цветами и черную удлиненную юбку. Туфли на высоких каблуках ей подарил городской гость еще в прошлом году, в них она уже не казалась очень маленькой ростом. На красив глаза и губы, сама себе очень понравилась.

Парни привезли задорную музыку. Все пили, веселились и танцевали, не жалея сил. Катьку весь вечер тискал совсем не знакомый ей долговязый Каюм, с хриплым голосом и выболевшими ямами от осп на лице. К ночи все изрядно захмелели. Назавтра Катька только помнила, что кто-то громко стучался в дверь. Ей сказали, что какая-то старая бабка ломится. Катька открыла дверь и увидела свою мать. От действия алкоголя она мало что понимала и чисто инстинктивно ударила мать по лицу, а та, оступившись, упала с лестницы.

Утром у крыльца соседи нашли замерзшее тело старой женщины. Врачи определили, что от удара она упала с крыльца, разбила голову и сломала руку. Вначале все думали, что пьяная, но экспертиза показала обратное. Допросив всех участников торжества, следователь сумел восстановить картину вечера. Сознавшись в содеянном, Катька опять сильно плакала, билась в истерике, кричала.

Находясь в одиночной камере и обдумывая свою жизнь, она ненавидела себя, свою судьбу, мать и, целуя нательный крестик, подаренный когда-то бабушкой-соседкой, подолгу молилась Богу.

## СЕРЕГА

*Посвящаю другу детства и юности*

Стояла неожиданно ранняя для севера весна. Серега, шурясь, медленно слез со ступенек вагона на перроне своего вокзала. Родной дом, свежий воздух волновали, сильно щемило сердце. Прохладный, еще не прогретый ветерок шевелил его темные, вьющиеся волосы. Он пытался пригладить их левой рукой, но волосы не слушались. Где-то в кустах звонко чирикали шустрые воробьи, прыгая по сухим веткам.

Ярко, казалось, очень огромное солнце своими лучами слепило. То ли от этого, то ли от ветра, его много видевшие, усталые глаза слезились. Поезд, на котором приехал Серега, дернулся и медленно покатился, монотонно постукивая колесами о рельсы.

- Иди, милой, иди, ждут дома, ждут! - услышал он удаляющийся за спиной голос проводницы, с которой познакомился в дороге.

В ушах еще долго стоял удаляющийся шум, разные мысли путались в голове. Во рту пересохло, хотелось курить. Сигареты у него были, но он ими не накуривался, уже давно привык там к травке. Она снимала и душевную боль, и усталость, и было легко-легко.

- Какой черный дядя! - услышал Серега детский голос.

- Не черный, а загорелый, - молодая женщина тащила за руку маленькую девочку, крутившую головой.

«Загорелый», - вертелось в голове у Сереги. После зимы, а уже загорелый. Он искал глазами скамейку. Прихрамывая, пошел, опираясь левой рукой на самодельную, отполированную до блеска деревянную клюшку.

Ждут ли? Чиркнув зажигалкой, закурил. Прошла уже шестая зима, как его не было тут. Он сначала подумал: дома, на родине, - но вспомнил, что и там осталась его родина, и там он заново родился. Серега гладил рукоятку клюшки в виде головы льва, заботливо выточенную дедом Хасаном из кости.

Докурив, он направился по когда-то знакомой улице в город. Вместо правой руки до локтя и левой ноги до колена у него были хорошо подогнанные протезы, которые особенно не выделялись. Прохожие иногда оглядывались на смутлого парня в костюме защитного цвета с палочкой в руке и небольшим рюкзаком за спиной. Правая половина его лица была когда-то сильно изорвана осколком, и от этого кожа на ней была бугристой, местами с розовыми оттенками от заживших шрамов. Никто не узнает, решил про себя Серега. А когда-то было много друзей, знакомых, обязательно с кем-нибудь здоровался.

Он шел по родным улицам маленького карельского городка, затерявшегося в лесном озерном краю, где окончил школу, дружил, любил и даже чуть было не женился на веселой и красивой девчонке из параллельного класса, которая во многом понимала его. Се-



рега помнил ее имя, помнил ее озорную, беззаботную, очень добрую и красивую, но сейчас он старался отдалить от себя нахлынувшие воспоминания, не теревить и без того исстрадавшуюся душу. Его мать ее тоже любила, надеялась, что дождет сына из армии, и как люди... А он знал, что там, в Афганистане, убивают, но не думал, что придется и самому. Часто вспоминал те несколько писем, которые успел получить из дома и от нее - любимой девушки.

«Береги себя, Сереженька, не переживай», - писала мать. Конечно, он не рассказывал, что стреляют, что страшно и хочется домой. Сейчас ему вдруг вспомнился дед Хасан, его морщинистое усталое лицо, маленькие, почти бесцветные - выгоревшие от солнца глаза и сухие руки. Он вспомнил минуты прощания и слезы, которых никогда раньше не видел на щеках деда.

Серега шел по центральной площади городка и не все узнавал. Почему-то не было памятника Ленину, возле него всегда принимали в пионеры и в комсомол. От этого площадь казалась какой-то пустой, сжатой серыми пятиэтажками, и теперь по ней, когда-то пешеходной, ездили автомобили.

Сколько лет не писал. В посольстве, откуда его переправляли домой, сказали, что в списках розыска Союза ветеранов он числился как пропавший без вести во время боевых действий.

- Тебе, парень, просто повезло, что тебя нашли, - сказал один из представителей. - Забрался в горный аул и сидишь там. Редкий случай, что одна из автомашин с сотрудниками миссии ООН сломалась на горном перевале.

Серега помнил, как дед Хасан привел в аул за водой человека в камуфляжной форме, знавшего русский. Уже через несколько дней за ним приехали, чтобы забрать совсем. Как он прожил эти дни, эти ночи? В мысленных мучениях, терзаниях души. Много курил, забывался, снова курил. Наркотик действовал облегчающе, и он успокаивался, свыкся, сжился с этим миром, с верой и с Аллахом, наконец, поскольку большую часть своей сознательной жизни он прожил там. Его бы убили тогда, сразу после тяжелого боя, но не нашли, да и что он из себя представлял. Без руки, без ноги, весь в крови, потерявший сознание валяясь в расщелине скалы. Нашел его случайно старик-пастух из высокогорного аула. Услышал стон и выгасил, приволок к себе в пастушью хижину. «Духов» уже успели загнать за перевал и войска спустились в равнину. Потом, позже Серега понял, что выхаживал его старик долго - несколько месяцев своими знахарскими методами, лечебными травами. А когда вернулись силы, была мысль выбраться на равнину, чтобы бежать, да только куда такому инвалиду. Ноги нет по колено, руки почти по локоть, да и свои уже ушли далеко. С горы самому не спуститься, слишком высоко и круто, а дальше куда, до ближайшего крупного селения почти полста километров. Постепенно язык старика стал понимать, тот сам боялся своих с оружием, прятал русского солдата. Так и остался. Вначале верил: найдут, ждал, но дни уходили и уходили, и надежды на встречу с родным домом постепенно таяли.

Серега свернул на тихую, заросшую пока еще голыми деревьями улицу. Здесь когда-то жил его друг и одноклассник Санька. К родителям не мог идти, боялся встречи, трясло.

- Санька-то уж должен узнать, - вертелось в голове. - Все детство вместе. Расспрошу о родителях и вообще...

В посольстве и потом, когда проверяли, хотели сообщить домой, но Серега уговорил, упросил не сообщать, и с ним согласились - дали соответствующее письмо в местный военкомат. «А может, сообщили? - вкралось сомнение. - Нет, встретили бы».

Медленно дошел, кажется, этот двор. Остановился и долго смотрел на покосившиеся недалеко сараи. Вспомнил - играли в детстве там с пацанами в войну. Сердце учащенно стучало и буквально выпрыгивало из груди. Из подъезда вышла незнакомая девушка. Спросил. Живут. Третий этаж. Еле поднялся, на площадке быстро несколько раз затянулся сигаретой. Дверь открыла пожилая женщина - мать Саньки. Не узнала. Санька теперь тут не живет. Пришла мысль назвать себя. Она пошатнулась и со стоном вдруг повалилась на пол. На шум выбежал санькин отец. Наклонился к жене, потом поднял глаза и внимательно посмотрел на гостя. Обнялись. Сергей не мог сдержаться, слезы сами текли из глаз. Сидели за столом на кухне. Мать постепенно успокоилась и позвонила Саньке, попросила приехать. Накапала себе сердечных капель. Отца Саньки почему-то всего сильно трясло. Хотел выпить водки, но не смог, ушел в другую комнату. Серега вышел, слезы постепенно высохли. В доме наступила тишина, только мать всхлипывала

где-то в соседней комнате.

Тягостно тянулись минуты ожидания. Вздрыгнул от звука открывающихся дверей. Голос мужской, незнакомый: «Что случилось?» У Сереги опять вышибло слезы. В горле запершило. Санька зашел на кухню. Серега встал. Смотрели друг на друга долго, глаза в глаза. Поняли друг друга без слов. Обнялись крепко. Серега - одной рукой. Санька потрепал волосы друга.

- Дома был? - Серега молчал. - Понятно.

Санька куда-то позвонил. Вызвал машину. Достал два стакана. Налил из холодильника водки. Выпили залпом, без слов. Закурили. Санька молчал. «Значит, худо дело, - подумал Серега. - Что-то тут не так». Наконец Санька улыбнулся.

- Молодец, что выжил! - похлопал друга по плечу.

- Слава Аллаху! Богу! - мысли путались в голове. На вопрос Саньки «ты здоров?» - утвердительно помотал головой.

- Поехали на наше место, к школе, - Санька встал, приподнял Серегу под левую руку. Помог спуститься.

Новые улицы и дома не узнавал. Вспомнил, что школа была на берегу канала, у шлюзов. Угадывая мысли, Санька предупредил:

- Школа третий год новая, нашу старую деревянную сломали.

У Сереги от волнения вдруг сильно закружилась голова, мысли расплывались. Их встретил высокий каменистый берег. Школа из белого кирпича, два этажа. Асфальтовая дорожка - спуск к каналу, к воде. Санька слегка поддержал Серегу. Подошли к асфальтированной площадке со скамейкой и небольшому памятнику из розового гранита в виде сердца и выбивающегося из него огня, рядом на земле уложена плита из белого мрамора с выбитыми надписями. Сели. Молча закурили. Солнце большое, очень яркое, слепит. Санька глубоко вздохнул.

- Ты чего? - Серега перевел взгляд на надписи. Прочитал: «Бывшим ученикам... погибшим», - и две фамилии. Не понял, еще не дошло до сознания. Фамилия, конечно же, - это его, Сереги, фамилия. Посмотрел на Саньку. Сбежались ребята из школы, с удивлением глядят, как два дяди, обнимаясь, плачут.

- Как же так? - вздрагивало вдруг ставшее беспомощным тело Сереги.

- Давно, уже пять лет, Сережа, - Санька сбивает пепел с сигареты, быстро смахивает с глаз накотившиеся слезинки.

- Прости!

Сереге почему-то вдруг стало плохо. Воздуха не хватало. Задыхался. По просьбе Саньки мальчишки бегом принесли стакан воды.

- Мама жива? - вырвалось у Сереги, он мутными глазами взглянул на каменные силуэты памятника.

- Да, мать еще работает, отец плох. Сильно переживает. Искал тебя, писал везде, - Санька положил руку на плечо друга. - Все будет нормально! Главное, ты живой!

- Не могу я так, понимаешь! Кому я такой нужен? Лучше бы там умереть.

- Да ты что! - Санька потряс Серегу. - Перестань! Крепись, мужик же! Теперь тебе только жить и жить. Сын ведь у тебя, знаешь хоть?

- Ты что? Как сын!

Санька улыбнулся.

- А ты говоришь, зачем жить! Да мы еще поживем, повоюем!

Серега оторопел.

- Откуда сын, когда? Говори!

- Да успокойся ты, наконец! - Санька встал, закурил. - Совсем, видно, там голову потерял, память отшибло! - посмотрел на воду, по которой проплывала самоходная баржа-сухогруз. - Серега, ты поверь, я берег ее для тебя. Ждали тебя, долго ждали, - Санька сильно занервничал. Скомкал сигарету и выбросил. - Она беременная была, от тебя. Не хотела тебе писать об этом, боялась. Думала, потом, - снова закурил. - Ты пропал, совсем пропал. Не писал, а она рыдала, жить без тебя не хотела. Еле отводились. Мать твоя помогла. Сам знаешь, понимали они друг друга.

У Сереги пересохло в горле. Ему казалось, что это сон, что он там, в горах, забылся и спит. У него много раз так бывало, когда его успокаивал старик, давал травки, и он засыпал. Санька присел на корточки перед Серегой и посмотрел ему в глаза.

- Ты же знаешь, я ее сильно любил. Потом была телеграмма, что ты в бою... - Санька замолчал. - Поверь, Серега, я хотел как лучше. Она же, ей тяжело одной воспитывать, -

Санька путался в словах. Сильно переживал. Нервничал. - Мать твою не против была. Ты же все знаешь! Все понимаешь!

Санька за грудки сильно потряс бесчувственное тело друга. Сереге вдруг стало легко и хорошо. Он еще не знал, отчего, но постепенно в его сознание входило слово «дом», «сын».

- Дай сигарету и успокойся. Я же, Санька, знаю тебя вот с таких, - и он указал на маленьких мальчишек, стоявших на берегу. - Как зовут сына?

- В честь тебя назвали. Она сама так захотела.

- Усыновил? - Серега с напряжением посмотрел на Саньку. В нем вдруг проснулось неведомое ранее чувство любви. К сердцу вернулось тепло и счастье.

- Он весь твой и знает тебя по фотографиям.

- Уеду я!

- Я тебе уеду! - и Санька рассмеялся.

- Теперь у тебя есть забота. Будешь растить сына, и, поверь, все изменится. - Санька крепко сжал руку Сереги. - Ты, главное, крепись, окупись в жизнь и смотри дальше своих печалей. Ребята-одноклассники почти все тут, поможем.

Легкий ветерок слегка освежал и теребил водную гладь канала. От яркости солнца и неба воздух казался густым и отдавал голубиной. Серега глубоко вздохнул, и воздух родных мест, попавший в его осиротевшее тело, разливался сердечной теплотой. Голова наполнялась свежестью. И теперь он чувствовал, что преследовавший его все эти годы страх перед жизнью, ощущение ненужности постепенно исчезают.

- А ты, а вы? Как дальше? Рушить вашу жизнь не могу!

- Серега, успокойся. Все будет в порядке, - Санька тоже нервничал. - Я не сказал, у нас дочь. Три года уже. Хорошенькая девчушка.

У Сереги стало жечь в груди, и сердце будто сдавило тисками. На висках выступил пот.

- Давай пойдем сейчас к нам, тут недалеко, и там все решим.

Санька встал и подал руку. Серега чувствовал, что он не может идти, что тело не слушается его мыслей. Слишком тяжелым был для него этот день.

- Дай мне побыть одному. Успокоюсь, потом.

- Тебе нехорошо? - Санька посмотрел в его глаза. Они были мутными и печальными.

- Ладно, тогда посиди, успокойся, а я сейчас, - оглянувшись, он улыбнулся и помахал рукой в знак приветствия. - Я скоро! - Серега услышал вскрик друга. Тот быстрыми шагами удалялся в сторону жилых домов.

Санька торопился, чувствовал, что Сереге сейчас очень плохо, и не знал, как вывести его из стресса в нормальное состояние. Для себя решил привести жену с сыном, пообщается, может, тогда и сердце отойдет, легче станет. У него тоже перепутались мысли: что же будет дальше, как жена воспримет эту новость? Ему почему-то казалось, что она все еще любит Серегу, помнит его. Иной раз, когда она забывалась, особенно в первые годы совместной жизни, называла Саньку не его именем. Но почему-то на душе у Саньки было спокойно, он верил, что все будет нормально, жизнь наладится.

У подъезда с ребятами бегал маленький Сережка. Санька хотел его окликнуть, но решил потом. Задышавшись от сильного волнения, забежал на свой этаж. От неожиданной новости жена побледнела, выронила что-то стеклянное из рук и медленно сползла на табурет. Долго не могла ничего сказать. Санька видел, как задрожали ее губы, и крупные слезинки покатались из глаз. Так они и сидели молча, словно застывшие на несколько минут.

- Где сын? Позови скорей! - она вдруг резко встала и побежала в комнату, на ходу снимая фартук. Санька вскочил и кинулся на балкон, крикнул мальчонку, тот нехотя оторвался от игры с товарищами и медленно поплелся домой.

Сильно жгло где-то в груди. Серега чувствовал, что задыхается, пот лил градом по его ослабшему телу. Попробовал закурить, но пальцы отказывались держать сигарету, руки тряслись. Он попытался встать, подойти поближе к памятнику и поправить цветы, но не смог. Рука соскользнула с клюшки, безвольно шлепнулась о скамейку.

В вышине над причалом громко кричали чайки, обдуваемые легким ветерком. Весеннее солнце жарко палило землю. Вдалеке из-за домов показались бегущие фигуры молодой женщины с развевающимися волосами и мальчишки в белой шапочке, который что-то кричал, и его детский крик перемешивался с дерзким с криком чаек над водой. Но Серега его уже не слышал.

Витас НОВОСЕЛОВ

## ТИХИЙ АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

Рассказ гадалки

*Прим. ред.* В №8 ВЛ опубликован роман Витаса Новоселова «Арбатский хиромант». Главные герои произведения - хиромант Ардальон и гадалка Виктория, время действия - незабываемые девяностые. По независящим от редакции обстоятельствам одна из глав романа (№34 в последней редакции) оказалась за рамками номера. Предлагаем ее вниманию читателей.

Дама была в зеленом, искусно драпированном платье из травленого бархата, которое ей шло и молодило ее. Но спущенные на лоб негустые крашенные волосы... Косынка, утонченно-небрежно повязанная на шее... Увы, возраст! И «любит - не любит»? Все та же неутолимая жажда, опять африканские страсти. Виктория, однако, давно уже привыкла общаться с подобными особами, это ее хлеб.

Клиентка представилась Клеопатрой Павловной, осмотрелась в комнате, удобно устроилась в кресле и поведала о себе. Полковник милиции, одинокая и бездетная жительница столицы участвовала в региональном совещании. Под заезженные излияния с трибуны она занялась своим любимым развлечением следователя, физиономистикой, и выделила одного из сидящих в зале. На усатом золотисто-смуглом лице проступала бледность, создававшая своеобразное впечатление одухотворенности и характерная для людей, что трудятся очень ревностно.

Клеопатра Павловна уважает таких офицеров, независимо от их звания. Улучив момент, она просигналила ему ресницами. «А «реснички»-то у тебя будь здоров, как занавес в театре», - мысленно усмехнулась Виктория. Капитан ответил полковнику улыбкой и в кулуарах, как миленький, приклеился к нему. Они познакомились. Оказалось, что Олег тянет лямку в исправительной колонии, которая в дальнем Подмосковье.

После перерыва сели в последнем ряду, разговорились. И Клеопатра Павловна убедилась, что ее новый знакомый действительно служит не за страх, а за совесть, к тому же имеет увлечения для души. Тщеславное любопытство физиономистки было удовлетворено. Серые дни совещания проскользнули незаметно: капитан понравился полковнику.

Мероприятие закончилось, офицеры разъехались, а Олег стал напоминать о себе телефонными звонками. Внутренний контроль дал о нем формальную информацию - на то она и служебная. Женщина металась, пока не осенилась идеей погадать.

Виктория шикарно раскинула карты. Клиентка истово приготовилась слушать. А предмет их разговора оказался сомнительным: несколько жен, много детей и отношения с женщинами не самые искренние.

- Это неправда, - уверенно возразила дама, - у него одна жена, причем нелюбимая, и только один ребенок... Мой суженый звонит мне почти каждый день, ждет в гости.

В общем, Клеопатра Павловна гадалке нравилась: живчик. Но какая самоуверенность! Уже «мой суженый»! У Виктории правило - не обижаться на клиентов, а тут она почувствовала себя несколько уязвленной.

- Хорошо, хорошо, съездите к своему суженому.

...Через какое-то время в прихожей вновь грянул звонок. Вошла Клеопатра Павловна, в строгом темно-сером костюме, цветущая и обновленная, как будто вернулась из блистательного турне.

- Виктория! Вы были в чем-то правы, но не в главном...

«Неужели карты обманули меня?..» - поехала гадалка. Сняв жакет, клиентка элегантно свернулась в кресле и продолжила повествование о своих амурных делах.

Посидев на яблочной диете по Семеновой, Клеопатра Павловна взяла десять дней за счет отпуска и сняла мундир. Научное голодание сделало свое дело: появилась необычайная легкость в теле, готовая перейти в парение души.

Олег встретил долгожданную гостью у вагона цветами и разместил в квартире приятеля, который уехал в дом отдыха. Вечером он навестил ее, на вторые сутки тоже. А на третьи - раздался телефонный звонок, и благородно отдыхающая мадам полковник услышала взволнованный женский голос:

- Ты опять за свое, сучка! Ты о чем говорила последний раз? У нас все кончено, он мне не нужен, даю слово... Говорила?!

- Вы некорректны в выражениях.

- Чего-чего?

- Извините, вы перепутали номер телефона.

- Я перепутала? Это еще посмотреть надо, кто чего перепутал! А ты где научилась извиняться? Тонька?!

- Меня зовут Клеопатра Павловна. А вас?

Трубка помолчала.

- Откуда ты взялась, Клеопатра? - слегка смягчился голос.

- Приехала в гости.

- Но почему ты в тонькиной квартире?

- Это жилище товарища Олега Гордеевича. Он сейчас в отъезде.

- Ах, вот что... Значит, отдыхаешь в доме закадычного друга?.. Как тебе повезло! Занятно... Слушай меня, Клепа. Я - жена Олега Гордеевича. Будем знакомы - Евдокия. Слушай! Не хочешь неприятностей - приезжай, поговорим по-хорошему. Пиши адрес.

Клеопатру Павловну встретила рослая, полногрудая женщина с копной рыжих волос и пытливым, настороженным взглядом. Ее приветствие прозвучало своеобразно: «Здравствуй, здравствуй! Значит, ты новая и притом старая?..» Но последовало приглашение к столу. За чаем Евдокия рассказала, что у Олега три законные жены: две бывшие и она, настоящая. Первая имеет дочку, вторая - двух сыновей, а лично она от него не имеет: умная. Хозяйка дома производила впечатление грубоватой и добродушной тетки.

Из соседней комнаты вышел худенький паренек с утомленными, часто мигающими глазами.

- Чаю, сынок? Или поешь?

Парень, не отвечая, бросил в стакан столовую ложку кофе, плеснул кипятка, шагнул к двери.

- А сахар, Стасик? Давай сахару положу... Увлеченный, - вздохнула Евдокия, - от компьютера не встает. К нему взрослые идут за помощью, - опять вздохнула, - закончит школу, на какие шиши учиться дальше?.. Я контролер в колонии. Олег тратит деньги на пусьтки. Без забав не может, как ребенок...

Стасик нервно передернул плечами и вышел.

Вернулся со службы капитан. Супруга встретила его тяжелым взглядом. При виде Клеопатры Павловны он замер, черные глаза широко раскрылись, холеные усы вздернулись, но бывалый мужчина тут же взял себя в руки и приветливо улыбнулся. Паузу прервала жена:

- Снова шляешься к Тоньке?

Олег не смутился:

- Ах, оставь эти пошлости!.. Подобный разговор не для солидной гостьи. Клеопатра Павловна из Москвы, из управления, оказывает нашему учреждению бесценную помощь. У нас деловые отношения...

Вскоре на столе появилась бутылочка с красивой этикеткой и состоялся примирительный ужин, в разгар которого Клеопатра Павловна стала читать стихи своих любимых «Марины и Анны»:

*Мы с тобою лишь два отголоска:*

*Ты затихнул, и я замолчу.*

*Мы когда-то с покорностью воска*

*Отдались роковому лучу...*

*...Но звезды синеют, но иней пушист,  
И каждая встреча чудесней, -  
А в Библии красный кленовый лист  
Заложен на Песни Песней...*

Декламировала столичная дама с чувством, но вразбивку. Сказалось предшествовавшее нервное напряжение: могла ли она предвидеть все случившееся!

*Я гибель накликала милым,  
И гибли один за другим.  
О, горе мне! Эти могилы  
Предсказаны словом моим...*

Похоже, в этом доме дух высокой поэзии царил «не так уж часто». Капитан и его жена притихли. Но в их лицах Клеопатра Павловна уловила не отчуждение, а интерес и отклик. Олег забыл тереть усы, смотрел на нее восторженно, не отрываясь. А в глазах Евдокии - растерянность и боль. Она перестала суетиться вокруг стола и переводила взгляд с гостя на мужа, с мужа на гостя. Все это ухватила чтица. Олег поднял ей настроение, она приосанилась, а взгляд Евдокии смугил. И Клеопатра Павловна решила закончить выступление:

*И время прочь, и пространство прочь,  
Я все разглядела сквозь белую ночь:  
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,  
И сигары синий дымок,  
И то зеркало...*

Олег тактично кашлянул в кулак. Все посмотрели на часы и обнаружили, что время к полночи. Хозяин предложил Клеопатре Павловне заночевать. Хозяйка, словно околдованная, поддержала его. Ох, уж эта общность женских судеб: во всем виноваты мужики!..

Субботним утром, когда Олег уехал на дежурство, Евдокия предупредила Клеопатру Павловну, что жить у Тоньки опасно: «А вдруг вернется досрочно?.. Да она вырвет вам челку и удавит вашей же косынкой!..» Бесстрашная мадам полковник ответила, что у нее отпуск, поэтому возвращаться домой пока не собирается, хотя про себя решила переселиться в гостиницу. Делать этого не хотелось: многолюдство, шум, от таких прелестей устала в столице.

Клеопатра Павловна с тревогой поймала себя на том, что совершает поступки, на которые совсем недавно не решилась бы и во сне: визит к гадалке, поездка к мужчине, проживание в сомнительной квартире... Потерять голову после стольких лет воистину безупречной службы?.. Неужели действительно влюбилась?!

Дамы поболтали еще. И Клеопатра Павловна, уже прощаясь, неуверенно спросила, не покажет ли ей кто-нибудь здешние места:

- У вас я заметила старинные здания, церкви. Город, наверно, купеческий?.. Они много строили «от избытков капитала». Люблю смотреть такое!

Хозяйка быстро сориентировалась:

- Я не смогу: занята... Обратитесь-ка к бывшим женам Олега! Живут они неважно, но отношения с ними у меня нормальные.

Евдокия начертала адреса собственноручно. И Клеопатра Павловна отправилась с визитами. (Что она замечала увидеть там или какой стих нашел на нее, гадалке рассказывать не стала.)

В квартире первой жены дверной звонок не работал. На стук открыла субтильная белокурая женщина. Клеопатра Павловна представилась и вкратце объяснила: у нее отпуск, приехала отдохнуть к Евдокии, но та занята, и некому показать город. «Заходите, - пригласила хозяйка, - меня зовут Татьяна Тимофеевна, по городу водить не смогу, а здесь не заскучаете». В прихожей свет не горел. Открыли дверь в ванную, зажгли там лампочку, и стало возможно раздеться не наощупь.

Вошли в небольшую комнату. Посередине - круглый стол. Вокруг него со звонким

лаем бегала белая собачка, делая выпады в сторону гостя. Повсюду в привольных позах расположились кошки. На диване сидела темноволосая девушка лет пятнадцати-шестнадцати с раскрытым альбомом. «Я тут говорю Анфисе: человек защитит себя может, а животное нет, - продолжила Татьяна Тимофеевна прерванный разговор. - Присаживайтесь, а я на кухню». Она успокоила Белку, перепоручила ее дочери и вышла.

На одной стене висят этюды дочери в бумажных рамках, на другой - полки с книгами. Вместо оконных штор - чистые простыни с большими заплатами. Форточка открыта: свободный выход кошкам на балкон. В углу на маленьком столике старенький электропроигрыватель, а деревянный ящик звукоусилителя пристроен на верхней полке. Между ними провис электрический шнур.

Девушка коротко взглядывала на кошек и углублялась в альбом.

- Можно посмотреть, Анфиса?

Животные, исполненные цветными карандашами, были довольно выразительны.

- А красками пробовала?

- Они дороги, - художница от смущения уронила карандаш.

Вернулась Татьяна Тимофеевна с кастрюлей в руках. Черная, без единого светлого пятнышка кошка пружинисто прыгнула на стол. Сели обедать. Животное не шелохнулось.

- Вы уж извините, Клеопатра Павловна! Багира трапезничает с нами, такая традиция... Кушайте, пожалуйста, суп... Чем богаты...

Хозяйка отлучилась на кухню, и в тот же момент кошка выудила из ее тарелки кусочек мяса.

- Хулиганка! - проворчала вернувшаяся Татьяна Тимофеевна. - Ведь и так кормлю, нет - все равно... Что люди, то и кошки! Да вы не волнуйтесь, Клеопатра Павловна, она удит только у меня.

Багира прищурила желто-зеленые глаза и от души зевнула: опять нравоучения! Понохав выуженный кусочек, она начала есть, всем своим видом показывая, что делать это не хочет, но надо.

На столе появился серебристый чайник. Клеопатра Павловна достала из сумочки угощение. Оно было с благодарностью принято. В руках Татьяны Тимофеевны зашуршали обертки. Собачонка вскочила, завиляла хвостом, тявкнула. «Белочка у нас сладкоежка!» И шоколадные конфеты - «Мишка на Севере», «Красная Шапочка», «Ну-ка, отними!» - одна за другой полетели в пасть прыгающей, как мячик, попрошайки.

- Обратите внимание, Клеопатра Павловна, у каждого животного свои повадки. Видите серую кошечку?.. Чем ни угостишь - сперва потрется о тебя с мурлыканьем, потом уже ест. Интеллигентка! Ее я подарю одинокой даме. А полосатого Тигрика устрою к бездетным супругам. Наши здесь Белка да Багира, остальные живут временно. Подбираем исхудавших, грязных. Кормим, лечим. Но когда они заиграют - это восторг!

Полосатому коту, видимо, надоело валяться на диване, и он решил прогуляться по книжным полкам. Озорник, играя, зацепился когтями за провисший электрический шнур и стал его дергать. Ящик звукоусилителя, к восторгу Татьяны Тимофеевны, с грохотом полетел с верхней полки. Кот метнулся в форточку. Но звукоусилитель упал на мягкую спинку кресла и не разбился. Его водрузили на прежнее место. Хозяйка дома положила на диск проигрывателя черную пластинку с записью полувековой давности. Из туманного прошлого зазвучали «Валенки» в исполнении незабвенной Лидии Руслановой, с шумовым сопровождением - почти забытым за давностью лет шуршанием иголки.

Татьяна Тимофеевна мечтала стать художницей, да не получилось, пишет афиши в доме культуры, а все свободное время отдает Обществу защиты животных.

- Анфиса, может, анималисткой станет. Не знаю, что получится... И у меня есть большая задумка, - хозяйка дома загадочно помолчала, - чтобы в центре города, на рекламном табло замелькала цветная фотография собаки и кошки с надписью «Помогите нам, люди!»

О муже Татьяна Тимофеевна вспомнила, когда объясняла новой знакомой, почему не стала художницей:

- У меня были данные... Так зачем-то выскочила замуж, едва окончила школу. За лейтенантика, такого же незрелого... Любовь с первого взгляда! Он был мастер на все руки, от спорта до музыки, но без царя в голове. Ему бы жену-поводыря, а мне восемнадцать лет... Разошлись. Дочке было два года.

- Ой, как вам досталось! - вырвалось у Клеопатры Павловны.

- Да, хватила горя. Тут было не до учебы... Стараюсь не вспоминать: зачем берeditь

старую рану! Потом нас с Анфисой стали поддерживать животные. Теперь не представляю, как без них... Не удивляйтесь. Лучше послушайте, как мы с Анфисой иногда выхаживаем котеночка. Реанимация на дому! Он умирает от истощения: не открывает глаз, не двигается, не может лакать. Но сердечко-то бьется - чувствую рукой! Анфиса держит его мордочкой кверху. Я направляю в крошечную пасть струйку теплого молока из шприца. У нас инструкция... И если он сделает глоток - это надо уловить! - значит, можно спасти!.. Зато через неделю начинает лакать, через месяц - играть.

- А как расстается с ними Анфиса? - поинтересовалась тронутая рассказом Клеопатра Павловна.

- Бывает, всплакнет... А вообще-то ей грустить некогда! Одно устраиваем - другой находится. Анфиса изучает их повадки и пишет, пишет.

«Живут скудно, но интересно. Вокруг столько живых существ! Куда бы они без этих добрых людей...» - благостно размышляла посетительница, покидая «странноприимный дом».

На следующий день она едва не разминулась со второй женой Олега. Когда на звонок открылась дверь, Клеопатра Павловна увидела в прихожей молодую женщину и двух подростков, один в черном фраке с галстуком-бабочкой, другой в сером сюртуке со стоячим воротником. Дама и мальчики смотрели вопросительно. Пришлица объяснилась: она в гостях у Евдокии, но... И услышала: «Так поедете с нами, увидите самое интересное! Я Жанна Николаевна, это мои сыновья Ричард и Казимир, учатся в театральной студии». Юные артисты галантно расшаркались.

В автобусе женщины сели. А братья, как и положено джентльменам, встали рядом. Жанна Николаевна пояснила, что едут они в пригородный монастырь, к могиле поэта девятнадцатого века: «Сегодня у него день рождения, будут чтения...» Казимир добавил с пылом, что только ранняя гибель на войне помешала их земляку обрести всероссийское имя. Мать посмотрела на него так, что он отступил за спину старшего брата.

Складные, белолицые, с густыми, волнистыми волосами мальчики привлекали внимание пассажиров и внешностью, и необычной одеждой. «Ричард лицом в мать, Казимир в отца, костюмы из театральной студии, а обуви там нет: на обоих старые кроссовки...» - сделала вывод Клеопатра Павловна.

Жанне Николаевне не терпелось поведать о своем:

- Мой отчим Ричард Казимирович был офицером Войска Польского, комендантом Варшавы, правда недолго... Его вызвали в Москву, на родину больше не отпустили. Там и встретила его моя мама - коса русая, беретик беленький... Отчим воспитывал меня по-своему. Лохматые псы! Ричард Казимирович их очень любил. Роскошно иллюстрированные книги! И муштра... А гены-то у меня от Николая, они бунтовали. Отец погиб в шахте. Но в целом отчим был хорошим человеком. Я и предложила назвать сыновей в его честь. Даже не ожидала, что муж так легко согласится.

Женщина вдруг замолчала, серые глаза потемнели, видимо, что-то недоброе вспомнила о бывшем благоверном. И тут же спохватилась:

- После развода работала инженером, строила дороги. А сегодня мою полы в торговой фирме...

В голосе прозвучала горечь. Клеопатра Павловна посочувствовала:

- Представляю, это не просто: с дипломом инженера мыть полы. Да и физические нагрузки...

- К ним привыкла. Но люди... Хозяин добрый, а жена... Недавно она разложила липучку для грызунов. Попалась мышшь. Запищала! Я не выдержала - отлепила ее. И в это время входит хозяйка. Как она ругала меня! Но ведь мышку жалко...

Жанна Николаевна - натура художественная, слушать ее было интересно, не надо в цирк ходить, всех живописно изображала: и собак отчима, и мышшь! Клеопатра Павловна представила себя и свою спутницу со стороны.

Она не первой молодости, но высокая, стройная, с безупречной фигурой, и жемчуга на шее натуральные. Голубое платье облегающего покроя украшено узором из ярких цветов. Под рукой бедного портняжки Версаче холодный шелк ожил и покоряет элегантностью. Полковник милиции была единственной дочерью известных рязанских стоматологов; доставшиеся по наследству коллекция драгоценностей и семейный гардероб до сих пор выручают ее.

У Жанны Николаевны каштановые волосы уложены короной, красивое лицо с нервным румянцем, в глазах интерес к жизни, но как одета - джинсовое платье-балахон



грязновато-синего цвета! И ни одного украшения. На дорогие - нет денег. Носить бижутерию, видимо, стесняется. Она же инженер! Клеопатре Павловне стало жаль Жанну Николаевну, которая еще молода и хороша собой.

Ричард и Казимир, держась за поручень, оживленно переговаривались. Клеопатра Павловна неожиданно для себя дала попутчице совет:

- Жанночка, почему не выходите замуж? Вы артистичны, сохранили детскость. Мужчины млеют от таких, как вы.

Та не смутилась, а скорее загрустила.

- А как же мои мальчишки?.. Полюбят ли они отчима?.. Вы не смотрите, что сейчас они белые и пушистые. Если ко мне заходит мужчина, их не узнать. Шерсть дыбом не встает, как у собак покойного Ричарда Казимировича, - Жанна Николаевна сдержанно улыбнулась, - но злятся, того и гляди подерутся... А вдруг отчим начнет обижать пасынков?..

- В таких, как вы, влюбляются солидные мужчины, которые устали от серьезных дел. Например, профессора, генералы... Годы идут быстрее и быстрее! А вы, наверно, все сидите дома...

- Одной, конечно, очень трудно. Но мальчишки подрастают... А у вас, Клеопатра Павловна, видимо, нет своих детей... Извините!

- Простите меня за порыв, Жанна Николаевна! Я действительно одинока.

Подъехали к белокаменному монастырю с высокими башнями, некогда бывшему крепостью. Погуляли по берегу неширокой реки. И с группой горожан прошли внутрь, где чисто и ходят монахи - всё как в Европе. У часовенки, в тени вяза стоит серого мрамора памятник с барельефом. Начались юбилейные чтения.

Вот и сыновья Жанны Николаевны поднялись на расколотую, поросшую зеленым мхом плиту у оградки. Стали, чередуясь, декламировать стихи пиита-земляка:

*Как я люблю, товарищ мой,  
Весны роскошной появленье  
И в первый раз над муравой  
Веселых жаворонков пенье.*

*Но слаще мне среди полей  
Увидеть первые биваки  
И ждать беспечно у огня  
С рассветом дня кровавой драки...*

*...Ах! Небо чуждое не лечит сердца ран!  
Напрасно я скитался  
Из края в край и грозный океан  
За мной роптал и волновался...*

*(Стихи К.Батюшкова, который не является прототипом героя.)*

Казимир неожиданно замолчал. Слушатели вокруг заволновались. Но Ричард под сказал, все заулыбались, захопала. Незадачливый вития закончил стихотворение и на подъеме прочел еще одно. Ратник-поэт, так и не обретший всероссийской известности, остался бы доволен. А на обувь юных артистов в черном фраке и сером сюртуке никто не обратил внимания.

За делами и суматохой, которую создала Клеопатра Павловна, чуть не забыли о дне приезда Тоньки. Когда вспомнили, то оказалось, что она пожалует завтра. А мадам полковник так и не переселилась в гостиницу, все поливала цветочки в тонькиной квартире, но наконец-то заспешила домой. Дрогнул даже «боевой капитан».

Проводить столичную гостью на железнодорожный вокзал прибыла пестрая компания: мужчина в офицерской форме, три женщины и четверо детей. Накануне Клеопатра Павловна обула юношей-чтецов в итальянские модельные туфли от «Паоло Конте», художнице Анфисе подарила коробку акварельных красок и вручила энную сумму ее матери «на большую задумку».

Проходившие по перрону дамы задерживали взгляды на Олеге. Подогнанный по стройной фигуре зеленый мундир, пышные черные усы, чуть виноватые глаза с блеском

и сдержанное покашливание в кулак, видимо, от смущения - все производило впечатление. Только капитанские погоны не соответствовали побелевшим вискам, но это замечали разве что мужчины. Клеопатра Павловна понимала, что внимание жен и детей обращено на нее, и по привычке физиономистки пыталась разобраться, о чем они думают.

Татьяна Тимофеевна светится от счастья. Видимо, уже представляет, как градоначальник, увидев «говорящее табло» с собакой и кошкой, расчувствуется, уронит крупную слезу и отдаст распоряжение заместителю - изыскать средства на приют для бродячей животины. Будет борьба с консерватизмом чиновников, но Татьяна Тимофеевна к ней всегда готова. Чудо-дом построят. И смягчатся нравы местного народа... «Откуда у этой маленькой, тщедушной женщины с добрыми голубыми глазами столько энергии, такие нешуточные планы!»

Жанна Николаевна смотрит на Клеопатру Павловну с любопытством. Никто, конечно, не сказал ей, к кому на самом деле приезжала дама-дарительница. Но молодая женщина проникательна, как большинство артистических натур. Сейчас она, наверно, думает: «У Дуняши таких приятельниц не бывало сроду. У нестареющего ловеласа смущенный вид. Уж не кандидатка ли это на роль четвертой жены?.. Но почему тогда весела и беспечна Евдокия?!»

А та, с ее статью, играючи управилась с вещами дорогой гостьи, не затрудняя мужа. За истекшие дни они стали чуть ли не подругами: Клеопатра Павловна дала Евдокии слово офицера, что если Стасик поступит на факультет программирования, то найдет у нее бесплатный кров.

Чувствуя себя общей мамой, она купалась в волнах любви провожающих, просила их не скучать и обещала приехать вновь, аж на тридцать пять дней - весь оставшийся отпуск ветерана. (Она уже приготовилась распрощаться с половиной семейных драгоценностей и абсолютно не сожалеет об этом, - поделилась клиентка с гадалкой. Счастливая женщина заканчивала свой рассказ.)

- ...Вы были в чем-то правы, дорогая Виктория, но не в главном!.. Мой суженый? Он у всех суженый. А я еще встретила прекрасных женщин, замечательных детей! Эти детки не видели моря... Оформлю отпуск - и к ним. Мы снова поедем в монастырь. Там по особому звонят колокола! Их отлили во времена Бориса Годунова. А над рекою стелются млечные туманы. Мы устроим тургеневские чтения!

- Не забудьте пригласить Антонида, - поддела ворожея.

- Мы будем открыты и для нее, - парировала Клеопатра Павловна. - Кто я здесь?.. А там нужна всем! Вика, как смотрели на меня ребятишки! Словно я добрая волшебница... У меня перестала болеть голова!

- Карты говорят: вас ценят на службе.

- Что важнее: служба или любовь?!

Виктория поняла, что речь идет не только об увлечении мужчиной, но и о такой любви - или жалости? - к его семье, которая оказалась для службиста важнее службы. Коротко говоря, благотворительность в действии, или «что отдал - твое!» Одинокая женщина в океане любви... Гадалке оставалось только замолчать. Она предложила Клеопатре Павловне посидеть с ней у самовара. Та согласилась рассказать о себе подробнее.

Была замужем, жили они дружно, но муж погиб при задержании опасного рецидивиста. В милицию пошла по призванию. Отличилась еще молодым опером: узнавала преступника в толпе по внешним приметам. У рассказчицы скромно и многозначительно опустились длинные ресницы. Через несколько лет ее стали называть следаком милостью божьей. Ее ценят в управлении: «Клепа не подведет, хотя и у нее есть пунктики», - а после известного сериала стали называть Клепа-Мюллер.

- Хотите знать, что говорят обо мне сослуживцы? - разоткровенничалась Клеопатра Павловна.

Виктория, конечно, не возражала.

- Часто она сидит на яблочной диете, товарищ подполковник.

- Лишь бы здоровью не повредило, майор.

- Влюбчива.

- Это уже серьезней... Но ведь сдержанна в проявлении влечений. Никаких вольностей!

- Без ума от библейской поэзии.

- Невелико упущение по службе... Должен быть и в наших рядах интеллектуал, не одни анекдотчики.

- Но как читает! Вздох! Видимо, действительно верит в бога...

- Майор, ну кто сегодня не интересуется библией, книгой мудрости! Кто не признает религию как форму культуры! Ты, надо сказать, зануда...

- Виноват, товарищ подполковник.

Две женщины сидели в маленькой кухне, пили ароматный цейлонский чай с бергамотом. Клеопатра Павловна раскрывала тайны мадридского двора без тени улыбки, что и делают настоящие юмористы:

- Знаю, как любят меня сынки из теплых кабинетов! Тот же подполковник-заступничек в своем кругу называет меня «баба-полковник». Ждет серьезной ошибки. Если бы до него донеслось, что я влюбилась...

Гадалка спросила, откуда клиентка знает такие подробности. Клеопатра Павловна усмехнулась и ничего не ответила. Виктория не поняла значения молчаливой улыбки, а все потому, что не имеет представления о специальных службах. В подразделении ее собеседницы успешно работали сексоты.

А сейчас, подытожила Клеопатра Павловна, органы задыхаются от чудовищных перегрузок. Народная трагедия выплеснула на улицы городов всю грязь сточных канав, гигантский поток насилия и беспредела. «Лев прыгнул!» - объявил обществу знаменитый полковник Гуров. Рожи, рожи, рожи... И горы, горы, горы бумаг... Не выдерживают, увольняются самые проверенные товарищи. «Болезная, не надломилась ли и ты от этой жизни?.. Может, Олег с его семейством просто вовремя подвернулись?!» - мелькнуло сполохом в сознании Виктории.

...Вскоре к гадалке неожиданно приехал сам Олег. «Неужели Клеопатра Павловна проговорила о моих прогнозах, они заделали самолюбие офицера?.. Хотя на нее не похоже», - встревожилась Виктория. Ласково улыбаясь, он объяснил ей, что всегда интересовался народной ворожбой и решил навестить гадалку после лестного отзыва об ее искусстве со стороны своей знакомой. «Возможно, так оно и было. А все-таки, не разыграть ли его она решила?.. Женщина не простая, а Клепа-Мюллер. Такую кличку надо заслужить! Проверила же она «своего суженого» через службу внутреннего контроля и глазом не моргнула. Может, теперь скумекала - испытать его горькой правдой о нем. А такое мало кто переносит...» Виктория была в замешательстве.

Она собралась с духом и стала раскидывать карты. На первый план выступила дама-покровительница. Пошла пикантная информация. Гость перестал улыбаться, на лицо легла тень. Он теребил усы, ерзал в кресле, причесал безупречно лежащие волосы.

Наконец у него вырвалось нечто, похожее на стон:

- Достаточно! Я ошеломлен... Зачем вы изображаете меня таким потаскуном?!

- Я никого не изображаю. Только даю информацию.

- Почтенная... - заговорил он ледяным тоном. - Попрошу вас больше не давать обо мне никому никакой информации!

- Это невозможно, уважаемый. Я выполняю свой долг.

Он стрельнул на нее черными глазами.

- Будьте добры! Не вмешивайтесь в наши дела. Дайте мне слово, прошу вас очень... Вы хорошая женщина, я это чувствую, - и поцеловал ей руку. - Вы мне нравитесь, Виктория!

Гадалка растерялась... Опомилась: «Так вот за что любят его бабы! Не мужик, а кот усатый». И попросила клиента уйти. Олег не шелохнулся, молча глядел перед собой отсутствующим взглядом. Так бывает, когда в человеке идет острая внутренняя борьба. Наконец заговорил, и совсем по-другому:

- Простите меня... за неприличную игру! Не обижайтесь, выслушайте, прошу! Не знаю, сумею ли рассказать толково. Да и вы далеки от нашей службы.

Он расстегнул пуговицы кителя, откинулся на спинку кресла.

- По образованию я юрист, формально отвечаю за трудоустройство заключенных, отбывших наказание. А фактически... Сперва был картонный макет колонии. Да, да. Я вырезал его, раскрасил, электрифицировал... Кое-кто заметил, что у меня неплохо поставлены руки, и началось: «Не сделаешь ли учебный фильм для кинологов?» Снял и озвучил. «Не сколотишь ли инструментальный ансамбль из заключенных?» Организовал. «А из сотрудников?» Создал и сам играл на бас-гитаре. Продолжать не стану... Все делал с душой, Виктория. Мне было интересно познавать свои возможности. А на проверку оказалось: не то самородок, не то идиот! Потому что эта самодеятельность так и не сделала меня счастливым.

- Вопрос поднимаете философский, - гадалка попыталась спустить клиента на землю.

- Не спорю, женщины - моя слабость. Две семьи распались со скандалами. Стал запивать, но сейчас воздерживаюсь: Евдокия дорога мне. Такая вот философия... От мамы получил по наследству квартиру. Одну комнату превратил в гончарную мастерскую. Когда приезжают инспекторы, начальник колонии, мы зовем его Батей, направляет их при случае в мой «музей» лепить игрушки. Для москвичей - забава! Батя хвалит меня: «Заеду к нему на час, слеплю несколько птичек-свистулек, обожгу в газовой плите, раскрашу, свистну - и нервного напряжения как не бывало! Голова у нашего гончара не капитанская». А на майорскую должность гончара не переводит... Говорит: «Успеет. Он еще молод».

Олег улыбнулся горько, одними губами. С позволения хозяйки налил воды из графина.

- Не может простить мне Батя одного увлечения. Хотя было то давненько... Услышал я песню «Мой дельтаплан». Помните, ее пел Валерий Леонтьев?.. И бог весть, что случилось. Меня потянуло в полет! По чертежам журнала «Моделист-конструктор» сделал дельтаплан из подручных материалов, из лодочного мотора - ранец с винтом... Воздухоплавание закончилось плачевно. Метров с десяти упал на мягкие кочки, которые окружают старый аэродром. Месяц пролежал в больнице. Никаких травм, а ноги не подчинились.

Офицер потрогал ноги, как будто сомневаясь, что они отказывались ему служить.

- О полете узнали в управлении. Там ухарство очень любят. В колонию позвонил сам генерал. Под хорошую руку подробно и ласково объяснил Бате, что думает о нем, об его «Икарах» и назначил внеочередную комплексную проверку... Знали бы вы, что такое служба! У кого наверху своя рука, тому прощают все. У кого ее нет, тому не позавидуешь. Одна Клеопатра Павловна поняла меня. А может, и поддержит... Виктория! Умоляю вас, будьте осторожны, когда раскладываете карты!

- Не волнуйтесь! Буду говорить обтекаемо.

Он встал, застегнулся, одернул китель, поцеловал ей руку. На этом они расстались.

...Клеопатра Павловна больше к гадалке не приходила, но появлялась на Арбате. Через общих знакомых моя подруга знала о ней: регулярно ездит в тот город; живет бедновато, а настроение хорошее; Олег стал майором.

Прошли годы. И Виктория столкнулась в метро с героиней нашего рассказа. «Кто это?... Неужели Клеопатра Павловна?! Ручки-ножки как палочки. Лицо серое, рот запал, седые волосы не покрашены. Таков результат высоконаучных яблочных диет?... Но по-прежнему опрятная. На ней то же зеленое платье из травяного бархата, что было при их знакомстве. Только выцвело и висит как на вешалке. А карие глаза не потеряли ни живости, ни блеска. Бодрая мумия!»

- Виктория, здравствуйте! Как поживаете?... Я теперь свободна, что ветер: вышла на пенсию... Спешу в Рериховское общество. Там собираются такие люди! Меня хотят познакомиться с интересным мужчиной.

- А как же ваш суженый?! - вырвалось у гадалки.

На щеках «мумии» вспыхнули розовые пятна.

- Милая Виктория, вы были не совсем правы... Олег все-таки славный! Я решила не мешать ему и Евдокии. А дети его встали на ноги. Я сделала все! И показала им Черное море... Я была счастлива, Вика!

У Клеопатры Павловны дрогнули ресницы-опахала, блеснули слезы.

Антон ТЮКИН

# ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Повесть из осколков минувшей эпохи

*Нет, не из книжек ваших скудных,  
В подобье нищенской сумы,  
Порой узнаете, как трудно,  
Как невозможно жили мы...  
Ольга Берггольц*

*А жизнь промелькнет театрального капора пеней,  
И некому молвить из табора улицы черной.  
Осип Мандельштам*

Господи, Господи... Да было ли это все не во сне, а наяву?.. Как с другого берега большой, широкой реки смотрю я сегодня из своих почти уже сорока на те невозвратные, давние годы... Как через белесую полосу утреннего тумана выступают передо мной неясные контуры прошедших времен. Где найти их сегодня? Где, господи, их отыскать?.. Дух мой томится. Сердце мое в великом смятении, господи. И нету в нем злобы. Руки мои пусты. Нет в них хищения. Нет лукавства в душе моей. Вот я весь перед тобой стою, господи. На ладони твоей, мошкой малою. Под пятою твоей - червем стелюсь по земле... Камениста великая дорога под ногами. И страшна надвигающаяся мгла. Помоги, господи, неверию моему. Не в тебя неверию. В сотворенного тобой человека.

## Часть I. ДОРОГА

Жаркий полдень восемьдесят первого. Июль. Беспощадное солнце - красно-рыжий злой дуралей безбожно, безжалостно жжет с небес. Жарит, парит тихий украинский городок. Тихий, неизвестный до поры большому и шумному миру. Маленький городок над светлой рекой. Городок, где любят. Где болеют. Где ждут...

В голубом небе - ни облачка. Жаркое, жаркое лето. Духота. Железнодорожная скука. Раскаленный вагон московского поезда. Андрей под самым потолком - на верхней полке. Внизу, за железным столиком купе - родители. Мама и папа. Справа - радиорупорок. Хрипленький. Но какой уж есть. И все-таки мы едем. Едем. Едем на Украину. В неведомый город. В неведомый мир. К невиданным доселе людям. Бабушка и дед...

Хлопанье дверей. Ритмичный стук колес. Звон стаканов в подстаканниках. Дребезжание электробритвы «Харьков». Привычные железнодорожные звуки...

- Говорит радиостанция «Маяк»... Передача «Для тех, кто в пути»... Пусть дорога серою лентою вьется...

Вслед выступил какой-то профессор или даже академик. И все говорил. Говорил:

- ...год активного солнца... Год активного солнца.

- Только у себя в Москве он это и заметил. И без тебя, товарищ, сами видим! Экий умник!.. - весело сказал отец и подмигнул Дюше снизу. - Слезай, надо белье проводнику сдавать. Да одевайся скорей. Скоро прибываем в Юстово.

### Пересадка

Из тамбура спустились на серый, замусоренный асфальт станционного перрона. С верхней, высокой площадки осторожно передаем большой папин рюкзак, чемодан, дорож-

ную сумку... Хватаем их. И прямо через пути продвигаемся к вокзалу. Жаркое солнце высоко висит в синей, безоблачной вышине. Дюше десять. Тощий, чернявый шкет с голыми коленками. На голове - белая жокейка с надписью «Riga». Синий пластиковый козырек. Желтая майка с олимпийской эмблемой - лесенкой со звездой и надписью пониже - «Олимпиада-80».

Голубые шорты и школьные, матерчатые кеды... В правой руке - большой полиэтиленовый пакет с небогатой дорожной снедью.левой рукой цепляется за ручку дорожной поклажи. Вторую ручку сумки держит дюжина мать. Смело шагает вперед и активно помогает родителям... Взобрались на пристанционную платформу и, дико озираясь, стали выматривать свободную скамейку. Раскаленное на солнце деревянно-чугунное гнущее, советское чудо. Нашли. Нашли все-таки свое местечко под солнцем... Не стоя теперь будут они электричку ждать... Пустячок, а приятно... Хотя и не очень-то уж и пустячок...

Грязно-синее здание вокзала с тяжелым, примитивным, треугольным фронтоном, с грубыми квадратными столбами-колоннами. Серая «сталинская» архитектура, притом самый худший ее образец. Подобная послевоенное зодчество, даже без намека на какую-либо эстетику, не раз еще встречалось мне на вокзалах и в других украинских и даже в русских городах. Эти несчастные железнодорожные здания были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Видимо, тогда, в конце сороковых, это и был типовой и притом самый ходовой проект. Говорят, что после войны по всей Украине, да и в России, такие вокзалы строили в основном пленные немцы...

Отец подложил на лавочку - «синее чудо» - дочитанный с утра «Советский спорт». Теперь можно было и посидеть немного... Передохнули. Отдышались. После сходить за билетами на электричку и просто немного размяться. Оставили маму на лавочке стеречь ручную кладь. И пошли вдвоем изучать этот мир. Дюша и папа.

Большой, гулкий билетный зал с огромным расписанием и схемой. Стеклопачки. Массивная люстра свисает огромным колесом с высокого потолка. Похожая на паникадило из фильма по повести Гоголя «Вий». Над нами на высоком потолке грубо намалеваны какие-то улыбающиеся, мордатые, довольные собой и миром здоровенные мужики и бабы. Задрали вверх на толстых, атлетических руках толстые снопы. Тут же воротится морда быка. Или коровы... Вот женщина в белом халате. Стоит, нежно прижимая к груди... розового поросенка... Получилась «свинская мадонна». По-другому и не скажешь... Вот голоколенный мальчик-горнист. В профиль. И тоже - весь в белом. Задрал светлую головку и дует в горн. Красный галстук на груди... Я вспомнил про него потом, через множество лет. Мне, уже взрослому, показалось, что этот трубач - прямой родственник трубачей из библейского «Апокалипсиса»...

Над головой - быки. Коровы. Поросята. Трубачи. Мужики и бабы с шестеренками. Под ногами - черно-коричневая шахматная рябь. Пол - как огромная доска. На которой люди - как фигуры... Странное, уродливое, нелепое здание. Творение неизвестных зодчих давно потонувшей в пучине эпохи. Не здание - крамола! Какой «враг народа» тебя проектировал?... Какие рабы тебя строили?..

Пустой, гулкий, утренний билетный зал. Очередь у кассы в несколько человек. Усатый старик с плетеной корзиной в мозолистых, натруженных, узловатых руках. Маленькая бабушка в беленьком платочке. Здоровенный, высокий солдат с гвардейскими значками на широкой груди. Билеты на электричку достали без проблем. Опять повезло нам... Везучие же мы сегодня...

Гуляли вдвоем по вокзалу. Станционный убогий буфет. За стеклянным прилавком - раскосая, сухопарая, «лисою» крашенная женщина в кружевной наколке. Ярко наведенные глаза. По щекам - румяна. Большой рот с полными, накрашенными губами. Цепочка с крестиком на тонкой шее. Длинные, серебряные серьги из ушей - до плеч...

За стеклом - кругленькие булочки и несвежие бутерброды с высохшим, перегнутым сыром и заветренной копченой колбасой. Лежат на рифленых, бумажных тарелочках... Нечистые, немного колотые по краям стаканы со сметаной... Сигареты... На буфетной стойке - электрический кофейный бак. В баке - приторное, мутное какао. Рядом - железная миска с гнутыми, плохо вымытыми алюминиевыми вилками и ложками. Сбоку от прилавка - красный, треугольный вымпелок с бахромой по низу. Знакомый профиль Ильича. И надпись: «Трудовой коллектив борется за звание коллектива коммунистического труда»...

Грязные стоячие места - столики с мокрыми, размазанными лужами какао. Пластиковые стаканчики для бумажных салфеток, но без салфеток... Жирные мухи гудят над столами... Впрочем, не безнаказанно. Тут же над буфетной стойкой - лента-тухоловка. Ленту свисает с потолка. Уже полна улова... Гнуснейшая вокзальная «тошниловка».

Дошли до киоска «Союзпечать». Бело-синяя, скошенная, деревянная, застекленная будка. Газеты и журналы в основном на украинском. «Прапор Перемоги», «Червоний шлях», «Радянська правда». Мало, очень мало московских газет. Газеты на русском быстро раскупают. «Дефицит». Слово, знакомое с самого раннего детства. За стеклом - шариковые ручки. Белая пластмасса. Синяя паста... Дюше пока официально не велено ими писать. В школе пишут до поры только ручкой перьевой. Мажут фиолетом. Пока только так. Так «вырабатывают почерк», как советуют мудрые педагоги... И куда только денется он, этот «выработанный» - в будущие времена, во времена студенческих корявеньких конспектов?... Ручки шариковые - мечта советского младшего школьника. Писать ими - верный признак взрослости. Ну, совсем как папины усы...

Вот целый набор из шариковых ручек... Их целых три. Синяя. Красная. И зеленая...

- Папа, купи! Купи!..

Вот круглые детские значки с разными веселыми картинками. Волк и заяц. Чебурашка. Мамонтенок... Потом, в старших классах, мы найдем их нехитрой конструкции более достойное применение. В разобранные значки, вместо выкинутых с позором чебурашек и шапокляков, насует кто Костю Кинчева, кто Бутусова и Кормильцева, кто Высоцкого, кто размалеванных рок-«Кисов»... Старички на коммунистических митингах будут тоже их надевать. Носить на сальных лацканах потертых, старомодных пиджаков портреты любимого и дорогого Сталина Иосифа Виссарионовича...

Кстати, значки эти «детские», простые, сами советские дети не больно-то любили. Больше им нравились «переливные», с изменяющейся, от угла зрения на них, картинкой. Это уж потом даже школьные линейки научились так же делать. Хорошие были линейки. Дефицитные в СССР. Только больно хрупкие. Быстро ломались в шаловливых руках. Отец купил Дюше набор из трех ручек и московский «Крокодил». И тоже, кстати, дефицит на Украине.

Местный сатирический «Червоний Перець» выходил только на украинском. Читать на чужом языке, даже на украинском, для меня - мука смертная. Так что я «Перець» тот не читал. Понятия о нем не имею. Не знаю, какой он там «перець»...

Вошли на привокзальную площадь. Жиденький, сожженный жарким солнцем скверик. Большая центральная клумба с высаженными звездочкой красными, низкорослыми цветами. Посреди клумбы на невысоком постаменте какой-то мелковатый, чугунный памятник товарищу товарищу Ленину. Продукт массового производства времен «культы личности» кое-кого другого. Печальный истукан, небрежно выкрашенный «серебрянкой». Стоит спиной к вокзалу. В левой руке - легендарнейшая кепка. Правой чертит в что-то в небесах... Рот у Ильича призывно открыт, распахнут, голубям на потребу:

- Сегодня рано. Завтра - поздно... Промедление смерти подобно, товарищи...

Хороший памятник. И очень подходящий. Особенно для вокзалов. Напоминать надо пассажирам, чтобы на поезда не опаздывали...

Сбежали к киоску за мороженым. «Молочное» в клееном картонном стаканчике. Наверху прилеплена бумажка. Снимаешь бумажку и ешь, зачерпывая деревянной обструганной палочкой. Палочка в комплекте никогда не прилагалась, но всегда лежала тут же, в мисочке на прилавке. Случалось, эти палочки бывали и нечисто струганы... Дюша не трус, но, видит бог, посадить в язык занозу - не самая большая радость на земле. И еще. Не нравилось ему тащить себе в рот эту деревянную штуковину. Что он, бобер что ли? Но мороженого ему все равно хотелось. И Дюша боролся с неприятием орудия для еды ради получения самого конечного результата. То есть добычи из бумажного стаканчика и транспортировки мороженочной массы в рот...

Сели на лавочку у Ильича. Как ходоки на картине Герасимова. Сначала ели мороженое. Потом Андрюша стал листать «Крокодил». Смешные картинки в журнале «Крокодил». Карикатуры. За них я его и люблю. Вот пьяницы - с бутылочками по карманам и красными, опухшими носами... Вот бюрократы в черных нарукавниках на вросших в землю стульях и столах-пеньках... Вот орел американский с бомбой под крылом летит куда-то... Вот британский лев с женскими ногами и в колготках... Очень интересные картинки. И нарисовано было как хорошо. Смешно нарисовано. Дюше это так казалось в десять лет...

Папа развернул «Советский Спорт». Припал. И уткнулся... Ну, это наверняка надолго. Да у него еще «Футбол - Хоккей» имеется. Не читал он их с самой Москвы, думал Дюша, а тут - такая удача. В киоске сразу две газеты. И обе крайне дефицитные для русских мужиков.

Спешит скорее папа новости узнать. Изучает таблицы финалов. И полуфиналов. Чемпионат... Что там дальше... Котэ Махарадзе... «Динамо - Тбилиси»... Матч «Динамо» с не-

мецкой «Боруссией»... Любит папа этот свой футбол. А мама и бабушка обожают фигурное катание. Вечерами. По телевизору. Чемпионат Мира... Обязательная программа. И потом - произвольная. За выступления специальные судьи, арбитры, назначают фигуристам очки. Или как там у них говорят?.. Баллы.

Красиво, красиво катаются спортсмены со спортсменками из разных стран. Из Европы - неплохо. Из Америки - хорошо. Но из нашего Советского Союза - все равно всех лучше. Вот они - лучшие в мире! «Выступает Ирина Роднина и Андрей Букин. Советский Союз... Калин-ка - малин-ка - калин-ка - моя»... Их вся страна знает. А тренера у них зовут Жук. Очень смешная фамилия.

Дюша футболом тем папиным не особенно увлекается. Тем более, каким-то там катанием... Дюше больше нравится хоккей. Зимой. По телевизору. И иногда - во дворе. Игра в полуфинале Швеция - СССР... Матч СССР - ЧССР. Красота! Бегают здоровенные мужики на коньках. Падают. Толкаются. И иногда дерутся... Забивают клюшками шайбы в ворота. Верней, стараются забить. Нам забить. Забросить шайбу в наши ворота... Но у них - не удаётся! На воротах Вячеслав Третьяк! Вячеслав Третьяк из ЦСКА! А ЦСКА - это сила!..

Чемпионат на приз газеты «Известия». А эмблема у чемпионата такая забавная. Снеговичек с хоккейной клюшкой... Да и саму газету «Известия» Дюша давным-давно знает. Большая такая газета с редакцией в Москве. Большая газета, всесоюзная. Довольно толстая, особенно по выходным. Дюшиным родным приносят ее на дом почти что каждый день. «Известия Совета народных депутатов Союза ССР». «Известия» в их доме выписывает дюшин дед Николай. Николай Прокопьевич. Папин папа. То есть папа дюшиного папы. Дед Николай - член партии. Член КПСС. Он такой старый, что родился еще при царе. Кстати, тоже Николае. Или, как еще говорят, Николашке...

### Герой

Бабушка Архелая Ивановна как-то раз рассказывала Дюше: «Когда дед Николай был маленький, он жил в Архангельске. Семья их там жила... Жили они очень, очень бедно. Отец дедушки, Прокопий, пришел в Архангельск из деревни. Зимой. В отхожий промысел. В городе встретил свою будущую жену Глашу. Она работала кухаркой у богатых... Так Прокопий осел в городе... Работал грузчиком в порту. А куда еще деревенскому парню податься?

Нагружали да разгружали баржи мужики. Мешки да ящики носили тогда на своем горбу. Подъемных кранов в России почти что совсем не было. Только разве на каких-нибудь больших заводах... В Москве. В Петербурге, на «Путиловском»... Работа была очень тяжелая, а платили хозяева мало. Простые люди жили скудно. Мясо каждый день не ели. Не то, что мы теперь... Народ был крайне беден. И жизнью такой был недоволен. Кому то понравится, что одни барствуют, а другие почти с голода пухнут?..

Вот там, в порту, прадед твой Прокопий и связался с социал-демократами. Какими именно? Кто их разберет... Сначала был у них кружок при школе для рабочих. Рабочие учились вечерами. Многие пришли из деревни и не умели ни читать, ни писать. А в городе это было крайне необходимо... Кружок вели учащиеся - гимназисты и «реалисты». Рассказывали они и про марксизм...

Заходил в кружок молодой попок - расстрига, выгнанный с места архиепископом за негодные проповеди... Приходили молодые учительницы из женской гимназии. И рассказывали мужикам, что земля, оказывается, шар... Грузчики девицам тем не шибко верили...

Потом в порту случилась рабочая стачка. А после и демонстрация... Налетели казаки с винтовками, шашками, нагайками... Вот тогда, в тот самый день, и был убит твой прадед Прокопий. Был зарублен казацкою шашкой...»

Вот, оказывается, как... Оказывается, я правнук революционера, думал Андрюша. Самого что ни на есть настоящего. Как в кино по роману Максима Горького «Мать», или что-то в этом роде, что недавно показывали по телевизору...

Вот рабочие идут на демонстрацию. Впереди толпы идет молодой мастеровой. Высокий и светловолосый. Волосы, как солома. Стрижены под горшок. Белесые брови, словно выгоревшие на солнце. Простая, синяя косоворотка и дешевый пиджачок. Вот он, молодой и сильный, достает из-за пазухи большое, красное полотнище. Разворачивает его. Полотнище сразу же оживает. Начинает биться у парня в его могучих, рабочих руках. Встречный ветер порывисто бьет в лицо демонстрантам. Гонит по земле песок и сор. Над городом висит огромная, набухшая дождем, фиолетовая туча. Ветер крепчает. С остервенением



лупит по лицам идущих вперед. Второй мастеровой, видимо, давний приятель, подбегает к светловолосому. Достает откуда-то длинную палку и цепляет полотнище на нее. Поднимает над головой. Большое красное знамя начинает биться на ветру.

«Смело, товарищи, в ногу»... - затыгивает светловолосый мастеровой. «Духом окрепнем в борьбе»... - подхватывают его товарищи могучим басовитым хором. Вот они идут. По самой середине улицы. Своей улицы... Идут. Идут по всему городу. По своему городу... И кажется им, вот они так идут уже по всей России. По своей России... Идут. Шагают и поют горду, рабочую песню. Поют, поют, поют и никого, никого не боятся...

Вдруг вскрик. А после - истошный мальчишеский крик и женский пронзительный вскрик, и снова откуда-то сбоку: «Казаки! Братцы, казаки!» - крикнул и... выстрел! Грянул выстрел! Упал молодой... Мешком повалился на серый булыжник... Это они... Они... Лошади. Быстрые, серые тени и цокот копыт...

Вот сзади из переулка - серые тени на лошадях. И спереди - из проулка тоже. Тоже. Окружили... Захватили врасплох... Налетели на безоружных. Бьют нагайками. Стреляют в упор. Лупят шашками... Кто-то повалился на мостовую. Под копыта... Под копыта... Под копыта... Топчут... Бьют и топчут... Топчут... Топчут. У одного разрублена голова. У другого - плечо. Вот выстрел пробил чью-то грудь... Вот умирающий ползет и тянет за собой кровавый, долгий след... Вот кому-то подбежавшие безобразно толстые, усатые жандармы, злые бегемоты, заламывают руки за спину, прижимая беднягу к земле. Щелкнули наручники. Бросили на грязный пол подъехавшего серого тюремного фургона...

Светловолосый... Красное пятно медленно расплывается на золоте соломы. Бывшее доселе молодым и легким, вмиг ставшее тяжелым и ненужным, медленно осело горячее тело. Повалилось навзничь. Головой стукнулось о холодный камень. Заломилась шея. Нагло выпер мертвый, острый, мужичий кадык. И прочь откинута шальная - молодая голова.

Так он упал. Прокопий. А в распахнутых в небо уже мертвых, голубых глазах - бьется знамя. Только знамя. Рабочее, красное знамя. Вот оно еще полощется над ним. Прижато своим краем упавшим на него мертвым телом. Застилает мертвого Прокопия, укутывая в красный, кроваво-красный савон.

Ужасная картина гибели прадеда волновала детское воображение. Страшная бабушкина история не давала Андрюше в ту ночь уснуть. Только под утро мальчик провалился в тяжелый и страшный сон.

... Вот огромный краснорожий казак в серой шинели на огромной, серой лошади летит во весь опор. Летит прямо на него. Огромная ручища в белой перчатке задрана вверх. Над его головой сверкнул ослепительный сабельный клинок... От страха ноги Андрея становятся ватные. Он хочет бежать. И не может. Не может бежать. Хочет закричать. Хочет позвать на помощь... Кого? Кого?... Затравленно, беспомощно озирается. А вокруг - никого!.. Никого! Он один. Совсем один стоит на страшной и пустынной, огромной, серой площади. Края площади утопают в плотном, густом тумане. Из-за плотной пелены до него доносятся какие-то странные звуки. Шорохи и крики. Обрывки музыки. Истерический смех. И детский плач...

Маленький, десятилетний бессильно разувает пересохший рот. Но из детского горла - ни звука. Кричать... И невозможно. Ужасно... Закрывает голову руками. Инстинктивно вытягивает в плечи. Весь сжимается в комок. С нарастающим ужасом ждет последнего, ослепительного, сабельного удара. Но его нет. Нет. Нет как нет...

## День Победы

В холодном поту просыпается. Робко открывает глаза. Сердце бешено колотится в груди... «Жив! Жив, слава богу! Сон, это был лишь страшный сон»... - розовым светом несказанной, неземной радости бьется в мозгу волнами светлая, дневная мысль.

Горячие, косые лучи жаркими струями пробираются через портьеры. Желтыми, косыми, горячими полосами лежат на полу, скользят по книжным полкам на стене. В заоконном мире - горячее, летнее утро. Мальчик шлепает босиком в коридор. Солнечная, распахнутая дверь. Из кухни - голоса и звуки. Из радио - бодрая песня. Знакомый всей стране и тогда, и донныне благообразный баритон голос: «В огне не горели. В воде не тонули, А время настало - под пули шагнули. И стали мы крепче железа и стали, Легенды расскажут, какими мы стали-ли!... Нам счастье досталось не с миру по нитке»...

У плиты хлопочет мать. Бабушка раскатывает тесто на столе. Поднимает голову и улыбается:

- С добрым утром, Андрюша! Вставай. Умывайся. Одевайся поскорей. Сегодня у наше-

го дедушки огромный праздник. День Победы.

Бабушка Архелая Ивановна. Раздобревшая, седовласая, простоволосая, большая женщина в толстом, домашнем халате. Отражение в зеркале рассохшегося трельяжа. Нелепый телевизор «КВН». Плотные завтраки с яичницей. Наваристые супчики в обед. Чистые, скрипучие полы... Стеклянная пирамидка - Спасская башня Кремля - советский, древний сувенир. И комнатный термометр - Останкинская башня. Бумажные шкатулки - из сшитых черными, плотными нитками цветастых, поздравительных открыток. Расписная русская матрешка. Пузатый хрустальный флакончик «Шанель номер пять», уже пустой, но еще хранящий еле-еле ощутимый запах...

Бабушка и праздник. А из кухонного радио - «Василий Теркин»: «Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег кровавый, кромка льда. Кому память, кому слава. Кому темная вода»...

Нарядная, праздничная гостиная. Стол раздвинут. Крахмальная скатерть сверкает белизной, как снежная равнина. Аккуратно расставлены стулья. Приветливо ожидают гостей. Новомодный шкаф-стенка «Устряжанка» весело сверкает свежесмытыми стеклами. Завидная покупка. Дефицит... Не раз ходили в «Мебельный». А после удачи занимали очередь на запись в шесть утра. Мерзлой шариковой ручкой царапали номера на руках. И бежали греться в соседний подъезд. На дворе стоял морозный январь. Записались. И побежали домой. После получили наконец-то из магазина желанное приглашение. И купили! Купили!.. Отец называл эту стенку - «каторжанка».

- Надо было попросить Ермина Сенио. Он инженер по технике безопасности там у них, на фирме. На «Прогрессе»... Чего было мучаться да стоять по очередям. Потом еще и приглашения этого из магазина столько ждать... Сенья быстро бы все оформил. Леню бы шОфера попросил привести. Леня-шОфер все бы вам доставил в лучшем виде. «МАЗ»-то у него, чай, не свой. Государственный. И бензин - тоже. Нешто кто в автохозяйстве об этом деле дознается?.. Какое, к черту, ОБХСС?.. Нешто ему для хорошего человека привести жалко? Еще и денежек заработал бы Людке на платье. Опять-таки им в доме радость... Леня, тот даже как-то елку в ДК Железнодорожников из леса привозил. И ставил. И тоже весь не обязан был. Попросил его директор. Сказал ему Матвей Ефимыч: «Леня, дорогой, - говорит. - А не мог ли бы ты нам в Клуб Октябрьской Революции елочку из леса привести? Скоро каникулы. Детишек порадовать надо. Нам через государственный банк по безналичке на такой вот пустяк деньги переводить ой как долго... А тут каникулы. То да се... Утренники на носу... У тебя, Леня, дорогой, ведь и у самого доченька? Большая уже? Леня, сделай милость. Будь человеком. А мы тебя уж не обидим»... - вот как нормальные люди с шОферами говорят! Говорят себе за милую душу, и корона у них с головы не спадает... Леня стеночку бы ту вам за день мог поставить. Ну, заплатили бы мы ему. Скинулись бы с человека по червонцу. Невелика награда за труды. Бутылочку потом поставили бы ему. Только уже после работы. До - ни-ни. Иначе - никак. Он это... иногда грешным делом любит... Стенка-то ведь на всю жизнь... А вы все - сами-сами... Сколько сами мучались, пока эти дрова вместе сложили. Огромная загадка, что твой кроссворд... Хорошо, что хоть вообще собрали... Стекла не побили. Полировку не исцарапали... Ведь такая дорогая вещь... Эх, все гордость ваша, все гордость... Образованные тоже мне... - ворчала бабка Архелая.

- Людку неудобно беспокоить было бы лишний раз... - оправдывалась мать.

За хлипкими стеклянными дверцами - книжки. Альбомы с репродукциями русских икон. С кремлями - Кижамы - церквями. И всяким-разным, про Древнюю Русь... А вот и еще. Зеленый Бальзак. Серый Достоевский. Желтый Сервантес. Белый Шекспир. Бордовый О.Генри. Голубой Артур Конан-Дойль... Огромнейшие дефициты тех времен... Плоды от собирания-сдавания макулатуры. Перед книгами - пара старинных икон. Теперь это очень модно. И уже можно. Все-таки искусство... А искусство надо уважать... Тут же на полочке - расписные русские матрешки. И сувенирные автомобильчики. Убогие плоды советского коллекционирования. Хобби...

Дешевенькая репродукция в железной рамочке на стенке. Какая-то церковь. Со шпилем. Но без креста. На массивных железных ногах пузатится линзой цветной телевизор «Рубин». С ребристой дверцей, справа от экрана. Чтобы телек запирали на день от детей?.. Наверное. Другой причины делать дверцу в СССР пока что нет. Редки и недоступны не только в провинции, но даже и столице видеомагнитофоны. Потому и фильмов «нехороших» у народа нет... Из телеразвлечений - только две телепрограммы, на которых все и всегда «абсолютно стерильно». Учебная и первая. Когда на первой Пленум или Съезд, то то же самое и на второй...

От чего запоры ставить? Чай телевизор не приемник «ВЭФ». «Лишних» мыслей в баш-

ку не надует...

На верхней полированной крышке у «Рубина» вазочка «под Гжель». Из вазочки нагло торчит «икибана». Причудливые голые ветки, колосья и сушеные цветы. Последний безобидный крик общесоветской, городской, мещанской моды, рекомендованный гражданам через журнал «Работница».

Знакомые, родные голоса. Горячие, сладкие запахи. Вот он и пришел к нам в дом. Наступивший всенародный праздник - День Победы.

Пронзительный трезвон в прихожей. Это гости. Пришли, прикатили андюшины дядя и тетя. Коля. Николай, сын Николая. Николай Прокопьевич - андюшин дед. Николай номер один. Коля - его сын. Николай номер два. И его жена Ганя. Ганна Павловна... Муж и жена - одна сатана. Так гласит пословица. Оба инженеры-кораблестроители. Вместе уже ой как давно. Еще с туманной ленинградской молодости... Танцы в Кировском. Турпоход. Ленинградский Мюзик-холл... Там и встретились. Потом подружились... Поженились... И уже почти что сто лет вместе. С романтической гитарно-поэтической хрущевской «оттепели». Всегда вместе. Вдвоем - на практику. На «Кировский». В турбинный. После окончания - по распределению - в Горький. На «Красное Сормово»...

Нет, детей нет. Бог не дал... Ганя-то, она сама родом из Белоруссии. Полесье... Война... Прятались от немцев на болотах... Год рождения - сороковой... Потом осели тут, в Устьря-тине. Поближе к колиным родителям.

Коля номер два. Серенький добротный пиджачек с «искрой». Черная водолазка под горлышко. Беломорина в зубах.

- Иди курить на кухню! - кричит бабушка на дядю Колю. И он идет. Рвет пачку папирос с известной картой каналов и рек. Долго мнет в длинных, желтых пальцах папиросу. Сует пахучую отраву в рот. Чиркает спичкой, прикуривая. Сладостно затягивается едким дымом. И курит. Долго курит, сидя на рассохшемся табурете за желтым кухонным столом с потертыми краями. Ловким щелчком пальца стряхивает пепел в консервную банку - пепельницу. Такая вот привычка у него. Привычка давняя, еще из общежития... Потом резко встает. Большой, высокий. Широко заходит в гостиную, словно наполняя ее всю. И, улыбаясь, возвращается обратно, к людям...

- Опять курил!.. - с укором спросит мужа тетя Ганя.

- Не покуришь - не попоешь... Давайте, давайте, мужики, инструмент... - отвечает он смеясь.

Гитарный легкий перебор. А потом самое любимое, морское, мужское и заветное: «У Геркулесовых столбов Лежит моя дорога. У Геркулесовых столбов, Где плавал Одиссей... Меня оплакать не спеши. Ты подожди немного. И черных платьев не носи, И частых слез не лей»...

Богатый праздничный стол. Как плод ветеранских наборов. Недавнее нововведение от Областного Совета. Продуктовые заказы к празднику. Масло. Финский сервелат. Крупа гречневая. Тоненькие макароны. Финские соленые галеты. Плавленные финские сырки «Виола». Растворимый кофе и сгущенное молоко с жестяных банках «с коровкой». Чай индийский в больших, желтых, картонных коробочках, изнутри проложенных плотной серебряной фольгой. На коробочках - слоник. Такое богатство, и без талонов. Без очереди... Гуляйте, ветераны Второй Мировой, славные спасители Европы от «коричневой чумы»...

Талоны... Талоны... Недавнее нововведение местного Горсовета. Расплодятся попозже, как кролики... Талоны «на деликатесные виды мясной и молочной продукции»... Какие бурные поросли дадите вы по всей российской провинции в последующие годы... «На водку». «На сахар». И даже «на мыло» и «на сигареты»... Студеный январь девяносто второго быстро сдует вас из новой России. Вместе со счетами со сберкнижек народных трудовых и гробовых сбережений и скромнейшей уверенностью граждан бывшего СССР хотя бы в каком-то надежно-осмысленном завтрашнем дне...

Звенят тарелками. Вот рассыпчатая, белая вареная картошка. Белый парок из-под кастрюльной синей крышечки И огромнейшая черная сковорода, немного снизу закопченная. На ней живым солнечным золотом в масле - картошка жареная. Сочные котлеты. Тушеное, нежное мясо. И белая, нагая курица. Золотистая корочка на похабно раздвинутых ножках. Кавалерийская рубка - салат из помидоров со сметаной и сиреневым лучком. Причудливая наместь майонезного «Оливье»... Гости и хозяева из больших, хрустальных, грубых мисок - хрусталин «времен застоя» валят полными ложками снедь на тарелки...

Мужчины открывают бар в «Устьяжанке» и достают бутылки. Долго с видом знатоков вертят их перед глазами. Переговариваются. О чем-то спорят. Достают штопор. Винтят и

тащат с остервенением пробки. Вино. Отвинчивают проволочку над раковиной в кухне. Шампанское. Или просто сдирают кепочку - жестяной козырек. Так открывают водку... Все. Справились. Ну, и славно, славно, товарищи. И вот потекло. Потекло в бокалы...

- Телевизор... Телевизор забыли включить... - неожиданно спохватывается бабушка. Большая и простоволосая, с кухонным полотенцем на плече. Старшая в доме. И главная хозяйка-хлопотунья.

Щелкнул телевыключатель. Мигнул и засветился выпуклый экран. И в тот же миг бодрый голос ворвался в праздничный дом: «На площадь вступает Краснознаменная, Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции Гвардейская»... Печатный шаг военных училищ и краснознаменных дивизий. Грохот танков и рев бэтэров. И орудия. Орудия... Грозный рев моторов и грохот гусенечных траков по брусчатке Красной. Вот она. Броня и хоботы зеленых, боевых единорогов. И вновь - броня. Броня. Броня...

Распахнутые настежь люки. И в каждом люке стойким, оловянным, сказочным солдатиком - танкист. Или стрелок. Или второй водитель. Второй обычно бывает только на огромных тягачах, что идут, плывут сейчас от Исторического. Огромные, зеленые сигары, что провозят аж на восьми катках... Оловянные солдатики в открытых люках. Да сколько... сколько их? Застыли, словно замороженные, стоят по стойке «смирно». А над каждым из них - красное знамя вьется - бьется на теплом, весеннем ветру...

Вот телекамера отъезжает. Меняет ракурс съемки. Широкая панорама от Исторического. Вот вид на площадь с ГУМа. И вот - главный, самый главный вид страны Советов. Вид на ленинский Мавзолей... Бровастый, морщинистый пятиждыгерой Брежнев согнул в локотке старую, трясущуюся, немощную, обезьянью лапку. Так первое лицо страны приветствует парад... Рядом Громыко с лицом постаревшего умного мальчика. Указывает вдаль рукой. Чего-то объясняет Брежневу... По правую руку «вождя» - большая фуражка на плотном орденоносном светло-сером мундирчике. Устинов. Стоит, словно столб. Чуть сзади - высокий, худой и длинный, словно жердь. Роговые, хищные очки. Умное, брезгливое лицо. Андропов... А вот седой и тоже высокий. Гребешок-хохол. Это Суслов... Вот седые, жиденькие, стариковские проборчики... Вот лысина с пятном... И снова - брови, но гнутые тугой, кавказской дугой... Да сколько, сколько их там... И все - «вожди». «Вожди»...

Налили по первой. Выпили: «Ну, за День Победы». - «Будем!» - «Будем!..» Мужчины сняли пиджаки. Ослабили узлы на старомодных нынче широких и цветастых галстуках... «Ну, что?..» Поели... Заглотили. Зажевали. Или просто занюхали. Это кто как привык. Налили. И добавили вновь. По второй. Добавили. И зазвенели вилами-ножами. Заходили, заработали, закрутились медленные, тщательные челюстные жернова. Немного насытившись, вальяжно, блаженно откинулись на спинки мягких стульев. Почти легли на диван, покрытый пошловатым пледом с абхазским, южным, курортным, прыгающим тигром. Женщины полезли за фотоальбомами. Тычут пальцы в фотографии. И чему-то меж собой смеются. «Вот наша свадьба... А это мы в Бутрах. Когда я там учительствовала после Герцена»...

Мужики тоже слегка захмелели. И потекли мыслями по дереву. Заулыбались чему-то неведомому. Или ведомому только посвященным в какие-то смешные и страшные, семейные тайны... Так начинались обычно в семье у Избиных семейные рассказы да застольные, хмельные байки...

- Пригласили как-то пионеры ветерана в школу. А был он матрос черноморский... Непривычно ему перед людьми выступать. Очень волнительно. Боязно... Вот и решил он перед этим делом выпить, для храбрости... Приходит в класс. Рассказывает: «Героическая оборона Новороссийска... Малая Земля - священная земля!.. Схороните здесь меня!..» Ну, прямо как в кино... А потом забирать его, беднягу, начало. Не на шутку дед разошелся: «Да я... да мы... а перед нами - немцы... Или румыны с итальянцами, хрен гадюку разберет... А мы - вот так им, сукам, на искось... И торпеду им... ниже ватерлинии... Да мы... Да мы... А мне Сережка и говорит... Говорит: «Не Москва ль за нами! Умирать, - говорит. - Так с музыкой!..» Эх, мать моя - женщина, роди меня обратно!.. Да на торпедном катере - к ядерной матери!..» Такие этажи им выдал, что мама - не горюй!

- А Леню Брежнева-политрука он лично там не знал, как маршал Жуков?..

- Чего нет - того нет. Все, что знаю, - рассказал. Врать не буду... Не такой я человек...

Праздничное, застольное, хмельное балагурство.

- Коль, а, Коль! Слыхал в стихах загадку? Мне мужики на днях в курилке рассказали...

- Ну, давай...

- Что за старый дуралей вновь залез на Мавзолей? Брови черные, густые. Речи длинные, пустые. Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет...

- Да кто ж такие загадки только и сидит да придумывает? Не в КГБ ли у Юрия Владимировича те главные по анекдотам анекдотчики?..

- Кому надо, тот и выдумывает. А кто надо - тот потом за это сидит...

- Ловко! Ах, бес меня дерит! Как ловко!..

Хороший разговор в советский светлый праздник. Притом что говорят все это между собой два коммуниста! Два члена КПСС (простите за выражение).

Андрюшин папа Виктор Николаевич, младшенький, смеется вслед за старшим братом. Тоже тот еще «анекдотчик»... Со временем это пройдет. После насмешечек над Горбачевым это уйдет навсегда. Уйдет вместе со спокойным, размеренным бытом в сени «Рубина» и «Устьряжанки». Уйдет вместе со скромным, надежным достатком и элементарной, беззлобной уверенностью за свое неподзаборное, ненищенское завтра. После, при вошедшем в самодержавие Ельцине и толстячке Гайдаре, народу будет анекдотов. Нет, потом анекдотов не будет. Не до смеха будет как-то, не к месту их травить. Матюги, злая похабщина да тюремное «ботанье по фене» блатных «парниш со шконки» навсегда иссушат благодатный родник беззлобного, шутейного, народного юмора.

- Есть коммунисты, а есть - «партийные»!.. - хитро щурит правым глазом дед и лукаво улыбается.

«Партийные» - это те, что на Мавзолею. А они - два Николая - коммунисты. Хорошие люди. Славные сыны Родины. Не лжецы. Не балаболы-демагоги. Не формалисты-бюрократы-деревянные пеньки. Они - люди дела. Большого и настоящего. И очень, очень нужного стране и людям.

Дед Николай вступал в партию в сорок третьем, на Курской... Дошел до Праги. Потом из победной, цветочно-восторженной Чехословакии их - в поезд и на Восток. На ставший таким знакомым и близким на долгие-долгие годы Дальний Восток... Войну закончил дед в Корее. Стояли там аж до сорок восьмого. Все чего-то ждали... Говорят, ждали новой большой войны с Америкой... Некоторые даже дождались. Но малой. И немного позже. На самой ранней зореньке тревожнейших пятидесятых... Слава Богу, что к той поре дед уже демобилизовался из армии. Не загремел к Ким Ир Сену дед в помощники... Вовремя улизнул...

Сколько их было тогда после великой войны... Миллионы кадровых офицеров... Дети великой армии в пятнадцать миллионов душ. Десять из них было на фронте. Пять миллионов стояло в резерве. В Средней Азии и на Кавказе. В Персии - шахском Иране на пару с англичанами и на том же дальневосточном, противояпонском стальном кордоне - советском рубеже...

Бабушка легко звенит фигурной вилочкой по высокой рюмке...

- Тишины... Прошу всех тишины...

Дед резко оборачивается к ней.

- А... чего?... - дед Андрюши Николай Прокопьевич ничего не слышит правым ухом...

Курская Дуга. Первое, жестокое ранение... Скорый госпиталь - и снова в строй. На Третий Белорусский... Артиллерия... Командир гвардейских минометов. «Сталинские органы» Великой Победы... Восточная Пруссия... Бои за Кенигсберг... И второе ранение. Еще более страшное и жестокое, чем то, первое.

О той - Великой Отечественной - войне дед вспоминать никогда не любил. Не любил и как бы даже и не одобрял тех, кто балаболит про войну в газетах, по радио да на экране. Смотря иной советский фильм «о доблестях, о подвигах, о славе», порою кривовато ухмылялся. Ворчал себе под нос: «Ну, это совсем как в кино»... Вот это «как в кино» и было для него формулировкой какой-то лакировки, липы и неправды. Война та была для него чем-то очень тяжелым, а чем именно - про то он сказать не хотел...

И в самом деле, что для него была война, пусть даже и самая святая и расправедливая в мире? Война - страшная, тяжелая, кровавая работа... Разлука с домом... Смерть товарищей... Увечья... Что принесла ему война? Награды... «Красного Знамени» - еще за Финскую. «Александра Невского» и «Отечественной» - за Великую советско-германскую... Медали-то и вовсе Николай Прокопьевич и за награды не считал... Особенно с тех пор, когда на тридцатипятилетие Победы всем ветеранам выдали в военкомате «памятные», ненастоящие, небоевые медали...

Еще один привет с войны - это абсолютнейшая глухота на правое ухо. И неоперабельный осколок в правом боку. Тоже ведь «военные награды». Вручили, и носи их до самой смерти. Вот какие он имел «трофеи» с той войны... Плюс время от времени дающий о себе знать жестокий, неизлечимый псориаз. Руки до локтя в красной пупырчатой коросте... Врачи в районной поликлинике говорили: «Причины заболевания нам неизвестны. Лече-

нию не поддается... Возможно, что развитие идет на нервной почве... Все нервы... Нервы...»  
Нервы и война. Война и нервы...

Иногда Архелая в сердцах сердилась на глухого Николая, без конца переспрашивающего каждую невнятно произнесенную фразу. Сердилась, кричала ему на ухо: «Глухая собака...» Дед не обижался. Еще с молодости он ее любил. Любил до беспамятства. Свою Клаву... всю жизнь они прожили вместе. Родили двоих сыновей-красавцев. Николая - в сороковом. Сразу после той, незначительной, Финской. В том самом марте, когда у финнов брали Выборг - Виипури... Виктор, что означает «победитель», родился в сорок седьмом в Корее.

После войны с японцами офицерам разрешили привозить свои семьи из Союза. Тем, кто прибыл с нищей, разоренной политическим режимом и войной Родины в далекую Корею, казалось, что они попали в какую-то восточную сказку. Особенно дивились на заграничные чудеса те, кто приехал из глухой деревни, как Архелая, где она всю войну прожила в доме матери. Тяжело работала в колхозе. А зимой, когда особой работы не было, девушек и женщин отправляли в лес, на лесозаготовки... Потом, эти зимние лесозаготовки не раз будут присутствовать в семейных разговорах как определение для самого каторжного, надрывного труда.

- Ну, это разве работа? Вот бы вас в лес зимой, на лесозаготовки... Я бы на вас посмотрела... - не раз и не два говорила родным Архелая Ивановна спустя еще долгие годы.

Хорошо стояли гарнизоны. Военный городок достался нам от японцев. Казармы для солдат. И дома офицерские. А в домах тех чего только нет... Белье. Посуда. Мебель разная - резная. Кровати в спальнях широченные. Огромные радиолы. Иероглифы на зеленой, светящейся шкале... Зеркальные потолки. И вазы разные. С драконами... Как вошли наши офицеры в те дома, так и обалдели... Никогда наши ребята такого богатства не видели... Хорошо, хорошо жили японские самураи на корейской земле... Однако мы их все равно поперли! Освободили корейский народ от японского милитаризма! Стояли в Корее ваши гарнизоны - японские, теперь наши постоят! Советские!

Много, ой, много было в той жизни смешного. Забавного. Как-то раз офицеры решили попробовать местные кушанья. Офицеры думали, ну, сейчас местный повар приготовит им чего-нибудь там из свинины. А надо сказать, что свиньи в Корее содержались тогда почти что в каждом деревенском дворе. Большие и довольно крупные. Только вот не светлого, как в России, а абсолютно черного окраса. Такая местная порода. Вот позвали повара из местных. Тот приготовил. Мясо. Белое. На вид - обыкновенная курятина. Офицеры едят себе... Все съели... Понравилось! Зовут повара. Спрашивают через переводчика:

- Что, мол, за зверь такой? Не свинка ли?

- Нет, - отвечает повар. - Не свинка. Это собачка, господа русские офицеры...

«Господа офицеры» потом долго-долго блевали... А зря. Корейцы откармливают на убой специальную породу собак, как в Европе - свиней. Порода та - крупная. Напоминает европейских водолазов. Хозяин ту собаку из специального собачника не выпускает. По улице она не бегает. В будке на цепи не сидит. Живет, как свинья. Ест. Толстеет... И так - до самого убоя. Между прочим, эти «бусурмане» еще и змей едят...

В Корее офицерские жены даже ходили на местный рынок. Разумеется, не одни. В сопровождении ординарцев. В те годы каждому старшему офицеру полагался ординарец. В царской армии он назывался «денщик». Денщик - солдат, обслуживающий офицера в быту, помогающий ему и его семье по хозяйству. Денщик-солдат - слуга при офицере. Денщик обязан чистить офицеру сапоги и стирать форму, топить печь, собирать на стол. Быть у него на посылках... Да мало ли чего должен был делать денщик в царской армии... То же самое вменялось в обязанность ординарцу в Армии Советской - сталинской. Кстати, кроме денщика, у старшего офицера был еще и водитель. И тоже персональный!

Вот выходят или, чаще всего, выезжают офицерские жены на «Виллисах» в город. На рынок. Приехали. Шум. Толкотня. Каждый кореец трясет своим товаром. Зовет покупателя. Прилавки и лавки... На них и в них - овощи-фрукты и всякая снедь... Тут же ходят американские солдаты... До мая сорок восьмого Корея не была разделена на два враждебных государства. Поэтому контакты между оккупационными зонами бывших союзников были самым обычным делом. Делегации американских офицеров посещали с визитами базу русских. Вообще-то простые американские солдаты сами были не прочь поторговаться с местными. Чего-нибудь купить-продать. Благо, у них всего было навалом. «Добрый дядя Сэм» для своих парней довольствия никогда не жалел...

У корейцев в те годы даже была такая немного обидная для нас дразнилка-поговорка: «Америка - купи, купи, купи... Россия - продай, продай, продай...» Американцы на том рын-

ке продавали... А люди советские, русские, наши победители, - покупали. Покупали все, что достать в Союзе не представится возможности. Ни за какие деньги. Многих выручали взятые трофеи... Благо, сам Верховный разрешил их брать, еще с Германии...

После войны полстраны лежало в развалинах... Кстати, ведь и до войны с товарами и продуктами в СССР было, мягко говоря, негусто. После завершения коллективизации наступили несколько лет повального, дикого голода. И хотя хлебные карточки отменили в тридцать четвертом, отовариться даже самыми простыми продуктами было невероятно трудно. Ночные хлебные очереди в русских провинциальных городах оставались печальной реальностью еще зимой тридцать шестого - тридцать седьмого года. Даже в жестокие морозы люди стояли всю ночь только для того, чтобы с утра купить хлеба... А потом - надо было идти на работу... Что же до «товаров народного потребления», то в планы Первой Пятилетки их выпуск вообще не входил. Все силы страна бросила тогда на создание крупных отраслей тяжелой промышленности. И прежде всего - стратегического и военного направления.

«СССР долго без войны не проживет... Скоро, скоро мы пойдем вперед, «неся освобождение народам»... - так решил Иосиф Сталин. И его решения претворялись в жизнь. Любой ценой... Окончание НЭПа означало лишение страны самых элементарных, насущных, бытовых вещей. Первая Пятилетка для легкой и пищевой промышленности оказалась просто никакой. И только Вторая Пятилетка слегка оживила эти почти уже погибшие экономические отрасли... Неудивительно, что власти умело отводили от себя общественное недовольство, организуя на местах показательные процессы над «врагами народа»... Несчастные советские и партийные чиновники местного разлива, угодившие тогда под «ежовские рукавицы», зачастую были грубы и заносчивы перед простым народом. И потому многие были рады свести с ними счеты...

Вот так стояли русские - советские солдаты - офицеры в Корее в те давние года. Служили - жили и не думали, что надо будет уходить домой. Все считали, что советские солдаты пришли туда надолго. История и жизнь распорядились иначе...

Нарядный, свежесбрившийся, наодеколоненный крепчайшим «Шипром» дед Николай в новеньком зеленом пиджаке с орденскими планками. Рядом - родные. Сыны-молодцы. Архелая. Да «дочки» - невестки. Да, сегодня за такой праздник и рюмочку лишнюю не грех пропустить... Сидит Прокопьевич довольный. Улыбается. А Николка, старший сын, поднялся с рюмкой. И все приятное, приятное про деда-ветерана:

- Дед-то наш Николай - героический!.. Не пропал, хоть и трудно им без отца потом было... Гражданская... Сначала были в Архангельске белые. Потом пришли американцы и англичане. Немного. В Первую германскую они возили в Россию оружие. Потом Октябрь... Англичане и американцы решили красным оружие не отдавать. Высадили у нас на Севере свой экспедиционный корпус... В Гражданскую в Архангельске было белое правительство. Правительство генерала Миллера... Англичане и американцы воевать за белых не спешили. Да это было для них и не резон. В Европе кончалась Мировая. Потом пришел Версаль. «Биржа в Версале» - новый, европейский, географический раздел да финансовые интересы у Америки наклюнулись тогда, уже и в Старом свете... Мир вовсе без России или с Россией слабой, большевистской, им представлялся тогда наилучшим историческим итогом войны и русской революции. Потому бывшие царские союзники не давали белым ни одной винтовки, ни танка, ни самолета задарма. Они их продавали! Продавали аж по второму разу! Но как в народе говорят - скупой платит дважды! Красные белых прогнали. И генерал Миллер за границу убежал. И англичане. И американцы... Потом пришли красные... Я всего-то, всего и не знаю... Верно, дед?..

- Верно, Колька! Складно-то у тебя все как... Экий ты сукин сын у меня уродился!.. - весело заметил дед.

- Коля у нас... Он хороший... Вот начальником цеха недавно назначили... И коммунист, как отец... Только уж больно много ты куришь... - заумилялась на старшего Архелая.

- Коленька, золотце, ты не кури... Много... - со смешком добавила Ганна.

Николай расплылся в довольной улыбке и продолжал:

- Двенадцатый год рождения... Вовремя, вовремя ты, Прокопьевич, родился. Ты родился, и век твой для тебя поспел. Ко всем событиям большим ты, отец наш, был причастен. Да и власть тебя на веку твоим не обидела... Можно сказать, что Советская власть дала Николаю Прокопьевичу все... Все дала и самой полной мерой... Ничего, можно даже так сказать, не пожалела... Сами подумайте. Ну кто бы наш дед был до семнадцатого года?.. Мешки бы в городе таскал. В деревне бы быкам хвосты крутил... После Гражданской в тя-

железные годы он, сирота, кончил школу. Потом поступил в Училище Землеустройства. Потом - Комсомол... Дашешь стопроцентную коллективизацию!.. Начались колхозы... Он - землеустроитель, землемер-мелиоратор. Его - в район. Там агростанция. И МТС... Работал. Дни и ночи отдыху не знал... Потом по направлению ВЛКСМ - в артиллерийское училище... Рейнская область... Испания... Чехословакия... Аншлюс... В мире все отчетливей тянуло порохом. На Европу надвигалась большая война... Прошел Финскую. От звонка до звонка... Началась Отечественная... На Курской Николай Прокопьевич вступил в партию... Прошел от Курска и Орла до Кенигсберга и победной, майской Праги... Дошел в Европу - его оттуда в Азию. Китайцев да корейцев из беды выручать... Медали... Ордена... Да вы и сами знаете.

- А в личном плане? Расскажи! - заулыбалась мать.

- А в личном плане мы двух дураков родили! - засмеялся дед. - Верно, Архелая?..

- Сказал тоже... У нас ребята-то хорошие. И Коля хороший. И Витенька. И Ганна. И Регина... Вся семья... Вот помню, Николай, как ты меня по молодости лет добивался... Жили мы тогда в Конищево. Я, сестра моя Лизавета и мама наша, Клавдия Антоновна, царствие ей небесное... Были и еще у мамы нашей деточки, так ведь тогда очень много детей умирало. Даже и у состоятельных. Заболел ребенок, и все... Ух, и строгая-то наша мамочка была...

- Ее, говорят, в деревне даже мужики боялись... Вот Лизка от нее даже в соседнюю деревню зимой по снегу убежала... - смеясь, вставил дед.

- Ну, боялись или нет - не скажу, - продолжала Архелая Ивановна. - Скажу только, что у нас в роду-то все не робкого десятка. Папа мой Иван Антонович при царе служил лесничим. Работа не для робких. Браконьеры... А вот дед мой Антон был мельником. Мельница у него была водяная, на реке. Все крестьяне к нему и ездили зерно молот. Богатый был мужик... А еще народ говаривал, что у него на мельнице черти бегают в колесе. Правда, правда!.. Говорили, что раз один дедов работник видел меж колес рога и рыло как бы поросычье, на козлиной, наглой морде... Другой раз как будто кто-то даже видел хвост... С тех пор ходили разговоры - слухи, что Антону на мельнице сам черт помогает... А вот папа мой по мельничному делу не пошел. Был лесничим в Кичменской волости. Леса у нас в волости были почти все сплошь казенные. Государственные то есть... Да и вообще, у нас на Севере помещиков было мало. Только вокруг городов усадьбы и были. И крестьяне, еще до Реформы, тоже были почти сплошь казенные... Так вот, лесникам платили жалование. Полагалась им и форма. Совсем как в царской армии... У меня даже фотокарточка где-то была... Так что жили мои родители Иван Антонович и Клавдия Ивановна при царе неплохо. А по сравнению с местными крестьянами, даже можно сказать, были они «из богатых»... Был у них свой дом в деревне Конищево. Большой дом. Мебель разная... Вон диван наш плюшевый с гнutoй спинкой до сих пор в углу стоит... И посуда из Конищево, вот она - на столе... Столик кругленький наш - у Коли, на Горького. Жив до сих пор... Жалко, что кресло тогда мы в Сосновке оставили...

После Великой войны мы туда ведь и попали. В Сосновку... Хороший, светлый пригородный поселок. Даже клуб имелся справный. Колонный, белый, каменный. Правление, баня да больничка... После войны быстро раздался поселок наш вширь. Новые дома на два этажа, даже и с водопроводом... В пяти минутах на автобусе - «Мелиоратор». В полчасе - и областной центр Устрятин. Ну, чем там плохо было?.. А природа там какая! Богатая природа русская, могучая, как на картинах художника Шишкина... Заливные луга под холмом. Поля-перелески. Черный бор за полями вдали... Поутру над рекою Гадюкой туманы расстилаются. Красота, красота там такая, что язык заглотишь. А в лугах все травы, травы... Золотая рожь, да василечки синенькие, да колокольчики между золотом. Белые ромашки, клевер в разнотравье рассыпался по лугам. Век смотреть не надоест человеческому глазу на такую неземную красоту. Век тем воздухом дышать медяным, и не надышаться... Вот какой наш край. Русский. Нутряной. Здоровый, северный, исконный. Нету, нету для меня лучше, чем наши родные, устрятинские края...

Над крошечной речушкой на кругом, белесом косогоре - красные стволы корабельных сосен прут ракетами в голубую вышину. А кругом - дали. Северные дали. Высокое, страшное небо с фиолетовой набухшей тучей. Неласковое солнышко лучиками из-за тучки прямо на зеленый бор, зеленый рай. Высунет лучик из облака. Лизнет, да вдруг и брызнет светом - золотом по розовым стволам, заиграет, заплещет на раскидистых кронах волнами нездешнего, горного света. И не роща сосновая это - это храм божий. Настоящий, настоящий нерукотворный храм. Сам бог тот храм строил. Сам и людям его подарил. Нател! Вот вам! А они, неразумные, в красоте такой порой с рождения живут и не видят ее как будто. Все свое... Все дела да хлопоты... Вот слепые!.. Ну где еще сыскать такую во всем огромном



мире божью благодать?.. Да, не видят многие все это, живут, словно и не живые вовсе. Словно мертвые. Вот же ходят в рощу ту сосновую, красную - прекрасную - корабельную, мужики да парни из местных шалопаев вино да водку пить. Ну, выпили бы себе, мирно посидели, так зачем им надо еще после и бутылки бить?.. Осколки да газеты под соснами. Ножиками по стволам имена да маты вырезаны... Не народ, а чисто свиньи! Такую гадят красоту! И пошто они ее не понимают, - сокрушалась Архелая, а потом продолжила: - Все, что баское да хорошее, мы не ценим до поры. Живем, как слепые или как детишки неразумные. Думаю с тоской порой - зазря мы в город переехали. В городе природы нет или вся она задохлая, да выгоптанная. Чахлые кустики, больные деревца. Дымы из труб фабричных в небо грязным коромыслом упираются. Гремучие грузовики да дымные автобусы. Дома желтые, хрущевские, пооблупенные. Серое море асфальта. А чуть дождик пройдет, так грязюка на нем невозможная... Вот жили же мы в той Сосновке, и как же хорошо нам там тогда было... Собрались, да уехали, как дураки. Даже кресло там бросили. Не потащили кресло в город... В общем, жили они хорошо. Как и мама с папой жили до той беды. У них ведь тоже дом был - чаша полная. Вдруг - война... С той войны и пошла беда. На Германской, в далеких Карпатах, погиб папа мой - Иван Антонович... Потом - революция... Страшное, страшное время пришло. Приехали в деревню на подводах комиссары хлеб из деревни в город выгребать. Ходили, искали. Все с винтовками. А старший - в коже черной и с маузером. Всем он этим маузером прямо в нос тогда-то так и лез. Все грозился: «Контра! Контра!..» Найденный хлеб приезжие грузили на подводы и увозили в город. «Так велел товарищ Ленин!» - говорили они...

А после приезжие организовали в деревне комбед. Комитет бедноты. В комитет тот сбежались не только те, у кого было много детей, а земли маловато, но и пьяницы разные. И воры... Помню, что тогда как раз пришел с каторги Лукьян Фролов. Сидел он при царе за воровство и за убийство. С такими же, как и он сам, проходимцами грабил Лукьян при дороге в Бесово людей... Какого-то купца они тогда прирезали... Их и схватили... Сидел в Сибири... Потом полиции не стало. Он и ушел... Пришел Лукьян в комбед - пошли дела. Никогда Лукьян Фролов не думал стать начальником. А тут такая лихая удача. Грабить можно кого хочешь... Приходили в любой дом. Без приглашения. Без стука. И требовали «именем Советской власти» жратвы и выпивки. Тащили мясо с погребов. И бочки с огурцами и капустой. Тащили свиней. Вели лошадей со двора. Снимали с хозяев тулупы... Один раз нужна им была входная дверь в комбед. Да посолднее!.. Где достать? Надо снять у тех, кто побогаче!.. Они в наш дом! Снимают!.. Уж Клавдия их самогонкой поила... Думала: выпьют, подобреют да отступятся... А они, как черти, нажрались. Песни про мазуриков каторжные пели... После пьяные свалились до утра. А наутро зенки продрали и к обеду - сняли дверь. Увезли в комбед на подводе... С той поры маменька моя, Клавдия Антоновна, царствие ей небесное, говорила: «Коммунист - всегда был вор! Вор, свинья и пьяница!..» Не хотела, ой, не хотела меня мама за комсомольца замуж выдавать... Как же это, говорит, комсомолец!.. Ишь чего, девка, удумала... Они все антихристы, даже в бога не верят... Сама мама, хоть и в церковь никогда не ходила, но в бога веровала. И иконы у нас в доме были... Богоматерь - Пресвятая Богородица... Николай Угодник... Большие такие иконы. Все в окладах. Красивые... А то, что в церковь не ходила, так у них с папой Иваном Антоновичем вера была такая. Они «толстовцы» были... - продолжала рассказ Архелая. Глубоко вздохнула и в тот же миг часто-часто заморгала. По сморщенным щекам побежали слезы.

- Ты чего, Архелая... - потрепал по плечу ее дед.

- Маму и папу жалко. Не увидеть их уже нам вовек... Только в царствии небесном... - горько-горько всхлипывала бабушка.

- Ну, а с Федькой, подлецом, чего было? - спросил дед, чтобы, наконец, перевести разговор на другое.

- А что с ним надо было делать?.. Прознали власти про его дела. Приехали чекисты - все в коже. Да ЧОНовцев отряд. Схватили их пьяными. Хотели увести на подводе в район. Думали их судить... А они, дураки, - вырваться. Хотели бежать... В них стреляли... И все... Хороший ты, Николай... Зря Клавдия-покойница все боялась меня за тебя выдавать... Опосля-то ведь и она, когда тебя хорошо узнала, говорила мне, и не раз: «У тебя Николай мужик хороший. Ты его завсегда держись... Работящий, да и пьет мало... хоть и партийный он, прости, господи...»

Наконец, когда бабушка немного успокоилась, Коля довершил свой рассказ. Рассказ о том, как Николай демобилизовался. Как вернулся он с Архелеей обратно в Союз. Рассказал про особую дедову честность. И сам не воровал, и другим воровать не давал. А в армии чего украсть - всегда найдется... Добавил, что когда расформировывали гарнизоны, то не

которые офицеры тащили из Кореи все, что могли. Иные «Виллисы» проводили по документам как лом, чтоб обзавестись машиной. И притом абсолютно бесплатно... А Николай Прокопьевич гвоздя ржавого сверх положенного Родиной себе не взял... Настоящий коммунист! Не то, что некоторые...

После Николай Прокопьевич работал землеустроителем-мелиоратором в Сосновке при МТС. А Архелая - бухгалтером в совхозном правлении. В ту пору она закончила бухгалтерские курсы... Получили дом от правления... Жили хорошо, весело и дружно. Николай Прокопьевич. Архелая Ивановна. Коля-старший и Витенька-младшенький...

Через некоторое время Николая перевели в город. Переехали всей семьей. И Клавдию Антоновну из Конищево они к себе забрали... Жили в деревянном доме на Жданова, что стоит и до сих пор, у стадиона «Динамо». После - получили новую, двухкомнатную квартиру в новом, «хрущевском» доме на Ворошилова. Тридцать шесть квадратных метров площади... Теперь в этой квартире живут пятеро... Коля и Ганна получили от завода кирпичную «двушку» за рекой, на Горького... Виктор и Регина «стоят на очереди». Уже давно...

Николай Прокопьевич долгие годы возглавлял проектный отдел в Мелиоративном проектно-институте. Новое, современное, трехэтажное здание на Калинина... Сам он - большой начальник был... Что ты!.. А жену Архелая после взял к себе - секретарем!.. Хороший был начальник. Требовательный!.. С персональной «Волгой». А та - с персональным шофером... Все, как тогда, в Корее... Вот такая история у нашего деда.

В настоящем у Прокопьевича - пенсия. Да внук Андрюшка. Славная трудовая биография. Достойный вклад в копилку славных дел нашей великой Родины...

### Пересадка-2

Бегали к автомату пить воду с сиропом за три копейки. И за копейку - без сиропа. Жаркое, слепящее солнце. Яркое, печное лето. До электрички еще далеко. Часика два... Обошли кругом памятник Владимиру Ильичу... Что еще интересного? Слева от площади на углу - красно-белая телефонная будка. Искореженная дверца. Битое стекло. Несчастный таксофон с оторванной трубкой. Рядом с будкой - поваленная на бок урна. Хулиганы... И пьяницы... И откуда сколько развелось такого сброда на нашу-то голову?.. Справа, у автобусной станции, - бетонный стенд. Острая звездочка, крашенная красным. Перед звездочкой - молот и серп. Наверху - массивная надпись: «Члены Политбюро ЦК КПСС». Слева от всех - товарищ Брежнев Леонид Ильич. Он самый главный. Ему и портрет побольше полагается. Улыбается довольно. Волосы зачесаны назад. Чтобы лоб казался повыше... Густые, мохнатые брови. Обрюзгшие, стариковские щеки. Маршальский мундир с пятью звездочками и Орденом Победы. На шее - галстук с алмазной маршальской звездой...

- Старенький, просто старенький дедушка. Ну совсем как дед Николай, подумал Андрюшка. И какое-то странное чувство нежности к товарищу Брежневу сладкой медовой стружкой потекло у него из-под сердца... Странное, очень странное и совсем неожиданное потепление сердца ощутил он тогда, в тот странный миг. Не одно ли оно, это чувство странное, движет и любовью? И дружбой - взаимной привязанностью двух людей? И верой - любовью земною религией. Не оно ли одно отличает людей от зверей?..

Длинной чередой портреты меньше. Несколькими знакомых. А иные и вовсе пока неизвестны. Андропов... Горбачев... Гришин... Громыко... Кириленко... Кунаев... Пельше... Романов... Суслов... Тихонов... Устинов... Черненко... Щербицкий... Галерея старичков и еще не старых мужиков... Кто-то из них еще «прогремит». Кто-то сойдет без следа.

Сбоку от «членов» - второй стенд. На бетонной боковушке - знакомый профиль и цитата: «Мы придем к победе коммунистического труда. В.И. Ленин». Правее - портреты местных ударников... На тех и смотреть не стали. Все равно Андрей и папа Виктор никого из них не знали. В лицо их знали только местные...

Тут же на площади - стенд с газетами. Вот московские. «Правда», «Известия» и московская «Комсомолка»... Дальше - местный «Червоный Прапор»... Скользнули взглядом вдоль полос... «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября»... «Путь созидания и мира»... «Светлый путь»... «Выбираем будущее»... «От Байкала до Амура»... «Очередная экономическая авантюра ястребства британских консерваторов»... «Молодежная бригада»... «Вашингтонские ястребы»... «С чужого голоса»... «Два мира. Два детства»... «С возмущением и гневом»... «Свинья под дубом» (фельетон)... «Дорога измены»... «Том с двойным дном»... «Комсомол - не просто возраст. Комсомол - моя судьба»... «Магистраль. Трудовые будни»... «На самой макушке Земли»... «А если это любовь?..» «Об одном лауреате» (фельетон)... «Поэтическая страничка»... «Изгиб гитары желтой»... «Клуб самодеятельной песни «Голубые

гитары»... «О чем они поют?..» «Письма читателей Комсомолки»...

Вот любимое. Карикатуры. Вот одна... По решетчатому мосту над каким-то болотом мчится поезд с надписью «XXVI Съезд КПСС». Под мостом в черной луже сидит безобразный, толстый человек в армейском мундире с шевроном «USA» и огромной «аэродромной» фуражке на голове. Со всех сторон он окружен зарослями камыша и уродливыми жабами. Он и сам похож на безобразную жабу. Человечек разевает огромный рот и квакает: «Утопия! Утопия!..» Под рисунком - хлесткая надпись: «Не садьте в лужу, господа!» Вам смешно?.. А мне - не очень.

### Лабаз

На торце вокзальной площади - почерневший от времени, приземистый сруб. «Продовольственный магазин ОРСа Киевской железной дороги», - гласила надпись на эмалированной синей табличке. Почти по самому верху дверей прибит лозунг: «Народ и партия - едины!» - большие белые буквы по огненно-красному кумачу.

Низковатая ободранная дверь манит черным дерматином. Из прорыва выглядывают клочья древней, желтоватой ваты. Маленькое, пыльное витринное стекло. Металлическая решетка, сваренная «солнышком», между старых, облезлых рам. Меж ними - грязь и умершие мухи.

Отец и Дюша заглянули внутрь лабаз. Голая лампочка под низким потолком. Застекленные витрины. Шкаф с хлебными лотками. Сбоку на веревке свисает погнутая железная вилка - предлагает попробовать мягкость местных хлебобулочных изделий... За спиной и с боков продавца - полки с многочисленным товаром. Вот он: Хлеб. Тот, что всему голова. Черный кирпичиками - «Дарницкий». И круглый - «Киевский». Батоны белые. «Нарезные». «Подмосковные». Аппетитный хлебный запах... Булочки - «Школьные». Маленькие, но очень аппетитные. А запах... Что за запах... Дурманящий... Вот коржики - «Любительские». Что строго на любителя?.. Вот пирожное с глазурью. «Колесо». Рядом - «Колесо с орехами». Ломкие кругляши. А рядом - вафли. «Полет». Начинка светлая. Печенье «Молодежное». Пряники светлые «Салют». На веревках - бублики. Баранки. В пакете из плотной белой бумаги - сухари «Молочные». За витринным стеклом - побежали-поскакали крупы. Крупа перловая. Крупа пшеничная. И рядом - большая пачка. Каша овсяная «Геркулес». Рожки «Яичные»... Немного неприличное название... На полу за спиной продавца громоздятся голубая пирамида из пластмассовых ящиков. Молоко и кефир. Молоко в треугольных пакетах. Кефир в толстеньких, коротких стеклянных бутылках. С крышечкою из толстой фольги. Рядом - молочный бидон. На витрине - объявление: «Сметана отпускается только при предъявлении соответствующей тары». Снова полки. Консервы рыбные. Бычки в томате. Салака в банках. Скумбрия. Ставрида. Салат в банках овощной - «Охотничий». Сделано в Польше. Салат овощной - «Завтрак туриста». Сделано в СССР. Икра баклажанная. Коричневатая субстанция в стеклянной банке. Цвета «детской неожиданности». Сырок плавленый «Дружба». Легендарная закуска русских алкашей. Все. Дальше начался «мужской отдел» советского продмага.

Шампанское «Советское». Высокая зеленая бутылка. С высоким горлышком, по верху обтянутым золотистой фольгой. Треугольный ярлычек и большая наклейка - с медалями... Ресторанно-новогодняя шипучка всей страны... С утра «такое» нормальные не употребляют... Коньяк азербайджанский. Коричневая жидкость в водочной бутылке. На треугольном ярлычке - медали. На наклейке - кавказская вязь. Напиток для аристократов. И кошелька, и духа... Водка «Столичная». Английская надпись наверху. На наклейке - медали. Ниже узнаваемым абрисом - столичная гостиница «Москва». Водка «Пшеничная». Белая наклейка. На наклейке - хлебные снопы. Наверху - медали. Водка «Московская». Высший сорт. И тоже медали... У алкоголя в СССР медалей, как у Брежнева. Водка «Тройка» с белым ярлычком, на котором нарисованы сани, запряженные лихой русской тройкой... Водка «Особая». И водка «Экстра» с зеленым ярлычком. Уже без медалей. Не удостоилась. Пока... «Прозрачный намек на зеленого змия», - говорил про такую дюшин отец. Вино молдавское «Белый аист». Аист, сплетенный из лоз винограда на ярлыке. Медали. Медали... Вино грузинское «Киндзмараули». Медали... Медали... Медали... Вино грузинское «Хванчкара». Темная бутылка с огненно-красной наклейкой. Причудливая вязь на этикетке. И тоже - медали... «Любимое вино товарища Сталина», - говорили про него в СССР. Кончилось вино для «аристократов». Началось плодово-ягодное. На наклейке целуются яблоко и груша. Напиток от местного производителя. В народе такое любовно зовут «бормотуха». Про него папа говорит: «Делают специально для горьких алкашей. И исключительно из

гнилых яблок. Чтобы добру не пропадать. А то сгниет задаром. По всему СССР какой убыток»... Пиво «Жигулевское». С маленьким треугольным ярлычком на низком горлышке. В темных коричневых бутылках... Дефицит и большая удача! Мечта советских мужиков!

И ниже полкой - снова «женское». «Для вас, хозяйки», как пишется в журнале... Вот джем «Сливовый». Тоже весьма хорошая вещь. Для женщин и детей. Завсегда хорош бывает к чаю. Ниже полкой - соки. В огромных трехлитровых банках. Целые батареи из могучих, пузатейших баниц... Сок яблочный. С мякотью. Мутный. И сок виноградный. Прозрачный, как слеза. Сок березовый. Сок томатный, и тоже, естественно, с мякотью. Темная, помидорно-томатно венозная кровь земли. Вот детское советское питье. Лимонад «Буратино». Треугольный ярлычок на горлышке. На нем - надпись и картинка с улыбающимся во весь рот носатым человечком. Поговаривали, что и «Буратино» производят из гнилья. Что детская «бормотуха», что взрослая... Зеленый «Напиток шипучий, безалкогольный - Тархун». В такой же лимонадной таре. Но с зеленым ярлычком. Отец говорил про него как-то, смеясь: «Добавляют шампунь. И для пены, и для вкуса, цвета, запаха. Потому и шампуня приличного нет»... - так он шутил.

Пошел чай. Вот он - «Краснодарский». Бумажные ленты схватили синюю бумагу, скрепили прочно плотную фольгу. Сорт высший. Весьма недурен... И рядом - «Грузинский». Притулился, как бедный сиротка... «Грузинский - с дровами»... - так говорит про него дюшин отец. Беденький. Никто-то его не берет, думает Дюша про тот чай. И ему становится даже как-то неожиданно жалостливо... Еще один сиротка. Кофейный напиток «Ячменный». Коричневые, плотные коробки... Давно скучает... Никто его, беднягу, не берет... Эх, вы, сироты, сироты лабазно-магазинные... А дальше пошло интересное. Конфеты... Вот шоколад «Юбилейный». Блестящая обертка с причудой вензелей по синему полю. Шоколадная фабрика «Красный Октябрь». Город Москва. Детское любимое - женское заветное... Наш советский - русский шоколад. Самый шоколадный вкус в мире. Вот конфеты «Коровка» - конвертики со сладкими письмами, тающими патокой во рту... И еще, еще конфеты. Вот «Батончики соевые». «Батончики белые». «Ирис Кис-кис» по кличке «сломай зуб» - очень твердые. Леденцы «Мятные» - маленькие, светлые. Леденцы «Дюшес» - зеленые, как драгоценные камни, прозрачные, большие. Конфеты «Лимончики» - сладкие, желтые шарики с белой начинкой внутри. Как хорошо было их раскусить... Конфеты «Подушечки» - с вареньем. Бабушка Архелая такие очень любит...

И вновь пошло-покатилось мимо совсем-совсем неинтересное. Вот соль йодированная в больших белых пачках. Глыбками. Твердокаменная, как старые большевики. Вот сахар-рафинад. Развесной. Слегка желтоватый... Из большого серого мешка за прилавком - развесная железная ложка. Картофель в деревянном ящике. Какой-то мелкий. И весь в земле. Рядом - такая же мелкая, словно умученная кем-то, морковка. Свесила пожухлые хвостики ботвы. Капуста. Подгнившие верхние листья на кочанах. Считай, она свежая... И рядом - родная сестрица ее. Квашенная. Лежит-отдыхает, как свинка в жару. Развесная. С виду свежая несильно. Но вроде еще и... не гнилая? В белом обшарпанном эмалированном корытце, из которого торчит огромная, развесная ложка. Наверное, тоже специально для алкашей готовят. На закусь. «У нас ведь все для блага человека. Свинья такое еще, пожалуй, и жрать не будет», - говорил про такое изысканное магазинное яство отец. Кстати, о квашенной капусте... В годы, наступившие уже за гранью нашего основного рассказа, Андрей и сам квасил такую «государеву» капусту. Как и когда?.. Минутку терпения... Сейчас я вам все расскажу.

### Капуста

В годы самой ранней «перестройки» школьников активно «приучали к труду». Гоняли летом в школу на «трудовую практику». Пацаны и девочки чистили от грязи парты, красили столы и батареи. Носили и двигали мебель. И даже помогали во время ежегодного июльского ремонта. Промывали пол за малярами... Известной всем школьникам летней работой являлась уборка мусора со школьного двора. И парадного двора - у крыльца. И хозяйственного - у кочегарки... Школьники малевали бордюрные камни, копали ров - траншею полосы препятствий для уроков НВП, сажали цветы на клумбах... Но не только... Утомительной и особо напряжной работой была прополка сорняков на совхозном поле. У так называемых школьных «шефов»...

«Шефствовал» над провинциальной средней школой в ту давнюю пору совхоз «Осаново». Это «шефы» чем-то помогали андрюшиной школе. По-моему, материалами, требующимися для ремонта старого здания... И еще - деньгами. Давали на покупку мебели... Чем

еще - не скажу. Хоть убейте... Подшефные тоже не должны были оставаться в долгу. В обязанность школяров входила отработка богатой «шефской» помощи. Притом исключительно своим горбом. И своими полудетскими руками. В июне школьники пололи на совхозных полях сорняки. Таскали их руками из глинистой, недоброй, раскаленной земли.

Высоко стоит в синей безоблачной вышине горячее солнце. Ни ветерка. Раскаленный белый день. Полуденный жар. И длиннющая борозда впереди. Одна на человека. Но это только первая. Согнулись. Начали. Перебирая ногами, идем-ползем вперед. Земляная пыль в лицо. Гнутая в дугу спина. Соленый пот из-под жакейки соленую, щекотной струйкой стекает на лицо. Льет за ворот. Противнейшею каплей висит на носу... Можно работать на корточках. А то потом с непривычки-то и не разогнешься... Или идти впрысядку, если так тебе легче. Или просто согни спину - и вперед. Как трактор... До конца долгой борозды. А потом - обратно... Вот так школьники и работали. Нынче школьные «барчуки и барышни» даже классы после уроков не моют! Нет дежурств!.. Куда идет Россия!.. Вот в мои годы классная Ия Васильевна всегда нашим девочкам говорила: «Не будете углы в классе промывать - мужья у вас пьяницами будут!..» И они промывали!.. Наверное, боялись пророчества... И что вы думаете? Ни у одной нашей девочки нет спившегося мужа!.. Вот что такое советская педагогика! Макаренко... Сухомлинский... Воспитание трудом...

Из целого класса спившихся у нас - всего человека три. Вова Беряков. Был такой тихий, спокойный пацан... Жизнь его, наверное, задолбала?... Еще - Саша Мордышев, по кличке Морда. Ну, тому простительно. Тот за кражу сперва пошел в колонию. Когда вышел - стал «квасить» на радостях не по-детски. «Доквасил» до «белочки». Да загремел с нею в «дурку»... Недавно встретил его... На голове у Вовы ни единого волоса. Манеры, как у урки. Рассказ о том, что он за «Морду» с кем-то дрался. На днях. «С ножом махался даже», - похвально он и показывал мне свежий шрамик... Вот ведь как его обидели!.. Дальше последовала традиционная просьба денег на «бухло» и предложенье - вместе «дунуть» и махнуть по «телкам»... Третий спившийся был Вася Головахин... Ну, тот еще в школьные годы любил «это дело»... Вот такие новости от наших девочек, со встречи одноклассников. Встречались в ресторане «Блин - Горой». Приятно было нам там посидеть. И очень весело... Особо с водочкой, конечно...

По осени подрастающее поколение будущих советских людей всегда отправляли на уборку картофеля в пригородный совхоз «Осановский». Отвозили их туда на автобусе. Или отправляли от школы колонной пешком. Благо, путь до него, совхоза-то этого, весьма недалек. Но вот в один прекрасный осенний день школьников не послали месить грязь на раскисшие осенние поля. С неба шел проливной, отвратительный дождь. Похоже, что их просто пожалели. Но дождь, как известно, ни в работе, ни даже на футболе не помеха. Играют же в дождь футболисты... Футболисты играют, а пацаны-фанаты с трибуны кричат: «В России нет еще пока команды лучше «Спартак»... А с другого сектора несетя: «В России нет, мы скажем прямо, команды лучше, чем «Динамо»... Вот козлы, думают те и орут в ответ: - «Наш противник - суперклуб по сосанию... конфет!» Потом, после футбола, следует традиционный «бокс» или и вовсе «бой без правил»... Но это я про обычные фанатские кричалки говорю. А вот в дождь у фанатов есть и особая кричалка. Представьте - льет, как из ведра. Поле - болото. Футболисты, как чушки в грязи, а из фанатского сектора из-под клеенок несетя: «Дождик - лей! Ветер - дуй! Нам, фанатам... все равно!»

Так вот, собрали нас тогда в школе. Вдруг - дождь. Что делать?.. Распускать народ по домам нерационально. Спрашивается: на кой тогда всех с утра собирали? Прибежал совхозный бригадир - небритый мужичонка неопределенных лет в дождевике. И радостно-то так он говорит нашему директору Зинаиде Сергеевне: «Сегодня автобуса до поля вам не будет. Сами видите, какой нынче дождь... Не гонять же ЛиАЗик наш попусту. Жалко его все-таки. И дорога, сами знаете, от нас до города какая... Да вы шибко сильно не расстраивайтесь, уважаемая Зинаида Сергеевна! Есть у нас работенка для ваших детей! Отправим их на склад совхозный наш, что на улице Можайского. Там какая-никакая а крыша все-таки пока имеется. Большинство в помещениях будут работать, как бары. Да и те, кто на улице... тоже ведь... не сахарные - не растают... И идти от вас очень близко. Через мосток железнодорожный. Потом направо. От красной башенки водонапорной за общежитие локомотивных бригад - и во двор. А там уже и обитель наша ваших деток дожидается... Выручите нас, чисто по-шефски мы вас просим. Урожай капусты большой уродился в этот год, будь она неладна... Так что пошлите детей, помогите нам с урожаем тем побороться. Мы-то всем совхозом перед вашею школою никогда в долгу не останемся»...

Короче, уговорил бригадир Зинаиду Сергеевну нас послать. Построили нас, значит, в колонну по двое, и мы пошли. Нам ведь тоже, как и тем фанатам, на дождь... все равно. Так

пошли мы гуськом на их совхозный овощной склад на улице Можайского. Нас отправили. Не все нам в школе бабду пинать. Надо-то в кои веки раз и делом общественно-полезным на благо Родины заняться. И учителей наших отправили. Не все им тангенсы-котангенсы да суффиксы с Карлом Марксом в молодые головы вбивать. Указкой-то на семидесятом году Советской власти любой дурак способен. А ты вот, Лобачевский, картошечку гнилую поперебирай... Покажи ученикам трудовую доблесть!.. Короче, куда нас всех послали, мы все немедля туда пошли...

Длиннейший, почерневший от дождей и нещадного времени, открытый всем ветрам немалый деревянный лабаз мирно торчал на пригорке. Изъезженная, рыжая от глины разбитая дорога, бегущая с полей, упиралась в приветливо открытые для всех добрых прохожих людей, массивные, стянутые по краям ржавыми железными скобами, двустворчатые ворота на его торце. К воротам тем неспешно подваливают, натужно завывая моторами, поминутно буксуя и переваливаясь с борта на борт, словно переминаясь с ноги на ногу, грузовики с горами капусты над здоровыми, щелистыми коробами. «Становитесь в ряд», - командует прибывшими бригадир. Построились. Один пацан залезает на борт. Бросает кочаны тем, кто внизу. Те быстро передают их по цепочке в темное лабазное нутро. Туда, где их складывают горкой - зеленою капустной Фудзиямой. Только управились с этим, слегка перевели дух - снова несется приказ бригадира: «Выделить пацанов на засолку капусты»... Пацанов выделили. И повели в темное, кислое, деревянное, лабазное, грозное и безнадёжное, как сам ад и как библейское чрево в книге пророка Ионы... Повели квасить капусту.

Представьте себе небольшое и грязное помещенье с земляным полом. Темновато и страшновато. Как избушка бабушки Яги. Кстати, вот и метла в углу. А вот и ступа. Ау, бабушка!.. Где ты?!.. Улетела она, не «ушла же на базу», как пишут порой продавцы... Улетела бабуся, как Карлсон детского советского мультя, но обещала все-таки вернуться... к обеду?.. Тусклая лампочка, как лампадочка, над плесневелым потолком. Длинные, страшненькие тени по паучьим уголочкам. Грубо сбитые, сколоченные из необструганных, почерневших от времени, древних досок короба. Горы деревянных ящиков. И капустные пригорки подле нас и далее. Разбегаются-разбредаются от нас во всю ширь мерзкого, кислого помещения по всем темным углам...

В грязном, земляном полу вырыта большая яма. По форме своей - это и есть натуральная бочка, но в земле. Стенки ямы и пол шиты досками и креплены рыжим железом проржавленных, массивных обручей. В яму-бочку с пола спущена деревянная, неверная, шаткая лестница. У края ямы перед нами, пацанами наверху стоит чудная, противно дребезжащая машина - капусторубка. Бросаешь кочан в жерло такой машины, и в тот же миг в яму валится зеленая и белая нашинкованная капустная стружка-соломка... Хорошая машина! Зашибись! И главное, какая резвая!.. А еще злые языки порой говорят, что в советской стране ничего, кроме танков, путного не делали... Вот ведь, гады, врут...

Подошел к нам небритейший наш бригадир в старом ватничке. Выбрал трех пацанов посолиднее и велел надевать им на ноги тут же и немедля прямо на земляном полу валяющиеся огромные болотные сапоги. Раструбами голенищ они нам аж до паха. Вот надели... Потом велел надеть на себя висащие на ржавых, страшных гвоздиках, вбитых в черные бревенчатые стены, серые плащи-дождевики. Мы и их надели. «Теперь спускайтесь, парни, в яму», - командует нами «начальник».

После одни парни бросали из куч, из углов кочаны в ту чудо-машину и сыпали в яму соль из какого-то серого мешка. А трое в яме яростно топтали капустную стружку ногами в огромнейших болотных сапогах. Мяли немытую капусту болотными броднями, брошенную в адский, тархтящий и визжащий агрегат прямо с грязного, чавкающего, земляного пола... Такова была «капуста государева» при СССР. Кушайте, дорогие товарищи (коль не противно)...

### Лабаз (продолжение)

Сын и отец не спеша продолжали осмотр магазина. Огурцы малосольные. Прямо из большой, обтянутой железным, немного ржавым обручем, пузатой бочки. Семечки подсолнечные. Гнусная, черная мелочь с трухой и мелким сором. Только птичкам и сойдет... Вот народная парфюмерия пошла. И галантерея. Пузырьки. Бутылочки. Одеколон «Саша» с картинным, благообразным красавцем. Одеколон «Тройной» - зеленая пахучая бутылка с какими-то причудливыми «огурцами» на наклейке... Для вас, солдаты... и пропойцы... Сигаретные пачечки - в ряд, «Ява», «Космос», «Ту-144». И самые модные - «Союз - Аполлон».

Выкурил, и улетел. Как говорят наркоманы... А вот курево попроще. Погрубее оно. Понароднее. «Беломор», «Астра», «Прима». От «Астры» - астма! «Шутка», как говорил в кино артист Никулин.

Дальше - разные мелочи. Для дома - для семьи, как говорится. Спички - коробки. Открытая пачка. Причудливая пирамидка из коробков, и на каждом наклейка «При пожаре звонить 01» и бравоый усатый брандмейстер, похожий на Бисмарка, в огромнейшей медной каске и с брандспойтом на фоне огромного пожарища... Рядом с коробками - нераспечатанные упаковки по двадцать коробков в плотной синей бумаге... Рядом открывашки для консервных банок. Хищный, акулий, загнутый зуб с деревянной желтой ручкой. Подле их - ниточки-веревочки. Матерчатые сумки - авоськи. Уникальный советский товар.

Деревянные прищепки бельевые. Тоже наш эксклюзив. Весь «цивилизованный» давным-давно производит их из пластмассы. И только мы не жалеем дерева на такой уникальный экологически чистый товар... Рядом - белые брусочки. Мыло «Банное» - в папиросной бумаге. Мыло «Хозяйственное» - голое и просто так. Так называемое «черное». Бесщелочное, органическое мыло. В народе ходили в те годы упорные слухи, что варили его из рогов и копыт, что специально привозили на завод со скотобоен. И даже якобы из трупов бездомных собак, зверски умученных на живодернях.

Вот белый, длинный и толстый, матерчатый шнур из скрученных нитей. Веревка бельевая, обыкновенная. Сколь веревочке ни виться... Как в пословице. Или как у Высоцкого в разбойничьей песне... «Особо хороша бывает к мылу»... Тоже шутка!.. Еще та... Великолепие ассортимента венчал собой «Мишка Олимпийский». Цыпленочно-желтая пластмассовая игрушка. Грубовато сделанный игрушечный сувенир идеально организованного недавнего московского ристалища.

Деревянный прилавок, обшитый по краям железным уголком. На прилавке - деревянные счеты. Огромные железные весы с острой, хищной, красной стрелкой и ободранными массивными гириями. За прилавком - ярко-крашенная жирная тетка в белом нечистом халате. Немолодая, дородная дама, лицом напоминающая бульдога. Выражение одновременно наглае и брезгливое. Ходит не спеша на коротеньких толстых ногах, слегка переваливаясь. Де, вас тут много. А я одна. Подождете. Чай не бары... На голове тетки - крашенная в рыжее «Бабетта»... Интересно, натуральные там волосы или все-таки парик?.. Женские парики в начале восьмидесятых в СССР - последний писк моды. Брови и ресницы - в комочках черной туши. Густо мазан красным огромный, хищный рот. Вот из-за толстых бантиков блеснули золотые зубки... Хорошо живет, лярва!.. Золотая, массивная, грубая цепочка обвивает жирную, обрюзглую, немолодую, бычью шею. На коротких жирных пальцах с длинными накрашенными ногтями - массивные золотые кольца и перстни с какими-то крупными фиолетовыми и кроваво-красными камнями.

Подали тетеньке деньги и попросили товар. Заколыхалось, заходило, запереваливалось тельце. Жирные червячки заплясали по счетным костяшкам. Заплясали. Защелкали...

Взяли в лабазе банку салата «Охотничий», пачку сигарет «Космос», бутылку пива и шоколадную плитку. Отец скovyрнул пивную крышечку магазинной открывашкой, привязанной тут же на сальный капроновый шнурок, сбоку от прилавка. Подал сыну плитку «Юбилейного». Андрей зарвал бумажку. Зашелестел тончайшим, ломким, металлическим. И кусая и заглатывая, зачавкал сладким. Повернулись. И вышли из нутра лабазы в светлый день. Торопились. Скорей, скорей на улицу - от спертого, жирно-сивушного лабазного духа...

Неприятная тетка. Низкая, приземистая изба. Небогатый лабазный ассортимент. Особенно по нынешним, изобильно-искусственным временам. Когда сами и того, что в лабазе том, брежневском, навряд ли все для себя в своей стране мы теперь производим... Да и потребляет сейчас, в наше нынешнее «счастливое» время, все произведенное нами и не нами в том изобилии, в старом объеме, хорошо, если процентов тридцать... Цены по лабазам да магазинам были тогда очень даже божеские. К тому же люди и неплохо тогда зарабатывали в огромнейшей массе своей. Никто, например, и не подумал бы, что возможно отдавать чуть ли не всю месячную заработную плату только за крышу над головой, да за самый примитивный, убогонький жрач. Это прозвучало бы тогда куда как нелепо!.. Короче, товар продовольственный был пока недорог. Квартира стоила трудящимся абсолютные гроши. Страна худо-бедно работала. Люди зарабатывали деньги... Оттого и был печальный дефицит...

Ассортимент товаров в юстовском магазине этом был самый рядовой. Нормальный. Советский. А по сравнению с устьрянскими прилавками, по тем временам - вполне и вполне солидный. Чему и возрадовались Виктор и Дюша. Притом - от всей души.

### Пересадка-3

Выйдя на улицу, Виктор жадно глотнул из темной бутылки. Потом закинул голову и стал жадно пить. Пенная жидкость потекла, забулькала в пересохшее горло. Заходил под тонкой кожей мощный, остренький кадык... Наконец кончив пить, Виктор Николаевич отнес бутылочное горлышко от рта. Тыльной стороной ладони обтер с усов пивную пену. Широко улыбнулся и слегка потрепал сына по плечу. Похоже, отец был уже слегка «навеселе». Или «под мухой», как говорила Архелая Ивановна. Во всяком случае, его скоро слегка развезло, и потому вышагивал он обратный путь уже не слишком твердо. Шел, слегка вихляя по сторонам и как-то без причины широко, по-детски улыбался. Развезло, развезло человека. На таком-то чертовом пекле кого угодно развезет с одной пивной бутылки и в пять минут.

Благополучно миновали вокзальный пост милиции. Вот распахнутая дверь в дежурку под синей надписью и двое «служивых» в синих рубашечках и сереньких брючках. Фуражки с красными околышами. Ни оружия (а зачем оно?), ни наручников, ни черных раций, ни безобразнейших палок-дубинок на боку (палки те тогда еще рисовали только в журнале «Крокодил» у плохих американских полицейских, которые, как всем у нас было известно «негров бьют»).

Патриархальный, какой-то «довоенный», «докатастрофный», верней, «доперестроечный», «дореформенный» добрейший, щедрый край... Ну разве так бывает в жизни, господа?... Ответьте...

Двое возвращаются обратно на вокзал. На гнутую, чугунную, синюю, перонную скамейку. Еще издали увидев Регину, Андрияша поспешил к ней. Почти подбежал. Прижался лицом в расплавленном от детских рук и солнечного жара липком шоколаде. Лихорадочно рассказывал об увиденных юстовских диковинах и станционных чудесах. Нетвердо подковылял к жене и Виктор. Подходя к ней, Виктор Николаевич изо всех сил старался идти особенно прямо. Но у него не всегда получалось. Его легкие ноги вдруг стали тяжелыми, как свинцом налились, и еле-еле уже слушались своего хозяина. Но Виктор, несмотря на это, шел и шел вперед. Не хотел подавать вида. «Никогда больше... Никогда больше... Вот дурак... Вот дурак... Ведь и не думал же, что от жары такой ядреной вот так моментом развезет... Умнее надо быть. Осмотрительнее. Мудрее. Тридцать четыре года мужику, а налакался, как мальчишка»... - проклинал про себя сам себя дюжин папа. Ох, и не хотелось ему, чтобы Регина догадалась, что он выпивши... И хотя его уже все больше и больше примаривало от жаркого солнца, даже так, что уже и противно слипались глаза, и какая-то адская усталость вдруг волной разлилась по всем его бедным, расслабленным членам, он очень, очень старался. Старался вида жене не подавать. Старался не открыться перед Региной, что уже «под мухой». И «муха» та была явно даже и не садового калибра...

### Конюшня

Товарищей «под мухой» в детстве да в ранней юности Андрей встречал гораздо часто. Против их окон в Устрятыне, что в желтом «хрущевском» доме на Ворошилова, стоял вот такой же, как в Юстово, по основной своей конструкции и общему виду, деревянный, древнейший лабаз. А всего таких лабазов по всему Союзу было в те давние, славные годы - пруд пруди. Одним словом - как собак нерезаных. Или, еще как говорят, - до лешего. До чертиков и до фига... В каждом городе огромного СССР, даже в самом маленьком, был вот точно же такой магАзин. Хотя бы один на весь город. Но был он - абсолютно точная копия описанного торгового заведения.

Было и в Устрятыне такое местное «чудо-юдо». Магазин тот был ликеро-водочный. И тоже принадлежал ОРСу. Только другой, Северной железной дороги. И назывался тот магаАзин просто и понятно всем и каждому в Стране Советов. «Вино - Водка» - вот такое изысканное сочетание слов видели очи страждущих первого и/или второго напитка на его эмалевой входной дощечке.

Да. Это был он. Легендарнейший и прославленный в боях, уникальнейший и неповторимый магАзин. Знаменитый в устрятинском пьющем народе хмельной магазин - «Вино - Водка», что в простонародье звался любовно - «конюшня». Знатное место в немало пьющем областном центре северной Руси. Русь наша - страна Севера. Снег да морозы, да долгие зимы. Винограды у нас не растут. Потому и вино простой народ приучился пить только при Советской власти. Благо, Грузия с Молдавией - республики ССР. До семнадцатого года народ наш, простой, русский, потреблял в основном только водку, что продолжил делать и



при наступившей власти рабочих и крестьян. Да, наш народ любит выпить. Это обосновано его историческим трудным путем (монголы да крепостное право, да царизм постарались), его географией (без поллитры не разберешь), особой народной соборностью и коллективизмом (отсюда обычай - пить на троих, наш человек - не эгоист, не сквалыга)... Да мало ли, отчего люди пьют. И в горе смертном, последнем пьют наши-то люди, да и в великой, светлой радости. Хотят они выпить - и все тут. Такова наша традиция... У кого-то праздник - сын родился. У другого горе - теща померла (отметить надо!). Кто-то для сугрева (пришел с мороза в теплый дом). Кто-то лупит просто так, для удовольствия великого (светлый день у мужика, именины сердца). Кому-то дали премию (на радостях надо пропить, а то больше хрен дадут, потом и вспомнить будет не фиг)... Масса, масса огромная поводов человеку в России напиться. Нализаться. Надраться. Квасить. Дернуть... или как еще там? Помогайте!..

Да, пьющий и многопьющий наш народ. В горе пьет и в радости. Говорю ему о том я не в упрек. И сам порою грешным делом... А что я, и не человек что ли?.. Не часть его?.. Хороший наш народ. Я серьезно. Принимайте его весь или не принимайте вообще. Я - принимаю! Принимаю его таким, какой он у нас есть. И не надо ничего, пожалуйста, выдумывать! Нет у нас для вас другого и народа, и России другой у нас нет. Нет в природе пока. И слава богу... Только вы уж не шибко-то злоупотребляйте! Договорились? Хорошо?..

Вросшая в землю купеческая изба. «МагАзин» самой простейшей постройки, воздвигнутый неизвестным миру зодчим, задолго до семнадцатого года. По тому, как изба почернела от пробежавших мимо ее стен зим и лет, осеней и весен, предполагали, что постройке сей славной никак не меньше, по крайней мере, ста лет. Стоял тот великий и грозный «магАзин», древний, почернелый сруб, на земле нашей северной довольно-таки прочно. Подземелье имел в два этажа даже ниже своей тротуарной «ватерлинии», несмотря на протекавшую практически прямо за ним речку - сточную канавку, вонючую, грязнейшую Чуму... Многоэтажность знатнейшей постройки открылась народу только тогда, когда сей лабаз наконец-то сносили с лица нашей северной русской земли. Но было это уже в самом конце девяностых... Огромный подвал. Не подвал - бункер Гитлера. Воистину это было грандиозное сооружение. Корабль дураков и айсберг в русском пьяном море. Один уровень. Нет, мало... Вот под первым - второй... А между ними - лесенки, маленькие такие, как на пароходе... Умели предки землю рыть да строить погреба...

В тяжелые времена безуспешнейшей борьбы с пьянством и алкоголизмом (это уже при Горбачеве было) у «конюшни» - крупнейший хвост. Продавали «волшебную воду» тогда только с двух до семи... Собирались до открытия заветной двери. Строились в хвост и следили, чтобы вне очереди кто не залез... И вот - открыли. Шлынули внутрь. Как на Зимний в давнишнем, советском кино Эйзенштейна. Шум и гам невероятнейший. Толпа все больше напирала на двери. Злобно и яростно ломится внутрь. Протискиваются. Давят в грудь. Выпихивают робких. Слабых. Телом и духом... Вот подлинное величие. Вот настоящая битва жизни. Как в передаче «В мире животных»... Борьба...

Борьба за выживание. Как учит дарвинизм.

Несвежие, помятые после вчерашнего мужички. Простоволосая девка с опухшею рожей. Приличные, с виду, русские женщины. Пришли и хотят отовариться к празднику. Тут же и «народный интеллигент» с огромным «командировочным» портфелем из черного, как смоль, кожзаменителя... Тут все и вся. Все классы и прослойки. Все вместе. Как групповой портрет страны. Люди толкаются. Напирают на двери лабаза. Кто-то стремится протиснуться внутрь магАзина без очереди. Его выдавливают и отгоняют от дверей. Прочь. В самый несчастный конец окаянного, злого «хвоста». Кто-то с перекошенным лицом истонно орет: «Больше одной на руки не давать»... Вдруг пронесится вихрем слухок: «Кончается»... «Кончается!.. Ах, черт дернул!.. Да чтоб вас!.. Куда ж вы лезете, уроды!» - несутся злобные проклятия в толпе... И прут. И ждут. И еле шевеля ногами, по-черепашии семена, все движутся. Вперед. Вперед. Вперед...

Выныривают из винного трюма с добычей - счастливые. Тут же организовываются компании на троих. Справа от «конюшни» - некрашеный дощатый забор. Уходят за него. Звенят стаканами. Иногда случаются драки. Вот кто-то упал и лежит в грязи на земле. Иногда подкатывает «коляска» - фургон медвытрезвителя. Валяющегося без чувств волокут в фургон. Иногда появляется рядом с «конюшней» сине-желтый милицейский ГАЗик. Разнимают дерущихся. Кому-то заламывают руки, увозят в отделение... Вот особо буйных увезли. А тихие остались у забора. Достают из-за пазух и из карманов бутылочки и стаканы. Бесовским огнем блестят пьяные глазки. Нетвердо стоят на земле полусогнутые ноженки. Слегка трясутся неверные рученьки. «Ну, будем... Поехали»... И так - до закрытия «магАзина».

### Пересадка-4

Просвистела-подлетела к платформе зеленая электричка. Всосала станционный народ. И понеслась дальше по своим, только ей и ведомым железнодорожным делам. За вагонным грязеньким стеклом скучным, коричневым, облезлым рядом понеслись деревянные, станционные пакгаузы с привычными, выгоревшими на солнце буквами: «Слава КПСС!..» «Миру - мир!..» «Ленинизм - наше знамя!..» «Мир! Труд! Май!» и «Решения Партии - в жизнь!..» Замелькали, замельтешили убогим сине-крашенным позором курятники щитовых домиков - дач. Пролетели-просвистели и их. И вынеслись, выскочили на широкий простор.

Папа потянул верхнюю фрамугу. На себя. И вниз. А оттуда, из рамы - вой. Вой и сильный ветер. Ветер. Сильный. Встречный. Ветер, бьющий прямо в головной вагон. Поезду в лицо. И пыль... Захлопнули с яростью. И сразу стало тише. Хоть и жарко в вагоне, но все же лучше, чем так...

Пронесются за стеклами и тянутся, тянутся вдаль южные, ветвистые деревья. Рожицами расселись они между балочек. Холмы ведь, они как морщины древней земли. Ледниковые еще отметины. А по морщинам тем всюду жизнь идет и пляшет под жарким солнцем. И нет ей ни конца, и никакого перевода в этом мире.

Вот большое село, а может быть, небольшой провинциальный городишка. Добротные, каменные дома за надежными, хозяйскими заборами. Крыши шиферные. Крыши металлические. Над крышами - рогастые телеантенны. Хорошо живут хозяева - хохлы. Прочно. Крепко...

Вот кусок пыльной улицы. Деревянные столбы с бетонными приставками. Хорошенькие, беленькие козочки с глупыми мордами. Подле маменек выются и скачут резвые козлята. А вот наглый, лукавый, грозный козел. Распустил до земли серые космы грязной, длинной, жаркой шубы. Трясет бодливой головой с длинными, витыми рогами. Хитро косит на мир лиловым глазом... Вот пестрые, флегматично жующие коровы с выменями, полными белой жирной влаги... И снова деревья закрывают вид путникам...

Пронеслись мимо дерев... Вот железнодорожный переезд. Тетка с флагом у будки. Мужичок на дребезжащем тракторе. Высунулся из кабины. Смолит сигаретой... А в прицепе - сено... Вот грунтовая дорога потянулась вдоль железной. По дороге скачет синенький грузовичок. Наверное, колхозный... А дальше, за дорогою, на сколько только хватит глаз, - поля. Золото пшеницы, колыхаемое теплым ветром. И над всей земною благодатью - в небе высоченном - благодать небесная. В синем, жарком, безоблачном небе - золотое солнце. Солнце. Солнце Украины.

## Часть II. ШЕВЧЕНКО

### Прибытие

Со змеиным шипением отвезлись вагонные двери. Выпустили троих на горячий асфальт станционной платформы. И под звуки со столба: «Передача радиостанции «Маяк» «Полевая Почта Юности»...» - побрели они к обшарпанной бетонной остановке с облупившимися маленькими плитками и царапанным похабным словом из трех букв.

Не спеша подкатил лупоглазый грязно-желтый дребезжащий автобус. Забрались в него. И побросав пятаки в прорезь кассы, отвернули билеты. Целых три штуки. Каждому - свой. Опустились на коричневый, автобусный, нагретый солнцем кожзаменитель. Стали складывать циферки, что написаны на билетной бумажке. Сравнить лево. И право. Гадать. Вдруг им выпадет счастье?..

Дребезжанье разбитой, полуубитой машины. Почти что козлиные прыжки неказистого, но прочного чуда советского автомобилестроения по пыльной грунтовке. Еще и еще... и вот наконец-то они вырулили на шоссе. Неказистая машина пошла плавно. Понемногу умолкло как будто даже противное дребезжанье... Или просто пассажиры к нему понемногу привыкли?... За автобусным мутным стеклом потянулись поля подсолнечника. Золотые головы над черной семечной сердцевинкой. Единородные братья жаркого украинского солнца.

Вот дребезжающая и даже свистящая порой от чего-то машина вошла в поворот. Впереди у дорожного края эмалированным железом забелел указатель. «Чернобыль», - прочел Дюша. Обернулся - то же слово было написано и на обратной стороне железки. Только перечеркнутое наискось черной чертой. «Что за странный знак? Был какой-то там Чернобыль, и нет Чернобыля?.. - мелькнуло вдруг в дюшиной голове. - Что это? Надо папу спросить»... - возникла мысль. И тут же утекла куда-то, не оставив и следа...

Вдоль дороги меж раскидистых, буйных, богатых деревьев вдруг замелькали сельские домики. Вот большие дома и солидные заборы. Вот маленькие, хлипкие заборчики, а за ними - маленькие домики - настоящие хатки, как на картинке в книжке про старую жизнь при царе. Маленькие. А рядом - и не очень. Вот уже и современные, богатые и крепкие, добротные, хозяйские дома - оштукатуренные, и рядом - из красного, а иногда и из белого силикатного кирпича. Зачастую с красным по белому выложенным петушком или каким-то затейливым народным узором... Большие, раскидистые, тенистые деревья. Дощатые заборчики и железные, синие и зеленые заборы с воротами и калитками. Водозаборные колонки. И снова деревянные столбы с приставными бетонными столбиками, белые рюмки изоляторов, жестяные тарелки. Девочка с белой козой. Лохматая собака... Неожиданно для путешественников за автобусным стеклом потек и заструился целый мир. Цветной, огромный и такой простой... и сложный.

Трехэтажное белое здание с красным лозунгом по фасаду на торце небольшой белесой площади. Бетонные плитки. Аккуратный, стриженный газон. В центре площади - памятник Ленину. Совсем такой же, как в Юстово. «Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи. В.И. Ленин», - прочитал Андрей. И снова большие деревья. Домики. Домики... Вот меж домиков мелькнули белые колонны. И надпись. «Кино. Сегодня. «Жандарм женится». В главной роли Луи де Фюнес».

- Подъезжаем. Вставайте, - сказала Римма мужу Виктору и сыну Дюше. - Автостанция. Пора.

- Нас даже встречают... И по такой жаре... - заметил отец.

Автобус дернулся и встал, как вкопанный. И в тот же миг Андрей в окне увидел их. Сухой, высокий старик в черном пиджаке. Беленький матерчатый картуз на голове. И грузная, грядастая женщина с нездоровым, одутловатым лицом, в цветастом, длинном платье. Дед и бабушка.

- Ну, с приездом вас!.. Мы вас два часа на автостанции ждем... - затараторил, заспешил, заволновался дед.

- Да зачем все это, папа, мама... Мы и так дорогу знаем. Дошли бы сами... Зря... Жара ведь... - говорила Регина родителям, как бы виновато улыбаясь и пожимая неловко плечами.

- Ничего, нам нетрудно... Ну, и вы-то не каждый день к нам приезжаете... - отвечали на то старики.

Шумной кучкой побрели по улице. Мужчины - трое впереди, с вещами. Немного позади мужчин - две женщины.

- А Андрюша-то уже какой большой... - умилялась невиданная ранее Дюшей бабушка.

- Как про маленького говорит... - с легкой неприязнью подумал Дюша. От этого бабушкиного умиления ему вдруг стало как-то слегка стыдновато и неловко. Кисло вато на душе...

Дюша шагал вперед. Мимо заборов. Мимо колонок. Мимо домишек и больших домов. Шел вперед и читал на домах странные надписи: «Хліб»... «Пошта»... «Педукарня»... Непривычный, «нерусский», певучий язык южного края сладко потек и забился под сердцем. Дорожная горячка и тревоги уходили. Мягкой лапой теплый украинский ветер ласкал каштаны вдоль накаленных за день улиц. Ласковый, добрый украинский вечер входил в маленький советский городок.

Старый, двухэтажный деревянный дом по улице Речников, 12. Послевоенное, скорое жилье. Советско-германская война порядком перепахала украинский край. Не пощадила она и тихий Чернобыль над светлой рекою Припять. Поручила и выжгла все, что только было можно. Два раза за ту страшную войну через Киевскую область прокатывались жесточайшие бои... Однако и войны не вечны. После окончания и той войны жизнь все равно брала свое. Лишенные крова, сорванные с насиженных мест всенародной бедой, люди возвращались на родные пепелища. Строили дома. Сажали деревья. Создавали новые семьи и рожали детей.

Квартира на первом этаже. Второй подъезд. Этаж первый. Скрипучая дверь на ржавой пружине. Темнота, переходящая в серый полусвет. Запах сырости и пыли. И еще, наверное, мышей. Первая дверь налево. Облезлая коричневая краска, местами вздувшаяся пу-

зырем. Железка-ромбик с циферкой на верхнем косяке. Номер одиннадцать. Древний, «французский» замок. Поворот ключа. Один. Другой. И - на себя. Ну, вот мы и дома.

Три комнаты. «Апартаменты». Совсем, совсем разные. Вернее, всех размеров и сортов. «Зала» с черно-белым телевизором «Славутич», огромная печка в углу, вся в белых изразцах, черная заслонка. Продавленный, складной, коричневый диван. Древний, черный радиорупор на стене. Висит в простенке над самым телевизором. Как напоминание о далеко шагнувшем техническом прогрессе?.. Широкая кровать с малюсенькими подушечками - «думками». На подушечках - вышивка гладью - коты и собачки... Цветастый ковер на стене с острым, угольным, геометрическим рисунком. Бордовые, черные, белые, синие линии - шерстяные дорожки, змеясь, сплетаются в острый, причудливый узор... Круглый стол, покрытый плотной, крахмальной, ломкой скатертью. Гнутые «венские» стулья. Матерчатый розовый абажур с кистями низко свисает над столом. Над абажуром - витой электрический провод. Змеится, бежит по фарфоровым роликам по потолку... Старинные часы в углу. Давным-давно остановились они и стоят. Не качается ритмично маятник. Не бегут веселые стрелки. Не починить их уже... Напрасная древняя вещь. Да бросить жалко. Как общую память.

Лоскутные дорожки у входа. Мутное зеркало в массивной, темной деревянной раме. С какими-то размытыми желтыми пятнами по скошенным краям. С края за зеркальный деревянный ободок подоткнуты древние выцветшие открытки и выгоревшие фотографии. Настенный календарь с изысканными белыми лилиями. Массивный комод. На крышке - дешевые вазочки и пыльные бумажные цветы. Ракушки и глиняные собачки. Полупустой флакончик с духами «Красная Москва».

«Зала». Царство золотого, розового света. Причудливых растений - переплетения трав и цветов на выгоревших старых обоях. Царство кофейных тонких чашек, звона ложечек, совместных чаепитий с диковинным пирожным - пирогом. Витым, с вареньем из крыжовника внутри, между слоями скрученного теста. Пирог тот называли в этом странном доме «штруделем». Незвестное, диковинное слово. Нерусское. Чужое.

Вспыхнул, погас и вновь не спеша прояснился белесый экран. Проявился, как проявляется фотография в корытце проявителя при изготовлении фотоснимка. Забытое ныне священнодействие. Давнее занятие Виктора в темной ванной, при котором присутствовал, вернее, к созерцанию которого был допущен Андрей.

Сначала на экране появились залихватского вида улыбающиеся мужички с гармошками. В шелковых косоворотках, с огромными картузами на вихрастых головах. На каждом их картузе был нелепо наклеен огромный бутафорский цветок. Вышли на сцену и низко поклонились почтенной публике. Потом эти двое прямо тут, на сцене, уселись на какие-то бутафорские пеньки, развели меха своих инструментов и, задорно улыбаясь, принялись наяривать. Наяривать... Наяривать... В следующее же мгновение веселой стайкой на сцену вылетели, как бы выпорхнули какие-то огромные, сытые, нагло ухмыляющиеся бабы. Защурили хитрющие намалеванные глазки. Засверкали белыми зубами. Замахали жирными руками. Закрутили толстыми бедрами. И закружились-полетели в каком-то адском хороде. Развились по сцене пышные юбки. Засверкали бесстыдные белые ляжки. Поминутно топоча ногами и взвизгивая, бабы эти принялись что-то там петь как бы русское, народное, надрывно и визгливо, будто и поют-то они не сами, а кто-то их, бедных, заставляет петь... Бабы эти все вертелись и вертелись на экране, кружась, кружась, кружась в каком-то бесконечном чертовом колесе... Потом была тревожная песня, после которой красавец Тихонов-Исаев долго шел по коридору. На встречу с артистом Броневым... После задумчивый Максим Максимович - Тихонов ехал куда-то в красивой немецкой машине по весеннему лесу... «Не пора ли спать ребенку?» - заметила новая бабушка Лия маме Андрюши Регине.

### Проклятые имена

Новая бабушка Лия. Чудно'е имя... Такого имени Андрей еще никогда не слышал. Он, Андрей, и был-то в этом южном городке и в этом странном доме только в первый раз... Знал только от мамы, что есть у него на далекой Украине еще один дед и еще одна бабка. Деда того в их доме называли Игорь. А бабушку ту называли Лидой... Видел у матери письма из далекого города, приходившие не особенно часто в их северный дом. Дом, от Андрюши и его родителей сейчас такой далекий...

Смутные слухи о странных родных... Дурные вести о странных именах тревожной, липкой пеленой витали в их доме. Возбуждали любопытство. Тревожили и устрашали неведо-

мыми, смутными предчувствиями чего-то запретного и очень дурного горячее детское воображение. В шесть лет Андрей вдруг с удивлением узнал, что у бабушки и дедушки, которых он никогда не видел, есть другие имена. Совсем как у разведчиков в кино. Оказалось, что дедушку Игоря по-настоящему звали

Исаак. А бабушку Лиду - Лия.

Весь ужас открывшейся тогда страшной тайны стал окончательно ясен Андрею, когда уже в школе, в глупой мальчишеской ссоре, он вдруг услышал слово «жид». Слово, сначала ему непонятное. Но сам тон, с каким короткое это слово было брошено ему в лицо, не оставляло сомнений в его явной неприличности. На вопрос: «Что оно все-таки значит?» - мать Андрюши как-то сперва замялась, а потом, как-то вся сжавшись и отвернувшись от сына в дальний угол, ответила, что в народе так когда-то давным-давно называли нехороших людей - жадин, барыг, торговцев-спекулянтов... а еще так называют евреев, добавила она и залилась в тот момент густейшей, горячей, потной краской.

Ужасающее открытие обожгло. Вот, оказывается, люди вменяют ему, Андрею, в вину его родных. Тех самых, неведомых. Тех, с кем у него нет ничего-ничего общего... Но уж если это так происходит, то не значит ли это, что те люди в чем-то сильно провинились перед другими, обыкновенными, людьми? Что само пребывание с ними в родстве есть несмываемое грязное пятно? Что самая простая и обыкновенная человеческая дружба, да и любое общение с ними - величайший позор?.. Как избежать такого черного пятна? Как миновать мучительного, гадкого стыда за них - всемирного или даже вселенского позора?..

Ответ был вскоре найден. Он был хоть и непрочен, но все-таки довольно прост. Надо было просто ничего не знать. Вернее, хотя бы не признаваться перед другими в тайне своего нечистого происхождения. При случае постараться не заметить обидного, дурного слова, про тебя брошенного. При таком случае предстояло просто сделать вид, что слово нехорошее лично к тебе никак не относится. И при чем же тут ты?.. Ты вообще никакой не еврей. Папа Витя, Виктор Николаевич, у тебя - русский. И дедушка Николай Прокопьевич - русский. И бабушка Архелая Ивановна - русская. И дядя Коля - тоже русский. А тетя Ганна, жена дяди Коли, - белоруска. То есть тоже фактически как бы совсем-совсем русская. Значит, и Андрюша, и Андрюша наш - русский. Русский. Только русский он. И точка.

А мама Регина... О ее «позорном происхождении» в доме на улице Ворошилова старались никогда не вспоминать. Считалось, что это совсем уж ни к чему. Зачем обижать человека. Не повезло ему. Так родителей не выбирают. К чему друг другу попусту нервы трепать?.. И так забот у всех в доме полно... Работа... Дом... Надо всех накормить... А перед тем достать товары и продукты, отстояв длинную-длинную многочасовую очередь... Приготовить, и так три раза в день... Убраться в квартире... И постирать в ванной, и самим помыть, если наконец-то вдруг будет вдруг горячая вода... Или вообще любую воду вдруг не отключат... Обычные, такие серенькие, повседневные заботы... А тут еще... это... Да будь оно неладно! К чему такое?.. Ведь никто же не виноват... Ей-богу, и Андрей ни в чем не виноват перед людьми... Зачем ему на плечи ношу неподъемную?..

### Стародавняя ссора

И еще. Краем уха слышал Андрей про стародавний злой скандал. Неясный, странный слух. Нелепый случай... Слышал он, будто бы в пору еще своего жениховства Виктор, будущий папа Андрюши, приезжал в гости в украинский маленький городок. В гости к «тем самым»... Был он тогда представлен родителям своей невесты как «молодой ученый из Ленинграда»... На самом деле, он тогда был только студентом второго курса знаменитого ЛИПа - Ленинградского института приборостроения. Одного из самых престижнейших технических вузов Советского Союза, куда в те годы был невероятный конкурс. Студент-отличник престижнейшего вуза, умница. Да могли ли родители Регины пожелать лучшего, чем Виктор, жениха?

В те давние годы в легендарную ЛИПу поступали исключительно золотые да серебряные медалисты. Поступали они со всех необъятных краев огромного СССР. И Виктор Николаевич был одним из поступивших в этот знатный, прославленнейший и легендарный вуз. Учеба еще со школы давалась Виктору легко. Возможность научной карьеры и высокооплачиваемой работы в каком-нибудь из оборонных «ящиков» манила провинциального мальчишку перспективами. Прекрасно оборудованные лаборатории. Военная кафедра, освобождающая юношей от армейской двухгодичной лямки (вместо службы - трехмесячные сборы и офицерское звание, ну чем не лафа). Возможность ничем не ограниченного,

совершенно свободного общения со студентами-иностранцами из развивающихся стран и стран «народной демократии» составило ЛИПе славу очага свободомыслия. А сколько знаменитых, хотя порой только в довольно узких, секретных кругах специалистов и «светил» - профессоров и даже академиков вышло из его стен?...

Стоит помянуть, что в одной группе с Виктором учился знаменитый господин Абаев. Субтильный юноша из Средней Азии, через долгие десятилетия ставший президентом своей, уже к той поре независимой, азиатской республики. Только что пропершая через нее гражданская война, да ввод российских миротворцев легко посадили Абаева на республиканский политический олимп... Но уже совсем скоро новая волна бунтов - протестов - революций смела бывшего студента ЛИПы в политическую эмиграцию. Не раз, принимая очередную группу тележурналистов у себя на подмосковной даче, бывший президент Абаев с неподдельной теплотой вспоминал родную ленинградскую ЛИПу. Там его ценили. Там его любили. Там он «подавал большие надежды»... А ныне новое подлейшее правительство азиатской республики «настойчиво просит депортировать его на историческую родину, где он должен предстать перед судом»... «Немыслимо!.. Неслыханно!.. Позор!..» - метал Абаев молнии и стрелы в черную линзу объектива телекамеры, в длинный ребристый микрофон, стоя у огромного окна, за которым расстился двор, покрытый белым-белым подмосковным, русским снегом. Кусты, деревья - все потонуло в тот год под этой белой пеленой. Снега в ту зиму навалило столько, что дворник-узбек порой не успевал разгрести дорожки у дома... Высокий кирпичный забор с пушистыми шапками белых сугробов по верху. Большие черные деревья на пригорке. И всюду снег. Пушистый русский снег холодным белым саваном... Стоит помянуть, что бывший президент Абаев заслуженно считался одним из самых наилучших, самых талантливейших ЛИПиных выпускников.

Итак, «молодой ленинградский ученый»... Да возможно ли родителям желать жениха, лучшего для своей Регины?.. Серебряная медалистка, выпускница Ленинградского педагогического имени Герцена, умница, черноокая Регина души не чаяла в своем высоком, спортивном, блондинистом Витюше. В том самом Витюше, ходившем в новомодной черной водолазке, узких брючках и черных очках, купленных по случаю прошлым летом у восточного немца в латвийской Юрмале. Витюше, всегда и везде носившем с собой дефицитный радиоприемник ВЭФ, по которому через вой глушилок после шести вечера слушал он «Би-би-си», а после семи и «Свободу», и другие «вражеские голоса», благо, глушилки в провинции так ярко не забывали весь коротковолновой эфир. Значит, выдавалась Витюше тогда счастливая возможность послушать закордонные крамольные новости. Неясные голоса и прекрасные звуки из «свободного мира».

«Задолбал совок голимый»... - говорил в тот день Витюша, глядя на серенький, гнусенький телеэкран. На сереньком телеэкране - танки. Танки с нашей острой звездой и широкой белой опознавательной полосой по бронированной корме. Вот передний. Вертит башней с длиннейшим орудием. Перед танками беснуется толпа... Вот советский танкист высунулся из круглой башни... И в тот же миг из толпы в паренька со шлемофоном полетели камни... Камера меняет ракурс. На экране какие-то люди с картонками. На картонках надписи на русском: «Русские фашисты! Уходите домой!..» Благородный, тревожный закадровый голос: «Провокаторы!.. Вот они!.. Нападают первые!.. Вы все видите сами. Это они специально провоцируют наших солдат!.. Это они хотят пробить брешь в прочной цепочке мира и социализма в Восточной Европе! Это они хотели открыть границы братской Чехословакии для бронированных орд - железных легионов Бундесвера! Это они, люди без чести и совести, жалкие отщепенцы, продав родину за звонкую монету, хотели открыть чехословацкую границу для войск НАТО, агрессивного блока...»

- Да чтоб тебя... - Витюша встал с кресла и решительно выключил телеящик. - Лучше бы «голоса» перестали глушить... У них не только все новости сейчас писком крысиным да воем звериным забиты... у них теперь и «Битлы» не проскакивают...

- А в чем, собственно, дело?.. - подскочил к телеящику Игорь - Иссак...

Слово за слово. Завязался отчаянный политический спор. Начавшийся с обычной пербранки, он скоро с аргументов и доводов разума докатился до крика и взаимных оскорблений. Разгорелось - не погасишь. Раздорная, дичайшая ругня с мгновенным переходом на личности - не это ли наша национальная, советская черта? Как из рога изобилия, верней - из дула пулемета полетели пули - обидные слова.

- Мало вам Синявского и Даниэля... - горячился Виктор Николаевич, бросая горькие упреки старику прямо в лицо. - Теперь вот это. Чехословакия... Оккупация! Пришли врагами незванно, завалились танками в чужой, европейский дом! Докатались! Вторглись в чужую страну! Совсем как фашисты...

Вот тогда, в той самой злополучной ссоре, и назовет неосторожно Витюша старика обидным словом «бериевец», чем вызовет скандал в благородном семействе и чуть ли не разрыв уже состоявшейся помолвки молодых. Скандал с ором, истерическим плачем и заламыванием рук удалось замять. В конце концов Витюшу вынудили извиниться перед «Игорем», но это принципиально не меняло дела. Отголосок безумной рутни еще долго, долго висел глухой стеной, дымной, удушливой, едкой пеленой стелился меж людей, разделив взаимной неприязнью два дома...

Позорная эта история очень скоро стала известна и в Устьрянске, в доме на Ворошилова. И потом, еще долго, долго, словно мстя за оскорбление сына Исааком и Лией, русские бабушка и дедушка утрюмо, словно сквозь зубы, что-то такое шипели про «ритуальные убийства младенцев на Пасху», про «выгачивание человеческой крови для мацы», да еще про «раввинов, которые хотели сделать обрезание Андриюше...»

- Хорошо, что хоть ребеночка в конец нам не испортили... - не унималась Архелая. - А то был бы он не русский, а чистопороднейший еврей...

- Не дадим им ребенка... - говорил утрюмо дед-артиллерист, прошедший всю Великую войну. - Такая уж у них порода... Их даже Сталин напоследок распознал, в последние-то годы. Хотя и маскировались от него отменно. Примазались вначале к русским, в революцию... Но шила-то в мешке не утаишь... Зиновьев... Троцкий... Каменев и прочие... Эти всегда друг за друга горой. Как итальянская мафия. Настоящий еврейский кагал... Всегда сперва заварят, дел наделают, а после кричат на весь свет: «Помогите! Спасите! Нас бьют!..» Надо еще хорошо посмотреть, не хотели ли эти сионисты у нашего Виктора какие секреты военные выведать. Или, скажем, купить. Он молодой, да дурной. Ему денег дадут, а он, дурак, и обрадуется... Потом же сами его в кутузку и посадят. А если надо, и под «вышку» подведут. Им что... у них все куплено... Наделают дел, да сбегут к себе в Израиль... Израиль... Как они к арабам относятся - это мы знаем. Чистые фашисты. И к другим народам-то наверняка отношение у них не лучше. Только скрывают его до поры. Им что... Только свой интерес в мире и знают... Вот подставят они моего Витьку, так сами-то непременно навсегда выпутаются, да сбегут, а русский дурак за них потом страдай - отдувайся в тюрьме по полной...

Долго, долго продолжались эти разговоры. Не один месяц и год жила жаркая, роковая обида в сердцах стариков... Впрочем, что касается Регины, то ее-то это неприятие евреев почему-то совсем не касалось. Николай Прокопьевич и Архелая Ивановна были явно не против женитьбы своего сына на этой девочке... Значительно отгородившись и уровнем образования, и географическим расстоянием от родного городка, и родом учительских занятий от дел и мыслей своего отца, матери и, тем паче, давних, никогда толком неизвестных предков, Регина за годы брака своего совершенно обрусела. Со своим отцом она поддерживала теперь уважительные, но прохладные отношения. Все же что-то было, было весьма нехорошее, стыдное, грязное в прежней работе отца... К матери же Регина сохранила самую горячую, дочернюю, привязанность... Что же касается еврейства, Регина относилась к нему как к какому-то дурному, дремучему пережитку из давным-давно промелькнувших над миром, прошедших веков. Никогда не знала она ни еврейской религии, ни традиций, ни одна буква еврейского алфавита не была ей хоть как-то мало-мальски знакома. Просто незачем все это было ей...

«И зачем люди только так мучают себя? К чему держаться за старинный хлам? Зачем сидят в темных, затхлых комнатках своего еврейства? Зачем хоронить себя, замуровывать заживо? Почему не стать как все?... Надо просто выйти к свету! Ведь это так просто... Почему чудачки не отринут старье? Что в нем ценного?... Господь?... Но наука всем разумным доказала - никакого бога никогда на свете не было и нет... Всякая мысль о нем смешна и нелепа... Животный страх смерти - вот что движет темными, глупыми и слабыми людьми... Трусы... Дураки и трусы. Они не в силах осознать свою конечность. Вот и придумывают глупенькие сказки... Небеса и белые одежды... Ад... Посмертные вечные муки в озере огня... Ну жуть!.. Мракобесие и фанатизм... Плод больного воображения и мерзость... Но вот уже и веры-то той, смешной, стародавней, нет как нет. Одна только мука и осталась... За что?... За что?...» - так думала Регина и не раз, с болью размышляя о себе и своем, ставшем почти постороннем ей родном народе.

Потом заболела Лия. Болела она в тот год очень тяжело и долго. Болезнь тягостно схватила ее за старое сердце... Пошло обостренье... Сосуды... Долго в тот злополучный год не выходила Лия из больницы. С кардиологической койки писала она письмом за письмом своей дочери Регине, как бы все время навсегда прощаясь с ней. От писем этих страшных, материнских Регина ходила все время сама не своя. Поминутно ожидала она телефонного междугороднего звонка с печальной новостью. Вздрагивала при каждом звонке. Однако

ехать через полстраны домой, в Чернобыль, не имела никакой возможности. Учебный школьный год был в самом разгаре. Дни катились за днями повседневным идиотизмом пустяжных забот. Неугомонные, дикие школяры, что вечно бесятся перед глазами, череда бесконечных уроков да домашние хлопоты хоть немного гасили тревогу и острейшую боль. Ожидание неминуемого, самого дурного и неотступная мысль надоедливый сверлом под коркой: «Ну как там дома? Как мама?..» На руках малолетний сын Андрюшка, да Витя - муж, второй ребенок... Так и жила в постоянной, ежечасной, неусыпной тревоге сумасшедшие, полубессонные полгода.

Ближе к лету Лию все же выписали из больницы. Написала на радостях дочери. В письме том Лия писала, что ей пока что получше, однако ж кто знает, что будет дальше. «Врачи в таком возрасте выздоровления уже не обещают, - написала она. - Умирать, так и не увидев внука, было бы горьким, нестерпимым горем для меня. Из-за нелепой, глупой ссоры вы лишаете меня последней радости на этом свете... Забудьте ту нелепость. И приезжайте, если сможете. Скорей»... - так писала Лия дочери Регине в далекий северный Устрианск. Получив очередную весточку из дома, Регина разрыдалась. Скорбь и боль от скорой и внезапной потери прожигали огнем, разрывали ее бедную душу, грызя, хватая тысячами хищных, окровавленных пастей. День Регина ходила сама не своя, а вечером на вопрос: «Что случилось?» - она все честно рассказала своим родным.

- Что ж, родителей не выбирают... - пробурчал Николай Прокопьевич. - Езжай, исполни свой дочерний долг... А что до остального, то один бог - он всем судья. Все ведь там когда-то будем...

- Поезжайте, поезжайте... - захолопотала, как большая курица, бабушка Архелая. - Даст бог, еще и выздоровеет мать твоя... И ты, Витька, черт этакий, рожу перед ними там не коси. Ты в чужой жизни не хозяин, - сказала она строго сыну и даже погрозила ему пальцем, как маленькому.

Для всех родителей на земле и взрослые их дети - всего-то только дети... Вот так и собрались. И поехали. Повидать. Проведать... Прощаться?.. Нет, лучше все-таки прощать...

### Негритенок Роб

Из «залы» был вход в кладовку с корытами и банками вишневого варенья и во вторую жилую комнату. Бывшая детская. Давно без детей. Брат и сестра давно выросли. И улетели из гнезда, как говорится... Давно, давно детская нога не переступала этого порога. И вдруг снова - детская. Детская, хоть на один только месяц.

Железные кровати с блестящими шарами. Коврики с оленями над ними. Старинная, ножная швейная машинка «Зингер», расписанная золотом по черному блестящему лаку, на тонкой чугунной станине, забилаясь сиротливо в темный угол. Неясно поблескивает из темноты крутым, гнутым боком... Облезлый конторский стол у окна, крытый свежей газетой. Деревянный обод спинки «венского» стула выпер дугой из темноты... Круг света от древней зеленоватой лампы на столе. Под светлым кружком на газете читается вчерашняя газетная колонка: «Никарагуа, мы с тобой!» «Встреча друзей»... «Братская по»... «Дорога»... И дальше все теряется во мгле... Неясный блик на подставке для перьевой подарочной ручки... Рядом - сувенирный пластиковый пингвин, в память о каком-то антарктическом популярном событии - юбилее... И темнота. Темна, плотна, страшна, как смерть, южная, безлунная, беззвездная ночь. Ночь - вырви глаз. Так про нее говорят... Страшные, длинные тени. Тени от деревьев под окном, колышимых ветром. Неверный свет дальнего фонаря да далекий лай - вой хозяйских собак.

Два шага из светлой комнаты в дверной проем - и полумрак... Вот большая кровать с огромною подушкой, прохладной белой простыней. Мягко пружинит. И легонько-легонько поскрипывает... Вглядываюсь в темноту... Вот этажерка с книгами. Вот велосипед в углу... Из прикроватной темноты неясным - простые деревянные полки... Древняя, пыльная чернильница-непроливайка. Рядом с ней торчит из пластикового стаканчика древняя, деревянная, перьевая ученическая ручка. Погнутое перышко со звездочкой. Такую Андрюша раз видел на устрианской почте... Рядом - заводной облезлый заяц с барабаном. С коротким, грубым, заводным ключом на спине. Как заколотый бандитом человек с воткнутым ножиком, подумал Андрюша со страхом... Страшная, темная, южная ночь... Рядом кукла - забавный чернокожий мальчик. «Негритенок Роб» - так его назвал когда-то дядя Саша.

Дядя Саша. Старший брат Регины. Давно сменивший неблагозвучную родительскую фамилию на более нейтральную. Теперь он - «Михайловский». Александр Михайловский. Михайловский Александр Игоревич. Он тоже, как и младшая сестра, учитель. Из недале-



кого Киева. Приезжает иногда. Привозит лекарства, подарки для матери, и для отца. Недавно Александр женился на дочери зубного техника, некой Алле... Живут хорошо. Центр Киева. Огромный старый дом. Большая квартира. Полно барахла. Имеют машину «Москвич» и дачу... «Шикарно, шикарно живут...» - так говорила про его семью Регина. Тем не менее, тесть все чаще и чаще говорит об эмиграции... Не терпится старому черту в Израиль или в Америку из Союза слинять. Только и слышит день и ночь от него новоиспеченный Александр Михайловский:

- Так ты не знаешь, как там власть к пенсионерам нашим хорошо относится?.. Аллочка, доченька, ну ты-то хоть скажи ему, упрямцу такому!.. Ведь он уже не «секретный»... Служил, говорит, на подлодке!.. Да когда ж это было!.. Все секреты те давно в Америке известны... Вот упрямый!.. Хочет всю жизнь тут прожить... Среди «этих»!.. А то мы не знаем, как они нас «любят»!.. Хотя бы о детях своих подумал!..

Детей у Александра Михайловского со временем станет двое. Игорь и Машенька... И в самом деле, как им тут жить?.. А ему, ему как жить там, если маму и папу придется навеки оставить?.. Сказал ведь Исаак: «Не поедем, останемся тут умирать!» Значит, все! Баста!.. Придется родителей оставить в Союзе. На Регину только их оставить?.. На ее, на ее одну?..

«Поль Робсон» - так назвал Саша Шредер в детстве свою любимую игрушку. Игрушечный, забавный негритенок с именем американского певца. «Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек», - пел Поль, приезжая на гастроли в Москву. В те годы Поля Робсона в СССР знали все. И все ему аплодировали. Даже сам товарищ Сталин. Негров в Советском Союзе тогда очень жалели... Как они там, бедные, живут за океаном?.. Обижают их... То да се...

«Смотрите, разве это дом. Он, правда, с дверью и с окном. Но он похож на старый гриб, К стене высокой он прилип»... - водил тонким пальчиком по строчкам в детской книжке про негритенка Роба еврейский мальчик Саша Шредер, и маленькое сердечко готово было разорваться от жалости к несчастному ребенку там, за океаном, на куски.

Холодный уральский ветер яростно бил в стекло. Залеплял снеговыми хлопьями маленькое оконце. Пришедший в дом с мороза раскрасневшийся Исаак отряхивал в сенях казенный полушубок.

- Погода - жуть, - сказал Исаак жене. - Дорогу в Ягодное замело. Три дня до третьего лагпункта ни одной машины... Начальство орет - обеспечить транспорт в лесосеки... обеспечить вывод ээка на работу, мать... мать... мать... А как мы ту колонну поведем в буран - не их ума дело... У них там план по лесозаготовкам. Приказ по управлению ГУЛАГа. И все! И баста!.. Погоним «этих» в лес, так сами там же и останемся! Буран...

- Папа, папа... - услышал Саша знакомый голос и подбежал к отцу. Ему так не терпелось рассказать о страшной детской книжке про бедных негрят в далекой Америке...

«Хорошо, что у нас, в стране Советов, живет товарищ Сталин. Товарищ Сталин любит всех детей... Вот если бы товарищ Сталин вдруг пришел в Америку и спас несчастных негров»... - думал Саша, уже засыпая. И от этих мыслей на сердце у него стало вдруг светло и радостно. «Да, так и будет. Скоро. Очень-очень скоро»... - подумал он, и мир вновь стал велик и светел.

Добрый советский народ жалел неведомых людей в чужой стране... Своих у нас в стране никто и никогда не жалел. Совсем как и нынче. Никто и никого не жалеет.

Через год после приезда Александра в далекую Америку чернокожий наркоман, вооруженный ножом, вошел в вагон Нью-Йорской подземки. Безобразные широкие штаны. Грязные дешевые кроссовки. Куртка с капюшоном. Железный медальон с Мухамедом Али на тонкой шее, узловатой шее. Узкие солнцезащитные очки.

Нестерпимый, резкий, белый свет плафонов. Визг ветра за стеклом. Мерный стук колес. Прямо в череп. В череп. В череп. И тысячи острых иголок - мгновенно вонзаются в больной, растревоженный мозг... Стук в висках. Противнейшее головокружение. И звон. Нестерпимый звон в ушах... «Вот так приходит ломка... Дозу... Надо дозу», - ворочалось в башке у Сэма огромным колесом. Сэм наконец-то уперся лбом в стекло закрывшихся дверей. Таращился на стенки черной, страшной, свистящей подземной кишки. Вдохнул поглубже воздуха, стараясь не сблеветь. Минуту отдышался. Потом резко повернулся, вынул из кармана заточенный нож-свинорез и подошел к мужчине на скамье.

- Мистер, гив ми йо мани! Плиз! - сказал Сэм, приставив нож к горлу пассажира.

Выдернул деньги из бумажника, засунул доллары в свои широкие карманы и не спеша отошел к дверям. Пассажиры в вагоне, грохочущем в Квинс, сохраняли молчание. Кто-то читал газету. Кто-то просто отвернулся, пялясь в кромешную тьму за вагонным стеклом. Только черный глазок телекамеры под белым потолком вагона, только черный глазок да

прохот по рельсам... Все вперед, вперед, вперед...

На первой же станции влетевший в вагон полицейский наряд из двух чернокожих схватил Сэма и безжалостно повалил его на грязный вагонный пол. Заломились за спину тонкие, исколотые руки. На запястьях щелкнули наручники. Обернувшись к Александру улыбающийся парень протянул ему деньги и долго что-то объяснял. Потом всучил ему какую-то картонную карточку с адресом... Из всего, что говорил ему этот человек, Александр только и понял, что тот просил его зайти в полицейское управление или хотя бы позвонить... Потом эти двое, «ободрив» наркомана ударом дубинок под ребра, разрешили Сэму подняться на ноги и повели по платформе вдоль всего состава. В дальний станционный торец, к лестнице служебного эскалатора. Туда, где зеленой табличкой кошачьего, хитрого глаза светилась надпись «EXIT».

Долго собирался зайти или хоть позвонить, да все как-то откладывал... Языковые курсы. Потом - работа эта, будь она неладна... Оформление фуд-карт и вэлфера... Потом надо было детей записать в летний лагерь от «Джойнт», то да се... Да и стыдно было Александру пока за свой английский... Так и не позвонил.

«Мальчик Роб... Не ты ли это? - подумал он как-то вечером, припоминая свое страшное, подземное приключение. - Неужели это ты»...

За стеклами шестнадцатизэтажной кирпичной башни в Бруклине сгущались осенние, синие, лишние сумерки. Фиолетовые тени и размытые пятна света, огни многоцветных реклам светлыми полосами, и снова тени ложились на пары мокрого тумана, пришедшего от океана в колоссальнейший город. Небоскребы и пирсы. Зеленая статуя и пароходы, входящие медленно в порт, - все утонуло в сиреновом, сыром, осеннем молоке. Плотная пелена тумана легла, казалось всем тогда, на весь мир. От острова Эллис на гавань. На Манхеттен и на Гудзон, на великие Бруклинский и Вашингтонский мосты, на Ист-Ривер, на Брайтон и на аэропорт Ла-Гвардия, и далее - на весь Бруклин и Бронкс, и так дотянулась до Квинса.

- Туман... - сказал он подкрадываясь сзади Алле. И гадкая, жмущая душу тревога вползала под сердце. - Игорь... Машка... Снова рент в этот месяц повысили... Колледж еще этот чертов... Все не слава богу... А там... Хорошо, что хоть вывезли их... Расселили в Белую Церковь... Живы. И без лучевой... Читал в «Московских новостях» - начальника станции судят. Посадят его, а что толку теперь. Пусть даже и расстреляют они там его... Все равно, все равно ничего не исправить... Вот Петька... Одноклассник мой бывший. Он ведь в Припяти тогда был. Смена была у него на четвертом блоке в тот чертов злополучный день. Работал оператором...

Алла подошла ближе. Взяла мужа за руку. Крепко сжала ладонь Саши в своих горячих руках. Прижалась щекой к его груди... Светлые громады башен-близнецов Всемирного торгового центра заволакивала белесая мокрая мгла.

### Прохожий, остановись

Светлый, жаркий день. Косыми полосками света проник за оконную занавесь. Тяжелыми бабушкиными шагами вошел к детскую. Натруженными, плотными руками распахнул окно. И ласково сказал: «Вставай, Андрюша». Забулькала вода в умывальнике. Заворчало, зашипело на плите подсолнечное масло. Все выше горячее солнце. Раскаленным колесом уже висит над утреннюю, теплою землей.

Привольный украинский край. Украинский рай. Светлый, дивный сад чудес. Окна, распахнутые в палисад. А там, в палисаде, - дикие яблоньки и шелковица. Большие, сладкие, черные ягоды. Напоминают ягоды малины. Только черные. И малина по деревьям не растет... Кусты крыжовника, смородины, малины. Хлопотливые курочки и горластые гуси, развалистые утки и страшные индюки. Бойкие, цветные, горланистые, драчливые, шальные петухи. Петушки цветные и петушки черные. Клетки с ушастыми, пестрыми кролика-ми в длинном дощатом сарае.

Серые дровяные сараи из неструганных досок. И грязнейший, щелистый сортир в глубине двора. Несет из него прямо зверски. Воняет на весь свет из него, как из пасти черта. Каждый, кто пойдет туда навеселе или просто ночью, рискует свалиться в его коварное очко. Андрюша, хоть и маленький, хоть и противно от духа нечистого было, но днем-то и он рисковал заходить. А вот ночью... Ночью-то - себе дорожке...

По горячей улице - до обрыва. И осторожно вниз. Крутой, почти отвесный спуск. Настоящая горная тропа вдоль зелено-бурных зарослей из трав - кустов - деревьев. Трое цепляются руками за траву, кусты и мелкие деревья. Почти ползут на четвереньках. Заполза-

ют и сползают чуть ли не на брюхе, держа равновесие, чтобы не свалиться вниз. Отважный Андрей и его родители. Вместе с ними все же не так страшно... Трое спускались по крутому склону. Стройный, крепкий усатый мужчина, черноволосая хрупкая женщина в синем, просторном летнем платье и голоколенный пацан.

Начинали со страхом. Сначала очень осторожно, боясь переломать ноги. После, словно на радостях, что все позади, сбегали вниз на узенькую тропку под высоким белесым холмом. И поспешили по ней дальше, между зарослей чертополоха, лопухов и высоких сорных трав и между противных куч бытового мусора, рассыпанного меж разлапистых кустов. Шли гуськом друг за другом, затылок в затылок, продвигаясь вперед, запинались о корни высоких деревьев и вдруг вышли, нет, прямо выскочили, радостно выбежали из зарослей на белый, чистенький, речной песок. Скинули надоевшую обувь, не боясь напороться на острые, бутылочные стекла, пошли босиком, поминутно утопая ступнями в горячем, рассыпчатом, хватком мареве. Плакучие вербы и серебристые ивы по заросшему берегу свесили длинные ветви к самой кромке воды. Вот он - пляж. Место ярчайших воспоминаний регинино и сашкиного босоногого, летнего детства.

Покосившиеся деревянные грибки под железной, старой, проржавелой крышей, крашенной когда-то под пятнистый мухомор, развалясь - скосясь на все стороны, важно расстелились на белом, горячем песке. На расчищенном от ив и верб речном склоне пробит - властно и решительно был прорублен широкий спуск к воде.

- Вот и Припять, - сказала Регина и почему-то глубоко вздохнула. - Сколько времени мы в детстве пропадали вот тут, на реке... Купания... Плоты... Вечерние костры... Помню, как-то Сашка с Петькою купались. Сашка захлебнулся. Стал тонуть... Хорошо, что дядя Миша Шевченко заметил. Он на лодке рыбачил. У острова. Вон там, - сказала она и показала рукой куда-то в сторону реки.

Вот блеснула на солнце. Рассыпалась ломкими искрами света, маня прохладной глубиной. Перед ними расстилалась река. Прохладная и чистая. Речка. Реченька Припять. Ласковые волны лижут нам разгоряченные подошвы ног. Мокрый песок налипает и налипает, засыхая коростой. Широкий, песчаный спуск так и манит поскорее зайти в прохладную, чистую, прозрачную воду. Манят скорей окунуться. Остудить разгоряченное на летнем солнышке потное тело.

- Он на лодке был. Сашку схватил и затащил в лодку. И ну скорее - на берег. А на берегу - я и Петька. Я реву, а дядя Миша мне: «Не реви, Регинка! Что если завтра война?.. Тоже реветь будешь?..» - так он меня успокаивал. Положил Сашку себе на колено. Повернул на бок. Потом лицом вниз. Рот ему открыл, а оттуда - вода... Положил на песок, и давай ему на ребра жать. Туда-сюда... Делать искусственное дыхание... Ожил, ожил тогда наш Сашка. Открыл братец мой глаза. И даже сам домой пришел... Мы маме ничего об этом тогда даже и не сказали. Зачем ее расстраивать?.. Ведь сердце-то уже тогда у нее начинало болеть... Тогда отец как раз пить стал. Это сразу после того, как мы сюда приехали... Бывает, как получка у него, так он непременно напьется с речниками. Научился пьянствовать у них там, в порту. Мать его в день получки всегда встречала с работы. Следила за ним, чтоб не пил... А ему - все одно. Как получка - так с мужиками в пивную. Мать туда зайдет, а они уже сургучик с беленькой сбивают... Потом, конечно, крик... Потом - начались у мамы инфаркты... Доктор. Больница. Кардиология. И папа снова тихий. Бегаёт на задних лапках, навещает: «Лия... Лиенька»... - «Набедокурил, обормот!..» А дядя Миша Шевченко молодец! Об этом подвиге его нашей маме соседка потом, уж после того происшествия, спустя добрую неделю рассказала. А ей, соседке той, до того - еще кто-то... После и власти про это дело прознали. Дали власти дяде Мише медаль - «За спасение утопающих». И статью про него напечатали в «Ленинском Шляхе» - «Геройский поступок»!.. Дядя Миша - мужик боевой. Дом у него хороший. И яблоневый сад большой... И на войне дядя Миша был. Только медалей у него маловато. Но это ничего. Сейчас всем ветеранам - юбилейные дают... - продолжила Регина свой рассказ. После этого случая папа дядю Мишу сильно зауважал. Всегда на все праздники приглашаем мы его в гости. И Миша никогда не отказывается. Ни теперь, ни раньше. Не секрет, что в те давние годы на папу многие смотрели косо. Говорили: «Раз работал «в органах», значит»... Потом это все как-то само собой прошло... Убрали лысого «волюнтариста». Обещал, балабол, балбес большеоттый, коммунизм через двадцать лет в СССР построить. Да разве это реально? У нас народ-то, сами знаете, какой... Правильно, что пустозвона в шестьдесят четвертом скинули... Теперь все у нас «вполне реально и конструктивно» стало. Сплошная «экономная экономика» и «взаимовыгодное сотрудничество» в эпоху «строек века». Никаких тебе глупых «кузькиных матерей» и «мы вас похороним». Все стало пристойно - «в духе мира и добрососедства»... Кажется, так наш бровастый Иль-

ич теперь говорит?.. - добавила она беззлобно. И продолжала: - Теперь раз в год папу нашего даже приглашают на торжественное в «День Чекиста». Цветы. Открытки... Вот даже вазочку недавно подарили. Синенькая такая. Маленькая. На комодке стоит... - продолжала она.

Жаркое украинское солнце. Теплая, прогретая вода. Ивы над речной заводью. Шустрые ящерки - тритоны юрко плещутся - быстрыми речными молниями носятся в заводях - водных зарослях. Загорания под жарким солнцем. После, разогревшись до красна, тянемся, как животные на африканский водопой. К воде. Поскорей к воде и в манящую, освежающую, смывающую вмиг тяжелый жар прозрачную воду. С горячего разбегу - раз и стремительно в воду. Плески рассыпчатых, прозрачных, прохладных, освежающих искр. Заходим и плывем. Долго и далеко. Чуть ли не до самой середины реки. До железного, облупленного, красно-белого буйка - бочки на подводной цепи. Плывем обратно, но уже с легкой болью в натруженных веслах - руках. Тяжело ступая, выходим на прибрежный песок. И блаженнейшее обсыхание на горячем песке... И снова, снова влечет и манит мутноватая у берега, теплая вода. Блесткая под солнцем сказочная Припять.

Возвращались домой, отдохнув и накупавшись всласть. По дороге завернули в городской тенистый парк, разросшийся, как буйный, синий лес, над неглубоким оврагом. По-украински - «над яром». Завернули в отворенные, широкие, решетчатые ворота. Прошли мимо древней, заброшенной, дощатой раковины - эстрады. Пошли мимо какой-то обветшалой карусели. Жесткие, железные сиденья на дребезжащих на ветру, проржавевших цепях, спускающихся от верха железной тарелки на полосатом, облупленном столбе... Потом снова прямо, прямо по растрескавшимся, белым цементным плиткам, из щелей между которыми буйной порослью проросла трава и даже молоденькие деревца. В конце аллеи, над самым оврагом, в плотной тени широких крон что-то забелело.

Белая кирпичная пирамидка, видимо, послевоенной постройки. Посеревшая от времени побелка. Отвалившийся с левого бока кусок штукатурки и бесстыдно выглядывающий из-под широкой прорехи темно-красный кирпич... Военный, бедный памятник в глухой провинции, какие ставили в конце сороковых. Накладная железная, некогда красная, а теперь просто ржавая звездочка наверху. И пониже - писанная некогда черным, с золотом, а теперь полинявшая, полустершаяся надпись: «Прохожий, остановись. Здесь лежат советские люди, зверски убитые немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941-1945. Вечная память», - разобрал неясно различимую надпись Андрей.

- Здесь во рву лежат убитые во время оккупации евреи, - сказала неожиданно Регина и отвернулась от своих родных куда-то в сторону, словно вглядываясь в синюю, лесную, дальнюю даль.

Плечи у Регины вдруг неожиданно задергались. Потом затряслась вся спина... Глухие, утренние рыдания вырвались из мучительно перекошенного полуоткрытого рта, и крупные слезы покатались из ее больших, черных глаз. Боясь показать свою слабость, как свой величайший жизненный позор, Регина отвернулась от сына и мужа. Размазывая нежданно нахлынувшие, горькие слезы маленькими кулачками по лицу, зажимая непослушный рот ладонью, она старалась начать глубоко и спокойно дышать. Дышать... Дышать... Дышать спокойно, как раньше... Ей казалось, что только так она успокоит приступ вдруг подкатившей к сердцу нестерпимейшей, обжигающей душевной боли... Немного отдышавшись и вмиг смертельно устав, не в силах больше избежать разговора на трудную тему, Регина продолжала говорить, пристально глядя перед собой. Вглядываясь словно в далекое, бездонное, черное, бесконечное, лесное пространство:

- Поставили памятник этот сразу же после войны. С детства все об этом памятнике знают. И знают все, что написана на нем неправда... Что было в нашем городке на самом деле в те года - о том все знают местные и так прекрасно знают. Все, кто жил тогда. И даже те, кто и не жил, как одноклассники мои. Им все родители про то время рассказали. И я все про то узнала, когда мы приехала сюда... Шила-то в мешке не утаишь, как говорится. Вот что с равнодушием, а кто и со злобою, рассказывали мне об этом местные хохлы. Слушайте и не дивитесь. И знайте, что все это абсолютнейшая правда.

В октябре сорок первого в городок прибыл украинский полицейский батальон под командованием Стаса Давиденко. Стас Давиденко, по кличке Тарас Бульба. Он так и на приказах своих полицейских расписывался. Огромный мужик он был, говорят, и грузный, как боров. Ходил в немецкой черной полицейской форме. Всегда и везде ходил он с пистолетом «Вальтер». А ребята его - те с винтовками. С нашими «Мосинками» и с немецкими фирмы «Маузер». Он ходил в форме, а эти-то хлопцы и без формы вообще. Все в своем

были, в гражданском... Вся и разница была у них с гражданскими, что сине-желтая нарукавная повязка с «вилами» - соколом на рукаве. Да еще, конечно, оружие. И документы из комендатуры... Да еще был у них, говорят, от тех, пришедших на нас тогда с войной фрицев, один только унтер какой-то. Хромой, косой он был, или без одной руки - тут слухи до меня уж доходили разные. Ясно только, что своя немчура инвалида того на Восточный фронт никак не гнала. А здесь, в тылу, определила своего увечного бывшего вояку на должность инструктора для местных украинских полицаев. Немцев у нас в городке-то и было немного. Только разве если на марше, да во время боев...

Помню, когда мы приехали, училась я вместе в украинской школе с девчонкой. Хорошая девочка такая. Умная. Беленькая. Ирочкой звали... Так вот, все, все вокруг знали, что мать родила эту девку от немца. Немец молодой у них стоял... Любовь-морковь, или там чего другое, только насилия при том деле явно не было. Кстати, и не одна была такая в нашей школе. И другие такие же дети у нас были... Были... И про других такое говорили, что и они - от немцев... Может, впрочем, и навирали напрасно. Люди-то злы... Я потом как узнала про эти дела, все спрашивала у отца: «Как так? Почему ж эту бабу, мамашу ее, как предательницу не посадили или не сослали хоть куда (времена-то когда были еще сталинские)?» А он мне в ответ: «Не одна она такая была. Всю Украину сажать - лагерей, пожалуй, и не хватит. Полстраны в Сибирь не загонишь, если тут вот каждый второй чем-нибудь отличился... Сибирь - она ведь хоть и велика, так и она же не резиновая... И ведь верно. Наш народ в СССР - он такой... Как пыль, ветром гонимая... Ему что белые придут, что красные, что фрицы, будь они неладны... ему - все, все равно, все едино... Норовит всегда устроиться, да получше, потеплее, да посытнее, невзирая на новую, очередную для себя власть... Получается так, что и баба та, немцу давшая, перед властью советскою не виновная ни в чем. Не про Сталина же она анекдот рассказала? За что же ее было им, чекистам, покарать?..»

Вообще народ у нас на редкость гибкий, переменчивый... Как пришел этот Бульба, так приказ: всем евреям собраться - и в гетто. Шагом марш. Жить на тех улицах, что за старым кирпичным заводом, обнесенных уже к тому времени и столбами с колючею проволокой. По углам гетто вышки стояли. Полосатые караулки у входа... Строили местные. Охраняли гетто, естественно, эти украинцы-полицаи... Так вот, как евреев с города перегнали в то гетто, Бульба сразу же издал указ. А там - черным по белому: «Все жидовские дома даются на полное разграбление украинскому населению как особо пострадавшему от москальского жидо-большевистского режима... Всем, кто будет разграблять жидовское добро после установленных для сего дат, а также всем, кто будет враждовать со своими соседями, деля праведно награбленное, наказание - смертная казнь через расстрел, без суда и следствия. Хорунжий Украинского Великогерманского протектората Тарас Бульба».

Что тут началось... Молодые и старые, старики и женщины, девки и подростки, мужики и тетки подвезжали на телегах, подбегали с ручными тележками, а большинство и просто с голыми руками к оставленным хозяевами еще целехоньким домам. И тащили. Тащили все, что только попадет под руки. Облепляли дома, буквально как муравьи, и через минуту на месте прежней ладной хаты оставляли только безжизненный, голый остов с выбитыми окнами, выломанными дверями, а кое-где даже и с ободранной крышей. Конечно, если крыша та у прежнего хозяина была железная... Каждый спешил унести, увести, урвать свое... Скорей... Скорей...

- А как же партизаны? Почему никто не стрелял в проклятых полицаев? - робко спросил Дюша.

- Подпольщики, партизаны... Это только в книжках да в кино. Не было никаких таких партизан. Был Штаб партизанского движения в далекой Москве. Были люди «из органов», оставленные для проведения разведки и диверсий в тылу врага. Во многом отряды те были набраны из местных энкавэдистов. Понятно, что при немцах этим людям пути до хаты просто не было. Как не было домой дороги и разным там советским да партийным начальникам. Уж слишком многие хотели бы с ними теперь поквитаться за колхозы, голод и посадки в лагеря родных и еще за всякое такое разное...

Врасположение таких отрядов с «большой земли» сбрасывали на парашютах, да и просто привозили, если самолету было куда сесть, новых подготовленных бойцов, оружие, взрывчатку. Жратву им, разумеется, через линию фронта никто никогда не возил. Москва приказывала «изыскивать внутренние резервы». Это значит - надо было идти по домам, обирать население. Точно так же и германский фюрер велел поступать своим фрицам... Можно сказать, что местные крестьяне в ту войну оказались заложниками двух враждебных для них лагерей - оказались людьми, угодившими прямо между молотом и наковальней.

Зачастую к отрядам таких диверсантов-разведчиков прибывались и солдаты-окруженцы, безуспешно пробивавшиеся к своим, и евреи, бежавшие из гетто, да и просто все те, кто боялся отправки на работу в Германию, или те, кто вошел в конфликт с новой пронемецкой властью. Вот это и были все те прославленные партизаны... Только много ли их тогда было?... Это потом, когда Красная Армия стала переть на Восток, в те отряды потянулись многие. Очень многие, даже и бывшие полицейки. А тогда...

Выходили ночами из леса такие вот партизаны - и в ближнюю хату: «Хорошо, хозяйева, живете! А ну, тащите нам жратвы побольше, да поживее!.. Пособники немецких оккупантов, пригались тут на печке, так-растак и в бабушку, и в мать!.. Что, нету лишнего для нас - героев? А для фрицев есть?! Ах, вы, суки! Дождались немчуры поганой, грязные изменники! Своим дать ни еды, ни одежды, ни валенок уже не хотите!.. Смотрите еще - воротитесь к вам товарищ Сталин! Тогда-то это, как сейчас, «много» не покажется!..» - вот и весь их разговор был с народом. Ну, и как ты им вдруг не дашь? У них ППШ на ремне. Вот такие были партизаны... Для того, чтобы защитить свои села да дома от таких вот партизан, шли хохлы во множестве великом служить в полицию. А полиция - это и власть, и жалование твердое, и продовольственный паек. И возможность пограбить других, как и те же пресловутые партизаны...

Вот с того самого дня, с грабежа еврейского, стал Тарас Бульба у нас в городке популярен. Временно купил себе авторитет он грабежом тем всенародным безнаказанным. Да связал людей круговой порукой причастности к коллективному разбою и молчания всеобщего о разбое том... Впрочем, и популярность любая, и авторитет у нас дело преходящее. И уходящее скоро и без следа. Прошло и это, как только немцы повели полициям взимать с населения продовольственные и натуральные поставки для нужд вермахта и Рейха. После организовали немецкие власти биржу труда и стали вербовать молодежь для работы в Германию. Вначале народ записывался смело и охотно. Потом как-то поползли дурные слухи о тяжелой жизни на неметчине... Народ записываться на работу перестал. И вот уже тогда настоящие немцы (и без местных полицейкиев даже) сделали облаву у нас на базаре. Многих бывших там в тот день арестовали. Потом объявили их всех спекулянтами и отправили в товарных эшелонах на работу. Кого в Польшу, кого и подалее - в Рейх. Официально немцы называли это «транспортровка», или даже «эвакуация населения».

В то же примерно время Бульба получил приказ из комендатуры «разгрузить гетто». Вот тогда и пошли колонны к яру. Люди не знали, куда их ведут. Шли с вещами. Шли целыми семьями... Кто-то слышал краем уха вздорный слух, будто немцы захватили Палестину, поперли оттуда англичан и вот теперь туда высылают евреев... Все спокойно, уверенно шли, и никто ничего не боялся... А потом... А потом были выстрелы, - Регина наконец-то смолкла.

Бездонные, черные ее глаза вновь заволкло слезами. Крупные капли покатались по ее щекам. Она плакала. На этот раз беззвучно, уже не стесняясь и не скрывая своих соленых, горьких слез.

### Королева

Волшебное украинское лето. Рассохшийся, нагретый подоконник. Черноволосая женщина в широком платье болтает загорелыми ногами, сидя на окне, и рядом с ней - мальчик.

- А ты знаешь, - спросила Регина, - что мое имя означает по-испански?

- Что? - с любопытством спросил Андрей.

- Королева. Мне рассказывал как-то один парень еще в Ленинграде, в юности, что в стародавние времена, еще и доколумбовы, евреи жили в Испании и Португалии. Испанцы с португальцами только что прогнали мавров-мусульман из своих земель, и потому король Филипп испанский и королева Изабелла португальская всюду искали врагов. Им на помощь в этом деле подоспел злой великий инквизитор Торквемада. Попы да монахи искали врагов короля. Искали врагов королевы. Искали еретиков - врагов веры церкви католической... На городских базарных площадях запылали, зачадили черным дымом, завоняли горелым человеческим мясом страшные костры инквизиции. Страх и ужас охватил иноверцев Испании и Португалии - иудеев да редких уже в тех краях магометан. Изменить свою веру, умереть на костре или убежать в дальний край - вот какие дороги легли тогда перед евреями.

Первое время, надеясь избежать либо отречения от родительской веры, либо гонений и мучительной, позорной смерти, евреи стали давать своим дочерям имя Регина. Еврейские отцы семейств робко надеялись, что их гонители и мучители не посмеют поднять руку на семью, где почитают королевскую кровь... Но только и это было тщетно. Товквемада

обвинил евреев в том, что те, веками живя на земле Кордовы, мирно ладили с правителями - маврами-магометанами. «Раз они, иноверцы, не враждовали меж собой, значит, меж собой они в чем-то согласны. А раз так, значит, их вера против нас», - так он сказал королю. Так он сказал королеве. Перекрестить всех евреев, а кто не крестится, - убить! Такое вынесли решение монархи.

Вот пришли попы, пришли черные монахи. Принесли чаши со святой водой, кадила-курительницы, хоругви и иконы и начали крестить иноверный народ. Всех, кто отказывался, хватили стражники. Волокли в темницу, а потом казнили. Кто-то бежал даже и в Африку или через Пиренеи во французский край. Большинство не захотело ни бежать, ни умирать, надеясь тайно сохранять свою веру. «Марраны» - вот как называли их испанские католики. «Марраны» - по-испански значит «свиньи». «Неверные перед господом», крестившиеся только для вида, - вот в чем подозревали этих несчастных людей остальные «добрые католики»... Говорят, что Христофор Колумб был тоже из семьи марранов... Вот такая страшная сказка, - закончила Регина наконец. И желая сменить невеселую тему, сказала уже веселей: - Скоро мы пойдем в гости к дяде Шевченко. К дяде Мише. У него большой дом и сад. А еще у него есть марки. Почтовые марки. Целые альбомы старых марок. У него был сын Анатолий. Он их раньше собирал... - сказала Регина, и тяжело вздохнула. - Погиб...

- Как погиб?.. - неуверенно, робко спросил Андрюша у матери.

- Утонул на реке. Раз попал в водоворот и не выплыл. Утащило под воду... - сказала она и еще раз вздохнула. - А ты знаешь, кто был Шевченко? - спросила Регина, наигранно весело взмахнув черной копной волос.

- Кто?

- Это поэт такой был, украинский. Давно, еще при царе. Поэт «гнева и печали», как Некрасов в России... Шевченко был крепостным. Писал стихи и очень хорошо рисовал... Его отдали в солдаты на двадцать пять лет. Было это давно, при царе Николае Палкине. После хорошие русские люди выкупали из рабства, спасали его... Я все-все раньше про того Шевченко знала. Я ведь школу здесь закончила украинскую. Учились мы на украинском языке. Я и мову знала тогда в совершенстве. Жаль, что со временем все забываю ее. Все больше и больше... Да, давно это было... Еще при Хрущеве... Помню, хлеб тогда у нас на Украине был такой рассыпчатый, продавался в магазине. Делали его тогда из кукурузы. И совсем-совсем невкусный был... Говорят, что кукурузу ту увидал Никита наш Хрущев в пятьдесят восьмом в Америке. Очень уж она ему понравилась. Вот он и решил весь СССР той кукурузой накормить. А ведь в той Америке, где он ее и увидал, она идет-то только в корм скоту... А еще тогда у нас в СССР первый спутник запустили. После того и Юрий Гагарин в космос полетел. И Алексей Леонов. И Валентина Терешкова... Раньше, в детстве, когда мы были еще школьниками, мы всех-всех наших космонавтов наперечет знали. Вот смотри... - Регина подошла к столу и стала выдвигать ящик.

И достала из ящика как величайшую ценность кипу ломких, пожелтевших газет. С полустлевших полос радостной, невинною улыбкою мальчишки улыбался первый космонавт Земли. Космонавту Гагарину пожимал руку и улыбался во весь свой широченный рот толстенький, плотный человек с абсолютно лысым черепом. Никита Хрущев. Вот он какой, догадался Дюша.

- В школе мы тогда много-много стихов Шевченко Тараса Григорьевича учили наизусть. Кобзарь народный - так про него в книжках писали... Всегда читали мы те стихи перед классом. И на эстраде, на вечерах торжественных - тоже... Сколько лет прошло, но я и сейчас кое-что помню... И даже могу прочитать... - она подняла повыше голову, сосредоточилась и начала читать нараспев: «Как умру, похороните на Украине милой, Посреди широкой степи выройте могилу. Чтоб лежать мне на кургане, над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый Днепр под кручей. А когда с полей Украины кровь врагов постылых победит, О, вот тогда я встану из могилы, Поклонюсь я и достигну божьего порога помолиться, А куда - я не знаю Бога. Схороните и вставайте. Цепи разорвите. Злою вражескою кровью волю окропите»...

Какое страшное стихотворение, подумал Дюша. Могила и кровь. Кровь, красная, как наше знамя. Как кровь зарубленного казацкой шашкой незнаемого прадеда - революционера - героя Прокопия. Как кровь расстрелянных в яру евреев. Кровь, кровь, кровь...

### Дядя Миша

Вот и наступил тот самый долгожданный день. Поднялись с утра, но не пошли в тот день на реку. Долго-долго собирались. Оказалось, что быть приглашенным в гости - тоже

дело хлопотное... Собрались прийти в гости к дяде Мише к обеду. Или немножко пораньше. Вот оделись нарядно и празднично. И пошли все втроем, по раскаленной от солнечного жара улице. Хорошо, что тень от каштанов плотно устигала тротуар, не давая летнему асфальту превратиться в сковородку для прохожих. Подошли к дому дяди в назначенный час. Позвонили в звонок у железной калитки. Стояли и ждали. И вот калитка наконец распахнулась. И из нее - невысокий, кругленький, пузатый мужичок в белой рубашке с короткими рукавами, распахнутой на груди. Широкий нос - картошкой. Большая, волосатая бородавка на носу. Чем-то дядя Миша напомнил вдруг Дюше Никиту Хрущева, виденного им лишь раз со старой газеты с Гагариным. И еще чем-то - дедушку Николая из Устьяртина. Такой же плотный старик с большим и добрым, круглым лицом. Широко и приветливо улыбается. Крепко жмет папину руку. И гостеприимно приглашает пройти за ворота. За зеленый железный забор. В глубине участка - большой одноэтажный дом из белого силикатного кирпича. Возле дома - гараж. Вокруг дома - большущий фруктовый сад с яблонями, грушами, вишнями. Вот грозный, патлатый кобель в будке на цепи. Высунул морду. Вылез и обрехал незнакомых. Дядя Миша прикрикнул на пса:

- Цыц, Ленька! Молчать, старый черт!

Заслышав хозяина, кобель вмиг замолчал, трусливо попятился, завилял хвостом, как бы извиняясь за оплошность, и, потупившись, залез обратно в будку.

- А почему пес Ленька? - лукаво спросила Регина.

- Да брешет он больно уж много... - улыбнулся ей дядя Миша.

По дорожке идут через сад. Слева и справа от белой гравийной дорожки - плодовые деревья и ягодные кусты. Возле добротного деревянного крыльца веранды на бетонной площадке - «Жигули-копейка». Хорошо живет дядя Миша. Как-то даже и не по-советски. «Кулак», «куркуль» он, хозяин крепкий, настоящий...

Сначала плотный колобок дядя Миша и хозяйка дома, высокая, тощая, как вобла, как бы высохшая тетя Галя, поили гостей крепким чаем. Включили телевизор, но вмиг устали от полившейся казенной ерунды. «Сельский час» - продовольственная программа... всем классом останемся в родном селе... да вести с полей... то да се. Словом, или ничегошеньки интересного, или просто «клюква» и обычное, советское телеванье... Выключили... Из кухонного приемника пропиликала заставка из Моцарта: «Начинаем передачу «В рабочий полдень». Покатились песни по заявкам: «Яблони в цвету, какое чудо»... и «На тебе сошелся клином белый свет»... Потом прошло и это... Запищали сигналы точного времени... И голос, так знакомый всей стране, объявил: «В Красноярске - девятнадцать. В Улан-Уде - двадцать. В Петропавловске-Камчатском - двадцать четыре часа. Полночь. В столице нашей Родины городе-герое Москве - двенадцать часов дня. Полдень.

- А неплохо бы и по-настоящему отобедать! - хитро ухмыльнулся дядя Миша. - А ну, Галя, неси-ка нам скорей обед...

Зазвенели тарелки. И красный, горячий, наваристый, украинский борщ заструился из супового половника, топя в себе белые хлопья сметаны. Белые пампуки и вареники с творогом... Домашний хлебный квас... Своя, «кулацкая» горилочка, прозрачная, как слеза младенца, из хрустального графинчика быстро привела дядю Мишу и Виктора Николаевича в состояние блаженной нирваны.

- Эх, музыки бы сейчас хорошей надо... - сказал дядя и повернул ручку «Пуск» на магнитофонной приставке «Нота». Закрутились желтоватые катушки. Побежала, понеслась с одной на другую быстрая, коричневая лента. «Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой»... - захрипел из динамиков голос.

- Не могу, не могу про войну... - вздохнув тяжело, сказал Миша и опрокинул рюмку в свой широкий рот. - Тяжело, ой, как тяжело все это помнить... Давайте лучше за мир...

Потом крутили черные пластинки на «комбайне» - радиоле «Мелодия». Веселая леонтьевская свистопляска: «Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит»... И пугачевское лирическое, нежное, женское, грудное: «Расскажите, птицы, времечко пришло Рассказать, что мир наш - хрупкое стекло»... Песня для парного танца. Толстенький Миша смешно танцевал, перебирая короткими ножками со своей высокой, тощей Галей. Танцевал, дурачился и сам же над собой смеялся. И Галя смеялась. Смеялась до слез, промокая вдруг выступившие на глаза слезы белым, вафельным, кухонным полотенцем. Потом еще и еще танцевали. Регина и Виктор танцевали серьезно. А Миша и Галя - как придется. Дюша смотрел на танцующих и дурачащихся взрослых, и на душе у него становилось как-то необычайно весело, свободно и легко. Хотелось идти вперед по светлой и широкой улице, всем заглядывать в глаза, жать протянутые руки и улыбаться.



Потом снова что-то ели. Взрослые пили вино и смеялись. Виктор рассказывал о поездке в Ленинград, в аспирантуру. А дядя Миша травил анекдоты. Ну, и веселый же он оказался мужик:

- Раз приезжает Брежнев в Индию. В гости к Индире Ганди. Все его встречают. Машина подана, да не одна. Кортёж. Едут они, значит, из аэропорта. А на пути стоит корова. «Убрать! Согнать ее!» - командует бровастый. А индусы ему: «Никак нельзя. Священное животное. Вот когда сама уйдет, тогда поедем»... Брежнев вылезает из автомобиля. Подходит к корове и что-то шепчет ей на ухо. Корова машет рогатой головой и в страхе убегает... Индусы в изумлении - перед ними святой человек, познавший язык священных коров. Низко кланяются, аж до земли, дорогому Леониду Ильичу, усаживая его обратно. Сама госпожа Индира Ганди склоняет низко голову, прижимает руки к сердцу и просит новоявленного гуру открыть ей секрет сказанного. На что Брежнев топорщит мохнатую бровь и произносит в характерной невнятной манере: «Уйди, Бур-йон-ка! В кал-хоз ат-дам!»

- Уйди, Буренка!.. - покатались со смеху Виктор, Регина и даже Галя, не раз слышавшая этот старый анекдот. И сам дядя Миша, довольный своей шуткой, заулыбался, засмеялся во весь свой широченный рот.

Потом взрослые пили и ржали снова и снова. Рассказывали друг другу новые байки, покатываясь, даваясь со смеху. Наливали рюмочку за рюмочкой. Чокались, при этом хитро и довольно улыбаясь. Опрокидывали и наливали по новой. Виктор Николаевич и дядя Миша обнимались и ласково хлопали друг друга по спине...

- А о хлопчике-то мы совсем забыли, - вдруг опамятовался Миша. - Ему, наверное, совсем уж скучно стало с нами?... Галина, принеси альбом, - скомандовал он.

Желтый, коленкоровый альбом. Хрупкая, шуршащая папиросная бумага. Под прозрачным глянцем на черном, бархатном - яркие квадратики с аккуратными зубчиками по плотным краям. Вождённые марочки-марки. Вот яркая серия «Москва-800». Кремль и Исторический музей. Гостиница «Москва». Чудо-кладовые подземных метростанций... Год тысяча девятьсот сорок седьмой.

- Смотрите-ка, какие чудеса собирал когда-то мой Анатолий, царствие ему небесное... И я с ним тоже... баловался этой ерундой... Сколько лет прошло... Вот ведь ерунда. Бумажки... А тоже память... - облокотился дядя Миша Дюше на плечо и задышал нетрезвым духом ему в правое ухо. - Посмотрите. Таких теперь в «Филателии» не купить. Год тысяча девятьсот сорок седьмой. Привет от «культы личности»...

- Я только родилась тогда, в сорок седьмом, - весело заметила Регина.

- Да, было время... - как-то неожиданно вдруг посерьезнел дядя, словно даже протрезвев слегка. - Время оно... всякое было. И после, и до той войны... Знаешь, Регина, ты на меня не обижайся, но я бату-то твоего тогда не любил... Это уже потом, когда я Сашку вытаскил, мы с ним задружились. А до войны... До войны было другое... Не обижайся, дело это прошлое, только говаривали, что Исаак Ааронович пошел работать в «органы», в НКВД, специально. Хотел он власти над людьми. Хотел он, чтобы все его боялись... Лицом не вышел парень - не секрет. Некрасивых ведь девки не любят... А тут форма синяя, справная, ментовская. Щит и меч меж колосьев на рукаве. Околыш на фуражке синий. И оклад хороший, денег немало, не как у нас на заводе. Работа-то какая чистая. Все за столом, да за столом... Придет на танцы в клуб под вечер, откроет, бывало, коробку «Казбека», и нате, мол, нам так вальяжно, угощайтесь, хлопцы... Захочет девку какую на танец пригласить - опять ему отказа нет. Какая дурочка откажет? Себе дороже... Слышал я про него до войны нехорошего много. И все больше-то по женской части слухи были... Хотели мы его тогда с ребятами побить. Такого про него нам раз наговорили, что думали, встретим его все вместе, да темной ночью - не уьем вконец, так изуродуем собаку, как пить дать. Все собирались, да так и не собрались... Потом, слава богу, он на Лие женился. Перестал бегать в клуб... Опосля отослали его на Урал. Также ведь служба...

- Мы всю войну в Кунгуре прожили. Верней, немного в стороне. В поселке. Всю войну и немного попозже... Тогда сначала товарища Берию арестовали. А спустя года три всю систему лагерей Хрущев начал шерстить... Вот тогда мы сюда и приехали.

- Да, наш товарищ Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков... - вспомнил дядя Миша старую советскую частушку. - Говорили тогда многие, уже после отставки, в спину Исааку Аароновичу слово «берьевец»... Потом перестали... Мужик он вроде оказался неплохой. Вон в порт речной устроился... Работал, как все... Да и выпить с мужиками никогда не брезговал. Не жадный стал... Значит, все же жизнь людей меняет. Медленно, конечно, но меняет... А то, что я плохое про твоего отца вспомнил, - так то в прошлом. Ты на меня, Регина, за это не сердись. Но и из песни, как говорится, тоже слова

не выкинешь...

- А что там в Кунгуре на том Урале хорошего есть? - спросил Регину дядя Миша как бы натянуто улыбаясь, осознавая свою вину перед ней за тяжелые, обидные слова о ее отце Исааке.

- Пещера там большая есть, дядя Миша, - оживилась вдруг Регина, радостно переводя неприятный разговор на другое. - Природный памятник всесоюзного значения... Сталактиты там... Сталагмиты... Минеральные сосульки красоты необычайной от пола к потолку растут, и наоборот... Видели, наверно, такое в «Клубе кинопутешествий», в передаче у Сенкевича?..

Наступил вечер. Синяя дымка заволочла мир.

- Сейчас будем делать шашлык, - сказал дядя Миша.

Сказано - сделано. Мужчины притащили из чулана мангал и мешок древесного угля. Растопили. Женщины нашинковали овощей и мяса. Потом все это насадили на металлические шпалки и стали жарить на огне... Красота и романтика... Сумерки. Живой огонь. Красные угли под черным пеплом светятся рубиновыми глазками. Едкий запах дыма. Сочное, жареное мясо не скрипит на зубах, и бокал хорошего вина так и лезет в рот. И не один... Что еще надо в жизни человеку?..

- Хороший у вас сад, дядя Миша, - сказал Виктор.

- Да, хороший, - согласился тот. - И яблоньки. И грушки. И все своими руками, - сказал Миша и показал мозолистые, плотные ладони. - А откуда, вы думает, все это? - он обвел короткою рукой дом и сад. - Вырастим яблочек, груш, да и вишенки - и на базар. Нам денежки, а людям витамины... У вас в России, поди, в магазинах вообще ни черта не найдешь. Только с рынка фруктами кормитесь... Да еще говорите: на рынке все южане-спекулянты, сволочи, гребут деньгу лопатой... Эх, Сталина-де на чертей этих нет... Так ведь говорите?..

- Так, дядя Миша, - согласился Виктор.

- А зря!.. Сами бы поработали лучше, чем по глупым конторам штаны протирать... Свиному каждый день хотите, а поросенка вырастить - так это шиш. Подавай вам все готовое... Называете нас «частные собственники» да «спекулянты», «куркули» мы для вас и «кулаки»... А ведь наше-то и едите... - распалился дядя Миша. Похоже было, что он сел на своего любимого конька...

## Поле

Уже из окошка соседнего дома доносились позывные информационной программы «Время». Летел, крутился синий шарик на заставке. А рядом с ним - кремлевская, рубиновая, острая звезда. Уже бодрые вечерние теледикторы говорили в эфир: «Здравствуйтесь, дорогие товарищи! Сегодня в Москве состоялся... На трудовую вахту... Передаем вести с полей... Сегодня в Москву с официальным и дружеским визитом прибыла делегация... В аэропорту «Внуково» высоких гостей встречали»... Стрекот насекомых в травах. И бодрые голоса в синей, вечерней тиши... Мир устал и хочет отдохнуть за большой и сложный день. Где-то далеко, в сиреновой вечерней дымке, еле слышно прогудел локомотив. Застучал по рельсам поезд, Куда-куда. Куда-куда. Куда-куда. Куда-куда... Куда он понесся? Бог его знает... Простучал, и снова тишина и покой над уставшей землей... Деревянные шезлонги под яблонями с наливающимися зрелостью плодами. Распахнутые на груди рубахи у мужчин и яркие пятна женских платьев в накатывающих в мир вечерних сумерках. Хорошие, добрые, советские люди. Добрая «встреча друзей», как пишут в газетах. Шашлычки. Вино. Огурцы-помидорчики. Обильный, хлебосольный стол. Праздничный вечер в раю.

- Ты знаешь... - сказал дядя Миша, вглядываясь в сгущающуюся в мире тьму. - Ведь я в плену был. В сентябре сорок первого попали мы в окружение, вот прямо тут, под Киевом... Ну, и разбили же нас тогда... Плутали мы сильно. Много дней ходили без смысла по лесу. Умаялись вконец. Дожди да холод до костей дерет. Мокрые ноги в обмотках. Чавкающая глина под ногами. И сейчас вспоминать - просто жуть. Так плутали мы, что не только патрулю тому немецкому, даже черту самому были бы тогда рады. Лишь бы кто нас накормил, да просушиться дал... Ноги хлюпают. По костям бежит холод собачий. В магазине да в под сумке - ни патрона... Ну, мы и сдались... Девятнадцать мне было. Совсем еще пацан. Да и жить, жить мне, братцы, ой, как тогда хотелось... Народу тогда немцу тьма досталось. Тьма тьмушая. Такая была неразбериха... Да ты и не поймешь... - сказал, захмелев, отцу дядя Миша. - Целые толпы наших тогда в плен сдавались. Кто растерялся. Кто и сам. Просто воевать не хотели. Слышали краем уха, да и в листовках немецких подобранных прочитали, что какой-то немецкий танковый черт, вроде фон Рундштедт, отпускает хохлов-крас-

ноармейцев до хаты. То есть по домам. Ну, многие тогда и думали: к чему за большевиков воевать, раз немцы хохлов до хаты сами отпускают. Многие, многие помнили сами или слышали от родных про ту, Первую Мировую, которую называли в народе Германской. Тогда немцы с пленными обращались прилично. Кормили. Относились хоть и строго, но все же уважительно. Сохраняли награды и звания. А офицеров царских вообще не заставляли работать. Даже и на кухне, например...

Многие думали: ну, и что, что немцы, видели мы немцев в ту войну, раньше с царем воевали, нынче снова война, с коммунистами немцы воюют, да с москалями. Вот как многие, очень, очень многие тогда думали. Мы ни москали, ни коммунисты... Да и как в колхозы загоняли, того народ еще наш не забыл. И голод в тридцать третьем - тридцать четвертом... Все еще свежо это в памяти-то было. Вот ребята и не хотели зря идти помирать за Советы. Многие думали в лагере для пленных отсидеться. А там, гляди, приедет добренький фон Рундштедт, всех по хатам и распустил. К жинкам. А жинке пан здоровый нужен. Хозяйство нужно вести. Зачем же самому на рожон под пули немецкие лезть?.. Помню, все помню... Помню, как длиннейшие колонны наших пленных месили аддором. Огромная колонна, аж до горизонта, а фрицев гонит - горсть. И не сопротивляются. Сами, сами к немцам в плен идут. Идут почти что добровольно... Вот и нас собрали тогда фрицы. Повели на какую-то бывшую колхозную ферму. Это сборный пункт был лагеря для пленных. По ихнему, по-немецкому - для «шталага». Полная ферма людей. На соломе, как свињи, вповалку. Буквально человек на человеке. Места свободного нет. Ступить, и то некуда. Все люди, люди, люди... И солдаты. И командиры. Все вместе. Тут же спят. Тут же и нужду справляют. Больше - негде. Немцы на двор не пускают. Народу было там столько, что спали по очереди. Один спит сидя-лежа, другой на ногах стоит. Потом меняются. Вот издевательство какое... Но иначе - никак. Нет свободного места на ферме, и точка. Кто здоровый. Кто раненый. Кто какой. И все вместе. Давно не мылись. Вши пошли, понос, чесотки...

Помню был лейтенантик «зелененький» с нами тогда. Сережкой звали. Из России. Из под Ярославля. Светленький. Раненый он был. Рука простреленная на косынке висела... Просил о помощи, а немец «ни ферштейн» и прикладом в спину: «Свайн. Шнель...» - и со всеми на солому, в грязь... Потом, понятное дело, пошло заражение. Жар... В бреду сначала все мамку звал, потом затих. Так и умер там, отмучался Сережка. А как кормили на том сборном пункте? Бросят толстомордые фрицы нам несколько буханок хлеба, да ведра два сырой картошки на пол сыпанут - ешьте, свињи!.. Дверь закроют, а после смотрят через щель да смеются над тем, как голодные люди, вырывая друг у друга куски, словно звери, ползают в грязи на земляном полу. Хватают друг у друга пищу чуть ли не изо рта, борются, дерутся... «Большевишен ундерменшен!..» - кричат нам из-за дверей сытые, чужие голоса... Ад, кромешный ад, и так - неделями. Неделями!.. Сколько на той ферме нас тогда поумирало, не берусь судить. Только трупы выносили из фермы мы каждое утро. Специально отобранные, крепкие, здоровые - выносили мертвых. Их всего-то, таких бугаев-молодцов, там несколько и было. Этих немцы кормили немного, вернее, слегка подкармливали из своего котла. Не за просто так. А за работу. Самим возиться с трупами им было недосуг... Скажешь - ад. Нет, дружок мой, полада. Ад нас ждал впереди.

Потом наконец-то открыли ворота и стали нас выгонять фашисты на двор. Все, кто мог идти сам, с фермы вышли. Кто не мог - так и остались внутри... Нас построили в колонну и снова повели... Отойдя немного от нашего временного становища, мы услышали выстрелы, а после увидели, как занимается зарево... Колонна серых оборванцев. Ветер в спину и едкий дым. Горький, горький дым...

Что было потом?.. Потом было поле. Огромное поле, обнесенное по периметру колючей проволокой. Страшное поле. Бескрайнее, серое от людских полуживых теней. Поле без единой травинки. И все поле - пленники. Пленные повиштопали да повыели то поле. Под ногами жирно чавкает. Кучи нечистот. Вперемешку - кал и грязь. Ни бараков. Ни навесов. Ни крошечной будочки... Только поле и люди... Кал и грязь. И в грязи - тысячи пленных, жравших, спавших и справлявших нужду прямо тут, перед всеми, на голой земле. Вши. Болезни. Голод. Смерть. Такой вот был у немцев для нас тогда «шталаг».

Охранял это поле какой-то украинский батальон... Да, в основном они... Немцев-то там было маловато. Несколько нижних чинов. Да еще как-то пара из полевой жандармерии с большими железными бляхами подъезжала раз на мотоцикле. Наверное, просто заблудились. Подъезжали дорогу спросить...

Недалеко от шталага того был колхозный яблоневый сад. Поздняя осень. Яблоки в тот год никто не убирал. Прикатила война. Не до яблок людям было. Вот и лежали они на земле. Полусгнившие, уже тронутые первыми ночными заморозками. Много-много их было в

том саду. Вся земля - один сплошной ковер из яблок... Вот тогда и разрешили нам мучители наши выделить крепких еще мужиков и отправлять их в тот сад под конвоем с ведрами да с тазами за яблоками. Таскать яблоки нам за колючку. И они таскали. Сами ели и нас тем спасали... Хлеба хохлы нам почти не давали. Впрочем, даже и не по злобе. Было похоже на то, что и у немцев самих того хлеба негусто. Им-то самим не хватает, а тут еще пленным давать... Короче, и этих сук поганых понять хоть в чем-то было можно...

Горчили те яблоки. Ох, как горчили они, тронутые первыми ночными морозами. От мороза, а все больше от обиды нашей, да от бессильных мужиковских слез...

Так вот, я ведь был тогда парнишка крепкий. Не смотрите на меня сейчас... Сейчас я брюхо отрастил, что мешок картошки... А перед войной я ведь и спортом увлекался. В футбол за местные «Трудовые резервы» не раз выступал. Даже в Белой Церкви раз играли... Короче, я тогда еще не сдал. Вот и послали меня с мужиками нашими в сад за теми яблоками. Вел нас дорогою длинный чернявый хохол. Перед тем как вести на работу, спросил:

- Хлопцы, украинцы есть?

- Есть, - честно сказали ему из толпы мужиков, и я в том числе.

- Как зовут?... - началось составление списков. - А еще, а еще кого знаешь?... - выспрашивали украинцы. И мы говорили, если кто знает кого. Они всех аккуратно записали в желтую тетрадку.

- Шевченко Михаил, - слышу я свое имя. - Выходи, - несетя из-за проволоки ко мне обращенный призыв. И вижу - молодой синеглазый парнишка с открытым, крестьянским лицом приветливо машет мне рукой, выходи, мол, Шевченко, скорей, да не бойся.

Пробираюсь через повалку тел на разгаженной земле ближе к полосатой вахте. Шапку снял. Склонил башку пониже, как немцы научили нас тогда к начальству обращаться. Говорю, так, мол, и так, господин, не знаю, кто по званию, вызывает меня с поля. А кто такой - я про то знать не могу. Но явиться обязан. За неподчинение - расстрел. Сами объявляли... А он мне, этот, с желто-синию повязкой и соколом на рукаве:

- Не бойся, - говорит. - Мы тебя не тронем. Слух прошел, что у тебя фамилия такая знатная. Громкая фамилия. Шевченко! Вот решили посмотреть... Откуда ты, парень, родом? И не родственник ли случаем великого поэта-кобзаря?

Тут я как-то даже осмелел. Слово сердцем оттаял... Давно такой приветливости в людях я не видел. Столько времени, почитай, и ни одного доброго слова в свой адрес не слышал, а тут вдруг такое...

- Родом, - говорю я этому, с соколом, - недалеко. Из Киевской области буду. Из Чернобыля. А что до родства, о том врать не буду. Не знаю. Наверное - нет... Биографии я самой обычной. Семилетка. ФЗО. Судоремонтный... Вот и вся моя биография. Не один в Украине Шевченко... Если что, извините меня...

Сказал так и думаю - рассердится он сейчас, скажет: черт, опознались, ослы мы, проваливай-ка в жопу скорей... Или даже и хуже того мне сейчас от него-то будет... Но ничего подобного не происходит. Человек с соколом на рукаве широко улыбнулся и указал на табурет. Предложил мне сесть у грубого дощатого стола. Потом достал из ящика хлебный каравай и ножик, отрезал ломтик душистого хлеба и подал мне.

- На, ешь, Шевченко, - весело сказал он и улыбнулся. - Молодец ты, парень. Молодец, что не врешь. Нам в новой независимой Украине без власти москалей-жидов-большевиков надо честную жизнь построить. За годы советчины народ изоврался, испохабился вконец. А вот ты не врешь. И это хорошо, - так он сказал. А после достал завернутое в тряпочку свиное сало и отрезал мне кусок. Достал бутылку первача, граненый стакан и налил мне по полной.

- А зачем же ты, Шевченко, воевать пошел за москалей? Чем они тебя таким к себе поманили? - спросил меня охранник. - Эх, темнота... - сказал он, вздохнув, и протянул мне кипу немецких оккупационных газет на русском и украинском... Я развернул их, а тот, с повязкой, подошел ко мне сзади и встал за спиной. - Ты читай, читай, чего пишут. Читай сам и другим расскажи. А то многие сегодня в Украине, как слепые... Вот здесь читай, - ткнул он пальцем в большой газетный заголовок.

Я опустил глаза и прочел: «Выступление великогерманского фюрера Адольфа Гитлера перед депутатами германского рейхстага... Более пяти миллионов советских солдат на сегодняшний день находятся в плену великогерманского Рейха. Само провидение дало победу в руки наших мужественных воинов... Пять миллионов большевистских солдат. Это фактически вся большевистская армия. Бронированный красный кулак восточных орд полностью разгромлен. Оставшиеся в руках красных незначительные промышленные районы за Уралом мы легко подавим при помощи точечных стратегических рейдов нашей авиа-

ции. Главное уже позади... - читал я. - Немецкий солдат спас Европу и весь цивилизованный мир от красной чумы. Так великая Германия заслонила своей могучей грудью культуру европейских народов от неминуемой гибели. Велика наша миссия. Велика наша слава... Величайшая в мировой истории победа, победа над кровавым большевизмом, уже дело считанных недель... Мир, порядок и процветание - вот немецкие идеалы для новой Европы... Я уверен, - подчеркнул фюрер в своей речи, - что благодарное человечество никогда не забудет ратный подвиг мужественных немецких воинов, храбрых бойцов и опытных командиров, верных сынов великогерманского отечества».

- Ну как?... - спросил охранник меня, немного даже с вызовом.

Я молчал. А что тут скажешь... Разбили, значит, нас... Разбили подчистую... И что тут говорить... Пришли, пришли навек немцы в Украину. А от них добра не жди. На себе все испытали... Тот увидел мою оторопь, положил мне руку на плечо, присел на табуретку рядышком. И говорит:

- Вижу я, что расстроил тебя. Ну, да это ничего, пройдет... Много, много в Украине вас таких, простаков да дураков заблудших... Вот, читал ты, пленных аж пять миллионов, а то и поболее. И от всех своих военнопленных Сталин отказался. Знаем мы, что тяжело в плену у немца, ну, так и немца-то можно понять. СССР Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными не подписал. А Сталин про то и сам сказал, когда его спросили: нет у нас военнопленных, у нас одни предатели!.. Вот так-то, парень. Предатели вы для него. Ему вас не жалко. Большевикам на вас плевать. Как было наплевать в тот голод... Сколько людей тогда померло... Сам посудите...

- Ну, а немцы что, лучше?... Мучали, морили нас, убивали больных, держат, как скот бессловесный... Они-то лучше, что ли, чем большевики?... - взбесился я, злобно зыркнув исподлобья на охранника. Огрызнулся я. Нервы не выдержали. А потом испугался. Подумал: все, мне конец, сейчас убьет! Но этот с повязкой на дерзость мою только голову повесил. Помолчал и говорит:

- Немец, он, конечно, тоже сволочь. Но и немца понять возможно... Сосредоточили большевики на немецкой границе войска, хотели по Германии ударить первые. Но их опередили. Смели они угрозу, но для большой войны не очень-то они готовы... К примеру, танки их... Ни одного тяжелого!.. А у Советов? Тут тебе и КВ-1, и Т-34. Этих самых Т-34 немцы на границе много взяли в трофей. Москали их на границе разместили, а немцы - взяли. Взяли и передали в свои танковые части. Так что если вдруг увидишь Т-34 с белым немецким крестом - не особо дивись. Не пугайся. Это не ты с ума сошел, а Иосиф Сталин... Это во-первых. А во-вторых, когда немцы стали наступать, идти вперед, стали они находить неожиданно для себя сильно изувеченные трупы. Без рук. Без ног. Без головы. С выпущенными кишками. С выколотыми глазами. Со следами разных пыток... Трупы немецких солдат, пропавших без вести... Во время наступления людей гибнет тьма. Кто гибнет. Кто теряется. Война... Не мне тебе объяснять про такое. Ты солдат, сам все должен понимать...

- Да кто ж на такое способен? - спросил я его. - Ты-то что думаешь?

- Кто?... Конь в пальто!.. А кто перед войной «врагов трудового народа» ловил?... «Железный нарком Ежов»... Неужели забыл ты их свистопляску?... Враги, враги, везде враги... Делают все это специально «друзья трудового народа» из славных органов НКВД. Изувечат немца да подбросят труп куда-нибудь в город или на село какое. Потом придут немцы. Найдут убитого товарища, станут виновных искать. А никто не сознается! Знать никто не знает!.. «Ах вы так!.. - кричит немецкий командир. - А ну, ребята, из пулемета вдарьте-ка в гадов по законам военного времени!..» И ведь вдарят! Вдарят, я не сомневаюсь!

- А чего те немцы нас тут держат? Почто в Германию нас не везут, хотя бы на работу? Неужели им выгодно нас всех голодом тут поморить? - огрызаюсь снова.

- Да ты хоть и солдат, а все-таки в войне разбираешься слабо, - отвечает он мне. - Пойми же. Вас пять миллионов. Пять миллионов вас таких. Ты можешь себе столько людей вообразить? Я - нет!.. Негде вас разместить. Нечем вас накормить. Не жить вам в плену. А поморить - это можно. Ты и сам это знаешь. Пойми же наконец, что нет у Германии на вас ни паровозов, ни вагонов, ни хлеба. По слухам, строительные бригады имперского управления ТОДТа уже начали перешивать железнодорожный путь на узкую европейскую колею на основных магистралях. В противном случае, на границе немцам надо будет менять паровозы, а под вагонами - поездные тележки. Колея-то в СССР и в Европе разной ширины. Но и это не все. Железнодорожный транспорт на пределе. Техника, войска, горючее... Так - день и ночь... Куда им с вами, пленными? В какую вас Германию прикажете еще везти? Забудьте!.. Тут, тут надо жизнь устраивать. Строить свой национальный очаг, без Советов и коммунистов!.. А то, что немчура вас так дурно кормит, так это от того, что фюрер прика-

зал своим войскам изыскивать на Украине местные ресурсы продовольствия... Железные дороги забиты под завязку. Войска, войска, войска... Немец прет на Москву! И своим собственным бойцам возить жратву из Европы считает, мягко говоря, излишним. А уж до вас немчуре и вовсе дела нет. Кормитесь, чем хотите. Хоть воздухом. Фрицам наплевать...

- Ну, а что это такое, этот ваш «национальный очаг»? Всегда с москалями жили, и вот тебе на... - заинтересовался я.

- Национальный очаг есть национальное украинское государство. Государство Украина... Лучшие сыны нашего народа мечтали о нем. Петлюра Симон Васильевич... Профессор Грушевский Михаил Сергеевич... Да возьмем хотя бы и тезку твоего. Как там у Тараса Григорьевича?.. Люби, дивчина, парубка, да только лишь не москаля... Вот так-то. Так говорил кобзарь. Так будет и впредь. Москали те всегда были врагами нашего народа! Кто пришел на Украину, да повырезал вольную Запорожскую Сечь? Москали! Кто закабалил на века вольный народ в крепостную зависимость? Кто превратил нас в рабов? Русская царица Екатерина Вторая - царица москалей. Кто сек крепостных на конюшнях, разлучал семьи, продавал нас, как скот бессловесный, насиловал крепостных девушек, затравливал борзыми собаками украинских детей? Русские бары, господа москалей. Кто запрещал при царе печатать книги на ридной мове, преподавать ее и учить по ней в школе, гимназии, училище и университете? Москали! Кто явился незванными в двадцатом? Москали! Мы их на нашу землю не звали. Но они снова к нам пришли. Решили нас закабалить по новой, как при царе. Кто загонял в колхозы, кто уморил миллионы голодом совсем, совсем недавно? Столько невинных людей кто за каждое слово нелестное для себя гнал в тюрьму, в лагерь? Москали и опять москали!.. Да мало ли всего горького было от них на Украине?.. Ну, ничего. Слава богу, кончается их время. Вот возьмут немцы Москву, москали своими же руками кровососущего злодея Иоську Сталина вздернут за причинные места на Спасской башне. Уж как пить дать, еще до Рождества Христова Усу болтаться в петле. Туда ему, собаке, и дорога... - так он сказал мне и улыбнулся. Потом добавил: - Приходи, хлопец, завтра. И послезавтра приходи. Горилки и сала не обещаю. Но хлеба я тебе дам.

И я ходил. Ходил я на ту полосатую вахту. Охранники давали мне хлеб. И говорили со мной много и по-человечески. Звали вступить в батальон. А я все отнекивался. Говорил: дети, да хозяйство, жинка... Хотя ни хозяйства своего еще тогда не имел, ни жены... Так и ходил к ним на вахту каждый божий день, до самого освобождения из того страшного поля... Вот так это было. Было на самом деле. А кому теперь такое рассказать?.. Никто ведь мне сейчас и не поверит...

### Фон Рундштедт

- Едет, едет, едет... - молниями пронеслось по нашим рядам.

Повернулись вшивые головы. Одеревеневшие от долгого сидения тела тяжело поднялись на ноги из коричневой, бурой грязи. Подбирая длинные шинели, пленные стали вставать. Пристальней вглядывались вдаль глаза. И вот уже один, протягивая вперед руку, показывает другому, своему товарищу, на большую черную машину в окружении кортежа четырех мотоциклистов.

- Вот ведь как!.. Дождались!.. Дождались, братцы!.. - несется по рядам пленных радостный вопль. - Приехал!.. Приехал сам немецкий танковый черт фон Рундштедт! Приехал нас освободить! Не обманули фрицы нас в своих листках!.. А мы-то думали... Раз обещали, то все... Европа... - улыбаются заросшие, грязные лица.

Радость, радость на лицах. Ну, отмучались мы. Ну, вот теперь уже все... В такую минуту человек готов простить своим мучителям все перенесенные страдания. Даже и самые невероятные. Простить и не помнить о них до поры...

- Идет... идет... идет... - несется по рядам горячим шепотом. И моментально сотни голов - в одну сторону. Сотни глаз - в одну точку. Вот он. Вот. Подходит. Все ближе и ближе.

Высокий, костлявый старик в огромной фуражке. Длинное пальто из черной кожи, почти до земли. Изможденное, сухое лицо с хищным носом. Старомодный лорнет на цепочке недобро блестит. Блестит начищенный до блеска сапожок. Идет прямо, вышагивает впереди, словно огромная хищная птица. Вокруг крутится-вертится свита. Офицеры. Да лагерное начальство. Сбоку от начальства, да немного позади, - репортеры. Хроника для «Дойче Вохеншау». Стрекот ручных узкоплечных камер. Щелчки затворов репортерских аппаратов «Лейка».

Шагает фон Рундштедт, как жердь деревянный, негнувшийся. Словно мертвый какой-то. Ко всему равнодушный. А вокруг эти, потные бегают. Вертятся. Видно, сильно за себя

переживают. Беспокоятся... Вот он так мимо нас по дорожке прошел со своими. Никого не приметил. Никого ни о чем из пленных не спросил. Равнодушие. Равнодушие... Смотрел он на нас, словно мы и неживые уже для него. Вот так обычно люди смотрят на деревья... Обошел нас - и на вахту. Повалили за ним и остальные вслед. Всей толпой.

Прошел примерно час. Мы ждем в недоумении. Уже и боимся... Вдруг он сейчас прикажет нас всех с вышек расстрелять. Страх полз к нам под ребра. И душу сосет так противно... Вот наконец-то выходят охранники с вахты. С листами бумаги. Идут по рядам. Выкликают на вахту народ. И вот позвали меня... Иду, перешагиваю через чужие ноги. Протискиваюсь между тел. Подхожу к вахте, а там уже очередь. Стоят в затылок друг за другом. Не знают, что и думать. От страха ни живы, ни мертвы. В вахту зайдет человек, а обратно никто не выходит на зону... У вахты той было две дверцы. Одна - на волю, за колючку. Другая - в лагерь, на поле, к нам... И куда нас погонят? - думаю я. И страшно. Очень, очень страшно...

Вот вхожу я туда, куда еще вчера ходил за хлебом. А сам дрожу. На дворе холодно. А меня в жар бросает. Вся спина от пота мокрая. Как в бане. Открыл дверцу - вижу за столом знакомый мой давнишний, склонился над бумагами. Голову поднял. Меня заметил. Улыбнулся. Руку протянул:

- А, Шевченко Михаил! Проходи! Не бойся, - говорит он мне приветливо.

Я руку его сухую потной ладонью пожал и со страхом спросил:

- Что же такое грядет нам опять? Никак поезда для нас пришли? Повезут на работу нас немцы? Или как?..

- Нет! - смеется мой знакомец с соколом на рукаве. - Никуда вы не поедете. Да и другие - вряд ли... Приказ вышел про вас от начальства. Всех украинцев из лагеря освободить! Пусть идут себе с богом на все четыре стороны. Идут до хаты, да до жинки. Налаживают мирную жизнь в Украине. Вот только вам бумаги справим. Вы от нас через вахту - и привет!

Освободили!!! Ах... Да разве такое бывает?.. Ни жив, ни мертв от радостного возбуждения, стою, переминаюсь с ноги на ногу. Не стоит мне на месте. Дергаются ноги. Хочется, хочется ногам скорей бежать из проклятого места. Все мое тело как-то подергивается, словно у меня чесотка. Сердце огромной колотушкой бешено бьется в груди. И вот-вот, кажется, выскочит наружу. Беру потной рукой со стола от писаря серую казенную бумагу с немецким орлом наверху. А в голове звенит. Сам не свой отхожу от столика. Подхожу к двери, и дверь - от себя... Открыл, а в лицо - солнце. Солнце из-за низких, грязно-серых туч. Золотыми лучами скользит по равнине. Серые деревья с облетевшей листвой стоят голы и прозрачны. Нагие кусты вдоль разбитой дороги, блестящей под солнцем первым ледком замерзших луж... Так вот она какая - свобода!

На ватных, негнущихся ногах спустился с крылечка. И зашагал, не оглядываясь. Потом все быстрее. Быстрее. И, наконец, побежал. Побежал... Бежал и падал... Дрянные, дырявые сапоги отчаянно скользили. Я падал в лед, на замерзшую грязь, рвал руки до мяса об холодную землю и снова поднимался на ноги. Задышался. Падал. И снова вставал. И бежал. Бежал... Бежал...

В себя я пришел только на станции Юстово. Маленький городишка, развороченный большой войной. Боже мой, боже мой, что я только там не увидел... Воронки от взрывов на месте домов. Развороченный, маленький, старый, уютный вокзальчик. Вздрыбленные к небу рельсы, лежащие вдоль новой колеи. Развороченная водокачка и выжженное, черное депо. Уродливые остовы железных мастодонтов лежали на боку вдоль всего полотна. Свалились с насыпи. Колеса - в бок. Под насыпью замерзший поверху неглубокий овражек. Болотце в камышах. Меж камышей под тонким льдом блестит вода. Хочу умыться, ведь грязен, как сам бес. Спускаюсь. За мной следом с насыпи - бабка с чайником, вся закутанная в серый шерстяной платок. Осторожненько спускается, семена ножками в огромных валенках.

- Привет, бабка! - говорю. - Богато живете! Взорвали фрицы вашу водокачку. Сейчас и воды не попить. Вон за водой на болото ходите...

А она поглядела на меня маленькими, красными, слезящимися глазками, сморщила детское личико, покачала головкой и говорит:

- Э, милый! Вижу я, не местный ты. Это не фрицы взорвали. Это Красная Армия порушила все, когда отходила от нас. И вокзал. И депо они укантропутили. А вот это - эшелоны их, из тех, последних, что не сумели отойти, - сказала бабка и показала протянутой рукой в сторону закопченных, покореженных вагонных остовов.

Грязь с жирной сажой под ногами. И запах. Запах гари. И еще какой-то сладковатый. Говорили, что так пахнет горелое человеческое мясо.

От случайного попутчика узнал, что в города теперь лучше не соваться. Голодно, холодно там. Ни хлеба, ни дров не сыскать... Поставки для нужд вермахта, да биржа... Да и в Германию загребеть на работу легко... Короче, я в Чернобыль возвращаться не рискнул. Вспомнил про старую тетку Раису в дальнем селе. Пришел к ней нищим попрошайкой. Давил на жалость... Она хоть ворчала на меня, но жить пустила. Село то было дальнее, глухое. Не то что немцев, полицаев там своих не бывало. Пару-тройку раз приезжали двое на телеге с белыми повязками на рукавах да с винтовками. За поставками для немцев. Им отдали все, что они требовали. Вот и все. Народ выживал огородами. Я помогал Раисе по хозяйству. Прижился. И не поверите мне, даже забывать стал я про то, что в мире грохочет большая война.

### Возмездие

В августе сорок третьего начались бои за Харьков. Началось освобождение Украины от непрошенных гостей. В конце сентября сорок третьего Верховное командование предприняло попытку форсирования Днепра. «Советские войска успешно форсировали Днепр, и в ноябре сорок третьего года начались бои за столицу Советской Украины - город Киев»... - кажется так товарищ Левитан читал сводки боевых действий от Совинформбюро.

После завершения освобождения Советской Украины, в самом конце сорок третьего, я был снова призван рядовым в действующую армию. В артиллерию приписали меня. О пребывании моем в плену никто из местных не знал. А тетка Раиса, которой я все рассказывал, предусмотрительно молчала о моей печальной военной Одиссее. Со сборного пункта отправили нас на вокзал. Погрузили в вагоны и повезли. Сначала на восток. Выгрузили нас в степях, под Элистой. В степях калмыцких. Это только позже я узнал о судьбе тех калмыков. Как они были высланы в казахстанскую ссылку, на верную смерть. И как гибли без счета в пути, да на новых местах... Тогда мы о таком не знали. Простому рядовому о таком тогда знать было не положено. Да и доньше о том не вспоминают громко... Мы знали свое. Казарма. Рота, стройся. Шагом марш... Заряжай да пли. Коли чучело штыком. Копай окоп да ползай по-пластунски. Потом еще и стельбище. Немного... Вот снова в эшелоны - и на запад. На фронт.

Наступаем. И все-таки мы наступаем. Покатилась на Запад война. Веселее стало на душе у бойцов. Ребята в роте все подобрались хорошие. Много украинцев, призванных недавно, из освобожденных в нашей роте. Все свои хлопцы. Петро да Валерий... Пишут письма домой. И в шутку просят меня: «Напиши нам стихи. Ты ж Шевченко. Отчего не умеешь?..» Вот смеются они надо мной, а мне несколько не обидно. «Ну, не умею я, хлопцы. Бог такого таланта не дал, - говорю. - Вот война окончится, тогда уж в Берлине я, эх, такое напишу! Сам Маяковский позавидует!..» Все смеются. И я смеюсь. Хоть и потери у нас, а на душе светло и радостно. Бьем и гоним проклятого немца назад. Оттого и на душе хорошо. Ликует, ликует душа! Вот покончим войну ту проклятую, и домой...

Вот так, ни шатко ни валко, докатился в январе сорок пятого наш родной Третий Белорусский фронт до самого форпоста прусского милитаризма - Восточной Пруссии. Самой первой немецкой земли, которую мы повстречали на нашем победном пути. Помню штурм Кенигсберга в начале апреля. Прибалтийская равнина. Голые деревья. Снег. Проталины. И солнце. Ласковое солнце. Теплое. Уже совсем весеннее. В задачу нашей армии входило перерезать сообщение между Кенигсбергом и Пиллау. Кенигсберг. Кенигсберг по-немецки - королевская гора. Вот мы гору ту и штурмовали. Лезли, перли, значит, в гору. На всех парах перли...

Три кольца обороны. Восемнадцать фортов. Старый, красный, особенно прочный кирпич. Бастионы. Толстые стены. Добротные. Стены. Стены да кирпич... «Цитадель, она и есть цитадель», - так говорил нам наш политрук Ефросеев. Колька его звали. Родом сам из Новгорода. Был... Его осколком убило. Полбашки вчистую снесло. И привет, пишите письма...

Катится, катится к Западу громовый, русский, стальной да огненный вал. Танки, самоходные орудия и все на них. Без счета. Бесперерывно на крепость - снаряды и мины. Реактивные снаряды прославленных гвардейских минометов - легендарных «Катюш». Гром. Адский вой и гром. И сполохи. Сполохи на полнеба. Гром и сполохи. Гром и сполохи. День и ночь. День и ночь... Грохот адский. Слепительные всполохи огня. День и ночь. День и ночь... Хоть и ад настоящий, а нам, солдатам, радостно. Побеждаем фрица мы! Побеждаем!!! Улыбаемся хитро: ну, вот еще немного, и войне конец!.. И возбуждение такое! Радость бьется во всем теле. И гордость; дошли!



Умаялись вроде за день. Сидим у костерка. Из котелков хлебаем. Вдруг кто-то запоет: «Артиллеристы, Сталин дал приказ!..» Один запеваает, остальные подхватывают. И радость. И гордость. Дошли!

Немцы неспособны были нам уже противостоять. Разломали их за столько-то лет. Разорвали да расколотили. Вот и мы тогда им добавили, напоследок. Мы их тогда просто вконец раздавили... Уж долбали мы, артиллеристы, из орудий наших ту цитадель... Мстили. Мстили. Мстили...

- Мой отец Николай Прокопьевич тоже там был. Был командир гвардейских минометов. Вы его не знали на войне? - вставил Виктор Николаевич.

- Нет, как-то не довелось... Много народа тогда там было, - продолжал дядя Миша. - А потом как наши в город вошли, так бои пошли за каждый дом. Ближний бой пошел. Доходило порой и до рукопашного. Стрелковое оружие да огнеметы - вот чем бойцы наши, пехотинцы, гадов доставали. И мы! И мы - пушечками нашими старались! Сначала мы! Потом за нами шла пехота... Выжигали дом за домом, подъезд за подъездом, квартиру за квартирой и подвал за подвалом. Сначала - гранаты. Потом - огнеметная смесь... Немцы отчаянно сопротивлялись, хотя были обречены. Нас было сто пятьдесят тысяч. Против нашей бронированной, огненной дубины у немцев - только одна рота штурмовых орудий. Живой силы фрицы против нас имели лишь тридцать пять тысяч человек, да еще пятнадцать тысяч наскоро обученных бойцов фолькштурма. Дрались яростно. За каждый метр своей земли. А как же иначе. Им Гитлер сказал: «Русские придут - всех, кто выживет, сошлют в Сибирь»... Вот они и старались. Немцы ведь тогда даже население свое не эвакуировали. До срока фюрер не велел. А как срок прошел - мышеловка захлопнулась... Сколько там мирных жителей погибло, о том знает только бог. К середине апреля наши, наконец, захватили Пиллау... А потом такое было, что и вспоминать неохота. Стыдно, горько вспоминать. Вот живут теперь в ГДР восточные немцы. Живут получше нас и не квакают... Помнят ли они, как шли мы по их Германии в тот для нас победный год?..

До сих пор стоит у меня перед глазами лицо молодой немецкой девушки из придорожной канавы. Лицо в запекшейся крови. Разбитое прикладом. И череп, снесенный автоматной очередью наполовину. Остатки белесых волос свисают на лохмотьях мертвой кожи содранного скальпа. Беспомощно раскрытый в последнем крике полудетский перекошенный рот. Выколотые глаза... Все тело, все тело сплошная, огромная рана. Отрезанная грудь. Вспоротая штыком грудная клетка. Неестественно, дико распластавшиеся перебитые, переломанные во многих местах руки и ноги... Таково было лицо богини победы как лицо мести.

Кроваво-огненный шквал катился на Запад. Мечь застилала наши глаза и толкала на зверские военные преступления. Мародерство приобрело массовый характер в завоеванной Восточной Пруссии. Тащили все и всё, под завязку загружая награбленным «Студебеккеры». Почему-то командование до поры не особенно препятствовало безобразиям, а ведь могло дать им быстрый укорот... Почему же оно этого не делало? Я об этом думал и вот что скажу. Земли Восточной Пруссии после окончания войны передавались новой, красной Польше и частично - СССР. Так решили союзники в Ялте. А на конференции в Потсдаме Иосиф Виссарионович прямо заявил, что-де Восточная Пруссия осталась без немцев, а раз без немцев, то и поделить ее уже не грех. Где немцы? - спросили его. Все убежали от нас, сказал товарищ Сталин. Только в конце апреля последовал приказ прекратить бесчинства на освобожденной территории. Начались расстрелы перед строем за убийства и изнасилования. Говорили, что в армии генерала Конева расстреляли перед строем сорок человек. Это немного.

Горько. Стыдно вспоминать, - повторил в который раз дядя.

Страшный рассказ дяди Шевченко поразил, прожег Андриюшу до костей, особенно что касается мести победителей. Сидя в шезлонге в мирном саду, в южной, теплейшей, чудеснейшей, звездной ночи, он вдруг увидал войну. Услыхал ее грохочущие, грозные, скрежещущие звуки. Ощутил горький запах жарящего и сладковатый дымок от горелого мяса. И еще - едкий дух солдатского пота. Почувствовал на языке солоноватый вкус крови. «Так вот она какая была - война!» - загорелось и погасло у него голове. А потом поразило еще: «Неужели, неужели все это заправду? Быть того не может... Нет... Не может быть... Ведь и дед Николай был тогда в Кенигсберге... Неужели и он... Нет, не мог он... Ведь дед такой хороший. Такой честный... Честный коммунист... Бабушка Архелая всегда про него говорит: вот какой дед хозяин!.. Работящий! И не пьет! Да во всем СССР все коммунисты были бы вроде нашего деда - давно бы уж на Земле коммунизм наступил!.. Нет, не мог он...» - уговаривал Андриюша свое растревоженное, маленькое сердце. Растревоженное, разворо-

ченное открывшейся вдруг перед ним бездной человеческой жестокости.

- Войну я закончил в Харбине, - продолжал рассказ дядя Миша. - Демобилизовали нас только в сорок девятом. Вернулся в родные края. В Чернобыль. Тут разруха такая - не приведи господь. Люди в землянках жили. Все сожжено да порушено. И свои, и немцы пострадались. Разрушать - это все мастера. Ломать - не строить, ума не надо... Работал на восстановлении кирпичного завода. И донныне я там же. На этом заводе. Мне еще годик только и остался. А потом - шестьдесят, и на заслуженный отдых. Садам займусь должным образом... Да, теперь хорошо стало. Субботы да воскресенья. Раньше так не работали. Многие молодые теперь и не знают совсем, что за указ такой вышел в сороковом году... Указ Президиума Верховного Совета о переводе промышленности и сельского хозяйства на режим военного времени. На режим семидневной рабочей недели... Ни суббот, ни воскресений. Из нерабочих дней - два праздника советских. Первое мая и Седьмое ноября. Вот почему народ так полюбил эти «великие и славные» дни... А еще по тому же указу был предусмотрен строжайший запрет на самовольный переход работника на другую работу по своему усмотрению и на увольнение с работы по собственному желанию. Фактически рабочий и колхозник в СССР становились крепостными. До того так жили только в деревнях, с колхозов. В сороковом - и до города беда та докатилась.

Опоздание на работу более чем на двадцать минут каралось сроком до пяти лет... «Малосрочники» - вот как называли таких опоздавших. И сидело в лагерях их множество... И ведь этих-то несчастных никакой Двадцатый съезд не реабилитировал. Народ так боялся попасть «под указ», что люди выходили на работу чуть ли не за два часа до начала смены... Прошла война, но Сталин воскресений ни нам, рабочим, ни колхозникам не возвратил и указ не отменил проклятый. В пятидесятом году на сессии Верховного Совета сказал: «Народное хозяйство полностью восстановлено. Производство вышло на довоенный уровень»... Все понимали, что вождь врет, но молчали. Такая разруха была после войны... Только после смерти Сталина Маленков, еще даже до Хрущева, вернул воскресенье и указ бесовский отменил. Вот в какое нелегкое время выпало нам жить, ребята.

Мы, хохлы, работали на заводе, а вместе с нами немцы пленные. Их пригоняли на завод из лагеря. Сначала мы их не любили. Гады! Фрицы! Немчура!.. А потом ничего, притерпелись... И они притерпелись. Ведь работали мы все вместе. А работать они хорошо умели. Добросовестно... Вообще, человек - он и есть человек, - вздохнул дядя Миша. - Пленный, вольный он или, скажем, солдат, все едино - русские они или хохлы, евреи они, немцы или хоть китайцы... Добрее просто надо быть... Хорошо когда мир!.. Вон ночь какая! Господь насыпал звезд... Красота!.. Я думаю, что бог на небе все же есть, хоть и не виден он нашим космонавтам... Только я попам не верю. Оттого и в церковь не хожу. Бог, он не от церкви и не от попов. Бог он от сердец человеческих... Вот когда мы в пятьдесят четвертом, после визита Аденауэра к нам, провожали немцев домой - многие плакали. Даже мужики! А чего реветь по ним? Они на Родину к себе не на убой, чай, едут. И пришли к нам как враги. Мы их не звали... Все равно как-то жалко... Вот глупое сердце что с человеком делает. Привыкли, и все... Хоть и бывшие враги, а тоже люди...

Кирпичи нужны были людям, как хлеб. А хлеба было ой как негусто... Когда карточки отменили - еще хуже стало. Даже минимум не купить было. Не было возможности. Ничего, ничегошеньки не было. «Хвосты» у хлебной лавки стояли даже по ночам... Сейчас кто в такое поверит? Хлеба сейчас - завались любого. Стоит сущие копейки. Ешь его до отвала. Некоторые приспособились даже свиней на хлебе отращивать. Говорят: это дешево, выгодно... Вот подлецы какие!.. Не помнят люди уже послевоенные года, когда только огородами и спасались, как я у тетеньки моей в оккупацию, в войну... Теперь, говорят, в городах в каждом доме - специальные ящики для хлебных отходов. Собирают на корм пороссятам. Вот как хитро придумали. Чуть зачерствел каравай - бросай его хрюшкам!.. Для меня до сего дня это дико. Дико это, ребята мои.

А вот в те годы люди прямо-таки боролись за пищу. Жили огородами, но и на этот самый элементарный способ народного пропитания власти накинута ярмо - удавочку. Налоги. Налоги тогда взымались, друзья мои, немалые. С каждой яблоньки. С каждого ягодного куста. С каждого кролика и с каждой курочки-несушки. Это только уже после смерти Уса, в пятьдесят третьем, вышел от властей нам передых. Вот тогда народ на земле и развернулся. Дома да сады. Впрочем, Никита, лысый говорун, стал по новой прижимать частника. Как же, строитель коммунизма... Ничего, потом разобрались. Теперь власти, слава богу, трудовую собственность не преследуют. Вот и построились мы, сад разбили, покуда сила и здоровье еще есть.

Видимо, все же счастливая жизнь написана мне на роду... Люди строились. И люди, и

заводы, и город наш. Вон он какой ладный стал - залюбуешься!.. Хороший, добрый, как наш сад. Щедрый сад. В нем всего и всем хватит. И яблок в урожайный год. И тени в жаркий полдень. И вечернего покоя. И звезд в тихую ночь. Ну, а дальше и все-то все, как у всех. Вот женился на Галине. Дом построили. Сад вон какой добрый у нас... Только Анато-льишка наш то давно уж не с нами...

Раасказчик умолк. Через ветвистые кроны яблоневого дерева в божий мир людей вглядывались звезды. Крупные, яркие божьи фонарики разбежались над садом, и казалось, что висят они так близко, протяни только руку и сорвешь с черного, бездонного бархата украинского небосклона блестящий, яркий, звездный светлячек. Крупные, наливающиеся спелым соком яблоки, как космические планеты неведомых людей миров, висели над андюшиной головой.

- Хочешь яблочко? - спросил дядя Миша и протянул его Дюше.

Спелый, терпкий сок обволок детский рот. Огромное, сочное яблоко. Упругая мякоть под толстоватой кожей. Оно было такое большое и спелое. Держа яблоко двумя руками, Дюша вгрызался в него своими детскими зубами, как саперной лопаткой боец вгрызается в землю...

- Знобит от рассказов дяди Миши, - сказал Виктор Николаевич Регине, когда они все троим, Андреей и его родителями, за полночь возвращались из гостей. Неожиданно на дворе сделалось зябко. Холодный ветер подул откуда-то со стороны искусственного Киевского моря. Виктор снял пиджак. Накинул Регине на плечи и продолжал: - Уж лучше бы он зазря так не трепался. И про Германию, да и про этих бандеровцев, или кто там они были. Нам-то можно. Мы пойдем. А Андрею зачем о таком знать? Этому в школе не учат. Взболтнет где-нибудь чего - нам же потом неприятности. На работу нам сообщает. И характеристику в школе такую ему потом нарисуют, что и в вуз никак не поступишь вовек. Только в армию и возьмут. Загребут куда-нибудь подальше, куда Макар телят не гонял... В стройбат. А там как в тюрьме... Или загребит в Афган. А оттуда его нам - «грузом двести», в цинке... Вот что случается у нас с людьми за неаккуратные слова... Ведь и меня после свадьбы вызывали в «особый»... Потому и не поехали мы тогда из Бугров твоих, после практики твоей, в Новосибирск. Потому и осели в Устрягине, будь он трижды неладен... Дело это прошлое, но если они со мною, инженером, без пяти минут кандидатом наук, так могли поступить, то подумай - что может угрожать Андрею?! Страшно представить!.. Хорош денек - прогулялись в гости!.. Да на этого вашего дядю Мишу за такой «базар», того гляди, КГБ наскочит. Затаскают, а то и впаяют семидесятую статью - «антисоветскую». Это они только в кино жутко благородные. Штирлицы разные. Щит и меч. Знаем мы их... Это только мы, такие благородные, не стукнем «куда надо», а другие стукнут ... - ворчал сердито Виктор.

- Подумаешь, выпил человек... С кем не бывает?.. А Андюшка наш еще маленький. Он ничего в рассказах тех и не понял... - оправдывалась Регина. - Смотри, Витя, - звезда падает, - попыталась отвлечь она мужа от неприятного, «большого» разговора.

- Где? Где?.. - задрал Виктор голову, как маленький, вглядываясь в черноту ночных небесных колодезцев. - Ничего не вижу... Наверное, космонавты?.. Вчера в программе «Время» говорили, что опять там кого-то с Байконура запустили... Будут строить большую станцию прямо на орбите... И так уже летают по полгода...

Трое шли по ночной улице. Яркий луч карманного фонарика, отданного им на прокат дядей Мишей, разрезал ночную мглу на тротуаре, нарезал белым, ломким клинком под ветвистыми каштанами. Редкие фонари да брехот дворовых собак... Да звезды, божьи лампадки, над безумным миром людей на черном, бездонном бархате небес. Да суровый и добрый невидимый советским космонавтам господь бог над всем несчастливым, развороченным и странным подзвездным миром...

### Звезда Полынь

Теперь там все сровнено под бульдозер... После аварии на атомной электростанции в апреле восемьдесят шестого имя городка узнал весь мир. Оно годами не сходило с газетных и журнальных полос, о нем говорили на всех языках народов мира... В конце концов, попавший в закрытую двадцатикилометровую зону радиоактивного заражения городок дезактиваторы частично сравняли с землей при помощи экскаваторов, танков и тяжелых бульдозеров. Разрушали и выкорчевывали не все. Радиационный след выпал «пятнами». Вот те пятна они как раз и вычищали. Разрушали дома, срезали и вывозили куда-то зараженный слой грунта...

Некуда, некуда теперь возвращаться. Некуда... Как совсем недавно некуда было вер-

нуться людям, переселяемым из городков и деревень, снесенных с лица земли при строительстве распластавшегося тут же, совсем рядом от городка, гигантского водохранилища при гидроэлектростанции. А было это всего за какое-то десятилетие до большого Чернобыля. До Чернобыля как глобальной беды. Малые беды люди давно не считали на этой такой безмерно скорбной и прекрасной земле.

Чего только не помнит этот край... Взорванные при отступлении сначала своими, а после и немцами заводы и фабрики, дома и мосты, станции и водокачки городов и сел... А до того прокатился по Украине царь-голод начала традцатых - спутник безумной, зверской коллективизации... А до него была на Украине бешенная, злая, нелепая Гражданская война. Беда никогда не оставляла этот милый край, накатываясь на него волнами все нового и нового всенародного горя. Горе и горе... И нет горю ни начала, ни конца... Впрочем, кто об этом теперь не знает?... Столько минуло лет, и не самых, пожалуй что, радостных. Даже и сам Андрей не очень-то уже и помнит о том странном, страшном и радостном дне. Столько нового после на него и на мир накатило...

Снова школа. Игры и друзья. Перелом ноги. Трехмесячная мука с гипсом. Молодая, добрая учительница литературы, ходившая с Андреем заниматься чуть ли не каждый день. Нога ногою, а учебу никак нельзя запускать... Это ей, Светлане Алексеевне, в знак признательности Регина подарит потом дефицитнейшую книгу - альбом «Пушкиногорье». Как радовалась Светлана Алексеевна тогда: «Ну, спасибо вам большое... Нет, духи я не возьму... И тут - такой подарок! Спасибо вам огромное. А то ведь теперь и книжки в магазине стало не купить. Только из-под полы, но ведь блат далеко не у всех... Спасибо!»

Несчастная умрет от рака через четыре года. В день похорон будет лить дождь, и далеко не все родители отпустят детей проститься. Зальчик с музыкой Шопена. Грубый красный гроб. Холодный, мертвый, желтоватый лоб под какой-то православною бумажкой. Противно дребезжащий ЛиАЗ. Рыжая глина чавкает под сапогами, купленными «для колхоза» в «Детском Мире». Серый дождь. Скорые речи. Усталость. Полупыльные мужики, спускающие на веревках гроб в сырую яму. И пьяненький копарь, торгующийся в сторонке с заучем и какой-то жирной теткой из родительского комитета.

Похороны Брежнева. Прощальный гробовой стук в яме на Красной площади... Траурная линейка в школьном зале, на которой один из младших громко и нагло заметил: «Помер Брежнев, и хрен с ним»... Учителя быстро дознались у пацанчика, где он это слышал... Оказывается, так говорил дедушка виновника скандала. Пришедшая на дом учителька говорила старику: «Вы меж собой говорите, а они все потом повторяют. И нам, и вам к чему такие неприятности. Ведь и так все всё знают... Вот вырастет - тогда можно. А пока - ни-ни»...

Пришел Андропов... Дневные облавы в магазинах и кинотеатрах... Пропагандистский, радостный визит Саманты Смит... Южнокорейский «Боинг», сбитый над Курилами. Три лживых и невятных сообщения ТАСС: «Самолет беспилотный», «Самолет гражданский без опознавательных знаков» и, наконец, «Гражданский борт Южной Кореи на сигналы с земли и команды наших истребителей не реагировал»... Ложь. Ложь на лжи... Американский президент Рональд Рейган объявляет СССР «империей зла»... Вскоре умер Андропов - ловец нарушителей трудовой дисциплины. Вслед за ним - и старичек Черненко. Пришел Горбачев. Вместе с ним накатил «исторический» апрельский пленум. Провозгласили «ускорение» и «гласность»... А потом... Потом был Чернобыль.

Станный день навсегда ушедшей поры. Как скрываются от нас реальные события за пеленою лет. Как из утреннего, плотного тумана над далекой Припятью выплывают они. Вдруг появятся пугающе близко, неожиданно явственно, четко, то провалятся снова в белесую, плотную мглу. Как с другого берега большой и опасной, широкой реки, я гляжу сквозь туман. Вижу и вновь не вижу вас. Жившие. Ушедшие. Дорогие. Любимые. Близкие люди. Нет, нет мне к вам пути. Не увидать мне вас больше. Не дотронуться до ваших теплых рук своми, уже не детскими, почти сорокалетними руками. Где тот Харон-перевозчик, что отвезет меня к вам?..

Милые, дорогие, любимые, единственные... Не вправе я вас судить. Не место, да и не время. Время и место, понимая и вас, к вам милосердствовать. Горе. Горькое, черное горе стоит на дворе. Чернобыль. Всемирный Чернобыль... Оглянулись кругом, а над миром - суд. И вся, вся Земля сегодня на суде том - огромная скамья. Скамья подсудимых. Прошлое, как огромный медведь, грозно урча, вылезает вдруг из темного угла, приближается к нам. Тяжело наваливается на нас, сбивая с ног, топча всеми четырьмя лапами и смрадно дыша, рвет и тянется зубами к горлу. Полузадушенных, но еще живых тащит во тьму, себе на забаву. И страшно, протяжно и громко, победно ревет в темноте. Темнота, и нет в ней про-

света. Нет и огня малого. И в настоящем нет. И в будущем. Ночь. Густая, страшная, больная, бессонная, непроглядная ночь. Тьма. И мы во тьме. Кто нас выведет к свету?.. И выйдем ли мы к нему?.. Как найти путь-дорогу? Куда нам идти?..

Вынырнули мы вдруг. Вышли из тьмы - да в туман. Из черного мрака - да в белесую мглу. Вот и берег. Такие тихие, глубокие, черные воды. Некогда воды живые. Ныне - мертвые. Засохшие, мертвые ивы над глубокой, опасной рекой. Тихая рябь. Мертвая зыбь. Не слышно в тумане ни птичьего крика, ни плеска весла. Нет давно перевозчика через туманную Припять. Нет переправы. Да и не будет уже никогда. Чернобыль... Чернобыль...

Кто теперь нам скажет, что в истории этой было взаправду, а что вымысел. Даже и Андрей того не знает. Слишком много лет прошло. Не с кого спросить ответа. Большой дворовый пес Ленька, свидетель радостных гостей, давным-давно уже мертв. Угодил Ленька, дурак этакий, под грузовик, когда хозяин в кои веки отпустил его с цепи. По сукам отпустил. Думал, что делает доброе дело... Оказалось - отправил на смерть, как на фронте. Хозяин и хозяйка псины усопшей, Миша и Галя, бросив богатый дом и сад, были спешно вывезены на пучеглазом, дребезжащем, желтом автобусе в один из пионерских лагерей в тот горький апрель восемьдесят шестого. За вещами возвращались по специальному пропуску в опустевший, порядком разграбленный дом. В зоне отчуждения хозяйствовали мародеры... Целые банды воров прорывались в запретную зону пограбить. В то лето комиссии Киева и других окрестных городов буквально ломались от ковров и мебели, разнообразной бытовой техники и утвари...

Нет ни дома, ни улицы, и нету города того. Все изменилось на свете. Даже страна называется уже по-другому. Украина. Украинская республика. А не СССР. Ничего рычащего. Все плавно и напевно, как украинская мова. Напевно и легко, как стихи великого поэта-кобзаря, сына этой земли. Но почему же так тревожно и неверно все в мире, так обманно, так лукаво, как плотная, белесая пелена утреннего тумана над неверными, темными водами таинственной Припяти?..

### Ищу человека

Пронзительный звук полицейских сирен. Красные пожарные машины. Противогазные маски и оранжевые спасательные жилеты. И вот этот ветер. Тяжелый и злой, едкий, песчаный, вернее, цементный, мусорный ветер от южной оконечности Манхэттена. Тяжелая, серая пыль в воздухе. Летит на лицо. Липнет на руки. Забывается в нос. Белые респираторные маски на прохожих. На таксистах. На пожарных. И на бравых полицейских. Пыль на деревьях в большом центральном парке. Пыль на машинах. На автобусах. На желтых нью-йоркских такси.

Перекресток. Полицейский кордон. Вертящиеся красно-синие мигалки. Респираторная маска под кожаной гербовой фуражкой с серебряным единорогом и орлом. Внимательный, тревожный взгляд. Огромный белый парень. По щекам до ушей разбежались детские веснушки. Какой молодой... Волосы светлые. Наверное, ирландец... Нет, они же все рыжие, по-моему... Или... Впрочем, все равно. Желтая ленточка тянется змейкою между красных пластиковых буферов. Красные, красные, как кровь.

- Нет, сюда нельзя, сэр. Это закрытая зона. Только для полицейских, пожарных, национальных гвардейцев, армии и ФБР. Только по документам...

- Пустите. Я врач. Вот пропуск. Национальный медицинский центр города Нью-Йорка. Район Манхэттен. Ю андестенд?

Полицейский берет карточку-пропуск из рук Александра. Читает. Сэр Александр Михайловский... Черт побери, думает Джон про себя, ну, и имена у этих русских... Чуднее только у пакистанцев, индусов да китайцев. Черт ногу сломит - Александр Михайловский... С кем-то говорит по хрипящей радиации. Вызывает сменного на пост. Приходит смена. Какой-то азиат. Смуглый, как хороший «Капучино». Джон уходит куда-то вперед, за красные пожарные машины. Возвращается. Отдает документ.

- Извините. Проходите, сэр доктор. Вы нам очень нужны. Извините, такая служба. Эти чертовы террористы, будь они неладны... Поймите, ради бога, с нас начальство тоже требует...

- Понимаю. Где бригада?

Открытые задние дверцы желто-красного реанимобиля. Два санитары, оба смуглые, индус Раджив и пакистанец Али в зеленых робах. Выкатывают складную каталку из чрева подвалившего белого фургона. Длинным, бесконечно длинным рядом - носилки. Первым рядом. Вторым. Третьим... Еще и еще прямо тут - на серой пыли, на уличном асфальте. Бе-

лые простыни на прикрытых телах. И огромное красное пятно от сочащейся крови. Тяжелый, спертый запах. Врачи и полицейские. И еще какие-то осветители с прожекторами. Похоже, они оставят их тут и надолго... Похоже, работа затянется. Похоже на то, что и по ночам... Пока... Пока не спасем всех наших живых из страшного, каменного плена. Пока мы не отыщем, не найдем под руинами всех наших мертвых. Мы идем их искать. Мы так решили. Мы найдем их всех. Из развалин башен и из-под земли. Даже море должно нам сейчас вернуть наших мертвых... Мертвых наших. Любимых наших... Искать и искать. День и ночь. Таков теперь долг человеческий. Перед живыми и мертвыми. Тяжелое, страшное дело...

- Эй! Кто-то живой! Тишина! Всем тишина на площадке! Команда с собаками - на четвертый квадрат! Приготовиться! Действовать всем по команде «Ищу человека»!

Слепящий свет прожекторов. Ночь. И день. И так - метр за метром. Квадрат за квадратом. Медленно продвигаемся вперед, входя в развалины, как в дальнем детстве в опасную реку. Идти вперед - вот наш долг. Идти вперед - вот долг человека. Идти вперед - вот путь человечества. Опасный, трудный путь. Путь через руины. Мы будем идти. Идти и искать. Искать. Искать человека. Чтобы спасти еще живых наших. Чтобы было кому порадоваться, глядя на дело наших рук. И может быть сказать: «Спасибо». Мы идем вперед, чтобы похоронить всех мертвых наших. Погрести их достойно звания человеческого. Чтобы было над кем отплакать нам. И было кого помянуть. Идем вперед, спасая жизни. Идем вперед, спасая память... Огромное, страшное дело, как широкая, туманная река далекого детства. Сунешь руку в туман - не видать... Закричишь - и теряется голос... Не посмотреть сквозь туман. Не доплыть до далекого берега...

Набухающее кроваво-красное, влажное пятно на девственно белой простыне - как отметины нового, уже не двадцатого века. И как знак вечной памяти, как маяк для еще не родившихся мальчиков. Вечная память. Смерть и вечный хоровод жизни. Карусель из наших бед, побед и буден. И земной поклон навсегда ушедшим во тьму.

## Часть III. ЕЩЕ ОСКОЛКИ

### БАЛТИИ. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

Яркий свет золотыми косыми лучами вырвался из-за низкой, темно-синей, почти фиолетовой, набухшей дождем огромной тучи. Ворвался через вагонное стекло. Бегущими, исчезающими и вновь появляющимися полосами протек в коридор. Исчезал и накатывал вновь в законный полусвет-полутьму стремительно летящего вперед по железным рельсам неверного, недолгого пассажирского ковчега. Полосами, искоса мелькнул по красной ковровой дорожке и тут же выпрыгнул на белый пластиковый глянец дверных панелей. Снова погас. Растворился. Исчез. Но через минуту вновь ворвался, вломился, заискрился, задрожал на белой простыне вагонной стены. Свет - тень - свет - тень - свет - тень - свет - тень - и вновь - только свет - свет - свет - свет - свет.

Стучат тяжелые колеса. Летят-летят-летят-летят за окном бетонные столбы со стеклянными рюмками изоляторов. Меж ними - быстро текут провода. И струятся-струятся-струятся, и несут голубой грохочущий электропоезд убегающие вперед железные быстрые змеи рельс. Дробящийся свет набегаёт, отбегает, выхватывает ослепительным пятном в коридоре новые никелированные ручки дверей, маршрут движения и расписание прибытия в аккуратных, лакированных деревянных рамочках на белой, чистой вагонной стене, бросается и пропадает вновь на разлинованных полосах висящего в простенке календаря. Выхватывает из полутьмы месяц и цифры. Месяц июль. Год тысяча девятьсот восемьдесят второй. Еще миг - свет померк. И вдруг в стекло застучало. Косые, злые капли яростно били в окна вагона. Сыпали на крышу. Словно кто-то хотел остановить, задержать стремительно летящие вперед по блеску рельс голубые вагоны.

- Закрой окно. Дождь пошел, - сказал отец, уже укладывая в чемодан наш нехитрый дорожный скарб. - Да и подъезжаем уже скоро. Собирайся, пора, - добавил он.

- Приезжать в дождь - к счастью, - робко заметила уже одевшаяся мать.

- Надеюсь, что так, - сказал отец - Надеюсь, надеюсь, - повторил он, снимая с железного шттырька на вагонной раме провод самодельной антенны, второй конец которой был при-

креплен радиомонтажным «крокодилом» к выдвинутой антенне радиоприемника «Невский», все еще стоящего на вагонном столике.

Мне десять. И мы едем. Все едем, едем, едем, едем... Мокрый, синий электропоезд грохочет над Даугавой. На носу электровоза под большой красной звездой - три огромные латинские буквы, как бы пришедшие в нашу повседневную советскую реальность из другого мира. В оконном квадрате замелькали решетчатые фермы моста. Один промельк. И снова - свет. Свет... Проехали остров - и снова мелькание. Но вот слева - видение берегу - чудо-город. Два шпиля - два, нет, три... нет, четыре... да сколько же их... - шпили, шпили... Один - стойкая, высокая игла - с петушком. И второй поменьше, поприместее - тоже... И еще... А петушки сверкают на солнце позолотой. С теленка они, так сказал про них папа...

А впереди на самом берегу пузатится бочонком башни чудо-бастион. И еще, еще башни. А над ними - шпили, шпили, шпили. А кругом - дома, дома, дома, дома... Распахнул дверь в коридор, а там в окнах - желтая громада центрального рынка, и ступенчатым утесом, уже за ним, серый звездно-шпильный Дворец науки.

- Подарок Сталина, - сказал отец, - Даже тут надо было нагадить... Одевайся, скоро прибываем.

Хрюкнуло вагонное радио: «Граждане пассажиры, скорый поезд...» Ну, все. Пора. Пора...

Рига ласково встретила и затащила нас к себе шумным белым прямоугольно-пилоным вокзалом. Недалеко, с противоположной стороны площади - прямо на торце стены на несколько этажей были нарисованы река, и замок, и башни с петушками. Неведомая еще тогда в Союзе суперграфика - отголосок западной моды тех лет.

Перед нами был город. Но словно - не один. Целых две Риги... Одна - словно и правда нарисованная на стене. Одна - она - бесчисленные карты, путеводители, открытки, буклеты, удивительные значки - под бронзу и фотоальбомы, в основном на английском и латвийском языках. Вот отражается она в тонированных стеклах Икарусов, в дымчатых линзах солнцезащитных очков и оптических пушках фотокамер. Большой, красный аквариум на колесах, полный диковинных рыб... Передняя дверь новенького «Интуриста» отъезжает - и перед нами компания хорошо одетых людей. Щелкают затворы. Слышна английская, немецкая, французская, испанская речь... Счастливая горстка туристов под началом расторопного гида, ведущего гостей столицы Советской Латвии осмотреть ее достопримечательности... А вторая - просто город. Город людей.

Мы вошли в этот город. Вдохнули - и не могли выдохнуть от восторга. Перед нами была она. Рига. Город, взятый Петром у шведов и нами - советскими - у Европы. Надолго ли? Тогда этого мы еще не знали. Да и не могли знать...

В далекой Москве, в игрушечно-сказочном, еще прочно закрытом для туристов Кремле, доживал свой последний год дряхлый бровастый старик. Генеральный коллекционер, пятизвездный пламенный маршал-лауреат. Старик был еще жив. Он давно уже словно и не жил, а спал. Ходил, что-то говорил невнятно, кого-то принимал и куда-то ездил... но словно спал... спал. Вокруг него - была величайшая страна в истории человечества, где он был - хозяин. Превосходя все бывшие до нее империи мира - Римскую, Российскую, Британскую, его империя простиралась на три континента и уже вполне серьезно пускала корни на четвертом.

От Любека - до Хошимина, от Кабула - до Манагуа. От Северной и Новой Земли - до Анголы и Мозамбика. Крупнейшая тяжелая промышленность. Прежде всего - военная. Танковые дивизии - в самом центре, нет - в самом сердце старой Европы. Тысячи ракет с боеголовками, готовые нести смерть и разрушения в любые уголки земного шара. Крупнейшая стратегическая авиация и океанский флот. Армия - более десяти миллионов человек. И это - в мирное время. Миллионы политвоспитателей, законоучителей, надзирателей над жизнями сотен миллионов людей. Почти полная самонезависимость - самоизоляция всего и всех от внешнего мира - в технике, в науке, в культуре, в морали.

Многие думали, перед нами - Рим. Веками строился - веками Риму падать. Думали и такое: «Мы так живем. И дети наши так жить будут. И внуки. И правнуки... если не война. Иначе - всему конец». Говорили другим: «Так будет всегда... Умрет один - придет другой, и конца им не будет... Рассказывай в курилке анекдоты. Голосуй на собрании или на идиотских выборах с одним кандидатом... Крути ручку приемника, лови, не лови через глушительный вой радиоголоса - ничего не изменится... Но уже дыхнуло соленным с Балтики. Ощетинилась красно-белыми флагами гданьская судоверфь. Приземистый усатый человек. Вот он идет через толпу и выходит на трибуну...

Свежесть листвы и гарь бензина. Старые дома и широкие бульвары. И храмы невидан-

ной архитектуры и красоты. Закрытые на замки - они, как ларцы, до поры хранили от чужих свои драгоценные сокровища и секреты. Не желали трясти тайнами. И ждали - ждали - ждали своих...

Этот город закружил нас, умчав с вокзала быстрым промельком желтого такси, накатил морем мокрых зонтов и латинских букв, оглушил звоном трамваев, удивил богатством прилавков и воистину циклопической величиной бровастых портретов на торцах своих старых зданий. Но даже они, эти бровастые старики со словами про мирный мир, были нарисованы здесь как-то по-особенному, со вкусом, и потому не казались таким безобразием.

Улица Меннес, двенадцать. Баба Зина. Это она шлет в наш северный город красивые новогодние открытки какой-то особой, несоветской полиграфии. Слишком яркие и буквы на них не наши. Европа!..

Едем от вокзала по прямому, как стрела, проспекту. Потом - через какие-то железнодорожные пути. Поворачиваем. Какая-то фабрика. Потом - снова прямо. Или направо. Не могу сказать точно. Наверное, все путаю. Уже не помню... Старый район. Дома вдоль улицы - плотной стеной. В России так не строят.

Двухэтажный старый дом. Каменный. Постройки, видимо, еще двадцатых. Квартира на втором этаже. Только холодная вода. Туалет со сливом - на первом. Один - на четыре квартиры. Ключи - у хозяев. Вход в подъезд даже не со двора - из подворотни. Арка. Вход во двор. На дворе - трава, как в скороговорке. Собаки, лавочки, сараи.

Баба Зина. Встреча. Пирог. Разговоры... Славик и Света на работе до вечера. В свободное время дядя Слава разводит аквариумных рыб. Молчаливые рыбы за толстым стеклом. Хобби, как говорится... Много больших аквариумов с нагнетанием воздуха и подсветкой. Рыбы, лампы, пузырьки из трубочек... Голоса из кухни:

- Слава вообще молодец. Сам научился шить модные брюки. Это сейчас надо. Даже в Риге. А то в магазине продают всякую дрянь. Приличной вещи не купишь... Да, с продуктами пока все нормально. Слава Богу, даже более чем... Сами-то они весь день работе. На ВЭФе. И Света там же. Внук Алеша - в детском саду...

Алешины игрушки. Ковбои и солдатики. Таких - каучуковых - в нашем «Детском Мире» никогда и не бывало...

- Иди, поиграй пока, - говорит баба Зина.

Недалеко от дома - русская церковь. Действующая. Напротив - кусок старого, заросшего кладбища. Краснокирпичные столбики ограды с выломанным между ними зеленым штакетником. За оградой - высокая трава. Огромный ветвистый чертополох чуть ли не в человеческий рост. Деревья растут, как в лесу. Гранит и мрамор старых, нерусских могил. Обелиски. Чаши. Печальная дева склонилась над кувшином. Грязно-белый ангел с перебитым крылом. Странные домики семейных склепов у богатых семейств. Бывших богатых... И бывших семейств...

Могилы, в основном немецкие. До войны в Риге жило немного немцев, и даже уже позже - при латвийской независимости. В глубине кладбища - сильно разрушенный католический или протестантский храм, а может, часовня, Бог знает. Дырами зияют пробитые стены. Стропильные балки проломленной кровли свалились внутрь, поросли мхом. Внутри руин растут кусты и сорные травы. У подножья стен и поверху сквозь каменную кладку прорастают молодые деревья. Жизнь берет у смерти свое. Нагло, безжалостно, бессмысленно, но верно.

С дальнего от Меннес участка, параллельного широкой улице с трамвайными путями, слышится шум моторов, визги бензопил. Часть кладбища власти решили превратить в городской парк. Там пилят старые деревья, машины увозят мусор, трактора и грейдеры ровняют будущие асфальтовые дорожки. Рабочие в синих комбинезонах сдирают с мест «лишние скульптуры». «Наиболее ценные образцы» будут оставлены и расставлены по прихоти новых жизнеустроителей. Двери семейных склепов распахнуты настежь, и вместо гроба - в полу зияет черная дыра. Гроб выдернут и свезен куда-то, как хлам... Позже это и подобное прибалты будут называть «русским варварством»... Кстати, ради справедливости надо сказать, решение на такие дела и подобные принимали в основном местные коммунисты...

Гуляли по узким улочкам Старого Города. Собор Святого Петра. На верхушке - золотой страж - петушок. Церковь Яна. Церковь Святого Екаба - с петушком. Пороховая Башня. Шведские Ворота. Кошкин Дом. Столько всего - глаза разбегаются...

Домский Собор. Тоже с петушком. Почему собор Домский? Дом - по-немецки, собор. Получается - Соборный Собор. Масло масляное. В собор мы не попали. Так и не послушали



живой орган. Купили пластинки в магазине «Мелодия». Иоганн Себастьян Бах. И еще - Гендель в обработке...

Башня собора Святого Петра. Петушок золоченый - выше всех над городом. Экскурсия. Поднялись на площадку. Девушка-экскурсовод бойко рассказывает:

- Впервые упомянут в тысяча двести девятом году... Шпиль металлический высотой сто двадцать три и пять десятых метра. В тысяча семьсот двадцать первом году в башню собора ударила молния. Возник пожар. В тушении принимал участие Петр Первый, бывший тогда в Риге. Но огонь потушить не удалось... На высоте пятьдесят семь и семьдесят один метр - обзорные площадки... Башня была разрушена во время войны... В настоящее время восстановлена...

Площадь с памятником Красным Стрелкам и современным музеем. Не ходили. Набрели случайно в самом центре на действующий католический храм. По стенам - большие картины. Трубами в потолок - чудо-орган. Священник в красном одеянии и маленькой смешной шапочке что-то читал по-латыни. Деревянные резные скамьи. Посидели сзади. Поглядели издали, со стороны. Как пришельцы из космоса или как чужие в этом европейском странном доме, так не похожем на наш бородатый, ладанный византийский Восток.

На нетронутой еще части кладбища было таинственно и как-то сумрачно, даже днем. Прибалтийский серый денек стоял над старым городом, над северным морем, на самом краю великой, но уже обреченной империи. Большие кладбищенские деревья почти закрывали неяркий солнечный свет. В их высоких кронах шумел ветер. Шумел так, как и тысячелетия, и столетия назад. Соленый балтийский ветер гнал облака. Он гнал их над всем миром. И плавать ему было на все границы.

Он летел - над Восточной и Западной Германиями, над Данией и над Польшей, над Литвой и Латвией, над Эстонией, Швецией и Финляндией. Над всем божьим миром, чьи стены и следовые полосы, пограничные посты и минные поля не удержат ветер. В тот год в рваные бреши империи потянуло - из Польши. Хотя и начинали брешки эти затыкать, но уже как-то робко... Кончалась безветренная эпоха. С Балтики шла гроза. Начались восьмидесятые - время по-гданьски. Стрелки на часах истории на секунду замерли, дернулись и вновь пошли...

Налетал ветер, рвал в высоких кронах деревьев, как всегда, во все времена. Ветер - много видел... Видел викингов и Ганзу, Карла Двенадцатого и Петра Великого, Первую Великую войну, потом независимость и снова войну - Вторую Великую...

Большие деревья не пускали городской шум в этот зеленый кладбищенский край. Хранили от суетного мира живых чертог смерти. Деревья давали тень людям - мертвым и живым, давали кров птицам небесным в кронах своих, и серым мышам - при корнях своих. Гасили печную, фабричную и машинную копоть и чад человеческого обиталища.

Крапива и чертополох были тут почти в детский рост. И даже выше. Они грозили, цепко хватая за брючины, норовили обжечь щиколотки и руки. Природа, вновь войдя на этом клочке в свои права, не хотела пускать к себе в дом человека. Ей было лучше без него. Она была больше его. И ее было больше. Но человек был упорен. Приятно в десять лет придумать о себе - я путешественник в джунглях, в зарослях - прячутся тигры..., или какую другую нелепую сказку. Вечные наши тигры в вечных зарослях...

Пробираясь вперед, мальчик не сразу заметил этот камень. Камень был невелик, сер, с виду - обычный булыжник. И только запнувшись и ушибив об него ногу, мальчик посмотрел на него. Это был валун. Серое надгробие. Полустершаяся надпись, писанная золотом и по старой, еще дореформенной орфографии: «Здесь покоятся...» И дальше - были уже только звания и имена. И год смерти один и тот же - тысяча девятьсот шестнадцатый. «Умерли от ран в госпиталях города Рига. Вечная Память героям», - стояло в конце.

Мальчик совсем немного знал о той войне. Знал, что на той давней - Германской - погиб где-то в Карпатах его прадед. Видел пожелтевшую фотографию, наклеенную на прочный серый картон. На старой фотографии были солдаты в старой русской форме. А на обороте была какая-то надпись. И дата. Но ни надписи, ни даты этой он сейчас не помнил. Слышал на школьном уроке еще про то, что Ленин считал войну эту «несправедливой», назвал ее «империалистической» и «бойней» и еще что-то вроде того. Значит, объяснял учитель, - и воевать совсем не стоило.

Но тут, под этим камнем, лежали люди. И еще - тут были слова. Какие-то странные - поручик, ротмистр, капитан, а еще - уже знакомые - рядовой... рядовой... рядовой... еще и еще... Люди, жившие когда-то, ходившие по этой трудной земле, смотревшие, как и мы сейчас, на солнечный свет, лежали под этим камнем. И были они всеми забыты и никому не нужны. Одни на целом свете. На всей огромной Земле, на всей ее чудовищной широте,

какая только есть, уже не осталось о них ни памяти, и не было уже в мире ни мыслей о них, ни сочувствия к ним, и никаких чувств... Их время прошло - и время ушло... И наступило их безвременье... Может, это и зовется вечностью?

И еще вдруг - странно вспомнилось тогда. Майский праздник со слезами на глазах. Цветная бодрая картинка - репортаж. С большой гордостью первые люди страны открывали на днепровской круче помпезный военный мемориал. Огромная сверкающая на солнце белая меченосица попирала кругляш музейного зала. По дорожкам важно переступало, всходило на высокую трибуну и что-то оттуда неясное вякало главное бровеносное начальство. А с ним - фуражки и большие погоны, кители, ордена и планочки. Много-много. Пионеры и пионерочки с большими бантами в белых гольфиках. Подбегают, суют цветы...

Потом говорили те, что моложе. Много и красиво.

Гранитные фигуры в касках, плащ-палатках и с ППШ в несколько человеческих ростов словно застыли. Они стремились вперед, вбегая по склону холма к меченосной советской Афине, но вдруг встали на месте, словно замороженные или кем-то заколдованные, среди новеньких белых плиточных дорожек.

Днепровский мемориал был величественен и светел. Чтобы каждый мог сказать - мы помним! Нигде в мире так не ценилась память о той войне. Она была свята. Она была - почти всем в жизни той страны! Она заменила собой давно упраздненную религию. Сформировала и отформатировала семейные традиции и праздничный людской обычай.казалось, исчезла она - и тут же небо упадет на землю. Горы обрушатся вниз, давя неблагодарное племя людское... Она, очищенная, прилизанная, кастрированная идеологическим легионом, говорила: «Можно - только так! Тогда - все правильно! А по-другому - и быть не может! Но если кто возражает против нас - тот враг. Враг! И только - враг! Вам понятно?!...»

Со временем исчезает все. Бывшее вчера новым - сегодня истлевает. Где вчера была парча - сегодня дыры. Вчерашние военные киногерои - сегодня герои детских анекдотов. Что вчера казалось святым и незлыблемым - сегодня не пнет лишь последний ленивый. Вот тогда, глядя на этот серый камень на чужом кладбище чужой земли, мальчик даже не понял, а скорее, впервые почувствовал эту истину - ничто не вечно. Все мы так ненадолго приходим в мир. Живем без цели. Подло, зло, мелочно, пошло, неясно - несправедливо. Живем, а потом умираем навек. Уходим во тьму. И памяти о нас на земле уже не будет. О большинстве - не будет!..

И новый чистенький мемориал, и старик с мохнатыми бровями, и те, в фуражках и с орденами, и те, в пиджачках с планками, и даже пионерки в белых гольфиках - все они - не вечны. Покроются трещинами новые дорожки. Меж белыми плитами прорастет трава. Умрет смешной и страшный старик, а после - и все остальные. Вырастут, состарятся и через много-много лет умрут те, кто сегодня ходит с белым бантом, дудит в горн, бьет в барабан. Время - великий санитар и дворник, убирающий планету от людского шумного бессмыслия. Оно, как большая волна, накроет всех нас и скроет от грядущего дела наши. Почти все и почти всех скроет. Утопит их в своей пучине. И снова даст волю и простор для новых дел людских. И в этом есть и мудрость, и милосердие к людям природы и Бога.

В тот день он впервые встретил смерть. Вернее, сначала только почувствовал, а уже после до конца понял - она есть. Она была реальность, от которой человеку не дано убежать. Никуда и никому. Просто - бежать некуда. От смерти не запереться на замок. Грядущее придет к тебе все равно. Не беги от него! Все равно - оно догонит! Не скрывайся! Оно, имея тысячи капканов и миллион силков, изловит тебя! Даже не пытайся. И тебе уже не слезть с карусели. Карусель - вся Земля. Никогда не слезть. До самой - самой - самой смерти...

Вечером пили чай, а взрослые еще и коньяк, и рижский бальзам. Где-то за стеной бубнил телевизор. Алеша, сын Славы и Светы, дал приезжему мальчику поиграть с резиново-ковбоями и индейцами. Потом с телеэкрана растерянно улыбался Донатас Банионис. По первой крутили «Бегство мистера Мак-Кинли» с хриплыми, пронзительными песнями Высоцкого... Дневной мир подошел к ночи. И ночь склонилась над ним. Сначала склонилась к изголовью, все ниже, ниже. Потом - легла рядом, погасив фонари звезд сырой темнотой ночного дождя. Укрыла уставшую за день землю мгlistым сырým туманом.

Люди гасили свет. Укладывались понемногу. Но никто из них не знал - в каком мире он завтра проснется. И будет ли у него вообще это - «завтра»...

А после, днем - на том дворе, где трава и дрова, - была странная встреча. Высокая, сухая старуха в вязанной кофте - на лавке у самых дровяных сараев. Длинное, словно какое-то нездешнее лицо. Пронзительные, умные глаза. Морщинистые руки. Соседка. Анна Фран-

цевна. Все говорили - немка. Нет, просто муж был немец. Жили в Риге вместе, до сорокового. Потом по договору русские разрешили немцам ехать в свой Рейх. Отто, муж Анны, тоже поехал. Вроде для начала надо было там ему обо всем узнать. Обещал вызвать ее из Германии...

Потом - война. Делала запрос по инстанциям. По немецким, конечно. Уже во время войны, при немцах, при оккупации. Откуда же тогда другие? Ждала ответа. Ей ответили. Пришел лист серой бумаги с готическими буквами. Наверху - орел. Внизу - печать и штампик регистратора. Вначале Отто они куда-то там послали. В какое-то их гау. Потом призвали в армию. Часть - на восточный фронт. А может, потом - уже и на западный. Людей после сорок третьего немцам не хватало. Кто разберет? Дальше об Отто ничего не было известно...

Потом пришли русские. Отто пропал - значит, соломенная вдова. Взяла в паспортном снова девичью фамилию... Конечно, таскали в МГБ. Сначала таскали. Все что-то выпытывали. Все больше - чужие... Свои, латыши, не так старались. Понимали, входили в положение. Хотя с них требовали... Если честно, и среди них всяких хватало... Потом совсем отступились - умер Ус. Ну да, как раз в том марте... Нет, ни лагеря, ни тюрьмы. Просто как-то так обошлось. Сама удивляюсь... Работала на заводе. А когда стало уже можно - поступила, кончила педагогической. Учительствовала. Вела немецкий. Сейчас - на пенсии.

Рядом со старухой - небольшая мохнатая черно-белая дворняжка с большими, умными, веселыми глазами. Грудка белая, хвост колечком. Сидит у старухи в ногах. Потягивается. Пасть открыта. Словно улыбается всем. Жарко. Смешная такая собачка. Зовут - Лацис. Забавная кличка. Кстати, так звали какого-то председателя латвийского Совмина. И еще, по совместительству, - народного писателя. Даже две сталинские премии ему тогда дали...

Анна Францевна. Говорит по-русски очень чисто, но вместе с тем - с приятным, немного тягучим прибалтийским акцентом. Рассказывает:

- Давно живу. Раньше, когда маленькая была, жили не здесь. Не в Риге...

Старушка говорила ему - где, но он забыл. Какой-то город с мягким западно-славянским именем. Вильна? Ковно? Люблин? Белосток? Раньше это была Россия. Царская. Сейчас вроде как Польша. Нет, названия не запомнил. Да и смысла нет. Поменялись названия? Нет, не только. Люди поменялись. Даже - несколько раз...

- Хочешь, покажу диковину? - говорит она. Мальчик не против.

Приносит из дома какую-то старую, пожелтевшую бумагу. Разворачивает. На желтой, протершейся на сгибах странице - «Похвальный Лист». Когтистые двуглавые орлы расселись поверху струящихся георгиевских лент. Два портрета. Слева - молодой военный с окладистой бородой. Справа - мальчик лет десяти в матросской формочке. И два вензеля. Витые буквы. Слова, писанные по старой орфографии. Ниже портретов надписи. Налево - «Все для войны». Направо - «Все для победы».

По левому краю листа - красивая молодая женщина в шапке Мономаха и горностаевой мантии. Держит большой щит с двуглавым орлом. У ее ног - инженер в фуражке, усатый солдат с винтовкой, рабочий у станка. И слева, и справа от текста - картинки в рамках. Дымящие корабли - на море. В небе - взрывается и горит огромный дирижабль. Ниже - солдаты в окопах. На крыльце деревенской избы - крестьяне всей семьей читают письмо с фронта. Под большой надписью - «Вторая Отечественная война» - рабочие на фабрике, и снова крестьяне, но уже - на поле. Жнут серпами. Вяжут снопы. Им помогают мальчики в фуражках. Наверное, гимназисты или реалисты - учащиеся реальных училищ. Меж картинок в рамке - слова: «Прошу вас, добрые люди, согрейте беженца духовно и телесно, и утешите его сознанием, что понято вами бесисходное горе его. Вспоминайте завет Господень: Алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня. Девятое ноября. Тысяча девятьсот четырнадцатого года. Царское Село». Чья-то подпись...

- Тогда еще людей называли - «добрые». Добрые люди. Потом - уже нет. Новое пришло, - говорит она. А после говорит: - А вот - про меня. Читай вот отсюда. Вслух.

- Похвальный лист... Седьмое начальное училище наградило сим похвальным листом ученицу третьего класса Лейчицкую Анну за примерное поведение и хорошие успехи, показанные в истекшем году...

И далее - какой-то неведомой город давно пропавшей губернии. Май. Шестого дня тысяча девятьсот пятнадцатого года. И еще ниже - председатель экзаменационной комиссии... Городской голова... Попечитель училища... Законоучитель... Заведующий и учителя, и их выцветшие размашистые росписи.

- Вот государь Николай Александрович. А это - цесаревич. Алексей.

Палец старушки ползет по желтой от времени бумаге. Голос ее звучит тихо, как бы издалека. И кажется пришедшим с какого-то далекого берега неведомой, глубокой, туманной реки. Мальчику скучновато со старушкой. Солнце вышло из-за тучки. Припекает. Ему жарко. И клонит в сон. И хочется вдруг спросить:

- Бабушка, а что после с ними случилось? Где сейчас молодой военный? Где мальчик в матроске? Зачем красивые многопушечные, многотрубные корабли на море? К чему солдаты в окопах? Зачем среди белых облаков, рассыпаясь пламенем, горит в небе огромный дирижабль?..

Нет ответа. Нет и никогда уже не будет. И мальчика зовет на ужин мать.

Завтра они встретятся снова. Снова будет радостно бежать навстречу черно-белая смешная собака по кличке Лацис. Анна Францевна подарит мальчику свою похвальную грамоту. Для чего и кому она сейчас нужна? Той России давно уже нет. Молодого военного и его сына убили злые и глупые, нетерпеливые люди, наивно полагая, что сами они - никогда так не умрут...

- Может, хоть ты меня вспомнишь? Посмотришь на картинку - и вспомнишь... - говорит ему старушка.

На пузатом телеэкране - бровастый старик в орденах... Как большая, старая, нелепая рыба в аквариуме... Год тысяча девятьсот восемьдесят второй.

После Анна Францевна подарит еще три диковины. Огромные царские асигнации. Белая - по пятьсот рублей. С Петром Великим. Молодой усач в латах. В народе ее звали - «петруша». И желтая - по сто - с Екатериной. С портрета смотрит улыбающаяся старуха. Ее звали - «катенькой». Или «бабкой». Это слово быстро переняли городские низы, особенно оттого все деньги на жаргоне у нас России - «бабки»...

И еще подарила английскую марку, светло-фиолетовую с профилем королевы, чуть надорванную с краю. Отклеенную от старого конверта. Плохо, видимо, отпарила над чайником. Тяжело марка снималась, вот и надорвала. Показывала цветные заграничные открытки. Лондон. Биг-Бен. Красные двухэтажные автобусы. Пикадили. Каменные львы и Нельсон на трафальгарском столбе. Тауэр...

- Дочь Елизавета в Англии. Замужем. Уже давно, - говорит она. - Хорошо, что выпустили. Пишет мне - не забывает...

И рассказывает еще:

- Я ведь семнадцатый - помню. Февраль. То есть март. Гимназисточкой была. Это мы уже когда переехали... Война была. Линия фронта близко. Слышим - уже ухаёт. Думаем - пора. Не немцев же дожидаться. Вот мы и собрались. Папа, мама, сестры... А потом - поезд, поезд... Ну да, вот - Февраль. На улице - толпы народу. Идут прямо по мостовой. Мужчины, барышни, прислуга - все с красными бантами. Разве тут в классах усидишь?! Мы - тоже на улицу. А народ идет. И ни одного городского. Мы их боялись немного. Стоит такой большой, важный на перекрестке, или на станции. Шинель, свисток, перчатки, шашка на боку. Думала - как выхватит вдруг шашку-то... А тут - вокруг люди. Все улыбаются. Поздравляют друг друга, говорят: «Царя-то скинули!». Молодые мастеровые песни поют. Бодрые такие песни - чтобы веселей идти. Иные и целуются, как все русские тогда на Пасху. Пришли к какому-то зданию. Выходит генерал. Шинель. Погоны золотые. Чего-то говорит. А чего - нам не слышно. Толпа большая. Нам из-за спин почти ничего и не видно. Что-то про народ. Потом снимает с себя шинель. Срывает золотые погоны! И - бросает в толпу! Жадные руки норовят их тут же схватить. Хватают. Потом передают из рук в руки. И снова. Золотые погоны как бы уплывают. По морю из рук. Уплывают от него из рук в руки, как по воде. И все кричат: «Ура!» Толпа хватает беспогонного генерала на руки, начинает качать, подбрасывая в воздух... А снег синий искрится на солнце. И солнце яркое. И уже весна. Кое-где проталины, и ручьи под ногами... И счастье! Такое счастье! Никогда - никогда во все годы жизни не видела я, чтобы люди так радовались...

Анна Францевна замолкает. Серая тучка набегает на скупое балтийское солнышко. Начинает накрапывать. Мальчик в коричневой вельветовой курточке еще не знает - будет и в его жизни такое. Падут вековые скрепы. И радость от того будет, и надежды лучшие... Придет ли хорошее? И что оно такое - хорошее, и для чего?..

Собачка прыгает лапами на грудь. Норовит лизнуть в лицо. Никому еще невдомек, что не минует с того дня и четверти века, а события и люди из тех дней станут для ныне живущих уже, как нереальность и сон.

Умрет собачка Лацис. Умрет Анна Францевна. В последний советский год снесут старый дом на Меннес, дав наконец людям новые квартиры. И новенькую красную десятку с Ильичем, которую мы так скоро и беспечно разменяли у рижского таксиста, уже ждет веч-

ное пристанище - в коллекции еще не родившегося мальчишки-нунизмата... Не пройдет и двадцати пяти лет...

Потом была Юрмала. Корабельные сосны и огромные корпуса новых санаториев. Черника горстями и старые дачи, уже навек - без старых хозяев. И новые - оказались не навсегда... А после них - вскоре пришли еще и другие...

Удивительное мороженое. Стремительный бег электрички. И мелькание - от Лиелупе до Вайвари. Глухие заборы правительственных дач. Кафе «У старого Эдгара». Выставка старинных автомобилей. Пешеходные улицы с фигурной тротуарной плиткой. Причудливые фонарики. И огромный бронзовый глобус на площади - реклама «Аэрофлота».

Впервые в жизни пробованные сбитые сливки и жаренные пончики из заграничного автомата на станции. И белые песчаные пляжи - на километры. Только вот море холодное. И иногда идет дождь. Море. Сосны. Дюны. Беззаботные туристы бросают хлеб жадным балтийским чайкам. Те, со страшным криком ловят его на лету. Дети выкладывают на берегу фигуры из зеленых водорослей, строят замки из песка. Они еще не знают, что очередной прилив смоеет все их труды обратно - в море. И как было - снова так будет...

Угол в синем домике. Июль-август. Семья отдыхала. Надо же дать ребенку отдохнуть перед новым учебным годом... Соленый ветер дул с моря. В такую погоду детям хорошо спится. Особенно на самом рассвете. «Спи, мальчик, спи, - воет ветер в печной трубе. - Ты еще увидишь, у-у-увидишь, у-у-узнаешь сам, как гибнут миры... Все еще впереди...»

### РИММА

Урок в седьмом классе. Экономическая География СССР. Год - тысяча девятьсот семьдесят пятый. Где-то незадолго до Нового года. Снег. Мороз. Темнота за окнами. Первый урок. Синяя шерстяная форма. Потягиваюсь. Зеваю. Сажусь на свое место, за первый стол, сбоку от черного, слегка поцарапанного пианино у окна. Кабинет географии, он же кабинет музыки. Или пения, как мы говорим. Слушали Чайковского «Времена года» и Прокófьева «Петя и Волк». Пели про какого-то барабанщика, что-то вроде как бы военное.

Всегда первая парта. Ношу очки. Зрение садится. Я - подросток. Угри и много комплексов. Рядом - длинный нескладный блондин, курчавый парень Саша Подушкин. Похож на Пьера Ришара и Шуру Балаганова из старого кино. Притом одновременно. Потом станет мастером на телефонной станции. Встретит какую-то девку. Женится. Белый билет. Инвалид по зрению. И еще, похоже, альбинос. Бывают и такие. И не только у зверей. Родятся дети. Две девочки. Жена гуляет. Скандалы. Она сбежит с любовником, но без детей. Забудет их. Он - один, но с двумя детьми на руках. Работает в какой-то фирме. Каким-то мастером. На звонки и СМС - сотовый не отвечает. Саша, ты где? Ау! Нет ответа...

Итак, урок. Входит, почти вбегает Римма Васильевна. Географичка. Кофточка бежевая, носик остренький, железные очки, на башке - пучок волос. Кличка - Лупаниха. Кошит правым глазом. В руках - указка деревянная. Длинная, как копьё. На бой кровавый...

На столе у Риммы - журнал. Почти всегда кричит и почти всегда - с порога. Переключка по журналу. В армии говорят - поверка. Там она бывает утренняя и вечерняя. Чтобы сразу знать, кто и где... если пропадет или убежит. Так будет и в нашем военно-спортивном лагере в Федотово, куда мы поедем со Степанычем. С Шафранским, с Лысым, нашим любимым военруком. Нет, убегающий там не будет. Будет поверка. Но это - летом и не в этот год. Нам туда пока еще рановато. Есть у нас еще дома дела...

Итак, отвлеклись мы, значит. Вспомнили непобедимую и легендарную. В боях познавшую радость побед. Но это - потом, потом. Вернемся еще к ней. Сама-то она от нас не убежит. Не переживайте за нее так сильно... Итак, зима - восемьдесят пять. Темень за окном. Холод в природе. Экономическая география СССР и Римма Васильевна. Лупаниха с указкой. Я песнь о родине пою. От Кушки - до Владивостока. Байкал. Арал. Арарат - виноград. Тайга-га-га. БАМ. Это рельсы стучат - БАМ. Начинается песня...

Урал - опорный край державы. Ее добытчик и кузнец. А после снова - от Москвы до самых до окраин. С южных гор, до северных морей... Далее - все по программе. Партии. И съезд. Исторический. А других у нас никогда и не бывало. И был там и Мурманск заполярный. И дважды кем-то там спасенный Ленинград. В общем - обычные ля-ля-тополя.

В те годы методические разработки для географических учителей говорили: надо не просто давать школьнику твердые знания по какому-то там предмету. Надо воспитывать. Всесторонне развитую, активную личность. Гражданина и патриота нашей родины. Будущего строителя коммунизма! Эх-ма!!! И Римма старалась от души. Но видно, скучно ей стало грузить нас чисто по методическим. Душа требовала полета. Горячее сердце советс-

кой патриотки рвалось в последний, смертный и решительный бой... Почему лошади не летают?!

В общем, стала говорить она о нашем образе жизни. О нашей родной социалистической демократии. Которая одна истинная. А в Америке - все не так. У них там слон осла лягает. А осел слона хоботом бьет. Или, кажется, все наоборот... Там - соревнование денежных мешков. Человек человеку волк. Законы всё звериные. Кризис крепчает. Монополии разные. И главное - безработные... Все хорошо так, правильно она излагает, чисто по-ленински. Но вдруг черт ее дернул. Решила Лупаниха показать семиклассникам свой интеллект. Кругозор, то есть. И говорит она нам:

«Ребята, - говорит Римма, - есть у нас, вернее, был у нас такой академик - Сахаров. Может, кто слышал? Еще нет? Тогда я расскажу. Вот, - говорит Римма, - этот самый академик Сахаров вдруг сошел с ума! Ему, дурачку такому, стало казаться, что у нас в Советском Союзе его кто-то там преследует! Ведь смешнее и абсурднее этого, ребята, и придумать нельзя! Мы - самая свободная страна в мире! У нас только и есть демократия! Социалистическая! Это вам не какие-то буржуазные там выборы. Не лживое соревнование денежных мешков. У нас - права. На отдых там... Опять же и на труд. Безработных нет ни одного. Все при деле. Хочешь - борись за мир. Вон у них там доктор Хайдер, астрофизик. Это такой очень толстый дядя в инвалидной коляске перед Белым Домом. В Вашингтоне. Голодает. Практически не сегодня завтра с голоду помрет. А Рейган из Дома Белого к нему и не выходит. Не интересуется им. Империалист проклятый. Марионетка Пентагона и ЦРУ.

У нас все за мир борются. С Рейганом. Пусть знает, подлец, что все люди доброй воли о нем думают. Развел, понимаешь, Першинги, Трайденцы-два, СОИ там разные. А то мы не знаем, зачем у них «Челнок» летает!? Еще говорят - ни одного-де военного астронавта у нас нет! Врут, гады! У нас самих - ни одного штатского космонавта! Зато космос - самый мирный!

А вообще-то я скажу вам, все эти академики, они того - немного чокнутые. Слегка не в себе. К примеру, Резерфорд - на скрипочке пиликал. Тоже мне - Шерлок Холмс! Сделал какую-то трубу. Электроны в ней гонял. В поле магнитном. Анод - катод... Шлепались они у него об экран. От этого еще, говорят, телевизор потом родился! А Нильс Бор и Ландау - вообще психи. Все в шахматы любили резаться. Как засядут, так шабаш - на целый вечер. Ландау, тот еще по бабам любил ходить. Ходок, значит, был. Так пробежится он, бывало, - и сразу назад, обратно за шахматы. Очень они их уважали. Шахматы, то есть.

Альберт Эйнштейн - придурок был. Хотя и физический гений. Как придут к нему фоторжурналисты - он им язык свой вывалит! Ну как собака! Пощечина-де вам от меня. И общественному вкусу - тоже. Еще бы чего другое у себя показал! Язык-то мы и без него у себя во рту, чай, видели!..

Вот и Сахаров... Тоже. Академик физический... был. Работы там разные. Институт, поди. Лаборатории всякие. Синхрофазатрон... Может, перегруз большой случился. В области мозга. Или еще что. Только отъехало у бедняги капитально. Говорит: «Есть у меня мысли. Свои. И меня же за них тут у нас преследуют!» Заболел дорогой академик. Ничего! У нас вылечат! Наша медицина - самая бесплатная в мире! Будет снова нам всем на радость электроны в колесе крутить».

Абсурд говорит Римма-Лупаниха. У меня-то никаких своих мыслей в голове сроду нет - и меня никто не трогает. Своей мысли у нас в стране и быть не может. У нас народ и партия - едины! В том - сила нашего строя!

«А он - физический академик, можно даже сказать, в какой-то мере гений, и чтобы его кто хватал, скажем, за шкуру, как кутенка какого - никогда в такое не поверю. Просто не могу этого себе вообразить. Воображения не хватает на такое. Чисто физически. Да думай ты, черт научный, о своих электронах-атомах. О том, как нам того Рейгана прищучить. Вон он скачет у себя там в Америке, как ковбой на атомной бомбе. Куй себе, с богом, щит и меч нашей родины... Нет!.. Все какие-то мысли дурные в голове у старичка завелись! Может, - говорит она, - ему красивой жизни не хватало? Брюки там джинсовые вторую пару захотелось иметь или банку кофе натурального к празднику не дали? Очень сомневаюсь. У них там в Академии Наук снабжение хорошее. Мне один знающий товарищ сам по секрету говорил. Говорил - даем все, что надо. Родина ничего для них не жалеет!

Родина-то, видно, не жалеет, а он, значит, все равно не доволен! Оборзел совсем! Или, может, резко обуржуазился! Живет, поди, на Кутузовском проспекте, Москва - центр. Квартира - десять комнат. Люстры - хрусталь. Везде паркет. Телевизор, поди, цветной имеется, телефон, радиоприемников - два. Ковры. Стол, стулья. Сервант. В прихожей - трельяж имеется. Чашки там разные. И все, что хочешь, - покупай! Денег платят чемоданами!

Академик! К тому же - никакого дефицита. Москва! Мне товарищ говорил - у них для ответственных работников магазины специальные есть. Делаешь заказ, платишь в кассу и недорого - и потом тебе все, чего надо, прямо на дом привозят! Это не то, что у нас. Хрен чего толкового купишь. Чего в нашем магазине только может не быть? Да у нас практически всего быть не может! Или пропадет - и все, кранты! То часов нет, то трусов. То нету батареек для фонариков, то пленки для парников, то шампуню. Нечем толком башку помыть. Только мылом. Слава богу, хозяйственное есть всегда. Это, - говорит, - еще огромное завоевание советской власти. При царе-то и такого, чёрного, из собак, не было. Я сама где-то в книге читала! Так ведь, слава богу, не война. Еще пока. Спасибо партии за это!

А еще насчет продуктов у этих академиков тоже хорошо. Лафа им, бесам. Денег-то у него пруд пруди. Пошел себе в «Националь» или хоть в «Арагви». Салаты там, шашлыки разные. Суп черепаховый. Блинчики с мясом. Шампанское, вина. А еще кофею выпьет. С коньячком. В Москве этого кофею столько - упиться можно!

Накушался академик по ресторанам от души. Или сказал себе горничной: «Желаю крем-брюлле с антрекотами!» А она, дура белобрысая, ему, дьяволу, уже все на подносе и несет. С пылу, с жару! И говорит она ему так ласково: «Кушайте на здоровье, товарищ секретный академик...» Ну чем не жизнь? Чем таким на свете он был еще недоволен?

Вот у нас весной-летом в городе в прошлый год молока не было. Нет молока - и все. Не завезли. А куда дели? Сами колхозники, что ли, все съели? Непонятно... Масло-то или сыра какого с колбасой без талонов у нас уже давно нет. Товар больно дефицитный, да и жрут много. Где на всех напастись? Выбросят в «Океане» на Герцена окуня морского мороженого - за ним очередь набежит. Народишу до черта. Тьма тьмущая. Некоторые несознательные даже с работы бегут в очередь. Сразу вост. Очередь набежала метров на двадвести. По всему магазину крюком, да и вниз по ступеням до самой улицы выворачивается. Отдельные задние товарищи так часиков пять-шесть до своего окуня и простоят. Если он сам раньше не кончится.

Кто понаглее - без очереди лезет. Старичок с орденскими планками: «Пропустите, я ветеран...» А ему: «Не хрен, дедуся, пойдешь через одного. Много вас ВОВ таких еще осталось...» Внуки бабку старую на каталке везут. Двое, басом: «Пропустите без очереди! Бабушка помирает. Перед смертью ушицы хочет! Уважьте, ироды!» Неприятно, - говорит, - на такой эгоизм и мещанство советскому человеку смотреть. Однако, с другой стороны, и понять можно. Товар дефицитный, хватает не всем. Вот мы в тот год за молочком и ездили в поселок «Молочное». Там - Молочный институт имени Верещагина, при нем комбинат учебно-производственный, а при нем магазин. Поехали в субботу-воскресенье. Кто на автобусе, кто чисто частным автотранспортом добирался. Там - снова очередь. Шум, толкотня. Задние прут на передних. У школьников такое давилово еще называется «масло жать». Тут жми, не жми - лишнего не из кого не выдавишь. Машинного не надавить, не то что вологодского... Жирная, грудастая тетка-продавщица в белом, нечистом фартуке истощно орет: «Очередь не занимать! А то скоро все кончится!» До нас не кончилось. Вылезли разгоряченные, потные, но счастливые. Поймали птицу синюю за хвост! А почему так? Подумайте сами! Людей много. И едят они без передыху чего не попало круглый год! Больно хорошо жить стали! Вот раньше, при царе, попы заставляли народ поститься. То мяса ему нельзя. То рыбы в рот не клади...

Октябрьская революция и лично Владимир Ильич Ленин, - говорит нам Лупаниха, - разоблачили этот зверский религиозный дурман лакеев и прислужников помещиков и капиталистов. В семнадцатом году Великий Октябрь так и сказал рабочим, крестьянам и солдатам - ешьте, товарищи, что хотите!.. Да, есть еще у нас на этой почве временные затруднения. Мимолетные кое-где отдельные трудности. Но не стоит обобщать. К тому же в нашей стране с успехом реализуется Продовольственная программа. У нас Нечерноземье - ударный фронт! А корма, - говорит Римма, - забота общая! Сотни тысяч поголовий скота... Но тут прозвенел звонок. Урок был окончен...

После, зимой восемьдесят шестого был знаменитый звонок от Горбачева Сахарову в Горький. Академик Сахаров и его жена Елена Боннер вернулись в Москву. Весь цивилизованный мир видел на своих телеэкранах этот сюжет. И мы его увидели, спустя короткое время. Академик Сахаров вернулся в Академию. Был восстановлен. С триумфом был избран делегатом на Первый Съезд Народных Депутатов в восемьдесят девятом. Входил в группу межрегионалов. Встречался с Ельциным. Спорил с Горбачевым... Потом он умер. А Римма жива. Ездит в автобусе, ест яичницу с колбасой, носит на затылке редеющий пучок уже совсем седых волос. Она и сегодня живет всех живых. Как учит нас всех коммунистическая партия Советского Союза.

## ИГОРЯША ПЕТРОВ И ОКРЕСТНОСТИ

Военно-спортивный лагерь в «Федотово». Отъезд бывших восьмиклассников был неизбежен, как гроза в начале мая. Перед самым отъездом я купил запись в Доме Быта, в окошке студии Звукозаписи, еще не известных Виктора Цоя и «Наутилус Помпилиус». Знакомы они были мне пока только по названиям групп. До того их не слышал ни разу. Дошло это и полюбилось не сразу, как и гребенщиковский «Аквариум», но вошло уже навсегда, как немного ранее вошел уже вполне сознательно Владимир Семенович. Володю слышали и слушали мы с детства. Сначала - как фон родительских дружеских застолий. После уже стали и смыслы в нем понимать. А с этим - еще не встречались. У нас ведь не Москва, не Питер. Провинция. Медведи только по улицам не ходят. Вон на набережной реки Золотухи до сих пор Дом-Музей-Квартира Сталина И.В. стоит. И ничего. Небо на земле пока не упало... Короче - до нас пока не доходило. Не слышали. Только в журнале «Юность» читали что-то. А послушать было интересно. Кто расскажет мне - что за «рок» такой?..

После, уже в автобусе, идущем в лагерь, или на месте, в казарме, Игоряша Петров, образцовый советский мальчик, в окружении двух своих оруженосцев, спортсмена - лыжника - раздолбая чернявого Валеры Ющенко и сентиментального хулигана Васи Головахина, сидя на рюкзаках или на койке, наяривал: «Группа крови - на рукаве. Твой порядковый номер - на рукаве»... Тогда еще в советской армии у солдат на форме не было таких меток. Никакой группы крови не писалось. Может, если только в Афгане такое и было. Чтобы сразу знать ее. Врачам легче. Если, конечно, будет санитарный борт... Впрочем, не знаю. Не буду врать.

Про Игоряшу разговор особый. Ниже среднего роста. Улыбка нахалов и космонавтов. Спортсмен. Истинный ариец. Мускулистый блондин. Мать - грузная дама, член школьного родительского комитета. Сборы денег на подарок классному к Дню Учителя. Святое дело. Цветочки, вазочки там разные хрустальные ... А Игоряше потом - пятерочки.

Член совета дружины и совета отрядов в пионерах. Активист. Идиотия политинформаций с пересказом «Пионерской правды», маразм школьных часов с «Основами коммунистической морали и нравственности». Классная биологичка Ия Васильевна жует нам методическую разработку из «Воспитания школьников». Проповедь о вреде «вещизма» - дичайший рассказ об одном мальчике, который вначале джинсы хотел, а после на этой почве кого-то там то ли сначала ограбил, а потом убил, то ли дело было строго наоборот. Рассказ начинала Ия исключительно с вывороченных глаз и заговорщической фразы полупшепотом: «Ребята, знаете, мне вчера рассказали, у нас в одной школе (в городе!) был такой случай»...

Дальше уже шел пересказ «ужасного методического случая». Кто был не полный дурак - это тогда уже прекрасно понимал. А дуракам и на случай, и на Ию Васильевну было глубоко плевать. Они не слушали ее, смотря из окон кабинета биологии со второго этажа на мартовские голые деревья за окном в нашем маленьком школьном садике. На черные гнезда мокрых ворон. На перрон автовокзала за садиком, с поезжающими и отъезжающими ЛиАЗами и Икарусами, ревущими, дымящими и коптящими у нашей ограды.

Из трубочек народ тогда еще не плевался. Французские прозрачные шариковые ручки БИС появятся в СССР несколько позже. До сотовой эры было еще целых двадцать лет. Красный японский стереомагнитофон «Сони» был синонимом достатка и роскоши, доступной морякам и дипломатам, убогая монофоническая «Весна» за 320 рублей - мечтой любого школьника и учащегося ПТУ, а семейный «Жигуль» - сказочной роскошью и плодом счастливо сложившейся жизни... К тому же дураков было мало. Класс носил литературу «А». Это была даже своеобразная элита. Почти что гвардия на общем фоне. Школа наша всегда почему-то была слегка с военным уклоном. Была она ведомственная, железнодорожная. Кстати, по школьной пословице тех лет, в «Б» - одни «бэ», в «Г» - одно «гэ», а уж в «Д» собраны всегда одни «дэ».

Учителя, вернее, старые дамы были строги и крикливы. Ставили двойки и неуды по поведению, вызывали в школу с родителями, нарушителей, шалунов, болтунов и непокорных поднимали с места стоять урок на ногах, гнали в коридор и отправляли к директору. Били по рукам линейками. Но, правда, редко. Могли ругаться. Но не матом. Все больше поговорками. Про паршивую овцу, которая все стадо портит. Про яблоню, от которой недалеко падают яблочки. Под яблоней, по-видимому, имелись в виду родители юных негодяев - прежние выпускники железнодорожной школы.



Говорили про осину, на которой не растут апельсины. Ия Васильевна и подобные ей старые, опытные педагоги, коих было в школе немало, в ответ на безобидную остроту, сказанную школьником своему соседу по парте, могли подойти и произнести громко и с укором: «Ну ты и свинья!» Ученики этой школы в их глазах большей оценки, по-видимому, по жизни и не заслуживали... Впрочем, им видней...

Кроме пионерских, а потом и комсомольских собраний с их идиотским голосованием по президиуму, по повестке дня и разным маразматическим вопросам, был еще и школьный хор, куда парней загоняли насильно, лет до тринадцати-четырнадцати, а девчонок - аж до самого окончания школы. Пели там в основном «Крейсер Аврора», да еще приторно-слащавые детские «школьные песни», которым к описываемому времени самое малое было уже лет этак тридцать-сорок. То есть писаны они были либо во времена позднего «культа», либо самой ранней «оттепели». Пели их еще папы и мамы нынешних школьников. А может, даже и их бабушки и дедушки. Если они, конечно, в середине восьмидесятых были не совсем старыми, а совсем наоборот - еще немножко молодыми...

Так вот, про Игоряшу. Забыли мы про него совсем. Тоже пел в хоре солистом. Беленький мальчик-зайчик-одуванчик в синей форме и красном галстуке. В школе все их носили. Это уже после, ближе к концу горбачевской перестройки, следующее последнее поколение школьных пионеров, выходя из здания школы, будет стыдливо снимать их, пряча в карман свой алый шелковый лоскут-ошейник. Мы тогда этим еще не занимались.

Итак, Игоряша пел солистом школьного хора всякую ерунду, стоя спиной к мальчикам в синей «морской капитанской», такой жаркой в жарком мае школьной форме. К девочкам в коричневых, еще гимназического покроя «сиротских» платьицах и белых фартуках. У иных они были кружевные, и это было еще не так безобразно. На других же эти фартуки просто висели, как белые покрывала или простыни, напоминая чем-то спецодежду базарных мясников или военно-полевых хирургов из американского кино про «Унесенных Ветром».

Выстроились они, значит, все на сцене - и поют. Композицию завершала большая гипсовая голова Владимира Ильича. Абсолютно пустая, то есть полая внутри, она стояла на тумбе, прислоненная к задней стене нашей школьной сцены. Слева от головы (привет пушкинским «Руслану и Людмиле»!) стоял старый, царапанный, немецкий рояль, предположительно еще трофейный. Его задняя ножка не доставала до пола, и под нее было что-то подложено. Деревянный брусок или просто кирпич. За давностью лет уже не вспомню. В общем, как вы уже поняли, рояль занимал место на сцене просто так, для красоты.

На этом рояле никто никогда не играл. Играли на современном подольском пианино. Пианино было спрятано в боковую нишу у сцены, еще левее благородного рояля. Так что подольского инструмента зрителям из зала было фактически не видно, а пианист, вернее, пианистка (музыку в школах преподают исключительно дамы, как правило, молодые) молотила руками по клавишам чего-то там расположенного вне прямой зрительской (зрительной) видимости.

Хористов снимали на репетицию прямо с уроков. Они ездили на всякие конкурсы. Защищали честь школы и прочее. Итак, Игоряша был солист хора. Певец. Главный на всю нашу школу. И еще - чтец. Художественный. Летает по сцене белый чуб. Гагаринская улыбка: «Я волком бы выгрыз бюрократизм, К мандатам - почтения нету»... Блестит на синем пиджачке комсомольский значек. За спиной с фанерной тумбы одобрительно улыбается Ульянов-Ленин: хорошо, хорошо, Игоряша!

Игоряша в первых рядах. Председатель совета дружины. Совета отрядов. После, конечно, пошла комсомолия. Секретарь. Прямо с уроков - в райком. Пророчили большую карьеру. В партии или прямо в КГБ. В худшем случае - сулили военное училище. Благо папа - кадровый военный. Техническим советником по авиационному обслуживанию был при ограниченном военном контингенте Социалистической Республики Вьетнам в Народной Республике Кампучия. Это тогда, когда вьетнамцы скинули в Камбодже кровавый режим сорбонского марксиста Пол Пота. Мертвый город Пномпень, геноцид, поля смерти... Читали, наверное, сами тогда в «Правде»?..

Вот Игоряша там и жил, уже при вьетнамцах, в том самом Пномпене. За высокой посольской стеной ходил в посольскую школу. И мамаша его там жила, и белобрысая, крупная сестра Ирка. А папаша-офицер на аэродроме самолеты обслуживал. Боролся к красными кхмерами. Пол Пот не сдавался. Ушел в джунгли и вредил новой жизни. Так он и вредил ей, пока от чего-то там сам не подох. Может, свои товарищи его и пристукнули. Точно не помню. А потом в той Камбодже (так страна Кампучия называется не по-советски) объявился принц Народом Сианук. Началось национальное примирение и всякие дру-

гие дела. В общем, семейство Петровых снова вернулось на родину, назад в Советский Союз.

Вернулся с триумфом. Загорелый, как черт, весь в американской джинсе из московской «Березки». Сказывались заработанные папашей интерчеки. Подарки нам, конечно, привез. Мальчикам - грошовые наклейки на пенал. Гонимые автомобильчики. Детский советский дефицит. Девочкам - невиданные тогда конфеты «Чупа-Чупс» - в красном фантике и на белой пластмассовой палочке. Выдавал лично. По одной штуке в одни руки. Сказочная заграничная роскошь.

Заграничной роскошью могли гордиться тогда немногие избранные, как Игоряша. Упаковка индийских карандашей с полуголой лукавой красоткой-танцовщицей на синей коробке, надорванная английская почтовая марка с профилем королевы, рекламный буклет какого-то неведомого европейского курорта - белоснежные песчаные пляжи и огромные корпуса отелей на берегу - все это воспринималось как привет из какого-то сказочного, нереального мира. С детства советский человек усвоил: все заграничное - шикарно, но запредельно; все советское - дешевка и дерьмо.

Магнитофон - большой, просто шикарный по тем временам, красный стерео-двухкассетник «Сони» Игоряши - это была вещь. Для нас невиданная, сказочная, дорогая. И еще - он привез нам в наш вологодский восемьдесят седьмой настоящую музыку. Это из «сонных» ребристых динамиков услышался впервые нами настоящий рок-энд-ролл давно уже тогда мертвого, но нами - то еще и не слышанного Элвиса Пресли. Пресли считался буржуазным. В Союзе фирма «Мелодия» не выпускала его пластинки. Только что в восемьдесят пятом она разродилась двумя дисками ранее также проклинаемой группы «Битлз». «Битлз» в СССР с середины восьмидесятых стали почти официально считаться замечательными мелодистами, а погибший от безумной руки Джон Леннон - чуть ли не главным американским прогрессивным борцом за мир. Короче, «Битлз» на вологодчине уже знали, а Пресли - еще не совсем... Это после, на самом закате себя и перестройки, «Мелодия» издаст и весь «Архив популярной музыки», и какие-то старые-престарые американские твисты - буги - вуги. И Пресли в «Архиве», конечно, тоже будет. А еще болгарская пластинка Пресли будет у нас в продаже. Но это все - потом. Позже. Тогда я уже школу закончу. Пошел в политех - учиться на архитектора...

А пока - восемьдесят седьмой. Раз в неделю нас вместо уроков гоняют работать на учебно-производственный комбинат (сокращенно УПК). Кого - на Подшипник (ПЗ). Кого - на хлебозавод. Смена шесть часов. Неполная, так как мы еще подростки. После работы - лекция о производстве в красном уголке. Такое вот УПК. Кому-то даже пригодится в жизни.

Длинный хулиганистый патлатый балбес по кличке «Афоня» пришел с Подшипника довольным. Рот до ушей. На каждом пальце - шарикоподшипники, как кольца. В дальнейшем пригодился ему этот УПК. Досидел девятый-десятый. Работал где-то. Потом исчез. Думали - убили Фофу где-нибудь по пьяни или в деревню уехал. Живет, поди, с какой-нибудь бабой. Квасит самогонку, дрыхнет на печи... Несколько лет об Афоне ни слуху, ни духу. После недавно сеструха его заходила. За сигаретами. Сигареты у ней кончились, а курить было охота. Вот и пришла - звонит в дверь. Решила стрелнуть на халяву. Я дал ей, конечно. Рассказала - приехал братишка. С какой-то чумой и с ребенком. Работает на ПЗ. Квартиру взяли в ипотеку. Значит - зарабатывает. Поднялся парень...

УПК. Меня - на хлебозавод. На Саммера за реку послали. Белые короткие штанишки. Рубашонка-распашонка. Срамно - рядом работают женщины. Большинство - молодые, насмешливые. Скалят белые зубы, оглаживают себя по бедрам и грудям, шутя предлагают школьникам свои ласки.

Зимой в цехе прохладно. Вагонетки с хлебом, весело подпрыгивая на стыках, катятся по железному полу, скрипят и грузятся со страшным грохотом. Закатываются в темное, холодное нутро подходящих автофургонов. Двери на эстакаду раскрыты. За широкими дверями - мороз. Изо ртов валит белый пар.

Людей на хлебозаводе явно не хватает. Зарплата небольшая. Работа непрестижная. Вот и гоняют школьников дыры затыкать. А еще - хулиганов-пятнадцатисуточников из тюрьмы и солдат из «Красных Казарм». Тем и платить не надо.

Работал оператором тестоделительной машины. Чан с тестом вкатил на подъемник. Нажал на кнопку. Мотор загудел. Сам - забрался наверх. Опрокинул чан в воронку. Спустился сам, спустил порожний чан, нажал на кнопку. Из машинного нутра заготовки шлепаются на транспортер. Чпок. И отъехала на ленте. И далее - следующая уже на подходе. Снова - чпок. И так - весь чан, пока до конца не распочаается... Формуются заготовки, мнутся в нужную форму, проходя через валики. Идут к горячим печам. В чем-то напоминают это и жизнь человека, если глубоко подумать...

Работал смазчиком выпечных форм. Это когда человек грязной тряпкой маслом из ведра промазывает вертикально крутящиеся на цепях железные корытца - вместилища теста для будущих буханок. Работал на кругу. Это когда горячий хлеб от печей идет по транспортеру на крутящуюся карусель-барабан, с которого его быстро хватают расторопные, в основном женские, руки в прожженных и промасленных рукавицах, засовывают на полки шкафов-вагонеток, увозят в открытые двери - к машинам.

Работал и на сухарях. За перегородкой левее круга - вагонетки с браком. Их - море. Хлеб горелый. Буханки с припеком. С плесенью. А есть еще и болезни хлеба, и прочее. Брака было много. Пробегают быстрые рыжие тараканы. Эй, вы, кони-прусаки! Чу - прошмыгнула серая мышка-норушка... Но ведь у нас в хозяйстве - все сгодится! Экономика должна быть экономной, как сказал Ильич. Леонид. Не Владимир даже. Все равно - это значит добру не пропадать! И не добру даже - тоже. Отходы - в доходы! Все это и добро, и не добро соберут, просушат и измельют в сахарной дробилке. Обваливать сухарями общепитовские котлетки. Ели такие? Кушайте и впредь - на здоровье, если сможете...

А еще там на хлебозаводе были две подружки. Из другой школы. Что недалеко от моста на Чернышевского. Юлька и Ленка. Потом мы вместе учились на архитектуре. Они на год младше меня были. То есть уже после - на курс. Моложе меня значит. У Юльки папа и мама архитекторы. Сейчас Юлька генеральный директор какого-то строительно-проекционно-го ЗАО. А ведь я еще тогда в девятом классе шутя ее нескромно в уголку обнимал...

Короче, нас закаляли в труде. Но закаляться не больно хотелось. Скучно это было, да и лень. Сбежал с работы, прогуливал, как мог. Шел в кино, в «Ленком». Смотрел «Взломщика» с Виктором Цоем, «Шантажиста» с Костей Кинчевым. Уж очень я «Алису» тогда любил! Даже писал на пенале синей шариковой ручкой: «Алиса - короли советской рок - музыка!» Смотрел «Меня зовут Арлекино». Были тогда такие перестроечные «проблемные» фильмы про молодежь. Потом был и «Рок», и соловьевская «Асса» с прикольным гребенщиковским пластом, быстро выпущенным тогда еще живой «Мелодией». Смотрел свердловское «Зеркало для героя». Шел на этот фильм специально в «Ленком» вечером и только ради песен «Наутилуса». Оказалось потом - пришел на любимый фильм. На один из любимых...

Пронзительную «Маленькую Веру» смотрел в «Спутнике» за железной дорогой. В «Спутник» надо идти прямо от вокзала или через сам вокзал, через перроны - на железный мост. Спускаться вниз на Можайского. Второй спуск. Потом направо. И сразу будет «Спутник». Не ошибетесь. Увидите. Теперь этого кинотеатра уже нет. Вернее, есть здание, но торгуют в нем сейчас всякой чертовней. По-моему - автомобилями, маслами, запчастями разными. Точно чем - даже и не знаю.

Ребята ходили тогда на «Веру» в основном ради известной сцены - «на коне». Наши девочки называли Наталью Негоду «маленькая проститутка»... А еще я смотрел в «Спутнике» Фредерико Феллини - «Джинджер и Фред». Это про пару старых актеров-танцоров на телевиденье. Смотрел даже два раза. У нас в стране этот фильм наверняка считали обличением буржуазной бездуховности. А мне этот фильм просто понравился. Понравилась Марчелло Матространи и Джульетта Мазина.

Еще смотрел в «Спутнике» «Некоторые любят погорячее», или, как он назывался в советском прокате, «В джазе только девушки», с блистательной Мерелин Монро. Тоже очень люблю это кино. Хорошее оно, смешное. И билеты недорогие. Были. Жаль, что «Спутника» больше нет.

Потом насчет моих прогулов прочухалась классная Ия Васильевна. Строго вычитала мне за это. Даже слегка поскандалила. Я покался и меня простили. И слава богу.

Я не помню всего и точно, что я тогда купил на заработанные за полгода сорок рублей. Наверное, в основном какую-нибудь ерунду. Но одну свою покупку я помню. Это была пластинка модной тогда западногерманской поп-группы «Модерн Токинг». Блондинистые Дитер Болен и Томас Андерс - кумиры девушек конца восьмидесятых в СССР. Сладкие песни про любовь на английском, который мы долгие годы учим в школе, а после и в институте. Но после всех мук знаем лишь: май нэим из Васья...

Нельзя сказать, что в школе с нас совсем не требовали английский. Мы переводили какие-то там «тысячи слов» по литературным текстам в конце школьного учебника. Сдавали эти переводы учителю. До сих пор помню мой перевод отрывка из произведения Джерома-Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Там у них одного друга зовут Гарри. А я не сообразил. Не понял, как имя читается правильно. Так и говорил учителю: «Мой друг Херрис...» Как вино! Хорошо еще, что учитель не смеялся. Видно, он за все годы и не такое еще видел...

Дитер и Томас - кумиры дискотек. Для тех, кто хочет петь их песни по-русски, есть группа «Мираж». Диск-жокей Сергей Минаев обезьянничает, передразнивая немецких кумиров... Это потом, в девяносто втором, Минаев споет свое новое, безвкусно агитное, многими уже и совсем забытое: «Вау, вау, ваучер, Приватизационный»... Рифма возникает явно, но не со словом «чек». С другим словом... А ведь он был прав! Словом, за что боролись... то мы, в большинстве своем, и получили.

Итак, о дискотеках. Значит, дискотеки в школе устраивал тогда Игоряша. Петров. С шикарным красным «Сони». Рядом - хмурый, остроносый, чернявый хохол Валера Ющенко. Сохнет он по моей бывшей соседке по Ворошилова Ерминой Ирине. До переезда на Шмидта жили мы на одной лестничной площадке. Детская дружба. Ирина - высокая, тощая блондинка со вздернутым носиком. Локоны - волосики. Фартук кружевной. Про нее иные говорили: доска, два соска. За худобу. Про нас еще говорили, что мы-де были любовники... Не знаю, откуда это пошло? Что, как и кто такое мог бы видеть или проверить? Если бы чего даже и было. Но ничего же не было! Просто слухи ходили... Хотя, если честно, то что такого у нас не было - мне очень-очень жаль...

Ющенко предлагал Ирине дружбу. Она долго воротила от него свой курносый нос. Потом вроде сдалась... Тоже - слухи... Валера ревниво и совершенно напрасно был долго зол на меня. Сразу после школы Ющенко пойдет в армию. Потом устроится рабочим на ГПЗ или на Оптику - точно не знаю...

Второй «птенец гнезда Петрова» - флегматичный, вечно как бы немного пьяненький Вася Головахин. Мягкие черты широкого лица, неторопливо ленивые, кошачьи движения. Нечесаная копна длинных, свалывшихся волос. Ощущение - спит на ходу. Закоренелый, убежденный троечник-пофигист. Таких тогда еще брали в девятый, жалели, считали, что в училище им еще рано. Еще успеют. Пусть еще два года в школе посидят... Уже после окончания школы на глупый спор в хмельной компании Вася пойдет и отнимет магнитофон у маленького, сублильного вьетнамца, рабочего с ГПЗ. Этих вьетнамцев привозили в Союз по лимиту на работы. Особенно на предприятия, где уровень квалификации и зарплаты был невысок. После часть тех вьетнамцев удалось отправить обратно на родину, но, видимо, далеко не всех. Многие из них осели в новой России, прочно закрепившись на городских рынках и за железными дверями семейных общаг провинциальных городов.

Менты скрутили Васю, навешали разбой и отправили на зону. Через много лет я встретил его охранником в зале винного магазина на Калинина. Позади у него была колония, дурдом с «белочкой», какие-то бабы в прошлом и в настоящем и шаткая, временная работа. Вася радовался, жал мне руку, бил по плечу, называл другом и звал меня в компанию пить... Я, сославшись на занятость, отказался, не пошел... Я поступил нехорошо. Мне очень стыдно. Но я о своем поступке не жалею. Мне завтра надо было идти на работу. А Васе-то - еще не факт...

Итак, эти двое и Петров. Подсоединяют на сцене какой-то отечественный ресивер. К нему - шнуры с еще большими, допотопными штепселями-контактами. И огромные черные колонки чуть ли не в человеческий рост. Корпуса у них деревянные. Динамик затянута черной, немного серебристой тканью. На шатком, треугольном журнальном столике - японское чудо и кассеты. «Модерн Токинг», «Мираж», «Ласковый Май» (в шутку ребята зовут его «Массовый Лай»), «Европа» и «Бони-Эм». Есть «Абба». Она хороша для парных танцев-медляков.

Народ собирается. Хлопает дверями. Переговаривается, шумит. Лезет на сцену. «Дай музон заценить!..» Хочет посмотреть технику... Ющенко и Головахин сгоняют народ обратно в зал. Не фиг мастерам мешать.

В темном зале под потолком на тонкой нити уже висит самодельный зеркальный шар. Слегка раскачивается, немного вертится, дрожит в такт движению воздуха. Это в прошлом был, наверное, просто какой-то старый глобус, сейчас столь умело обклеенный осколками маленьких бытовых зеркалец для бритвы. Головахин и Ющенко уставляют на сцене специальную лампу. Направляют луч на глобус-шар. Тонкий направленный клинок света дробится в зеркальных гряях, рассыпаясь по стенам и потолку тысячами дивных искр. Рукотворное волшебство конца двадцатого века. Замена - находка банальной луны современным влюбленным парам. Взросло светило дискотечное. Для освещения ночей. И сразу - из черных динамиков грохнуло в зал: «Не смотри на меня, братец Луи»...

Танцы-шманцы. Новый Год. Экзамены, конспекты. Наш выпускной восемьдесят девятого. Незадолго до того - жаркие споры с Серегой. Сергей - лучший друг. До недавнего времени жили в одном доме, на Шмидта. Номер шесть, желтый, сталинский, что напротив вокзала. Ну да, «дом с дураками». Там еще сталевары-кочегары каменные на крыше стоят.

Красота неземная. Потом серегина семья переедет в новый панельный микрорайон Бывалово. Это по Пошехонскому шоссе. Первая двенадцатизэтажка у самой областной больницы.

А вообще-то Пошехонское шоссе - это дорога. Большая. По ней весь город ездит. Особенно - в Троицу, на кладбище. Оно так и называется у нас - Пошехонское. И больница на нем же стоит. На шоссе, то есть. Недалеко. Удобно. Прямая такая дорога.

Новый дом, где дали квартиру серегиной семье - папаше, мамаше и двум малолетним сестрам - был с недоделками. Бригада торопилась. Сдавали объекты к очередным праздникам. Ждали премию. Поэтому швы между панелями не были заделаны строителями по уму. В новой просторной квартире было холодно. Зимой по углам висел иней. Рыбы в аквариуме, что стоял в комнате сестер, погибли. Однажды зимним днем из-за аварии на теплотрассе в доме выключили отопление, и вода превратилась в лед. Аня и Марина пришли, смотрят - а рыбки мороженные. Поплакали, но слезами горю не поможешь. Спустили трупики в унитаз.

Жильцы жаловались, писали по инстанциям. Наконец злополучные швы между панелями заделали, перепачкав и залив черным битумом аккуратные стенные панели. Ну что ж, и в безобразном доме можно жить. Зато стало теплее. Немного.

С детства Сергей мечтал стать летчиком, как отец. Отец был пилотом вертолета. Работал в местном отряде гражданской авиации. Сергей - хорошо физически развитый. Многолетний спортсмен-лыжник в секции при стадионе «Локомотив», он обладал целеустремленностью, простотой в общении, прямо-таки заражал окружающих своим природным оптимизмом. С детства мечтал о небе. Читал море книг, журналов и статей на эту тему, покупал, клеил и красил дефицитные тогда в СССР модели самолетов, часто бывал у отца на аэродроме. Любил рыбалку, веселый и порой «соленый» мужской анекдот. Обожал споры. Тогда ведь вся страна только это и делала. Люди спорили на работе и в школьных классах, в курилках КБ, в ВУзовских аудиториях, на съезде в Кремле и в очереди за папиросами.

«Горбачев или Ельцин?..» Последний еще жив, силен и молод. Следов пристрастия рокового было не видеть... Облетел статую Свободы три раза и откуда-то куда-то падал. Вспомнил - с моста. Говорят, что КГБ хотело его в реке утопить... Тогда в народе очень этим случаем гордились. Прямо так все и говорили - наш Борис - не тонет. Сколько номенклатура его не топи...

Горячие дискуссии. Вовлечены почти все - школьники, студенты, мужики с бутылками, бабы за доилками, бабушки в платочках, старичок с клюкой...

«Есть ли жизнь на Западе?..» «Секс или эротика?..» «Коммунизм или капитализм?..»

Мной, Сережей и еще миллионами-миллионами людей уже прочтены Рой Медведев и Разгон, Шаламов и Гинзбург, Мандельштам и Марченко. Литература нравственного сопротивления. Удивительные книги эпохи «гласности». Это были наши Святые Писания. Писания Последнего Откровения - Библии-89. Слова их - были тогда словами самой правды, жгли глотки, туманили молодые, наивные, горячие головы. Казалось, страна очищается от вековой скверны. Казалось, еще совсем немного - и вот там, за поворотом ждет нас необыкновенная, светлая, чистая, преисполненная самого высочайшего смысла жизнь. И будет в ней и новая сказочная Россия, и радостный труд, и море наших друзей, и так много просто прекрасных людей и дней!.. А по-другому - как? Иначе - все страдания были напрасны. Так быть не должно... Неправильно это... Глупо будет и несправедливо!..

Гайдаровский холодный ветер, а после и октябрьские дни девяносто третьего навсегда застудили, а у многих и убили те давние, наивные юношеские мечты о родине и чести... Надо было просто жить... Хотя, кому и чего сегодня в России - это самое - «надо»?..

Съезд народных депутатов потрясает нас до глубины души. Прямые трансляции по радио и ти-ви. Люди с радиоприемниками. После газетные стенограммы читают, подчеркивают яркое, спорят об ораторах и их речах. Так потрясал воображение современников, наверное, разве что полет аэропланов почти лет сто назад. Смешная деревянная этажерка с бензиновым движком. Вот она уже бежит по зеленому скошенному полю. Все быстрее, быстрее, быстрее... Смешно подпрыгивает... и отрывается от земли! Деревянные брусья, куски брезента, натянутые на каркас, дребезжащий, чадающий моторчик. Это летать не может... но летит! Летит! Летит!..

Афанасьев, Попов, Собчак и другие. Межрегионалы, как первая, глупая, слепая, самообманная народная любовь...

Через полгода после школы Игоряша окончательно войдет в обойму комсомольской райкомовской номенклатуры. Это была эра первых комсомольских кооперативов. Вокзаль-

но-базарных видеосалонов с «Рембо 1. Первая кровь», со всеми этими «Эммануэлями», «Греческими Смоковницами» и «Фантомасами». С первыми молодыми бизнесменами. Будущими миллионерами из хрущоб. С рекетерами, сутенерами и русскими девочками в джинсах-варенках, сетчатых чулках и умопомрачительных мини-юбках. С нарисованными до ушей глазами, офигенными начесами и пластиковыми серьгами-ежиками в ушах. Они уже посмотрели «Интердевочку» и были готовы следовать по ее стопам. Притом - в массовом порядке.

Игоряшу тоже понесла коопертивная волна. После школы ни в какие училища КГБ он, конечно, не пошел. КГБ, как и Союз, доживал свои последние дни. Петров быстро надел костюм с галстуком, разбогател, купил «Жигуль», обуржуазился. Перестал замечать старых знакомых. Даже и не здоровался. Он что-то там продавал. Все тогда что-то и кому-то продавали. Лес и женщин, металл и наркотики. Он выбрал наркотики. Сначала возил и торговал. Говорят, что не без участия своего авиационного отца-офицера. Возили военными самолетами откуда-то из Средней Азии. Вроде даже героин. А анашу - так, по мелочи. Вначале - возил. Потом попробовал. Или, может, специально кто посадил его? Я не знаю. Только затянуло его. Сильно. Слышал я, что всю семейку посадил Игоряша со временем на иглу. И мать, и Ирку. После вроде где-то они там лечились... Квартиру продали и уехали. А куда - я не знаю. Вот что время с нами делает! Девяностые эти проклятушки! А какой был мальчик! Игоряша! Наш мальчик был! Русский, советский, социалистический!

### ОБ ОРУДИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ, КО ВСЯКОМУ ДЕЛУ ПРИГОТОВЛЕННЫХ

Военно-спортивный лагерь в Федотово. Год восемьдесят седьмой, перестроечный. В тот год мы поехали туда в первый раз, с Николаем Степаньчем. С нашим Степаньчем. С Шафранским. С Лысым. С нашим родным, самым любимым и дорогим военруком. Позади был восьмой класс. Все экзамены наши были уже позади. И слава богу! Дома, в школе, да и в городе дела наши пока что закончились. Накатило - летнее, новое, еще невиданное, неведанное... Спортивная, да и военная новь жизни тревожила и пугала. Эх, путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам кормешка любая! Помирать нам рановато! Есть у нас еще дома дела!.. Потом, после будут вам дела. Когда обратно приедете. Через месяц.

Там хорошо. Там леший бродит... Подъем и отбой - на скорость. И так - несколько раз. Когда старшина решит над нами немножко позверствовать. Хорошо, что мы пока - потешные войска. Содаты мы еще не настоящие. Слава Богу... Впрочем, как там в песне поется: «Все еще впереди, Все еще впереди»...

Подъем - в шесть. Зарядка. Бегаем, как лоси, с голым торсом. Туалет. После - построение на утреннюю поверку. Как в песне: «Стоим мы на посту, Повзводно и поротно»... Дальше там слова будут всякие красивые. Про «страну», да про «народ». То что слова эти - фуфло, мы до конца еще не знаем. Не все доперли, по малолетству. Но отчасти об этом уже догадываемся... Второй год горбачевских реформ, которые так ничем путным и не кончатся... По крайней мере, добром не кончатся, это точно... После восторгов августа - придет кровь нового октября, а за ним - десятилетия печального безвременья... Вспомним еще и это - тоже песенное: «Есть у революции начало, Нет у революции конца!..»

Переключка, где каждый должен орать: «Я!» Старинное военное средство от дезертиров и самовольщиков. Кого не обнаружат - того пойдут искать или ловить. Это уж смотря по обстоятельствам. Нашу роту пасет и гоняет сержант Джалилов - широколицый среднеазиат. Он не добрый и не злой. Просто требовательный и плохо говорит по-русски. Падежи в словах вообще не склоняет. Просто не умеет, наверно. Командует: «Рота, сл-ю-шай утреняя поверка...» А когда идем строем - командует: «Ас. Ас. Ас, два, тры...» Все мы в пятнадцать - еще дети. Среди нас все - русские, и если даже есть среди нас хохлы и евреи, русский - наш природный, родной язык, и это странное коверканье нам неприятно и смешно. Передразниваем меж собой косоязыкого Джалилова, конечно, только тогда, когда он этого не видит.

Джалилов - парень не плохой. Но гоняет, как собак. Наряды там разные. Дневальные. Подворотнички пришивать надо беленькие. Из тряпицы. Стирать и снова пришивать под шейку. А шейка-то в армии всегда нечиста. Баня полагается нам раз в десять дней. Пыльные, грязные, как чушки. Из примет цивилизации - краны с холодной водой в умывалке, да напольные чаши зловонного матросского гальюна... Кстати - вспомнил смешное! В Китае, в туалетах дешевых гостиниц, где останавливаются «челноки» из России, есть надписи на русском языке. Они гласят: «На пол не ссать! Иначе хозяин звать полиция!» Хозяева заведенный специально не поленились найти переводчика с одного очень трудного языка на дру-

гой...

Стойко переносим трудности и лишения воинской службы. И так, наряды. На кухне и в казарме. Мытье полов. Чистка галюна. Ведь мы - на флоте. Федотово - база морской стратегической авиации Северного Военно-Морского Флота. Торпедоносцы, охотники за подлодками, авиаразведка и прочее. Сухопутные матросы. Моряки без моря. Поэтому и кормят, как пехоту. Жрать дают матросам в основном перловку с чаем. И еще - жидкие щи с капустой. Это правда, что на столы ставят еще и масло, и сахар... но до молодых эти лакомства не доходят. Все эти дары небес прибирают к рукам деда. Нам-то, школьникам, - лафа. Дают гречу с маслом. И сахара - сколько хочешь. А матросикам-первогодкам такого лакомства век не видать. Пока сами дедами не станут. У других отнимать не начнут. Станут дедами - на чужом отожрут.

Хорошо быть школьником. Пока. И деда ихние морские нас не бьют. Только свои деда своих матросиков и бьют. Бьют, говорят, жестоко - ремнем с бляхой. Самым якорем и отдают. Называется это - прописка. Такой уж тут у них порядок. Морской, мужской, народный, социалистический. Один - за всех. И все - на одного! Мушкетеры, блин...

В коридоре у тумбочки с зеленым бездисковым телефоном (чтобы звонили только в казарму) и сереньким толстым томиком устава ВС СССР - Красное Знамя. С кистями, бахромой и вышитым посередине Владимиром Ильичем. У тумбы стоит дневальный, на боку висит штык-нож. Рядом дверь в ленинскую комнату. Там покой, тишина и все сто томов его партийных книжек. На стене в ленинской - стенд «На страже мира и социализма». Там нарисован бравый молодой-боец с автоматом и под Красным Знаменем, торжественно принимающий присягу.

В коридоре напротив двери тоже стенд - «Откуда исходит угроза миру». Черно-желтые Кукрыниксы. Очкастый Пиночет, противный гориллоподобный Бота, разные змеи вьются, в микрофоны шипят. Тощий, козлобородый дядя Сэм скачет верхом на атомной бомбе. В общем - красота неземная. Я не жалуясь. Тут вообще санаторий. Весь день - строевая, футбол, турниры... Нет, меня даже не били. Что само по себе, считаю, удача редкая. Джалилов матогов, правда, загнет нам, как всегда. Но это - чисто для профилактики. Мы ведь на слова-то вообще не в ободу. Сами, и в школе, и во дворе, говорим и не такое. Ничуть не стеснясь. А как иначе? Не в версаях росли...

Видел, как Джалилов говорил со своими - на своем с чисто русскими матерными выражениями в конце фраз... Что и говорить, а главные слова в любом советском языке все равно чисто русские. Русский у нас в стране - язык межнационального общения!.. Пустячок, а приятно!

Сначала мы собирали-разбирали-чистили калаш на скорость. Соревновались, значит. Потом на большом темно-зеленом «Урале» поехали на стрельбище. С противогазными сумками, конечно. Куда же нам без них? Никак нельзя! Залезли в кузов. Кто на лавки вдоль борта уселся. Это те, кому мест хватило. Остальные - прямо задницами на дно. Как немного от ворот отъехали - так вояки бросили нам в кузов под брезент дымовуху. Чтобы ехать было нескучно. Дыму едкого сразу до фига. Весь кузов в дыму. Экая подлянка, думаем. Это, наверное, нам от сержанта Джалилова такой особый привет вышел. Чтобы сосункам служба медом не казалась! Готовьтесь, дескать, к будущим подвигам, сукины дети!

Дым ест нам глаза, а мы давай скорее противогазы натягивать. С подбородка - и вверх. Ничего, только за волосы дерет. Но не очень. Стрижки у всех короткие. Об этом заранее говорено было. Еще в городе. Хорошо Николаю Степаньчу противогаз натягивать. Наш-то майор вообще лысый. Как яйцо. Лысому в армии - первое дело. И с противогазом хорошо, и вшам укрыться негде. Негде вшам круговую оборону занимать. Леса-то нет! А на лысине не каждая вошь сумеет окопаться! Открытая позиция. Прилетит сверху мозолистая рука бойца - тут ей, проклятой, и смерть! Вообще - умный человек придумал брить бойцов налысо. Гигиенично. А чистота на войне - дело святое!..

Сейчас понятно, почему перловкой кормят. От мышей! Они ее, поди, плохо жрут. Вот вся матросикам и достается...

Натянули противогазы. Посмотрели вокруг через мутные круглые стеклышки. Самим страшно стало. Кругом - одни слоны. Глазки круглые. Затылки гладкие. Хоботы ребристые в сумки наплечные заворачиваются. Зеленые человечки и морды резиновые у всех, как черти что... Ну, прямо фантастика. Напоминает незамысловатые декорации советского фантастического фильма. Одесской киностудии имени Горького. Какой-нибудь детской хрени типа «Алисы Селезневой», или чего-нибудь в том же роде... В кино попали пацаны...

И главное, все-все эти действия, противогазные пертурбации наши, происходят в движении. Как там в песне мельника, или вроде Кукольника, про паровоз поется? «Движенье,

движенье!..» Рычит наш «Урал» высокий, весело бежит по бетонке. На стыках плит, да и после уже на кочках грунтовки подпрыгивает. И мы в кузове вместе с ним. Пока добрались - дыма нажрались, задницы об пол отбили. Зато будет что вспомнить - внукам рассказать...

Добрались, слава богу. Отдышались. Выползаем понемногу, осторожно прыгиваем, держась за борт. Высоко все-таки. А испробовать первый закон Ньютона на практике никому особо не хочется. Поэтому тут лучше не спешить. «Рота, стройся! - орет Джалилов - На первый-второй рассчитайсь!..» «Первый, второй, - несетя нестройная, запыхавшаяся переключка... - Расчет окончен». И снова: «Рота, на пра-а-во, шагом арш-ш!»

Поле, поле, полигон. Русское по-о-ле... Выходим на огневой рубеж. Тут птицы не поют. Деревья не растут. Впереди мишеньки. Черные человеческие профили. По ним - белые круги. Условный для нас противник. Вот они какие - те, кто в упряжке НАТО! А может, это - духи афганские? Кто ж их, чертей, разберет? Это, значит, те, от кого угроза миру и социализму! Хотя и условно. Пока... Но все равно - держитесь, гады! Велика Россия!..

Дали нам в руки калаша. Уже настоящие, боевые. Не макеты позорные из списанного старья с просверленными дырками в стволах. Оружие! Из такого и убить можно! Настоящее, грозное! Вот он - в твоих слабых, полудетских руках. Черный, стальной - в стволе, в рожке, в крышке, и лаково-ласково-деревянный на казенной части и на прикладе. Немного масляный, тяжелый, настоящий. Родной, свой, советский. Свое ведь - и плечо не тянет? По крайней мере - тянуть не должно... Наверху так считают - и, наверно, они правы. Правы. «Всегда правы?» - «Да, всегда... всегда... заткнись, салага...»

Скорый помощник в бедах. Калаш. Вот он и открылся нам тогда. И был он - страшен и велик. Любим - и отвратителен. Сейчас он весь перед тобой, во всей своей наготе, в простоте, в славе. Вознесен на трон, возвеличен, запечатлен и отпечатан на самом дне глазных яблок. Запечатан в памяти мозга. И остался там навек, грозным, разящим силуэтом. Как на флаге дикой африканской страны.

Он - калаш могучий - был с нами и перед нами тогда, на том условном рубеже. Ясен и прост, как первый вздох, первый крик, первый шаг человеческой, земной цивилизации. Основа культуры и грозный страж законов людей - неприкосновенной личности и частной собственности, и извечного закона - мое не твое!

Он - не просто орудие. Он - оружие. Оружие. Каиново творение и родовая печать первого горожанина. Мужская игрушка. Любимая во всех временах и у всех народов. Оружие - Альфа и Омега. Начало и конец. Оружие - первая суковатая дубинка неандертальца и последний хирсомимный, могильный ядерный гриб... Оружие, оружие...

Смотрели за нами - как мы патроны в рожки загоняем. Снарядили магазины. Присоединили мы их к нашим богам. Легли на животы. Ноги в стороны раскинули. Совсем как и в тире под Горбатым мостом, когда мы со Степаньчем на ПВП с черных, чуть разодранных по краям матов из мелкашки стреляли.

Лежу. Локтями в землю упираюсь. Животом и коленками - тоже. Подо мной - весь шар земной. И я лежу на этом шаре. Когда ногами по земле идешь - так никогда не чувствуешь этого - всего. Всей Земли. Шара земного. Привыкаешь ходить вот так - просто, прямо. Привыкаешь смотреть вперед.

Вот - школа, «Кулинария», вот друзья, Серега, вот мама и папа. Смотришь на то, что перед тобой. Думаешь конкретно. Ненужные вопросы привыкаешь не задавать. А тут лежишь на всей Земле, задерешь голову немного вверх, и вдруг видишь - небо над тобой. Огромным куполом висит буквально ни на чем. Не падает. Высокое, глубокое небо. Сейчас - голубое. Всегда новое. Изменчивое. Вечное. Живое.

Родители наши уйдут, и мы уйдем, и дети наши уйдут, и внуки, и правнуки. И правнуки правнуков - тоже. А небо останется. Только о том, какое оно будет тогда, и будет ли кому в него смотреть - не знает, да и не узнает никто...

Жаркое солнце стоит в зените. Палит нас нещадно. Соленый пот струйками течет за воротник, бежит каплями на лицо, противно висит на носу, заливает глаза, мешает смотреть вперед. А смотреть - надо. Надо совместить прицел и мушку. И мишень. Плавно нажать на спусковой крючок. И выстрелить. Выстрелить.

В высоком небе плывут белые облака. Смотришь на них - и кажется, что ты очень маленький. Маленький-маленький, как лилипут из детской книжки. И нет других людей. Нет машин, и городов тоже нет. И ты под этим огромным небом совсем-совсем один.

Непонятный, неведомый ранее первобытный страх приходит к тебе. Ты затерян, оставлен, пропал! А небо большое. Задерешь голову вверх - смотришь, и становится страшно. Ты смотришь в него, а оно - в тебя. Так друг в друге и отражаются человек и небо. Небо милосердствует людям теплом и светом, сечет - наказует их ливнями и градом, судит - бу-



рями, буранами, смерчами, грозными грозами, хвостатыми кометами... Там в небе древние люди встретили своих богов.

И еще - если долго смотреть в эту голубизну, страшно и странно становится на душе от этой океанской его безмерности, от бездонности. Голова начинает кружиться. Мысли в голову лезут дурацкие. Лежишь вот так и думаешь: «Неужели над всей Россией такое небо? Большое!.. И над всем СССР, наверное, тоже - оно?.. Ну да, небо это же самое... Ведь оно же - одно - и над всем миром! И границ в нем нет... На Земле - по одну ее сторону живут одни люди. На одном языке говорят. А по другую - другие. И у них, наверное, уже все свое. Свой горы, свои реки, язык свой. На Земле все разделить можно. А небо-то им как разделить?..» - вот какие глупости в голову лезут. Даже самому смешно.

Держу автомат. Калаш тяжеленный. Специально, наверное, так сделали. Чтобы прикладом можно было драться. Он у калаша массивный, деревянный. Хорошая дубина на врага... Рядом инструктор топчется. Они за нас отвечают. Ведь мы еще дети. Детки-деточки. А скоро ведь будем солдаты... Ничего себе деточки! Лбы здоровые! Гайдар в пятнадцать лет полком командовал, скажете вы. Ничего не говорите. Не будите лихо, пока оно тихо. Не поминайте черта в глухую ночь. Будет вам еще ваш герой... Не на дедушку - на внука нарветесь... Вспомните после сами: еще плодоносить способно было чрево...

Слышал, что одно время делали калаш с пластиковым прикладом. Вроде как для республик Средней Азии такое чудо планировали. Говорили - там дефицит дерева, жалко его, пластиковый приклад и в изготовлении проще, или еще чего другое умники придумали... Потом быстро отказались. Плавился приклад от жары, лип к солдатским лицам. Пришлось оставить эту идею.

И в штыковой деревянный приклад сподручнее - тяжелее. Это когда штык-нож в живот другому человеку вгонять надо будет, и кроить кишки вдоль и поперек, как ученый Базаров - озерных лягушек... Дикость все это! Но вы уж простите меня. Я вам все прямо и откровенно говорю... Так что наш калаш - самый натуральный продукт в мире. Никакой пластмассы. Фирма гарантирует. Прославленный бренд оптовых торговцев смертью.

Упер приклад в плечо. Тугой, еще не разношенный предохранитель перевел на одиночный выстрел. Держу калаш, тяжеленную дуру эту железную, аж двумя руками, со всех сил. Локтями в родную землю упираюсь. Сил от земли жду, как греческий герой Антей. Ну... скорее бы уже... Командуют: «Це-елься-я!» Левый глаз закрыл. Примериваюсь правым глазом. Совместил мушку и прицел, как и учили. А впереди мишеньки эти дурацкие на поле торчат - дивизия «Эдельвейс» и «Мертвая голова»... Сейчас, сейчас... Теперь палец - на крючок. Тут главное - раньше времени не дернуть...

Инструктор командует: «Пли-и!» Нажимаю плавненько на спусковой... Грохнул выстрел. Сильный толчок в плечо. Такой сильный, что чуть не вырвал калаш из моих рук. Стреляная гильза покатила на траву. Ни черта себе! Калаш крепко держать надо, а то из рук улетит. И в плечо упираться покрепче. Чтобы при такой его отдаче не съездить в морду прикладом самому себе, любимому. Плечо жалеть не надо. Чай, не выбьет. Впрочем, кто его, бешеного, знает?.. Русское чудо.

Стреляли одиночными и очередями. Потом собирали медные гильзы. Сдавали. Медь - сырье стратегическое, понимать надо. Да и для проверки. Вдруг кто патрон притырит? Потом бросит его в костер, или кирпичком по нему вдарит. Убьет дурака, к черту, а армии отвечать.

Попали ли мы тогда? Куда и в кого? Хоть в те мишени черные, в круги белые, да в профили вражеские? Бог весть - я не знаю. Уши только всем позакладывало. Назад ехали глухие, как тетерки, но довольные. Не каждый день родина оружие нам доверит! Боевое! Слышал я где-то уже потом про «орудия железные, ко всякому делу приготовленные». Как услышал - сразу вспомнил мальчиков на поле, инструкторов наших и калаш... Джалилова вспомнил. Жив ли еще? Бог знает...

Только кажется мне через много лет - было во всем этом что-то не совсем хорошее... Даже и объяснить вам это точно не могу... Вдруг, думаю, вместо мишеней фанерных были бы на поле люди живые. А у людей тех - горы свои, и реки свои, и язык свой. Вот только небо у нас было бы на всех одно...

Спросите меня: откуда цитата такая ценная? Кто сказал? Ей-богу, не помню. Но точно - не из Ленина. Просто где-то услышал. Запало. Понравилась... И стрелять из калаша - тоже!

PS. Цитата из Библии... или стилизация под нее. Точно не помню, а врать не хочу...

Нина ВЕСЕЛОВА

## СТИХОТВОРЕНИЯ

\*\*\*

Я забрела по щиколотку в воду,  
 Узоры дна нарушив невзначай,  
 И там, где отражался иван-чай,  
 Вдруг ощутила пальцами колоду,  
 С каких поили прежде лошадей...  
 И тени в Лету канувших людей  
 Заполонили вскоре всю округу,  
 И натянув неистово подпругу,  
 Стегали мужики своих коней,  
 И, еле увернувшись от ремней,  
 Сбивались в стайку сельские мальчишки,  
 Умеющие долго помнить шишки  
 За любопытство и строптивый нрав:  
 Ведь кто родитель - тот, конечно, прав  
 И обречен нести за все ответ,  
 Что детям уготовил белый свет.  
 А он жестоким значитя от веку,  
 И мне, как и любому человеку,  
 Не разобраться в соплетенье зла...

Мне помнится, как дедушка козла  
 Вязал к столбушке, усмиряя норов,  
 Как землю рыл наш старый черный боров,  
 Как бабушка латала нам штаны,  
 А на востоке, далеко видны,  
 Сияли главы старенькой церквушки,  
 И на сосновой солнечной опушке  
 Ржавели рыжики в седом засохшем мху,  
 Как мой отец варил для всех уху,  
 Задумчиво стуча по углям палкой,  
 Как я со старой девичьей скакалкой  
 Носилась вдоль деревни ввечеру...

Хочу, но не умею, не сотру  
 Из памяти все давнее, больное.  
 Оно во мне - как все надежды Ноя  
 На то, чтобы продолжить мир живых.  
 И отмахнуться не могу от них,  
 От этих вновь восставших сновидений,  
 И следуют за мною тени, тени,  
 Покорно пребывавшие на дне,  
 Пока не постучалась я к родне,  
 Песчаные узоры потревожив  
 И память неусыпную встревожив.  
 Пожалуй, больше не пойду к реке,  
 Чтоб удержать ее на поводке.

\*\*\*

Болят несуществующие зубы,  
 И о ботинке плачется культя.  
 ...Зачем он был опять с тобою грубым?  
 Зачем тебе не подарил дитя?..

Под сенью приклоненного каштана  
Ночует неприкаянный старик.  
Он был когда-то юным и бесштаным,  
Потом женился... А потом поник.  
Сквозь крону облетающего древа  
К нему струится тихий лунный свет.  
Известно: без простого обогрева  
На свете счастья не было и нет.  
Болят его натруженные кости,  
И стынет плоть, похожая на прах...

Все на Земле прописаны как гости.  
И каждый ведал, что такое страх,  
Который поселяется без спросу  
В душе, забывшей Божий идеал...

Не нужно лишних задавать вопросов  
Продрогшему без теплых одеял,  
Не нужно избегать слепого взгляда,  
Надевши на себя суровый лик.  
Лишь пожалеть - и большего не надо,  
И эта мудрость выше, чем из книг.  
И это счастье - лучшая наука  
Для сердца, позабывшего свой дом.  
Укрыть, погладив, - просто и без звука,  
Хоть гордому дается все с трудом!

Но стоит начинать! Души плотину  
Прорвет потребность совершать добро,  
И вымоет запутанную тину,  
И высветлит замшелое нутро.  
Как знать, как знать...  
А вдруг да через годы  
И вас подобный ожидает крах,  
И так же одолеют вас невзгоды,  
И так же встанут стрелки на часах...

Как славно, что от нас закрыты дали,  
Что выбор совершаем в темноте,  
И даже то, что светские медали  
На грудь себе повесили не те.  
Все это и вселяет нам надежду  
На праведность Последнего суда  
И позволяет ветхие одежды  
Носить при этой жизни без стыда,  
Забыв про то, что челюсти - вставные,  
А ночью были боли суставные...  
Презревши чей-то «ох» и даже «ах»,  
Мы спляшем на погнутых костылях!

\*\*\*

Еще не умерла, а уж никто не помнит,  
Не пишет, не звонит, не едет погостить.  
Печальная сижу в одной из сотни комнат  
И поджидаю, как мне Время будет мстить.  
Но - чудные дела! - с туманных горизонтов  
Веселых облаков пушистые стада  
Бегут навстречу мне. А я, укрывшись зонтом,  
Спешу навстречу им, в далекое туда,  
Где было все легко, светло и беззаботно,

Где детство никогда не верило в уход...  
Но век не обмануть. Вот тело стало потным,  
Вот сердце задрожало, засеменило...вот  
Еще один момент из тех, что студят душу...  
А после в тишине дежурящей ночи  
Вдруг склянка упадет, а в горле так засушит,  
Что дробно зазвучат в твоей руке ключи...  
Не бойся, ангел мой, не больно и не страшно  
Мне землю покидать, меняя облик свой.  
Все высохло уже, уснуло во вчерашнем,  
А значит, не жалею и мне вослед не вой.  
Пусть сладко и легко отверзнется темница  
И вечная весна приветствует меня.  
Ты слышишь, как звенит на небе колесница?  
Ты видишь? Угасают... исчезли краски дня...

\*\*\*

И лист в ту осень не слетел с берез,  
И даже снег, ложась, все таял, таял...  
И под покровом потаенных слез  
Мне приоткрылась истина простая.  
Она была старейшего старей,  
Костявее, чем высохшие мощи.  
Она твердила: только слез не лей,  
Не унывай, гляди на вещи проще!  
Как знать, как знать, какой из всех путей  
Нас выведет на свет из дикой чащи.  
И на меня глаза моих детей  
Смотрели, умоляя и кричаще...  
И я сдалась: что попусту тужить?  
И ощутила, как прекрасно жить!

\*\*\*

Слово - не воробей,  
Слово - это соловушка.  
Ты его во злобе выпускать не моги!  
Пусть его золотую лихую головушку  
Погубить ненароком не смогут враги.  
Лучше в клетке души пусть оно потрепещется  
И для тайной слезы дальний угол найдет.  
А досада пройдет. И тоска-перебежчица.  
И неверие в Небо. И жизнь. Все пройдет.

\*\*\*

Все проходит, мой друг, все проходит:  
И любимый, и враг - все уходят,  
Как тяжелые тучи - к реке.  
После града и бешеной бури  
Безмятежно сияет лазурью  
Только капля дождя на руке.

\*\*\*

Печален путь. Но если на мгновенье  
Его окинуть взглядом с высоты,  
То легким незаметным дуновеньем  
Промчится он. И запоздало ты  
Поймешь, как были тщетны все тревоги  
И сладостны небесные дары,  
И как прекрасно то, что до поры  
Все главное от нас скрывали боги.

\*\*\*

Что наша жизнь? Стремительный поток,  
Наполненный ничтожной суетой.  
А впереди - предсказанный потоп,  
В котором сгинут грешник и святой.

Что наши радость, счастье и любовь?  
Они сродни видениям слепца,  
Которому осмелится любой  
Состроить кукиш около лица!

Но это значит также, что беда,  
Отчаянье, страдание и боль -  
Хозяева над нами не всегда  
И тоже могут сгинуть в миг любой.  
И их поглотит бешеный поток,  
Который и всевластен, и жесток...

А потому - усвойте навсегда,  
Что всяческие страсти - ерунда.  
Не выдавайтесь острой вереей,  
А лучше наслаждайтесь, как вода  
Проносит нас сквозь тленные года  
И обнимает жгучею струей.

\*\*\*

Меня родили в неурочный час,  
В печальный день, когда луна безвластна.  
Наверно, оттого была несчастна,  
Не поднимала к небу тусклых глаз.

Меня родили в благодатный день,  
Ведь моему рожденью были рады.  
И если бы не высшие преграды,  
То по судьбе не пронеслась бы тень.

Но сказано, что всякому дано  
Натальные исправить искаженья,  
Коль предпочесть духовное движенье,  
А не спокойное и сытенское дно.

В какой момент я это поняла,  
Откуда почерпнула эти знания?  
Но - озарилось истиной сознание,  
И целый мир я духом обняла.

И как теперь мучительно за тех,  
Кто в жалких путях по земле блуждает,  
Кто ближнего напрасно осуждает,  
Не признавая за собою грех!

Своей рукой прижать бы всех к себе  
И дать послушать плачущее сердце,  
И всех потом поддерживать в усердстве,  
И вторить неумелой их мольбе  
С минуты этой до смеженья век,  
Как самый-самый грешный человек...

\*\*\*

Радей над тем, что послано судьбой,  
И не гневи фортуны понапрасну.  
Ведь только на закате станет ясно,  
Кто выиграл навязанный нам бой.

\*\*\*

Понимаете - это темница,  
Это ночь среди белого дня!  
Я жила, точно певчая птица,  
Но в силки заманили меня.  
Накормили дешевым обедом,  
Опоили дурманной водой.  
А когда-то он был мне неведом,  
Этот рай вперемежку с бедой.  
Я когда-то не смела поверить,  
Что моя не завидна стезя.  
Но захопнулись ржавые двери,  
И по мерзлomu когти скользят...  
Помогите, спасите, откройте!  
Дайте снова счастливо запеть!  
Там, под дверцею, ключик отойте,  
Еще можно успеть!

\*\*\*

Затопила я в доме печку,  
Затешила я Богу свечку,  
Подняла я глаза к небу...  
То ли был в жизни смысл,  
То ль не был?  
Пожелтели мои весны,  
Перестали стучать кросна,  
И снега на Покров пали,  
И у совести я в опале.  
А объехала я полмира,  
Я считала, призванье - лира,  
Оказалось - семья и дети,  
И за слезы их - я в ответе...  
Время тихо сучит пряжу,  
Я сижу и котенка глажу,  
Удивляясь, что все - снова,  
Что настолько просты основы,  
А даются не всем и - тяжело.  
Вот такая и я бедняжка:  
На прощальной своей тризне  
Вопию о второй жизни.

\*\*\*

Сорвался камень у Сизифа,  
Скатился в пропасть, в черноту...  
Опять я выбрала не ту  
Дорогу на пути к Калифу.  
А чтобы верную найти,  
Уже ни времени, ни сил.  
Но нас никто и не спросил!  
И надо все равно идти,  
На смех, на грех,  
Все вверх и вверх.

\*\*\*

Перетекаю, как всегда,  
Из ночи - в день, из суток - в сутки,  
И, как ребенку, прибаутки  
Мне шепчет тихая вода.  
И плачет ива надо мной  
На пару с тонкою березой,  
И согревает летний зной,  
И до костей дерут морозы.  
Никто не вправе разорвать  
Судьбой спеленутые узы  
И называть постылым грузом  
Всю эту Божью благодать.  
Что было - кануло в века,  
Меня не будет больше прежней.  
Не оттого ли я так нежно  
Гляжу теперь на облака  
И в мыслях птицею лечу  
Вослед неслышимому зову?  
И гладит ветер по плечу  
Меня рукою бирюзовой.

\*\*\*

Ну, вот и я невыездная -  
Храню огонь в родном доме.  
А то бы и жила, не зная,  
Как жутко ночью одному,  
Когда за дверью завывает,  
Когда весь мир скрывает мрак,  
Когда в дороге не бывает  
Ни человека, ни собак.  
Когда снегами по колено  
Укрыты мерзлые поля,  
Когда дымит в печи полено  
И дико стонут тополя.  
Когда ни писем, ни надежды,  
Ни гостеванья, ни звонков,  
Ни памяти о том, как - прежде,  
Ни ласки, ни родных оков -  
Да ничего, что было нужным,  
Являлось смыслом бытия...

В существовании натужном  
Остались только быт и я,  
Да этот властный лист бумаги,  
К себе влекущий каждый час,  
Да капелька во мне отваги  
Ночь не смыкать усталых глаз  
В надежде задремать с рассветом,  
Оставив виршей маету,  
С попыткой всем белым светом  
Прощенной быть за суету.

Пускай бушует непогода -  
Она мне нынче не указ.  
Мне б только отпуск на полгода,  
Чтобы взглянуть в последний раз  
На мир, который остается,

Мной не обласкан, не объят,  
 На речку, что змеєю вьется,  
 На наш малиновый закат  
 И на березовые рощи  
 С грибницей в стынущих ногах.  
 На все смотреть я стану проще  
 И позабуду о врагах,  
 Рождаемых воображеньем  
 От одиночества во мгле:  
 Кого влечет передвиженье  
 По спящей брошенной земле?  
 А мой уют любого может  
 Покоем одарить в пути...  
 Но вот опять мороз по коже...  
 И сердце вновь тоскою гложет...  
 И нет дороги, не найти...

\*\*\*

Рабыни тягостный удел  
 И жалкая зарплата.  
 Как будто кто-то подглядел,  
 Где у тебя заплата,  
 И нужно опускать глаза,  
 И лебезить при людях,  
 И уповать на образа,  
 И голову на блюде  
 Нести, как высшие дары,  
 В душе рыдая кровью,  
 И в страхе прятать до поры  
 Скрижали в изголовье...

И я познала этот путь,  
 И я гневилась Бога,  
 Когда пыталась повернуть  
 Унылая дорога.  
 Цеплялась из последних сил  
 За рабское жилище,  
 За всех, кто в страхе голосил,  
 За тряпки и за пищу...

Какая, право, благодать,  
 Когда за далью даль видать  
 И не мешают крыши,  
 Когда вам нечего продать,  
 И больше не о чем рыдать,  
 И все подъели мыши.  
 Душе, как старице в скиту,  
 Не надо даже хлеба.  
 Водицы криночку, и ту  
 На островочек неба  
 Она готова променять,  
 Не размышляя долго.

Непосвященным не понять  
 Скитальческого долга  
 И не использовать пример  
 Себе для подражанья -  
 Не допускает полумер  
 Духовное стяжанье.

Но если выбрать назван срок  
 Меж святостью и рабством,  
 Ступлю на ту я из дорог,  
 Где буду без богатства,  
 Без бочки меда, без вещей,  
 Без миски теплых жирных щей,  
 Зато - в кругу товарищей,  
 Со мной торящих тропку эту  
 В стремленье к Свету.

\*\*\*

Бездонными ночами...  
 С закрытыми глазами...  
 ...Перемещаюся в пространстве,  
 Ловя преставившийся миг,  
 И выношу из этих странствий  
 То чей-то стон, то чей-то крик,  
 То чьи-то радостные всхлипы,  
 То песни чудный перелив,  
 То запах медоносной липы,  
 То шепот, тихий, как отлив.  
 И вспоминаю осязаньем  
 Любви украденную дрожь,  
 И бабушку с ее вязаньем,  
 И наклонившуюся рожь,  
 И дождь с грозой, и туманы  
 Над задремавшею рекой,  
 И горькие твои обманы,  
 И мой придуманный покой...  
 На всем лежит печать забвенья,  
 Все где-то там, вовне, по-за...

Но вдруг случайным дуновеньем  
 Распахнуты мои глаза!

О, торжество весомой яви,  
 Котлет, одежды и печей.  
 Никто воистину не вправе  
 Высоких говорить речей,  
 Покуда знает лишь земное  
 Предвоплощенье бытия.

Она давно уже со мною,  
 Небесной службы лития:  
 Дыханье полное - без вдоха,  
 Тепло - без ржавых батарей,  
 И пониманье - без подвоха,  
 И подати - без мытарей.

Когда б душа могла привольно  
 Гулять промежду двух миров,  
 Когда бы не было ей больно  
 Терять телесный свой покров,  
 Как расцвело бы мирозданье!  
 Каким доступным стал бы рай!..

Мое безумное сознание,  
 Играй бирюльками, играй!

\*\*\*

Опять я прячу голову в песок,  
В сугробы за сараем зарываю.  
Пугающий, грядет расплаты срок,  
А я дитем на чудо уповаю.  
Подсчитываю, сколько же дорог  
Устало исходила по планете,  
Отказываясь выучить урок  
О преданном служении монете.

Не гнется под хлыстом моя спина,  
И не дрожат подобострастно ноги.  
Когда в загоне горя я одна,  
Я неизменно думаю о Боге.  
Он не велел держаться суеты,  
Терять от страха самообладанье,  
Он утверждал, что плотские мечты  
Обложены на Небе строгой данью.

Чего ж роптать, что в руки мне нейдут  
Несметные, но тленные богатства,  
За кои нынче часто продают  
И веру, и любовь, и наше братство?  
Пожалуй, стоит мне благодарить  
За посланные свыше униженья  
И потянуть за кончик эту нить,  
Уставшую томиться без движенья.

Мне не к лицу по банковским счетам,  
Подобно нищим, получать кредиты.  
Мои надежды исстари не там,  
Отчаянья мои давно убиты.  
Я знаю силу искренней мечты  
И неизбежность высших поощрений,  
И верю я, что обогреешь Ты  
Мой сумрачный и незаметный гений.

И снег растает от того тепла,  
Пески развеет добрыми ветрами,  
Прижавшись к раме, я из-за стекла  
По-детски улыбнусь умершей маме,  
И все решится сказочно легко,  
Отпустят душу тяжкие оковы,  
И сладостного счастья молоко  
В меня польется благодатно снова.

А прежняя судьба пойдет на слом,  
Как рыхлые весенние торосы,  
И недоброжелателям назло  
Собою сами отпадут вопросы,  
От коих нынче голову в песок  
Я снова зарываю, зарываю  
В надежде оттянуть уплаты срок,  
И вновь дитем на чудо уповаю.